

9

МИНУВШЕЕ



*Воспоминания о жизни и деятельности
Святителя Кирилла, Патриарха Московского, 9-го,
и 10-го веков от Рождества Христова
составил по рукописи, принадлежащей
Копенгагенскому университету, и издал
в Копенгагене, 1835 года
Св. Кирилл, Патриарх Московский, 9-го и 10-го
веков от Рождества Христова
Издание второе, исправленное и дополненное
Св. Кириллом, Патриархом Московским, 9-го и 10-го
веков от Рождества Христова
Составил по рукописи, принадлежащей
Копенгагенскому университету, и издал
в Копенгагене, 1835 года
Св. Кирилл, Патриарх Московский, 9-го и 10-го
веков от Рождества Христова
Издание второе, исправленное и дополненное
Св. Кириллом, Патриархом Московским, 9-го и 10-го
веков от Рождества Христова*
И. П. Св. Кирилл, Патриарх Московский, 9-го и 10-го
веков от Рождества Христова

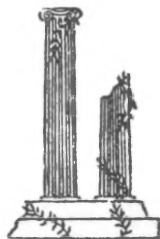


МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

9





МИНУВШЕЕ

МИНУВШЕЕ

**ИСТОРИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ**

9

ATHENEUM

**Editorial board: Jean Bonamour, Elda Garetto, John Malmstad,
Richard Pipes, Marc Raeff, Dmitri Segal**
Editor: Vladimir Alloy

Copyright by Atheneum, 1990

All rights reserved

Publisher: Atheneum, 10 bis, rue Duhesme, 75018 Paris
Printed in France

ISBN 2-906141-13-5

**На первой странице обложки воспроизведены: портрет С.А. Аскольдова,
автограф Н.А. Бердяева, портрет С.Н. Булгакова, общий вид Саровской
пустыни (1900-е годы).**

ВОСПОМИНАНИЯ

Н.Ю. Фиолетова
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ*
Предисловие В.Кейдана

Есть два мира для христианина и в них две жизни: одна принадлежит этому миру скорби и страданий, но другая сокровенно совершается в Царствии Божием, в ликующем граде небесном.

Прот. С. Булгаков.
Слова, поучения. беседы.

Перед нами жизнеописание исповедника, человека оставшегося до смерти верным Христу и Церкви. Жизнеописание составлено его вдовой через много лет после известия о смерти мужа. Ее память сохранила образ человека, излучающий — и в целом и в каждой своей черте — праведность и чистоту.

Николай Николаевич Фиолетов родился в 1891 году в семье потомственного провинциального священника. В такой же строго православной церковной семье на двадцать лет раньше родился Сергей Николаевич Булгаков. Пройдут десятилетия — и два русских разночинца из «поповичей» встретятся в салоне московской интеллигенции, ищущей путей духовного преобразования общества, сближения Церкви, культуры, философии. Но придут они туда разными путями. Если С.Н. Булгакову пришлось пережить мучительный переход «от марксизма к идеализму», то его младший совопросник, принадлежавший ко второму поколению деятелей русского религиозного ренессанса, — избежал искушения нигилизмом и политической революционностью.

В двухлетнем возрасте оставшись без матери, мальчик воспитывался в доме религиозной и благочестивой родственницы, в атмосфере церковной, но одновременно культурной, чуждой ханжеству и обскурантизму. Ему был уготован традиционный путь: духовное училище, семинария, академия, священство, может быть и архиерейство... Но судьба его сложилась иначе: Николай Фиолетов уходит из семинарии в разгар «революционной горячки» 1905-1907, благодаря чему, возможно, сохраняет и не-

* Воспоминания печатаются по рукописи, имевшей хождение в самиздате, с небольшими сокращениями. Короткий фрагмент из них публиковался в «Вестнике христианского движения», 1978, №126. — Ред.

замутненную веру, традиционную церковность, и пытливый интерес к религиозным и философским проблемам. Поступив на юридический факультет Московского университета, он попадает в «соловьевское русло» русской гуманитарной науки, становится учеником Е.Н. Трубецкого и Л.М. Лопатина. Эта маленькая группа профессоров продолжала долгую, одинокую и малоуспешную борьбу своего учителя против секуляризации науки. Развивая традиции русской идеалистической школы, они собственным творчеством опровергали интеллигентский предрассудок о несовместимости религии с критическим научно-философским мышлением. Именно в христианстве, как религии Слова, видели ученики Вл.Соловьева последнее оправдание и освящение философии, этики, права.

Начало XX века, первая русская революция становится перевалом в развитии общественного сознания, когда, по словам А.Белого, «все более и более нарастает чувство чрезвычайности». Г.Флоровский передает это так: «Многим захотелось заново строить свою душу /.../ Религиозная тема становится темой жизни, а не только темой мысли и нравственного чувства /.../ Соблазнов стало больше, когда душа пробудилась. Сами события стали серьезны, в них давно обозначился суровый апокалиптический ритм. /.../ Тогда было много крушений, редкие надежды и предчувствия сбывались. Павших было больше, чем достигших. Немногие нашли себя в Церкви, многие захотели остаться вне /.../ Всего больше было противоречий. Обострилась тревога совести...»¹

В это время группа друзей-единомышленников составила Московское Религиозно-философское общество памяти Вл.Соловьева. Сюда входили С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, В.П. Свентицкий. Движение ставило своей целью духовное обновление общества, видя преодоление социальной несправедливости не в политическом радикализме, а в возврате к первохристианской общине и личном освобождении. С.Н. Булгаков называл это «светским пастырством», «проповедью веры в среде одичавшего в безбожии русского общества»². Православные философы мечтали о реализации евангельского идеала во всех сферах общественного бытия: в экономике, искусстве, философии, политике, государственном строительстве. Однако на первом этапе ставилась задача христианизации культуры. Стремление вернуться в церковь означало готовность принять ее духовное руководство (пастырство) и таинства. Именно здесь было принципиальное различие «петербургского» и «московского» направлений в движении религиозного ренессанса. Москвичей объединяло стремление, оставаясь в Церкви, сделать Православие более активной силой в социальном и культурном строительстве, дабы с его помощью решить насущные проблемы русского общества. Петербуржцы в целом отрицательно относились к исторической, по их терминологии «казенной», Церкви, проповедуя по существу некую новую религиозность, адогматическую, внецерковную, близкую по духу харизматическому протестантизму русских сектантов, идеям Шопенгауэра, Кьеркегора, Ибсена. В это же время оба направления объединял пафос общественного служе-

¹ Г.Флоровский. *ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ*. Париж, 1982, с.452.

² Прот. С.Булгаков. *АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ*. Париж, 1946.

ния, отрицание буржуазной бездуховности, социального угнетения, традиционной пассивности и индифферентизма в отношении ко злу, что противоречило христианской заповеди активной любви к ближнему. Их объединял присущий тем и другим отказ от материалистических позиций российской интеллигенции, унаследованных от Белинского, Чернышевского, Михайловского. Философские поиски в московском, петербургском и киевском религиозно-философских обществах основывались на убеждении, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, но как целостной, то есть религиозно-живущей личности. Для русского мыслителя начала века, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило устраивать жизнь по правде и справедливости, что и придавало всем философским прениям духовно напряженный, экзистенциальный характер. Стремление к целостному восприятию мира сочеталось с пиететом к науке и искусству, чрезвычайно сильному в образованных кругах, особенно среди молодежи поколения Н.Н. Фиолетова. А стремление к справедливости, в том числе социальной, — часто приводило к тому, что молодые философы уже со студенческой скамьи переселялись в тюрьмы. При этом измены избранному пути никто в этом переселении не усматривал, ибо науку они понимали не узко профессионально, «не только как методику и технику обособленных сфер знания, а экзистенциально, сущностно, как высшую духовную жизнь, как разрешение "роковых вопросов", как практику истины»¹.

С начала 1910 г. воплощается в жизнь идея религиозно-философского издательства, столь необходимого для обслуживания и выработки идейных и духовных позиций христианской общечеловечности. Издательницей, взявшей на себя финансовую сторону дела, стала М.К. Морозова, а ядро Московского РФО, благодаря ее поддержке, образовало редакцию издательства «Путь». В.Ф. Эрн, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Г.А. Рачинский с увлечением и энергией включились в издательскую деятельность.

«Путь» был задуман как орудие философской борьбы с материализмом, позитивизмом, неокантианством, как средство проводить в философии «русскую идею». В предисловии к сборнику статей, посвященному памяти Вл. Соловьева, говорилось, что авторов соединяет убежденность в том, что «русское самосознание находится в периоде затяжного кризиса». Признавая, что «старые устои жизни и традиционные формы самосознания разбиты или же разбиваются /.../ историей, а новое только зарождается в мучительной борьбе и проходит через начальную стадию своего развития», авторы считали, что перед их поколением «ставится вопрос не об одних только внешних судьбах России, не об одном только ее государственном бытии и экономическом благосостоянии, но обо всем ее духовном облике, о ее признании и значении в мировой истории»².

Берясь отвечать на эти вопросы, члены Московского РФО и редакция книгоиздательства «Путь» видели «общую религиозную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни всестороннему осуществ-

¹ Ф. Степун. *БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ*. Н.-Й., 1956, т. 1, с. 225.

² *О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ*. Сборник первый. М., 1911.

влению вселенского христианского идеала». Они призывали современников «пересмотреть свое духовное наследие и сознательно отнестись к основным явлениям духовной жизни современности» для того, чтобы по-новому ориентироваться в своем прошлом и настоящем. Для решения поставленных задач издательство считало нужным «знакомить русского читателя с позабытыми и мало или недостаточно известными русскими мыслителями», переиздавая их сочинения и выпуская монографии, «в которых будут даны духовные портреты крупнейших представителей русской религиозной мысли и русского самосознания»¹.

В Московском РФО и редакции «Пути» соединились, однако, слишком разные философы, каждый из которых был достаточно яркой и самобытной фигурой. Это привело вскоре к идейному конфликту. В.Эрн и С.Булгаков выдвигали, подчеркивали особое русское начало отечественной философской мысли, противопоставляя ее «логизму, онтологизму и существенный всесторонний персонализм» западному «рационализму, мезанизму и импрессионизму». По их тогдашнему мнению, эти два начала непримиримы и «вселенская задача философии сводится к свободному торжеству одного из этих начал над другим»².

Иной была позиция Е.Н. Трубецкого, которую поддерживал его ученик и единомышленник Н.Н. Фиолетов. Они полагали, что философское воспитание мысли необходимо в целях религиозного ее воспитания. Но достигается оно вовсе не тенденциозным подбором литературы, а разносторонним и свободным от всякой предвзятости изучением великих памятников философской мысли.

Эти разногласия не мешали единомыслию в главном. И Эрн, и Булгаков, и Трубецкой, и его единомышленники оставались поборниками православия, и даже в полемических статьях не допускали резких выпадов против Церкви.

Тем не менее, идейные расхождения неизбежно расшатывали и ослабляли общественную позицию Московского РФО. В 1912 г. Н.А. Бердяев после затяжного идейного и личного конфликта полностью порывает с Обществом и с издательством. Уход Бердяева Булгаков воспринял трагически, как крушение замысла о едином православном фронте, как неудачу и этого «путейского» начинания и самой идеи «православной общественности». С.А. Аскольдов (иногородний член МРФО) отмечает в это время, что у москвичей окончательно исчезло сплоченное единство.

С началом войны патриотические настроения (иногда переходящие в явный национализм) начали охватывать широкие слои русского общества. Не избежала их и интеллигенция. Вновь возрастает почти угасший интерес к религиозной философии, особенно к «неославянофильству», а вместе с этим к национально-православной тенденции МРФО и «Пути». Вопросы о национальном и религиозном самосознании, о русском мессианизме, о религиозном призвании России, ее духовной «свежести» и духовном «загнивании» Запада — в различных интерпретациях широко ста-

¹ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ. Сборник первый. М. 1911.

² В.Ф. Эрн. Г.С. СКОВОРОДА. М. 1912.

вятся в оживших Московском и Петроградском РФО. Религиозные философы начинают читать лекции, писать статьи и брошюры на такие темы, как «Война и русское самосознание», «Христианство и национальный вопрос», «Русский мессианиззм и война», «Судьба России». В этих работах темы, издавна обсуждавшиеся в МРФО, ставятся на более популярном, общедоступном уровне. Литература такого рода стала пользоваться большим спросом, однако, ни высказанные в ней мысли, ни активная позиция членов Московского РФО не повлияла на дальнейшее развитие событий. Вспоминая об этом периоде, Е.Н. Трубецкой с горечью писал: «Вспомним настроение, которое мы, как и все народы мира, переживали во дни патриотического подъема, вызванного войной. Какую жестокою радость мы обнаруживали, когда получали известия о гибели десятков тысяч немцев и австрийцев! Как эта жестокость возрастала с течением войны даже в самых человеколюбивых и добрых из нас!..»¹ Доказательством тому, до какой степени озверение войны разложило русское общество, стали последующие события: революция и пореволюционный террор, когда отношение к врагу внешнему целиком перенеслось на «врага внутреннего». «Величайшее в мире царство рухнуло, рассыпалось в прах, потому что оно держалось не благоговением перед святыней, а силой коллективного эгоизма. Идеология "борьбы за существование", ранее господствовавшая в отношениях между государствами, перешла на отношения между классами»².

Одним из главных объектов этого разгула ненависти стала Церковь, которая самим существованием своим олицетворяла осуждение бушевавшей в России кровавой вакханалии и всеобщей жестокости. Церковь стала ненавистна, ибо среди всеобщего озверения утверждала закон иной жизни, воспрещая людям пожирать друг друга.

И тем не менее, в первые послеоктябрьские годы, когда силы и внимание новой власти были целиком отданы проблеме политического выживания, в стране еще сохранялись очаги религиозной и философской культуры, противостоявшие идеологии воинствующего атеизма. До 1922 функционировали Московское психологическое и Петроградское философское общества. В это время создается множество новых философских ассоциаций и кружков: Киевское научно-философское общество во главе с бывшим членом МРФО В.В. Зеньковским; Саратовское философско-историческое общество под руководством С.Л. Франка; Донское философское общество (просуществовало до 1921); Костромское философское общество (действовало до 1922 г.); Философский кружок при Петроградском университете (до 1921); Социал-гуманитарное общество (Петроград, 1918); Религиозно-философский кружок А.А. Мейера «Воскресенье» (действовал до 1928 г., когда все его члены были арестованы). Активно работала в Петрограде Вольная философская ассоциация (до 1919 г.); в Москве — Вольная академия духовной культуры (Вольфила). С лекциями выступали Н.Бердяев, Л.Карсавин, Л.Шестов, Н.Лосский, Э.Радлов. В период с 1919 до середины 1922 г. в одной лишь Вольфиле были прочи-

¹ Е.Н. Трубецкой. *СМЫСЛ ЖИЗНИ*. М., 1918.

² Там же.

таны курсы: «Философия истории» (Бердяев), «Введение в философию» (С.Франк), «Этапы мистического пути» (свящ. Абрикосов), «Жизнь и творчество» (Ф.Степун), «Творчество Ф.Достоевского» (Бердяев), «Греческая религия» (Вяч.Иванов), «Философия духовной культуры» (А.Белый) и др. Широко обсуждались взгляды К.Леонтьева, Вл.Соловьева, проводились лекции и дискуссии по теософии и антропософии (в рамках Антропософского общества)...

С 1922 г. всему этому наступает конец. Убедившись после победы в гражданской войне и разгрома Кронштадта в политической стабильности режима, большевики открывают новый фронт — идеологическое наступление на «буржуазно-помещичью философию». В сентябре 1922 г. часть идейных противников с особо громкими именами — была выслана за рубеж. Оставшиеся — среди них о.Павел Флоренский, Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев, А.А. Мейер, Н.Н. Фиолетов, — практически лишены доступа в печать. Большинство религиозно-философских ассоциаций и обществ — закрыто. И если до второй половины 1920-х русским философам еще оставляли «бесконвойную» жизнь, то в годы «великого перелома» кончилось и это: все они были репрессированы — ссылки, Соловки, Беломорканал... Стране «победившего социализма» они были не нужны. Селекция для выведения «нового советского человека» шла не по нравственным и интеллектуальным качествам, а по совсем иным. В июле 1929 г. В.И. Вернадский писал сыну, крупному историку, проживавшему в США: «...все уничтожается в корне *выбором людей*. Выбирают благонадежных, а не талантливых и знающих. При этих условиях неудача почти несомненна»¹. «Талантливых и знающих» — уничтожали...

В последнем письме к жене Николай Николаевич Фиолетов напоминает ей слова св.Франциска Ассизского «о совершенной радости». Поскольку этот фрагмент имеет ключевое значение для понимания характера героя предлагаемых воспоминаний, приведем пространную цитату из «Цветочков» св.Франциска:

Однажды зимой св.Франциск, идя с братом Львом из Перуджии к Святой Марии Ангельской, поясняет спутнику, что такое совершенная радость. Она не в святой жизни, назидательной для других, не в способности исцелять больных, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Совершенная радость не в постижении всех тайн, наук и даре пророчества, она не в познании видимого и невидимого космоса, не в даре проповеди и обращении неверных. Тогда брат Лев с великим изумлением спросил его: в чем же совершенная радость? Святой Франциск отвечает ему: «Когда мы придем к святой Марии Ангельской, вот так, промоченные дождем и прохваченные стужей, и запачканные грязью, и измученные голодом, и поступимся в ворота обители, и придет рассерженный привратник и скажет: Кто вы такие? А мы скажем: Мы двое из ваших братьев; а тот скажет: Вы говорите неправду, вы двое бродяг, вы шляетесь по свету и морочите людей, отнимая милостыню у бедных, убирайтесь вы прочь; и не

¹ ПЯТЬ «ВОЛЬНЫХ» ПИСЕМ В.И. ВЕРНАДСКОГО СЫНУ. Публ. К.К. «Минувшее», т.7, Париж, Atheneun, 1989, с.427.

отворит нам, а заставит нас стоять за воротами под снегом и на дожде, терпя холод и голод, до самой ночи; тогда-то, если мы терпеливо, не возмущаясь и не ропша на него, перенесем эти оскорбления, всю эту ярость и угрозы и помыслим смиренно и с любовью, что этот привратник на самом деле знает нас, что Бог понуждает его говорить против нас, запиши, брат Лев, что тут и есть совершенная радость. И если мы будем продолжать стучаться, и он, разгневанный, выйдет и прогонит нас с ругательствами и пощечинами, словно надоедливых бродяг, говоря: Убирайтесь прочь, гнусные воришки, ступайте в ночлежный дом, потому что здесь для вас нет ни трапезы, ни гостиницы; если мы это перенесем терпеливо и с веселием и добрым чувством любви, запиши, брат Лев, что в этом-то и будет совершенная радость. И если все же мы, принуждаемые голодом, и холодом, и близостью ночи, будем стучаться и, обливаясь слезами, будем умолять именем Бога отворить нам и впустить нас, а привратник, еще более возмущенный, скажет: Этакие надоедливые бродяги, я им воздам по заслугам; и выйдет за ворота с узловатой палкой, и схватит нас за шлык и швырнет нас на землю в снег, и обобьет о нас эту палку; если мы все это перенесем с терпением и радостью, помышляя о муках благословенного Христа, каковые и мы должны переносить ради Него; о, брат Лев, запиши, что в этом будет совершенная радость».

Николай Николаевич Фиолетов прошел этот путь до конца...

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Москва. 1915-й год. Зимний морозный вечер. Снег поскрипывает под ногами, в свете уличных фонарей искрятся снежинки. Мы с сестрой, совсем юные слушательницы Высших Женских Курсов, что на Девичьем поле (я — на третьем курсе философского отделения, мне 20 лет, и сестра Вера — на первом курсе русского отделения историко-филологического факультета, ей 18 лет), спешим, взволнованные и возбужденные, на заседание религиозно-философского общества имени Вл. Соловьева: нас вводит туда наша тетка Софья Федоровна Добротворская, постоянная посетительница заседаний этого общества.

Мы идем переулками между Остоженкой и Пречистенкой. Вот и роскошный купеческий особняк в Мертвом переулке, недалеко от церкви Успения на Могильцах, где помещается, как всем известно, издательство «Путь» и происходят заседания общества. Вниз по ступенькам лестницы, устланной ковровой дорожкой, спускаемся мы в низкое полуподвальное помещение, раздеваемся в гардеробной. Еще несколько ступенек вниз — и попадаем в буфетную, где на стойках у одной из стен разложены самые разнообразные вкусные вещи: аппетитные бутерброды,

пирожные, ломтики кекса. Буфетная разделяет два зала: направо — большой зал заседаний с ровными рядами стульев и столиком для докладчика; налево — комната для кулуарных разговоров, где люди встречаются, обмениваются мнениями, где происходят предварительные, неофициальные обсуждения прослушанного. На стенах того и другого зала развешаны старинные русские иконы, и это придает им совсем особый, ни с чем не сравнимый колорит.

Смущенные, робко входим в лекционный зал, занимаем места подальше, осматриваемся. Впереди, там, где столик лектора, замечаем величественную фигуру красивой дамы в длинном платье со шлейфом. Многие подходят к ней, почтительно раскланиваются, целуют руку, она приветливо улыбается. Среди подошедших замечаем массивную фигуру уже пожилого человека с явно выраженными монгольскими чертами лица. Дама — хозяйка этого дома, Маргарита Кирилловна Морозова, невестка известного всей Москве богача Саввы Морозова. Она меценатка, субсидирующая издательство «Путь» и дающая пристанище для недавно основанного религиозно-философского общества. Склоненный перед нею в поклоне человек — князь Евгений Николаевич Трубецкой, один из основателей этого общества, профессор Московского университета по кафедре энциклопедии права на юридическом факультете и брат покойного ректора и философа князя Сергея Николаевича Трубецкого. Вот входят и другие не менее известные лица: о.Павел Флоренский, автор недавно вышедшей и уже нашумевшей книги под названием «Столп и утверждение истины», — книги, которую читают нарасхват и о которой много спорят. Он в темной рясе, маленький, невзрачный, как-то боком смотрящий. Когда ненароком встречаешься с ним глазами, взгляд этих черных горящих глаз освещает лицо, и оно кажется прекрасным. Тут же Николай А. Бердяев, автор очень интересной книги «Философия свободы». Он пугает нас своим видом: высокий, грузный, с черными как смоль волосами, он страдает безобразящим его нервным тиком — непрерывным выкачиванием языка. Рядом с ним Сергей Николаевич Булгаков с умным взглядом скуластого лица и взъерошенными волосами. Он бывший марксист, в выпущенной им недавно книге «Философия хозяйства» он подверг резкой критике свои прежние взгляды и выдвинул новую, религиозную точку зрения на хозяйственную деятельность человека, в которой он прежде всего вскрывает ее глубокий этический смысл. Невдалеке стоит Влад. Эрн, высокий полный блондин с водянисто-голубыми глазами, под которыми уже обозначились темные мешочки почечного больного. Талант-

ливый философ с полемическим складом ума, он только что защитил диссертацию об итальянских философах Джоберти и Розмини и выпустил сборник статей под общим заглавием «Борьба за Логос». Все эти люди — цвет московской интеллигенции, сотрудники издательства «Путь», так или иначе связанные с именем Вл. Соловьева — его школа, продолжатели его дела.

Среди философов выделяется группа поэтов-символистов, примыкающих по своим философско-эстетическим взглядам к школе Вл. Соловьева. Наряду с Пушкиным и Тютчевым, символисты высоко ставят стихотворения покойного философа, в которых усматривают первые проявления русского символизма. Постоянными посетителями философских собраний в доме М.К. Морозовой и активными участниками в дискуссиях были Вяч. Иванов и Андрей Белый. Помню Вяч. Иванова, который приходил иногда со своей женой — сомнамбулой, смотрящей куда-то вдаль своими точно незрячими глазами, как андерсеновская русалка, вышедшая из морских вод и с недоумением озирающаяся вокруг. Запомнился также и внешний облик Анд. Белого с его высоким лбом под жиденькими волосами и каким-то безумным взглядом синих глаз.

Зимами пятнадцатого-шестнадцатого годов мы часто бывали в Мертвом переулке. Рефераты и особенно прения по ним нам, по молодости лет, не всегда были понятны, но благотворно действовал самый дух высокой интеллектуальной жизни, который не мог нами не чувствоваться и приподнимал над повседневностью и обыденностью. Особенно ярко запомнились заседания с рефератами кн. Е.Н. Трубецкого, Вл. Эрна, С.Н. Дурылина и более смутно широко развернувшаяся дискуссия по книге С.Н. Булгакова «Философия хозяйства». В прениях по докладам Е.Н. Трубецкого (о «Свете Фаворском» — по поводу книги о.П.Флоренского «Столп и утверждение истины» и Вл. Эрна («От Канта к Крупну»)), вызвавших оживленный обмен мнениями, выступил ранее мною не замеченный молодой человек лет 23-24, как оказалось, один из группы учеников Е.Н. Трубецкого. О существовании этой группы я знала раньше по неоднократным выступлениям Леонида Васильевича Успенского, молодого талантливого философа, впоследствии профессора на юридическом факультете в САГУ (Средне-Азиатском университете). Молодой человек, о котором я сказала выше, был среднего роста, в хорошо сшитом сюртуке, с постоянной какой-то детской рассеянной улыбкой на лице, чем-то отдаленно напоминавшем лицо Гоголя, с нервным подергиванием правого плеча, которое становилось особенно заметным во время выступлений. Выступал он всегда, как я потом подметила, по

церковным вопросам, выступал обстоятельно и содержательно, но не для широкой публики — сидя, отвернувшись в полоборота к залу, он много проигрывал в глазах тех, кому, как, например, в те годы мне, хотелось чего-то более эффектного. То ли дело Леонид Васильевич Успенский, небольшого роста, приземистый, сильно сутулый (настоящий «конек-горбунок»), с большим лбом, который казался еще больше от лысины, и прекрасными синими глазами, выступал всегда очень живо, захлебываясь, плюясь, но ярко и эмоционально. Поэтичными были всегда выступления С.Н. Дурылина. Молодой литературовед с религиозно-философской устремленностью, он появлялся обычно в зале окруженный стайкой молодых круглолицых и румянолицых девиц Богомоловых (их было несколько сестер), и этим сразу привлек наше внимание. Он не раз выступал с рефератами, из которых большое впечатление оставил на нас реферат о лирике Лермонтова, эмоциональный, лиричный, романтический. Мы были в восторге от этого доклада, и с тех пор С.Н. Дурылин занял прочное место в наших сердцах. Но вот в выступлениях Николая Николаевича Фиолетова, как звали молодого церковника, в прениях по докладам Е.Н. Трубецкого и Вл. Эрна, о которых говорилось выше, хотя и не было горячности Леонида Успенского и романтической взволнованности С.Н. Дурылина, прозвучал голос серьезного, глубокого и убежденного человека, и то, что им было тогда сказано, произвело на меня настолько сильное впечатление, что я запомнила эти, внешне не эффектные, но внутренне содержательные выступления, как впрочем и самые рефераты. Не буду говорить пока о самих рефератах (в них были затронуты большие философские проблемы) и о выступлениях по ним молодого богослова, замечу только, что содержание сказанного им в те далекие годы было характерно для него, и позднее, уже в пору зрелости, он не изменил взглядам своей молодости. Но об этом после.

Слушая эти выступления, я никак не думала, что этот молодой человек в будущем прочно войдет в мою жизнь.

Осенью 1922 года, через 6 лет после описанных мною встреч в памятном доме на углу Пречистенки и Мертвого переулка, я снова встретила с Н.Н. Фиолетовым при совсем других обстоятельствах и в другой обстановке. Это было в Саратове, на заседании студенческого философского кружка, посвященном социально-философским взглядам проф. С.Л. Франка. Незадолго перед этим в Саратове вышла его новая книга по вопросам социологии (он выдвинул в ней идею общественного бытия как особого вида

реальности, подчиняющейся закономерностям, отличным от законов природы), сам же он в числе «ста» был выслан за границу, насколько помнится, — по декрету Зиновьева.

Доклад на заседании было поручено сделать мне, как одной из ближайших учениц С.Л. Франка. Присутствовали как «философы» постоянные участники семинара Франка (Эмилий Беркович, Г.П. Иванов — в будущем преподаватели психологии в вузах, Соломон Белевицкий — фармацевт, в возрасте далеко за сорок лет увлекшийся философией и ставший студентом философского отделения), так и юристы с философскими интересами (Борис Николаевич Хатунцев, прис. повер. П.Лебедев и нек. др.). На заседание кружка был приглашен только что приехавший в Саратов молодой профессор по теории права и истории политических учений Н.Н. Фиолетов. В перерыве между докладом и принятия мы познакомились и как-то очень быстро сошлись. Объединяли не только общность мировоззрения и интересов, но и сходство во взглядах на жизнь — одинаковость отношения к жизни.

Николай Николаевич, как мне говорили, был большой чудак (об его чудачествах ходили в профессорско-студенческих кругах анекдоты), а мне с моим всегдашним неприятием обыденщины это как раз и нравилось. В мае 1923 года мы обвенчались и прожили вместе, не разлучаясь, до лета 1941 года. 25 июня, через три дня после развязывания Германией войны, он ушел из дома, чтобы больше не вернуться. 8-го марта 1943 года он скончался в Маринском концлагере от пеллагры — заболевания, возникающего на почве длительного недоедания и вызванной им дистрофии.

«Получудак-полусвятой», — так охарактеризовал его один из его друзей. Действительно, чудачества было в нем много. В полном смысле «не от мира сего», он был не такой, как все. С детской улыбкой на лице и рассеянным взором очень синих, всегда веселых глаз, он постоянно витал «в эмпириях», далекий от житейских интересов и повседневных забот. Крайне неприхотливый в личной жизни, он мало страдал от лишений и житейских невзгод, но зато тем сильнее, иной раз до слез, переживал события нашей общественной, такой еще неустроенной и полной глубоких внутренних противоречий жизни. Он буквально «болел» скорбями Церкви и той социальной несправедливостью, которая была характерна для 20-х — 30-х годов и привела в дальнейшем к возникновению и развитию таких тягостных для нашей страны явлений, как «ежовщина», и, особенно, породивший ее «культ личности».

Легкий по характеру, жизнерадостный по натуре, общительный, доверчивый и доброжелательный к людям, он был глубоко убежденным христианином и органически церковным человеком. Он не представлял себе жизни без Христа и вне Церкви. Трогательным было его бережение креста, с которым он никогда не расставался: лишиться креста было для него равносильно потере жизни.

Жизнь Николая Николаевича с его ясным, с таким жизнепримлющим и радостным христианским мировоззрением, протекла в условиях воинствующего атеизма, характерного для предвоенных лет в истории нашей страны. Не будучи бойцом по природе, мягкий, уступчивый, «дипломат», каким его некоторые считали, он в то же время стойко нес выпавший на его долю крест скорбей и страданий, не согнулся под их бременем, не «сошел с креста» (по выражению оптинских старцев). С полным правом можно сказать о нем словами апостола Павла: «подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (II Тим., 4,7). В этом отношении его жизнь достойна того, чтобы сохранить ее в памяти для будущих поколений, и во многом поучительна для христиан нашего времени.

О детстве Н.Н., о годах его учения и начале общественной и служебной деятельности я напишу по рассказам Н.Н., сохранившимся у меня в памяти. Вся остальная жизнь протекла у меня на глазах, и я буду руководствоваться своими личными воспоминаниями.

ГОДЫ УЧЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ (1899/1900 — 1906/1907 уч. годы)

Николай Николаевич Фиолетов родился 1-го декабря 1891 года в большом и богатом приволжском селе Ерзовке в 30 верстах от Царицына (ныне Волгограда) в семье священника. Его родители числили в своих предках, насколько хватала память, сельских иереев, диаконов и дьячков в храмах степных сел Нижнего Поволжья. Отец Николая Николаевича, священник села Ерзовка Николай Константинович Фиолетов был человеком не совсем заурядным. Сын бедного многодетного псаломщика в одном из сел Камышинского уезда Саратовской губернии, он один из всей семьи получил образование и выбился из беспросветной нужды, который был задавлен его отец. /.../*

* Далее следует подробный рассказ о жизни Н.К. Фиолетова и его семьи, о смерти жены, судьбах братьев и сестер Н.Н., последних годах жизни его отца.

Николай Николаевич любил своего отца, был похож на него не только лицом, но и по характеру, часто вспоминал о нем и любил рассказывать о жизни в родном доме. Благодарную память сохранил он в своем сердце и к тете Кате.

Добрая и ласковая тетя Катя заменила детям рано умершую мать, и у них, особенно у младшего, Коли, не было тягостного чувства сиротства. Размеренное течение жизни с праздниками и постами, отец, всегда ровный в обхождении, общительный и веселый, тетя Катя с ее интеллектуальными интересами и любовью к книге, находившая время и для бесед с детьми, — всё это самым благоприятным образом сказывалось на детях. Каждый в свое время уезжал на учебу: старший брат и сестра уже учились в Саратове в духовной школе, он — в семинарии, она — в епархиальном училище. Наступило время и для младшего сына Коли расстаться с родным домом. Когда ему исполнилось 9 лет, отец отвез его в Камышинское духовное училище, но поместил не в общежитие, а на частной квартире в доме одного из преподавателей училища. Здесь же он и питался. Все четыре года пребывания в Камышине он провел в этой семье вдвоем с одним из товарищей. От этого времени у него ярче всего сохранилась в памяти поездка на рождественские каникулы домой. Обычно за 2-3 дня до Сочельника приезжал за ним молчаливый, угрюмый, но с добрым сердцем сторож /.../ и привозил с собой тулуп и овчины. Мальчика, который был довольно тщедушен и мал ростом, заворачивали в тулуп, так что выглядывал только нос, накидывали овчины и рано утром по морозу выезжали домой. Лошадка, своя, домашняя, запряженная в сани, вкусный, морозный воздух, бесконечные снежные просторы, ожидание предстоящей встречи с родными (приезжали и Александр с Евгенией*) радостно волновали и врезались в память, как одно из самых приятных воспоминаний.

Обучение в духовном училище шло еще по старинке, «от сих до сих», хотя наказаний или какой-либо особой строгости не было уже и в помине. С юмором рассказывал Николай Николаевич об одном из своих учителей. Высокий рыжебородый мужчина с громовым голосом, он поражал учеников своей манерой прерывать рассказ в самом неподобающем месте (преподавал он Священную историю Нового Завета). «Господь наш Иисус Христос сказал, — начинал он рассказ, и вдруг: — Орлов! Выйди вон!» — с простертым в сторону двери указующим перстом, а затем, как ни в чем не бывало, продолжал свое повествование. Маль-

* Брат и сестра Н.Н. Фиолетова. — Публ.

чишек это страшно забавляло, и они иной раз нарочно чинили какую-либо шалость, чтобы еще раз услышать смешившие их возгласы учителя.

По окончании духовного училища Николай уже мальчиком-подростком едет в Саратов и поступает в ту самую духовную семинарию, в которой учился его отец и заканчивал курс обучения старший брат Александр. Годы учения Николая Николаевича в семинарии пали на тревожное, богатое событиями время первой русской революции и последующих за ней лет. Зимой 1904-1905 уч. года — года поступления Николая Николаевича в духовную школу — мощная волна революционного движения прокатилась по всей стране. Слухи об уличных боях на баррикадах Москвы, о демонстрациях и забастовках во многих крупных и малых промышленных городах докатились и до стен семинарии. Революционные настроения проникли и в среду учащейся молодежи духовной школы. Резко упала дисциплина, на старших курсах мечтали о поступлении в университеты, о светской карьере. Духовное звание мало кого привлекало, верующих в подлинном смысле слова, понимающих значение пастырства и желающих посвятить себя служению на ниве церковной, было мало, и семинарское начальство было хорошо осведомлено об этой нежелательной для духовной школы настроенности ее воспитанников. По всей вероятности, как показал дальнейший ход событий, среди учащихся существовали и нелегальные революционные кружки и велась тайная пропаганда недозволенных учений. Все это не могло не волновать семинарское начальство. Однако, вместо того чтобы улучшить постановку дела, углубить воспитательную работу среди учащихся, всеми способами раскрывать и разъяснять высокий смысл пастырского служения и его значения для русского народа, косневшего в темноте и невежестве, семинарское начальство, по всей вероятности не без нажима со стороны правящего саратовского архиерея Гермогена, известного своими крайне правыми взглядами, пошло по линии усиления строгости, введения дисциплинарных мер и административного воздействия. Особенной строгостью отличался инспектор семинарии Целебровский. Человек умный, но властный, убежденный монархист, он ввел в стенах семинарии жесткий режим; за малейшую провинность следовали суровые наказания вплоть до исключения. Больше заботились не столько о религиозно-нравственной настроенности будущих пастырей, сколько об их политической благонадежности. Это смешение духовного с мирским, Церкви с политикой, больно затрагивало наиболее чуткие души. Всюду росло недовольство, и оно проникало не только в среду революционно

настроенной молодежи, но и тех юношей, которые сохранили веру отцов и готовы были отдать всю жизнь на служение Церкви. Николай Николаевич никогда, даже в самые молодые свои годы, не был революционером и не проявлял интереса ни к партийной, ни к политической работе вообще. В семинарии, особенно на последнем курсе, он с большим интересом занимался такими предметами, как история философии и психология (преподавателя последней он очень хвалил), много читал по этим предметам. Уже в семинарии он познакомился с некоторыми классиками и увлекся философией Вл. Соловьева. Но строгости, введенные Целебровским, возмущали и его, и когда общее недовольство кончилось взрывом — один из студентов убил Целебровского — и начались массовые исключения виновных и невиновных, он сам подал заявление об уходе из семинарии. Заявление было охотно принято, никто не поговорил с юношей по душам, никто не постарался удержать его в стенах школы. Отец, узнав об этом, пришел в отчаяние: рушились мысли об Академии, о высшем духовном образовании, к которому стремился и сам Николай Николаевич. Под угрозой стояла вообще возможность закончить курс среднего образования, следовательно впереди был путь недоучки, и это при богатых способностях любимого сына. Он бросился к ректору и архиерею (еп. Гермогену) с просьбой принять сына обратно, дать ему возможность доучиться, тем более, что по успеваемости он шел в первых рядах, но ни тот, ни другой не пошли на уступки: уход по собственному желанию оказался в сущности исключением.

Об этом эпизоде в своей жизни Николай Николаевич вспоминал с грустью, хотя и не сожалел о годах, проведенных в духовной школе. Он считал, что эта школа, несмотря на многие серьезные недостатки в постановке дела, все же многое дала ему: возбудила и укрепила любовь к философско-богословским наукам, серьезно подготовила к самостоятельным занятиям в высшей школе. Уровень развития семинаристов, по его отзыву, был значительно выше уровня гимназистов. Уйдя из семинарии, он стал интенсивно готовиться к поступлению в седьмой класс классической гимназии. Все лето пришлось провести в занятиях математикой и французским языком, так как программы по этим предметам в гимназии были выше, чем в семинарии. Осенью 1907-1908 уч. года он сдал экзамены в седьмой класс царицынской гимназии и, окончив ее осенью следующего года (1908/9 уч. год), поступил, с согласия отца, на юридический факультет Московского университета. Духовная карьера для него, исключенного семинариста, была закрыта.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
(1908/9 — 1911/12 уч. гг.)

Если годы учения в духовной школе были полны волнений и тревог и закончились катастрофой, то время пребывания в университете протекало в относительно спокойной обстановке как в общественном, так и в личном плане. Отец Николая Николаевича к этому времени был уже вполне обеспеченным человеком и мог содержать своего любимого младшего сына в столичном городе, тем более что старший сын Александр уже закончил Казанский университет и успешно занимался адвокатурой.

Николай Константинович поехал в Москву вместе с сыном, чтобы помочь ему устроиться на квартире в приличном доме. В Москве он заручился рекомендацией своего дальнего родственника, профессора Московской консерватории, к вдове одного из священников храма, что в Чернышевском переулке. Пожилая вдова, жившая со своею уже взрослой дочерью в небольшой уютной квартирке церковного дома, охотно сдала комнату со столом за сходную цену. Комната во всех отношениях устраивала: чрезвычайно удобное местоположение — университет и Румянцевская библиотека в 15-ти минутах ходьбы; семья культурная: мать, очень полная, преклонных лет женщина, проводила все дни в большом кресле у окна столовой за чтением газет и журналов, очень интересовалась вопросами политики, театра, литературы и любила поговорить на эти темы. Дочь ее, немолодая девушка с высшим образованием, служила секретарем в редакции газеты «Русские Ведомости» и была хорошо знакома со многими деятелями этой газеты.

Здесь, в этом тихом и интеллигентном семействе, Николай Николаевич безвыездно прожил не только свои студенческие годы, но и годы аспирантуры, т.е. в общей сложности почти девять лет, с осени 1908 г. по июнь 1917 г.

Поступив на юридический факультет Московского университета, Николай Николаевич с самого же начала увлекся философскими предметами, входившими в программу 1-го курса, и в особенности лекциями по энциклопедии права, которые читал профессор Евгений Николаевич Трубецкой. Подобно своему старшему брату, ректору университета и профессору философии Сергею Николаевичу Трубецкому, автору курса по истории древней философии и очень серьезного исследования о Логосе в античной метафизике, Евгений Николаевич интересовался не только вопросами теории права и истории политических учений, но и кругом

более широких философских проблем. Его перу принадлежит одно из лучших исследований о Влад. Соловьеве и его философской системе. Несколько позже он выпустил книгу под заглавием «Смысл жизни», был знатоком русской иконописи, которой посвятил несколько статей, как например, «Умозрение в красках». Выдающийся педагог, он не только увлекал своими лекциями учащуюся молодежь, но и привлекал ее к себе. Уже на первом курсе Николай Николаевич записался на объявленный Трубецким семинар по проблемам этики и был активным участником этого семинара. В первом же семестре он прочитал доклад об «Утилитаризме в этике», в котором подверг критике учения Дж.С.Милля и Бентама с позиций философии Вл. Соловьева. Доклад вызвал живой обмен мнениями и был отмечен профессором, как один из лучших. Семинарские занятия велись на высоком уровне и их охотно посещали не только первокурсники, но и студенты старших курсов, из числа которых выделилась группа ближайших учеников Трубецкого. Николай Николаевич познакомился с этими студентами, сблизился с ними и вошел в состав этой группы. И впоследствии он сохранял самые дружеские отношения с Леонидом Васильевичем Успенским и Степаном Федоровичем Кечекьяном, был хорошо знаком с Устряловым и Ключниковым, хотя и был далек от провозглашенной ими уже в советское время доктрины «сменовеховства».

Иногда на семинар приходили и представители так называемого революционного студенчества — той группы студенческой молодежи, которая противопоставляла себя «академической молодежи», главной своей целью ставила не столько учение, сколько политическую борьбу. Лидером этой группы на юридическом факультете в то время был Бухарин. В красной рубашке-косоворотке, подпоясанной ремнем, приходил он на семинар во главе своих соратников, чтобы дать «бой» идеалистам «с позиций марксизма». Спор разгорался не на шутку. Николай Николаевич принимал живейшее участие в этих спорах, неизменно отстаивая идеи положительной философии. Увлечение материализмом, как философским учением было для него кратковременным (еще до поступления в университет, возможно, в 7-м классе гимназии) и уже пройденным этапом. В университет он пришел убежденным последователем Влад. Соловьева.

Увлечение Трубецким, выдающимся философом и талантливым педагогом, прошло через все студенческие годы. Чисто юридические науки (юриспруденция в строгом смысле слова) мало интересовали Николая Николаевича. Он целиком был захвачен философскими интересами. Позднее, на последних курсах у него

пробудился интерес к церковному праву. Толчком к этому явились занятия над темой, объявленной факультетом на золотую медаль и касавшейся некоторых вопросов средневекового канонического права, связанных с именем папы Льва XIII. Заинтересовавшись этой темой, Николай Николаевич написал сочинение, которое было удостоено высшей награды — золотой медали. Было оно одобрено, как он позднее узнал, и Ватиканом. Этот успех предопределил его дальнейшую судьбу: по окончании университета ему было предложено остаться при кафедре канонического права для подготовки к научной деятельности по этой дисциплине. Кафедрой руководил профессор канонического права П.В. Гидулянов, с которым Николай Николаевич никогда не был близок, но тем не менее он принял это предложение, во-первых, в силу сложившихся обстоятельств (кн. Е.Н. Трубецкой к этому времени ушел из университета, возмущенный, как и ряд других профессоров, деятельностью министра народного просвещения Кассо, боровшегося против университетской автономии, и на кафедре по энциклопедии права не было вакантных мест: ранее, еще при Трубецком, были оставлены старшие товарищи Николая Николаевича Л.В. Успенский и С.Ф. Кечекьян) и, во-вторых, по мотивам принципиального характера: при более близком знакомстве с каноническим правом он усмотрел в нем проблемы, тесно связанные с догматикой, с учением о Церкви и христианской этикой. Сохраняя связь с Е.Н. Трубецким, Николай Николаевич вместе с тем взялся за серьезное изучение канонического права. В своем выборе он никогда не раскаивался. Каноническое право он изучал в тесной связи с историей Церкви и святоотеческими учениями, с догматикой в ее развитии, и философская школа, которую он прошел под руководством Трубецкого, помогла ему в освоении каноники, в религиозно-философском осмыслении ее проблем. В то же время отвлеченная философия с ее абстрактными проблемами в духе германских мыслителей XIX-XX вв. никогда не была ему близка.

ГОДЫ ПОДГОТОВКИ К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ (1912/13 — 1916/17 уч. годы)

По окончании университета Николай Николаевич вступил в коллегия присяжных поверенных, но практически адвокатурой никогда не занимался, в противоположность Л.В. Успенскому, специализировавшемуся на крестьянских делах и имевшему большую клиентуру среди крестьян. Такому положению дела отчасти

способствовали обеспеченное существование, а также свойственное Н.Н. равнодушие к наживе, к материальным благам. Он мог довольствоваться малым, и стипендия, которую он получал как оставленный при университете, в соединении с ежемесячной помощью от отца, который продолжал субсидировать сына, чтобы дать ему возможность спокойно учиться, вполне удовлетворяли его потребности в деньгах и давали возможность жить, не заботясь о хлебе насущном. Н.Н. стал серьезно готовиться к магистерским экзаменам и к диссертации, не оставляя в то же время философских занятий. За это время им была написана статья под названием «Общественная философия Влад. Соловьева», напечатанная в «Трудах университета им. Шанявского» за 1915 год. Вместе с тем, как говорилось уже раньше, он был одним из активнейших участников заседаний религиозно-философского общества им. Вл. Соловьева и часто выступал в прениях по докладам. Наиболее интересными были его пространственные выступления по реферату кн. Е.Н. Трубецкого о Свете Фаворском (по поводу книги о. П.Флоренского «Столп и утверждение истины») и по остро полемическому докладу Влад. Эрна: «От Канта к Круппу».

В своем реферате Ев.Н. Трубецкой выступил в защиту разума против антиномизма о. П.Флоренского, черты которого ясно проскальзывали в необычайно интересной книге последнего «Столп и утверждение истины». Разум с точки зрения отца Павла, всегда антиномичен, он раскалывается между двумя взаимоисключающими положениями, причем в каждом из них просвечивают отблески истины. Человек беспомощно стоит перед дилеммой, не зная, за что ухватиться, и тогда из глубины открывающейся перед его интеллектом бездны сомнения протягивает ему руку помощи вера, соборный, религиозный опыт Церкви, которая является для него единственной твердой опорой — «Столпом и утверждением истины». Е.Н. Трубецкой, возражая отцу Павлу, подчеркивал в вере, подобно молнии освещающей бездонную глубину бездны, в которую с ужасом глядит человек, не противоречие разуму, а свет высшего разума, в высшем синтезе преодолевающего антиномии рассудочного познания. Антиномичен не разум, а рассудок с его скованностью логическими законами тождества, противоречия, исключенного третьего. Разум, возвышаясь над этими законами, диалектичен: утверждая относительную правду всякого «да» и всякого «нет», он достигает вершины ведения, где эти относительности погашаются в синтезе, сочетающем в высшем единстве «да» и «нет». Акт окончательного, последнего утверждения этой выс-

шей, сверхлогической, но не противоразумной истины принадлежит вере.

В споре между о. Павлом и Е.Н. Трубецким Николай Николаевич встал на сторону последнего. Вера для него всегда была не тертуллиановское «credo ut absurdum» — «верю, хотя это нелепо», в котором он усматривал крик души отчаявшегося человека, а ансельмовское «credo ut intelligim» — «верю, чтобы уразуметь», причем под уразумением он понимал не познание конечного мира посредством рассудка, а постижение разумом того Абсолютного Начала, которое лежит в основе всякого конечного и относительного бытия. «Наука рассматривает вещи конечного мира с точки зрения их связи, с точки зрения последовательности происходящих процессов (вопрос "почему"); религия — с точки зрения их последнего основания и смысла (вопросы "что" и "зачем")» — так сформулирует он впоследствии высказанные им еще в молодости мысли об отношении между верой и разумом, религией и наукой.

Содержательным было и большое выступление Николая Николаевича по докладу Вл. Эрн «От Канта к Круппу». В этом докладе талантливый философ отдал дань времени. Шел 1916 г., неудачная война была в самом разгаре. Немцы проявляли себя в этой войне с самой неблагоприятной стороны: пресса была наполнена описанием зверств германских войск, чинимых ими на территории захваченных областей. Волна возмущения и негодования охватила русское общество. В отповеди немцам кое-кто хватил через край, обвинив в зверствах всю германскую нацию, весь немецкий народ, и среди этих людей оказался и Вл. Эрн. В своем докладе он обвинил в национализме и шовинизме всю немецкую культуру, утверждая, что германский милитаризм коренится в самой сущности немецкой нации, воспитанной на рассудочном протестантизме и вытекающей из него философии Канта, этого наиболее характерного для германского духа продукта.

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Среди выступавших был и Николай Николаевич, которого задело огульное порицание всей духовной немецкой культуры, выросшей на почве протестантизма. В своем выступлении он взял под защиту протестантизм, как подлинное христианское вероисповедание, возникшее в противовес действительно нетерпимым крайностям католицизма и в этом смысле религиозно и исторически обоснованное и оправданное. Из духа протестантского благочестия никак не вытекают милитаризм и шовинизм, свойственные не германскому народу в целом, а его военной верхушке, юнкер-

скому прусачеству, взлелеенному Фридрихом Великим и его преемниками. Источник немецкого милитаризма коренится не в протестантизме, а в таких духовных течениях германской культуры, как, например, философия М.Штирнера и Фр.Ницше*, ничего общего с протестантизмом не имеющих.

Это выступление Николая Николаевича, сделанное им в возрасте 24 лет, было чрезвычайно характерно для него. На протяжении всей своей жизни он был принципиальным противником смешения религии с политикой, с «злостью дня». Он считал, что во всяком религиозном мировоззрении надо прежде всего видеть его подлинное, свободное от житейской суеты и мирских интересов, духовное зерно, и именно его, т.е. то, что относится к самой сущности того или иного религиозного мировоззрения, и иметь в виду при критическом подходе к нему. В разрешении великого спора между тремя христианскими церквями он разделял взгляды митрополита Московского Филарета и Влад. Соловьева, полагая, что расхождения, или, говоря словами московского святителя, «перегородки» между ними «до неба не доходят»; они носят относительный характер временного порядка, обусловленного историческими причинами. В последний момент человеческой истории, когда будут решаться судьбы мира, перед лицом антихриста встанут, забыв прежние распри, все три великих христианских вероисповедания, и каждое из них в лице своих представителей провозгласит свою верность Христу, отвергнет соблазн антихристовых чудес и о имени Христовом забудет свою давнюю вражду. Этой концепции Влад. Соловьева, развитой им в художественных образах в «Трех разговорах», Николай Николаевич был верен до конца и не только теоретически, но, как увидим в дальнейшем, и практически. В известном смысле он предвосхищал идеи современного экуменизма.

Участвовал Николай Николаевич также и в дискуссии по поводу книги С.Н. Булгакова «Философия хозяйства». Ему была близка главная идея этой книги — идея религиозно-нравственного обоснования трудовой деятельности человека. Впоследствии он разовьет эти мысли в одной из глав своей «Апологетики» — в статье «Христианское отношение к труду».

В годы подготовки к магистерским экзаменам, особенно зимой 1916-1917 гг., Николай Николаевич уделял много времени общественной деятельности. Активное участие принимал он в

* М.Штирнер. *ЕДИНСТВЕННЫЙ И ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ*; Ф.Ницше. *ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА, ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА* и др.

работе московского Комитета помощи беженцам, возглавляемого супругой московского генерал-губернатора кн. Голицына Верой Петровной Голицыной (ур. Трубецкой, племянницей кн. Е.Н. Трубецкого). Полуцыганка (по матери), красивая, обаятельная в обращении, княгиня Вера Петровна умела собирать вокруг себя преданных ей помощников. Николай Николаевич, познакомившись с ней через Евгения Николаевича Трубецкого, оказался в их числе. Романтическая увлеченность княгиней сочеталась у него с любовью к общественной работе, построенной на широких (непартийных) началах, и с пробудившимся под влиянием несчастной войны чувством патриотизма, и он с увлечением работал в Комитете, выполняя разнообразные его поручения.

В декабре 1916 года были сданы последние магистерские экзамены и защищена диссертация. Одна из двух пробных лекций была прочитана им на тему: «Рецепция (принятие) как источник церковного правообразования», в 1917 году напечатанная в виде статьи в первом номере «Юридического вестника»*. В ней он развивал либеральную для того времени идею (наряду с епископатом) об особой роли «мира», «народа», как тела Церкви в принятии новых церковных правовых норм.

В январе 1917 года он был назначен приват-доцентом по кафедре церковного права на юридическом факультете Московского университета, а в мае был переведен на должность профессора церковного права на юридический факультет только что открывшегося в Перми государственного университета.

В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (май 1917 — май 1922)

Получив назначение в Пермский университет, Николай Николаевич весной 1917 г. выехал в Пермь для устройства, распорядившись с радушной хозяйкой и комнатой, в которой он мирно прожил девять лет. Ехал он с большими надеждами: предстояла интересная самостоятельная работа — научная и преподавательская деятельность, общение со студенческой молодежью, возможность влиять на нее, формировать мировоззрение молодых людей, готовить из них просвещенных деятелей, положительно относящихся к Церкви, понимающих ее общественно-историческое значение и ее роль в созидании нового общества. Этим мечтам не суждено было сбыться. Новый 1917-й учебный год

* «Юридический Вестник», 1917, №1.

начался в атмосфере всеобщего возбуждения, охватившего после февральского переворота всю страну. Нормальная академическая жизнь была прервана на долгие годы. Университетские аудитории превратились в места студенческих сходок, митингов, демонстраций. Из революционного подполья вышла наиболее радикально настроенная молодежь, призывавшая беспартийную, так называемую «академическую» молодежь бросить посещение лекций и немедленно включиться в революционную борьбу. Слушание лекций, сдача экзаменов, участие в семинарских занятиях стало рассматриваться как дело предосудительное и приравнивалось чуть ли не к контрреволюции. Все неимоверно торопились, точно боясь опоздать — кто в деревню агитировать крестьянство, кто на фабрики и заводы, поднимать на борьбу пролетарские массы, кто на фронт, к солдатам. Нервная спешка, суетливость, стремление «поучать» и «выступить», ставшее своего рода манией, были характерными чертами русского студенчества в первые месяцы после февральского переворота. В обстановке, полной нервной ажитации и тревоги за будущее, началась подготовка к самой важной задаче времени — созыву Учредительного собрания, от которого ожидали определение конституционных основ нового государства. Как грибы после дождя, возникали всякого рода партии и союзы — профессиональные, сословные, и каждый из них требовал внимания к себе, к своим потребностям и интересам. Так как голосование в Учредительное собрание должно было произойти по партийным спискам, каждый из российских обывателей должен был примкнуть к той или иной партии.

Вот в это-то смутное время Николаю Николаевичу пришлось начинать научно-преподавательскую деятельность в Университете. Летом, во время каникул 1917 г., он начал подготовку к началу учебного года. Условия жизни, однако, не благоприятствовали академической работе, требующей спокойствия духа и сосредоточенности. Лето было смутное, сумбурное. Политическая борьба разгоралась, страсти были накалены до предела, в воздухе пахло грозой. Разруха, голод, общее неустройство предвещали тяжелую, полную лишений жизнь.

Партийная работа всегда была ему чужда. Он был органически церковным человеком, жил интересами и заботами Церкви, и партийный ажиотаж, возникший в дни предвыборной агитации, совсем не затрагивал его. По необходимости (так как уклоняться от голосования на выборах в Учредительное собрание он не считал для себя возможным, а голосовать нужно было по партийному списку, записался он в ряды вновь организованной партии

«энесов» — народных социалистов, на том основании, что эта партия больше других уделяла места в своей программе церковным вопросам и провозглашала положительное отношение к православно́й Церкви.

В церковных кругах и в кругах близких к Церкви также царило большое оживление, вызванное надеждами на близкий созыв долгожданного Всероссийского Церковного Собора. К Собору готовились уже давно. Несколько лет работали предсоборное совещание и Московская комиссия по церковным вопросам, наметившие наиважнейшие проблемы, подлежащие рассмотрению на предстоящем Соборе, и среди них, как первоочередная, — проблема отношения Церкви к государству и, в связи с ней, — проблема высшей церковной власти. В условиях царского самодержавия вопрос о созыве Собора откладывался в долгий ящик (Николай II нашел созыв «несвоевременным» и «преждевременным»), поэтому, когда царская власть пала, первые задачи, возникшие перед церковным обществом, были задачи скорейшего созыва Собора.

Николай Николаевич был захвачен этими всеобщими надеждами, он был сторонником необходимости церковных реформ, — таких реформ, которые, не затрагивая догматической сущности Церкви, способствовали бы оживлению церковной деятельности и вместе с тем оказались бы толчком к христианизации и всех мирских форм жизни. Все свои силы он отдает в это время литературному творчеству. Он пишет статьи по церковным вопросам в «Утре России», газете, которая стала выходить после февральского переворота и сочувственно относилась к Церкви, усматривая в ней большую общественную силу. В издательстве Лемана выходит его брошюра: «Церковь в обновленной России», в издательстве Московской Просветительной Комиссии при Временном Комитете Государственной Думы — другая, близкая по теме к первой: «Государство и Церковь». Несколько ранее он перерабатывает свою пробную лекцию «Рецепция (принятие) как источник церковного правообразования» в статью, которая печатается в журнале «Юридический Вестник» (1917 г., №1, январь). В этой последней статье развивается мысль, имеющая прямое отношение к решению вопроса о составе предполагаемого Собора, и излагается православная точка зрения на роль «мирского начала» в Церкви — церковного народа, в обсуждении и принятии соборных постановлений в отношении той или иной сферы церковной деятельности. В статье подчеркивается, что в древней Церкви на всех Соборах всегда присутствовали представители от мираян, уполномоченные высказывать мнение на-

рода по поводу обсуждаемого вопроса, и они неизменно пользовались этим правом. Так, по свидетельству первого церковного историка Евсевия Памфила, во время начавшегося спора о монотанризме «верующие начали часто и во многих местах собираться и, исследовав новое учение, объявили его нечестивым... Тогда преданные ему отлучены были от Церкви». С другой стороны, тому же голосу «мира Церкви» принадлежит и последнее слово, определяющее объективное значение и обуславливающее обязательную силу уже состоявшегося, епископского решения, иными словами — именно «мир» утверждает вынесенное на обсуждение епископское решение.

Таким образом, для того, чтобы новое церковное правообразование вошло в силу, необходимо, с одной стороны, «присутствие» и «совещание» народа по его поводу; с другой, «суд» народа, его «согласие», его «одобрение» епископским определениям. Епископам, как носителям харизмы, как первенствующим членам Церкви, как носителям церковного знания, естественно принять на себя процесс выработки определения, естественно произносить решения. Но если епископы имеют власть вырабатывать определения и произносить решения (имея в виду волеизъявление «мира Церкви»), то окончательное принятие их принадлежит только всей Церкви в целом. Над властью епископов «возвышается власть рецепции», ибо «Истина оживет во всем организме церковном».

Эти разъяснения, сделанные на основе церковной традиции, несомненно должны были формировать общественное сознание — в его отношении к предстоящему Собору и его деятельности. В то же время, как это отчетливо подчеркивается в статье, признание за мирским началом в Церкви решающего значения в церковном правообразовании, т.е. в принятии Церковью новых постановлений, не является чем-то аналогичным демократии или принципу «народного суверенитета», но ближе всего той общественной форме, которую известный немецкий теолог А.Гарнак называет «духовной теократией»: епископы через рукоположение получают благодатные дары, харизму апостолов и учителей, но сам епископ всегда действует в согласии и единении с народом. Так подготовлялась мысль о необходимости установления в новых государственных условиях высшей церковной власти, как власти, выдвинутой церковным народом, принятой им, действующей в согласии и единении с народом. Синодальная форма управления Церковью, действующая со времени Петра I, не отвечала этим требованиям: далекая от народа, чуждая ему, она не имела глубоких корней в церковной традиции, существовала в силу при-

каза царской власти, по принуждению. Необходима была новая церковная власть, которая была бы наделена всей силой морального авторитета, и Ник[олай] Ник[олаевич], подобно многим своим современникам, высказался за патриаршество как за ту форму церковной власти, которая вытекает из самого существа православного учения о Церкви и возрождает древнейшие традиции русской допетровской Церкви.

В брошюре «Церковь в обновленной России» Ник[олай] Ник[олаевич] как раз и коснулся этого вопроса: в условиях правового государства, конституционные основы которого должны были быть утверждены предстоящим Учредительным Собранием, патриаршество есть наиболее желательная для русского народа форма управления Церковью. Вместе с тем он наметил в этой брошюре, в соответствии с трудами предсоборного присутствия, ряд назревших церковных реформ: организацию приходов в смысле приближения их к древним христианским общинам и формы христианской благотворительности в них, улучшение воспитательной работы в духовной школе и преподавания Закона Божия в светской школе, облегчение бракоразводного процесса. Но особенно большое внимание он как канонист уделял важнейшей проблеме отношения нового государства к Церкви, поскольку от того или иного разрешения именно этой проблемы зависело и разрешение всех остальных вышеупомянутых. Не случайно поэтому именно этот вопрос, вызывая наибольшие разногласия, должен был быть в первую очередь обсужден на Соборе, и его определение должно было быть рекомендовано («предложено на уважение») Учредительному Собранию как волеизъявление Церкви.

Этот вопрос он специально рассматривает в брошюре «Государство и Церковь», вышедшей летом 1917 г. Исходя из положения, что только в христианстве религия рассматривается как «область самостоятельная, недоступная никакому государственному вмешательству», что только в нем впервые в истории человечества была указана ясная и определенная грань между «Кесаревым и Божиим», между «религией и политикой» и установлены «неотъемлемые и безусловные права человеческой совести», он отмечает необходимость различия и разделения государства и Церкви как обществ «совершенно различного рода». Однако в исторической действительности эти различные по духу и происхождению общества вступают в то или иное соприкосновение друг с другом, и потому тем важнее правильно установить формы их взаимоотношения. Подчеркнув пагубность для Русской Церкви установленной Петром I синодальной формы

управления ею, превратившей Церковь в часть государственной системы, он в то же время выражает надежду, что правовое государство, которое по самой идее своей «положительно относится к религии и видит в ней ценность, имеющую существенное значение для общественной и государственной жизни», постарается создать для русского народа такие условия, при «которых свободно и беспрепятственно могла бы проявляться и развиваться религиозная жизнь». Не государственная опека над Церковью и не отрыв их друг от друга, как это мыслится в системе отделения Церкви от государства, а признание со стороны государства прав Церкви (как, впрочем, и всякого другого исповедания, всякой другой религии) «на самостоятельное и свободное управление в пределах, не нарушающих общественный порядок», является желательным для русского православного народа. Этим пожеланием и заканчивается статья.

Литературная деятельность первых месяцев после февральского переворота выдвинула молодого канониста в первые ряды церковных деятелей, и, когда пришло время выбора кандидатов в члены Собора, созыв которого был назначен на август 1917 г., он был избран коллективом Пермского университета делегатом на Собор от мирян.

В середине августа 1917 г. Николай Николаевич выехал в Москву вместе с делегацией, возглавляемой Пермским епископом Андроником, для участия в деятельности Первого Всероссийского Церковного Собора.

НА СОБОРЕ

Собор открылся в Москве 15-го августа в день Успения Пресв. Богородицы. После совершения Литургии в Успенском соборе в Кремле*, на которой присутствовали члены Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским (который, впрочем, по свидетельству очевидцев, не остался до конца богослужения), на Красной площади был отслужен торжественный молебен. К этому времени со всех концов Москвы, из всех ее «сорока сороков» подошли многолюдные крестные ходы с преднесением хоругвей и чтимых икон, и Красная площадь, как встарь, представляла собой умирительное и красочное зрелище. Колыхались хоругви, золотом отливала парча облачений, всенародное пение

* Литургию совершали 3 митрополита: Киевский — Владимир, Петроградский — Вениамин, и экзарх Кавказский — Платон.

производило неотразимое впечатление на всех, кто присутствовал на этом необычайном молебствии, еще и потому, что происходило оно в обстановке смятения и растерянности, в предчувствии надвигающихся бед.

На другой день, 16 августа, в храме Христа Спасителя состоялось открытие Собора. По окончании литургии, которую совершал митр. Московский Тихон в сослужении многочисленного духовенства, все члены Собора разместились в огромном храме — епископы в центре, по правую сторону члены клира, по левую — миряне. По знаку, данному м. Московским Тихоном, все встали, и своды огласились торжественным пением древнего молитвословия: «Днесь благодать Святаго духа нас собра», — Собор был открыт. С приветственными речами выступили: от имени Временного правительства министр исповеданий В.А. Карташев; от имени Синода — первоприсутствующий член его еп. Арсений; от Государственной Думы — председатель ее М.В. Родзянко; от Московской епархии — м. Московский Тихон; от города Москвы — Московский городской голова В.В. Руднев и от Московского губернского земства — С.К. Родионов. Были приветствия и от представителей Ставки, от фронта, от протопресвитера вооруженных сил Шавельского. Лейт-мотивом всех речей была глубокая обеспокоенность судьбами страны, надежда на благодатное действие Собора на упавший дух народа, на возрождение его духовных сил. «Созерцая разрушающуюся на наших глазах храмину государственного нашего бытия, представляющую как бы поле, усеянное костями, я, по примеру древнего пророка, дерзаю спросить: оживут ли кости сии? Святители Божии, пастыри и сыны человеческие! Прорцыте на кости сухие, дуновением всесильного Духа Божия одухотворяюще их, и оживут кости сии и созиждутся, и обновится лице Свято-русския земли», — такими словами закончил свое приветственное слово Владыка Тихон, будущий патриарх. Судьбы Церкви неразрывно сливались в сознании всех присутствующих с судьбами родины, ибо живое тело Церкви составляет русский народ, хоть и разнузданный в своих грехах, но не до конца еще потерявший веру. «Разве можно забыть те времена, когда совершалось строительство земли Русской, когда св. Сергий, этот великий подвижник Московский и собиратель земли Русской, ходил, умоляя удельных князей соединиться с Москвой, чтобы образовать Русское государство? Разве не завещал также это св. митрополит Алексей, говоря, что в единстве есть сила государства русского? Разве Дмитрий Донской не победил врагов, одухотворенный религиозным чувством? Разве от их великого почина не создалась

необъятная и могучая Россия? Вот в чем связь Церкви с государством, и одно без другого существовать у русского народа не может», — так выразил В.В. Руднев общее настроение людей, стоящих у врат церковных в чаянии помощи и поддержки.

Во второй половине этого же дня в Соборной Палате началась деловая жизнь Собора. Было сформировано 20 отделов (или секций), которым предстояло на основании материалов предсоборного присутствия подготовить к обсуждению на пленарных собраниях Собора наинужнейшие вопросы церковной жизни: правовое положение Церкви в государстве; высшая церковная власть и епархиальное управление; благоустройство приходов и монастырей, Устав, богослужение и проповедь; внешняя и внутренняя миссия; духовное просвещение и издательское дело... — таков неполный круг вопросов, которые предстояло решить.

Николай Николаевич принял самое активное участие в деятельности Собора. Самый молодой из его членов (ему не было и 26 лет), он был привлечен к работе отдела «Правовое положение Церкви в государстве» в качестве секретаря отдела, состоял членом юридического отдела Совещания при Соборном совете и отдела по урегулированию бракоразводного процесса, возглавляемого митрополитом Сергием (Страгородским), патриархом в будущем. Между митрополитом и им, по его словам, установились доброжелательные отношения, и Николай Николаевич сохранил о нем память, как о человеке большого ума, про которого говорили, что он «семи пядей во лбу» — дальновидность митрополита и умение находить выход из самых трудных положений были хорошо известны уже тогда. В личном общении он был приятным и обходительным человеком, отличавшимся скромностью и простотой. Задача секции заключалась в том, чтобы, всемерно укрепляя семейные устои и святость христианского брака, в то же время облегчить трудности бракоразводного процесса, освободить его от унижающей личность человека процедуры доказательства нарушений супружеской верности, которое требовалось консисторским судопроизводством. В отделе «Правовое положение Церкви в государстве», готовившем проект об отношении Церкви к государству, принимали участие видные силы — кн. Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, которому принадлежит Декларация по этому вопросу. Задача была не из легких, как нелегкой была и вся деятельность Собора, открывшегося в предгрозовые дни второй революции и совершившего важнейший свой акт — избрание патриарха — под гром пушек октябрьского переворота.

Это было поистине знаменательно: в дни, когда рождалась новая Россия, с самого начала во всеуслышание провозгласившая свободу от всякой религии (эта сторона нового порядка и его психологии прекрасно показана А.Блоком в художественных образах его «Двенадцати»), Церковь, заменившая Соборным постановлением синодальную форму церковной власти властью патриарха, тем самым становилась в независимое отношение к государству, получала возможность управляться по собственным законам («канонам»), не озираясь всякий раз на «власть предержавшую», как это было при царизме. В русском народе определились две противоборствующие силы: светское начало, питающееся революционными традициями, искони порвавшими не только с Церковью, но и с религиозным мировоззрением вообще, и духовное начало, которое всегда было живо в Церкви, вопреки всем неблагоприятным для его процветания обстоятельствам ее существования в условиях полицейского государства. В дни тяжелых испытаний русского народа — бедствий войны внешней и внутренней (гражданской), всеобщей разрухи, голода, холода и сопутствующих им болезней (тифов, холеры, дизентерии, испанки), это духовное начало в русском народном и общественном сознании ожило, выбилось наружу и дало то бесчисленное количество исповедников и мучеников, которыми полны первые три революционных десятилетия. Оказалось, что Церковь совсем не в «параличе», но жива и действенна и, как встарь, стоит на крови мучеников, и знаменем ее был Патриарх, также мученик.

Избрание Патриарха состоялось в трагической обстановке, когда над Москвой раздавался гул артиллерийской канонады, а на улицах трещали пулеметы и население древней столицы было полно тревоги и грозных предчувствий. Самый порядок избрания был определен древними церковными традициями. Сначала были избраны три кандидата, в избрании которых принимали участие все члены Собора, не исключая и мирян. Собором были выдвинуты следующие кандидаты: 1) Антоний (Храповицкий), архиепископ Харьковский, доктор богословия; 2) Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский, доктор церковной истории; 3) Тихон (Белавин), митрополит Московский, кандидат богословия. Право выбора патриарха из числа намеченных кандидатов принадлежало только членам Собора-епископам; однако иерархи русской Церкви в этот торжественный час ее истории отказались от принадлежавшего им права, предоставив избрание Патриарха суду Промысла Божия. Было решено, что Патриархом будет поставлен тот из трех кандидатов, на которого падет жребий. Такой порядок избрания был также освящен древним обычаем.

Само избрание Патриарха состоялось 5 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя. Литургию в этот день и торжественный молебен перед принесенной из Успенского собора иконой Владимирской Божьей Матери совершил старейший член Собора Киевский митрополит Владимир. После окончания молебна митрополит вскрыл опечатанный ларец, в который были вложены жребии с именами кандидатов, а специально для этого вызванный из Зосимовой Пустыни старец иеромонах о. Алексей на глазах всего Собора вынул из ларца один из жребиев и передал его митрополиту. «Тихон, митрополит Московский», — при гробовом молчании всех присутствующих провозгласил митрополит Владимир. Жребий пал на митрополита Тихона, по сравнению с такими блестящими иерархами, как арх. Антоний и арх. Арсений, скромного, почти незаметного, такого простого, такого русского человека. Он не был ни политиком, каким до мозга костей был Антоний, ни придворным вельможей, подобно члену Государственного Совета Арсению. Незадолго перед тем вернувшийся из Соединенных Штатов Америки, где он был епископом, он был до известной степени новым человеком для всех избравших его. «Сила Моя в немощи совершается». Выбор оказался провиденциальным, ибо только патриарх Тихон мог, когда нужно было, противопоставить силу духа непреклонным стихиям мира в борьбе за веру, и, когда нужно было, — отступить, предначертав своим преемникам надежный путь в управлении церковным кораблем. Ни Антоний, ни Арсений не обладали этими данными; оба были слишком связаны со старым строем, оба были не только церковными, но и политическими деятелями.

Через несколько дней после избрания Патриарха в Успенском соборе в Кремле была совершена по древнему чину его интронизация. Трижды возводился он на патриарший престол на горнем месте, после чего уже в облачении патриарха — белом клобуке и с патриаршим жезлом в руке — благословил на три стороны присутствующих и удалился в свое подворье.

Это знаменательное для Церкви и русского народа событие, как говорилось выше, произошло в дни октябрьского переворота, и новая власть вынуждена была считаться с актом избрания как со свершившимся фактом.

Уже Временное правительство, озабоченное нараставшими революционными настроениями масс, возбужденных пропагандой крайне левых, после приветственных речей в день открытия Собора перестало обращать внимание на его деятельность. Молчала и пресса, не придававшая ей значение. Одно это настораживало деятелей Собора, внушая тревожные мысли о судь-

бах Церкви в России. Эти тревоги усилились после октябрьского переворота, когда опубликованы были первые декреты советской власти и среди них в первую очередь декрет об «Отделении Церкви от государства и школы от Церкви», ставивший Церковь на положение частного общества, лишенного при этом права «общественного оказательства»: за верующими сохранялась лишь возможность (да и то весьма относительная, как показала практика последующего времени) молитвы и участия в таинствах; вся общественная сторона в деятельности Церкви — ее миссия, ее благотворительность, самое просвещение народа оказались под запретом.

Вскоре после опубликования декрета на местах в очень грубой форме стали проводить его положения в жизнь. Запрещено было преподавание Закона Божия в светских школах, а духовные школы (церковно-приходские, семинарии, духовные академии) стали закрываться, синодальные типографии были переданы гражданской власти и печатание духовной литературы, в том числе Библии, Евангелия, богослужебных книг, приостановлено; библиотеки из духовных учебных заведений изъяты и переданы в гражданские библиотеки без права пользования ими читателями; монастыри и лавры закрывались. Появились первые жертвы: аресты, ссылки, убийства. В январе 1918 года был зверски убит митр. Киевский Владимир, и известие это потрясло Собор. Деятельность его начинает принимать все более и более нервный характер. Обнаружились расхождения между крайне-правыми его членами, вроде гр. А.Д. Олсуфьева, мечтавшего сделать Собор оплотом своей политической деятельности, и основной массой церковных деятелей, для которых дороже всего были интересы Церкви. С пеной у рта, как впоследствии вспоминал Николай Николаевич, требовал Олсуфьев [у Собора] поддержки помещикам в их борьбе за землю, угрожая в противном случае крахом всей его деятельности. «Помещиков грабили — мы молчали; отбирали фабрики — молчали, начали грабить лавры — мы заговорили... Простите, владыко, меня; мне грустно это, что тогда заговорили, когда лавры начали грабить».

Графу Олсуфьеву была дана отповедь как со стороны Председательствующего (м. Арсения), так и со стороны отдельных членов Собора. Позицию соборного большинства выразил Ев.Н. Трубецкой. Он указал на то, что закрытие лавры (речь шла об Александро-Невской лавре) и изъятие ее имущества «есть не частное враждебное Церкви выступление, а проведение в жизнь целого плана полного уничтожения самой возможности существования Церкви», а поэтому настал момент, когда Церковь

должна воздействовать не увещеваниями только, потому что увещевания слишком слабы, а воздействовать мечом духовным — анафемствованием лиц, совершающих явно враждебные Церкви действия, и всех их пособников».

Подъем духа вызвало чтение послания патриарха «ко всем верным чадам Православной Церкви Российской», явившееся первым откликом на декрет об отделении Церкви от государства и на вызванные им враждебные мероприятия против Церкви на местах. Чтение произошло на Деянии шестьдесят шестом 20 января 1918 года в Соборной палате в присутствии 110 человек членов Собора, съехавшихся в Москву после рождественского перерыва. Приехавших было недостаточно, едва-едва собрался кворум, но Николай Николаевич был в их числе. Многие не могли приехать из-за расстройств транспорта, разрухи, голода, некоторые, видимо, отчаявшись в успехе дела, сняли с себя полномочия (среди них такие лица, как М.В. Родзянко, кн. Львов). Послание огласил архиепископ Тамбовский Кирилл (впоследствии мученик, не вышедший из тюрьмы и ссылок). «Тяжелое время переживает ныне святая православная Церковь Христова в русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани». Далее в послании говорится «об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей» и предлагается безумцам опомниться и прекратить кровавые расправы, за которые подлежат они «огню геенскому в жизни будущей — загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной». «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову», — продолжает послание. «Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению через расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского) или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители святые (как Александровская и Почаевская лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы, содержащиеся на средства Церкви православной и подготовляющие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имму-

щества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа».

Послание заканчивается призывом стать на защиту «оскорбленной и утесненной ныне святой Матери нашей», противопоставив «смертоносному оружию силу веры», а если нужно будет, и пострадать за дело Христово». Вместе с тем на врагов Церкви, повинных во всех перечисленных выше злодеяниях, патриарх накладывает запрещение приступать к тайнам Христовым» и анафемствует их (т.е. отлучает от Церкви).

Это послание было объявлено контрреволюционным, содержащим призыв к сопротивлению мероприятиям власти. Появились новые жертвы. Собор торопился довести до конца свое дело, однако сознание безнадежности и ненужности всякой борьбы человеческими средствами и готовность пострадать за веру и Церковь все больше и больше охватывает участников Собора. Становится ясным, что не принятыми решениями, как бы продуманны и полезны для Церкви они ни были, а мученическою кровью обновится Церковь, жертвы, принесенные за дело Христово, очистят ее от грехов прошлого.

Вторым по степени важности актом Собора, совершенным также в дни, предшествовавшие октябрьскому перевороту, но которому Господь не судил быть осуществленным, был проект определения Собора об отношении Церкви к государству и приложенная к нему Декларация по этому вопросу, составленная по поручению Соборного отдела проф. С.Н. Булгаковым.

В конце 1917 года, или, возможно, в Рождественские каникулы 1918 г. Николай Николаевич в статье, напечатанной в начале 1918 г. в «Сборнике статей Пермского университета» под заглавием: «Проблема отношения Церкви и государства в современном православном церковном сознании» (Пермь, 1918), изложил основные положения этого законопроекта. Отметив, что перед современным церковным сознанием стоят две наиважнейшие проблемы — проблема внутреннего церковного самоопределения и проблема отношения Церкви к внешним, мирским формам жизни, в первую очередь — к государству, он перешел к обсуждению этой второй проблемы, указав, что в решении этого второго вопроса необходимо исходить из следующих положений: 1) Церковь есть не обычное мирское учреждение, подобное какому-либо профсоюзному органу или научному обществу, а «ТЕЛО ХРИСТОВО», глава которого — Христос «всегда и сегодня и во веки тот же» (Евр. XIII, 8); 2) Церковь заботится не только о личном спасении каждого верующего, она ставит перед

собой задачу христианизации всех сторон жизни, всех общественных форм и, в первую очередь (по степени важности) — государственной. Эта задача вытекает из православного понимания догмата боговоплощения, требующего «христианского озарения не личной только, но и социальной жизни». «Церковь Христова озаряет мир светом жизни, — говорится в упомянутой выше Соборной Декларации, — она есть соль, его осоляющая... Не может быть положено предела для области ее влияния. Она есть новая закваска, претворяющая все существо человеческой жизни, и не существует стихии, совершенно недоступной для этой закваски».

Отсюда вытекает, что Церковь, во-первых, «не может поставить себя как таковую на положение части государственного учреждения, хотя бы высшего и представительного» (как это было при синодальном управлении в послепетровской России), во-вторых, Церковь «не может действовать и через принудительный аппарат государственной власти» (поскольку вера есть дело совести каждого, его свободного волеизъявления*); в-третьих, «в то же время она не может оставить без своего внутреннего воздействия никакую область общественной жизни» (как это мыслится в современных теориях «Отделения Церкви от государства»). Возникает вопрос: при каком же типе государства возможны желательные с точки зрения православного сознания отношения между Церковью и государством? В Законопроекте (как и в других церковных документах того времени) дан ясный ответ: наиболее соответствующим чаяниям Церкви является *правовое государство* с его принципом *веротерпимости*, под которой оно понимает, однако, не просто формальное признание за каждым «свободы совести», как его «частного дела», но и положительное содействие религиозным обществам (поскольку они не противоречат государственным законам и не нарушают норм общественной жизни), т.е. права на существование и деятельность согласно своим верованиям (права «общественного оказательства»). Вместе с тем, в Законопроекте выражается надежда, что Православная Церковь, насчитывающая среди своих членов 114 миллионов граждан Российского государства, т.е. абсолютное большинство, и сыгравшая в прошлом выдающуюся роль в создании русской государственности, получит право на преимущественное положение и в будущем русском государстве. Это «право чести» ни в каком случае не связывается в Законопроекте с мыслью о подавлении других христианских исповеданий

* Напр., против католической идеи государства как «духовного меча» Церкви.

(в том числе и сектантства, если оно не противоречит общепринятым законам морали) или ограничении в чем-либо внехристианских религий (иудейства, мусульманства и др.). Законопроект предостерегает от истолкования «права чести» в смысле государственной опеки, от которой она много пострадала в синодальный период. Право на преимущественное положение Церкви в русском государстве заключается, по мысли Законопроекта, в признании за Церковью и церковными институтами «публично-правового значения» с вытекающими отсюда последствиями: 1) «признание постановлений и узаконений, издаваемых для себя Православной Церковью в установленном ею порядке, поскольку они не нарушают государственных законов» (с.3); 2) «признания церковной иерархии и церковных установлений в силе и значении, которые им приданы церковными постановлениями» (с.5); 3) «признание православного календаря и православных праздников» (с.9 и 10); 4) признание «юридического значения актов церковного венчания, церковно-судебных решений по делам о разводе» и др.; 5) «государственное обеспечение школьного преподавания Закона Божия» (с.19), религиозных нужд армии и флота (с.20), государственной дотации в пользу Церкви, ее материальной поддержки» (с.24). За Церковью признается право на свободу христианской миссии — на свободу слова, устного и письменного, свободу для дел благодетворения.

В заключение, как говорится в ст.8 Законопроекта, «во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь». Это «первенство чести» подобает ей, «как величайшей святыне огромного большинства населения, как культурной ценности и как исторической силе, создавшей русское государство», — говорится в декларативной части Соборного Проекта.

«Этим, в существенном, исчерпывается содержание этого проекта "Правового положения о Церкви в государстве", который принят был Собором», — пишет в заключении своей статьи Николай Николаевич. «Проект этот, — продолжает он, — носит характер пожеланий, предназначенных для обсуждения в том законном и полномочном органе, который призван будет определять судьбу русского государства. В нем даются юридическая постановка и юридическое решение вопроса, и эту сторону он в значительной мере обеспечивает».

Я преднамеренно остановилась на столь подробном изложении статьи Н[иколая] Н[иколаевича]. Он до конца жизни «болел» общественной проблемой. Он видел большой ущерб в современном положении Церкви, которой, по особым путям Промысла

Божьего о России, суждено было идти путем Креста. Он склонял перед ним голову, но в глубине души всегда оставалась боль, что желаемое не осуществилось. Идея правового государства повисла в воздухе и угасла прежде, чем наступил момент ее реализации. Вместе с ней погибли и надежды лучших людей в Церкви на созидательную работу: другой путь сужден был Церкви — путь крестного страдания, путь смирения и унижения, очистивший Церковь от всего наносного, от приставшей к ее стопам «пыли земли», загрязнившей ее блистающие одежды. «Малое стадо» осталось верным Церкви, вместе с ней страдавшим и униженным. Этот путь принял для себя и Николай Николаевич.

СТРАНСТВИЯ

(зима 1918 г. — лето 1922 г.)

Осенью 1918 г. Собор вынужден был прекратить свою работу, и Ник[олай] Ник[олаевич] вместе с другими делегатами возвратился в Пермь. Дни стояли тревожные. Надвигалась зима, а в стране не было ни топлива, ни продовольствия. Жили обменом — за мешок пшена отдавали трюмо, за несколько мешков картофеля — пианино, и были счастливы, если обмен удавался. Занятия в Университете шли с перебоями, но желание учиться у молодежи было большое, лекции посещались охотно. Преподавание канонического права было отменено, и Н.Н. перешел на преподавание теории права и истории политических учений. Со студентами у него при его общительности установились дружеские отношения и постоянное общение за пределами факультета. По возрасту он был немного старше своих слушателей (ему шел 28-й год) и постоянно участвовал на студенческих вечеринках, где горячо обсуждали животрепещущие вопросы современности. Продолжало свою работу философское общество, на одном из заседаний которого Н.Н. познакомил присутствующих с деятельностью Собора и с точкой зрения последнего на желательные взаимоотношения между Церковью и государством.

Между тем политические события разворачивались все грознее и грознее. Надвигалась гражданская война, и Пермь оказалась в окружении; с Востока ей угрожали белогвардейские войска под командованием адмирала Колчака, с Запада — Красноармейские части во главе с командармом Фрунзе. Население было в панике, дезориентированное противоречивыми сообщениями, недостаточной информацией о положении на фронтах,

пугающими воображение слухами. Зимой 1919 года началась эвакуация учреждений на Восток; эвакуировался почти в полном составе преподавателей и студентов и Пермский университет. Во время эвакуации в лютые морозы сибирской зимы с ее метелями и буранами на одной из узловых станций сибирской магистрали, где эшелон с пермскими беженцами безнадежно застрял на запасных путях, взорвался состав с боевыми припасами. Рядом стоящие поезда разлетелись в щепки и были охвачены пламенем. Поезд, в котором ехал Н.Н., стоял в некотором отдалении от места взрыва и пострадал меньше, но и он был сильно разрушен. Н.Н., стоявшего в этот момент у выхода, выбросило взрывной волной наружу, и он оказался при тридцатиградусном морозе в одном пиджаке, без шапки и калош. С трудом вытащил он через разбитое окно свое пальто, бросив на произвол судьбы чемодан с вещами и дорогими для него рукописями: со всех сторон полыхал огонь и пламя подбиралось уже и к обломкам его поезда. Без шапки, в легких ботинках отправился он к вокзалу. Кто-то по дороге дал ему шапку-ушанку. Вокзал оказался переполненным до отказа беженцами. Всюду — на вещах, на скамьях, на полу — сидели и лежали люди, многие в горячечном бреду — сыпной тиф валил людей с ног. Какое-то время, во всяком случае не один день, пришлось провести ему на этом вокзале, спать не раздеваясь на затоптанном полу, откуда со всех сторон дуло, вповалку с тифозными, больными и умирающими. В конце концов, он все же как-то добрался до Иркутска, где уже собрались его коллеги по университету. Жизнь стала понемногу налаживаться, но все было шатким, неопределенным, точно призрачным, на всем лежала печать обреченности. Не знаю, начались ли занятия в Университете, по всей вероятности — нет, во всяком случае Н.Н. об этой стороне своей жизни в Иркутске не рассказывал. В качестве канониста он был привлечен к работе отдела по делам культа. Главная задача, которую он поставил перед собой, заключалась для него в налаживании связей с представителями различных религиозных организаций, содействие им в их религиозных нуждах. С удовольствием вспоминал он впоследствии о торжественном приеме тибетских лам, приезжавших по какому-то поводу в Иркутск. Дружеские отношения завязались у него с католиками и протестантами, обращавшимися к нему за содействием в том или ином деле. Н.Н. и тогда уже был чужд конфессиональной замкнутости; он полагал, что наступает время, когда все силы духа должны сплотиться перед угрозой надвигающегося атеизма, отрицательным началам противопоставить положительное мировоззрение. Для него таким

мировоззрением было христианство, как религия, утверждающая жизнь. Однако идея крестового похода против враждебных христианству сил, популярная в то время, была всегда ему чужда, он считал ее глубоко неправославной — порождением католицизма в его крайних формах с его ложным пониманием сущности духовной борьбы. Много позже рассказывал он о своем несогласии в этом вопросе с очень талантливым философом Дм.В. Болдыревым. Д.Болдырев был человеком большой искренности. Он писал в то время книгу о Воскресении Христовом, глубоко по замыслу, и в самый разгар работы над ней свалился в жесточайшем сныняке. В изголовье его кровати, как вспоминал впоследствии Николай Николаевич, висел образ Богородицы с теплившейся перед ней лампадой. Горячо молился он перед этим образом о продлении жизни для завершения своего труда, но воля Божия о нем была другая: сныняк унес его в могилу. На Николая Николаевича произвела большое впечатление эта безвременная смерть. Он увидел в ней как бы подтверждение своих мыслей о неблагословенности идеи насильственной борьбы под знаком креста. Сам Христос осудил эту борьбу, сказав апостолам: «не знаете, какого вы духа» (Лк. 10, 55) — «Сей род не иначе изгоняется как молитвою и постом» (М. 10, 29). Не светский меч, поражающий инаковерующих, но меч духовный, который есть молитва, помогут разрешить тягчайшие конфликты нашего времени. Именно этим отличается православие от католицизма в решении общественной проблемы. Церковь должна стоять выше политики и не вмешиваться в партийную борьбу. Поэтому и Николай Николаевич не считал для себя возможным принадлежать к какой-либо политической партии и тем более участвовать в партийной борьбе.

К началу 1920 года власть Колчака пала под напором Красных войск.

Для Николая Николаевича была ясна историческая необходимость победы Красных войск. Поэтому, когда на смену белогвардейской власти пришла власть Советов, он спокойно отнесся к совершившемуся и был одним из немногих в ряду пермских профессоров, терпимо относившихся к большевикам и считавших возможным сотрудничать с ними. Он всегда считал, что христианином можно быть в любых социально-экономических условиях — при социализме, отрицающем частную собственность, как и при капитализме, утверждающем ее. В этом как раз и заключается универсализм христианской религии, уживающейся с любой общественной формацией, поскольку она стоит выше каждой из них. Все зависит от внутреннего отношения к собственности:

и богач может спастись, если у него нет пристрастия к земным благам и на свое богатство он смотрит как на общественное служение (например, П.М. Третьяков, создавший на свои деньги картинную галерею), и бедняк может погибнуть, если, снedaемый завистью, он посягает на преступление (например, взяточники и расхитители, казнокрады общественной собственности в социалистических странах). Но путь того и другого должен быть христианским подвигом. Это положение христианской морали подробно разовьет он впоследствии в своей «Апологетике».

В момент, когда он практически столкнулся с переходом власти от имущих классов к пролетариату, он практически решил этот вопрос для себя в религиозном плане. Бескорыстный по натуре и непрехотливый в жизни, никогда не имевший собственности и потерявший все, вплоть до второй пары белья, во время эвакуации, он не имел личных стимулов к защите буржуазно-помещичьего строя. Однако духовные основы мировоззрения, официально принятые и провозглашенные новой властью, были неприемлемы для него, были органически чужды. Это обстоятельство сделало жизнь в новых условиях трудной, привело к внутренним конфликтам, таило опасность быть непонятым или ложно истолкованным. Тем не менее, он не считал для себя возможным уклоняться от участия в общественной деятельности, от службы, в частности, от преподавания, которое он особенно любил. Там, где можно было работать, не отрекаясь от своей веры, он считал, что работать не только можно, но и нужно, и притом не за страх, а за совесть. Мучительным для него всегда было только одно — требование со стороны власти изменить веру. В этих случаях он при всей мягкости и уступчивости своего характера стойко держался апостольского принципа: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Д. 4, 19-20). Поэтому, когда на смену белогвардейской власти пришла власть Советов, Ник[олай] Ник[олаевич] сразу включился в активную работу. На первых порах на его долю выпало трудное и ответственное дело: когда университет остался без ректора, профессура избрала его на должность «временного исполняющего» обязанности ректора. Ник[олай] Ник[олаевич] не уклонился от этой обязанности, сразу же приступив к первоочередным задачам: налаживанию отношений с Исполкомом и отделом Народного образования, объединению рассеявшихся, смятенных и перепуганных, подготовке к проведению реэвакуации университета. Осенью 1921 года университет уже мог начать учебную работу на старом месте, в Перми.

Ник[олай] Ник[олаевич] сдал дела назначенному НКП ректору и зиму 1921/22 гг. провел в Перми на преподавательской работе, одновременно он состоял заместителем декана Ин-та общественных наук. Весной 1922 г. вслед за многими товарищами по факультету он совсем уехал из Перми. Часть уехавших осела в столицах, часть, воспользовавшись вновь изданным Декретом о праве каждого вернуться на место своего рождения, хотя бы это было за рубежом, уехали — кто в Латвию, кто в Литву, кто в Эстонию. У Ник[олая] Ник[олаевича] также появился было этот соблазн: ему хотелось попасть в православные страны славянского Востока, где он мог бы применить свои знания и вполне отдаться любимому делу. Но Промысел Божий судил о нем иное: когда он, наконец, оформил свои документы, действие Декрета было приостановлено, и ему было отказано в визе на выезд.

Н.Н. не пал духом, он принял эту неудачу, как проявление воли Божией о нем и впоследствии никогда не сожалел о неудавшейся попытке покинуть страну, где «отчий дом», страну, с которой он был связан всем своим нутром. Отношение его к постигшей неудаче может быть отчасти передано словами Анны Ахматовой:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.

В САРАТОВЕ
(весна 1922 — осень 1924)

Летом 1922 года (12/VII) Н.Н. оформил через Наркомпрос назначение в Саратовский университет на должность профессора по теории права и истории политических учений на факультете общественных наук. В августе он приехал в Саратов, а в сентябре мы встретились с ним на заседании философского студенческого кружка при юридическом факультете, где мне было поручено сделать доклад о только что вышедшей книге С.Л. Франка «Общественное бытие и сознание». Доклад носил острый характер, так как незадолго перед этим С.Л. Франк был выслан за

границу в числе «100», и мы, студенты, его ученики, с горечью и болью переживали это событие.

Знакомство на докладе быстро перешло в дружбу: много общего оказалось у нас как в характере, так и в интересах. Весной 1923 года мы обвенчались и с тех пор прожили вместе, не разлучаясь, до 25 июня 1941 г., когда он ушел из дома, чтобы больше не вернуться. С этого момента мои записки будут носить характер личных воспоминаний.

В Саратове мы поселились отдельно от моих родителей, сняв недалеко комнату у тещи профессора Серафима Владимировича Юшкова, декана факультета, хорошо относившегося к Н.Н., который был при нем его «замом». Здесь, у «собаченьки», как называл Серафим Владимирович свою тещу, я впервые столкнулась с чудачествами Н.Н., о которых раньше знала понаслышке. Прежде всего, он поразил меня своей полной неприхотливостью в жизни, полным пренебрежением всяких материальных удобств. Мог спать на полу на соломе, одеваться кое-как, совсем не замечал, в чем я одета, что меня несколько даже шокировало. Особенно же изумляла меня его из ряда вон выходящая любовь к животным. Все собаки со двора, все кошки были его друзьями и как бы чуяли любовь его к ним, ходили за ним по пятам. Огорчение доставляло мне отсутствие в нем брезгливости: лучший кусок из нашего по тому времени не особенно прихотливого стола отдавался коту Ваське, причем на полу появлялась взятая прямо со стола любая чашка, любое блюдо. Это доводило меня иногда до слез — я никогда не знала, ел ли уже из этой посуды кот Васька или еще нет. Мои упреки успеха не имели: завидев кота, собаку, иной раз паршивого, больного, он забывал все и со своей детской, доброй улыбкой ласкал какого-нибудь приبلудного Шарика или Ваську, а в следующий момент Шарик клал лапы на плечи и лизал прямо в лицо, а Васька удобно пристраивался на коленях или лежал на груди, довольно мурлыкая. Мои медицинские уговоры не оказывали никакого впечатления, и в конце концов мне пришлось смириться с этим.

Жизнь в Саратове сложилась не совсем так, как хотелось бы. Единственное, что связывало с городом, были воспоминания детства и родительская семья. Н.Н. сошелся с моим отцом, любил разговаривать с ним на разные темы, очень полюбил мою сестру, которая жила еще в это время в Саратове. Служебная и общественная работа не приносила удовлетворения.

После разгрома белогвардейских войск началась интенсивная перестройка университета, особенно его гуманитарных факультетов. Зачинателями этого решительного поворота влево

были на педфаке проф. Б.М. Соколов, а на факультете общественных наук С.В. Юшков, знаток «Русской Правды» и крупный специалист в области истории русского государственного права. «Мы — марксисты, — заявлял он с кафедры, — мы принимаем полностью учение К.Маркса и с этих позиций должно вестись преподавание всех дисциплин на факультете общественных наук». В своих неоднократных выступлениях перед студенческой аудиторией, которая, на старших курсах особенно, вела себя самостоятельно и независимо, он развивал мысли о национально-русском характере большевизма, об исторической необходимости победы Октябрьской революции, о начале новой эры не только в русской, но и во всемирной истории. Его пропаганда несомненно имела успех и многих примирила с новой властью и ее начинаниями. Созвучны с этой его концепцией были «Двенадцать» А.Блока и его «Скифы». Сам Серафим Владимирович Юшков, человек умный, с большой дозой чисто русской хитрости, добродушный и общительный, был сыном петроградского священника, рано овдовевшего и впоследствии, уже в очень преклонном возрасте, принявшего сан епископа. К чести Серафима Владимировича нужно сказать, что относился он к отцу уважительно и с сыновней любовью — тот проживал вместе с ним, в его семье, что, по тогдашним временам, было связано с некоторой долей риска: духовное происхождение не поощрялось. Николай Николаевич, по приезде в Саратов, близко познакомился с Юшковым, и они были в приятельских отношениях, которые, однако, не заходили слишком глубоко внутрь. Кроме Юшкова, на факультете преподавали крупные специалисты в области юриспруденции, беспартийные профессора М.М. Агарков, С.Ф. Кечекьян, приятель Николая Николаевича еще по годам учения в университете, П.И. Алексеев, И.И. Евтихийев и некоторые другие. Все они с трудом продержались до 1924/25 учебного года и почти одновременно с Николаем Николаевичем покинули Саратов и преподавательскую работу для более спокойной деятельности в научно-исследовательских институтах или даже просто на советской службе в Москве и Ленинграде. Серафим Владимирович оставался дольше всех в Саратове, но и он в двадцать восьмом году, растерянный и напуганный, приехал в Ташкент, где некоторое время прожил у нас, а потом уехал в Самарканд. Это было время чистки факультетов от прежней буржуазной профессуры и замены ее новыми, получившими уже советское воспитание, кадрами. Правда, и те через некоторое время были отстранены от преподавания, чтобы уступить место третьему поколению.

В первом 1922/23 учебном году Николай Николаевич, наряду с административной работой (он был зам. декана при декане Юшкове) и преподавательской деятельностью, принимал деятельное участие в студенческом философском обществе и подобрал среди постоянных посетителей небольшую группу учеников, частью уже окончивших университет. Это были оставленный им в аспирантуре Борис Николаевич Хатунцев, которого я хорошо знала с гимназической скамьи, присяжный поверенный П.В. Лебедев, прекрасный оратор и человек прогрессивных взглядов. Посещали кружок и два других аспиранта Николая Николаевича, оставленные им по государственному праву СССР, курсу, который было поручено ему читать, так как теорию права вел уже ранее приехавший в Саратов С.Ф. Кекечян. Это были Корнилов и Ундриевич, два приятеля, оба члены партии, ставшие преподавателями Конституции СССР на юридическом факультете и оба трагически погибшие в 30-х годах жертвами культа личности.

Б.Н. Хатунцев, самый дельный из них, был единственным сыном председателя Казенной палаты Ник[олая] Ник[олаевича] Хатунцева. Маленького роста, в очках, ходивший как-то вприпрыжку, он с гимназических лет отличался среди своих сверстников начитанностью и общим развитием. С ним было интересно поговорить, хотя однокашники именно за это его недолюбливали и часто подсмеивались над его подслеповатостью и странной манерой ходить. Он был в их глазах, как теперь принято говорить, «очкарик». Когда Н.Н. приехал в Саратов, он был уже окончившим юристом, интересовавшимся философскими вопросами права. Н.Н., познакомившись с ним ближе, предложил остаться при университете, и тот написал для своей диссертации хорошую работу — психологический этюд о природе власти и властвования. Однако на преподавание его не пустили, и он через несколько лет, неожиданно женившись на очень красивой девушке из бедной семьи, уехал с нею и матерью в Баку, где и работал в арбитраже. В 1948 г. он скорострительно скончался, оставив после себя сына и дочь. Со всеми вышеупомянутыми молодыми людьми Н.Н. был в тесном общении. Сам он прочитал в философском обществе вызвавший большой интерес доклад на тему: «Религия социализма». Он стремился доказать в своем докладе, что социализм с его отрицанием всякой религии, по существу, если брать его с психологической точки зрения, религиозен. Мысли о «Золотом рае» есть не научный, но религиозный идеал, и отношение к нему со стороны социалистов носит религиозный характер. Однако самое содержание этого идеала

противоречиво. Идея «Земного рая» по существу несовместима с религиозными представлениями, хотя чувства, которые она вызывает, и носят у последователей социализма религиозный характер.

В 1923/24 уч. году Н.Н. объявил факультативный курс на 10 ак. часов по теории применения права. Основной задачей курса было выявить логическую структуру процесса применения закона на практике к каждому отдельному конкретному случаю. Результатом этих занятий явились статьи, напечатанные в «Ученых Записках Саратовского университета»: «Догматический метод в теории применения права» и «Понятие социалистического правосознания в истории советского права». Параллельно с этим он занимался кодификацией советских законов о Церкви и дал комментарий к статьям Конституции по этому разделу. В «Ученых Записках» появилась также его статья о социально-политическом учении Н.Г. Чернышевского. Это была специфически саратовская тема, так как в это время в Саратове, родине Чернышевского, шла подготовка к открытию музея его имени, да и самый университет получил впоследствии название Университета им. Н.Г. Чернышевского.

Несмотря на все эти, сами по себе интересные занятия, Н.Н. в Саратове скучал. Среди своих коллег по факультету и находившихся с ним в общении молодых людей он не находил таких, с которыми мог бы быть откровенным до конца — ему не хватало духовного общения, к которому он привык за годы своей студенческой жизни и во время работы по Собору. Поэтому, когда он осенью 1923 г. получил письмо от Л.В. Успенского, своего давнишнего товарища по семинару Трубецкого и до Перми звавшего его в Ташкент, он решил на зимние каникулы 1924 г. съездить в Ташкент, чтобы сориентироваться на месте. 3 января 1924 г. мы поехали в Ташкент.

В ТАШКЕНТЕ (1924-1931).

*Первые впечатления и первые знакомства
(январь 1924)*

В Ташкент мы приехали в Рождественскую ночь 1924 г. Поезд шел с большим опозданием, и сочельник пришлось провести в вагоне. На вокзальной площади стояла вереница извозчиков (от чего мы давно отвыкли в Саратове, где конного извоза уже не существовало, его заменили трамваи): запряженные парой сильных сытых коней фазтоны с фонариками по обе-

им сторонам их — у козел, где восседал возница. Наняв извозчика, мы поехали по адресу Л.В. Успенского. Темное, почти черное небо, усыпанное крупными, незнакомыми нам звездами, мягкий, не по-зимнему теплый воздух, журчанье арыков, какие-то высокие, раскидистые деревья, растущие по обеим сторонам улицы, уютные небольшие дома типа коттеджей — все это мне страшно понравилось. Но вот и дом, где живет Л.В. Успенский — университетское общежитие, в котором он занимает отдельную квартиру, состоящую из кухни и большой комнаты, кабинета-спальни самого Л.В.

Звоним. Двери открывает нам худенькая, маленького роста старушка — мать Леонида Васильевича, Елизавета Петровна, а из соседней комнаты раздается грозный собачий лай, и на нас выскакивает огромный, дымчатого цвета дог, любимец Успенского, охранявший его покой.

На другой день после обеда пришли ближайшие друзья Леонида Васильевича, с которыми мы тут же перезнакомились и которые стали вскоре и нашими друзьями. Это были Василий Михайлович Комаревский, математик, заведующий университетской библиотекой; Д.И. Барботкин, преподаватель диамата, безбожник (впоследствии уверовавший), сосед Л.В. по квартире; Ю.И. Пославский, преподаватель какой-то экономической дисциплины, из коренных жителей Ташкента, кажется, сын крупного чиновника царского времени. Мы сразу же попали в атмосферу разносторонних религиозно-философских интересов, оживленных разговоров на эти темы: Николай Николаевич расцвел после саратовской скуки.

Леонид Васильевич был в то время лет 35-ти, плотный, сутулый, с небольшой бородкой и крупным лбом; очень хороши были у него ярко-синие глаза под густыми бровями, умные, слегка насмешливые глаза. Говорил он как-то захлебываясь и заикаясь, брызгая при этом слюной, но очень ярко и эмоционально. «Жрец всех религий», как он себя называл, он интересовался одновременно антропософией и мусульманским сектантством, гностицизмом и сатанизмом. Церковь, христианство были, с его точки зрения, чем-то «сереньким» — «мелкобуржуазной идеологией», как он говорил, подсмеиваясь над нами, самого же себя он называл идеологом «крупной буржуазии» (конечно, в шутку то и другое). Его любимая философская идея заключалась в утверждении многоплановости бытия, построенного иерархически от ступеньки к ступеньке. Первым этажом в этом здании была материя — физический мир, над которым возвышалось все мироздание. Следующим этажом был мир

психического бытия, на него опиралось общественное бытие, далее шел мир идеальных сущностей, мир логики, математики, философских идей. Все здание увенчивалось идеей Абсолютного, которое стояло вне этих планов, и в то же время каждый из них имел тяготение к нему, как к своему средоточию, не сливаясь с ним, но и не отделяясь от него.

Л.В. полагал, что его концепция удачно разрешает противоречие между материализмом и идеализмом, отводя каждому свое место в системе мироздания и не отрицая ни за одним значения подлинной реальности: идеальное (душа человека, общественное бытие и его сознание — мир культуры, царство идей — «ноуменов» и, наконец, Абсолютное) является бытием несравненно более богатым по содержанию, чем его низшая ступень — материальное, физический мир. Эту свою философскую концепцию Л.В. изложил вскоре после нашего приезда в один из «полдников» — частных послеобеденных собраний в его квартире.

Глубокими интеллектуальными интересами жил и Василий Михайлович Комаревский, сочетавший любовь к математике, «строжайшей из наук», с подлинной религиозностью. Математическая интуиция, открывающая перед мыслящим человеком стройную систему понятий, была, с его точки зрения, преддверием в мир непостижимых сущностей — платоновское царство идей, освещаемое Умным Солнцем — Первоверховной идеей Абсолютного, которое для него было, как он называл, Великим Богом. Математическая символика была для него не конструкцией человеческого ума, а миром реальных сущностей, «предметностей», подчиняющихся своим закономерностям, созерцаемым умом. «Нет мысли ни о чем», — цитировал он при этом Парменида, знаменитого философа античности. — Все, что является предметом мысли, *есть*, хотя и не все воспринимается органами внешних чувств. Математика, таким образом, обнаруживала, с его точки зрения, объекты, принудительные для мыслящего их сознания и в то же время лишённые физической материальности, «плотности». Среди студентов математического факультета ходили частушки, посвященные В.М. К сожалению, память отказывает, и я не могу их воспроизвести дословно, помню только, что первый куплет начинался с того, что иксы и игреки — реальные сущности, среди которых живет их учитель. Позже В.М. перешел от математического объективизма к религиозному мировоззрению. Пройдя через увлечение антропософией и гностицизмом, он в конце жизни был убежденным христианином и православным человеком. /.../

Часто присутствовал на этих собраниях Леонида Васильевича и Д.И. Барботкин. Незадолго до нашего приезда он появился в Ташкенте босой, в косоворотке, напитанный до краев самыми вульгарными идеями воинствующего атеизма в стиле Союза безбожников, сам же чуть ли не из старообрядческой семьи. Очень способный, в краткие сроки прошел он университетский курс и был оставлен при университете как преподаватель диамата. В то время, когда мы встречались с ним, от его бездумного безбожия не осталось и следа, и он очень внимательно прислушивался к словам Николая Николаевича. После разгрома факультета он уехал в Москву и последние годы был если не верующим, то во всяком случае богоискателем.

Вот эта-то возможность общения на почве духовных интересов привлекала Николая Николаевича больше всего, и он решил сменить Саратов на Ташкент.

Были и другие соображения, повлиявшие на это решение. Главным из них был дух большей свободы в университетской жизни. Ташкент был на отшибе, далекой окраиной, местом ссылки для «политических». В 24-м году, в год нашего приезда, мы застали еще много вольностей, не допускаемых в РСФСР. По сравнению с Саратовом жизнь в Ташкенте была ключом. (Богатые рынки, на каждом шагу торговцы, продававшие с шумом и ажиотажем какую-то мелочишку, лотошники, торговавшие виноградом, «сладким как мед», кислым молоком в ведрах и горячими лепешками, «чуреками»; национальная одежда, мусульманские праздники, проводившиеся под оглушительный грохот барабанов, визг флейт, дудение каких-то длинных труб, — все это было колоритно, ярко, живо. Небо сапфирно-голубое, жгучее солнце, журчанье арыков, огромные карагачи, отбрасывающие тень на всю улицу, красивые одноэтажные дома светло-шоколадного цвета с верандами и садами, — все это создавало впечатление какого-то нескончаемого праздника). После пустоты саратовских магазинов, полки которых были заставлены пачками горчицы и суррогатного кофе, нас поразило богатство ташкентских рынков, заваленных овощами и фруктами. В центре города были открыты небольшие ресторанчики, в которых можно было за недорогую плату вкусно пообедать, и притом на открытом воздухе под тенью деревьев.

В год нашего приезда университет обладал еще некоторой автономией. Профессоров и преподавателей выбирали, приглашали, а не назначали сверху. На факультете общественных наук, где одной из выдающихся фигур был Л.В. Успенский, в ходу была созданная им теория «легальной оппозиции». Сущ-

ность ее была в том, что, не возражая против основного направления советской политики в области высшего образования, в то же время там, где это было возможно и поскольку возможно, отстаивать элементы университетской автономии — независимость преподавания, право факультетов на выбор профессуры. Пользуясь этим правом, факультет избрал в свой состав Николай Николаевич, а позднее известных московских профессоров Винавера, Краснокутского, Виноградова, Руднева и некоторых других.

В январе 1924 года Николай Николаевич прочитал небольшой курс по какой-то юридической дисциплине и дал окончательное согласие на перевод в САГУ — Средне-Азиатский государственный университет.

*Последние дни жизни в Саратове
и поезд в Ташкент (май — август 1924 г.)*

В мае 1924 года мы вторично приехали в Ташкент: Николай Николаевич должен был закончить начатый им в январе курс. К этому времени нам отвели комнату с балконом на втором этаже одного из университетских домов, кажется, насколько помнится, на Ниязбеской улице, на окраине европейской части города, минутах в 30 ходьбы от университета. Комната была большая в два окна, но совершенно запущенная. Ее нужно было срочно отремонтировать и купить самое необходимое для первого обзаведения, так как у нас ничего не было. Здесь я впервые столкнулась с полной непрактичностью Николая Николаевича (правда, столь же непрактичная и бесхозяйственная была и я сама). Чтобы оклеить комнату свежими обоями, покрасить рамы, двери, полы, мы наняли двух узбеков. Поработав один день, они выпросили деньги вперед и исчезли. Через несколько дней пришлось стовариваться с другими, жильцами этого же дома, которые, пронюхав, с кем имеют дело, взялись за оклейку комнаты, не имея в этом деле никаких навыков. Комната оказалась оклеенной вкривь и вкось, то тут, то там виднелись следы от пальцев. К тому же и обои были выбраны нами неудачно — полосатые, темно-коричневые какого-то мрачного оттенка. Над нами добродушно подсмеивались и подшучивали. В комнате было пусто и жарко. Впервые мы ощутили ташкентскую жару — неподвижный знойный воздух и мельчайшая пыль, стоявшая в воздухе, как марево, и особенно густевшая к вечеру. Тогда казалось, что над городом повисло оранжевое облако. Мы от жары не очень страдали, выходили и днем, но по-настоящему приятно было

только к вечеру, когда солнце близилось к закату, и рано утром. Сторожилы говорили, что до революции в Ташкенте, как во всех южных колониях европейских стран, жизнь замирала с 11 до 4-х, закрывались и учреждения.

В этот период Николай Николаевич сильно переболел — он схватил брюшной тиф, к счастью, в легкой форме. В эти дни я столкнулась с новыми, до того мне неизвестными чудачествами Н.Н. Он не умел и не любил лечиться, не признавал диеты, поднимался с постели, в то время как врач предписал ему строгий постельный режим. Самое же главное — окружил себя кошками и собаками, которые, точно почуяв, что здесь лежит их добрый гений, со всего двора сбежались к нам. Это было семейство собак, состоявшее из трех членов: папы — Полкана, большого рыжего пса-дворняги, мамы — Жучки, болевшей лейшманиозом, распространенной во всей Средней Азии собачьей болезнью, передававшейся и человеку, и сына Буяна, веселого щенка, которого отец учил всем собачьим мудростям. Жучка приходила и молча ложилась в углу комнаты. Шерсть у нее повылезла, она дрожала всем своим исхудавшим телом. На груди у Н.Н. всегда лежала приبلудная кошечка, а на лестнице, не осмеливаясь войти в дом, сидела страшная черная кошка с зелеными глазами и выступавшими наружу клыками. Это была совсем одичавшая кошка, которую яростно изгоняли собаки. Как Николай Николаевич ни звал эту кошку, она не решалась войти внутрь. Я уходила с утра за провизией и, возвращаясь домой, чуть не плакала при виде всей этой компании: дрожащей Жучки в углу, Полкана, растянувшегося у дверей, серой кошечки на груди и злобно поглядывающей своими зелеными глазами черной кошки на ступенях лестницы. На мои просьбы и уговоры Николай Николаевич отмалчивался, и всякий раз, когда я возвращалась из более или менее длительных отлучек домой, я заставляла все ту же картину: довольного Николая Николаевича и расположившихся около него зверей.

Впоследствии, когда мы уже обжились, кто-то подарил нам маленькую комнатную собачку по кличке «Крошка». Крошка была кротким приветливым созданием. Она всегда радостно встречала нас, когда мы откуда-либо возвращались, прыгая на задних лапках и тыча мордочкой в колени. Николай Николаевич был с ней в большой дружбе. Но вот однажды с ней произошел следующий казус. Наступала Пасха, и я приготовила пасхальный стол, на котором, среди других снедей, лежала вкусно пахнущая телячья ножка. Ночью мы ушли в церковь к заутрене, вернулись уже на рассвете, но Крошка не встретила нас: сверну-

вшись клубком, она забилась под кровать и, прижав уши, была о пол хвостом, а посредине комнаты, на полу, валялась обглоданная телячья ножка. Преступление было налицо, но вслед за ним последовало и прощение. «Крошка, Крошка, выходи», — несколько раз позвал Николай Николаевич, и вот наконец-то, видимо, почувствовав по интонации голоса, что она прощена, Крошка вылезла на брюхе из-под кровати и так, на брюхе, и поползла к нему с повинной головой. Николай Николаевич еще раз позвал ее: «Ну, Крошка, скорей», и тогда она, вскочив на ноги, бросилась к нему и с радостным визгом запрыгала перед ним на задних лапках. Примирение было полное. Ни до, ни после этого с Крошкой таких случаев не приключалось.

Под конец нашей жизни в Ташкенте она заболела, ее отнесли в ветлечебницу и оттуда ее не вернули. Пожалели мы тогда нашу Крошку.

Когда Николай Николаевич поправился, мы уехали на лето в Саратов, где и прожили с моими родными на даче. Отец стал сильно сдавать, часто прихварывал (у него был туберкулез легких), мама тоже была уже старенькая и слабенькая. Грустно, невероятно грустно было смотреть, как жизнь уходит из дорогих сердцу людей. Сердце сжималось от боли при мысли о предстоящей разлуке. Но впереди ждала, как казалось, интересная, полная новых впечатлений жизнь, и грусть осталась где-то в глубине души, затаилась до времени, уступив место надеждам на счастье.

Кажется, этим летом мы ездили в Ерзовку, к отцу Николая Николаевича. Это был старик высокого роста, худощавый, с свежим, румяным лицом, веселый и приветливый, ходил он дома в подряснике, при выходе надевал рясу, но был уже не у дел. Церковь была закрыта, дом сгорел, сам он все потерял, но никаких признаков озлобленности или уныния не было и в помине. Он жил в небольшом деревенском домике с терраской, прислуживала ему по-прежнему кухарка Акулина, накормившая нас очень вкусной деревенской стряпней. Николай Константинович был оживлен и видимо радовался нашему приезду. Священник чувствовался в нем во всем. В первый же день мы побывали в ограде церкви, где была похоронена мать Н.Н., и за обедом сказали, что «были» на могиле. «Не были, а поклонились», — строго заметил он нам. Другой раз, уже за столом, я, не помню по какому поводу, выразилась о св. причастии — «хлеб и вино». «Не хлеб и вино, а плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа», — строго поправил он меня. На другой день он, несколько смущаясь, повел нас на свою бахчу, которую

он каким-то образом умудрился арендовать, угостил нас арбузом и дыней и показал двух бычков, которые паслись неподалеку. Неистребимая любовь к сельскому хозяйству сказывалась в нем.

Это было первое и последнее свидание Николая Николаевича с отцом после нескольких лет разлуки. Они много и оживленно разговаривали, рассказывая друг другу о пережитом за последние годы. Ни слова упрека не бросил он нам за запоздалый визит.

К концу августа 1924 года мы окончательно переехали в Ташкент.

Жизнь в Ташкенте

И действительно, жизнь в Ташкенте, под его лучезарным солнцем и синим как бирюза небом сохранилась в памяти как счастливейшая пора, несмотря на ее трагический конец. Особенно это относится к первым трем годам пребывания в нем, дальше пошли волнения, тревоги и скорби.

Если говорить об общем направлении жизни тех лет, то оно сводилось к мысли: надо торопиться сделать все, что возможно, ибо «дни лукавы». Вот эта-то жизнь в постоянном приподнято-возбужденном состоянии, как бы на острие меча, таила в себе нечто волнующее и в то же время манящее. Внутренне близки были пушкинское «Есть упоение в бою...» и тютчевское «Блажен, кто посетил сей мир...». События оправдывали и поддерживали эти настроения. В октябре 1924 года Узбекистан стал полноправным членом в семье советских республик — и с этого-то момента, по существу, началось его развитие в системе социализма. Одна за другой стали исчезать «вольности», о которых я говорила выше, и Ташкент стал быстро принимать черты, свойственные городам центральной части Европейской России. Была принята «земреформа» — узбекские хлебоборобы должны были выращивать вместо привычных им зерновых культур, овощей, фруктов, бахчевых и винограда — хлопок и только хлопок. Насильственно проводимая, она вызвала резкое ухудшение уровня жизни: рынки стали заметно бледнеть, фрукты подорожали, так как их отправляли на Север; уменьшалось количество выращиваемого риса и, следовательно, труднее стало готовить любимое национальное кушанье узбеков — плов, вместо привычных для узбеков чуреків стали выпекать ржаной хлеб, к которому они не привыкли. Пало и животноводство. Магазины Ташкента стали походить на знакомые нам по Саратову «прод-

маги» с их унылыми штабелями пачек суррогатного кофе и не менее унылыми продавщицами, которым нечего было про-
давать.

Оживление на улицах исчезло: не слышно было больше веселых голосов торговцев, продававших свой «сладкий как мед» виноград; национальный колорит стал блекнуть, с меньшей пышностью справлялись религиозные праздники мусульман, все чаще и чаще узбеки стали появляться в европейских или полуевропейских смешанных костюмах. Непривычные новшества вызывали неудовольствие в населении (особенно «земреформа»), и по всей стране началось басмаческое движение, в котором оказались замешанными не только декхане, но и интеллигенты из узбеков, частично и местные коммунисты, понимавшие коммунизм довольно своеобразно. Идеалом для многих из них был панисламизм, проводимый в Турции партией младотурков. Начались репрессии среди национальных кадров.

Новые веяния коснулись и университета: все чаще и чаще нарушалась его автономия, все резче звучало требование как можно быстрее перестроить преподавание на марксистских началах, все сильнее чувствовалось вмешательство политических органов, проводивших во всех областях жизни партийные директивы.

Процесс советизации Узбекистана, превращение его в «национальный по форме, советский по содержанию» продолжался с конца 1924 года по тридцатые годы и закончился подавлением басмачества, как наиболее яркой формы проявления народного недовольства, полным подчинением его населения единому для всего Союза режиму.

Эта же эволюция произошла и с университетом. Первые два-три года нажим ощущался не столь остро. Начиная с 1927-1928 гг. он становился все более и более ощутимым, пока не разразился катастрофой — чисткой преподавательских кадров университета и закрытием факультета общественных наук и востоковедения.

Из этой общей характеристики состояния жизни в Ташкенте в 20-е годы видно, в какой сложной обстановке пришлось жить и работать Николаю Николаевичу с его умонастроением. Потерпела тяжелый крах и концепция Успенского о «легальной оппозиции», сыгравшая в конечном счете вредную роль: попавшиеся на ее удочку университетские преподаватели обнаружили свое «я» и, не сумев вовремя переключиться, как это умел делать Леонид Васильевич, выходящий сухим из воды в любых положениях, попали в «неблагонадежные». В числе их оказался и Николай Николаевич. В конце 1928 г. он был взят «на учет» как

политически «неблагонадежный», и это несмотря на то, что в своей работе он был всегда далек от политики и держал себя, как человек вполне лояльный. При проведении всеобщих выборов он был лишен избирательных прав и в конце концов репрессирован.

Таково было общее направление и развитие нашей жизни в Ташкенте.

Вернусь к своему повествованию в хронологическом порядке.

Первый год (или два) мы прожили в предоставленной нам университетом комнате, о которой говорилось выше. Нужно сказать, что выходила она окнами на юг и летом была невыносимо душной. Двор пыльный, ни цветов, ни деревьев, как это обычно принято в ташкентских домах, составляя их прелесть, — не было, хотя посередине двора, среди желтой, окаменевшей от жары глины, зимой превращавшейся в непролазную грязь, находился довольно глубокий огороженный бассейн для купанья. Помню, в нем постоянно купался некий граф Бобринский, старик, из ссыльных, которого почему-то называли «красным графом». Во двор выходило еще несколько жилых строений, переуплотненных до крайности. Все это нам не нравилось, но все же мы прожили здесь две зимы.

Нашим непосредственным соседом был Александр Александрович Семенов, бывший вице-губернатор Ташкента, ко времени нашего приезда — профессор на факультете востоковедения. Спокойный, степенный, важный, знаток узбекского и таджикского языков и мусульманских сект, он воспринял некоторые местные обычаи, между прочим — манеру здороваться, прикладывая правую руку к сердцу. Говорили про него, что будто бы он принял тайно мусульманство. Не знаю, насколько это верно, но среди местного населения он пользовался огромным авторитетом — его имя было магическим, открывало вход в любые мусульманские двери. Жена его, из бывших купчих, была намного старше его и постоянно болела. Были у него две дочери: старшая, Ольга, серьезная девушка с большими серыми глазами, студентка математического факультета; младшая, Лариса, сожалевшая, почему она не Рената, на что отец замечал, что еще лучше было бы быть Ренегатой, была живая, остроумная девушка, хорошо копировавшая выражение лица, манеру говорить, ходить, здороваться других людей и очень смешившая нас всех своими выходками.

Другим нашим соседом был также преподаватель факультета востоковедения Л.Ошанин и его семья. С ним жила сестра его А.Н. Жемчужникова, учительница, миловидная стареющая дама с

огромным родимым пятном во всю щеку. Внизу под нами жила ее дочь, бывшая замужем за молодым человеком, прикованным к постели вроде Н.Островского. Что с ним было — никто не знал, но теща его Жемчужникова ненавидела его, считала лодырем и обманщиком. Это был красивый, страшно худой и бледный человек с тонкими чертами лица. Весь день он чем-то был занят, лежа на своей постели.

В январе 1925 года на факультет общественных наук были приглашены новые силы: профессор гражданского права, довольно известный деятель партии кадетов А.М. Винавер; проф. Н.Д. Виноградов, доктор философии Оксфордского университета и большой специалист по философии Д.Юма, занимавшийся последнее время педагогической психологией; проф. В.А. Краснокутский, читавший уголовное право, и некоторые другие. Все эти люди были в Ташкенте «гастролерами» — наезжали в Ташкент из Москвы и в сжатые сроки читали порученные им курсы. В.А. Краснокутский, старик далеко за 60 лет, очень бодрый для своих лет, быстро сдружился с Л.В. Успенским и В.М. Комаревским и часто бывал и у нас. Это был очень своеобразный человек, с большими религиозными интересами, «богоискатель». Как и Л.В. Успенский, он свысока смотрел на Церковь, как на нечто, пригодное только для удовлетворения религиозных потребностей людей примитивного склада, «не поднявшихся» до уровня высокой духовной жизни. Сам он считал себя «христианнейшим», «пневматиком», и проповедовал идеи, обличавшие в нем приверженца гностицизма в духе Маркиона. Чрезвычайно интересный собеседник, он проявлял большой интерес к антропософии и теософии, увлекался египетской мудростью, Тризмегистом, мистериями, йогами, легендами об Атлантиде, чуть ли не считал себя потомком древних атлантов.

Таким образом, в окружении Л.В. Успенского были люди самых разнообразных религиозно-философских интересов: В.М. Комаревский, увлекавшийся в те годы антропософией Р.Штейнера; знаток мусульманской мистики в ее разнообразных течениях А.А. Семенов; гностик-пневматик В.А. Краснокутский; ищущий атеист Д.И. Барботкин. Ареной для публичных выступлений стало отчасти организованное при университете философское общество, скоро, впрочем, закрытое. А.А. Семенов прочитал там доклады об измаелитах, мистической мусульманской секте «старцев горы», и о мусульманских поклонниках сатаны. В.М. Комаревский сделал доклад о математической бесконечности по учению Кантора и о философии свободы в системе Р.Штейнера. Это

то, что запомнилось. Был прочитан доклад о понятии бесконечности в философии Николая Кузанского.

Ник[олай] Ник[олаевич] в общении со своими друзьями всегда отстаивал православную точку зрения. Он считал делом своей жизни показать, что Церковь — совсем не примитив, что православие является хранительницей святоотеческих учений, глубина и богатство которых до сих пор еще как следует не усвоены. Вскоре от частных бесед он перешел к систематическому изложению основ православия. Уже на следующий год по приезду он в кругу нескольких лиц прочитал курс по истории догматических движений, показал глубокое религиозно-философское значение споров, вызванных возникновением ересей, и непревзойденную тонкость богословских понятий, созданных в процессе этих споров православной мыслью. Большое значение имел этот курс для В.М. Комаревского, который стал постепенно преодолевать свои антропософские увлечения, систематически изучать Добротолюбие, результатом чего явилась его работа: «Путь совершенной чистоты и молчания».

Одновременно с этими, конечно, сугубо секретными, неофициальными занятиями, в довольно широком кругу велось углубленное изучение Евангелия. Раз в неделю кто-нибудь из этого общества выступал со словом на евангельскую тему. По идее это «Слово» должно было быть результатом самостоятельных углубленных размышлений над евангельским текстом, — своего рода «медитацией», как называл его В.М. Комаревский, пользуясь антропософской терминологией, т.е. не рассуждением, а погружением в евангельское повествование. Это была очень интересная и духовно-полезная работа, она не только знакомила с Евангелием, но и заставляла глубоко вникнуть в него.

Очень быстро в нашем доме появилась молодежь. Это были Юра Панкратов и Ал. Рябцев, иподиаконы митрополита Никандра, выразившие желание познакомиться и изучить круг богословских наук в объеме семинарского курса. Они часто приходили к Н.Н., который беседовал с ними, давал литературу, составил программы для самостоятельного («заочного») изучения Основного богословия, нравственного богословия, учения о Церкви с подробными комментариями к ним и списком учебных пособий. Судьба этих двух юношей была различна. Юра Панкратов сын репрессированного полковника царской армии, скончался в возрасте 22-23 лет от чахотки. Это была чистая, бесхитростная, глубоко верующая душа. А.Рябцев, которого м. Никандр отстранил за какие-то проступки от иподиаконства, уехал в Ленинград, где проучился год в Богословском институте. Обла-

дая некоторыми литературными данными, он сделался впоследствии журналистом, «корреспондентом ТАСС», как он себя рекламировал, и отошел от церковных интересов.

Из Соловков для отбывания трехгодичной ссылки приехали Женя Щибровский, репрессированный за пропаганду католицизма, и Юрочка Базилевский, из известной дворянской семьи. Попал он в Соловки случайно — за участие в какой-то богемной пирушке; в Соловках встретился с заключенными из духовных и приехал в Ташкент совершенно излечившимся от своих богемных увлечений, верующим человеком. Это был неглупый, интеллигентный юноша, женившийся на глухонемой девушке, беззаветно преданной ему. Она была скульптором из Ленинграда, кажется, тоже ссыльная. Жили они впроголодь, снимая комнату в старом городе, которую обставили с большим вкусом в восточном стиле, причем вся обстановка и декоративные украшения были сделаны Лидией из каких-то старых ящиков и тряпок. Появлялась она в очень эффектных платьях, сшитых на скорую руку из самых дешевых, но ярких материй, падающих красивыми складками (она была высокая и хорошо сложена). От постоянного недоедания Юрий заболел чахоткой — она спасла его, откормив черепашым бульоном, салом щенят и черепашьими яйцами.

Через несколько лет, уже после нашего отъезда из Ташкента, Базилевский и Щибровский (они дружили) были снова репрессированы и погибли в лагерях.

В кругу этой молодежи появились и девушки. Это были приехавшие из Уфы с письмом от еп. Андрея (Ухтомского) купеческая дочка Рая Пуртова, хорошенькая брюнетка, и дочь генерала Лида Мальцева, обе не могли устроиться ни на учебу, ни на работу в родном городе из-за своего неблагонадежного происхождения. Лида Мальцева, рослая блондинка, решила во что бы то ни стало выучиться на шофера, получить звание рабочего и потом поступить в ВУЗ. Но и на курсы шоферов ее не принимали, когда из анкетных данных выяснялось ее происхождение. Тогда Лида поступила к нам в домработницы (вместе с Раей готовили они обед и покупали провизию), прошла в профсоюз и через профсоюз поступила на курсы шоферов. Много неприятностей пришлось ей перенести, когда ее послали работать на грузовое такси: и ругань, и приставания. Это была девушка с твердым характером, впоследствии [она] подготовилась к поступлению в Автодорожный институт, который и окончила со званием инженера-автодорожника. Рая, довольно легкомысленное и пустое создание, вышла очень удачно замуж

в Москве за научного работника, имела двух детей, но развелась с мужем. Лида и Рая познакомились с иподиаконами, а те познакомили их с другими верующими девушками из Сергиевской церкви (самой серьезной из них была Шура Кожушко, медицинская сестра). Так образовалась группа молодежи, с которой проводились занятия с целью расширения их умственного кругозора (все они были с семилеткой, но стремление к знанию, к духовному просвещению было большое). Было еще несколько юношей и девушек, посещавших наш дом, но это были основные, хорошо запомнившиеся.

Так в Ташкенте Н.Н. нашел возможность как-то применять свои богословские знания, и хотя и было все это ущербно, но давало все же какое-то удовлетворение душе.

Конечно, помимо этого, Н.Н. вел большую преподавательскую и административную работу в университете, печатал статьи в «Ученых Записках», в Советской энциклопедии и Энциклопедии права, изучал мусульманское право («Вакуфы» и «Шариат»), но внутренне все же не это было для него главным: большее удовлетворение давало ему, как теперь принято говорить, его «хобби», его приватное дело.

Церковные связи

Духовная жизнь в Ташкенте была своеобразной, сложной, полной драматических событий. Крупный пересыльный пункт, Ташкент был в то же время городом ссыльных. Тюрьмы всегда были полны людей, отправляемых в еще более отдаленные края, вроде, например, Душанбе, бывший в то время большим таджикским кишлаком в предгорьях Тянь-Шаня. В самом Ташкенте проживало много отбывавших трехлетний срок вольной ссылки после выхода из концлагерей, главным образом, из Соловков, — все люди, осужденные по 58 ст. уг. кодекса, как политически неблагонадежные. Среди них больше всего было высланных за идеологию: духовенства, монахов и монахинь, активных мирян, сектантов всякого рода и просто богоискателей. Много было также попавших в Соловки (а оттуда в Ташкент) случайно, по самым нелепым поводам. По такому нелепому поводу попала, например, в Соловки Екатерина Сергеевна Г., некая молодая особа, окончившая искусствоведческое отделение университета в Петрограде: ей было инкриминировано получение в подарок от родственников за границей через какое-то иностранное посольство пары шелковых чулок. Бедную девушку замучили подозрениями в шпионаже, а когда факт шпионажа не

был доказан, на всякий случай упрятали подальше по логике: если и не было, то могло бы быть. Вся жизнь этой интеллигентной, серьезной девушки и не помышлявшей о политике, была испорчена — скончалась в какой-то далекой ссылке во время войны.

Ссылные жили свободно, снимая частные квартиры у местных жителей, и были обязаны только явкой в определенные дни для регистрации в органах ГПУ. Жили большею частью впроголодь, заводили знакомства в самых разнообразных кругах ташкентского общества и являлись активными рассадниками всякого рода «идеологий». Узбеки относились к ним сочувственно, принимали их в свои дома, сдавали хибарки.

В европейской части города среди семей верующих встречались дома, в которых охотно принимали сосланное или пересылаемое духовенство, организовывали помощь одеждой и питанием. Некоторые постоянно носили передачу в тюрьмы, узнав каким-либо образом, что там томятся ссылные по религиозным делам. В одном из таких домов, в котором бывали и мы, постоянно находили приют временно оставляемые в Ташкенте до назначения нового места жительства ссылные из духовного звания. Среди них были и епископы. В этот дом хаживал и правящий ташкентский епископ Лука, с которым Николай Николаевич познакомился в первый же свой приезд.

Епископ Лука (Войно-Ясенецкий), известный не только в Ташкенте врач-хирург, незадолго до нашего приезда овдовел, принял монашество и был хиротонисован в епископы с оставлением в Ташкенте. Святейший благословил его и в сущем сане совершать по мере надобности операции, и он нередко пользовался этим разрешением, уступая настойчивым просьбам больных, решавшихся на сложную операцию только в том случае, если оперировать будет Войно-Ясенецкий (Лука). Владыка уступал просьбам, приезжал в больницу в монашеском одеянии и неизменно ставил наличие в операционной иконы Богородицы. Рассказывали, что однажды ему пришлось оперировать крупного партийца. Врач, присутствующий при этом и ассистировавший ему, еврейчик, умолял поставить икону в шкаф, доказывая, что и воля епископа будет удовлетворена, и больной, а тем более больница, не пострадают за нарушение принятых порядков. Но Лука остался непоколебим и совершил операцию (удачно) только после молитвы перед образом Божией Матери.

Его колоритную фигуру, с посохом в правой руке и молитвенником, который он держал перед собой в левой, можно бы-

ло нередко встретить, когда он утром отправлялся из своей квартиры на Учительской в Сергиевский собор.

Все эти «чужачества» терпели до поры до времени. Убрали его из Ташкента самым неожиданным образом. Об этом стоит рассказать, так как событие это весьма характерно для того времени (1925-26 гг.). В САГУ на медицинском факультете преподавал некий профессор-биолог (имени не помню*), который специально занимался опытами по оживлению (или «воскресению», как он заявлял) умерщвленных им ради этой цели собак и читал публичные лекции о возможности воскресения умерших, сопровождая их опытами на собаках. Интерес к этой проблеме возник у него по личному поводу, после того как у него скончался сын — мальчик лет 7-8, которого он страшно любил. Вместо того чтобы похоронить его обычным образом, он забальзамировал его и поставил тело мальчика в стеклянном шкафу в своем кабинете, сам обложился литературой по вопросу об оживлении умерших организмов (характерно, что настольной книгой его была «Философия воскресения» Федорова, философа — современника Вл. Соловьева) и занялся у себя в лаборатории экспериментированием на собаках. Жена его, мать ребенка, ушла от него, не будучи в состоянии выносить зрелище умершего сына. Тогда он женился вторично на студентке-медичке. Через несколько месяцев после этого брака профессора находят убитым в его кабинете. Начинается следствие: самоубийство или убийство? Эксперты говорят, что по положению раны есть больше оснований говорить о самоубийстве, жена (медичка) заявляет следователю, что это она убила мужа по наущению еп. Луки, так как тот *опасался*, что опыты над оживлением умерших собак могут якобы поколебать религию и станут во вред Церкви. Заявления этой особы оказалось достаточно, чтобы арестовать Луку и выслать его за пределы Ташкента. Это была первая ссылка еп. Луки, после которой он больше в Ташкент не являлся, начало его долгой подвижнической жизни в лагерях, откуда он вышел только по окончании войны, составив себе крупное медицинское имя по военной хирургии. Скончался он, как известно, в глубокой старости в Крыму в сане архиепископа. Н.Н. два-три раза встречался с ним у Муромцевых, но о чем они говорили — я не помню. В нашем доме он никогда не бывал.

Другую, не менее примечательной личностью, был опальный митрополит Арсений, в прошлом государственный сановник,

* Физиолог Иван Петрович Михайловский. — Ред.

первоприсутствующий член при правительствующем Синоде, бессменный председатель Собора в отсутствие патриарха, доктор богословских наук. Жил он в Ташкенте в вольной ссылке, снимая чуть ли не у узбеков малюсенькую комнатку с терраской, выходящей прямо во двор. Даже он ходил в узбекском халате, что, помню, меня поразило, сам стряпал себе пищу и жил в убогости и смирении, но и в этом униженном виде сказывался вельможа до мозга костей. Н.Н. бывал у него несколько раз, однажды вместе с Василием Михайловичем Комаревским, и он бывал в нашем доме, один раз, вспоминается, вместе с правящим м. Никандром (заявившим вдовствующую ташкентскую кафедру после ареста еп. Луки). Были они очень тронуты, когда мы их усадили за стол в глубоких креслах, — отвыкли от такого почета в мирском обществе. М. Арсений был сослан в Ташкент за оппозицию м. Сергию. По этому вопросу, главным образом, и шла у него беседа с Н.Н., встречавшимся с ним еще в бытность свою на Соборе. Но тогда владыка Арсений, один из трех кандидатов на патриарший престол, был первым (после патриарха) лицом на Соборе, а Н.Н. — самым молодым его членом, представителем от мирян. Близости между ними не было, да и не могло быть. В Ташкенте Владыка Арсений, гонимый, испытавший арест, тюрьму и ссылку, очень смирился и просто, радушно, с большим доброжелательством встретился с ним и был, как казалось, благодарен, что не забывают его. Помню, как в день его Ангела я преподнесла ему, по совету Н.Н. и В.М., букет цветов. Он был обрадован этим небольшим знаком внимания и все приговаривал: «Любили меня дамочки в свое время, любили». В бытность свою в Ташкенте он был в упадочном настроении, считал положение Церкви крайне тяжелым, и когда, кажется, В.М., в разговоре заметил, что «Врата адовы не одолеют ее», — он с горечью ответил: «Уже одолели». Во время встречи двух владык в нашем доме — опального м. Арсения и правящего м. Никандра, разговор также все время велся о положении Церкви, об отношении к м. Сергию и его точке зрения на текущий момент и церковную политику. Видимо, эта встреча дала повод к обвинению Н.Н. в том, что он, якобы, является негласным консультантом по церковным делам при правящем митрополите. На следствии ему пришлось выяснять различие между официальной точкой зрения, защищавшейся м. Никандром, и оппозицией, в которой был Владыка Арсений. По возвращении из тюрьмы он довел до сведения обоих митрополитов о своем показании у следователя. М. Арсений был несколько недоволен, но уже после нашего отъезда он написал примирительное письмо к

м. Сергию, был принят последним в общение и после смерти м. Никандра назначен им на Ташкентскую кафедру. Однако недолго довелось ему быть Ташкентским Владыкою. Летом, кажется, в 1930 году, он скоропостижно скончался за чашкой чая, вернувшись в воскресный день из храма, где он совершал Литургию. Кончина его была мирной, блаженной.

Проездом через Ташкент жил некоторое время у Муромцевых Уфимский Владыка Андрей (Ухтомский), кандидат в единоверческие епископы, если бы Собор принял автокефалию единоверцев. Но этот вопрос, как известно из актов Собора 1917-18 гг., был решен отрицательно: единоверцы, сохраняя свои обрядовые различия, свои храмы, свой быт, должны были, тем не менее, подчиняться правящему православному епископу той епархии, в которой они проживали, с тем, однако, условием, что один из викариев этой епархии должен был вершить дела местных единоверцев, с полным уважением относясь к их обычаям. Единоверцы остались недовольными этим решением, епископ Андрей встал на их сторону. Он полагал, что тяжелое положение, в которое попала Церковь при новом строе, является прямым следствием реформы Никона, и оправдывал позицию старообрядцев, воспротивившихся не столько исправлению старых книг, сколько вмешательству государственной власти во внутренние дела Церкви. С этой точки зрения вопрос о двуперстии и двукратном аллилуйя был для старообрядцев вопросом принципа, вопросом свободы вероисповедания. Позицию местоблюстителя м. Сергия он считал прямым продолжением синодальных традиций.

Исходя из этой точки зрения, он счел для себя возможным самочинно, вопреки ясному решению Собора, отслужить Литургию в единоверческом храме в сослужении с единоверческим духовенством в качестве единоверческого епископа, полагая, что этим самым он положил начало для воссоединения всех старообрядцев с православной Церковью. Он показывал Н.Н. фотографическую карточку, на которой был снят с руководителями единоверия, автокефалистами, сидящим у подножия креста в одеянии единоверца.

Очень живой, искренний, тяжело переживавший недуги Церкви, он вызывал большую симпатию к себе. Николай Николаевич был во многом согласен с ним в оценке момента, но считал его дело воссоединения самочинием и утопией. Самочинием — потому что дело такой большой важности, как решение давнишнего спора между старообрядцами и православными могло быть совершено только с участием всей Церкви, а не келейным спо-

собом договоренности друг с другом нескольких лиц. Утопией — потому, что он ясно видел, что из затеи еп. Андрея ничего путного не выйдет, что воссоединения не произойдет.

Из Ташкента еп. Андрей уехал в Уфу, где уже был епископ, поставленный м. Сергием. Произошел раскол. Пылкий и неосторожный Андрей, выступавший с горячими проповедями в своем уфимском храме, недолго пробыл на свободе. Он снова был репрессирован и, протомившись в тюрьме, скончался не выходя на свободу.

Наибольшее впечатление оставила на нас встреча и знакомство с архимандритом Вениамином (Троицким), высланным в Ташкент из Вышнего Волочка в вольную ссылку. Младший сын вышневолоцкого иерея, он еще в отрочестве был иподиаконом у еп. Теофила, большого знатока и любителя церковных служб. Очень рано приняв монашество, он в возрасте 20 с небольшим лет был уж иеромонахом, попал в тюрьму, где встретился с епископом Андреем, сошелся с ним и был возведен им в тюрьме же в сан архимандрита. Это был молодой, красивый монах, живой, деятельный, всегда окруженный молодежью, на которую он умел воздействовать. Он поселился за городом, сняв на Никольском шоссе небольшой домик, скрывавшийся от любопытных взоров проходящих в густом фруктовом саду. С ним поселились несколько старушек-монахинь (мать Зиновия, мать Анфия, мать Зосима, мать Тавифа и еще кто-то) и девушка лет 30-ти, некрасивая, скромная, болезненная, по имени Тоня. Все они образовали общину, бывшую на послушании у о. Вениамина. Постоянными спутниками о. Вениамина были два брата Куликовы — старший Николай, принявший впоследствии монашество с именем Нофита и скончавшийся в молодых годах на далеком Севере, и младший Миша, совсем еще мальчик. Был и еще брат, но он появлялся изредка. Все братья обладали хорошими головами и вскоре составили прекрасный хор. Приятный голос — мягкий баритон — был и у самого о. Вениамина.

В домике, в котором поселилась община, самая большая комната была оборудована под молельню. К ней примыкала небольшая комната, которая стала келией о. Вениамина. Три или четыре комнаты были заняты старушками. В воскресенье и праздничные дни о. Вениамин стал совершать богослужения. Службы были уставные, хор пел слаженно, Тоня прекрасно читала (у нее был звучный контральто), и вскоре слава о прекрасном богослужении в маленьком домике на Никольском шоссе разнеслась по всему городу. В скором времени молельня перестала вмещать всех желающих присутствовать на бого-

служении и опоздавшие размещались в саду, под деревьями, у открытых окон. Особенно запомнилось богослужение под Пасху. Темно, звездная ночь, блещущий огнями домик, горящие площадки под деревьями, отбрасывающие фантастические тени, народ, в благоговейном молчании расположившийся под кущами деревьев, у открытых окон, откуда раздавалось ликующее пение пасхальных ирмосов. На рассвете кончилась Литургия, и тут же в саду была организована трапеза для народа. Такие праздничные угощения арх. Вениамин устраивал всегда в дни двенадцатых праздников, а иной раз и в воскресенье. Его намерением было возродить порядки древней (первохристианской) Церкви — ее простоту и одушевление, ее общинный строй и живую трепетную веру в Спасителя. Желая воодушевить своих стареньких монахинь, он стал проводить с ними беседы о первохристианской Церкви и на евангельские темы, но те, утомленные дневным трудом, засыпали к большому его огорчению, о чем он сам с юмором рассказывал нам.

Молодежь, которая бывала у нас, перекочевала из Сергиевского храма в общину Вениамина. Вениамин много с ней возился, беседовал, вразумлял, поучал. Вениамин отрицательно относился к обновлению и был в числе «непоминающих», т.е. в оппозиции к официальной Церкви. Вполне понятно, что деятельность Вениамина, столь успешно развивавшаяся в Ташкенте и притом в оппозиции к правящему епископу (что было уже нарушением канонов), вызвала пристальный интерес со стороны наблюдающих органов. За ним была организована гласная и негласная слежка. Так, например, в одно из воскресений, когда о. Вениамин после совершения Литургии сидел за своей обычной трапезой в окружении собравшегося народа, неожиданно появился ташкентский уполномоченный по церковным делам, перелезший для этой цели через ограду. Радушно встреченный о. Вениамином, который высказал искреннее удивление по поводу столь странной манеры приходить в гости и весело посмеялся над этим. Тот был угощен и после беседы отправился восвояси. Предсудительного ничего не было, но самый факт возрастающего влияния на народ, особенно на молодежь, был нежелателен, и не прошло и 2-х лет, как о. Вениамину пришлось уехать из Ташкента. Вызвал его в Уфу еп. Андрей. Там он был хорошо встречен и после ареста последнего занял уфимскую кафедру. Таким образом, как и при еп. Андрее, в Уфе существовало два церковных направления, два епископа: еп. Вениамин, сторонник еп. Андрея, бывший в оппозиции к м. Сергию, и представитель официальной церковной власти, кажется, еп. Иоанн.

Недолго пришлось быть молодому епископу на кафедре. Он был арестован, долго просидел в заключении, выпущен из тюрьмы тяжело больным в вольную ссылку в г. Мелекесс, где вскоре умер. Это был живой, талантливый, искренне верующий человек. Жертва времени. Несколько раньше его умер в Мелекесе Юра Панкратов, в последнее время очень сблизившийся с ним, а несколько позже — и Тоня. В Ташкенте распалась и маленькая общинка, созданная им.

Николай Николаевич часто встречался с о. Вениамином и подолгу с ним беседовал. Темой этих бесед были не только общие религиозно-философские вопросы, которыми о. Вениамин интересовался (он много читал и был вполне культурным человеком, несмотря на то, что не смог получить высшего образования), но и текущее положение в Церкви, ее судьба в дальнейшем, — тема, которая больше всего волновала и тревожила церковных людей.

Николай Николаевич очень ценил эти встречи с церковными людьми, только в этой среде он чувствовал себя в своей тарелке, одушевлялся, расцветал, держался непринужденно, был весел и разговорчив, и они также относились к нему с большой симпатией, невзирая на разность положения. Тема Церкви, ее положения в обществе, отношение к ней государственной власти, ее грядущие судьбы волновали его чрезмерно, иной раз до слез: в такие минуты он ходил быстрыми шагами по комнате, нервные подергивания усиливались, лицо бледнело, он чуть не плакал, пока этот приступ тоски, тревоги, печалования не проходил, и он снова возвращался к своему обычному легкому, я бы сказала, жизнерадостному настроению. Житейские неудачи, которых было достаточно на его веку, волновали его куда меньше.

Самым острым вопросом, который неизменно поднимался как в церковной среде, так и в обществе, собиравшемся у Л.В. Успенского, был вопрос об отношении к м. Сергию, местоблюстителю патриаршего престола. В церковных кругах этот вопрос имел прежде всего практическое значение: то или иное отношение к м. Сергию определяло степень легальности церковного деятеля. В то же время у «христианнейших гностиков» (В.А. Краснокутского, Б.М. Власенко, Ю.И. Пославского, отчасти и у самого Л.В. Успенского) всякий промах, всякий неверный шаг высшей церковной власти встречался с известной долей злорадства. Николай Николаевич остро ощущал необходимость разъяснить смысл церковной политики, защищать от напрасных на-

падок на нее, особенно со стороны чуждых и равнодушных к Церкви людей.

Среди церковных деятелей, таких как м. Арсений или еп. Андрей, вызывало критику провозглашение себя митр. Сергием «местоблюстителем патриаршего престола» при жизни м. Петра, преемственно принявшего власть местоблюстителя от самого Святейшего патриарха Тихона, тогда как Сергей был всего только «местоблюстителем местоблюстителя» впредь до возвращения м. Петра. Однако м. Петр был в далекой сибирской ссылке, от него не было никаких вестей, неизвестно даже, был ли он жив. Церковь, оставаясь без главы, раздиралась в борьбе с обновлением, несла в этой борьбе большие жертвы; в то же время на местах не было осведомленности о том, что делалось в центре, всюду появлялись самочинные движения, поощрявшиеся властью с целью создания раскола, к которым народ, миряне, не знал как относиться. Духовенство, не принимавшее этих новоявленных деятелей, арестовывалось, высылалось, церкви закрывались, приходы пустели, по всей стране среди верующих было смятение, стоны, плачи. Вот в это-то трудное время м. Сергей взял бразды правления в свои руки, возглавив Высшее Церковное Управление и энергично принявшись за наведение порядка в епархиях. С канонической точки зрения это был захват власти, так как по каноническим правилам м. Сергей должен был получить свои полномочия от законного местоблюстителя м. Петра. Но м. Петр был вне пределов досягаемости. Взяв власть в руки, м. Сергей оправдывал этот, по существу, неканонический поступок, тяжестью обстоятельств, вынудивших его, ради спасения церковного корабля пренебречь канонами. Среди духовенства, как высшего, так и низшего, начались сомнения в правильности этого поступка, начались отходы, появился новый раскол.

Николай Николаевич, лично знавший м. Сергия по Собору и благожелательно относившийся к нему, долгое время защищал его от нападок тех, кто не признавал его местоблюстителем, оставаясь верным м. Петру. Он полагал, что в Церкви равно правомерны два пути: путь церковной акривии, которым шел м. Петр, отвергнувший все компромиссы и принявший бремя мученичества, и путь церковной икономии — приспособления к обстоятельствам, ради сохранения целостности Церкви, ради возможности ежедневного совершения Божественной Литургии, без чего народ одичает. Николай Николаевич полагал, что путь икономии есть также своего рода «изволение мученичества», — в некоторых отношениях, быть может, даже более трудный, так

как в нем нет пафоса героизма, согревающего душу того, кто идет путем акривии. Церковная икономия — это не приспособление к обстоятельствам, не лавирование среди них с целью достижения каких-то выгод. Церковная икономия предполагает, что тот, кто идет этим путем, берет на себя крест добровольного уничтожения и поношения, крест непонимания, насмешек и пренебрежения, — ради одной великой цели — спасения стада Христова, немощного, страдающего, оставшегося как овцы без пастыря в обстоятельствах притеснения и гонения. Защищая м. Сергия от нападков, Николай Николаевич так именно понимал его дело и оправдывал неканоничность его власти, — до тех пор, пока не появились в газетах ставшая широко известной декларация м. Сергия и его последующие выступления. Эта декларация, в которой утверждалось, что аресты и преследования духовенства направлены только против лиц, являвшихся на самом деле политическими преступниками, глубоко взволновала Николая Николаевича и привела его в смятение. «Как можно было так сказать в то время, как Церковь лишена всех свобод, а церковные люди тысячами скитаются по лагерям? — говорил он. — И кто же это говорит? Лицо, стоящее во главе Русской Церкви, почти Патриарх. Это уже не "икономия", а простое приспособленчество». В это время Николай Николаевич разорвал и сжег свою статью о «Двух путях» в церковной деятельности. Он пришел к выводу, что м. Сергий на этот раз в своих декларациях перешел пределы дозволенной икономии и допустил далеко идущие компромиссы, обрекающие Церковь на прозябание. Возродив традиции синодального периода в управлении Церкви, что имело еще некоторый смысл в условиях христианского государства, он поставил Церковь в подчинение атеистической власти, которая терпит Церковь только «до времени». Николай Николаевич перешел в стан тех, кто именовал себя «непоминающими», однако, он предостерегал от опасности впасть в раскол и не считал иерархов, поминающих м. Сергия, погрешающими против канонов; он считал для себя возможным посещение храмов, в которых возносилось имя митрополита Сергия. Догматически м. Сергий не согрешил, его декларации и заявления, появившиеся в печати, можно рассматривать, как его личные взгляды, не обязательные для верующих, быть может, даже и вынужденные.

Еще больше смущения внесло введение поминовения властей за богослужением. Николай Николаевич полагал, что само по себе поминовение власти, хотя бы и противоборствующей, не идет вразрез с преданием Церкви, молившейся за языческую

власть в самые тяжелые годы гонений, и может быть канонически обоснованно. Но, однако, поминовение властей за великим выходом на Литургии или без прибавления «да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» — есть переход за пределы дозволенной икономии. Между тем в некоторых храмах усердствовали и поминали «властей» и «воинство» за великим выходом, как это было в дореволюционной России. Но в те времена подобные поминовения оправдывались тем, что царь являлся помазанником Божиим, первым «человеком царства», предстоятелем пред Богом за «мир», за народ. В условиях революционной России всего этого комплекса идей нет, и поминовение богоборческой власти в момент, когда молящиеся готовятся к участию в величайшем христианском таинстве пресуществления хлеба и вина в плоть и кровь Господа Иисуса Спасителя, является по существу кощунством. Поминовение властей с непременным добавлением слов «да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» уместно лишь на эктениях, как молитва за земное отечество, каким бы оно ни было, и за создание в нем таких условий, при которых верующие могли бы жить «во всяком благочестии и чистоте».

Поминание властей в революционной России не имеет ничего общего с поминовением власти в царское время не потому, что первая власть якобы хуже второй — дело не в этом, а в разном отношении к Церкви со стороны «властей предрержащих»: царская власть даже в самые свои худшие времена все же признавала себя христианской; революционная власть при всех своих благих намерениях создания для народа земного счастья и изобилия благ для всех не только не признает себя христианской, но и открыто провозглашает себя атеистической. В этом вся разница. Однако многие забывали ее, смешивали одну с другой. Опубликование м. Сергием его декларации и введение поминовения власти за богослужением глубоко взволновали души духовенства и верующих. Часть духовенства, пошедшая за м. Сергием, на первых порах жила в атмосфере казенного благополучия, которое, казалось бы, подтверждало правильность его церковно-политического курса. Однако, совесть многих служителей Церкви не мирилась с этим курсом и в особенности с допущенной м. Сергием в его декларации ложью, что повело к возникновению церковной оппозиции и даже новому расколу. Наиболее крайние представители этой оппозиции полностью откололись от возглавляемой митр. Сергием иерархии; они обвиняли митрополита чуть ли не в ереси и доходили даже до отрицания благодатности таинств, совершаемых в храмах, где поминали имя

м. Сергия. Николай Николаевич не разделял этих крайних взглядов; он принадлежал к более умеренному крылу церковной оппозиции.

Между тем протест против церковной политики митр. Сергия повел к новым репрессиям со стороны гражданской власти, рассматривавшей всех оппозиционеров как политических преступников. Начались аресты среди наиболее оппозиционно настроенной части духовенства, за которыми часто следовало и закрытие храмов, в которых они служили. Несмотря на то, что протест против линии м. Сергия привел к таким тяжелым последствиям, Николай Николаевич видел в этом протесте глубокий духовный смысл. Значение его, по мнению Николая Николаевича, заключалось в том, что Церковь, лишенная возможности воздействовать на мир путем христианской миссии, освятилась кровью и стойкостью исповедников и молитвой в скорбях и страданиях за Церковь, возносимой ими к Престолу Божию.

Вместе с тем Николай Николаевич твердо стоял на том, что протест и оппозиция против линии митр. Сергия ни в коем случае не должны вести к расколу, поскольку здесь не было догматических нарушений ни с той ни с другой стороны. Это было различием в вопросе, не получившим догматического определения, и в Сергиевских храмах можно было встретить истинных «рабов Божиих» и подлинное христианское благочестие — стоит вспомнить хотя бы архиепископа Тверского Фаддея и тверское духовенство (о. Илия Громогласов, о. Борис Забавин и др.), епископа Курского Онуфрия с его духовенством, Орловского епископа Александра и многих других, которые, несмотря на вполне лояльную церковную позицию, почти все кончили жизнь в изгнании. Поэтому в какой бы город мы ни приезжали, мы неизменно посещали храмы, хотя в них и возносилось имя митр. Сергия. Абсолютно неприемлемыми были для Николай Николаевича только такие церкви и направления того времени, как группа еп. Антонина, обновленчество, «Живая Церковь», григорианство, поскольку в них он усматривал уже догматические нарушения, самочиние, отступление от благодатного строя церковной жизни, пренебрежение канонами и преданием. Только в Калининe, после ареста архиепископа Фаддея и его духовенства, мы перешли, с благословения о. П., на домашнюю молитву, тем более, что в это время особенно широко развернулась кампания по закрытию храмов как в Москве, так и на периферии, в результате чего в годы, непосредственно предшествовавшие началу Великой Отечественной войны, положение Церкви было очень тяжелым. Только патриотическая деятельность

Церкви во время войны привела к глубоким изменениям в положении Церкви в советском государстве. Но это произошло уже после кончины Николая Николаевича. В годы же его жизни в Ташкенте, которые совпали с началом наиболее острого периода кризиса церковной жизни, он часто участвовал в обсуждении животрепещущих вопросов в жизни Церкви как в кругах церковных деятелей, так и в кругу своих ближайших друзей отстаивая вышеупомянутую точку зрения.

Для ташкентского периода жизни характерны также связи Николая Николаевича с священнослужителями инославных вероисповеданий — с пастором и ксендзом местных церквей. Оба они бывали в нашем доме, один раз мы были вместе у пастора в его чинном протестантском доме. С обоими он вел дружеские беседы, не подчеркивая своего превосходства как члена Православной Церкви и с уважением относясь к особенностям протестантизма и католичества, догматическим и обрядовым. Разделение христианских церквей он считал явлением временным, ссылаясь на подтверждение своего мнения на слова митр. Филарета (Дроздова), что «перегородки между ними до неба не доходят», так как для каждой из них самым существенным является вера во Христа, Сына Божия, пришедшего во плоти, чтобы спасти всех. Близка была ему и мысль «Трех разговоров» Вл. Соловьева. Живо чувствовал он близость времени, когда по всему лицу земного шара разольется волна всеобщего неверия и отступления, в каждой стране проявляясь по-своему, и тогда «малое стадо», оставшееся верным Христу, должно забыть свои разногласия и объединиться на том, что всем им обще. Признаки грядущего сближения он усматривал во многих явлениях времени — и в стремлении старокатоликов к сближению с православными, и в отказе протестантизма от крайностей отрицательной критики и возвращении к традициям первоапостольской церкви, и в пересмотре католиками отношения к православию и признании ими заслуг мученической Церкви в России. Он по существу стоял на точке зрения, которая в настоящее время именуется «экуменизмом» и для которой характерно стремление к объединению перед силами воинствующего атеизма всех религиозных культов на основе единой для всех веры в Бога и Христа Спасителя. Забегая вперед, скажу, что в тюрьме он молился даже вместе с мусульманами (про себя) во время их утреннего и вечернего намаза, в то время как русские неверы глумились над ними и насмехались над ним как над «разложившимся». Однако себя он всегда считал православным и вне Церкви не мыслил своего бытия.

*Тревоги и испытания
последних лет жизни в Ташкенте*

Благополучие первых лет пребывания в Ташкенте длилось недолго. На этом факультете была провалена партийная кандидатура троцкиста, высланного за левацкий уклон из Ленинграда (шли слухи, что он развалил факультет в Ленинградском университете), реакцией на это был, в конечном счете, разгром двух наиболее крамольных факультетов — факультета востоковедения и факультета хозяйства и права. Оба факультета были закрыты, профессорско-преподавательский состав уволен за ненадобностью, и Николай Николаевич в числе других остался без работы. Когда по прошествии некоторого времени было приступлено к созданию на обломках разгромленных факультетов новых, которые были укомплектованы уже национальными кадрами, а из прежнего состава людьми менее приметными, Николаю Николаевичу не нашлось там места. К этому времени его сделали «лишенцем» и в публичных списках избирателей его имя, наряду со всякого рода «бывшими», было внесено в число лишенных избирательного права. Николай Николаевич был удручен — лишение прав означало своего рода политическую смерть, ставило непроходимую преграду для работы. Зарабатывать на жизнь пришлось случайными занятиями: дачей частных уроков, составлением популярных брошюр вроде «Алкоголизм и его вред», частной юридической практикой у некоего присяжного поверенного. Перспектив на устройство в Ташкенте не было никаких — с грустью видели мы, как распадается налаженная жизнь. Из Москвы уже больше никто не приезжал, многие знакомые были в таком же положении, как и Николай Николаевич, среди них известнейший знаток Узбекистана А.А. Семенов и др.

В этот тяжелый для нас год скончался мой отец. С его смертью кончились наши летние поездки на дачу к родителям. Тоже конец, и притом очень мучительный, жизни под родительским кровом, конец молодости. Мы стояли перед порогом новой жизни. Как-то она сложится?

Зима 1930-31 года прошла в тревогах и ожидании еще более неприятных вещей. Однако весной 1931 года неожиданно наступило в нашей жизни какое-то прояснение. Николай Николаевич получил приглашение из Таджикистана (который незадолго перед этим стал Автономной республикой со столицей в Душанбе) на должность ученого секретаря во вновь открытый Таджикский научно-исследовательский институт. Туда же был приглашен и А.А. Семенов, и в феврале они оба уехали в Душанбе.

В Душанбе нам отвели небольшую квартиру из двух комнат в только что отстроенном двухэтажном доме на окраине города. Окна нашей квартиры выходили на гряды холмов, ранней весной сплошь покрывшихся пламенеющими тюльпанами. Весь городок представлял собой, в сущности говоря, большой кишлак, расположенный в предгорьях Тянь-Шаня на берегу очень бурной горной речки. Он весь утопал в садах и, в отличие от Ташкента, имел очень небольшую европейскую часть, всего две-три улицы. Среди русского населения было много ссыльных и бывших ссыльных, обжившихся и оставшихся на работе по окончании срока ссылки.

Приехав в Душанбе, я нашла Николая Николаевича очень неустроенным. Институт влачил жалкое существование — почти без кадров, зарплату выплачивали крайне редко, с интервалами в 2-3 месяца. Наладить работу при таких обстоятельствах было крайне трудно. В городе было беспокойно — в окрестностях бродили отряды басмачей, совершавшие дерзкие налеты внутри города. Пограничные войска и милиция были брошены на борьбу с басмачами.

Еще до моего приезда Николай Николаевич познакомился и подружился со строительным техником Николаем Васильевичем Емельяновым, который жил со своей семьей в бараках недалеко от нас. Глубоко верующий человек, он сумел организовать у себя на квартире нечто вроде молитвенного дома, куда собиралась небольшая группа верующих, конечно, под большим секретом. В Сталинабаде [Душанбе] в это время не было ни храма, ни священника; на кладбище лежало много неотпетых покойников к большому горю их родных и близких. Николай Николаевич довел до сведения ташкентского митрополита Никандра тяжелое положение верующих в Душанбе, и, когда я стала собираться к Николаю Николаевичу, владыка вручил мне Св. Евангелие для передачи ехавшему туда в ссылку некоему Ростовскому протоиерею в благословение на совершение в этих местах богослужения. Приехав в Душанбе, я сообщила о своем поручении Ник[олаю] Ник[олаевичу], и мы вместе оповестили об этом Н.В. Емельянова и собиравшуюся у него горстку верующих. Все были крайне обрадованы, так как приближалась Пасха, а в Душанбе ни разу еще не раздавалось ранее пасхальных песнопений. Однако найти ростовского протоиерея оказалось делом очень трудным. Мы знали только, что зовут

его отцом Павлом (даже фамилию не знали) и что его сопровождает несколько монахинь, вместе с ним едущих в ссылку. Приближалась Страстная, а поиски мои были безуспешны. В раздумье ходила я по улицам Сталинабада, вглядываясь в лица проходящих, как вдруг, однажды, уже на шестой неделе поста, в один из базарных дней я увидела в разношерстной толпе покупающих и торгующих двух женщин средних лет в белых платочках. «Они!» — мелькнуло у меня в голове, и я бросилась вдогонку за ними. Схватив одну из них за рукав, я спросила, не они ли монахини из Ростова, приехавшие с о. Павлом. Женщины ответили утвердительно. Да, это они, а о. Павел сидит у развилки в ожидании пристанища, они же пошли искать квартиру. Торопясь и волнуясь, рассказала я им о поручении, данном мне м. Никандром, и о том, что их здесь давно уже ждут и что пристанище для них готово. Обрадованные неожиданной и столь чудесной встречей, отправились мы к месту, где поджидал монахинь о. Павел, а оттуда четвером пошли к Н.В. Емельянову. Тот тут же отвел о. Павла в приготовленную для него комнату, а монахини устроились отдельно, сняв себе хибарку у таджиков. К вечеру пришел Николай Николаевич, а на другой день в молельной у Н.В. Емельянова был установлен небольшой столик для совершения Литургии, и о. Павел начал свое служение под Вербное Воскресение. Страстную неделю каждый день были службы, которые мы неизменно посещали, но перед самой Пасхой разразилась гроза — рано утром, на рассвете, к нам постучали, вручили ордер об аресте и, нужно сказать, после довольно поверхностного обыска (все рукописи Н.Н. остались целы) увезли его в тюрьму. В тот же день и час был арестован А.А. Семенов. Оба ареста были сделаны по приказу из Ташкента. Местные власти были лишь исполнителями приказа и сквозь пальцы смотрели на режим не своих заключенных. Их больше беспокоили таджики-басмачи, заполнившие собой все помещение тюрьмы. Мне пришлось подумать о передачах и Николаю Николаевичу, и А.А. Семенову. Сидели они в разных камерах, причем А.А., знавший таджикский язык и местные обычаи и известный еще по своей прежней дореволюционной деятельности, пользовался у таджикской охраны громадным авторитетом. Любую передачу для него всегда принимали безотказно. Однажды он переслал мне через таджика-охранника большие золотые часы для передачи семье. Часы были замечательны тем, что на внутренней их крышке была выгравирована именная надпись эмира Бухарского. В Ташкенте эти часы могли бы сыграть роковую роль. Получив часы, я не зна-

ла, что мне с ними делать, куда спрятать. В конце концов за-
сунула в мешок с мукой и таким образом привезла их в Ташкент.
Родные А.А. пришли в ужас от этих злосчастных часов. Разобрав
их на части, она разбросала их в разные места, чтобы только
как-нибудь отделаться от этой улики.

Николай Николаевич сидел в худших условиях. С ним было
еще несколько арестованных русских, частично уголовников.
Вели они себя безобразно, в воздухе висела ругань, пребыва-
ние с ними было страданием. Зато заключенные из таджиков,
эти страшные басмачи, вели себя безукоризненно. Каждый день
в определенные часы они становились на молитву, и Н.Н. мо-
лился вместе с ними. Впрочем, к этому времени, быть может,
под влиянием надвигающихся страданий, которые интуитивно
чувствовались им, Николай Николаевич много молился — не
только дома, но и на улице, в общественных местах он творил
непрестанную молитву. Это было настолько заметно, что окру-
жающие часто считали его священником, а мальчишки постоянно
дразнили его, бегая за ним с криком: «Мулла! Мулла!».

В это время на передаче я познакомилась с женой одного
политического заключенного, и она научила меня зашифрованной
корреспонденции: на папиросной бумаге писалась записка, ко-
торая вкладывалась в корешок книги — книги принимались
беспрепятственно. С тех пор я стала регулярно переписывать-
ся с Н.Н.

После месячного пребывания в сталинабадской тюрьме Н.Н.
и А.А. были пересланы в Ташкент, где в это время полным
ходом шло следствие по делу арестованных профессоров и пре-
подавателей двух закрытых факультетов. Следствие длилось
около полугода. Были предъявлены самые фантастические об-
винения, в которых нужно было «признаться». Одним из глав-
ных пунктов обвинения был провал на факультетских выборах
партийного кандидата — вышеупомянутого ссыльного троцкиста
из Ленинграда. В этом неподчинении партийным требованиям
был усмотрен прямой вызов Советской власти, хотя этот троц-
кист сам был впоследствии арестован и расстрелян за анти-
партийную деятельность. Все ссылки на университетскую авто-
номию еще больше подлили масла в огонь. Всякое чаепитие,
всякая встреча за обеденным столом, всякое празднование имен-
нин были в глазах следственных органов контрреволюционны-
ми собраниями. Николаю Николаевичу предъявили особое обви-
нение в знакомстве с митрополитами Никандром и Арсением
и в негласной консультации по церковным делам. Инкримини-
ровалось также влияние на молодежь.

По истечении полугода Николай Николаевич, бледный, худой, еле державшийся на ногах, т.к. ноги ослабли, был выпущен вместе с другими на свободу впредь до вынесения приговора Москвой. В январе 1932 года пришло решение: трехгодичная ссылка в Новосибирск. В конце января Николай Николаевич уехал в Новосибирск, а в конце февраля, ликвидировав все наши вещи, уехала и я. Николай Николаевич уже работал в качестве экономиста в планово-экономическом секторе Западно-Сибирского Крайкомхоза. С этого времени началась тягостная для Н.Н., очень несвойственная ему служебная деятельность в учреждениях на должностях плановика-экономиста или статистика.

В НОВОСИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ (январь 1932 — весна 1934 гг.)

После солнечного Ташкента Новосибирск показался суровым, пасмурным, настороженным. Люди хмурые, замкнутые. Город, кроме Красного проспекта — главной улицы, застроенной благоустроенными домами, представлял собой в те времена по сути дела широко раскинувшееся село с небольшими деревянными домиками и дощатыми тротуарами. В каждом таком домике непременно были ставни с тяжелыми болтами. Как только наступали сумерки, все дома наглухо закрывались ставнями, ворота и калитки были на запорах. На ночь спускались цепные псы. В одном из таких домиков на улице Крылова, недалеко от главной магистрали — Красного проспекта, и совсем близко от действующего храма, Николай Николаевич снял у двух старушек небольшую комнату. Комната выходила на кухню, оттуда и отапливалась. В кухне за печкой помещались старушки, Мария Степановна и Степанида Степановна.

Жили мы одиноко, что после ташкентской общительности нас тяготило. Утром на работу, Николай Николаевич в Крайкомхоз, а я в Крайтруд, в бюро профконсультации, где я была на должности психотехника. В выходные дни (в те времена неделя была пятидневной и выходной день не совпадал с воскресеньем) мы ходили в близлежащую церковь (в городе было всего два действующих храма) к Литургии. Батюшка, очень добродушный человек, заметил нас и, когда мы подходили к кресту, неизменно приветствовал нас: «С выходным днем!»

Город был переполнен ссыльными и беженцами из Казахстана и Киргизии, где свирепствовал голод. Нередко можно

было увидеть сидящих прямо на тротуаре истощенных людей, протягивающих руку за куском хлеба. Город жил на хлебном пайке. Питались мы в каких-то столовых (хозяйки не разрешали готовить пищу, да и продукты достать было не так просто), где мизерные котлетки или кусочки поджаренной рыбы подавались с кашей из полбы, крупной перловой крупы, холодной, без признаков масла.

В скором времени у Николая Николаевича появились первые знакомые, которые стали регулярно заходить к нам. Это были: видный деятель партии эсеров В.А. Кильчевский, человек лет 60-ти, приятный собеседник, и Владимир Иванович Успенский, молодой инженер из Москвы, отбывавший срок в концлагере. Режим концлагерей в то время был довольно свободным: заключенные могли работать по найму на стороне, обязуясь лишь в указанный срок являться на переключку и ночевать в лагере. С В.И. Успенским мы постоянно встречались в сквере, когда шли утром на работу. В конце концов мы заметили друг друга, и однажды он подошел к нам, представился и попросил позволения бывать у нас. Мы охотно согласились, и с тех пор он бывал у нас частым гостем. Однажды был у нас расстриженный по уголовному делу архиепископ Владимир Путята, с которым Николай Николаевич познакомился в церкви. Он пытался получить от Николая Николаевича письма к митрополиту Сергию с ходатайством о помиловании. Николай Николаевич, скрепя сердце, уступил и послал какое-то письмо в Москву, но оно успеха не имело. Несколько месяцев спустя Путята перешел к григорианцам, которые приняли его в сущем сане, и он начал служить в Томске в качестве архиепископа. Производил тяжелое впечатление — какой-то демон с черными крыльями.

Познакомился Николай Николаевич и с регентом церковного хора Лыткиным и его женой Василисой; около этих людей группировалась молодежь, которая стала бывать и у нас. Познакомился он также с двумя кандидатами на посвящение в сан иерея. Один из них был фармацевт, пожилой уже человек, а его товарищ — из рабочих. Николай Николаевич стал ходить в дом к аптекарю и там проводил с этими двумя лицами занятия по подготовке к экзаменам у правящего епископа. Таким образом, и в Новосибирске Николай Николаевич продолжал свою обычную неофициальную деятельность.

Так прожили мы в Новосибирске до января 1933 года. В январе по распоряжению органов внутренней безопасности Николай Николаевич был переведен в Томск.

В ТОМСКЕ. ВТОРОЙ АРЕСТ
(январь 1933 — июнь 1933)

В конце января 1933 г. Николай Николаевич приехал в Томск и снял довольно большую и сравнительно прилично обставленную комнату у одной польки, жены бывшего богатого томского купца. Сама она была из семьи поляков, высланных в Сибирь после польского восстания 1831 г. Женщина очень ловкая и оборотистая, она сдавала комнату в своем доме ссыльным, входила в доверие, а потом предавала их. Во всяком случае, все наши томские знакомства и встречи, все разговоры, которые велись за чайным столом, стали хорошо известны «где следует».

В феврале приехала со всем нашим скарбом и я. От ташкентского благополучия у нас ничего не осталось — все имущество укладывалось в ящик. За месяц одинокой жизни Николай Николаевич совсем обтрепался, валенки развалились, и он имел вид совсем заброшенного. Пришлось приводить его в порядок. Но духом он не унывал, по-прежнему был весел, общителен, разговорчив, только стал еще религиознее. Много молился.

В Томске, старинном сибирском городе, с первым в Сибири университетом, он встретил нескольких старых знакомых. Из них самой интересной, но и самой коварной, была заведующая библиотекой Томского университета умная, образованная, очень светская дама, бывшая жена бывшего миллионера, по имени, насколько помнится, Вера Николаевна Ширяева. Она очень радушно встретила Николая Николаевича, разрешила ему пользоваться библиотекой, допустила в секретный фонд, где хранилась дореволюционная философско-богословская литература, стала приглашать на свои еженедельные журфиксы. Как оказалось впоследствии, это тоже была тонко задуманная провокация.

После сурового Новосибирска с его новостройками Томск показался глухой, но уютной провинцией. Это был небольшой, тихий, зеленый городок. Особенно хороша была та часть его, в которой размещались университетские корпуса, белые каменные здания среди аллей из вековых тенистых лип. В этом городке, напомилавшем немецкие университетские города вроде Иены или Марбурга, было бы чудесно жить, работать, общаться с интересными и симпатичными людьми. Но, увы! Это была несбыточная мечта. Об университете нельзя было даже мечтать, и Н.Н. снова пришлось поступить на работу в какое-то учреждение на должность плановика.

Томская интеллигенция жила очень замкнуто, никого у себя не принимала, — все с недоверием и подозрением относились друг к другу, и это было крайне тягостно. Ссылные жили замкнутой колонией, в упадочных настроениях, подозревая в каждом предателя, обвиняя друг друга в разговорах и неосторожности, в желании подсесть.

Только что мы стали устраиваться и немного обживать, как в конце апреля, перед 1-м мая, который в тот год совпал с Пасхой, Николай Николаевич был неожиданно арестован вместе с другими томскими ссылными. Органы безопасности затеяли огромное по масштабам дело о подготовке в Сибири японской интервенции. Не только Томск, но и другие крупные сибирские города, в том числе и Новосибирск, были захвачены волной арестов.

От арестованных, как впоследствии рассказывал Николай Николаевич, требовалось «признание» в участии в подпольной сибирской организации, якобы подготавливавшей почву для вторжения японских захватчиков путем организации подрывной деятельности, в подготовке к ниспровержению колхозов, в шпионаже и диверсиях. Расхаживая по кабинету, следователь сочинял эпизод за эпизодом этой грандиозной эпопеи, все эти фантастические вымыслы вносились в протоколы, а подсудимый, под угрозой расправы и пыток, должен был письменно подтверждать их правильность. Насколько все это было фантастично и легковесно, показывают такие факты: приезд колхозника на рынок для продажи картошки и его ночевка во дворе дома какого-либо томского обывателя трактовались как заговор, и все лица, так или иначе причастные к этому делу — сам колхозник, хозяин, у которого он остановился, люди, которые покупали картошку или с которыми он встречался и разговаривал, — оказывались вовлеченными в дело о подрывной деятельности в колхозах. «Я шел по мосту, — диктовал следователь. — Насречу мне такой-то (следовало имя). ”У нас организуется группа, — говорил я. — Готов?“ — ”Готов!“ — ”Тогда приходи туда-то (следовал адрес), там встретишь того-то (новое имя), завербуй его!“» и т.д. до бесконечности. Создавалась своего рода цепная реакция, в результате которой оказались связанными воедино люди, ничего общего друг к другу не имеющие. Дело оказалось настолько грандиозным и в силу своей грандиозности настолько неправдоподобным, что даже властям показалось неудобным продолжать его в таком виде. Николай Николаевич, как и другие арестованные, был выпущен на свободу и возвращен в Новосибирск. /.../

В июле мы снова очутились в Новосибирске и пришли к старушкам, у которых снимали комнату до отъезда в Томск. Комната оказалась свободной, но старшей сестры, Марии, не было уже в живых: незадолго до нашего приезда, 22 июля, в день Марии Магдалины, она была зверски убита пасынком, которого приютила у себя. Степанида сдала нам пустовавшую комнату, но жили мы в ней недолго: убийца продолжал делать попытки проникнуть в дом, чтобы покончить и с младшей сестрой. Милиция отказывалась начать поиски убийцы, предложив Николаю Николаевичу, который ходил по этому поводу в уголовный розыск, указать адрес, где тот скрывается. Сделать это было невозможно, скрывался он в трущобах на окраине Новосибирска среди таких же уголовников, воров и бандитов, как он сам. Жить в этой комнате стало настолько неприятно, что мы приложили все усилия, чтобы найти себе новое пристанище. В конце концов мы нашли его у одних простых людей, чернорабочих, где и прожили до конца ссылки.

Весной 1934 года срок ссылки кончился, и Николай Николаевич получил разрешение на выезд из Новосибирска.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Орловское лето (июнь-август 1934 г.)

С легким сердцем уехали мы из Новосибирска, оставившего после себя воспоминание как о мрачном, неприветливом и суровом городе-новостройке. Однако в те времена уже ясно предчувствовалось, что это город будущего.

В июне мы приехали в Москву, к моей сестре Вере, на Б. Калужскую улицу, в уютный дом в Нескучном саду и радостно встретились со своими родными и близкими. В Москве в это время проживал и ближайший друг Николая Николаевича — Василий Михайлович Комаревский со своей сестрой Ириной. Опять начались встречи, разговоры на философско-религиозные темы.

В Москве нам пришлось жить очень недолго. На лето мы уехали в Орел «на дачу»; вскоре приехали туда в отпуск Вера и Василий Михайлович. Сняли мы две комнаты в доме с большим тенистым садом на окраине города, недалеко от заброшенной и запущенной усадьбы, описанной, по рассказам старожил, Тургеневым в его «Дворянском гнезде». В Орле проживало в эти годы много вернувшихся из ссылки людей, так как

он не был запрещенной зоной. Но и устроиться на работу в нем было чрезвычайно трудно. Здесь мы сразу нашли близких по духу и интересам людей, познакомились и часто встречались. Я вела хозяйство, иной раз на обеды и ужины собиралось много друзей.

У Николая Николаевича остро встал вопрос, где жить и что делать. Интересную для себя работу, преподавательскую и литературную, он мог бы получить в Москве, но по жестким условиям паспортного режима ни в Москве, ни в близком к Москве Подмоскowie прописка была невозможна; образовался заколдованный круг: чтобы получить работу, нужна была прописка, чтобы получить прописку, нужно было быть принятым на работу... По счастью, в это время вышло постановление ЦК КП о мерах по улучшению преподавания истории в высшей и средней школе. В постановлении осуждался вульгаризаторский догматизм, превративший историческую науку в общественное мнение, подчеркивались роль и значение знания конкретных исторических фактов, осуждалась замена их абстрактными схемами. Это постановление было, несомненно, прогрессивным: потянуло свежим ветром, и у многих беспартийных историков, томившихся без научно-преподавательской деятельности, появились надежды на получение возможности работать в высшей школе. Во все педагогические институты потребовались новые силы — люди, знавшие историю не по учебникам обществоведения, а по летописям и документам. Всюду были вакантные места на должность преподавателя древней и средневековой истории, специалистов по которой почти не осталось, так как в течение ряда лет эта наука не преподавалась.

Вакантными оказались места преподавателей исторических дисциплин в пединституте соседнего с Орлом Курска, бывшего в ту пору еще небольшим районным городом. Николай Николаевич съездил в Курск, договорился с администрацией института и в начале августа получил в Наркомпросе назначение на кафедру всеобщей истории (средние века) в Курский пединститут. С осени 1934 г. мы в Курске, снова устройство на новом месте, снова обживание. Нам предоставили комнату в общежитии преподавателей института, кажется, даже с какой-то мебелью, потому что у нас вообще ничего не было. Помню, что я по случаю приобрела какую-то тяжеленную скамью, чтобы заполнить хоть чем-нибудь пустоту комнаты и ее с трудом водрузили в наше помещение на второй этаж.

В КУРСКЕ. НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ (осень 1934 — осень 1935 гг.)

Учебный год начался. Николай Николаевич с большим удовольствием и рвением принялся за любимое дело — преподавание, тем более что и предмет был для него как канониста близким — история Средних веков, католичества, Византии. Он обложился литературой, много занимался вечерами, готовясь к очередной лекции. Знание им фактической стороны и идеологических учений средневековья, умение показать эпоху в конкретных событиях, дать понять ее своеобразие — привлекали к нему симпатии студентов, и его лекции нравились и охотно посещались. Но Николай Николаевич никогда не мог удовлетвориться только служебной работой, он не мог жить вне Церкви и вне церковных интересов.

Курск оказался городом, живущим интенсивной церковной жизнью. В нем было несколько действующих храмов с прекрасно поставленным богослужением и активными священнослужителями — настоятелями этих храмов. Каждое воскресенье говорились проповеди. Мы стали ходить в церковь. Но уже поздней осенью началась широко развернутая кампания по закрытию церквей. Вызвано это было повышением Курска в чине: из районного он был сделан областным центром. Появилось новое, более крупного масштаба начальство; город стал расти и развиваться, открылись новые учебные заведения (в частности, пединститут), и церковная жизнь оказалась не у места. Началось с закрытия той приходской церкви, куда мы чаще всего ходили, потом кладбищенской, настоятелей этих церквей, очень хороших священников, арестовали; потом очередь дошла и до кафедрального собора — был закрыт и он, и город остался без храма. Правящему епископу Онуфрию удалось на время отстоять его: накануне Р.Х., в сочельник, собор был возвращен верующим, и Онуфрий отслужил в нем рождественскую всенощную. Народу было очень мало, так как никто еще не знал о возвращении храма. В полупустом храме было холодно, как в погребе, ноги мерзли, и Онуфрий прислал к нам иподиакона с предложением пойти погреться в сторожку. Мы были очень тронуты вниманием епископа, тем более, что не были знакомы с ним, и послушно пошли в натопленную сторожку и отогрелись в ней. После всенощной ехали вместе с Онуфрием (это был человек еще молодой, нашего возраста) в одном трамвае, он приветливо поглядывал на нас, и от этого ласкового взгляда теплее становилось на душе и не так мрачно вокруг.

Посещение Николаем Николаевичем храма, видимо, не осталось незамеченным. На него стали косо поглядывать, но придраться было не к чему. Вскоре, однако, нашелся и повод: однажды во время лекции у Николая Николаевича чрез расстегнувшуюся на одну пуговицу рубашку выскочил его золотой нателный крест, с которым он никогда не расставался. Студенты ахнули, увлеченный лекцией Николай Николаевич ничего не замечал, но на другой же день появилась заметка в стенгазете о профессорах с крестами на шее, а еще через несколько дней — приказ об увольнении «за протаскивание на лекциях буржуазной идеологии». Никакие ходатайства ни перед местными властями, ни перед ЦК профсоюза работников высшей школы успеха не имели. Председатель Облисполкома, с которым Николай Николаевич имел беседу о незаконном увольнении, прямо сказал: «Вы можете быть бухгалтером, экономистом, статистиком, но к преподаванию мы вас не допустим». Профсоюз признал увольнение правильным, но предложил изменить мотивировку: формула «за протаскивание буржуазной идеологии» была изъята. Тем не менее, увольнение среди года без права восстановления, утвержденное ЦК профсоюза, оказалось волчьим билетом: на преподавательскую работу Николай Николаевич так и не смог возвратиться, несмотря на большую нужду в историках и наличие вакантных мест во всех пединститутах.

Лето мы еще прожили в Курске, сняв на окраине, в Солдатской слободке, небольшую комнату. Это было живописное местечко, климат в Курске мягкий, теплый, к нам приехал на лето Василий Михайлович Комаревский, который и провел с нами свой отпуск.

В июле были произведены новые аресты среди духовенства. В грозовую июльскую ночь был арестован и Онуфрий, а собор закрыт вторично и на этот раз навсегда. Курск потерял для нас всю свою прелесть, делать в нем было нечего, жить небезопасно, и в сентябре 1935 года мы покинули этот город. Снова встал вопрос, где жить, что делать? После месячного пребывания в Орджоникидзе, куда было Николая Николаевича пригласили на преподавание, но отказались, не получив утверждения Наркомпроса, Николай Николаевич остановил свой выбор на Калининне (быв. Твери): этот город, расположенный в нескольких часах езды от Москвы, прописывал бывших ссыльных и он был ближайшей к Москве зоной пребывания отбывших ссылку.

Так начался калининский период жизни.

В КАЛИНИНЕ (1935 — 1939)

Четыре года жизни в Калинин и его окрестностях, бедные внешними событиями, имели очень большое значение для внутренней жизни Николая Николаевича. Знакомство и духовная связь с о. Павлом (Троицким), иеромонахом Данилова монастыря и старшим братом архимандрита Вениамина (впоследствии еп. Уфимского), побудило его окончательно распоститься с мыслью о благополучном устройстве внешней жизни и мирской карьере и все силы души сосредоточить на устройении своей духовной жизни.

С этого времени Николай Николаевич пошел тем путем, который неизбежно привел его ко кресту.

По приезде в Калинин мы, как всегда, прежде всего занялись устройством своей жизни: сняли небольшую комнату в привокзальном районе, на задах у большой ткацкой фабрики в районе Пролетарки, и стали искать себе подходящей работы. Николай Николаевич довольно быстро нашел себе место статистика в одном из калининских учреждений. Трудно было представить себе должность, более неподходящую для Николая Николаевича. Знавший статистику теоретически и даже заинтересовавшийся ею и ее методом с философской точки зрения, практически он был никудышным статистиком: рассеянный, углубленный в размышления, не имевшие ничего общего с предметом его занятий, он допускал грубейшие ошибки в вычислениях и в конце концов должен был оставить занимаемую им должность. Все последующие годы пребывания в Калинин он был полубезработным, занимаясь преподавательской деятельностью по договорам и отчасти литературным трудом: написал две статьи для журнала «История в школе», получил приглашение через С.Ф. Кечекьяна написать ряд статей для Б.С.Э. по истории общественной мысли в период возвышения московского государства.

Все попытки получить штатное место преподавателя исторических наук в одном из педагогических институтов (возможностей было много) оказывались неудачей, как только дело доходило до причины увольнения из Курского пединститута. Фактически Николай Николаевич был иногда целыми месяцами не у дел: у него не было ни работы, ни заработка. Для нестарого еще, полного сил и энергии человека это было мучительно, и были моменты, когда Николай Николаевич тяжело

переживал свое вынужденное бездействие. Но зато как он по-детски радовался, когда возникала надежда на работу, особенно если она была интересна для него. Одним из таких проблесков было упомянутое выше приглашение к участию в Большой Советской Энциклопедии.

В минуты безнадежия и удрученности на помощь ему неизменно приходил о. Павел.

С отцом Павлом мы познакомились летом, кажется, в 1937 г. в Малоярославце. Мы приехали провести здесь летнее время, быть может, устроиться и на зиму (Малоярославец был стоверстной зоной, где было разрешено пребывание бывшим ссыльным). О. Павел, только незадолго перед этим вернувшийся из ссылки, избрал этот живописный городок своим местожительством. Он снимал небольшую баньку с предбанником, стоявшую в глубине довольно густого сада. Банька была крошечная, с низким потолком, в одно оконце, но о. Павел превратил ее в очень уютную келью. Обслуживала его послушница Агриппина, жившая в предбаннике. О. Павел был в церковной оппозиции. Он полагал, что Церковь в наступившие для нее тяжелые времена открытого гонения должна стоять на пути изволения мученичества, что верующим надо жить особенно сосредоточенной духовной жизнью, не прельщаясь видимостью благополучия, отдавая себя всецело в волю Божию. Следование воле Божией, терпеливое несение скорбей, взирание на жизнь земную, как на временное странствование, пребывание в непрестанной молитве — такими мыслями и переживаниями поддерживал он унывающий дух. Принципиально о. Павел не принадлежал к тем духовным лицам, которые отрицательно относились ко всякой внешней деятельности. Наоборот, он благословлял на труд и работу, поскольку они не требовали от человека отречения от Христа. Он отрицательно относился ко всем неумеренным проявлениям религиозных чувств, к которым были склонны некоторые из верующих. Спокойно относился он сам и убеждал спокойно переносить, например, необходимость работать в дни великих праздников, убеждая, что Богу угоднее будет внутренняя молитва, которой никто отнять не может, и терпеливое несение креста, чем вызывающее манкирование работой, на которую человек поставлен Промыслом Божиим и которую надо выполнять со всем усердием и добросовестностью. Но с Николаем Николаевичем было совсем по-особому: ему не было благословения на преподавательскую работу, которую он любил, ко всякой же другой работе он был неприспособлен и с трудом переносил ее, да и найти такую работу было трудно. Промысел

Божий неуклонно вел его крестным путем, готовил к мученической кончине. Отец Павел и сам шел путем искания и неуклонного следования во всех случаях жизни воле Божией. Руководителем его на этом пути был «Илиотропион», или «Следование воле Божией» митр. Иоанна Тобольского, — книга, которую дал Николаю Николаевичу о. Павел и которая произвела на него громадное впечатление. Она укрепила его в следовании путем, указанным ему о. Павлом. Отец Павел рассказывал нам, как сам он встал на этот путь следования воле Божией во всем, в самом малейшем шаге жизни. Возвращаясь из ссылки, он встретился в вагоне железной дороги с неким благообразным стариком, по виду из крестьян. С этим старцем он провел вместе несколько дней, и тот практически наставил его в этом пути искания и следования воле Божией. Он же посоветовал достать и взять себе в руководство упомянутое сочинение митр. Иоанна.

После встречи с о. Павлом летом 1937 г. в Малоярославце, где с ним было несколько бесед (в них принимал участие и В.М. [Комаревский], живший тоже с нами и ставший также духовным сыном о. Павла) и где мы в первый раз были у него на исповеди и получили из его рук Св. Причастие, Николай Николаевич снова встретился с ним еще раз, уже в бытность в Калининне. Отец Павел вынужден был под давлением обстоятельств покинуть Малоярославец; и поселиться в небольшой деревушке недалеко от Калинина. В 1938-39 гг. Николай Николаевич был в самом тесном общении с о. Павлом, до тех пор пока тот не был арестован около 1940 г. в небольшом районном городке Калининской области, куда он вынужден был перебраться из окрестностей Калинина. Это была для нас очень тяжелая потеря. Незабываемыми остались посещения о. Павла, когда мы приезжали к нему с ночевкой — пребывание в его убогой келье вносило мир и тишину в душу, то состояние покоя и защищенности, которые испытываешь, пожалуй, еще только в детстве, когда бываешь под родительским кровом. После ареста о. Павла тревожно стало и на душе, и в воздухе носилась тревога — как-то неприятно и страшно стало жить на земле. Особенная тревога охватывала, помню, в Москве: суматоха, непрерывная толчея людей и какие-то мрачные, не дававшие света уличные фонари и с грохотом проносившиеся трамваи — «мир во зле». Опять началась волна арестов, опять мимо нашего дома, выходявшего окнами на железную дорогу, проходили товарные составы, переполненные до отказа арестованными. На Север, на Север, на Медвежью Гору, в Колы-

му... Всем все было непонятно, какая-то тьма повисла над русской землей, и не было конца страданиям.

Во время вынужденного калининского безделья Николай Николаевич стал много работать в области апологетики. Еще до Калинина им было написано несколько статей апологетического содержания: о сущности христианского аскетизма, о смысле страданий, о главной христианской добродетели — смирении, о своеобразной, чисто русской идее общественного служения благоверных князей. В Калинин он задумал труд по основным вопросам христианской апологетики. Николай Николаевич полагал, что обычные методы школьной апологетики с ее стремлением научно доказать, как, например, Иона мог пробыть во чреве кита три дня, для чего предпринимались довольно неуклюжие попытки разъяснить, какова пасть у кита и т.д., или как возможно понять творение мира в шесть дней с точки зрения современной астрономии, — не выдерживают критики, так как при подобном подходе к апологетике происходит неправомерное смешение плоскостей — ошибка, которую постоянно допускают в своей полемике против христианства атеисты, но которой грешат и некоторые апологеты, полагающие, что нужно бороться с противником его же оружием. Возникает нелепая полемика вокруг книги «Бытия», когда профессор химии, выступая на религиозном диспуте, силится доказать, что человеческое тело другого химического состава, чем земля, думая, что этим самым он ниспровергнет христианские догматы. В свою очередь, неумелый христианский апологет, становясь на ту же точку зрения, начинает доказывать «от науки» обратное.

В этих приемах апологетики в корне неправильна самая ее методика.

В своих апологетических очерках Николай Николаевич и поставил перед собой задачу наметить путь христианской апологетики для наших дней, с учетом запросов современного человека. Исходя из этой точки зрения, он ясно отличил апологетику от полемики: не спор по тем или иным частным вопросам, а выяснение самой сути возникшей апории и разъяснение ее с точки зрения христианского мировоззрения — не критика тех или иных отрицательных начал, а противопоставление им начал положительных. В этом смысле христианская апологетика, по утверждению Николая Николаевича, всегда есть часть христианской миссии, которую Церковь вела с первых дней своего существования и будет вести до тех пор, пока существует врожденный ей мир чуждых учений. Обрисовав общие задачи

апологетики, Николай Николаевич наметил круг тех вопросов, которые в первую очередь нуждаются в христианском освещении. Это прежде всего вопросы, вызванные развитием научного знания, в первую очередь, естественных наук. Центральным из этих вопросов является вопрос о сущности дарвинизма с точки зрения христианского понимания эволюции. Второй круг вопросов включает в себя проблемы смысла жизни в христианском понимании, христианского отношения к различным сторонам человеческой деятельности, о значении христианства для общественного прогресса — апологетика морально-практическая. Наконец третьим кругом вопросов занимается апологетика историческая, она ставит перед собой такие задачи, как рассмотрение проблемы сущности и происхождения религии, подлинности источников христианского откровения, всемирно исторического значения личности Иисуса Христа, исторической роли христианства и христианского учения о смысле истории.

Первые две части апологетики Николай Николаевич написал, работая с большим увлечением, легко, без черновиков и почти без помарок, используя всякий клочок бумаги, вплоть до обложек старых тетрадей, записных книжек, блокнотов, и т.д., так как с бумагой в то время было очень трудно. Этот труд был его любимым детищем, он придавал ему очень большое значение и очень боялся, чтобы не пропал этот труд даром, чтобы рукописи как-нибудь не растерялись. Историческую апологетику он не успел написать, сохранились лишь первые страницы статьи о происхождении религии, начинающейся разбором марксистского учения на религию как на надстройку над производственно-экономическим базисом. Николай Николаевич имел в виду показать самостоятельное, — первичное, а не вторичное, — происхождение религии и ее независимость от материальных условий существования. Религиозная потребность присуща человеку искони, она имеет столь же древнее происхождение, как и потребность в труде. Трудовая деятельность и религиозный культ, пусть это будут самые первобытные формы магии и анимизма, составляют то, что выделяет человека из царства животных, безмерно возвышает человека над человекоподобной обезьяной. Исконность религиозной потребности в душе человека обеспечивает существование религии как особой формы познания до скончания века. В силу этого именно религия сопутствует всем общественным формациям, объединяя в органическое целое человеческий род как субъект общественного бытия и творца материальной культуры.

Таков приблизительно был круг идей, который должен был быть развит в этой первой вводной статье исторической апологетики.

Вопрос о сущности религии и ее отношении к подлинному знанию был частично рассмотрен им в методологической части апологетики.

Познакомившись с рукописью покойного Н.Д. Кузнецова «Существовал ли Христос?», в которой рассматривалась проблема подлинности источников христианского откровения в связи с критикой мифологической школы, Николай Николаевич нашел ее достаточной для тех целей, которые он поставил пред собой в своей исторической апологетике. Ясно сознавая, что «дни лукавы», что неизвестно, как долго сможет он работать, он отложил для себя эту тему, удовлетворившись решением, данным ей Н.Д. Кузнецовым. О роли христианства в истории, всегда положительной, он отчасти сказал в статье о «Смысле аскетизма», но как самостоятельная тема это вопрос, равно как и проблема христианского смысла истории, остались им не рассмотренными.

Наряду с работой по апологетике Николай Николаевич отдает свое время завершению изучения «Актос Вселенских Соборов», которые интересовали его как с исторической, так и с религиозно-философской точки зрения. Он пишет статью о монофелитских спорах и о позиции Максима Исповедника в этих спорах. Одной из задач этой статьи было показать, что часто в истории Церкви бывали такие моменты, когда на стороне православия оказывались единицы, но за этими единицами была правда, и они своими страданиями в исповедывании того, что они считали истиной, в конце концов одерживали победу в борьбе с еретиками, за которых стояли сильные мира сего, — императоры и подпавшие под их власть патриархи, знать и высшее духовенство. Правое мнение не потому право, что за него стоит большинство, часто случайное, а потому, что оно выражает истину как она есть, хотя сознает это, быть может, один или несколько человек (меньшинство). Убеждение в своей правоте, вплоть до принятия мученичества, стойкое исповедание веры, требующее тем большего мужества, что не встречает оно поддержки со стороны других, смелая защита своих убеждений путем глубоко и тонко продуманной аргументации в конце концов приводят к победе, хотя быть может и не остаются в живых те, кто ее отстаивал.

Этот подтекст статьи о монофелитских спорах звучал очень современно в условиях тогдашней церковной жизни.

С увлечением работал он также над иконоборческим движением, и в этой эпохе усматривая черты сходства с современностью. В этой статье он выдвигал на передний план Федора Студита, сыгравшего для иконоборческих споров ту же роль, что и Максим Исповедник для монофелитских. Победа иконопочитания, которой завершились эти споры, была победой христианской культуры и христианских начал в жизни, победой истины Боговоплощения над сухим рационалистическим утверждением абстрактного в своей чистой духовности Бога.

Летом 1937 года в Брянцеве, когда у нас гостил В.М. Комаревский, много говорилось о необходимости пересмотреть так называемые «Доказательства бытия Божия». По мнению как Николая Николаевича, так и Василия Михайловича, они устарели, страдали рационализмом, подменяли живой опыт религиозной веры абстрактной схемой. Была поставлена задача осмыслить их по-новому, отчасти в духе опыта казанского профессора В.И. Несмелова, который со своей точки зрения ставил эту проблему. Эта работа также осталась неосуществленной, хотя задумана она была как коллективный труд. Однако в «Программе по основному богословию», составленной Николаем Николаевичем для самостоятельных занятий, выражены некоторые из его мыслей по этому вопросу. Ставя вопрос о пересмотре традиционных богословских доказательств, он был вместе с тем далек от попытки Канта опровергнуть самую возможность доказательства бытия Божия, ссылаясь в данном случае на свидетельство св. Григория Богослова (Слово 28 против Евномия), что Бог в Его абсолютном существе непостижим для относительного человеческого разума, что Он стоит выше всяких относительных определений (апофатическое богословие), однако, самый факт существования Бога, то, что Бог есть, — не только доступен для человеческого разума, но является необходимой предпосылкой всей жизни и всякого познания — предположение, без которого невозможны ни смысл, ни закономерность природы и человеческой жизни. Задачей доказательства бытия Божия является *подведение* 1) путем углубления в собственную духовную природу и усмотрения в ней онтологической основы, немислимой при отрицании Бога (онтологическое доказательство); 2) путем уразумения смысла закономерности в природе, невозможной при отрицании Бога (космологическое доказательство); 3) путем обнаружения целесообразности как в человеческой природе (целесообразность субъективная), так и в природе физической (целесообразность объективная),

которая также подводит к необходимости признания бытия Божия, как источника всякой целесообразности (телеологическое доказательство); 4) путем обнаружения бессмыслицы земной человеческой жизни при отрицании Бога (нравственное доказательство).

Через эти четыре доказательства мысль человеческая приводится неизбежно к признанию существования в мире Абсолютного Начала, из Которого всё и Которым всё, но при попытке постичь Его непостижимую сущность она умолкает с благоговением, как перед тайной, которая выше возможностей человеческого разума в его земной относительности. Разум уступает место вере, знание — откровению.

В литературных занятиях, в беседах с новыми знакомыми, которых появилось у него в Калининe немало, во встречах с о. Павлом, и С.А.М. протекали дни жизни в этом городе и в его окрестностях. Недолго длилась, однако, эта передышка относительного благополучия. Последний год пребывания в пределах Калининa был омрачен тревогами и скорбями. Весной 1939 года был арестован отец Павел. Жизнь в окрестностях Калининa становилась опасной: среди местного населения, в основном колхозников и рабочих, мы были как белые вороны. На нас посматривали, удивлялись, зачем мы здесь живем, кто мы такие, и мы сочли за благо переменить местожительство. На этот раз поселились по другую сторону Калининa, ближе к Москве, сняв в селе заколоченный домишко за недорогую цену. Переезд состоялся в марте, в самую распутицу. Село было красивое, все в зелени, недалеко лес. Но перспективы на работу в Калининe были самые неутешительные для нас обоих. Филиал Текстильного института по повышению квалификации кадров, где Николай Николаевич имел часы по истории и статистике, а я преподавала русский язык, по окончании учебного года уволил все свои кадры, имея в виду избавиться таким образом от нежелательных элементов, хотя преподавание у нас обоих, по отзыву учебной части, шло успешно. Рассчитываясь с нами, администрация филиала не пригласила нас на будущий год, якобы «за неимением часов», и мы поняли, что возврата туда нет. Других возможностей в Калининe не было, и приходилось снова думать об устройстве. В конце лета мне посчастливилось найти место преподавательницы в селе Высоковская в стахановской школе при большой ткацкой фабрике. В августе мы переехали в Высоковскую, дальний район Московской области.

В ПОДМОСКОВЬЕ. ТРЕТИЙ АРЕСТ (август 1939 — июль 1941 г.)

В Высоковской, красивом промышленном поселке, центром которого была фабрика с большими красного кирпича заводскими зданиями и дома для рабочих, мы сняли комнату в прилегающей к нему деревне, но вся беда была в том, что Николая Николаевича не прописали, так как Высоковская не была стоверстной зоной. Я осталась там, поскольку все-таки хотя бы у меня был заработок, а он уехал в Егорьевск, где можно было жить, но где абсолютно не было для него работы. В маленьком городке проживало бесчисленное количество бывших ссыльных, многие из которых прозябали без работы. Среди таковых оказался и наш давний знакомый Сергей Петрович Преображенский, впоследствии иеромонах Никон, который часто навещал Николая Николаевича, иногда и с ночевкой. Комнатушка была крошечная, в ней от силы помещались кровать, стол и стул. Вот в этой-то комнатухе Николай Николаевич и дорабатывал свою «Апологетику». Эти занятия отвлекли его от тяжелых дум, так что духом он не падал, хотя жизнь его в это время была очень трудная. Каждую субботу он приезжал ко мне на Высоковскую и в понедельник утром уезжал обратно.

Так прожили мы первое полугодие 1939/40 гг. Во втором полугодии ему посчастливилось, и он получил часы по истории в техникуме, где я преподавала по совместительству русский язык в группах повышения рабочих кадров. Это дало ему прописку, и мы стали жить вместе. Летом 1940 г. к нам в отпуск приезжала моя сестра Вера, и мы вместе совершали долгие прогулки по красивым окрестностям Высоковской. В лесах росло много грибов, и мы часто ходили за грибами, Николай Николаевич полюбил это развлечение и всегда радовался, когда ему удавалось найти грибное место. Особенно много было там шампиньонов — грибов, которые я не знала, а Николай Николаевич очень их любил, — и я жарила их ему по его просьбе.

Летом выяснилось, что стахановская школа закрывается, и мы опять остались без работы (занятия в техникуме были внештатные, группы то и дело лопались, так как текучка учащихся, взрослых рабочих и административных работников, была большая: все это был народ малограмотный как в буквальном, так и в переносном смысле слова; но прославившийся своим трудом, и совмещение для них работы и учебы было, действи-

тельно, не по силам). В поисках работы мы отправились в соседний Солнечногорский район, и в самом Солнечногорске, где было много заводов, мне удалось получить штатное место преподавателя русского языка в школе для взрослых при номерном заводе, а Николаю Николаевичу каким-то чудом повезло устроиться в средней школе на нештатном месте преподавателя истории в седьмых классах, причем, — в этом была особая удача, — он был утвержден в должности учителя Наркомпросом, что давало постоянную прописку в Подмоскowie и скромное, но прочное положение. Он был доволен, несмотря на то, что в школе испытал много трудностей — ведь он привык к занятиям со студентами, а тут попал к семиклассникам, самым боевым ребятам. Он не знал некоторых самых элементарных приемов работы в детской школе, и ему было трудно с дисциплиной. Его охотно слушали во время рассказа, но шумели и баловались во время опроса. Школа попалась неплохая, и ему стали помогать опытные учителя — приглашали к себе на уроки, бывали и у него, указывали на методические промахи. К концу года Николай Николаевич освоился с работой учителя, и она ему даже понравилась, он без страха думал о будущем учебном году. Однако в работе преподавателя в школе вскоре обнаружилась одна сторона, очень тяготившая его: в дни религиозных праздников учителя были обязаны выступать в рабочих клубах с антирелигиозными лекциями. Наступил праздник Р.Х., в школе были каникулы. Директор, быть может, по заданию сверху, не преминул вручить Николаю Николаевичу путевку на проведение антирелигиозной беседы с рабочими на какой-то окраинный завод. Удрученный до крайности, взял он эту путевку, не представляя себе, что он будет говорить, и отправился, вернее сделал вид, что отправился на этот завод. Проблуждав часа два, он вернулся, не найдя его, и на другой день, к большому неудовольствию директора, возвратил путевку без отметки о выполнении задания. Во время следующей — антипасхальной — кампании путевки ему уже не дали, и он облегченно вздохнул.

Во втором полугодии ему предложили занятия по истории в школе рабочей молодежи, и это его совсем устраивало: в рабочей школе, среди взрослых, он чувствовал себя свободнее, вопрос о дисциплине отпадал, учащиеся с интересом занимались. Улучшилось и материальное положение — безработица была в прошлом, рядом Москва, куда можно было часто ездить к друзьям, в библиотеку. Появились надежды и на литературную работу.

Из знакомых мы чаще всего посещали Василия Михайловича Комаревского. В доме В.М. Николай Николаевич встретился с одним ташкентским преподавателем, экономистом Гавриловым, переехавшим в Москву. Гаврилов, бывавший у В.М., выражал неоднократно желание познакомиться ближе с христианским вероучением и просил для этой цели устроить встречу с Николаем Николаевичем. Встреча состоялась, и в течение зимы 1940/41 гг. Николай Николаевич несколько раз беседовал с Гавриловым на религиозные и философские темы в присутствии В.М., который также принимал участие в этих беседах. Сам Гаврилов, со своей стороны, много рассказывал о германском и итальянском фашизме, с идеологией которого он имел возможность познакомиться по иностранной литературе, к которой имел доступ, как преподаватель экономических наук (коммунист). Возвращаясь домой, Николай Николаевич рассказывал об этих встречах (я не была на них ни разу). К фашизму он относился отрицательно. Он усматривал в нем глубоко чуждые христианству тенденции (хотя фашизм не раскрыл себя еще тогда во всей своей человеконенавистнической сущности), крайне опасную для духовной жизни диктатуру, выступающую под лживыми лозунгами борьбы за религию. В ницшеанской идее сверхчеловека, в возрождении древнегерманских языческих культов он видел яркое проявление антихристового духа.

Как бы то ни было, но все же несколько встреч и бесед с Гавриловым на эти темы у него было, и это сыграло роковую роль как в его судьбе, так и в судьбе Василия Михайловича.

Но вот подошла весна 1941 года. Занятия в школе кончились, но нас задерживали в Солнечногорске экзамены в школе взрослых, которые были отнесены у Николая Николаевича на самый дальний срок. В один из свободных дней мы съездили в Загорск, побывали в Лавре. Лавра представляла собой печальное зрелище: все было в запущенном виде, храмы закрыты и разрушались, монастырские корпуса были заняты людьми, не имеющими никакого отношения к монастырю. Академический храм был превращен в дом учителя, где происходили конференции. Всюду на веревках сушилось белье, бегали ребятишки, с шумом катались на мотороллерах подростки. Сердце сжималось при виде мерзости запущения в этом священном для всякого русского (и не только православного) человека месте. Знаменательной казалась незаполненность одной из четырех сторон гранитного обелиска, стоящего в центре Лавры среди ее храмов: на трех сторонах обелиска были выгравированы страницы

славной истории монастыря — описания постигавших его в прошлом бедствий. Глаза невольно останавливались на этой четвертой, незаполненной еще стороне, и воображение подсказывало, что можно было бы написать в назидание потомству на ней.

Подошли к Троицкому собору. По нашей просьбе привратник открыл нам его, мы вошли в запущенный, темный храм, осмотрели осыпавшиеся и разрушавшиеся фрески, подошли к опустевшей раке, молча постояли перед ней, как вдруг в храм вбежал маленький старый монах, проскочил мимо нас, бросился в земном поклоне перед ракой святого и так же быстро и молча ушел. Потрясенные этой картиной, вышли и мы из храма. Денек был пасмурный, прохладный, изредка капал дождь. Мы отправились по Вифанской улице (теперь Комсомольская) по направлению к скитам. Лес только распустился, и листва была свежая, всюду буйно росла трава, но не было уже ни скита, ни семинарии. Одиноко стояла закрытая Черниговская церковь, а вокруг нее в монастырских зданиях ютилась беднота — те же веревки с бельем, те же голопузые ребятишки. Грустно, грустно, невероятно грустно. Что случилось со всей этой красотой, с покоем и тишиной освященного молитвой леса? Уже в сумерки подошли мы к дому одних старушек, к которым нам рекомендовали обратиться наши хорошие знакомые, узнав, что мы хотели бы провести лето в уголке, овеянном святыми воспоминаниями. Место действительно было очаровательное: уютные одноэтажные деревянные домики с садами и огородами, поросшая зеленой муравой улочка, косогор, откуда открывается вид на Черниговскую, Вифанию, Скитский лес. Внизу — знаменитые Вифанские пруды с чистой прозрачной водой, где монахи ловили некогда рыбу. Но и здесь была мерзость запустения: вода была спущена, пруды заросли травой и камышом, но общий вид оставался все же прекрасным. Нам понравилось здесь, но старушки, несмотря на рекомендацию, отнеслись к нам подозрительно: что-то им в нас не понравилось, не внушило доверия, и они категорически отказали нам в сдаче комнаты. Так и не удалась наша попытка пожить спокойно в уделе преп. Сергия.

Вернулись домой. Лето в тот тяжелый 1941-й год стояло на редкость холодное, с ветрами и дождями. Шла середина июня, а теплых дней еще не было. Тревожно было и на душе, тревога носилась в воздухе — в этих порывах холодного ветра, в багровых закатах было предчувствие чего-то неотвратимо надвигающегося, грозного, неумолимого. Особенно запомнился один день. Зачем-то пошли мы на какой-то завод. Он был рас-

положен несколько в стороне от главной магистрали — Ленинградского шоссе. Мы стояли в тупичке, который вел к проходной будке завода. Николай Николаевич молча, о чем-то задумавшись, шагал взад и вперед (впоследствии одна женщина, с которой я познакомилась и сошлась довольно близко, рассказывала мне, что она впервые увидела и заметила нас в этом тупичке, и ей сразу пришла в голову мысль: «Ага, и этот из тюрьмы» — такая походка — взад-вперед, взад-вперед, — вырабатывается только у тех, кто был в заключении). Я стояла и смотрела на небо, по которому быстро неслись разорванные облака, резкий ветер раскачивал деревья и носил обрывки каких-то бумажек, по шоссе мчались с воем машины, и невероятная тревога, предчувствие какой-то беды охватило мою душу. Это было за несколько дней до объявления войны.

22/VI, в воскресенье утром мы были дома, кажется, собирались поехать в Москву, как вдруг послышались позывные радио и через несколько минут голос диктора торжественно громко возвестил о начале войны. Это было первое обращение Сталина* к народу. Как громом пораженные, стояли мы перед рупором, не в силах произнести ни слова.

Быстро разнеслась весть от дома к дому, от человека к человеку: все кругом встревожилось, загудело как потревоженный улей. К вечеру появились первые повестки и первые мобилизованные. Народ бросился в магазины за мылом и солью. Быстро был распродан и хлеб. Появились первые слухи, первые страхи перед шпионами. На другой день вышел приказ рыть около домов щели — убежища на случай воздушного нападения, оклеить окна домов крест-накрест бумагой. Николаю Николаевичу хотелось хоть чем-то проявить свое участие в общей народной беде, и он стал со рвением резать бумагу для крестов и наклеивать ее на оконные стекла. Вечером 24/VI мы долго не ложились спать, и Н.Н. много говорил о будущем, о грандиозности предстоящей войны и о бедствиях, которые она с собой принесет. Открыл Евангелие — попался текст: «Все будет разрушено, не останется камня на камне».

Видимо, он предчувствовал и свою участь, так как несколько раз за эти дни говорил, как ему не хочется умирать в лагерной обстановке, среди чужих и чуждых людей. Однажды рассказал о своем сне — что он будто бы потерял меня и как он ужасался и тосковал.

* Сообщение о начале войны было сделано по радио В.М. Молотовым. — Ред.

Утром 25/VI он еще лежал в постели, когда в дом вошли двое, осмотрели помещение, маскировку окон, а потом спросили, где живут квартиранты и какое помещение они занимают. Они вошли в нашу комнатушку, выходящую дверью в кухню. «Ну, вставайте, Николай Николаевич...» Предъявили ордер на арест. Начался обыск. Комната была маленькая, вещей у нас почти не было, и обыск окончился быстро изъятием нескольких книг религиозного содержания и некоторых рукописей. Наступило время расставания, — мы молча обнялись, мысленно прощаясь навеки, обменялись крестами — он отдал мне свой золотой крестильный крест, зная, что будет среди уголовников, где этот крест может стать предметом вожделения, и взял мой, маленький серебряный крестик. На улице ждала уже легковая машина. Долго смотрела я ей вслед. Хозяйка плакала.

Больше Николая Николаевича я не видела. Он уехал, чтобы не вернуться. В ночь с 24/VI на 25/VI в Москве был арестован и Василий Михайлович Комаревский.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И СМЕРТЬ (25/VI-1941 — 8/III-1943 г.)

С 25 июня 1941 по конец мая 1942 г., т.е. около года, о Николае Николаевиче ничего не было известно. Шло следствие, и ни передач, ни тем более свиданий не разрешалось. Как выяснилось впоследствии из писем Николая Николаевича, в Москве он пробыл недолго: 9 июля он был вывезен в Омск, где и пробыл сначала в тюремном заключении, а потом в распределителе до 17 апреля 1942 г. К этому времени, видимо, следствие кончилось и был вынесен приговор: 10 лет концлагеря. 29 марта 1942 г. он был переведен в Омский распределитель, где ожидал отправки в Мариинский концлагерь (Сибирской области). В Мариинск прибыл 20 апреля 1942 г. и до самой смерти, 8 марта 1943 г. пробыл в этом лагере. Лишь за три недели до кончины он был переведен на ст. Антибес в 7 км от Мариинска. Чем был вызван этот перевод, он не сообщил, возможно, что туда отправляли неизлечимо больных, так как в своем последнем письме, посланном уже из Антибеса, он сообщал, что идти пешком вместе с другими он не мог по слабости сил и был довезен на подводе.

По-видимому, с марта 1942 г., когда кончилось следствие, он пробыл в одном лагере с Василием Михайловичем Комаревским, встречался с ним, разговаривал, присутствовал при его смерти — скончался В.М. 18 августа 1942 г. от дистрофии,

на полгода раньше Николая Николаевича. Это была для него тяжелая потеря.

Таковы хронологические рамки последних лет жизни Николая Николаевича. В мае ему была разрешена переписка со мной, и в самом конце мая сестра моя Вера получила от него коротенькую записочку с вопросом, жива ли я и где нахожусь. Вера в тот же день переслала эту записочку мне, и с этого времени я стала довольно регулярно получать от него письма. На основании этих коротеньких писем можно до некоторой степени восстановить жизнь Николая Николаевича в лагере; они дают также возможность составить себе представление об его физическом и духовном состоянии. В одном из первых писем от него — небольшой открыточке, кстати, единственной, которая затерялась каким-то образом у меня, он сообщил, конечно в иносказательной форме, что именно вменялось ему в вину. Как оказалось, главным поводом для ареста и обвинения явились встречи с Гавриловым на квартире у В.М. Комаревского, во время которых Гаврилов, оказавшийся провокатором, рассказывал, как говорилось выше, о фашизме на основании прочитанной им иностранной литературы, и то, что говорил он сам, он перенес на Николая Николаевича и Василия Михайловича, хотя ни тот, ни другой не только никаких симпатий к фашизму никогда не имели, но и прямо отрицательно относились к фашистской диктатуре, усматривая в ней проявление глубоко враждебного христианству начала. Кроме того, лично против Н.Н. было возбуждено нелепейшее по своей абсурдности обвинение в принадлежности к «тайной церкви», наспех состряпанное также одним провокатором. Это последнее обвинение было настолько абсурдно, что вскоре отпало, и остались только показания Гаврилова, ложные по существу, но дававшие повод состряпать политическое дело. Истинным же мотивом обвинения было желание устранить из жизни человека с яркой духовной личностью, не созвучной эпохе. Этот же самый мотив имел место и в обвинении Комаревского. Никаких политических дел, никакого стремления играть роль в политике ни у того, ни у другого не было. Это были «без вины виноватые», безвинные жертвы в борьбе идеологий. Но следствие было тайным, свидетелей не было, единственным материалом для обвинения были донесения заранее подделанных провокаторов. Результатом стало десятилетнее заключение в концлагерях.

Когда Николай Николаевич попал из Омской тюрьмы в более легкие условия пребывания в лагере, он был уже тяжело болен, и ни освобождение от физического труда, ни диетическое

питание, ни частое пребывание в лагерной больнице не могли восстановить в корне разрушенное здоровье: у него на почве крайнего истощения началась пеллагра. Он то и дело пишет в своих письмах о многообразных недугах, которые подтачивали его здоровье: о болезни ног — ноги распухли, на них появились раны, и он почти не мог ходить; о постоянном расстройстве желудка типа колита, о каких-то дефектах в деятельности сердца, о каком-то заболевании в бронхах. Слабость была такая, что не только сидеть, но и лежать было трудно.

Внешне он сильно изменился, похудел, прежними остались только глаза. Стал совсем «старичком», как его называли товарищи по несчастью, и он долго не мог привыкнуть к обращению «дедушка» (ведь ему исполнился только 51 год). Но духом он был бодр, не унывал и еще больше укреплялся в своей вере и в своем мировоззрении. Каждое событие в своей жизни, как и само пребывание в лагере, он воспринимал не как случайность, а как совершающуюся над ним волю Божию. «Если думать глубже и объективнее, — пишет он в одном из своих писем, — а не с личной обывательской колокольни, то не приходится бесплодно роптать или жаловаться на свою судьбу. Все имеет свой смысл, и эта мысль облегчает все трудности». — «Как ни трудно бывает положение, — пишет он в другом письме, — а выходы находятся, и не следует заботиться слишком о будущем. Опыт неизменно показывает, как глубоко в своей простоте, если помнишь, так живо высказывала тетя Туся*». Это письмо он пишет по поводу своей одежды: весь обносился, последняя рубашка истлела, все, что было взято им с собой при аресте, украдено, чулки сшил сам себе из каких-то тряпок, а наступают холода, и он их боится. Но так трогательно робко высказывает свою просьбу о присылке белья и чего-нибудь теплого. Ни озлобленности против тех, кто украл, ни осуждения, ни ропота нет в его письмах. «Одно из самых тяжелых переживаний — это ощущение внутренней и внешней грубости и упорной духовной пустоты в окружающих — искушение потерять веру в человека, что у многих и получилось. У меня этого нет, потому что я нашел здесь и другое и других людей и наблюдал духовное перерождение их». Обо всех вспоминает с любовью, постоянно просит прощения за доставленные им хлопоты. Даже сообщая о виновнике своего несчастья Гаврилове, он не высказывает ни гнева, ни осуждения. Хорошо отзываясь о лагерном начальстве, об отношении к нему медицинского персо-

* «Тетя Туся» — условное имя отца Павла (Троицкого).

нала больницы (среди этих людей он, видимо, нашел многих сродных по духу). Высшую радость находил он в несении креста, вспоминая при этом новеллу о Франциске Ассизском в его «Цветочках» под названием «В чем высшая радость?».

Тяжелые переживания доставляло ему сознание своей непригодности к физическому труду.

Первое время пребывания в лагере, когда еще были какие-то силы, он добровольно работал в мастерской по валянию валенок и довольно хорошо освоился с процессом изготовления дратвы. Но вот «временно работа по дратве остановилась и пришлось перейти на шитье стелек. И тут обнаружилась моя малоспособность к ремесленному физическому труду. Первые дни с трудом усваивал работу, а потом, когда научился, работал с большой медленностью, и нормы выполнять, даже своей пониженной, не мог. Это меня огорчило (хотя практически на моем положении мало отразилось: работаю я как доброволец, никем не принуждаемый, получая за выполнение нормы только небольшой хлебный добавок), но было тяжело сознание беспомощности, ненужности, оставленности. До сих пор все мне говорили, что я очень быстро ориентировался в новых областях научной, педагогической и служебной работы, легко разбирался в сложных вещах в этих областях, но вот наступил момент, когда все это оказалось ненужным, а в примитивной физической работе я сам оказался и малопонятен и неловок. Отчасти здесь природная неловкость (в детстве с трудом научился плавать, ездить на велосипеде, грести и пр.), а больше всего мое интеллигентское воспитание, пренебрегавшее обучением ремесленному физическому труду. А как это в свое время было легко! Я было немного приуныл, но потом понял, что и эта неудача имеет моральное значение: нужно отрешиться от всякой самонадеянности. Мы можем только то, к чему призваны и что нам дано, и всякая похвала посрамляется. Вспоминались мне и беседы Франциска Ассизского: "В чем высшая радость?" (помнишь, читали в 40-м году)?»

Высшая радость — в страдании. Таков итог жизни Николая Николаевича. С этой мыслью в сердце он и скончался.

Умер он 8-го марта 1943 г. на ст. Антибес. Похоронен в неизвестной могиле.

ЗАПИСКИ Т.А. АРЦЫБУШЕВОЙ (МОНАХИНИ ТАИСИИ)

Автор предлагаемых воспоминаний — Татьяна Александровна Арцыбушева (1896-1942), урожденная Хвостова, дочь Александра Алексеевича Хвостова (министра юстиции в 1915-1916 гг.) и Анастасии Александровны Коваленской. Мемуары охватывают период с 1917 по 1930 годы и при насыщенности той эпохи могут показаться бедными со стороны внешней событийности. Они сосредоточены на духовной жизни автора — на ее пути к Церкви и в Церкви. Это неудивительно: их пишет монахиня — мать Таисия. Т.А. приняла тайный постриг 22 августа 1925 г. в Даниловском монастыре. Духовная дочь архим. Серафима Климова (он и подводил ее к постригу) и еп. Серафима Звездинского, мать Таисия принадлежала к потаенной «тихоновской» церкви, не принявшей пути, по которому повел Русскую Православную Церковь митрополит Сергей. Свидетельств о катакомбной церкви чрезвычайно мало, уже в силу условий, в которых находились «истинно-православные» в СССР. Воспоминания написаны по просьбе сына Т.А. — Алексея Петровича Арцыбушева, чья мемуарная книга готовится к публикации в издательстве Atheneum.

Я пишу воспоминания о своей жизни по просьбе Алеши. Уезжая в армию, он отчего-то был уверен, что я умру, не дождавшись его возвращения, и очень просил меня описать мою жизнь для него. «Ведь ты умрешь, и мы ничего о тебе знать не будем», — говорил он.

Я решила исполнить его просьбу. Пишу только для своих сыновей, так как для других никакого интереса мои записки не представляют.

За год до Алешиного призыва мы несколько раз с ним помногу говорили, и я некоторые подробности своей жизни открыла ему. На него произвело большое впечатление, и потому я пишу охотно, с надеждой, что принесу им пользу. Мое неумение литературно излагать мысли прошу их не критиковать.

Детство мое было счастливое, спокойное, в любящей семье. Родители мои были очень религиозны и нас так старались воспитывать. Им хотелось, чтобы мы выросли верующими, честными людьми, но вместе с тем воспитание нам давали светское. Книг о духовной жизни мне не пришлось читать ни в детстве, ни в юности. В церковь же нас водили часто, посты в семье исполнялись, и мы постились, хотя не очень строго. Мама же моя постилась очень строго и даже по обещанию понедельник, т.е. постилась и по понедельникам.

В детстве я была очень религиозна и много молилась потихоньку. Я была болезненной девочкой и часто болела ангинами, и всякий раз как заболит горло, я начинала жарко молиться, чтобы горло прошло. Большое впечатление с детства производил на меня храм в Петербурге, куда нас водили. Там были иконы прекрасной живописи. Мы всегда стояли перед иконой Спасителя, и образ Господа во весь рост сильное впечатление производил на душу. Помню, как я молилась с усердием, но долго-долго думала, что главная часть литургии — это Херувимская.

Самые ранние детские воспоминания связаны у меня с поездками в Задонск к мощам св. Тихона. Мы любили привозить оттуда иконки, крестики, святые кушачки, с детства приучались к Святыням относиться благоговейно.

Ежегодно к нам летом приносили из Ельца чудотворную икону Тихвинской Божией Матери. Ее приносили на громадных носилках. Очень величественное было зрелище. Среди толпы народа, возвышаясь над всеми, как бы неслась в воздухе Царица Небесная и далеко-далеко разносилось трогательное заунывное пение: «Радуйся, Владычице, милостивая о нам пред Господом Заступница».

Религиозное мое настроение укрепилось после того, как в Петербурге нам привезли чудотворную икону Скоропослушницы Божией Матери. Очень часто мы стали посещать маленький храм на «Песках». Нас тянуло туда не только по праздникам, бывало, придешь домой из гимназии, торопишься выучить уроки, чтобы пойти с мамой вечером в церковь. Там особое какое-то было благодатное настроение.

По мере того, как я росла, детское религиозное настроение уменьшалось, на первый план выступали интересы гимназии, экзамены, подруги. Будучи очень веселого и общительного характера, я несколько раз увлекалась, были увлечения взаимные, но не серьезные с моей стороны.

Когда мне минуло 16 лет, я первый раз была у старца. О старчестве, значении его я никогда ничего не читала. Знала, что были

старцы, но всегда думала, что это старые духовники, и особенно к ним не стремилась.

В 1910 г. жена моего дяди сообщила моим родителям, что около Москвы в Зосимовой пустыни живет необыкновенный старец о.Алексий. Она попала к нему, ища утешения в большом горе: в их семье младшая дочь (моя двоюродная сестра) тяжело болела 7 или 8 лет, после тифа случилось у нее осложнение на мозг. Тетя рассказывала, что о.Алексий утешил ее, сказав, что страдания девочки пойдут в искупление обоих родов.

В тот же год весной мы всей семьей отправились в Зосимову пустынь. О.Алексий громадное впечатление произвел на меня своей лаской, добротой. Все его указания я слушала как Божии. Мы ездили к нему 2 раза в год и важнейшие дела нашей семьи решались с его благословения. Он не был руководителем в духовной жизни, потому что духовную жизнь мы и не начинали, и никогда о ней в то время и не спрашивали, но вопрос, например, замужества моего был решен им. Я вышла замуж в 1916 году в апреле. Родители мои неохотно меня отдавали, так как я согласилась подчиниться в этом деле о.Алексию, который и уговорил мою мать не препятствовать мне.

Чувство мое к жениху было очень спокойное. Я видела в нем замечательного человека, любящего, верующего, доброго. Прожила я с ним 4 года 11 месяцев, после чего он умер от туберкулеза легких в марте 1921 года.

Умер он как истинный христианин, с глубокой верою в будущую жизнь. За несколько месяцев до смерти, будучи уже больным, он как-то, гуляя, зашел в дровяной сарай и там нашел бумажную иконку Божией Матери. Он подарил мне ее с надписью: «Пресвятая Богородице, спаси, сохрани, умудри и духовно просвети мою Татьяну и приведи ее к своему тихому пристанищу».

Перед его кончиной за несколько дней нам привезли чудотворную икону Владимирской Божией Матери. Он уже тогда был так слаб, что не поднимался, но попросил меня и Анюту поднести его к иконе. Я никогда не забуду выражения его лица в эти минуты, слезы, катившиеся из глаз, и молитвы. Он обращался к Божией Матери как к живой и просил ее за меня и детей, поручая ей нас.

Перед смертью он простился со всеми, благословил детей. Со мной он простился последней и шепотом сказал мне: «Поближе держи детей к добру и к церкви». После этих слов он уже ничего не говорил и скончался.

С 1917 года мы жили около Дивеевского монастыря, где в селе рядом с монастырем у родителей мужа был свой домик с огородом. Там муж мой болел и умер.

За четыре года у меня было трое детей. Старший Петя умер четырехмесячным ребенком. Второй, Серафим, был двух лет и девяти месяцев, когда умер его отец, а третьему, Алеше, исполнилось в день его кончины полтора года. По его желанию каждого ребенка я причащала еженедельно и во все большие праздники.

За время моего замужества духовное настроение во мне несколько не увеличилось, скажу даже больше: оно уменьшилось намного. Приписываю это материальным трудностям, плохим отношениям с матерью мужа и полному отсутствию духовной поддержки, которую я и не искала. О.Алексий был тогда в затворе, мы жили в 60 верстах от железной дороги. То, что я жила рядом с такими неисчерпаемо богатыми святынями, не трогало меня. Заботы житейские, скорби заглушали во мне добрые семена, посеянные с детства. После смерти мужа вся моя любовь, вся забота была отдана мною детям.

В июне я переехала в Елец, к своим родителям, так как жизнь с нелюбимой свекровью казалась мне невыносимой.

И в Ельце началась новая полоса моей жизни, полоса духовного перерождения.

Сперва, когда я приехала в Елец, у меня никаких духовных стремлений не было. Я помогала маме по хозяйству, занималась с детьми, слушала чтение моего отца, который писал записки о своей жизни, и сама увлекалась чтением романов. Откуда у нас там было столько светских книг, я даже не знаю. Кажется, кто-то отдал нам на сохранение библиотеку. Я читала запоем, что называется «дорвалась» — в Дивееве светских книг совсем не было и читать там было некогда, да и странно как-то было бы читать романы у постели умирающего мужа. Здесь же я почувствовала себя свободной. Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не странное одно обстоятельство. Старший мой сын, Серафим, в это время болел. У него, по всей вероятности, была малярия, но жар поднимался нерегулярно, а временами и неожиданно. Я стала замечать, что приступы жара, рвоты, кашля совпадали с теми днями, когда я особенно увлекалась чтением. У его кровати, когда он метался в жару, я иногда доходила до отчаяния и раз, будучи в таком состоянии, я дала слово не читать романы до того, как мальчику исполнится 18 лет.

Ребенок этот родился не просто. В самом начале, когда я его ожидала, врач сказал мне, что я не переживу родов и оттого он советует мне сделать аборт, и не только советует, но и настаивает, так как мое положение он считает серьезным. Врач переговорил и с моим мужем и довел его до того, что тот согласился с ним и ради сохранения моей жизни просил меня подумать и не про-

пустить времени. Я тогда только что потеряла первого ребенка и наотрез отказалась убить в себе второго, решившись лучше умереть, но не брать такой грех на душу. Я знаю, что Петя был доволен таким моим решением, хотя сильно беспокоился за меня.

Врач ли ошибся или Господь сжалился надо мной и сохранил мне жизнь, — но я осталась жива и ребенок родился здоровым, но первые годы своей жизни очень болел. У него было до двух с половиной лет три воспаления легких и менингит. Поэтому странные приступы жара наводили меня на подозрение, что они или легочного характера или мозгового.

Обещание свое бросить светские книги я исполнила. Одновременно с этим я видела четыре сна. Промежутки между ними были небольшие. Первый раз я увидела Петю в постели. Но во сне я знала, что он уже умер. Он сказал мне, что для спасения души необходимо всю жизнь бороться с недостатками своими. «Вот я боролся, — сказал он, — и если бы ты знала, как мне сейчас хорошо. И у тебя есть недостатки, борись с ними».

Второй сон был в разгар моего чтения романов. Я увидела опять мужа. Он подошел ко мне, опираясь на палку, очень строгий, гневный, и произнес одну только фразу: «Однако стирка у тебя идет очень плохо».

Третий сон был немного позднее. Вижу, будто я очень разряженная нахожусь в каком-то увеселительном доме. Около меня толпа молодежи, увлекающей меня, но мне не до них. Я ищу Петю. «Вы кого ищете?» — спрашивают меня. «Я ищу мужа», — отвечаю я и слышу насмешливый ответ: «Да разве он может быть в таком доме, ведь он сегодня приобщался святых Тайн».

Этот сон произвел на меня громадное впечатление. Я почувствовала, какая пропасть разделяет нас.

Своим внутренним состоянием я поделилась тогда с единственным человеком — моим братом Володей. Володя был моложе меня на 10 лет и в то время ему было 16. Это был исключительный отрок. С десяти лет он всей душой обратился к Богу и, тщательно скрывая ото всех, много молился, делал тайную милостыню, читал духовные книги и был неизмеримо образованнее меня в духовном отношении. Как только мы переехали в Елец, он пытался меня заинтересовать теми книжками, которыми он сам жил (сочинения епископа Феофана, епископа Игнатия Брянчанинова), но безуспешно.

Теперь, когда я отказалась от чтения романов и получила во сне вразумление, Володя почувствовал, что ему к моей душе открылся путь. Он робко предложил мне прочитать любимую его книжку, как он сказал, «книжка, которая показала мне начало

духовной жизни». Эта книжка была «Путь ко спасению» еп. Феофана. Я начала читать ее с большим вниманием, скажу даже больше — с увлечением. Каждое слово глубоко западало в душу. Я начала читать со II-ой части, как начинается христианская жизнь в таинстве покаяния.

«В таинстве покаяния у одних возочищается и возгревается дар благодатной жизни... у других полагается только начало сей жизни...» «В сказанном втором отношении оно есть решительное изменение на лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу». «...больше всего характеризует его болезненный перелом воли. Человек привык к худому; надобно теперь как бы *раздирать* себя. Он оскорблял Бога; надобно теперь горечь в огне суда неумытного. Кающийся испытывает болезни рождающих и в чувствах сердца некоторым образом прикасается мукам ада». «...Это болезненно, но спасительно и так неизбежно, что кто не ощущал такого болезненного перелома, тот не начинал еще жить чрез покаяние...»

Такой перелом произошел во мне. Переписать все из этой книги, что в то время поразило меня, потрясло до глубины души, так как подходило до мельчайших подробностей к тому, что я переживала, я не могу. Скажу только, что прочитать эту книгу было мне необходимо, иначе бы я не знала, что делать. В ней же было все указано. Первое указание было исповедовать всю свою жизнь с сознательного возраста. Исповедоваться «с полною верою, что для тебя, как грешника, это единственно возможный путь ко спасению...». «Приступай к исповеди не как к месту заклания, а как к источнику благ...» «будут приражаться стыд и страх, — пусть! ...чем больше будет стыда и страха, тем спасительнее...» «Горел уже ты в огне раскаяния, погори и еще. Тогда один горел ты перед Богом и совестью, а теперь погори при свидетеле, от Бога поставленном...» «Стыд и страх на исповеди искупают стыд и страх тогдашние...»

Каждое слово проникало мне в душу и давало все большее и большее желание испытывать всю жизнь со всеми мельчайшими подробностями.

Вспоминая сейчас все тогда мною пережитое, я думаю, что перед тем, как так исповедоваться, мне надо просить у Господа указания, перед кем принести такое покаяние, чтобы получить наибольшую пользу для души. Но тогда я об этом не задумывалась. Я была исполнена такой горячностью, что только и думала, как бы все вспомнить и чего-нибудь не забыть. От кого получить разрешение, мне было неважно. О руководстве и о руководителе было в этой же книжке много, но ближе к концу ее. Я же читала и по

мере чтения исполняла, не дочитав до конца. Слово о руководителе дошло у меня до сердца позднее... но об этом после.

Я исповедовалась духовнику моей семьи Елецкому священнику о.Владимиру. После первой исповеди вспомнились еще грехи. Я опять исповедалась. Потом еще вспомнила, и так раза 4-5 ежедневно, пока не очистила всю душу. Я вспоминала такие мельчайшие подробности своей жизни, которые без помощи Божией вспомнить бы не могла. Действительно, я испытала горение стыда и страха. Отец Владимир терпеливо слушал меня, что он обо мне думал, я не знаю. Мне кажется, что он не придавал значения моему порыву, а снисходил ко мне, но ни единым звуком он меня не охладил и за это я ему очень благодарна.

После моего внутреннего перелома я опять увидела сон. Вижу я, будто веду детей прикладываться в церковь ко Кресту (этот сон был накануне первого Спаса в августе). Около аналоя стоит муж и молча на нас смотрит, и смотрит как-то умоляюще, но ничего не говорит. «Петя, что ты от меня хочешь?» — спрашиваю его я до трех раз, но он не отвечает. «Именем Господа Иисуса Христа скажи, что ты от меня хочешь?» — спрашиваю я его еще раз. Но ответа опять нет. Тогда я в отчаянии говорю: «Ты хочешь, чтобы я не выходила замуж. Вот перед Крестом Господним даю тебе клятву, что замуж не выйду» — и с этими словами я проснулась.

К литургии я в этот день не ходила, но, когда вся семья вернулась домой, меня с детьми послали в церковь приложиться ко кресту. Меня поразило сходство обстановки с тем сном, который я только что видела. Именно этот придел и аналой и крест, все в точности, как мне снилось. И вот здесь, у креста, держа на руках обоих мальчиков, я наяву повторила обещание, данное мною во сне, прибавив к этому два слова «ради детей». Я понимала, что мужа для себя я найти смогла бы, но отца для детей — нет.

После моего обращения требовалось руководство, требовалось правило, указание как жить. Но у кого спрашивать? Вопросов сразу явилось много. В это время родители мои переписывались с одним иноком Зосимовой пустыни, отцом Симоном Кожуховым. Я тоже написала ему, прося указания на некоторые свои недоумения. Ответы очень хорошие, полные я получила от него. В то время это было для меня большой поддержкой. Осенью того же года я ездила в Петербург, чтобы постараться выручить оставшуюся там нашу обстановку, и по дороге туда и назад заезжала к о.Алексию, который в то время вышел из затвора и принимал народ два дня в неделю.

Старец узнал меня, был как обычно очень ласков. Я рассказала ему все, что пережила за те годы, которые его не видела.

Рассказала и о данном мною обещании. Старец был недоволен и сказал, что такое обещание давать было не надо, и снял его с меня. Когда же я уверенно сказала, что ради детей замуж не хочу идти, он сказал: «Помоги тебе Господь исполнить твое обещание. Петя рад будет, если ты останешься ему верной». «А разве не все равно ему сейчас?» — спросила я. «Мы веруем, что не все равно, покойники видят нас и радуются и печалятся за нас», — ответил батюшка.

Он дал мне тогда со своей руки четки, в обмен на те, которые были у меня. Я получила первые четки от келейника покойного Саровского старца о.Анатолия. Он мне их дал, когда я приезжала с детьми в Саров последний раз перед отъездом в Елец. К о.Анатолию мы всегда заходили, когда бывали в Сарове. Покойному моему мужу за два года до его смерти он предсказал скорую кончину. Мне, когда я пришла к нему после смерти первого ребенка, предсказал рождение у меня в будущем еще двух сыновей. Кроме того, велел мне передать, что ему было видение, «что матери, потерявшие младенцев, бывают у Господа в одном с ними месте». Боюсь думать, что могу получить такое счастье, но передаю точно, как мне было сказано келейником о.Анатолия. Еще тогда мне было сказано: «Только милостыни больше творите — батюшка велел Вам передать». О.Анатолий умер за год до смерти Пети. Лично я его не видала, все разговоры с проходящими он вел через келейников. Но незадолго до своей кончины он стал принимать посетителей и между прочими был у него и Петя.

Старец принимал его молча и долго смотрел на него. Петя говорил мне, что глаза старца были так глубоки, так ясны, так чудесны, что он не отрываясь глядел на него. «Хотя было жутко от его взгляда, чувствовалось, что он видит меня насквозь», — рассказывал он. Мне передавал келейник батюшки после, что старец сказал о Пете: «Он хороший».

Я немного уклонилась от своего рассказа, невольно вспомнив старца о.Анатолия. С ним связано у меня еще одно воспоминание. Как-то раз я ожидала в прихожей у старца ответа на свою записку. Вместе со мной пришли к нему две женщины, которые через келейника спрашивали у о.Анатолия относительно своей знакомой девушки. Кажется, вопрос заключался в том, выходить ли ей замуж или идти в монастырь. Ответ был такой: «Батюшка не может на этот вопрос ответить, он говорит, если бы она сама стояла здесь и с верой спрашивала бы и молилась и плакала, то Господь за ее веру открыл бы о ней батюшке, а сейчас он ничего

о ней не может сказать». Эти слова произвели на меня в то время большое впечатление и остались на всю жизнь в памяти. Благодаря им я во всю свою жизнь старалась, спрашивая духовного отца о чем-нибудь, молиться, чтобы Господь открыл ему обо мне.

Продолжаю дальше. Батюшка о.Алексий, давши мне четки, назначил и маленькое правило и разрешил переписываться с ним через мою двоюродную сестру Катю, которая у него часто бывала.

Зиму я жила с детьми в Ельце. Дети болели часто, капризничали, и вероятно о трудности их воспитания я как-нибудь о.Алексию написала. Ответ я получила довольно скоро. Батюшка продиктовал его моей двоюродной сестре. «Напиши ей мои слова. Пусть она не ропщет на то, что у нее дети, и не тяготится их воспитанием. Может быть только их молитвами она спасется, может быть в наше тяжелое время безверия они будут великие светильники веры».

В конце октября к нам в Елец приехал вновь назначенный епископ Николай. Личность его была очень незаурядная. Прекрасные его проповеди, которые он говорил смело, бесстрашно обличая неверие, призывая к духовной жизни, сильно действовали на душу. Особенно любили его проповеди мы с Володей и старались не пропускать его службы.

Так прошла зима, весной мне по делам семьи пришлось быть в Москве и я заехала к о.Алексию. Он еще был в Зосимовой пустыни и продолжал принимать по вторникам и средам. Батюшка поговорил со мной, исповедал и дал несколько троицких листков. Придя в гостиницу, я начала читать листки и среди них нашла описание библейского рассказа о том, как Руфь не захотела покинуть Носмин. Меня это поразило, мне показалось, что батюшка этим указывает мне путь обратно в семью мужа; тем более мне это показалось, что я ему рассказывала о том, что моя свекровь написала мне несколько писем, где писала, как она скучает по внукам.

Очень взволнованная, на следующее утро пришла я в приемную батюшки и просила о.Макария еще раз допустить меня к батюшке. Он обещал, но после всех, если будет не поздно. Вечером я попала опять к о.Алексию и сказала ему все, что передумала по поводу данного им листка. «Я не имел этого в виду, — сказал он, — но в том, что ты так это восприняла, я вижу указание Божие вернуться тебе в семью мужа. Лето побудь дома, а осенью поезжай».

Так я и сделала. Осенью, в конце октября, собрались мы и поехали. Приезжаю в Москву и узнаю, что в Дивееве идет неуряди-

ца из-за церковной смуты с обновленцами. Меня предупредили, что там так все сомнительно, что лучше бы я не ехала. Я оставила детей у родных в Москве и отправилась за советом к о.Алексию. Он уже слышал о том, что делается в Дивееве (тамошний епископ сочувствовал обновленцам, а священник восстал против него, но все же обновленца-епископа там поминали). О.Алексий велел мне ехать с детьми назад и год переждать, «когда все в Дивееве наладится, тогда и поедешь», — сказал он. Вернувшись в Москву, я, по совету моей двоюродной сестры, съездила в Дивеевский монастырь к Владыке Филиппу. Впервые тогда переступила я ворота монастыря, в котором после так много получала утешения. Но в то время я ничего не предчувствовала. Владыка Филипп велел мне свято исполнять совет старца. Перед уходом от о.Алексия я спросила его благословения обращаться за руководством к нашему Владыке Николаю. Я ему рассказала о нем, о том, что он очень мне нравится своими проповедями, добротой, что мне необходимо руководство, так как много встречается вопросов, которые не знаешь, как разрешить. Батюшка ответил мне, что совершенно не знает нашего епископа, но раз мне этого хочется, то он ничего против не имеет. В Москве я пробыла недолго и вернулась в Елец. Отец мой с августа уже болел, а за то время, пока я была в Москве, болезнь его обострилась, так что меня с детьми поселили отдельно, чтобы дети не мешали больному. Отец мой уже больше года готовился к смерти, у него было предчувствие ее и он целый год приобщался еженедельно. Я забыла сказать, что вскоре по приезде в Елец из Дивеева у меня открылся процесс в правом легком и елецкие доктора считали, что я захворала довольно серьезно. Я целый год усиленно лечилась. Папа мне советовал и даже просил, чтобы я тоже приобщалась каждую неделю вместе с ним. «Не обращай внимания на то, что будут говорить люди, — говорил он, — поверь мне: это лучше всех лекарств тебя вылечит». Я исполнила его совет и приобщалась очень часто; после моего внутреннего перелома, исповеди с семилетнего возраста, мне это было особенно нужно. Одобрял это и о.Алексий.

Вернувшись снова в Елец, я первое время жила отдельно, но ходила домой ежедневно, так как отец мой умирал.

Умирал он как истинный христианин. Обновленческое движение было им ясно понято и перед смертью он просил нас не уклоняться от православия. Причащался он уже ежедневно, всегда с обильными слезами, и, несмотря на тяжелую болезнь, прочитывал все правило полностью. Всю жизнь с самого раннего детства он не пропустил ни одного дня, чтобы не прочитать св.Евангелия. Перед кончиной, за два дня, в самый момент удара колокола

ко всеночной под Введение во храм Царицы Небесной, лицо его просияло и он не отрываясь смотрел перед собой. «Папочка, ты что-нибудь видишь?» — спросила его моя сестра. Он кивнул головой и через несколько минут произнес: «Честнейшая Херувим славнейшая без сравнения Серафим». «Божью Матерь?» — опять спросила сестра. «Да, может быть, Она», — ответил он чуть слышно и с этой минуты до самой кончины не произнес ни одного слова. Он скончался 23 ноября в день своего Ангела — Александра Невского.

После его кончины я перевела детей домой и мы жили в Ельце до конца июня.

Получив благословение о.Алексия обратиться к Владыке Николаю, я как-то решилась и подошла к нему в церкви с просьбой меня принять. Владыка назначил мне время, когда придти, и в назначенный день я пришла к нему.

Объясняя свою просьбу, чтобы он взял меня под руководство, я показала ему страницу из книги «Путь ко спасению» епископа Феофана, которая и дала мне настойчивое желание иметь руководителя.

Переписать все оттуда я не могу сейчас, но пишу главные мысли, которые произвели впечатление особенно сильное.

«Покаянник, чтобы успеть, должен предаться отцу руководителю...»

«Без этого условия, начинающий сам делать дело спасения, неизбежно будет идти путем, о коем нельзя решительно сказать, что он есть путь верный, а это и опасно и томительно для духа». «Надобно, чтобы кто-нибудь проводил нас» (по этому пути).

«Действительное ведение к совершенству принадлежит Богу, приившему нас, но под руководством отца» и т.д., несколько страниц об этом, причем каждое слово еп.Феофана убедительно говорило о необходимости иметь отца-руководителя.

Владыка прочел очень внимательно и сказал: «То, что Вы хотите, и я хотел бы иметь, я боюсь, что не смогу быть таким руководителем, но я не отказываюсь по мере моих сил помочь Вам». «Я беру тебя, — сказал он в конце разговора. — Я тебя не оставлю и мы расстанемся, только если ты уйдешь сама». В этот день я у него исповедовалась и получила указания по некоторым вопросам. На другой день я должна была у него причаститься, но в эту же ночь его увезли из Ельца. Вернулся Владыка обратно в феврале, прожил две недели, но был так перегружен работой, что принял меня только в конце второй недели. Я исповедалась у него, а на следующий день его опять увезли. Очень это на меня тяжело действовало. Помню, сколько я плакала. Летом он был в Ор-

ле, где должен был быть над ним суд. Он жил на свободе у своей сестры. Он написал мне, что разрешает мне ехать по благословению о.Алексия в Дивеево, а чтобы по дороге я заехала к нему в Орел.

Он оставил меня у себя до суда, который был назначен через три дня. По решению суда, он мог выбрать себе местожителство в любом мужском монастыре, и он выбрал Саров; послал меня приготовить ему там место, т.е. переговорить с Игуменом и старшей братией, которые меня знали. Я переговорила, послала Владыке телеграмму, что его в Сарове ждут, но в последнюю минуту в Саров его не пустили, а отправили в Задонск. Это было в июне 1923 года.

Целый год я жила в Дивееве с чувством пустоты. Я Владыке писала, но не часто, так как по почте переписываться с ним я не могла. Писала я со случаями через Москву — в Елец, брату Володе, а он пересылал в Задонск. Письма шли очень долго. Ответы получать — было еще труднее. Владыка писал коротенькие записки, где главным образом просил не считать Дивеево своим домом. «Твой родной дом Елец», — писал он. В ответ на мои жалобы на свекровь и на то, что у меня с ней почти во всем разногласие по поводу детей, Владыка ответил, что он всегда будет во всем считать правой меня как мать. Письма его были очень теплые, очень ласковые и очень снисходительные, но жизнь моя духовная налаживалась плохо. Во всем у меня был полный самоchin.

За этот год я намного охладела к духовной жизни, ничего у меня не клеилось, на Владыку как на руководителя я уже почти не смотрела, на душе было пусто. Масса забот о пропитании детей заглушали во мне все духовное. Мы жили как-то чудно. Обед и ужин был общий. Хлеб же, масло и все детское специальное питание я должна была доставать сама. Приходилось продавать вещи, изыскивать всевозможные способы, откуда получать деньги. Все это было очень трудно и отнимало много времени. Я вышивала, делала цветы, продавала свою работу, главное же — продавала все, что имела из белья, платья и т.д.

Весной 1924 г. в Дивеево и Саров стали приезжать москвичи, да и из других городов знакомые, и моя свекровь многих принимала у себя. Знакомые посылали своих знакомых, и дом у нас почти всегда был полон народом. В тот год побывал у нас впервые о.Александр Гумановский, о.Филипп Чудовский и многие другие. В конце мая приехал в Дивеево о.Владимир Богданов. Приезды гостей очень улучшали наш стол, так как из Москвы привозилось то, что в Дивееве достать было трудно: сахар, конфеты, пшеничная мука и т.д. Жить стало легче, и настроение улучшилось. Опять

появилась духовная забота, так как материальная стала не так остро чувствоваться.

О.Владимир Богданов остановился не у нас, а в монастыре у своих духовных дочерей Галактионовых. Младшая из них, Екатерина Ивановна, была со мной в очень хороших отношениях и особенно любила Алешу, которому в то время было четыре с половиной года. От Екатерины Ивановны и ее сестры монахини Михаилы я много слышала об о.Владимире, особенно о том, как он прекрасно исповедует.

У меня явилось желание поисповедаться у него. Подробной облегчительной исповеди у меня не было давно, грехов же накопилось много.

О.Владимир ответил мне, что уезжает в Саров, и если я тоже приеду туда, то он ничего не имеет против моей исповеди у него. Я с согласия моей свекрови отправилась в Саров. О.Владимир предложил мне пойти с ним гулять в лес, и во время прогулки я исповедалась. Исповедь была в форме беседы. Он не удовольствовался исповедью текущих грехов, а расспрашивал некоторые подробности за прошедшие годы. И я неожиданно вспомнила один грех, забытый мною, как в раздражении сказала Алеше, когда он был совсем маленьким, еще при жизни мужа: «Ах ты, проклятый мальчишка, успокойся же ты наконец». Я забыла об этом грехе, когда приносила подробную исповедь, и вспомнила о нем случайно.

О.Владимир совершенно неожиданно для меня сказал мне, что этот грех он не может разрешить, так как его снять с меня может только соборование. Причем он прибавил, что не только я сама должна собороваться, но и дети, хотя оба были еще младенцы.

Соборовать нас о.Владимир отказался, а велел просить об этом о.Сергия Битюгова, который должен в непродолжительном времени быть в Дивееве. «Я его увижу в Москве и скажу ему, — сказал о.Владимир. — А Вы, когда он приедет, напомните ему».

Очень я была поражена таким решением, но не спорила, наоборот, отнеслась очень серьезно к его словам и стала дожидаться о.Сергия.

Мы соборовались всей семьей. Перед соборованием о.Сергий велел мне у него исповедоваться и на исповеди он мне сказал, что Патриарх, по-видимому, вступает в общение с обновленцами и потому от его поминовения надо воздержаться, пока вопрос этот не выяснится. Ввиду того, что в Дивеевском монастыре Патриарха поминают, о.Сергий велел мне воздержаться временно от причащения Святых Тайн, так же и детей не причащать. Вопрос

он поставил так, что раз я у него исповедуюсь и соборуюсь, то должна за послушание исполнить его совет. Он обещал дать знать о ходе событий, как только вернется в Москву.

Вскоре он уехал. Мне очень трудно было исполнить его требование незаметно. Весь монастырь знал, что я приобщать детей водила еженедельно. На исповеди я о Сергию это говорила, но он просил меня потерпеть ради православия.

Нечего было делать, надо было исполнять и терпеть. А терпеть пришлось много. Произошло все это в конце июня, ряд праздников — Владимирской Божией Матери, Рождество Иоанна Предтечи — были в монастыре престольные. Толки среди дивеевских жительниц начались тотчас же. Все удивлялись, почему я перестала причащать детей. Помогла в этом моя свекровь. Думая сделать лучше, я ей передала слова о Сергия. Я надеялась, что она поймет и согласится, что в данном случае я поступить иначе не могу. Но она не только не помогла мне, а, наоборот, рассказывала об этом всем. Она была возмущена, жаловалась на меня, укоряла меня, просила и тем удваивала трудность, которую я испытывала. Я считала, что послушанием я не погрешу, даже в случае ошибки того, кто дал послушание. Непослушание же само по себе грех, и потому я решила терпеть.

Подошел праздник святых Апостолов Петра и Павла. К негодованию моей свекрови и в этот день я детей не причастила. В это же время у меня было еще тяжелое горе. Я получила известие о болезни брата Володи, а в самый день праздника телеграмму о его смерти. До сих пор я крепилась и не плакала, как тяжело мне ни было. Но получив телеграмму о смерти Володи, я дала волю слезам.

От отца Сергия никакого ответа о церковном деле не было. Отношения со свекровью все ухудшались. Наступали новые праздники: Память преподобного Сергия и Казанской Божией Матери. Я решила временно уехать из Дивеева с детьми. В десяти верстах от нас жила знакомая семья священника, я переговорила с ними и просила меня принять погостить к себе, не объясняя причины.

Скрывая ото всех, я стала собирать и укладывать вещи, и договорилась с возчиком. Уехать я хотела 5 или 6 июля. За день до назначенного дня отъезда, вечером, уложив детей спать, я со слезами стала молиться о том, чтобы Господь дал мне указание, что делать. «Господи, пошли мне кого-нибудь для разрешения моего состояния. Ты все можешь. Если завтра до обеда ты никого мне не пришлешь, то это будет означать, что мне надо уехать из Дивеева, если же мне уезжать не надо, то завтра кто-нибудь придет и прекратит мои мучения».

К нам все это время продолжали приезжать гости, но пока ни один из них не привез мне разрешения мучающего меня вопроса. Моя свекровь заводила со всеми разговор о церковных разногласиях, рассказывала всем, что я не причащаю детей, некоторые молчали, другие уговаривали меня, и все это было невыносимо тяжело.

На другой день после принятого мною решения ждать до обеда указания Божия я пошла в баню стирать белье, мне хотелось до вечера все успеть выстирать, высушить, чтобы не везти с собой ничего грязного. За мной пришли перед самым обедом. Я пришла домой и вышла в кухню за супом. И в эту минуту вошла к нам незнакомая мне особа с письмом к моей свекрови. В этот момент у меня из головы совершенно исчезло воспоминание о вчерашней молитве. Я взяла от нее письмо, приняла ее очень холодно и, не пригласив в комнаты, выслала к ней свекровь, сама же села обедать. Через минуту свекровь моя возвращается и говорит: «Опять гости. Это Наташа (ее племянница) пишет, просит принять ее духовного отца с двумя духовными дочерьми. Я откажу, довольно неприятностей в нашем доме. Я не в силах больше принимать всех». Как это ни странно, но и тут, узнав, что к нам приехало духовное лицо, которое может быть могло бы мне все разъяснить, т.е. именно то лицо, о котором я накануне молилась, я все же не поняла этого. В душе я сочувствовала своей свекрови, так как большие приемы были мне уже в тягость, особенно ввиду всех моих переживаний.

Приезжая гостя продолжала просить принять их, и свекровь моя сдалась на ее просьбу и разрешила им придти, но с условием, что им будет дан только приют, в услугах же она заранее отказала. Я была недовольна таким решением. Мне хотелось, чтобы никого у нас не было посторонних, так как при гостях мне труднее было уехать незаметно. Приходилось отъезд отложить. Чтобы совершенно не участвовать в приеме гостей, я поспешила обратно к прерванной стирке.

Вспоминая все это сейчас, я удивляюсь, как в ту же минуту не поразила меня точность исполнения моей молитвы. Я просила прислать кого-нибудь до обеда, это было бы, как я просила, для меня знаком, что мне уезжать не надо. И даже не потрудились узнать, кого Господь послал.

Часов в 8 вечера я вернулась домой. До меня днем дошли слухи в баню, что к нам приехал какой-то иеромонах с двумя духовными дочерьми, что свекровь моя уже хлопочет, чтобы их хорошенько принять, но почему она изменила свое намерение, я не знала и не особенно интересовалась, так как была очень усталая и

недовольная. Я поужинала одна в кухне, не желая выходить к гостям, и собралась пройти в комнату к детям, уложить их спать, а затем лечь самой. В это время в кухню вошла свекровь моя со словами: «Ах, милая, если бы ты знала, как он красив, ты знаешь, что я не хотела его принимать. Ты слышала, как я резко приняла его духовную дочь, но она меня упросила, я согласилась с раздражением, а когда он пришел и сел, и я поглядела на его измученное лицо — он мне показался до того похожим на Петечку, и я тут же про себя сказала: все тебе будет, все для тебя сама буду делать. Пожалуйста, выйди, Тасечка, познакомься, главное, погляди на него, как он красив».

Затем пришел в кухню мой свекор и тоже стал меня звать в столовую, говоря, что если я не выйду, то это будет неприлично с моей стороны.

Под его влиянием я решила выйти. Все же слова моей свекрови о красоте приезжего меня совершенно не заинтересовали. Наоборот, я, видя такой ее восторг, представила себе, что она уже ему все обо мне рассказала, нашла в нем себе союзника, и я внутренне приготовилась к новым неприятностям.

Выйдя с таким настроением, я, вероятно, имела вид очень неприятный, и воображаю, какое впечатление произвела на наших гостей. Приезжий оказался архимандрит Даниловского монастыря о.Серафим. Красота его меня не поразила, хотя, конечно, он был красив, особенно глаза с детским, чистым взглядом.

Я поздоровалась, села нарочно за самовар, не глядела на него и на вопросы отвечала неохотно.

Свекровь моя сказала, обращаясь ко мне: «А вот о.Архимандрит говорит, что у них в монастыре поминают патриарха».

«Ну, так и есть, — подумала я с досадой, — успели договориться». Вслух же я ничего ей не ответила, сделав вид, что не слышала ее слов.

Во время чая прибежала из монастыря недавно поступившая туда монашенка, специально, чтобы видеть о.Серафима (она его знала по Москве), и уходя, сказала мне (я вышла ее проводить): «Это очень уважаемая личность, он очень известен в Москве». На это я с досадой подумала: «Все они уважаемые личности, а говорят все разное, которой же уважаемой личности верить?»

О.Серафим весь вечер упорно старался вызвать меня на разговор. В конце вечера, когда мои свекор и свекровь вышли из столовой, я проговорила, что мне очень тяжело и я думаю уехать из Дивеева.

Только ночью у меня неожиданно явилось воспоминание о моей молитве и о том, что она в точности исполнилась. «Как я

об этом сразу же не подумала, — удивлялась я. — Может быть, он и правда мне все объяснит, завтра непременно с ним поговорю и спрошу».

Утром к обедне я не ходила, гости же, вернувшись с моей свекровью из церкви, после чая собрались идти с нею по святым местам Дивеева.

Я улучила минуту, когда о.Серафим в ожидании своих спутниц, остался один, подошла к нему и сказала, что мне очень надо с ним поговорить, но что дома у нас неудобно, а не может ли он встретиться со мной на кладбище у могилы моего мужа.

Он охотно согласился, и мы решили, что самое удобное время будет перед всенощной в 5 часов вечера.

Ровно в 5 часов я пришла на кладбище. Через несколько минут подошел ко мне о.Серафим и прямо спросил меня: «Что Вас мучает?» «Церковный вопрос, батюшка», — ответила я, и рассказала ему все мною пережитое за последние два месяца.

«Мы в Даниловском монастыре тоже очень мучились этим, — ответил он. — Три дня не поминали святейшего, но потом все разъяснилось. Патриарх и не собирался вступать в общение с обновленцами, и мы конечно начали его снова помянуть. Хорошо, что Вас мучило это, я боялся, что что-нибудь другое, а в этом отношении совершенно успокойтесь и спокойно причаститесь сами и детей причастите».

У меня как гора свалилась с плеч, и я попросила его меня исповедовать вечером. К великому удивлению моей свекрови, на другой день я причастилась и причастила детей. Служил о.Серафим в церкви на кладбище.

С собой у о.Серафима была книга апостольских и канонических правил, по которой он мне много объяснял. То что я оказала послушание о.Сергию Битюгову он счел правильным.

Особенных подробностей о себе я ему не рассказывала, главное говорила о переживаниях после исповеди у о.Сергия.

Моя свекровь, в высшей степени удивленная тем, что, по ее мнению, я так легко сдалась, решила, что личное обаяние о.Серафима подействовало на меня, и попыталась этим воспользоваться. Она тоже пошла исповедаться к о.Серафиму, причем рассказала ему о всех наших с ней разногласиях и в конце концов заставила его все это записать, чтобы повлиять на меня.

На следующий день о.Серафим попросил меня пойти с ним в сад и показал мне список моих обвинений.

Откровенно сказать, мне не очень приятно было его читать. Он стал уговаривать меня подчиниться моей свекрови, говорил о необходимости наладить наши отношения и спросил, не хочу ли

я еще раз исповедоваться у него. Я согласилась и вечером во время исповеди он предложил мне перейти под руководство к нему.

«С Владыкой Николаем, — говорил он, — у Вас общения почти не было, руководство же Вам, Вы сами понимаете, необходимо. Я беру на себя ответственность за Вас перед Богом. По мере сил моих я буду Вас поддерживать, помогать, но взамен требую полного откровения и послушания».

Вид у него был очень серьезный и даже суровый. «Необходимо полное отвержение от своей воли», — несколько раз повторил он.

Я ответила, что должна подумать, соглашаюсь ли я на это.

«Если соглашаетесь, то напишите мне. Полную исповедь с семилетнего возраста, — сказал о.Серафим, — и завтра утром до литургии дайте мне ответ».

Я ушла к себе и здесь в продолжение нескольких часов испытывала громадную борьбу. Самоволие и самолюбие протестовали во мне сильно. Я чувствовала, что о.Серафим будет требовать полного подчинения свекрови и из-за этого душа моя возмущалась, но, с другой стороны, мне было ясно, что продолжать так жить, как я жила, невыносимо. Я чувствовала, что без руководства я не спасаюсь, что что-то надо предпринимать, раз я вступила на путь духовной жизни. Я понимала, что мне предлагается путь, хотя и трудный, может быть жесткий, но истинный.

Внутренний голос твердил мне, что приезд о.Серафима был не простым, а точным ответом на мою молитву, и что я должна на это обратить внимание и не уклоняться от промысла Божия.

Результатом большой борьбы было то, что я решилась согласиться на предложение о.Серафима. Писать снова исповедь с семи лет мне не хотелось, мне казалось невозможным снова все вспомнить и снова испытывать стыд перед духовником, как я уже испытала в Ельце. Но о.Серафим сказал, что это необходимо. «Я должен о Вас все знать», — сказал он.

Пришлось снова писать полную исповедь. Исписала я уйму бумаги и, не перечитывая, отдала ее о.Серафиму, который уходил в Саров. Исповедь мою он прочесть не успел, а взял ее с собой.

Ровно через неделю, 14 июля, пришла из Сарова его духовная дочь. Принесла мне от о.Серафима письмо, где он писал, что исповедь мою прочел, очень рад, что я так откровенно все написала, и звал меня в Саров.

Я ушла в Саров ко всеобщей в тот же день. Вечером о.Серафим долго со мной говорил, прочитал мне разрешительную молитву и наш союз духовный был закреплен. Во время этой исповеди я почувствовала громадную разницу между мирским священни-

ком и монахом-аскетом. Насколько в Ельце о.Владимир все выслушивал безучастно и снисходительно, настолько о.Серафим отнесся серьезно, внимательно, без всякого снисхождения и со многими указаниями. Соответственно этому и облегчение было неизмеримо больше.

Он скоро уехал в Москву, обязав меня писать ему ежедневное откровение и посылать его со случаями в Москву. Кроме того, дал правило пятисотницы.

С этого дня началась для меня новая жизнь.

Во-первых, я почувствовала над собою контроль. Теперь уже зря ничего делать было нельзя. Каждый поступок надо было записывать и не только поступок, а каждое слово греховное и анализировать мысли. Каждый вечер я должна была вспомнить проведенный день и записать грехи. Следствием этого явилось желание избегать всех лишних встреч, лишних разговоров.

Постепенно я так к этому привыкла, что откровение стало для меня насущной потребностью. О.Серафим на полях отвечал мне и возвращал обратно записки. В конце августа я поехала через Москву в Елец. После кончины брата мне хотелось побывать на его могилке, видеть мамочку.

Когда я приехала в Москву, о.Серафим послал меня к о.Алексию, он считал необходимым, чтобы я получила от старца разрешение и благословение на его руководство мною. Я поехала на другой день и была принята.

Я рассказала батюшке, как неудачно сложилась для меня моя попытка получать руководство от Владыки Николая, рассказала подробно о всех моих переживаниях, начиная с исповеди у о.Владимира Богданова, о моей молитве перед приездом о.Серафима, его приезд, мой переход к нему, об ежедневном откровении, которое я ему посылаю, и в конце спросила: благословляет ли меня батюшка у него остаться.

О.Алексий с необыкновенным интересом слушал мой рассказ. Он сказал, что я была права, оказывая послушание о.Сергию Битюгову, так как при послушании ответ несет тот, кто дает послушание, что приезд о.Серафима это явная милость Божия. Явное послание Божие и то, что я пользуюсь руководством о.Серафима, есть очевидная воля Божия. Батюшка благословил меня со словами: «Всю мою власть над тобою как духовный твой отец с шестнадцатилетнего возраста передаю о.Серафиму».

«А как же Владыка Николай?» — спросила я.

«От него как высшей над нами иерархической власти тебе тоже надо получить на это благословение», — ответил батюшка.

О.Серафим велел мне спросить у старца, как лучше руководить: строго или снисходительно. Батюшка ответил: «Лучше строгость, но строгость умеренная, чтобы не довести до отчаяния».

С этими результатами вернулась я к о.Серафиму. Это было в августе 1924 года.

Побывав в Ельце недолго, я вернулась в Дивеево. До января жизнь текла обычным порядком. Я все время проводила в работе, занималась с детьми, писала откровения, посылала их со случаями и получала ответы.

С декабря 1924 года у меня начался опять процесс в легком. Температура по вечерам поднималась. Я очень похудела. Местный врач сказал, что, по его мнению, у меня серьезный процесс, и настойчиво советовал показаться специалисту. Слова врача взволновали мою свекровь и она уговорила меня ехать в Москву.

Отношения мои с нею очень улучшились, так как меня заставлял о.Серафим ломать волю перед ней. Дело это было очень для меня трудное, и я справлялась с ним с трудом, но все же старалась.

Приехав в Москву после Крещения, я показала врачам, которые назначили мне лечение и посоветовали пожить в Москве, чтобы быть под их наблюдением. Деньги на жизнь и на лечение прислала мне мамочка. Она продала свое котиковое пальто и поделилась со мной. Поселилась я у духовной дочери о.Серафима Софьи Михайловны (которая была с ним в Дивееве). Чтобы не обременять ее, я познакомилась со второй духовной дочерью о.Серафима Марусей Прозоровской, которая оказалась моей землячкой из Задонска. Так я и жила: неделю у Софьи Михайловны, неделю у Прозоровских.

В первые же дни моего пребывания в Москве, о.Серафим послал меня к Владыке Николаю, который незадолго до моего приезда вернулся в Москву.

Владыка Николай принял меня, как родную дочь. Он был очень ласков, очень добр, заботлив. Полная противоположность обращению о.Серафима, который всегда принимал сухо и даже сурово. Я уже привыкла к такой его сухости, чувствовала от нее пользу и под внешней суровостью чувствовала заботу и любовь к душе своей. О его суровости я писала ему как-то в откровении, и на полях он ответил: «Да, но это суровость внешняя, а под этой суровостью — глубокое, глубокое желание спасения тебе». Я в это верила и чувствовала, потому его суровость не отталкивала, но все же прием Владыки, его ласка, забота, внимание невольно подчеркнули разницу между ними.

Я рассказала Владыке все подробно о себе. «Бедная моя детка, к кому ты все попадала», — несколько раз повторил он во время моего рассказа. Когда я досказала ему об о.Серафиме и просила подтвердить благословение о.Алексия, Владыка ответил, что для этого должен с о.Серафимом познакомиться лично, и обещал в ближайшее воскресенье побывать в Даниловском монастыре.

В этот день Владыка мне рассказал об одном случае из своей жизни, который имел влияние на укрепление в нем безусловной веры в загробную жизнь. После смерти отца протоиерея в г.Н мать их очень бедствовала, они терпели сильную материальную нужду. В самое трудное для них время мать получает денежное письмо. Письмо начиналось так: «Многоуважаемая Матушка. Не знаю, правильно ли я пишу Ваш адрес. Но сегодня ночью явился ко мне мой товарищ по семинарии — Ваш покойный муж — и сказал мне: "Прошу тебя, помоги моей вдове с детьми, они очень бедствуют". И отчетливо произнес Ваш адрес. В тот же миг я проснулся, записал услышанный адрес. Посылаю деньги...». «Этот случай, — сказал Владыка, — настолько врезался в мое сознание, что во всю жизнь ничто не могло поколебать во мне веру в загробную жизнь. Много мне пришлось слышать еретических и безбожных мнений, доказывающих, что никакой загробной жизни нет, но я уж с детства знал, что это ложь».

Ближайшее воскресенье совпадало с днем моего Ангела, 12 января. Владыка исполнил свое обещание, побывал в Даниловском монастыре. Я дожидалась его, он задержался, разговаривая с одним иеродьяконом. Мимо меня прошел о.Серафим, поздравил меня с днем Ангела и ничего больше не сказал.

Владыка же, проходя мимо, пригласил меня к себе. Когда я пришла, он не сразу высказал свое мнение. Видимо, он боялся меня огорчать, но наконец сказал, что о.Серафим ему не понравился, показался очень гордым.

«Я не запрещаю тебе пользоваться его руководством. Я нахожусь в таких условиях, что руководить тобою шаг за шагом, как это делает о.Серафим, я не могу, потому пользуйся им, но отдать тебя ему совсем я не хочу. Я оставляю за собою право отозвать тебя в любое время, когда ты мне понадобишься».

Другой раз он еще говорил так: «Его суровость мне непонятна, я считаю, что он не понимает разницу в натурах, в организмах. Он мерит всех по одной мерке. Он не понимает, что есть организмы хрупкие, которые могут надломиться под напором».

«Я теперь понимаю, почему у тебя началась чахотка — от непосильных переживаний. Разве можно так ломать человека сразу».



Т.А. Арцыбушева (урожд. Хвостова) — мать Таисия



**Архимандрит Серафим (Климков), духовный отец Арцыбушевой,
постригавший ее в монахини.**



Епископ Серафим (Звездинский)



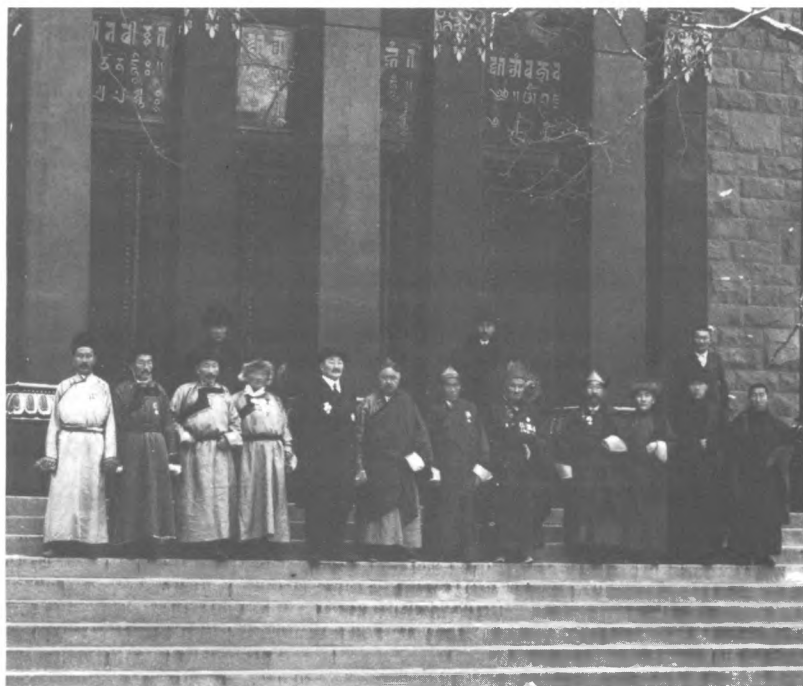
С.А. Алексеев (Аскольдов). Апрель 1895.



Слева направо: С.А. Аскольдов, врач Юревич, мать Метальникова,
Н.О. Лосский, Е.И. Тарасов, С.И. Метальников. 1900-е годы.



**Вверху: сестры Аскольдова — Н.А. Колубовская и Е.А. Букреева,
внизу: Е.М. и С.А. Алексеевы. 1910-е гг.**



Группа лам на ступенях буддийского храма со стороны южного фасада. 1915 г. (Цетр. Гос. Архив Кинофото документов г.Ленинграда).



**А.Доржиев в своем доме рядом с храмом. 1913 г.
(ЦГА Кинофотодокументов г.Ленинграда).**



Молебствие о даровании победы русскому оружию. 1915 г.

Я передала о.Серафиму только то, что Владыка мне разрешает остаться у него под руководством, но отдает не совсем, т.е. может меня отозвать. Все остальное я от о.Серафима скрыла. Душа моя разрывалась между двумя. Приду к о.Серафиму, он как будто еще суровее, исповедь принимал по-прежнему, но на вопросы отвечал очень скупой и часто я читала на полях: «Не знаю, спроси это у Владыки».

Владыка принимал меня так ласково, так просто, что поневоле тянуло к нему. Он мне даже как-то сказал: «Если правила о.Серафима тебе будут непосильны, не исполняй их. Даю тебе на это мое архиерейское разрешение, а ему не говори об этом».

Я чувствовала внутренний разлад. Я выбилась из колеи, в которую вошла и за полгода привыкла. Уйти от о.Серафима мне было страшно. Я понимала, что в Москве оставаться долго я не могу. Придется уехать. Писать Владыке изо дня и день, как я писала о.Серафиму, я не могла бы. Редкие, короткие записки от Владыки не удовлетворяли бы меня после того, как от о.Серафима я получала ответ почти на каждую мысль.

Но с другой стороны, суровость о.Серафима по сравнению с добротой и лаской Владыки уже была заметнее. Невольно тянуло к ласке, вниманию, жалости.

Несказанно тяготило меня и то, что я не была откровенна с о.Серафимом как всегда.

Недели три я была в таком состоянии и наконец решила ехать к о.Алексию.

Благословение на поездку я ни у кого не хотела просить, так как чувствовала в душе какое-то ожесточение от внутреннего разлада. Я пошла к литургии в Даниловский монастырь, и так как у меня было поручение к о.Серафиму от Софьи Михайловны, то после службы я поднялась наверх в корпус, где он жил. Он принимал нас иногда наверху в кухне. Я молча передала ему присланное и стала уходить. О.Серафим внимательно посмотрел на меня. «Что с тобой?» — спросил он. Я не смогла солгать ему. «Я еду к о.Алексию сейчас». «Зачем?» «Потому, что я измучилась, — ответила я, — пусть о.Алексий решит окончательно, у кого из Вас мне оставаться. Благословите меня». Он ничего не ответил, молча благословил меня, и я ушла.

О.Алексий в то время уже жил в Загорске, в маленьком беленьком домике. С ним жил и келейничал о.Макарий. Приехала я к батюшке в сумерках. О.Макарий надолго оставил меня в прихожей, перед комнатой батюшки. За дверью слышался разговор. По доносившимся до меня словам, я понимала, что о.Макарий не хочет меня пускать, так как я слишком поздно приехала. Батюшка

же отвечал, что он хорошо отдохнул днем. Так как о.Алексий слушался о.Макария, то я не знала, какое будет решение. Горела лампадка у маленькой иконки над дверью. Я стояла и молилась, чтобы Господь вразумил их меня допустить к батюшке.

Наконец о.Макарий вышел и сказал: «Ну иди, да только недолго, ишь как поздно приехала, разве так можно».

На этот раз я много поплакала. Сердце было слишком переполнено. Я рассказала ему все. Батюшка подробно, подробно расспрашивал о руководстве о.Серафима, интересовался каждым его указанием. В них главной нитью проходило отречение от своей воли, то, что Владыка называл ломкой. Я ничего не скрывала от батюшки — и мое раздвоенное состояние и тяготение к ласке Владыки, о внешней суровости о.Серафима.

«Мое мнение и благословение, — сказал о.Алексий, — остаться тебе у о.Серафима. От его руководства я вижу большую пользу. Польза же от Владыки Николая сомнительна».

Это были буквальные слова батюшки. Уходя я спросила, как сказать об этом Владыке. «На усмотрение о.Серафима, — ответил он, — если он найдет нужным, то пошлет тебя к Владыке или иначе как-нибудь сообщит».

Я вернулась с облегчением. Когда я все рассказала о.Серафиму, он велел мне самой пойти к Владыке и ему передать. Очень мне трудно было это исполнить, но я исполнила, смягчив несколько слова о.Алексия.

Владыка выслушал молча и, когда я кончила, быстро сказал: «Старец прав, старец прав».

С тех пор я его видала очень редко, раза два или три, не больше. Он уехал вскоре из Москвы и умер в апреле 1928 года.

Одна его духовная дочь, которая так же как и я ушла от него к о.Серафиму, передавала мне, что Владыка очень тепло отзывался обо мне и жалел, что я ушла. «Как он Вас любит, — говорила она, — как мать родная. Он велел Вам передать, что если Вам тяжело, то чтобы вернулись к нему, в любую минуту он примет Вас обратно». Я не искала возвращения к Владыке. Я знала и чувствовала его доброе ко мне отношение, чисто материнскую любовь, но понимала, что он слишком снисходителен и что эта снисходительность была мне не полезна.

О.Серафим перестал меня посылать к Владыке Николаю. Я ему открыла все то, что до сих пор скрывала, т.е. о своем мучительном раздвоении между ним в Владыкой. Он выслушал все очень серьезно и сказал: «В этом утаивании и был весь корень твоих мучений. Надо открывать все до мельчайших подробностей, тогда никогда такой трудности не будешь переживать».

К этому времени относится обещание, данное мне о.Серафимом, не оставить в будущем моих детей. Я по его приказанию показала еще одному врачу, который нашел мое состояние не улучшенным и высказал опасение, что может начаться скоротечная чахотка. Будучи под впечатлением его слов, я написала о.Серафиму просьбу после моей смерти не оставить детей. Тогда еще мой вопрос с Владыкой Николаем не был разрешен, но у меня отчего-то больше желания было просить об этом о.Серафима. Он просто ответил мне: «Я обещаю тебе это».

Я уже писала о том, что частично во время моего двухмесячного пребывания в Москве я жила у Маруси Прозоровской. Она была старше меня лет на десять. Характер у нее был горячий, экзальтированный. Говорила она много, высказывала самые свои сокровенные мысли. Она болела туберкулезом и считала себя на краю смерти.

Как-то раз, во время одного из наших с ней ночных разговоров, она мне сказала, что ее мечта — получить перед смертью постриг. Меня эта мысль поразила. Несмотря на то, что я несколько уже лет жила рядом с монастырем, мне и в голову не приходило, что можно получить постриг вне монастыря. Я даже не знала, каково значение пострига, думала, что необходима постепенность: сперва рясофор, затем мантия и наконец схи́ма.

От Маруси Прозоровской я узнала, что постриг, подобно крещению, прощает все грехи мирской жизни, прочитав чин пострига, я подумала, что постриг ценно принять именно в молодых годах. «Какой смысл в старости давать обет целомудрия, — думала я. — Старики и без обета останутся целомудренными. На их целомудрие никто и не посягнет. Какая же это жертва ради Бога. В молодости же действительно чем-то жертвуешь, от чего-то отказываешься ради Господа».

Мысль эта очень заняла меня, но о.Серафиму я ее не открыла сразу. Вскоре после этого наступила масленица.

В среду в Даниловском монастыре была первая великопостная служба. Под впечатлением и разговоров с Прозоровской, и мнения врача, что мне грозит может быть скоротечная чахотка, отстояла я эту службу. Мне представлялось, что я скоро умру, что надо не терять времени, служить Господу. После службы подхожу к о.Серафиму и говорю: «Батюшка, у меня упорный помысел, что мне надо принять постриг». Он даже не удивился, а только спросил: «А как же дети?» — «Дети не помешают». — «Я сам решить этого вопроса не могу, — ответил он, — поезжай к о.Алексию, что он скажет». — «Я так недавно у него была, он меня не примет, — сказал я. — Решите Вы сами». — «Нет, не могу,

это вопрос слишком серьезный. Поезжай, если воля Божия на это есть, то ничто не помешает. Если не примет — значит нет воли Божией. Только пусть о.Алексий сам откажет в приеме, если же о.Макарий, то старайся добиться».

На другой же день я поехала в Загорск. Приезжаю и встречаю суровый и непреклонный отказ от о.Макария. «Нет, нет и не про-си, ведь совсем недавно была, что за дела такие пошли, и докладывать старцу не буду, у него родные из Москвы. Уезжай, уезжай». Я ушла. Считать ли это указанием Божиим? Нет, это не о.Алексий отказал. Надо добиваться.

Мне пришло в голову пойти к наместнику Лавры о.Крониду, которого мы знали почти с детства. Он жил в двух вестах от Загорска в Черниговском скиту. Через час я сидела уже в приемной о.Крониды и ему рассказывала о своем деле. Все подробности о себе я не рассказывала, а лишь о болезни, страхе смерти, о желании принять постриг и о том, что о.Серафим хочет знать об этом решение о.Алексия. О.Кронид отнесся ко всему очень серьезно и сочувственно. Он успокоил меня, что батюшка меня непременно примет, что он сам пойдет хлопотать за меня перед о.Макарием, а чтобы я пришла к пяти часам вечера к о.Алексию.

Ровно в 5 часов я пришла к дверям батюшкиного домика и от страха села на крылечке. Я боялась постучаться. «Дождусь, когда о.Кронид выйдет», — думала я.

Сидела я недолго. Открылась дверь и я услышала ворчливый голос о.Макария, но уже с добродушным оттенком. «Ишь, непослушная, к наместнику пошла, нет чтобы Макария послушаться, надо наместника беспокоить. Ну уж иди, иди, нечего тут мерзнуть».

Я взошла в ту же прихожую. Слышу, что о.Кронид с батюшкой пьют чаю и тихо о чем-то говорят. Слов я не слышала. О.Кронид вышел и сказал мне: «Идите к старцу, он Вам все сам скажет». Батюшка, как обычно, лежал на своей кровати. Через минуту вошел о.Макарий. «Убирай посуду, — сказал батюшка, — и уходи к хозяевам, она мне прислужит, если что понадобится».

«Ну, вот теперь можно спокойно поговорить», — сказал он, когда я вернулась, закрыв за о.Макарием дверь.

Он сперва пытался меня отговорить. Говорил о трудности правила монашеского, о том, что накладывается на постриженного. Что, живя в миру, мне очень трудно будет не нарушить монашеского правила. Сперва я что-то отвечала, а после замолчала и плакала. Я почувствовала страх, так как увидела, что батюшка говорит о постриге в мантию, я же думала о рясофоре. Потом батюшка начал говорить о том, какое счастье в молодости послу-

жить Господу, похвалял мое это желание и снова говорил, что это будет для меня трудно. «Ну, что же, батюшка, — сказала я, — значит, нет на это для меня воли Божией!»

Тогда батюшка решительно сказал: «Ну как уж Господь решит. Дай мне вон ту книгу», — и он указал мне на тоненькую книжку в переплете, лежащую на аналое. Я подала требуемую книжку и стояла молча, глядя на него. Батюшка быстро открыл книжку и стал читать про себя. Лицо его необычайно просияло. Он сел на кровати и сказал: «Подойти ко мне, я тебя благословлю на принятие монашеского пострига». Благословив, он прибавил: «Дай Бог тебе быть хорошей монахиней и хорошей матерью. Не оставляй детей». Я спросила у о.Алексия об имени монашеском, он ответил: «Это уж какое о.Серафим даст».

После, еще недолго поговорив со мной, он отпустил меня. Я поспела на вечерний поезд. По дороге я записала все слова батюшки и по приезде передала их о.Серафиму. На другой день о.Серафим подробно расспрашивал меня обо всем, с интересом слушал, но ничего определенного не сказал.

Через два дня начинался Великий пост. По разрешению о.Серафима, я стояла все службы и постилась. И несмотря на это, здоровье мое заметно стало поправляться. Я перестала кашлять. Температура спустилась. На четвертой неделе поста я показала врачу, который сказал, что все явления в легких у меня затихли и я могу ехать домой, но с тем, чтобы там продолжать тот же режим. Я обещала, но не сказала ему, какой «режим» был у меня последний месяц.

О.Серафим, узнав о словах врача, очень был доволен и велел мне уезжать. «А как же постриг?» — спросила я удивленная. Но он спокойно сказал: «О.Алексий поручил это дело мне, сейчас я не собираюсь тебе постриг давать. Если решу, то напишу тебе».

Я была огорчена, но как всегда от меня требовалось отсечение воли. Сейчас особенно. Я уехала с обычным благословением о.Серафима писать ежедневно. На этот раз он требовал это настойчивее.

Вернувшись в Дивеево, я продолжала прерванную жизнь с детьми, за мое отсутствие умер мой свекор. С детьми возни было меньше, они уже отболели всеми детскими болезнями и были этот год совершенно здоровы. Время незаметно прошло до лета. За это время у меня было лишь одно смущение. Приезжал к нам о.Александр Гумановский и, узнав, что я пишу откровение о.Серафиму, стал уверять, что для о.Серафима это бесполезно и потому он бы советовал мне прекратить. Я в порядке откровения об этом о.Серафиму написала, он ответил, что не надо обращать внима-

ния на то, что говорят, а что с о.Александром он переговорит по этому поводу.

В июне месяце, в самый праздник Владимирской Божией Матери, поздно вечером к нам приехала одна духовная дочь о.Серафима, она привезла мне мои записки, где на полях было написано: «Приезжай, постриг дам».

Я прочла эти слова поздно ночью и совсем заснуть уже не могла от волнения.

Перед этим за несколько дней мне пришлось быть у легочника-врача в сорока верстах от Дивеева с одной больной женщиной. Врач, Сперанский А.В., в свое время лечил моего мужа и поинтересовался моим здоровьем. Надо сказать, что результаты лечения в Москве к весне у меня сошли почти на нет. Я снова кашляла и температура опять поднималась. Выслушав меня, Сперанский сказал: «У Вас значительно процесс спустился, теперь уже не только верхушка легкого задета, но и под лопаткой. Надо Вам опять лечиться». Но мне лечиться уже не хотелось. Я предавала себя в волю Божию, так как видела, что лечение помогает не надолго.

Предстояла мне большая трудность. Достать монашескую одежду, но так, чтобы никто не догадался, что это для меня. В начале июля я поехала в Саров и там по дороге в ближнюю пустыньку у часовенки с иконой Божией Матери Владимирской молилась о помощи в этом деле. Вернувшись, я начала доставать одежду и все получила в неделю. Единственного человека я посвятила в это: Елену — келейницу Блаженной Марии. Она мне все помогла достать, как будто для себя. Блаженная в то время меня хоронила. Она по ночам просыпалась и начинала петь по мне заупокойные молитвы. Об этом знали все, и так как я болела, то все были уверены, что я скоро умру, да я и сама так думала. Но Господь судил иначе. О.Серафим написал мне, что уезжает в отпуск, но к первому августа приедет, чтобы я к этому дню приезжала. На этот раз с трудом я отпросилась у своей свекрови. Она не хотела меня отпускать и отпустила с условием, что я скоро вернусь.

Приезжаю в Москву числа 3-го. Узнаю, что о.Серафима нет и есть слух, что он не вернется до сентября. Что делать? Если бы не условие, данное моей свекровью, я бы терпеливо ждала, но мне надо было возвращаться. Я так и решила, что уеду, так как к тому времени страх у меня к постригу возрос необыкновенно. Но все же я не решилась поступить самочинно и поехала к о.Алексию. Он не разрешил мне уезжать, а надумал, что я могу от его имени обратиться к Владыке Пахомию.

Я, вернувшись от батюшки, пошла к Владыке Пахомию, который сказал, что по благословию батюшки он не отказывает-

ся, и пока велел мне у него исповедываться. Назначил день. Мне очень не хотелось этого. Еле-еле пересилила себя, пошла, но по дороге все молилась, чтобы Господь отвел от этого. Владыка Пахомий оказался занятым и отказал мне, и когда я пришла на другой день в Даниловский, то узнала, что о.Серафим приехал.

Я у него исповедалась и рассказала, что была у о.Алексия и что он ввиду отсутствия его велел обратиться к Владыке Пахомию.

О.Серафим через несколько дней сказал мне, что раз о.Алексий назначил мне Владыку Пахомию, то пусть Владыка Пахомий и дает мне постриг. Как я ни умоляла, как я ни доказывала, что речь о Владыке Пахомии зашла только из-за отсутствия о.Серафима, батюшка был неумолим. Я исповедовалась у него ежедневно, он много говорил со мной, но дня пострига пока не назначал. Один вечер я сказала ему, что у меня такой страх перед постригом, что я отказываюсь от него. «Как отказываешься? — гневно сказал о.Серафим. — Хотела, просила, получила благословение, а теперь отказываешься? Нет, добивалась и теперь неси». Потом он прибавил: «Завтра же иди к Владыке Пахомию и проси его назначить день».

Все это было сказано так решительно, так сурово, что я не посмела послушаться. Это было 20 августа. Владыка назначил на 22 число утром до литургии.

Накануне вечером после службы я подошла к о.Серафиму. Он не исповедовал меня в этот день, но немного поговорил. Меня поразило, что он был в этот вечер мягкий и даже ласковый. Благословляя меня, он встал и, глядя задумчиво на икону Божией Матери, сказал: «Не бойся, мы поручим тебя Царице Небесной».

Эти слова, сказанные так задушевно, так тепло, на всю жизнь остались у меня в памяти.

Постриг совершился утром 22 августа 1925 года в старом соборе Даниловского монастыря между ранней и поздней литургией. В храме кроме Владыки Пахомия, о.Серафима и меня никого не было.

О.Серафим подводил меня и покрывал своей мантией, а Владыка Пахомий постригал и сам пел.

Было что-то необыкновенно трогательное во всем этом. У о.Серафима на глазах я видела слезы. И у меня на душе было тихо и хорошо. После пострига оба благословили меня, и Владыка сказал мне слово в предостережение от прелести. Сейчас, спустя много лет, вспоминая и переживая вновь то время, я вижу во всем глубокий смысл. Тогда мне хотелось, чтобы постригал меня о.Се-

рафим. Теперь же в том, что он меня подводил, я вижу особое значение. Он как бы вел к Богу душу, которой он руководил и довел до желания посвятить себя Господу.

Я пробыла в Москве до 11 сентября и ежедневно причащалась. 13-го ко всенощной под Воздвижение креста Господня я приехала в Дивеево. Настроение у меня было чудесное. Я полна была желанием служить Богу и детей воспитывать для Него Единого. Мне казалось, что это совместимо вполне. Мне было определено правило. Жизнь около монастыря с новым чувством, с новыми внутренними обязанностями, о которых никто не должен был знать, казалась мне раем. Но не успела я провести так и двух дней, как получила телеграмму от сестры Кати, что у мамочки случился удар. Доктора считали, что больше 10 дней она не проживет. Сестра спешно меня вызывала. Я послала телеграмму о.Серафиму через Прозоровскую, спрашивая, что мне делать. Он ответил, чтобы я ехала. Я опять пустилась в путешествие. В Москве я была от поезда до поезда, так как торопилась в Елец. Маму застала в очень тяжелом положении. Кроме кровоизлияния, лишившего ее всей левой стороны, было и какое-то психическое расстройство. Она чувствовала руку и ногу с копытом. Перед ударом во сне она говорила с каким-то гадом, гнала его от себя, а он ответил: «уйду, но не совсем». Ежедневно ей казалось, что она умирает. Сильные боли во всей отнятой стороне требовали ежедневно наркотических средств. Я провела около нее до 8 октября и наконец, отчаявшись в какой-либо возможности улучшения, стала ее уговаривать принять постриг. Мне казалось, что постриг снимет все грехи и ей сразу станет легче. О моем постриге она ничего не знала. К моему удивлению, она нисколько не удивилась моим словам, а просто сказала: «Я согласна, только надо получить благословение о.Алексия. Поезжай к нему и спроси».

Я 9-го отправилась в Москву. Приезжаю к о.Серафиму, рассказываю ему все. Он мне сказал, что за последнее время о.Алексий перестал принимать, а если кого и примет, то делает вид, что не узнает. Пошел слух, что батюшка впал в детство. «Но ты не смущайся, — научил меня о.Серафим, — а скажи ему: "батюшка, не притворяйтесь, у меня очень важное дело"».

Так в точности и случилось. О.Алексий сделал вид, что видит меня в первый раз, но когда я повторила фразу о.Серафима, батюшка рассмеялся и спросил: «Кто тебя научил так сказать?»

Мы говорили с батюшкой долго и серьезно. Он расспрашивал обо мне, потом о маме. Сказал, что он совершенно не знает сейчас ее устройства и хотел бы кому-нибудь поручить это дело. Но кому, никак не мог придумать. Наконец остановился на о.Серафи-

ме. Он велел мне просить о.Серафима съездить со мною в Елец и чтобы батюшка на месте решил, можно маму постригать или нет. «Всю мою власть над работой Божией Анастасией передаю о.Серафиму», — сказал батюшка.

В это мое свидание батюшка очень строго говорил о необходимости исполнения правила. Он сказал: «Монахиня, не исполняющая правило, не монахиня, а Хабалка».

Как часто впоследствии я вспоминала батюшкины слова, укоряя себя.

Вернувшись в Даниловский монастырь, я получила согласие о.Серафима на поездку к маме тотчас же, но начальство его не сразу разрешило ему поехать. Только 18-го числа уехали мы с ним в Елец. Маму застали точно в таком же положении. То же умирание, то же ощущение копыт и наркотики.

В первый же день приезда о.Серафим ее исповедовал часа три. После мама говорила, что за всю жизнь никогда так не исповедовалась. Он причащал ее три дня подряд, соборовал и наконец 21-го, под праздник Казанской Царицы Небесной постриг с именем Митрофания в честь св.Митрофания Воронежского. После праздника Казанской Божией Матери на праздник Скорбящей Царицы Небесной я ездила с о.Серафимом в Задонск, где он никогда не был. Вернувшись, он прожил у нас в Ельце еще несколько дней и вернулся в Москву один. Я же осталась ухаживать за больной. Сразу после пострига прошли у нее все психические явления. Прошло ощущение копыт, прошло умирание, прошли боли, так что наркотики все отменили, но паралич остался. Мама прожила после семь лет и скончалась тихо, тихо, жизнь ее последние два или три года была праведная и скончалась она необыкновенно светло. Таково было мнение всех живущих с нею и за нею ухаживающих.

Я прожила в Ельце до Рождества, накануне сочельника я была уже в Дивееве. О.Серафим торопил меня к детям на этот праздник.

На святках я была с детьми в Сарове. Говела там и общалась у Саровского духовника о.Гурия. Он понравился мне очень, но о постриге я ему ничего не говорила. Он был очень простой, малограмотный, и мне казалось, что он не одобрит пострига вне монастыря, и я не решилась ему сказать.

За то время, что я была в Ельце, я показала всем елецким врачам и они единогласно нашли у меня следы глубокого процесса под лопаткой, но совершенно зарубцевавшегося. Не было сомнения для меня, что это было исцеление после пострига, так как в июне перед постригом процесс, по уверению специалиста Спе-

ранского, был в разгаре. С тех пор все явления в легких у меня прошли. Рентген всегда показывает очаг плотного затемнения (старый процесс), который напоминает мне о явном чуде надо мной по милости Божией.

В конце января меня опять вызвали в Елец, но когда я доехала до Москвы, о.Серафим сказал мне, что он списался с моими, не могут ли они обойтись без меня. Он не хотел, чтобы я опять покидала детей. В день моего приезда он получил ответ от моей сестры, что я могу не ехать.

Он расспрашивал меня о том, где я говела, и узнав, что в Сарове у о.Гурия, благословил продолжать у него говеть, но о постриге, соглашаясь со мной, говорить не велел.

Я уехала домой. Говела у о.Гурия, а о.Серафиму продолжала писать как обычно. В конце февраля я получила от него письмо, что он передает меня о.Гурию и велит мне прекратить посылать ему ежедневные исповеди, а все это отдавать о.Гурию. «Я тебя не отдаю совсем, а как директор поручает дела помощнику, так и я поручаю тебя о.Г. От времени до времени буду контролировать тебя, — писал он. — Что скажет тебе о.Г., то говорит тебе Бог...» Это было очень неожиданно для меня и трудно. О постриге говорить о.Гурию было нельзя, исповедоваться поэтому было трудно. Писать ему приходилось крупными буквами, мои обычные записи для него не годились. Но делать нечего, надо было отсекал свою волю.

В начале 1926 года заболел Алеша скарлатиной. Его взяли в монастырскую больницу вместе со мной. Через пять дней я заболела сама. К нам приставили сиделку, так как я болела очень сильно. Десять дней я была между жизнью и смертью. Врач считала мое положение очень тяжелым, но по милости Божией я осталась жива.

В день, когда мне особенно было плохо, мать Игуменья Дивеевского монастыря разослала сказать по послушаниям, что я умираю и кто жалеет сирот, пусть помолится ночью 150 раз Богородице. На эту просьбу матушки откликнулся почти весь монастырь. Об этом я узнала уже после. Записываю это для детей. Чтобы воспоминание их о Дивеевских сестрах было с благодарностью.

Поправляться я стала быстро, но шелушение шло медленно, так что меня продержали в больнице больше двух месяцев. Алешу же выпустили раньше. От о.Серафима за время моей болезни я получила два письма. Отвечала я ему коротко, так как сама писать не могла, а диктовала письма через Екатерину Ивановну Галактионову, которая ежедневно подходила ко мне под окошко. От нее я узнавала все внешние новости. Между прочим узнала

о том, что в Дивеево как бы на поселение приезжают два епископа: еп. Филипп и еп. Серафим (Звездинский). Я, сидя в своем невольном заточении, много читала духовных книг и без конца писала всякие мысленные грехи. Накопилась толстая тетрадь. О. Серафиму послать ее было нельзя, так как его не было в Москве. Он уехал в отпуск на три месяца. О. Гурию отдать ее тоже было нельзя, так как надо было бы все переписать крупными буквами. У меня на это не хватило ни энергии, ни бумаги. Так я эту тетрадь и спрятала, но привыкнув на каждую мысль получать разрешение, я чувствовала, как эта спрятанная тетрадь тяготит меня.

Домой я вернулась 4 июля. В этот же день приехали в Дивеево оба епископа, а к нам в дом прибыл гость — племянник некоего князя, фамилию его я не помню. Во время моей болезни хорошие знакомые Петинной матери приезжали с князем в Дивеево и останавливались у нас. А племянник уже по следам дядюшки к нам приехал позднее. Этот молодой человек особенное внимание уделил мне; проведя у нас несколько дней, он от меня не отходил. Вероятно, нужно было мне пройти это искушение. Сам он мне не нравился, но речи его были очень искустельны. По вечерам мы с ним сидели чуть ли не до утра, и он всегда начинал задушевные беседы, во время которых усиленно звал меня обратно в столицу, убеждал не погребать себя в провинции и т. д. К несчастью, его слова падали на благодарную почву. Я приняла помысел, что я слишком поспешно решилась на шаг, отрешавший меня от мира, что он прав: ради детей я должна переехать в столицу и жить иначе. Меня охватила тоска по миру с одной стороны, с другой — ужас, что я мысленно нарушаю обеты. По привычке записывая откровение по вечерам, я подумала, что мне некому их исповедовать: о. Гурий о монашестве моем ничего не знал; о. Серафима не было в Москве. Мой искустель ушел от нас в Саров, а через день пошла туда и я. Подсознательно у меня было желание его еще видеть и послушать лишний раз его речи. Не могу этого скрыть, так как такое мое состояние повлияло на перемену в моей жизни.

Исповедь у о. Гурия на этот раз ничего не дала, до сих пор у меня еще не было переживаний, связанных с постригом и данными обетами, поэтому я говорила о. Гурию все и получала облегчение, но на этот раз искушение было связано с мысленным нарушением обетов. Без этого не было в моем желании уехать особого греха, даже если бы я пожелала выйти замуж — это не могло считаться тяжким грехом для мирской, светской женщины, какой меня считал о. Гурий. Он так и ответил мне, что мое желание уехать вполне понятно в моем возрасте.

Я не виню его, ведь он же не знал о моем монашестве — что же другое он мог сказать?

Я вернулась из Сарова без облегчения с жадной подробного откровения. Но к кому идти? Я передана была о.Гурию. Без его разрешения я ни к кому не имела права идти на исповедь. Но под каким предлогом спрашивать на это разрешение о.Гурия? Мне помогло в этом случае состояние моего здоровья.

Скарлатина дала осложнение на сердце, у меня опухли ноги. Ссылаясь на это, я написала о.Гурию просьбу разрешить мне исповедоваться у одного из вновь прибывших епископов. Я называла сама Владыку Филиппа, так как он был знаком с моей свекровью, знал покойного мужа и несколько раз уже у нас был. Мне казался он доступнее для меня. Мое письмо в Саров понесла Анна Григорьевна. Ответ она мне принесла накануне праздника Умиления Божией Матери, 27 июля. О.Гурий не сразу ответил на мое письмо, он его прочел, а за ответом велел ей придти перед ее уходом из Сарова. Когда она пришла, он сказал: «Передай ей: Бог благословит ее к Владыке Серафиму».

Ответ о.Гурия очень был мне не по душе. За это время было уже несколько архиерейских служб в Дивееве и Владыка Серафим не произвел на меня никакого впечатления. Ближе к нему я его не знала, слышала, что он приехал с двумя духовными дочерьми. Я воображала себе трудность проникнуть к нему, так как мне говорили, что он никого не принимает. Владыка Филипп мне нравился все больше и больше.

В день возвращения Анны Григорьевны из Сарова, приехал к нам снова о.Александр Гумановский. Во время всенощной, глядя на служащего Владыку Серафима, у меня все больше и больше являлось нежелание к нему идти и пришла мысль, испытать еще раз волю Божию, переспросить у о.Александра Гумановского. «Он знает хорошо о.Серафима, он мне скажет, не обижу ли я его тем, что пойду к епископу Серафиму», — думала я. У меня была тайная надежда, что о.Александр отговорит меня, я знала, что он уже был в хороших отношениях с о.Серафимом и он сам сказал мне, что берет свои слова назад, насчет моего откровения о.Серафиму. У меня была даже мысль: лучше ни к кому не пойду, только не к этому Владыке. Подсознательное чувство было и то, что если я пойду к нему, то ему надо говорить все. Это не о.Гурий, которому душу можно открыть наполовину. Между тем, по внешнему виду Владыки душа моя к нему не тянулась.

Я так и сделала, как хотела. Переспросила о.Александра. Он мне, не задумываясь, ответил, что по его мнению о.Серафим не только не обидится, но будет очень рад. «Вам громадная польза

будет от общения с Владыкой. Ведь это же исключительный человек. Я помогу Вам в этом. Напишите письмо Владыке, попросите его Вас принять, а я письмо передам и со своей стороны попрошу».

Слова о.Александра прекратили мое колебание. Я написала письмо, которое он передал Владыке 30 июля. Владыка не особенно охотно и лишь под влиянием просьбы о.Александра согласился и назначил мне придти к нему 3 августа в понедельник к часу дня. 31-го о.Александр уезжал от нас и попросил меня сопровождать его по святым местам Дивеева, а также провести его в больницу монастыря, где он обещал побывать. По дороге мы издали увидели Владыку Серафима. Он гулял около могил Дивеевских блаженных. «Подойдите к нему, — попросила я, — познакомьте меня с ним, мне легче будет пойти к нему в понедельник». «На обратном пути», — ответил он. «Он же уйдет». — «Не уйдет, я его перекрещу», — и с этими словами о.Александр осенил издали Владыку крестным знаменем: «Владыка, святой, погуляй здесь до нашего возвращения».

Мы шли назад часа через два, так как о.Александр очень задержался в больнице; Владыка гулял на том же месте. «Вот видите, я Вам говорил», — торжествовал о.Александр. Мы подошли и он представил меня Владыке. Тот благословил меня и молча на меня смотрел.

«Владыка, — сказала я, — Вы мне назначили придти в понедельник в 1 час, а нельзя ли в 11 часов утра. В час дня у нас обед».

«Можно, — ответил он, — в 11 часов».

Он смотрел на меня пристально, как будто читал что-то в моей душе. Когда мы отошли, я подумала: «Да, если пойду к нему, то надо говорить все или ничего». В этот миг у меня что-то сжалось в сердце и вспомнился о.Серафим. «Имею ли я право так делать?» — подумала я. «Что скажет тебе о.Гурий — то говорит тебе Бог», — вспомнились слова батюшки в письме. Этим я успокоила себя.

О.Александр уехал в этот же день. Я с детьми ходила его провожать далеко в поле. Он просил меня не колеблясь идти к Владыке.

«Вы не можете себе представить, какую пользу Вы от него получите. Вы будете мне благодарны», — говорил он.

«Не думаю», — уныло ответила я, а про себя подумала: «Господи, если бы была надежда на скорое возвращение о.Серафима, ни к кому бы я не пошла». Незадолго перед этим я получила от о.Серафима письмо из Киева, где он писал, что заболел и задерживается, когда вернется, не знает.

«А я уверен, что будете очень благодарны», — сказал о.Александр.

Он уехал, а я два дня мучилась внутренним разногласием. Бесчисленное количество раз я передумывала, то я решалась идти, то твердо решала, что не пойду. В воскресенье я была у обедни, издали видела Владыку, но к нему не подошла.

В понедельник всю литургию я промучилась от мыслей. Во время Евхаристического канона я взмолилась о вразумлении свыше и неожиданно для себя помолилась так: «Царица Небесная, Ты видишь мое мучение, Ты видишь, что мне сейчас не у кого спросить. Поэтому молю Тебя укажи мне Сама. Я после обедни дождусь Владыку, если он мне переменит день или хотя бы час назначенный, то это будет для меня знаком того, что мне идти к нему не надо. Если не переменит, то значит Тебе угодно, чтобы я пошла к нему и говорила все». Эта молитва сразу успокоила меня и после литургии я осталась дожидаться выхода Владыки. Он не служил в этот день, а молился в алтаре.

Скоро храм опустел, требы все кончились, церковницы успели подмести и прибрать собор, а Владыка все не выходил. Я дождалась, но начинала волноваться. Время было уже около десяти часов, к 11 часам мне надо было идти к Владыке, а перед этим необходимо было вернуться домой к детям, накормить их, отпустить гулять.

«Зачем я жду? — думала я. — Через час я все равно буду у него и узнаю, отменил он мой прием или нет, тогда и узнаю волю Божию». «Нет, дождись, — говорил мне внутренний голос, — ты сказала, что здесь дождешься».

Несколько раз я подходила к выходной двери с желанием уйти, но опять возвращалась к боковым дверям, через которые всегда выходил Владыка. Наконец он вышел, благословил подошедших к нему двух церковниц, потом с улыбкой подошел ко мне и произнес: «Не раздумали?» — «Нет, Владыка, — ответила я, — а Вы?» — «Нет, не раздумал, в 11 часов я Вас жду, ровно в 11 часов», — подчеркнул он. «Что это? — мелькнуло у меня в голове. — Неужели он узнал мои мысли?»

В 11 часов я была у него. Он встретил меня серьезно, даже несколько сурово, и с первых же слов стал отговаривать меня от исповеди ему.

Он сидел в кресле у стола, а я стояла рядом. «Я человек здесь случайный, — говорил он, — я могу не сегодня-завтра уехать. Какой будет для Вас смысл от обращения ко мне». Он говорил долго, наконец я сказала: «Ну что же, Владыка, прикажите мне

уйти, тогда я уйду». Он быстро встал с кресла: «Грядущего ко мне не изжену вон, — произнес он с силой, — начинай исповедь».

Я исповедовалась полностью. Я рассказала все, что накопилось у меня на душе, всю мою внутреннюю борьбу последнего времени, с тоской о мире (о монашестве я ему сказала сразу), почему я чувствовала потребность в полной исповеди, о моем отношении к о.Серафиму и к о.Гурию. Рассказала и о внутреннем разногласии, идти ли к нему или нет. Когда я передавала ему об утреннем моем обращении к Царице Небесной с молитвой указать мне, идти ли мне к нему, Владыка прервал меня словами:

«И я тебе открою свои помыслы. Мне не хотелось тебя принимать. Сегодня, причастившись, я думал о тебе и тоже просил указания Божия и решил так: если ты меня дождешься в храме после литургии, то я тебя приму, приму без оглядки, а если ты не дождешься, а просто придешь к 11 часам ко мне, то я тебе откажу». И еще сказал: «Я сразу понял, когда первый раз тебя увидел с о.Александром, что ты монахиня, и если бы ты утаила от меня, то я бы спросил при разрешительной молитве, как твое монашеское имя».

«Отчего же Вы узнали это?» — спросила я. Он улыбнулся и ничего не сказал. После он часто говорил мне: «Сегодня причащаться ты подходила в шляпе, громадной шляпе с пером, я не хотел тебя причащать». Другой раз говорил: «Сегодня ты в мантии подходила, я на тебя радовался».

На следующий день, 4 августа, он служил в церкви на Дивеевском кладбище и я причастилась у него. Долго я испытывала внутреннее раздвоение. Первое время мне казалось, что я изменила о.Серафиму, что я неправильно поступила; я открывала эти мысли Владыке и тот уверял меня, что от о.Серафима он меня не отнимает: «Придет время, — говорил он, — я посажу тебя в лодку, дам в руки два весла и отправлю к о.Серафиму». О.Серафиму я написала обо всем, и когда он вернулся из Киева, ему мое письмо передали. В конце августа я получила от него письмо: «Очень рад за тебя, — писал он, — что ты попала к Владыке Серафиму. Это большой выигрыш для тебя. Владыка великий старец откровения. Будь с ним откровенна во всем. Земно кланяюсь Владыке и прошу за тебя».

Это письмо меня совершенно успокоило и я начала ходить к Владыке безо всякого смущения.

Чем чаще я у него была, чем больше я слышала от него живых слов, тем сильнее я к нему привязывалась. В конце концов я почувствовала, что он стал для меня выше о.Серафима. Но как и тогда, когда было надо мною двоевластие о.Серафима и Владыки

Николая, я мучилась, так и теперь меня мучило сознание двоевластия надо мной. Вопреки совету Владыки, который говорил, что время все покажет, что не надо ставить точек над «и», я написала письмо духовной дочери о.Серафима Софье Михайловне. В нем я писала, что очень счастлива тем, что имею в лице Владыки, и лучшего не хочу, и сама от этого счастья не уйду. Не знаю, показала ли она это письмо о.Серафиму. Как-то в это же время я получила письмо от другой его духовной дочери Елены. Она мне писала, что слух о моем уходе от о.Серафима проник в Даниловский и что, по ее мнению, на о.Серафима это произвело тяжелое впечатление. Но я продолжала молчать и ничего самому о.Серафиму не писала. Я ушла молчком и угрызений совести уже не чувствовала.

Мои записки не есть откровение помыслов, я просто записываю, как в духовном отношении шла моя жизнь. Оттого анализировать свои мысли и чувства, какие были в то время, не хочу. Думаю все же, что все, со мной случившееся, было не без промысла Божия. Верно, так нужно было.

Владыка был в Дивеево ровно год и два месяца. Он мне разрешил бывать через день у него на домашней службе вечером. К литургии до 8 ноября он ходил в храм, а с 8 ноября ему дали отдельную церковь, где он ежедневно служил литургию почти уединенно. До февраля мне не было разрешено туда ходить, а с февраля 1927 года до дня его отъезда из Дивеева — 8 сентября того же года — я ходила к его литургии ежедневно. К семи часам утра у него уже кончалась служба. Когда я приходила домой, дети еще спали. Мне это было очень удобно.

По его благословию я приобщалась раз в неделю. Исповедовалась у него накануне. После вечерней службы у себя он оставлял меня почти каждый раз, а иногда днем разрешал придти и тогда говорил со мной дольше. С того времени, как я стала ходить к его литургии, он принимал меня реже. «Литургия старца, — говорил он, — это океан милости Божией. Все можно у Господа вымолить за этой литургией». После каждой литургии он говорил небольшое слово. Я очень подробно записывала их, но, к сожалению, тетради мои были сожжены. Осталась лишь тетрадь записей того, что он говорил мне на исповеди. Эту тетрадку вместе с записками оставляю, если Бог даст, Алеше.

Алеше в 1926 году в сентябре исполнилось семь лет. Первая его исповедь была у Владыки. Заодно с Алешей и Серафима он согласился исповедовать. В день Ангела Алеши, 5 октября, была и первая исповедь Алеши. Владыка подарил ему книжку жития св.Алексия с надписью: «Моему самому маленькому духовному

сыну в день первой исповеди. Будь маленьким всегда на зло, расти большим на добро».

Из Дивеева Владыка переехал в город Меленки по Казанской железной дороге. Я была у него там несколько раз в период 1927-1930 годов. Последний раз я была у него 26 сентября 1930 года. С тех пор я его не видала, но переписывалась. Все три года я, хотя ездила к нему не очень часто, но писала ежедневные откровения и посылала ему со случаями, которые были, кроме моих поездок. Со мной были у него два раза дети.

13 декабря 1930 года я уехала из Дивеева и поселилась в городе Муроме*. Оттуда я еще имела возможность переписываться с Владыкой и посылать ему исповеди, но сама у него уже не была. Один раз оттуда к нему ездил Серафим с моим поручением.

Владыка Серафим был сын единоверческого священника о.Иоанна. Мать его умерла, когда он был совсем маленький. Отец воспитывал его очень строго и в благоговении к храму. Особенный трепет внушался ему к Божественной Литургии и принятию Святых Тайн. Двадцати восьми лет он сильно болел и получил исцеление от изображения непрославленного еще тогда преподобного Серафима Саровского. Вскоре он поступил в монастырь. Кажется в 27 лет получил постриг, 27 сентября (совпадение с днем рождения Алеши). В 1921 году получил архиерейство и назначение в Дмитров. Из Дмитрова был сослан в Зырянский край, оттуда в Аносковский женский монастырь, где пробыл год, а в 1926 году — в Дивеево.

Особое отношение было у Владыки к литургии. Служение литургии было для него основным делом всей жизни.

Он написал мне надпись на акафисте своего сочинения (благодарение по принятию святых Тайн). Там были слова «Для божественной литургии и солнце светит и луна и звезды тихий свет свой посылают и земля дает плод свой — да будет св.Агнец на престоле. Весь смысл жизни сей земной ни в чем ином, как в постоянном преуготовлении себя к принятию св.Тайн Христовых, молитвенным подвигом, воздержанием, чистосердечным покаянием. В таком приготовлении к св.Тайнам и в самом причащении св. животворящих Тайн Христовых заключается весь смысл жизни христианина. Христианин должен причащаться наивозможно чаще».

* После того, как в 1930 был расстрелян Михаил Петрович Арцыбушев — деверь Т.А., на иждивении которого она официально числилась вместе с детьми после смерти своего мужа, — вся семья была выслана, с конфискацией имущества, в город Муром, а дивеевский дом Арцыбушевых был разрушен. — Ред.

В этом была основа его руководства: «Каждую минуту своей жизни помни, что ты готовишься к принятию св.Тайн. Что бы ты ни делала, делай с мыслию, что ты скоро будешь причащаться. Надо почувствовать себя черной тучей, чтобы озариться молнией св.Причащения».

Владыка очень высоко ставил монашество. «Это святые стогны, политые потом, кровью и слезами преподобных», — говорил он. Он не был против монашества в миру. Наоборот, он всячески укреплял, поддерживал, возбуждал ревность и желание служить Богу. «Ведь не правда ли, — говорил он мне, — мы с тобой за свое монашество с радостью отдадим жизнь». О старчестве он говорил как об особом даре Божиим. Не каждый духовный отец является старцем для чад своих. Бывает так, что у духовного отца много чад духовных, а старцем он для одного-двух. Это дается Богом. «Я не умею объяснить, почему это так», — говорил Владыка. «Ты хочешь познать эту тайну, — говорил он мне, — ты ходишь кругом да около старчества, но еще не проникла в эту тайну». «Когда ты получишь старца, ты будешь его чувствовать около себя всегда».

Другой раз он говорил мне: «Ты познаешь старчество, когда крест твой войдет в рамки терпения и смирения». Он учил, что кто искренно предает себя в послушание духовному отцу, тот каждое слово его считает словом Божиим. «Духовный отец по отношению к такому чаду ничего не делает и не говорит без внушения Божия». Подобное есть и у епископа Феофана в «Пути ко спасению»: «руководитель дает всегда точное и верное руководство, как скоро руководимый предается ему всей душой и верою, — Сам Господь блюдет такого преданника». Владыка говорил, что в истинном отношении к отцу не может быть ни зависти, ни ревности, ни обиды, так как все принимается как от руки Господа. Если есть что-либо подобное, — значит нет настоящего отношения.

Он говорил, что чем откровеннее духовное чадо с отцом, чем глубже открывает раны свои, тем ближе он делает духовного отца. Подобно матери, для которой самое неудачное, убогое дитя дороже здоровых. «Никогда не стыдись открывать грехи, — говорил он, — чем безжалостнее будешь обличать себя, тем больше будет облегчение».

Несколько раз за те четыре года, что я была под руководством Владыки, он говорил мне, что за меня перед Богом будет отвечать не он, а о.Серафим. Я не придавала значения этим его словам. Я так внимательно записывала почти каждое его слово, а эти слова умышленно не писала, считая, что он шутит.

В предпоследний раз, когда я была у него в Меленках, он, задумчиво глядя на меня, сказал: «Ты отойдешь от меня... перейдешь к третьему Серафиму и с ним спасешься». Я не поняла тогда, что он хотел сказать, но переспросить не захотела. Тогда мне было больно от мысли, что я отойду от него.

Он любил говорить образами, торжественно, часто мистически, таинственно. Иногда необыкновенно сильно, иногда отечески, ласково. Иногда обличал и говорил «я навожу на тебя прожектор, чтобы ты видела, какая ты должна быть и какая есть». Иногда он поражал меня вопросом: «Что ты делала в таком-то часу, я слышал то и то», — и так именно и было.

Однажды я забыла ему сказать один грех, он долго просил меня подумать, вспомнить, нет ли еще чего, затем встал накрыл мою голову омофором и сказал: «Ну, повторяй за мной, прости меня Господи за...» — и назвал мой грех со всеми подробностями.

«Мне велено тебе сказать...» — часто говорил он и от этих слов делалось жутко.

Раз он вышел после литургии из алтаря и, подойдя ко мне, сказал: «Мне велено тебе сказать, как она, которая причащается еженедельно, не находит в себе Божественной Росы для того, чтобы смочить порох, а наоборот, поджигает его подобно спичке. Взыщу и с пороха и со спички, но со спички больше» (это говорилось об отношениях с матерью Пети).

Другой раз вышел из алтаря с сияющим лицом и, подойдя ко мне, сказал: «Ликуй, Таисия, ликуй, пой Христос Воскресе, мне был голос о тебе, что ты спасешься!»

Он всегда говорил мне, что раз Господь, допустив мой постриг, оставил при мне детей, значит и главное мое дело — воспитание их.

«Тебе даны две корзиночки, наполни их цветами любви к Богу, веры, христианского воспитания», — говорил он.

Как-то раз я пришла к Владыке утром с обоими детьми. Он молча взял Алешу за руку и повел к себе в моленную, поставил перед иконами и начал облачать в полное монашеское одеяние. Дал в руки крест и зажженную свечу. Все это он делал с необыкновенно торжественным видом, соблюдая полное молчание. Алеша, в то время семилетний ребенок, стоял очень смиренно. Присутствовали при этом только я и Серафим. Детям казалось, что Владыка шутит с ними, Серафим попросил его «и меня». Владыка ответил: «а тебя — нет». Я же почувствовала во всем этом конечно не шутку, а глубокое предсказание. На глазах у меня были слезы, которые я скрыть не могла. Другой раз Владыка велел Алеше принести ему ножницы и трижды отрезал ему волосы, потом наклонился и

на ухо сказал: «А имя тебе будет..., только не говори никому, даже маме». Алеша после сознался мне, что не расслышал. На исповеди Владыка мне сказал, объясняя предсказание блаженной Марии об Алеше, что он умрет на Пасху: «Неужели ты не понимаешь, что это значит... Алеша будет монахом...», потом еще прибавил одну фразу, но ее я не могу сказать. Он писал мне: «Следи за детьми, блюди их в строгости, ответ за них дашь, особенно за младшего».

Много он еще мне говорил, и его слова почти все уже исполнились. Я твердо уверена, что и то, что он предсказал об Алеше, сбудется. Потому прошу его не затруднять исполнение воли Божией над собой. Не срывать с себя руки Божией, избравшей его на служение себе.

На важные вопросы Владыка иногда отвечал не сразу. Помолчит, а потом ответит, и уже решительно, как будто получил внутреннее указание. Эта решительность очень успокоительно действовала на душу. Много любви и заботы я видела от него. Он говорил: «Ты пришла ко мне с сердцем, и я отдаю тебе кусочки сердца моего с кровью».

Как-то раз в Меленках я была у Владыки и он сказал мне: «Знаешь, я видел тебя. Вижу, будто подхожу я к воротам Царствия Небесного. У входа стоит экспресс, почтовый поезд, автомобили, рысаки и среди них старая, белая кляча, запряженная в таратайку. Подивился я, иду дальше, вхожу и что же я вижу? Тебя, ты сидишь и облизываешься — видно уже наелась. "Здравствуйте, Владыка", — говоришь ты мне. А я тебе: "Как ты сюда попала?" А ты отвечаешь: "А Вы видели у ворот старая, белая кляча в таратайке стоит, так вот я на ней и приехала"».

После я спросила Владыку: «Владыка, вот Вы часто даете мне надежду, что я спасусь. Как же это будет? Ведь я все время столько грешу? Неужели я изменюсь?» Он не сразу ответил, а долго молчал, глядя на меня. Потом сказал: «Ты спасешься покаянием... Грешить ты будешь до самой смерти... но покаяние тебя спасет».

Другой раз в Меленках он в полном облачении после службы сказал мне (при этом правая рука у него была на сердце): «Даю тебе слово, что перед смертью ты будешь причащаться каждый день. Я упросил Господа об этом для тебя. Поверь мне, это так будет. Я не знаю, как и где это будет, но это будет. Видишь, я говорю это тебе, облаченный в полное архиерейское облачение после литургии. В залог того, что я тебе говорю правду, вот тебе веточка» — и он вынес мне зеленую веточку из алтаря. (Веточку

эту я сохранила, она лежит засушенная в тетради, где я записывала слова Владыки).

Он заповедал мне молиться о материальных нуждах св. пророку Илье. «Молись просто и проси, что тебе нужно. Пророк Илья тебе подаст все, что тебе надо».

С 27 сентября 1930 года я его не видала. В январе 1931 года в Муроме я получила от него письмо, где он мне написал: «Я помолился за тебя: Господи Иисус Христос Сын Божий, пошли чаду моему монахине Таисии старца по сердце ея. Ей, ей, буди». И на полях было написано: «Милостивый Господь пошлет тебе старца по сердцу твоему, который тебе все объяснит».

***ИЗ НАСЛЕДИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ***

Лев Шестов
РОКОВОЕ НАСЛЕДИЕ
О МИСТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ ПЛОТИНА

Публикация М. ван Губерген

Шестьдесят лет прошло с тех пор, как был написан труд Шестова о Плотине. Из-за каких-то не очень понятных причин автор прервал работу над этим сочинением вскоре после того, как приступил к нему. Вероятнее всего, как это предполагает Н.Л. Баранова-Шестова в своей книге «Жизнь Льва Шестова», он забросил свою работу, чтобы полностью посвятить себя полемике о Гуссерле, которую вызвала его статья «Мemento мори», опубликованная в журнале «Revue Philosophique» в 1926 г. Но как бы то ни было, он уже не вернулся к работе о Плотине, оставив нам незаконченную рукописную версию, которая была найдена только после войны.

Книга содержит 20 глав, и хотя последняя из них не кажется нам завершенной, обсуждаемый сюжет представляется доведенным до конца.

Если сам текст до сих пор оставался неизвестным, то его тема, не является новой для читателя. Интерес, с которым Шестов относился к Плотину, отражается во многих его произведениях. Достаточно вспомнить его книги «На весах Иова» и «Афины и Иерусалим». Многие страницы их посвящены Плотину. Помимо этих широко известных и переведенных на многие языки сочинений, существуют еще две статьи Шестова, касающиеся Плотина и вышедшие только по-русски. Одна датируется 1926-м годом и непосредственно относится к предлагаемому здесь тексту, поскольку представляет собой первые две главы настоящей рукописи. Шестов опубликовал ее в журнале «Дни» под заглавием «О добродетелях и звездах». Вторая статья, также касающаяся Плотина, была написана в 1928 г., но опубликована только в 1977-м в журнале «Вестник Русского Христианского Движения».

Если эта монография не представляет собою нового сюжета, она может, тем не менее, оказаться главным источником, вокруг которого вращаются другие сочинения Шестова о Плотине. Мы являемся здесь свидетелями постепенного воплощения главной темы: медленное развитие Плотина, освобождающегося от засилья *Noûs*'а. В разговоре с Бенжаме-

ном Фонданом Шестов раскрывает свою центральную идею о Плотине, говоря: «Плотин уважал великую греческую традицию, придавая большое значение Νοῦς'у (разуму) и ἐπιστήμη (знанию), иногда даже большее, чем другие. Казалось бы, он преувеличивает нарочно. Но есть у него мгновения, когда он хочет покинуть Νοῦς или когда он бросает вызов греческой мысли — и это уже то, чего никто не желает видеть» («Rencontres avec Léon Chestov», с.103). Так же как он делает это для Достоевского, Ницше, Киркегора, Шестов подходит и к трудам Плотина со стороны «черного хода»: что могло произойти в его духовном развитии? Где те отрывки, слова или даже молчание, которые его выдают? Применяя к нему терминологию Бахтина, мы можем сказать, что Шестов неутомимо ищет «арену борьбы», которая скрыта в «слове» авторов, им изучаемых. Факт преувеличения говорит о многом. «Казалось бы, Плотин преувеличивает нарочно». Но что пытается он убрать с наших глаз, ослепляя своими преувеличениями? Какая тревога кроется за этим суровым фасадом, исполненным столь откровенного почтения к традициям? Нерадение ли это наше, отсутствие интереса у нас или окаменелость наших душ делают нас глухими и слепыми? Как иначе объяснить то, что так мало мыслителей чувствуют первое измерение слова, которое не есть, как нас этому учат учебники философии, «средство обозначения вещей», но «звон». Слово — это в первую очередь «звон». Это только впоследствии оно становится «сообщением». Или еще, как говорит Шестов, надо вернуться по другую сторону декартовского: «мыслью, следовательно существую», чтобы распознать действительную точку исхода: крик отчаяния — «Из глубины взываю к Тебе, Господи» (Пс.129, ст.1). Шестов является одним из тех редких философов, которые способны сокрушить чары слова и прощупать, исследовать то, что находится по другую сторону зеркала. Он не делает этого, подобно Фрейдю или Лакану, которые стараются лечить «больное слово», но скорее — идет по тому пути, каким пошли затем Бахтин и Жерар, которые сомневаются и чувствуют, что «подпольный мир» дрожит, что «слово» — это арена борьбы между разными голосами. Но то, что отличает от них Шестова, чего я до сих пор не замечала ни у кого другого, разве кроме Фондана, друга и последователя Шестова, — это та глубокая симпатия, которую он чувствует к изучаемым авторам. Как будто его проницательность освободила их от тяжелого бремени, как будто «взываю...», которое рвется из сочинений этих писателей, — наконец услышано.

Смысл исследования для Шестова не в том, чтобы открыть еще не обнаруженное другими, — но в том, чтобы прийти на помощь всем, кого история философии и история литературы безжалостно душат своим всераздавляющим грузом. Это исключительное измерение и дает его трудам совсем особый, неповторимый тон, где перемешиваются ласка и агрессивность. Ласка и понимание относятся к изучаемым авторам, агрессивность же вызвана слепотой и глухотой человечества, которое не только проходит мимо этого «взываю...», но еще хуже: пытается закопать эти призывы как можно глубже, а над могилой их поставить тяжелый памятник славы человеческому разуму.

Рукопись книги о Плотине хранится в Архиве Шестова в Библиотеке Сорбонны под №35. Она составляет 16-й том сочинений философа. Состояние черновой рукописи объясняет наличие в предлагаемой публикации нескольких неловких фраз и отсутствие некоторых слов, нами не расшифрованных. Цитируя Плотина, Шестов делает это иногда по-русски, иногда по-гречески, то отмечая издания, на которые он ссылается, и давая точное местонахождение цитаты, то — не делая этого. В подстраничных примечаниях мы добавили недостающую информацию и некоторые заметки, которые помогут читателю лучше понять содержание текста.

Мы хотели бы искренне поблагодарить Наталью Львовну Баранову, дочь Льва Исааковича Шестова, за предоставление нам рукописи, своей библиотеки, а также за ее постоянную помощь и безграничное терпение, проявленное к нам во время работы над текстом.

I

Вряд ли соображения, подобранные Кантом в доказательство того, что метафизика невозможна, убедили людей, но несомненно, что они пришлись по вкусу современности. Все обрадовались, что можно не биться больше головой над неразрешимыми проблемами, — и вот уже скоро полтора столетия, как философы довольствуются ролью положительных мыслителей. Я думаю, что Фихте, Шеллинг и Гегель могут быть названы метафизиками только в очень условном смысле. Как бы мы ни определяли метафизику, бесспорно одно: метафизика не ищет «объяснения» видимого мира, ее задача всегда была прорваться к какой-то новой, повседневному опыту не открывавшейся, действительности. Оттого, вероятно, во все времена метафизика враждовала, в большей или меньшей степени, со здравым смыслом и толпой, с πολλοί¹, в которых она видела выразителей и естественных защитников всем доступной видимости. Оттого те же метафизики, хотя и любили называть себя учеными и свое дело именовать наукой, всегда склонны были к произвольным, недоказанным и даже недоказуемым утверждениям. Ведь за это и только за это Кант и восстал против метафизики. В науке нет и быть не может места производству, а так как метафизика в самом существе своем есть только прикрытый научностью произвол, то, стало быть, ее нужно либо совсем отменить, либо признать более или менее безвредной забавой. Во всяком случае, среди наук ей места быть не может. По

¹ многими

слову Канта все и вышло. Произвол пользуется дурной репутацией среди людей — это одно. А другое, — девятнадцатое столетие было таким спокойным, таким благополучным столетием, — и никому не было охоты улетать от земного устройства к заоблачной проблематичности. Наоборот, все всячески старались, сколько кому было дано, показывать, что нравственно здоровый человек и нормальный разум умеют воспринимать вселенную, как любопытную, но отнюдь не тревожную загадку. Немецкий идеализм — сам Кант, а за Кантом его знаменитые преемники Фихте, Шеллинг и Гегель на этом именно граните и строили свои прославленные системы. Один Шопенгауэр представлял исключение. Он бил тревогу, он подозревал или, по крайней мере, говорил, что подозревает самую сущность жизни. Но и он, в конце концов, покорился духу времени. Его «пессимизм» разрешается торжественными мажорными аккордами, примиряющими и примирительными. Он не мог совсем и навсегда порвать с вековой традицией. И делал вид, что думает, — а, может быть, и на самом деле так думал, — что его метафизика отвечает самым строгим требованиям науки, т.е. что она дает объективную истину.

На вопрос: что такое истина? люди давали всякого рода ответы. Но все, которые на этот вопрос отвечали, и все, которые предлагали людям истины, твердо знали одно: истина имеет принудительный характер. Это значит: если я увидел истину, то я приобрел волшебную власть заставить всех людей рано или поздно видеть то, что я видел, захотят они того или не захотят. Момент принудительности больше всего соблазнял тех, кто решался за свой страх искать. Ни разу на протяжении всей, уже бесконечно длинной истории философии, не было случая, когда кто-либо решился открыто усомниться в том, точно ли истине свойственна принудительность. А ведь люди сомневались, как известно, в чем угодно, даже в своем собственном существовании. Почему же все так крепко и непоколебимо убеждены, что истина должна принуждать? И ведь не только ученые и философы, которые хотят быть учеными, в этом убеждены. Посмотрите творения святых отцов, мистиков, о которых принято думать, что они не боятся даже самого «закона противоречия» и не отступают перед явными нелепостями — в этом отношении они ничем не отличаются от ученых и философов. Они ценят и любят свою истину, которую они называют откровенной лишь постольку, поскольку она и может, и хочет быть истиной для всех. Если бы вам удалось каким-либо методом убедить их, что их истина не может покорить себе или даже не покорит себе рано или поздно все человечество, все разумные существа, она потеряла бы для них все свое очарование,

они отреклись бы от нее, она стала бы им казаться не прекрасной, как прежде, а безобразной и отвратительной. Подчеркиваю: я имею здесь в виду не посредственных богословов, которые сочиняют толстые книги по образцу других толстых книг, ими прочитанных. Я говорю об искренне настроенных людях, о глубоких мистиках. Если бы вы спросили св.Терезу, св.Иоанна от Креста, св.Бернарда Клервосского и даже бл.Августина, остались ли бы они верными своей истине и продолжали бы они ее любить, даже и в том случае, когда выяснилось бы, что остальные люди к их истине относятся равнодушно и имеют свою истину, я думаю, они должны были бы ответить на ваш вопрос решительным отказом. Истина, лишенная принудительной силы, как соль, потерявшая соленость, — никому и ни для чего не нужна! Ее нужно выбросить, от нее нужно бежать. И по-видимому, чем значительнее истина, тем в большей степени она вправе притязать на принудительность. Можно еще допустить, что обыкновенная истина согласится терпеть наряду с собой истину ей противоположную, но высшие, последние истины никогда не откажутся от власти и должны обладать силой, которая всякой власти присуща.

II

Я не случайно назвал прославленных мистиков, хотя назвал первые пришедшие мне в голову имена. Не случайно, потому что именно о мистиках и о том, что принято называть мистическим опытом, у нас и будет речь впереди. Но я думаю, что для выяснения занимающей нас проблемы гораздо полезнее будет говорить не о тех людях, которых я назвал, — а о том единственном в своем роде представителе философского мышления, которого справедливо принято называть отцом европейского мистицизма — о Плотине. Кого бы из последующих вы ни взяли — у всех вы найдете следы платиновского влияния. Бл.Августин часто излагал своими словами Плотина. Даже иной раз переписывал страницы из его сочинений. Им вдохновлялись восточные отцы церкви. Через Псевдо-Дионисия и непосредственно он влиял на средневековых докторов. Я этим не хочу сказать, — что никто, кроме Плотина, не испытывал тех особенных душевных переживаний, из которых вырастают мистические откровения и которые в своей совокупности называются мистическим опытом. Такое утверждение шло бы вразрез с действительностью и искажало бы самую сущность поставленной мною себе здесь задачи. У каждого мистика — свой опыт, свои переживания, которые он так же мало

может заменить чужим опытом и чужими переживаниями, как и личную жизнь жизнью другого человека. Но в том, что человек нам рассказывает, нужно всегда различать две совсем одна на другую непохожие части или элементы: с одной стороны — то, что было на самом деле, а с другой стороны — истолкование того, что было. Причем — нужно это сейчас же сразу отметить — *людей в гораздо большей степени занимает истолкование того, что было, чем то, что было. Пожалуй, следует еще сильнее выразиться*: то, что было, людей совсем почти не интересует. Их интересует только истолкование, которое они охотно называют осмысливанием. И опыт, в собственном значении этого слова, обыкновенно иначе не понимается как упорядоченные, истолкованные или осмысленные переживания. Сами по себе ни Бернард Клервосский, ни Таулер, ни Мейстер Экхард, ни бл.Августин, ни даже Плотин никому не нужны. Их ведь давно на свете нет — какой в них прок! Еще меньше нужны их преходящие, мгновенные переживания. Когда прислушиваются к их рассказам, стараются уловить что это такое, что к ним самим совсем не относится и говорит вовсе не о них. Хотят найти истину, истину принудительную, о которой у нас сейчас шла речь. То, что с ними было, только тогда заслуживает названия опыта, когда оно так показывает, что под случайным и преходящим открывается нечто необходимое и неизменное. И тут, конечно, не только можно, но и должно говорить о влияниях. Несомненно, что и бл.Августин, и Псевдо-Ареопагит, и весь сонм великих средневековых мистиков — всегда, рассказывая, т.е. истолковывая свой опыт, оглядывались на Плотина и даже к Плотину приглядывались. Больше того, сам Плотин в этом смысле далеко не был свободен. За ним была тысячелетняя, огромная и напряженнейшая работа великой, могучей греческой мысли — мог ли он говорить, думать и даже чувствовать, как думал первый человек, который знал только себя и создавшего его Творца? Правда, Плотин повествует, если хотите, благовествует, мечтает о том блаженном состоянии, которое испытывает душа, когда она остается пред лицом своего Бога. *Φυγή μόvou πρὸς μόvou*¹ — основная тема и единственная цель его размышлений, его созерцаний, или, лучше сказать, задуманной им сверхчеловеческой борьбы, той *ἀγὼν μέγιστος καὶ ἔσχατος*², которая, как он торжественно возвещает нам, предстоит каждой человеческой душе. Но оставаться один на один пред лицом Единого удается редко, в исключительные мгновения. Обыкновенно же

¹ VI. 9, 11, 50-51 бегство единого к единому

² I. 6, 7, 31 самой великой и самой последней борьбы

приходится жить среди людей и, живя среди людей, поступать и говорить, и даже в некоем смысле думать и чувствовать так, как другие люди. Ибо не только поступки, не только разговоры, но и мысли наши должны приспособляться к условиям земного существования: ведь поступок от слова, а слово от мысли. И вот, перед нами два Плотина. Плотин, каким он был для всех — для Порфирия, для императора Галлиена, для сенатора, для опекаемых им малолетних — и для тех, которые в течение последующих веков искали «истины» в его книгах, и тот Плотин, который утверждает, что нужно обо всем забыть, все сбросить с себя, превратиться в такого человека, каким он был в то, даже не доисторическое, а, если нам разрешено так выразиться, в довременное время, когда еще и времени не было. Или, может быть, позволено будет сказать — до грехопадения? Я думаю, что можно и так сказать, что плотиновские писания дают на это право. Ведь даже о том, что у него непосредственно следует за его Единым, о разуме (или о духе — νοῦς) он принужден был сказать ὁ νοῦς ... ἀποστήναι δὲ πρὸς τοῦ ἐνὸς τολμήσας¹ — т.е. что и разум является дерзновенным (нечестивым) отступником пред Богом. К разуму, второй своей ипостаси, о которой он в других местах своих сочинений рассказывает так много чудесного и прекрасного, в те мгновения, когда, стоя перед Богом, он забывает, что его могут слушать и услышать люди, он предъявляет то же грозное обвинение, с которым он обращается к единичной душе в V.1,1 и IV.8,4. «Начало зла для душ есть дерзновение, рождение, первое инакобытие, и желание быть самим собою»². Τόλμα и ἀποστήσαι³, по Плотину, есть тот грех, то зло, которое вошло в мир еще до того, как был создан человек. Оно вошло в мир вместе с разумом, или, еще лучше сказать, оно вошло в мир через разум, через νοῦς. В каком-то исключительном, неповторяющемся опыте Плотину открылась такая истина, и в один из тех моментов, когда человеческая мысль и даже человеческое слово обретает необычную, несвойственную смертным силу и свободу, Плотин мельком, мимоходом, почти шепотом поведал об этом — так, чтоб было сказано и не было услышано. Особенно важное, особенно значительное нередко так и говорится, чтоб быть сказанным и не быть услышанным. Во всеуслышание же говорится совсем другое. Вот образец громких речей Плотина: «Причина же хорошей жизни не

¹ V. 9, 5, 29 дух, дерзнув как-то единое оставить...

² V. 1, 1, 3-5 «Ἀρχὴ μὲν οὖν αὐταῖς τοῦ κακοῦ ἢ τόλμα καὶ ἡ γένεσις καὶ ἡ πρώτη ἑτερότης καὶ τὸ βουλευθῆναι δὲ ἑαυτῶν εἶναι».

³ Дерзновение и оставление

удовольствие, но возможность суждений (судить), что удовольствие есть добро. Ибо судить лучше, чем пассивно воспринимать. В суждении λόγος или νοῦς, удовольствие же есть пассивное восприятие. И как может λόγος, отрекшись от себя самого, признать что-либо другое в противоположном ему роде за лучшее, чем он сам?»¹

Так говорит Плотин, когда он знает, что его слушают, и когда он говорит, чтоб его слышали. Для него разум (который он тут называет и λόγος'ом и νοῦς'ом: λόγος γὰρ ἢ νοῦς² есть единственный и последний источник суждения, верховный судья, решения которого навеки нерушимы. Он судит не только других, но и самого себя, и никогда, как уверяет Плотин, и ни за что не отречется от самого себя, чтоб уступить место чему-нибудь другому, на него непохожему.

III

И νοῦς, и λόγος, конечно, не самим Плотином выдуманы³. Плотин принял их как готовое наследие, доставшееся ему от его великих предшественников. Правда, он иной раз придает этим понятиям своеобразное значение. У него νοῦς значит не то, что у Аристотеля и у Платона, или, лучше сказать, не совсем то, и он пытается превратить свой νοῦς в живое метафизическое существо или, как выражаются обыкновенно, для него νοῦς является ипостасью. По учению Плотина в начале всего — Единое. За Единым — νοῦς, как его непосредственное порождение, а за νοῦς'ом — мировая душа, также в свой черед являющаяся порождением νοῦς'а. О λόγος'е же он говорит: «Логос не есть чистый разум и не вид чистой мировой души, хотя он от нее зависит. Он как бы излучение (ἐκλαμψις) обоих, разума и души»⁴. Нам нет надобности останавливаться на метафизических генеалогиях, придуманных Плотином, хотя в истории европейской мысли три плотиновские ипостаси имели очень большое значение. Я думаю, что (для

¹ I. 4, 2, 23-28 «Αἴτιον δὴ τοῦ εὖ ζῆν ἡδονὴ ἔσται, ἀλλὰ τὸ κρίνειν δυνάμενον διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ ἀγαθόν. Καὶ τὸ μὲν κρίνειν βέλτιον ἢ κατὰ πάθος· λόγος γὰρ ἢ νοῦς· ἡδονὴ δὲ πάθος (...) Πῶς ἂν οὖν ὁ λόγος αὐτὸν ἀφείξῃ ἄλλο θήσεται ἐν τῷ ἐναντίῳ γένει κείμενον κρεῖττον εἶναι ἑαυτοῦ».

² разум или дух

³ В оригинале зачеркнуто Шестовым: «Что же такое этот λόγος и тот νοῦς и как нужно понимать присвоенное им право судить всех и вся. И как он судит? Прежде всего, надо отметить, что νοῦς и λόγος, конечно, не сам Плотин выдумал».

⁴ III. 2, 16, 12-15 «Ἔστι τοίνυν οὗτος ὁ λόγος ... οὐκ ἄκρατος νοῦς ... οὐδὲ γὰρ ψυχῆς καθαρᾶς τὸ γένος, ἡρτημένος δὲ ἐκείνης καὶ ὄλον ἐκλαμψις ἐξ ἀμφοῖν νοῦ καὶ ψυχῆς...»

выяснения) мы ближе подойдем к плотиновской мысли, если вопреки его собственным, настойчивым и многочисленным утверждениям совершенно отождествим его λόγος с его νοῦς'ом. Он говорит: «νοῦς находится в состоянии сытости и никогда не опьяняется: он владеет тем, что у него есть, и ничего не получает от других. Логос же, порождение νοῦς'а, следующая ипостась, не от себя имеет, а от других»¹. В таком же роде он говорит и в III. 2. 2: «Логос вытекает из νοῦς'а, вытекает всегда, откуда νοῦς присутствует в живых существах»². Но, повторяю, для нас сейчас метафизические конструкции Плотина отходят на второй план, тем более, что и они для него далеко не имеют такого существенного значения, которое им пытались и пытаются придавать. Я думаю, что Плотин остался бы Плотиним, если бы он никогда ни об одной из своих ипостасей не обмолвился ни единым словом. Когда он говорит о νοῦς'е — его прежде всего интересует та неограниченная власть, которая этому νοῦς'у присуща: «ὁ νοῦς ... νομοθέτης πρῶτος, μᾶλλον δὲ νόμος αὐτὸς τοῦ εἶναι» — т.е. разум есть первый законодатель, он есть самый закон для бытия³. Это и только это привлекает внимание Плотина к νοῦς'у, и потому приведенное в одной из предыдущих цитат выражение Плотина «λόγος ἢ νοῦς»⁴ никак не может считаться случайной обмолвкой, тем более, что и четвертая книга первой Эннеады принадлежит к позднейшим, наиболее зрелым и, так сказать, отстоявшимся произведениям Плотина. И λόγος в свой черед интересует Плотина поскольку он ему рисуется как власть имеющий: «Ἄρχῃ οὖν λόγος καὶ πάντα λόγος...»⁵. Логос — душа диалектики, которая говорит о добре и зле, и всем, что от добра и зла, о вечном и преходящем, и притом дает не приблизительные мнения, а настоящие знания (ἐπιστήμη περὶ πάντων, οὐ δόξη.)⁶. На вопрос, откуда добывает диалектика свои принципы, Плотин отвечает, что νοῦς дает ей самоочевидные истины (ἐναργεῖς ἀρχάς)⁷, ибо она, прибавляет, ссылаясь на Платона, есть чистейшая из того, что нам дает ум и

¹ III. 5, 9, 18-21 «νοῦς δε ἑαυτὸν ἔχει ἐν κόρῳ καὶ οὐ μεθεῖε ἔχων. Οὐ γὰρ ἐπακτόν τι ἔχει. Ὁ δὲ λόγος νοῦ γέννημα καὶ ὑπόστασις μετὰ νοῦν καὶ οὐκέτι αὐτοῦ ὄν, ἀλλ' ἐν ἄλλῳ...»

² III. 2, 2, 17 «Τὸ γὰρ ἀπορρέον ἐκ νοῦ λόγος, καὶ αἰεὶ ἀπορρεῖ, ἕως ἂν ἡ παρῶν ἐν τοῖς οὐσί νοῦς.»

³ V. 9, 5, 29.

⁴ разум или дух

⁵ III. 2, 15, 13 «В начале — разум и все разум»

⁶ Полная цитата из Плотина I. 3, 4, 6-9 «Αὕτη καὶ περὶ ἀγαθοῦ διαλέγεται καὶ περὶ μὴ ἀγαθοῦ καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἀγαθὸν καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἐναντίον καὶ τί τὸ αἰδίου καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον, ἐπιστήμη δηλονότι περὶ πάντων, οὐ δόξη.»

⁷ I. 3, 5, 2 «Ἡ νοῦς δίδωσιν ἐναργεῖς ἀρχάς...»

мышление. Получается такое приблизительно взаимоотношение между νοῦς и λόγος'ом: νοῦς законодательствует, от него исходят повеления, λόγος судит, т.е. эти повеления осуществляет. Но и это взаимоотношение чисто формальное. На деле же можно сказать, что λόγος порождение νοῦς'а, единосущен ему и что точной разграничительной черты между законодательной и исполнительной властью у Плотина вы не найдете. Тот, кто законодательствует, тот и судит. Тот, кто судит, тот и законодательствует, и это, скажу еще раз, плотиновское выражение «λόγος ἢ νοῦς» отнюдь не есть обмолвка или случайная неточность. Это тем более несомненно, что вся греческая философия развивалась именно в таком направлении: для нее, говорила ли она о λόγος'е или о νοῦς'е — самое существенное было в утверждении, что вся полнота законодательной и судебной власти принадлежала разуму. В этом отношении нет различия между самыми противоположными школами. Тут Платон сходится и с Аристотелем, и со стоиками, и с эпикурейцами, скептиками и софистами. Усомниться в суверенных правах разума, презирать, отвергнуть, не признавать разум — кто из греков решился бы на это? Платон говорил, что величайшее несчастье стать ψευλόγος'ом¹. Но разве это стал бы отрицать кто-либо из философов? И разве сам Плотин не был учеником Платона и не выпитал вместе с молоком матери, что вне разума нет и не может быть спасения?

IV

Мне напомним приведенные мною слова Плотина, что νοῦς проявил нечестивое дерзновение, что νοῦς оказался отступником от Бога. Я не забыл, совсем не забыл о них, и о них еще будет речь впереди. Но пока сейчас об этом говорить еще рано. Сейчас нам нужно посмотреть на то, как законодательствует и как судит разум, будет ли он называться νοῦς или λόγος — и в чем те «самоочевидные истины», которые, по уверению Плотина, разум предоставляет в распоряжение мыслящего человека. Вслушаемся внимательнее в здесь приведенный отрывок из I. 4, 2². Тут λόγος, который приравнивается к νοῦς'у, говорит — правда по частному как будто поводу — о себе и своих державных правах. Нужно решить, в чем состоит хорошая жизнь (τὸ εὖ ζῆν) — вопрос, который неоступно стоял пред всеми философами древности и который ис-

¹ Разумоненавистник (Платон. «Федон», 89d).

² см. § II, конец.

без из новой философии после того, как Кант убедил и без того убежденных людей, что метафизика пустое занятие. Как ответить на этот вопрос, и кто на него ответит? И вот λόγος или νοῦς не допускающим возражения тоном заявляет, что ответить на этот вопрос может он, только он, и что он никому и ничему другому не позволит вмешиваться в это дело. Это заявление его, очевидно, и в древние времена, как и в наше время производило неотразимое впечатление и считалось вполне достаточным. Да и как, спрашивается, возражать ему? Кого поставить на его место? Некого — стало быть, его дело выиграно: решать и безапелляционно судить будет он. А раз так, то, само собой разумеется, что он объявит правым то, что от него, и неправым — то, что не от него, или, как Плотин выражается, не может же неразумное быть лучше разумного. Стало быть, не может «удовольствие» быть причиной «хорошей жизни» — а только «суждение», что «удовольствие» есть добро¹.

На первый взгляд — чего, кажется, лучше: нашелся хозяин, знающий, что нужно — можно быть спокойным — порядок будет, порядок твердый, прочный, вечный, у него не мнения, колеблющиеся и меняющиеся, у него твердая наука, которую его именем создал божественный Платон, наука, которая рассуждает об истине и о том, что есть добро и не есть добро (I. 3, 4)². Она от рода переходит к виду, от видов к отдельным предметам и потом — наоборот — от отдельных предметов восходит через виды к родам, и везде налаживает τάξις, κόσμος, συμμετρία³. И в самом деле, в данном примере разум оперирует все с родовыми понятиями: «хорошая жизнь», «удовольствие», πάσχειν, κρίνειν⁴. И все виды, все частные случаи предполагаются включенными в роды и обреченными заранее разделить судьбу рода. Если мы скажем — хорошая жизнь — в удовольствии, стало быть, там, где удовольствия нет, не будет хорошей жизни, и наоборот, где будет хорошая жизнь, там будет удовольствие. Потом — «удовольствие», все виды удовольствия, все частные случаи удовольствия равны. Все равно, испытываешь ли ты удовольствие оттого, что тебе будут расчесывать образовавшееся на теле чесоточное пятно (пример Платона)⁵, или ты испытываешь удовольствие, слушая пение

¹ V. 9, 1, 1-5 «...οἱ μὲν ἐνταυθοῖ καταμείναντες διέξησαν ταῦτα πρῶτα καὶ ἔσχατα νομίσαντες, καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς λυπηρὸν τε καὶ ἡδὺ τὸ μὲν κακόν, τὸ δὲ ἀγαθὸν ὑπολαβόντες...»

² I. 4, 5, 6 «Αὐτὴ καὶ περὶ ἀγαθοῦ διαλέγεται καὶ περὶ μὴ ἀγαθοῦ...»

³ порядок, строй, симметрия. Больше об этом в I. 2, 1.

⁴ страдать, судить.

⁵ Платон. «Горгий», 494с и «Филеб», 46в.

птиц, или даже оттого, что твоя родина освободилась от чужеземного ига. Так решил, решает и будет решать λόγος и νοῦς, ибо власть судить дана ему: и добром для человека будет только то, что разум добром признает, ибо, как мы помним, добро не в восприятии, а в способности судить, что восприятия хороши. Вы видите, о чем тут идет речь: разум присваивает себе не только власть судить, но изначальную власть творить. Его приговоры и постановления имеют значение творческого fiat. Он не узнает добро, но от его прихоти то, что не было добром, становится добром, то, что бытия не имело, приобретает бытие, приобретает жизнь. Так учит Плотин, так учила вся древняя философия — не только Сократ и его божественный ученик Платон, но и все без исключения школы эллинской мудрости. Даже стоицизм в этом отношении несколько не отличается от других философских направлений. И стоики в своем разуме ценили и чттили не данное им судьбой или промыслом орудие, которое помогало им разобраться в сложности окружающих их миров, а приобретенную ими силой или захватом возможность творить жизнь. Вот как об этом рассказывает скромный и благочестивый Эпиктет: «Есть у меня жезл Меркурия, к чему я ни прикоснусь, все превратится в золото»¹. Для него, как для Плотина, для Платона и их общего учителя и вдохновителя Сократа, право судить сливалось с правом законодательствовать, а законодательствовать для них значило творить при посредстве принадлежавшего им волшебного жезла все, что нужно будет. Стоики, со свойственной им почти детской откровенностью, не стеснялись рассказывать о том, как добыли они свой волшебный жезл. Все, что не в нашей власти, говорили они, нас не должно интересовать: важно и интересно только то, что нам может покориться. Все остальное относится к области безразличного, ἀδιάφορα, то есть как бы и не существующего, это — основная тема стоиков, о которой они неустанно говорят по всякому поводу. Сократ, духовный отец стоиков, об этом молчал. Не молчали об этом Платон и Плотин. Но что было на языке у стоиков, то было на уме, лучше сказать, в скрытых глубинах душ — у величайших и наиболее замечательных представителей греческой мысли. Что значат вложенные в уста Сократа Платоном или сказанные самим Сократом пред судьями слова: «Не дано дурному человеку сделать зло человеку хорошему»?² Или в

¹ Эпиктет III, 20, 12 «Τούτ' ἐστὶ τὸ τοῦ Ἑρμοῦ ῥαβδίον «Οὐ θέλεις», φησὶν «ἄφαι καὶ χρυσοῦν ἔσται.»

² Платон, «Апол.» 30d 1 «οὐ γὰρ οἶμαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνωνι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι»

еще более общей форме у Плотина: «...οὐδὲν κακὸν τῷ ἀγαθῷ οὐδ' αὖ τῷ φαύλῳ ἀγαθὸν ὀρθῶς μὲν λέγεται»². Повторяю — ни Сократ с Платоном, ни Плотин не обнажали корней своей мысли. Они утверждали, что хорошему человеку нечего бояться, что с ним не может случиться ничего дурного, и наоборот. И это утверждение определяло все направление их философского мышления. Но они никогда не выставляли на вид с такой вызывающей или, если хотите, наивной откровенностью мотивов своего утверждения. И были правы, конечно. Ибо в последнем счете, и под всеми блестящими рассуждениями греческих философов лежит одно неискоренимое, внушенное им разумом, убеждение — человеческим силам положен предел, его же не перейдешь, и стремиться к невозможному — безумие. Мудрец — человек, который это твердо знает и понимает, потому что спастись от бедствий мира можно только в том случае, если и бедствия, и мир признать за нечто, для нас, людей, никакого значения не имеющее. Из этого убеждения вытекло учение стоиков, им определялось жизненное дело Сократа, отсюда же и идеализм Платона, как он был воспринят греческим миром и передан нам, в этом смысл и приведенных выше положений Плотина: «οὐδαμοῦ δὲ κρείττον ἄλογον λόγου» и «...τὸ μὲν κρῖνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος»². Впереди всего ставится разум и, если разуму дано судить, но не дано творить, то приходится признать, что сущность бытия не в нем самом, а в нашем о нем суждении. Или, чтоб выразить эту мысль современным школьным языком — задача философии поставить на место онтологии — этику, на место мира, созданного Богом, — мир, созданный человеком. Ибо в мире, созданном Богом — властвует Бог, человеку же приходится покоряться. Чтоб не покоряться, чтоб быть свободным, нужно жить в своем собственном мире. И еще: так как право судить есть неотъемлемое право человека, так как человек может не только мир, но и Творца привлечь к своему суду, то в нашей власти признать, что и созданный Богом мир, и сам Бог — все это призрачно: действителен же только созданный человеком мир нравственный, в котором дурное случается только с дурным, а хорошему человеку уготовлено только хорошее.

¹ III. 2, 6, 2-3 правильно говорят, что ничего дурного не может приключиться с хорошим и ничего хорошего с дурным человеком.

² I. 4, 2, 26 «ни в коем случае неразумное [не] сильнее разумного» и I. 4, 2, 25 «судить лучше, чем пассивно воспринимать».

Если я так долго останавливаюсь на том, как судит разум у Плотина и какую роль он играет в его философии, это не потому, что в учении о разуме проявляется творческая оригинальность Плотина. Наоборот — здесь как раз Плотин не проявляет оригинальности и лишь повторяет то, что он усвоил впоследствии от своих предшественников и что были обречены говорить обыкновенно все, причастившиеся эллинской мудрости: «τὸ δ' ὑπὲρ νοῦν ἦδη ἔστιν ἕξω νοῦ λεσεῖν»¹: «превзойти разум — значит пасть ниже его». Это вам сказал бы Сократ, Платон, Аристотель и кто хотите из стоиков. Плотин вырос в атмосфере безусловного преклонения пред разумом и разумным. Постановления и решения разума кажутся ему, как они казались каждому образованному эллину, до того окончательными и бесспорными, что самый вопрос о том, откуда взял разум свои права, для него даже и не существует. Задачу философа он видит лишь в беспрекословном исполнении велений державного владыки. Все равно — в какой области: морали, права, эстетики, метафизики или чего хотите, последнее, решающее слово за разумом. Нужно установить три Ипостаси — кто их устанавливает? Разум. Нужно «объяснить», оправдать — столь ненавистное Плотину и, по-видимому, ничем не оправдываемое «множество» — кто возьмет на себя эту задачу? Опять разум. Послушайте его: «Т.к. добро не могло остаться одно, стало быть, необходимо было, чтоб оно вышло. Или, если кому больше нравится, чтоб, всегда спускаясь и отступая, оно дошло до последнего, за которым уже ничто родиться не может, т.е. до самого зла. По необходимости, стало быть, есть нечто после первого, и значит, и последнее. Последнее и есть материя, у которой нет ничего от первого. И в этом необходимость зла»². То же он повторяет и в IV. 8, 6: «Так как Единое не должно было оставаться одним... то начавшееся из него исхождение должно было продолжаться вечно, пока не дошло до пределов возможного»³. И еще I. 8, 2: «Если бы Единое остановилось здесь — никогда бы не было зла, было бы только добро первой, второй, третьей сте-

¹ II. 9, 9, 51-52.

² I. 8, 7, 17-23 «Ἐπεὶ γὰρ οὐ μόνον τὸ ἀγαθὸν ἀνάγκη τῇ παρ' αὐτό, ἢ, εἰ οὕτω τις ἐθέλοι λέγειν, τῇ αἰεὶ ὑποβάσει καὶ ἀποστάσει, τὸ ἔσχατον, καὶ μεθ' ὃ οὐκ ἦν ἐτι γενέσθαι ὀτιοῦν, τοῦτο εἶναι τὸ κακόν. Ἐξ ἀνάγκης δὲ εἶναι τὸ μετὰ τὸ πρῶτον, ὥστε καὶ τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ ἡ ὅλη μὴδὲν ἐτι ἔχουσα αὐτοῦ. Καὶ αὕτη ἡ ἀνάγκη τοῦ κακοῦ.»

³ IV. 8, 6, 1-13 «Ἐπεὶ οὖν δεῖ μὴ ἓν μόνον εἶναι... χωρεῖν δὲ αἰεὶ, ἕως εἰς ἔσχατον μέχρη τοῦ δυνατοῦ τὰ πάντα ἡκῆ...»

пени»¹. Так Плотин говорит каждый раз, когда ему приходится объяснять происхождение множественного от Единого и происхождение зла от добра. Каждый раз разум постановляет: так должно быть, так необходимо. И Плотин беспрекословно повинует. Меж тем эти «должно быть» и эти «необходимо» даже для нас не кажутся столь непреодолимыми. Единое могло быть и не спускаться и не отступать. И даже, наверное, если ему уже вздумалось спускаться и отступать, то не было никакой «необходимости» доходить в отступлении и падении до крайних пределов возможного, т.е. до той черты, за которой начинается зло. Или оно не могло остановиться, раз сдвинувшись с места — повинуюсь закону инерции? Но тогда возникает новый, еще более опасный вопрос: как можно необходимость ставить над Единым, которое, по уверению Плотина, само стоит над всем? Как может частный закон — закон инерции — подчинить себе это всемогущее Единое? Плотин обычно об этом не распространяется, молчит, об этом не спрашивает. Вся греческая философия об этом молчала — ибо идея необходимости для нее нераздельно была связана с идеей власти разума. Разум хотел принудительно господствовать — он сам хотел быть воплощением необходимости. И каждый разумный человек становился разумным лишь тогда и постольку, поскольку он был способен и соглашался вкрапляться в эту необходимость, или становиться звеном единой бесконечной цепи. Жизнь делалась разумной и начинала казаться разумной, когда удавалось ее так увидеть и так изобразить, что все бесконечные элементы, из которых она слагалась, оказывались как бы органически, т.е. в силу естественной и непреодолимой необходимости связанными меж собой. Словами «естественная необходимость» испещрены страницы «Эннеад», как впрочем и страницы сочинений других греческих философов. «Естественная необходимость» — предел, за которым всякая пытливость казалась эллинскому уму неуместной. Аристотель это формулировал в словах: «Не знать, когда можно и когда нельзя спрашивать доказательств, есть признак невоспитанности»². И в самом деле, если начать спрашивать — конца вопросам не будет, получится тот регресс в бесконечность, который страшней всего для ищущего повинования разума. Плотин, поскольку он «философствовал», т.е. поскольку он, как и его предшественники, хотел диа-

¹ I. 8, 2, 27-28 «...καὶ εἰ ἐν ταῦθα ἔσται, κακὸν οὐδὲν ἂν ἦν, ἀλλὰ πρῶτα καὶ δεύτερα τὰ γαθὰ καὶ τρίτα».

² Аристотель, «Метафизика», 1006 а6 «ἔστι γὰρ ἀπαιδευσία τὸ μὴ γινώσκειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν καὶ τίνων οὐ δεῖ».

лектическим путем из данных ему разумом очевидных принципов охватить мыслью все мироздание, весь мир, не мог обойтись без ἀνάγκη и в тех случаях, когда, как в примерах только что приведенных, он не находил действительной необходимости — ее, как мы видели, не было — он закрывался мнимой необходимостью: только бы не признаваться, что есть какая бы то ни было реальность, с которой бы не могла справиться диалектика. И его читатели, впитавшие в себя и убеждение Аристотеля, что нужно знать, когда можно и когда нельзя спрашивать, и его страх перед регрессом в бесконечность, были снисходительны и принимали мнимую необходимость за настоящую, и повторяли за Плотиним, что Единое, которое никому ничего не должно и ни от кого ни в чем не зависит — все-таки должно было спуститься и, когда уже начало спускаться, не могло преодолеть инерции движения и остановиться, пока не докатилось до пределов возможного бытия — и даже перекаатилось через пределы и вошло в царство зла и небытия.

Можно было бы привести сколько угодно примеров такого рода рассуждений Плотина. Их так много, что все почти читавшие и читающие Плотина, совершенно загнипотизированы ими и искренно убеждены в том, что его философские достижения, как и философские достижения наших современников, особенно ценны именно потому и тем, что в них совсем, как того требуют наши представления о философии, царствует строгая необходимость мышления, исключаяющую всякую возможность каприза и произвола. Сплошь и рядом ставят ему в заслугу, что у него «первый принцип распространяется в силу естественного развития» (Guyot, 248)¹, и находят и выявляют найденный у него «механизм единения с Богом» и т.д. И ведь безусловно есть более чем достаточно данных, чтоб так изображать Плотина и таким образом связывать его мышление с нашим, современным мышлением, которое, как известно, признает философию только тогда философией, если она самым методом своих изысканий исключает всякую возможность своеволия или каприза. Оно и понятно: духовное наследие греков, которое мы принуждены были принять без всяких оговорок — не всегда ведь, далеко не всегда наследникам дано завидное право *beneficium inventarii*² — было и наследием Плотина. Когда Лейбниц в новое время говорит «rien ne se fait d'un

¹ Guyot H., «L'infinité Divine depuis Philon le juif jusqu'à Plotin». Paris, Felix Alcan, 1906, p.248. «Ce Principe premier de Plotin se répand... par une expansion naturelle».

² юридический термин: право наследника отвечать за долги лишь в пределах наследства.

coup et c'est une de mes grandes maximes et des plus vérifiées que la nature ne fait jamais de sauts. J'appellerais cela la loi de continuité». (Nouv. Ess., 17)¹, в этих словах с таким же правом можете усмотреть «великий и наиболее проверенный принцип» новой философии, как и в одном из πρώτων ἀρχῶν² философии древней. Древность чтит и преклонялась пред разумом именно потому, что видела в нем защитника от неожиданностей, что скачки и для нее, как и для нас знаменовали собой проявление того дерзновенного произвола, в борьбе с каким она видела свой смысл и свое назначение. Ни природа, ни дух — это вам скажет и Плотин и все древние философы, не исключая даже скептиков, — не допускают внезапностей, ибо всякая внезапность есть по существу своему что-то противоестественное, так же неприемлемое для живых существ, как и для неорганического мира. «Rien ne saurait naître tout d'un coup — la pensée non plus que le mouvement»³ — это опять, повторяю, вовсе не Лейбниц выдумал, хотя он это по-своему сформулировал.

Из этого убеждения родилась древняя философия, без него не было бы не только Сократа, Платона и Аристотеля, но Анаксагора, Анаксимандра и даже Фалеса. Так что его можно было бы с таким же основанием квалифицировать как βεβαιούτατη τῶν ἀρχῶν⁴, с каким Аристотель говорил это о законе противоречия.

Плотин был весь во власти этого «великого принципа» и для него прерывистое, идущее скачками стремление казалось так же невозможным и нелепым, как и для Лейбница, и для современного ума. Он тоже считал, что и движение, т.е. природа и мысль, т.е. живой человек, по неисповедимым судьбам равно подчинены закону непрерывности. В одном отличался Плотин от своих предшественников эллинов и от своих преемников, наших современников: хотя он принимал и прославлял этот закон, он всем сердцем и всей душой ненавидел его и нес его на себе как тягчайшее бремя. Мы уже знаем, что он в минуты «просветлений», необычного подъема назвал его нечестивым отступником. Лейбниц этого никогда не испытывал, ученик Плотина Порфирий никогда бы не поверил, что его учитель, в котором он видел законного преемника блаженных и древних мудрых людей, мог так

¹ Лейбниц. «Новые опыты». Введение: «Ничто не происходит внезапно. Это один из моих великих и наиболее проверенных принципов, — что природа никогда не совершает скачков. Я назвал бы это законом непрерывности».

² первых начал

³ Лейбниц. «Новые опыты», II. 1, 18: «Ничто не может родиться внезапно — ни мысль, ни движение».

⁴ самый прочный из принципов.

тяготиться бременем мудрости. Вероятно, Платон, Сократ поняли бы его. Но ведь не они, а Аристотель был духовным отцом мыслящего человечества. Мудрость Платона и Сократа процеживалась сквозь незыблемые критерии аристотелевского наукословия, и только то становилось общим достоянием людей, что критерии пропускали.

VI

Греческую философию и греческих философов часто упрекают в том, что они отдавали предпочтение практическим вопросам перед теоретическими и даже не раз теоретические задания обуславливали и подчиняли целям практическим. Особенно часто это говорят о Сократе. Нам кажется, что в этом отношении мы значительно опередили древних и что наша мысль совершенно свободна и независима от каких бы то ни было практических задач. Может быть это покажется историкам, да и не только историкам, очень обидным, но приходится сказать, что в таком утверждении кроется двойная неправда. Неправда, что мы опередили греков, неправда, что мы создали чистую теорию и в своих разысканиях истины свободны от практических задач, как неправда и то, что древние не искали теоретической, объективной истины. В предыдущей главе мне пришлось подробно остановиться на том, какое исключительное значение греки придавали тому, что они называли *φυσικὰ ἀνάγκαι*¹. Совсем как и мы в настоящее время, они ее усматривали, т.е. предполагали даже там, где ее и не видели. Правда, есть огромная разница между нами и греками: греки пытались еще бороться там, где мы складываем руки, пройти через ту черту, которую мы считаем предельной для нашего мышления. Но разве это значит, что мы их опередили? Не правильнее было бы и нам вспоминать о древних и блаженных мужах, которые были лучше нас и жили ближе к Богу? Не всегда и не во всем позже пришедшие бывают правы...

То, что мы называем у греков практическими устремлениями, меньше всего заслуживает такого определения. И, конечно, представлять себе Сократа, как это предлагал Ксенофонт или в наше время Милль, моралистом и учителем добродетели могут только те люди, которые хотят, которым нужно быть слепыми. «Злой человек не может сделать ничего дурного хорошему»² —

¹ естественная необходимость

² Платон, «Апол.», 30d 1 «οὐ γὰρ οἶμαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χειρὸς βλάπτεσθαι».

разве так говорит моралист? Или разве моралист вправе утверждать, что добру можно «научиться»? Или — возьмем уже не Сократа, а одностороннего сократика Эпиктета, — разве его притязания на волшебный жезл, при помощи которого он все что угодно может превратить в добро, есть притязания положительного мыслителя? Это ведь величайшее из возможных дерзновений — положительные же мыслители именно потому и положительны, что они не хотят и не смеют дерзать. Конечно, и древние не все и не всегда следовали примеру Сократа и Эпиктета. Наследство Сократа ведь поделили меж собой Платон и Аристотель. Но даже Аристотель, μέτριος εἰς ὑπερβολήν¹, всячески старавшийся предостеречь человеческую мысль от чрезмерных и потому непосильных заданий, не умел оберечь греческую философскую мысль от опасных соблазнов. Он предостерегал — но его не слушали, не хотели слушать, — а когда не хотят слушать, самые лучшие доказательства перестают быть убедительными. [Неразб.] в том, что их искания и достижения носили практический характер. Это один из поучительнейших и потому любопытнейших случаев нашей неспособности понимания отдаленного прошлого. Может быть потому и получается такое странное явление: чем больше мы изучаем греков, тем меньше мы у них учимся. Почти все истории философии написаны так, как если бы историк поставил себе задачей не самому научиться, а научить тому, что он знает людей, которые уже два тысячелетия тому назад покинули нашу землю. Греков интересовала не теория, а практика! Но разве утверждения Сократа или Платона, что злой не может сделать ничего худого хорошему — есть утверждение практическое? Разве Эпиктет, который говорит о своем волшебном жезле — думает о том, чтоб помочь людям устроиться на белом свете? Или Плотин, повторяющий за Сократом: правильно утверждают те, кто говорит, что с добрым не может случиться ничего дурного, а со злым — ничего хорошего, хлопочет о том, чтоб удобнее и приятнее на свете жилось? Ксенофонт так истолковывал Сократа, Сенека и Цицерон так понимали стоиков, Порфирий находил это у Плотина. Порфирий хвалился тем, что важный сенатор, став учеником Плотина, излечился от подагры, и еще многое такое ставили в заслугу Плотину. Но ведь подагриков отлично лечили и сейчас лечат опытные врачи — люди, которые обычно не то что не интересуются философией, а презирают ее, Плотина готовы считать больным и дегенератом. Ни Сократ, ни Платон, ни стоики, ни еще меньше Плотин никогда не ставили себе задачи практического характера в

¹ чрезмерно умеренный

том смысле, в каком принято понимать эти слова. Волшебный жезл Меркурия даже Эпиктету — я уже не говорю о Сократе, Платоне и Плотине — нужен был вовсе не затем, чтоб облегчить людям жизнь. Сам Сократ, или, если считать, что в своих диалогах Платон говорит устами Сократа, сам Платон делал, конечно, заранее обдуманной μετάβασις εἰς ἄλλο φέρος¹, когда он диалектическим путем выводил понятие о своем «добре» из представлений о добре, которые он находил у корабельных мастеров, плотников, поваров, врачей и т.д. Добро поваров и плотников ничего общего с добром философов не имеет. Выражаясь словами Плотина — первое добро есть ἡδονή² или, по крайней мере, выросло из ἡδονή, и, стало быть, по самой природе своей относится к тому, что κατὰ πάθος³. Второе добро — имеет своим источником способность суждения, κρίνειν, которая в свой черед вытекает из λόγος'а или νοῦς'а. Плотин, мы помним, говорит οὐδαμοῦ δὲ κρείττον ἄλογον λόγου⁴ — и это значит у Плотина, как он значил во всей греческой философии, что истинное добро toto coelo⁵ разнится от того, что люди (и повара, и плотники, и врачи, и государственные мужи) считают добром. Так постановляет разум, который своего права решать, что лучше и что хуже, никогда никому ни за что не уступит. Повторяю, это основная мысль древней философии, которую новая и даже современная философия целиком впитала в себя. Чистый разум и автономная мораль — порождение греческой мысли. Причем автономия морали вовсе не обозначает, что мораль есть совокупность законов или норм. Существенно здесь не слово νόμος⁶ — а αὐτός⁷ — существенно, что моральная жизнь, жизнь, вытекающая из νοῦς καθαρὸς⁸, есть единственно истинная, единственно реальная жизнь αὐτόβιος, выражаясь языком Платона⁹, а всякая другая жизнь есть ἡδονή, т.е. нечто призрачное, недействительное, несуществующее. Так и только так понимал Сократ то добро, которое он принес людям, отыскав его будто бы у корабельных мастеров и политиков, так

¹ переход к другому роду

² удовольствие

³ I. 4, 2, 25 «пассивное восприятие»

⁴ I. 4, 2, 26 «Ни в коем случае неразумное не сильнее разумного».

⁵ совсем

⁶ закон

⁷ сам

⁸ чистый разум

⁹ Этого слова мы не встречали у Платона. Вероятнее всего, Шестов имеет в виду не Платона, а Плотина, который добавляет слово αὐτός, чтобы выразить суть чего-либо: например, — αὐτοψυχή — самая душа (V. 9, 13, 3); αὐτοέν — самое единое (V. 3, 12, 52)...

понимал и Платон, так понимали все греческие школы. У греческих философов то, что теперь ошибочно квалифицируют как их практическое устремление, с «практикой» ничего общего не имело. С практической точки зрения нельзя было придумать ничего бессмысленнее, чем приведенное выше изречение Эпиктета или учение об идеях Платона. Так же нелепа и ни для кого не нужна была проповедь καθαρσις¹ у Плотина. И разве греческие философы этого не знали? Даже стоики превосходно понимали, что их учение людям ни для чего пригодиться не может, и открыто говорили об этом. Нисколько не стесняясь, они заявляли, что за все время существования мира было всего два-три истинных мудреца, т.е. человека, которые могли усвоить себе и провести в жизнь их учение, для них этого было достаточно — так мало были они обеспокоены практическими заданиями. А платоновское «Государство» — разве можно думать, что Платон серьезно считал его нужным для людей или что он о государстве думал! Перед ним стояли его идеи, только идеи вдохновляли его — а до человеческого устройства ему не было никакого дела. Короче говоря, греческая философия через свое добро хотела прорваться из нашего мира в мир метафизический. И если диалектика считалась божественным орудием философа, то вовсе не потому, что он и в самом деле, поднимаясь от отдельных вещей к видам и родам и потом спускаясь от родов через виды к отдельным вещам, находил то, что принято называть объяснением мироздания. Он вовсе и не искал объяснения — объяснения ищут положительные мыслители, а грекам нужно было не понять уже известное, а прорваться к новому, доселе еще никем не виданному и не испытанному.

И вот, прорываясь в этот метафизический мир, греческая философия и создала тот идеал чистого разума (νοῦς καθαρός), о котором Плотин нам так твердо и уверенно говорит, что он никогда не отречется от себя и никогда не признает за лучшее что-либо, что по своей сущности было бы иным, чем он сам — не признает и тоже людям не позволит признать. И наделила этот чистый разум великой прерогативой — решать, что хорошо, что дурно, т.е. что есть действительно существующее, и что есть не существующее. Онтологическая проблема в руках великих мастеров древней Эллады превратилась в проблему этическую. Волшебный жезл Меркурия, о котором мечтал Эпиктет, был отыскан и сделал свое дело.

¹ очищение

Тысячу почти лет греки считали себя обладателями этого чудесного жезла. Из рода в род передавался он достойным избранникам и его волшебная сила как будто не только не ослабевала, но все росла. Плотин, который был очевидно тоже предназначен судьбой творить (философские) чудеса, получил этот жезл из рук простого мешочника, Аммония. Плотин странствовал от одного учителя к другому в напрасных поисках того, что ему было нужно, и ото всех уходил разочарованным, почти в отчаянии. Ни у кого жезла не было, и ему начинало казаться, что может быть завистливые и жестокие к людям боги унесли его с земли и скрыли далеко от смертных — где-нибудь на Олимпе или зарыли на дне морском. Встреча с Аммонием сразу положила конец его сомнениям: он почувствовал, что волшебный жезл еще у людей и что, вместе с тем, от Аммония он перейдет к нему, Плотину. Так оно и случилось. Аммоний передал жезл Плотину, взяв с него торжественный обет, что тайна этого жезла будет строго охраняться от непосвященных. Плотин принял жезл, но обета не исполнил. До пятидесяти лет он был верен своему слову — учил только избранных или людей, которых он считал достойными быть избранными, — но потом не выдержал, стал писать, т.е. стал говорить так, что всякий мог его услышать. Почему Плотин нарушил свой обет? Почему изменил своему учителю? Порфирий объясняет: до Плотина другие ученики Аммония стали записывать то, чему они от него научились — и хранить тайну дальше уже было бесполезно. Объяснение как будто приемлемое — но, как и все придуманные Порфирием объяснения плотиновских поступков и мыслей, слишком небрежно и торопливо сделанное: только бы оправдать учителя. Плотин начал писать вовсе не потому, что все равно и без него написали бы то же, что и он. И ведь, в самом деле, ни Ориген, ни кто другой, того, что рассказал Плотин, не рассказали. Даже собственные ученики Плотина, такие как сам Порфирий и Прокл, разве, повторяя учителя, они не говорили то же, что и он? Загляните в «Sententiae» Порфирия или в «Institutio theologica» Прокла: вы сразу в этом убедитесь. Очевидно, Плотин прервал свое молчание по другим мотивам, о которых можно догадываться, но о которых верного ничего не скажешь. Вернее всего, что он стал потому так громко говорить о тайне унаследованного им от предков жезла, что сам уже перестал верить в его волшебную силу. Такое ведь бывает! Оттого тоже — а вовсе не потому, как уверяет нас все тот же Порфирий, что у него были слабые глаза, Плотин никогда не перечитывал напи-

санного им; как перечитывать, когда чувствуешь, что написанное может быть убедительным для других — но для тебя самого убедительной силы не имеет! Порфирий не допускает такого предположения! Ему нужно было думать, что его учитель, как и он сам, глубоко верил во всемогущество разума и разумных доводов. И сейчас, в наше время, как я уже заметил раньше, в Плотине все хотят видеть философа, т.е. человека, умеющего найти для своих утверждений доказательства, т.е. обладающего принудительной, для всех обязательной истиной. Один Целлер¹ обмолвился загадочным словом: Плотин утратил абсолютное доверие к мышлению. Как это понимать: утратил доверие к мышлению? Разве над мышлением есть еще какой-то судья, какая-то власть, пред которой оно должно оправдаться? Если есть, то кто он, где он? И если допустимо, что с человеком, и не с каким-нибудь, а с таким великим мастером мышления, каким, по признанию и древних и новых, был Плотин, такое может случиться, что он потеряет доверие к своему мышлению — т.е. что он потребует от разума, о котором он сам признал, что от него и только от него все добро и что разум никогда не откажется от себя и никому не уступит своих прав — что он потребует от него отречения (а что такое потерять доверие к разуму, как не потребовать от него отречения?) — то что делать тогда философии? Может ли она существовать? Целлер этих вопросов не ставит. Он констатирует факт и не умеет или не хочет заметить, что такой факт колеблет все тысячелетиями воздвигавшиеся устои античной философии. Не только — античной философии. И от нашей, и от современной философии следа не останется, если допустить, что возможен констатируемый Целлером факт, что было хоть раз за все время человеческой истории, что человек величайшего ума теряет доверие к мышлению. До сих пор ведь так было, что разум, только разум решал, кому можно, кому нельзя верить². Если же разум вопреки тому, что за него и от его имени нам все, и сам Плотин, так торжественно обещали, добровольно отрекся от себя или был силой принужден к отречению, как это устанавливает Целлер, то как быть теперь, куда идти людям, где искать истины, кому повериться? Значение установленного Целлером факта — неизмеримо. Беглое, мимоходом оброненное слово Целлера возбуждает величайшую тревогу. Плотин впитал в себя все, что создала тысячелетняя гигантская работа эллинского духа, он именно впитал — т.е. не механически воспринял, а претворил в своей душе все достижения

¹ Zeller, «Die Philosophie der Griechen».

² На полях добавлено: cui est credendum.

величайших мыслителей мира: ведь ни одна эпоха, ни в одной стране известного нам мира не рождала столько вдохновенных титанов мысли, сколько родила на своей маленькой территории великая Эллада. Плотин был последним в хронологическом порядке — но по силе ума и творческого гения он не уступал ни одному из своих необыкновенных предшественников. Но все до него возводили храм разума, и он сам, как видно из оставшихся после него сочинений, начал с того же и кончил тем, что взорвал тысячелетием возведенное здание — и насильно принудил разум покинуть занятый им, казалось, столь прочно, *in saecula saeculorum*, престол. В этом тайна и загадка философии Плотина. В этом тайна и философии истории. Чтоб хоть сколько-нибудь понять ее — нужно возможно внимательнее присмотреться к тому, что делал свергнутый с престола разум, пока он обладал державными правами. Нужно вслушаться, как философствовали греки или, лучше сказать, как философствовал сам Плотин, когда к нему, по наследству от Аммония Сакка, перешел тот волшебный жезл, при посредстве которого древние мудрецы творили свои естественные чудеса.

VIII

Я уже сказал, что задача, поставленная себе греческой философией, состояла в том, чтоб поставить на место онтологии — этику. Этот завет принял и Плотин от Аммония. Плотин был непоколебимо убежден, как Сократ и как стоики, что истинная мудрость есть воля к власти, к всемогуществу. Вместе с тем, опять вслед за великими философами древности, он был не менее твердо уверен, что созданный не нами мир никогда нам не подчинится. В мире все начинается и все кончается, мы сами тоже имеем начало и, стало быть, нас самих ждет конец, т.е. гибель. Как может существо брэнное, т.е. смертное по своей природе, осуществить гордую мечту о всемогуществе? И не только сам человек, все, что в мире есть, подчинено извечному, Бог знает когда и откуда пришедшему закону тления. Все рождается, т.е. появляется на свет, потом меняется и под конец гибнет. Рождение и гибель — постоянная тема греческой философии. И Гераклит, и Элеаты, и все за ними размышлявшие над проблемами человеческого и мирового бытия, никогда об этом не забывают, о чем бы им говорить ни приходилось. Как освободиться человеческому духу от тяготеющего над ним проклятия? Как сделать, чтоб остановилась река времени, чтоб перемена не приводила к гибели, чтоб близкие лю-

ди и все, что человек в жизни ценит, приходило и уходило не тогда, когда вздумается бездушному и безвольному «закону», а когда этого хочет чувствующая, радующаяся и страждущая человеческая душа? Как сделать это? Ответ мог быть, ответ был — и в древние времена, как и в наше время — только один: этого сделать нельзя. Платон не мог охранить своего дорогого учителя не только от суда времени, но даже от вражды собственных соотечественников. Выхода, в обычном смысле этого слова, не было: это было очевидно для всякого, это была сама очевидность. Не дано человеку и реку погнать вспять, как бороться ему со всемогущим, всепоглощающим потоком времени? Законы бытия неизменны и ненарушимы — это первое решение разума, с ними бороться нельзя.

Стало быть, оставался только один выход. Нужно отвергнуть мир γένεσις¹ и φθώρα¹, т.е. сперва признать, что он для нас безразличен (стоическое ἀδιάφορον²), а потом — отсюда сделать последний, еще более смелый вывод, что он и не имеет действительного существования, ибо действительно существующее не может быть для нас безразлично. Кто возьмет на себя осуществление этой грандиозной задачи? Ясно, что никто другой, как все тот же νοῦς ἢ λόγος, который, как мы помним, заранее был наделен всеми нужными для этого полномочиями. Он и законодатель, он и судья, и он никогда никому не позволит вмешиваться в свои постановления. И разум властно повелевает: человек должен подвергнуться κἀθάρσις³. Т.е. научиться искусству самоотречения, стремиться не к тому, что его радует, и бежать не от того, что ему противно, и вообще делать не то, что он хочет, а то, что ему разум прикажет. Величайшая опасность для человека, так учит разум, непосредственно отдаваться своим влечениям, самоотню хотеть. Отсюда пошло зло на земле. Плотин, повторяя своих предшественников, говорит: «Начало зла есть дерзновение (человека), пожелавшего родиться, быть иным, и его стремление быть для себя»³. Откуда это Плотин узнал? Или, лучше, откуда это узнали те, от которых получил Плотин свою мудрость — ибо в приведенных словах мы слышим не Плотина, а вековое предание. Еще Анаксимандр формулировал ту же мысль в единственном дошедшем до нас отрывке из его писаний. Почему высокое происхождение и память о божественном отце может мешать людям стремиться быть для себя? Сколько бы ни допрашивали гре-

¹ рождение и гибель

² стоическое безразличие

³ V. 1, 1, 3-5, см. §2, конец.

ков — на этот вопрос вы ответа не получите. Это одно из тех «самоочевидных начал» — ἐναργεῖς ἀρχαί, которыми, как нам рассказал Плотин, разум снабжает λόγος, или, если согласиться со мной, что для Плотина в данном случае λόγος и νοῦς являются разными названиями одного и того же, это есть первый закон, с которого λόγος начинает свою деятельность. И действительно, без этого никакой суд (κρίνειν) невозможен и ненужен. С другой стороны, теперь только нам выясняется, что такое κρίνειν, что такое κατὰ πάθος, о которых нам рассказывает Плотин, и тоже, почему «βέλτιον ἔστι κρίνειν ἢ κατὰ πάθος»¹. Κατὰ πάθος — человек стремится к самости, и тоже стремится к обладанию тем, что есть в мире. Κατὰ πάθος, глядя на мироздание, человек испытывает то, что испытывал и Творец, если верить писанию, к концу каждого из шести дней творения — когда из его груди вырывается радостное и гордое: добро зело. Но разум — для этого и облекся он сам в законодателя, для того он и присвоил себе право κρίνειν — резко обрывает человека: «твое добро зело, как и добро зело того Существа, о котором рассказывается, что Оно сотворило мир в шесть дней — есть не добро, а зло. Мир не был сотворен, а всегда существовал, а ты в своем дерзновении и поверивший, что Творец благословил тебя на самостоятельное существование, совершаешь преступление, поверивший, что ты рожден для добра, что ты любишь добро, находишься во тьме и лжи. И будешь находиться до тех пор во тьме и лжи, пока не узнаешь от меня, что не все "добро зело", а что есть добро и есть зло, что зло необходимо существует, и что начало всякого зла в дерзновенном самоутверждении человека». В этом смысле и значение «βέλτιον τὸ κρίνειν ἢ κατὰ πάθος» — и «οὐδαμοῦ κρείττον ἄλογον λόγου»². Логос и его κρίνειν поставляются на место живого человека и всей его жизни. В этом, повторяю, была главная и самая трудная задача древней философии — и в том, что она осуществила эту задачу, можно видеть ее провиденциальное назначение. Раз истинная действительность в добре, добро зависит от разума, а разум во власти человека — чем страшны и могут ли быть страшны то, что люди называют ужасами жизни? Только что мы говорили об рождающемся, изменяющемся, и — о гибели, грозящей всему, что изменяется. И это было так страшно все — и сейчас это страшно для людей, не приобщившихся к мудрости. Гибель они счи-

¹ I. 4, 2, 25 «τὸ μὲν κρίνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος.» (судить лучше, чем пассивно воспринимать).

² I. 4, 2, 25-26 судить лучше, чем пассивно воспринимать — и — ни в коем случае неразумное не сильнее разумного.

тают злом. Но как только власть и право решать, что есть добро, что есть зло, переходит к разуму, дело меняется. Человек уже не испытывает мучительно трудности жизни и не испытывает радости от малых и великих достижений — все это не нужно. Все это — чистое небытие, призраки, κατὰ πάθος. Истинное бытие вытекает из способности судить. Мудрец должен путем κάθαρσις'а превратить себя из существа страждущего в существо судящее. И тогда, только тогда он заслужит почетное имя σπουδαῖος¹, что равносильно тому, что из небытия он сам воззовет себя к бытию.

XI

Этика и связанная с этикой теодицея играла основную роль в греческой философии. Этика была путем к онтологии, теодицея — была конечным пунктом всего движения эллинской мысли. Чтоб прийти к бытию, нужно было путем κάθαρσις'а — очищения, вырваться из небытия, или призрачного бытия, в котором люди обычно видят сущность жизни. Сама диалектика — недаром Плотин ее определял как науку о добре и зле — не была размышлением в том смысле, в каком мы теперь понимаем это слово — а была неким внутренним деланием, при посредстве которого душа человеческая выпрастывалась как бы из небытия и возносились к бытию. Плотин говорит: «Не видать глазу солнца, если он не станет солнцевидным, ни душе красоты, если она не станет прекрасной. Пусть каждый, кто хочет созерцать Бога и Красоту, сам вперед станет божественным и прекрасным»². В этих словах мы склонны видеть «категорический императив» — и действительно, они очень похожи на моральное требование: Плотин не избежал даже повелительного наклонения. Но в них кроется нечто гораздо более существенное. Их можно и должно перевести: Я есмь путь, истина и жизнь. Чтоб найти истину — один путь, чтоб причаститься жизни — нужно обладать истиной. Конечно, истина Плотина не совсем похожа, даже совсем не похожа на то, что обыкновенно мы разумеем под истиной. Не похожа она и на ту истину, которую искал Аристотель. По Аристотелю мы высказываем истину, когда о том, что связано, говорим, что оно связано,

¹ добродетельный

² I. 6, 9, 30-34 «Οὐ γὰρ ἂν πάποτε εἶδεν ὀφθαλμὸς ἥλιον ἡλιοειδῆς μὴ γεγενημένος, οὐδὲ τὸ καλὸν ἂν ἴδοι ψυχὴ μὴ καλῆ γενομένη. Γενέσθω δὴ πρῶτον θεοειδῆς πᾶς καὶ καλὸς πᾶς, εἰ μέλλει θεάσασθαι θεὸν τε καὶ καλόν».

а о том, что развязано, говорим, что оно развязано. В определении Аристотеля, как и в представлении обыкновенного сознания, сущность истины в *adaequatio rei et intellectus*¹. Плотин понимает истину по-иному: он думает, что нашему нормальному сознанию не дано постичь истину и что прежде, чем к истине или за истиной идти, это сознание должно совершенно преобразиться. Потому для него *κάθαρσις* является необходимым условием восприятия истины, не столько методом морального усовершенствования, сколько методом искания истины. Истина, красота и Бог — обо всем этом тоже и Аристотель говорит. Эти императивы Плотина теснейшим образом связаны со всей традицией эллинизма. Что такое божественная и прекрасная душа? Плотин дает вам тот же ответ, что и стоики. А стоики повторяли Сократа. И даже сам Платон, которого мы привыкли противопоставлять стоикам — разве он не утверждал, что величайшее несчастье для человека стать ненавистником разума. Недаром он поклонялся Сократу! Божественная и прекрасная душа — это есть душа, для которой «οὐδαμὸς δὲ κρείττον ἄλογον λόγου» и «τὸ κρίνειν βέλτιον ἢ κατὰ πάθος»². Стоики говорили о том, что есть вещи, которые от нас зависят и которые от нас не зависят, и, конечно, весь смысл этого учения состоял в том, чтоб превратить обыкновенную человеческую душу в прекрасную и божественную, которая бы видела сущность бытия не в том, что нам дано, что мы воспринимаем, а только в том, что мы сами делаем, что от нас исходит. Правда, стоики не были так одарены, как Платон или Плотин, и потому их проповедь могла с большим правом истолковываться в чисто утилитарном смысле. Но все же утилитарное истолкование стоицизма есть извращение стоицизма. О стоиках, хотя и не в такой же мере, как о Платоне и Плотине, можно с уверенностью утверждать, что они в лице своих наиболее замечательных и особенно позднейших представителей, ставили себе чисто метафизические задачи и такие же, какие ставили себе более одаренные ученики Сократа. Стоики были философски и литературно менее одарены и не умели прикрывать великолепными фразами, соблазнительными образами и тонкой диалектикой своих истинных мотивов, через них нам иной раз бывает легче проникнуть к истокам греческой мысли. Прочтите любую страницу эпиктетовского Энхиридиона или его *διατριβαί*³. Как откровенно он признается, что,

¹ адекватность мышления и бытия

² I. 4, 2, 26 ни в коем случае неразумное не сильнее разумного.

I. 4, 2, 25 судить лучше, чем пассивно воспринимать.

³ *Εὐχρησίδιον* — Учебник; *Διατριβαί* — Беседы.

если ты хочешь быть в мире с людьми и богами, научись различать, что не в твоей власти, что в твоей власти. О первых забудь, ищи только вторых. О первых скажи «οὐδὲν πρὸς ἑμὲ» — меня они не касаются. Не думайте, что речь идет о пустяках каких-нибудь: речь идет о том, что люди обычно считают самым важным. Эпиктет без всякого колебания говорит, что не нужно бояться ни смерти, ни бедности, ни болезней. И когда он касается этой темы, он неисчерпаем, так же, как и Марк Аврелий. Оба они, и философ-раб, и философ-царь, постоянно, во всех своих размышлениях стремятся вырвать людей из того бытия, в которое они естественно попали после появления своего на свет, и приучить их жить в сфере, которую они сами создали. Средство все тот же λόγος, который, конечно, у стоиков в такой же мере законодательствует и судит, как и у Плотина. И стоик скажет вам, что неразумное никак не может быть лучше разумного и что судить лучше, чем воспринимать. Или, вернее, два эти положения являются в такой же степени необходимыми предпосылками стоицизма, как Платона и Плотина. Стоики даже обосновали это тем соображением, что человек есть разумное животное и, стало быть, он должен жить сообразно разуму, и их знаменитое δμόλογον μέντοι τῇ φύσει — сообразно с природой¹ — значило сообразно с разумом. На самом деле, стоическое τῇ φύσει имело совершенно противоположный смысл. Стоики хотели вырваться из естественных, из природных условий бытия — ибо эти условия, как они постоянно сами говорили, не во власти человека. И их λόγος, которому была дана власть судить, совсем как у Платона и Плотина, играл роль не руководителя, не скромного вожатого по лабиринту бытия, а освободителя от условий бытия, совсем так же, как впоследствии у гностиков, которые, возмущившись против Творца нашего мира, тоже пошли искать освободителя и нашли его в лице своего λόγος'а.

Таков смысл эллинского понимания λόγος'а и κρίνειν, как его усвоил Плотин. Разум говорит: мир создан кем-то помимо человека. И не так, как бы хотел человек. Стало быть, мир нужно преодолеть. Нужно поставить на место данного нам созданное нами. И λόγος, который мир осудил, он же создает и новый мир, весь целиком состоящий из суждений. Каждый раз, когда мудрецу приходится выбирать между тем, что дано, и тем, что придумал λόγος, всегда «лучшим» оказывается творение λόγος'а, ибо судьей оказывается тоже всегда λόγος. Он-то и требует, чтоб душа сделалась прежде божественной и прекрасной. Он и решает, что бо-

¹ Zeno, Stoic. I. 45; Cleanth, ib. I. 25; Chrysippe, ib. 3. 4

жественная и прекрасная душа, это есть душа, которая отреклась от данного и возлюбила только его дар, т.е. «суждение». И при том, он совсем забыл о своем происхождении, он забыл о том, что появился он на свет или родился, как любит говорить Плотин, из сознания бессилия: стоики открыли нам секрет логоса: когда люди почувствовали, что они не в силах обладать миром, они решили, что «судить» мир лучше, чем обладать им¹. И когда Плотину нужно говорить о том, что такое λόγος, — он делает вид, что о стоиках никогда ничего и не слышал. У него λόγος, как я уже указывал, и царь, и господин, и все что угодно: ὁ λόγος ταῦτα πάντα ποιεῖ ἀρχὼν καὶ οὕτω βούλεται. И, конечно, обязан прибавить, что λόγος творит и то, что называется злом, так как он не желает, чтоб все было хорошим². Как известно, и Платон «доказывал», что зло — необходимо. Ибо и Платон чувствовал свое бессилие перед «злом» и мог сохранить свое преклонение перед разумом только в том случае, если бы ему удалось убедить, что зло существует не вопреки разуму, а с его согласия и благословения. В наше время Гегель повторил то же: «was wirklich ist, ist vernünftig»³, что есть основное положение гегелевской философии — и разве мы можем представить себе философию, которая посмела бы открыто противопоставить себя действительности (философия хочет возможного и боится фантастического), которая не прикрывала бы человеческого бессилия восторженными гимнами разуму? Эллинская мысль безраздельно владеет нами. Она определила вперед на тысячелетия пределы возможного и воспитала нас в убеждении, что смысл и задача высшего человеческого существования в искусстве и готовности найти в этих пределах полное удовлетворение.

Х

Современные философы, после Лейбница, не решились говорить о теодицее. Но это не значит, что есть хоть один философ, который в той или другой форме, открыто или скрыто, не ставил бы проблему об оправдании мира и Творца. Ибо, если философы

¹ Эпиктет. «Беседы», II. 11. 1 «ἀρχὴ φιλοσοφίας συναίσθησις τῆς αὐτοῦ ἀσθενείας καὶ ἀδυνατίας περὶ τα ἀναγκαῖα» (Принцип философии — восприятие собственного бессилия и немогущности перед необходимостью).

² III. 2, 11, 2-5 «ὁ λόγος ταῦτα πάντα ποιεῖ ἀρχὼν καὶ οὕτω βούλεται καὶ τὰ λεγόμενα κακὰ αὐτὸς κατὰ λόγον ποιεῖ οὐ βουλόμενος πάντα ἀγαθὰ εἶναι» (Разум царствующий творит все, как он желает, и то, что называется злом, он сам по себе творит, не желая, чтобы все было хорошим).

³ Всё действительное — разумно.

вытеснят ее из сферы своих заданий, где она найдет себе место? Но неудачная попытка Лейбница научила философов осторожно-сти. Потому ли, что Лейбниц писал *ad usum delphini*¹, или потому, что его душа избегала, как он в этом сам признавался, слишком больших напряжений, — про него, как про Аристотеля, можно сказать, что он был *μέτριος εἰς ὑπερβολήν*² — но его теодицея недаром вызвала насмешки Вольтера и негодование Шопенгауэра. И странно! По своей конструкции она в сущности представляет из себя обстоятельное и подробное развитие мыслей, высказанных стоиками и Платином. Но Вольтер не позволил бы себе издеваться над Платином, а Шопенгауэр — возмущаться им. Эллинские теодицеи *toto coelo*³ отличаются от теодицеи Лейбница, хотя в аргументации своей Лейбниц, как я сказал, повторяет древних. Лейбниц принадлежал к той эпохе, которую так хорошо выразил Ларошфуко в своем знаменитом изречении: «о великих страстях, как о привидениях, все говорят, но никто их не видел». Для него проблема теодицеи представляла лишь до тех пор интерес, пока она по своему характеру не отличалась от математической задачи. В противоположность Платину и стоикам, для которых она являлась вопросом жизни и смерти, для Лейбница она была лишь поводом к размышлению, к умственной гимнастике, которую он так любил. Я думаю, что Лейбниц никогда бы не поверил, что Эпиктет или Плотин философствовали из иных побуждений. Его и Спиноза явно раздражал именно потому, что философия для Спинозы была источником живой воды. Он явно предпочитал Спинозе Байля; у Байля скептицизм и пессимизм уживались с тем *minimum*'ом спокойной и естественной уравновешенности, жизнерадостности, которой всегда держалась власть разума. С таким человеком можно спорить, его можно убеждать, ему можно доказывать. А как спорить со стоиками или со Спинозой? Или даже с Платином? Что бы они ни говорили, вы слышите постоянно одно и то же: «добродетельный человек, если его и в Фаларийском быке поджаривать — все же будет счастлив»⁴. Не только Лейбниц, но и сам Аристотель совершенно не выносил такого рода

¹ для чтения наследника (название, которое давалось специально подготовленным для Дофина публикациям, из которых были изъяты некоторые грубые отрывки. Иронически это выражение употребляется для публикаций подвергшихся исправлениям).

² слишком умеренный

³ совсем

⁴ Пытка, которую применял в VI в. до н.э. тиран города Агригенто, Фаларис. Он сжигал свои жертвы в специально отлитом для этого медном быке. Впервые этот образ употребляет Эпикур для характеристики невозмутимости мудрого человека. См. Usener, *Epictureo*, №601 — *Cicero Tusc. disp.* II. 7, 17.

мысль. «Те, кто утверждают, что на пытке или при тяжких неудачах человек, если он добродетелен, все же счастлив, вольно или невольно говорят вздор»¹. Аристотель в таких же выражениях говорит о людях, которые не признают закона противоречия, такое можно сказать, но такого нельзя думать. И говорит, конечно, от имени того же νοῦς'а или λόγος'а, от имени которого говорит Плотин. Того νοῦς'а или λόγος'а, который, мы помним, есть и судья, и законодатель и который ни за что не отречется от своих прав и не уступит своего места кому-нибудь другому. Аристотель тоже в своей этике много рассказывает и о прекрасной душе. И то, что он о прекрасной душе рассказывает, может быть формулировано в словах Плотина: если кто хочет увидеть Бога и красоту, тот сам вперед должен стать боговидящим и прекрасным². И вообще, сплошь и рядом, читая Плотина, мы вспоминаем об Аристотеле. Но время от времени наталкиваемся на непримиримые противоречия, как в только что приведенном случае. Аристотель вдруг останавливается и не хочет дальше идти. А Плотин идет и не смотрит на предостережения своего учителя, доходит до утверждений, которые представляются Аристотелю пределом бессмыслицы. Аристотель, как известно, и Платона беспощадно обличал. И все за то, что тот не умел вовремя останавливаться. По глубокому убеждению Аристотеля, тайна разумного мышления состояла в том, чтоб уметь вовремя остановиться, чтоб в погоне за истиной не переходить известные границы. Конечно, и Платон, и Плотин, и даже стоики были «убеждены» в том же, и очень часто в этом смысле их рассуждения нисколько не отличаются от рассуждений Аристотеля. Недаром и неслучайно отличительную черту эллинского мышления всегда видели в чувстве меры μηδὲν ἄγαν³. Не только в философии — но и в искусстве греков до сих пор поражает нас та особого рода неподражаемая чуткость к форме, к оформливанью, загадку которой так страстно и тщетно пытаются постичь историки древнего мира. Но наряду с этим вкусом и стремлением к мере было у греков и иное. Или, иначе говоря, за это искусство свое греки расплачивались гора-

¹ Аристотель, Eth. Nic. 1153 b19 «οἱ δὲ τὸν τροχίρομενον καὶ τὸν δυστυχίαις μεγάλας περιπίπτοντα εὐδαίμονα φάσκοντες εἶναι, ἐὰν ἢ ἀγαθός, ἢ ἐκόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιν».

² I. 6, 9, 30-34 «Οὐ γὰρ ἂν πώποτε εἶδεν ὀφθαλμὸς ἥλιον ἡλιοεοδῆς μὴ γεγενημένος, οὐδὲ τὸ καλὸν ἂν ἴδοι ψυχὴ μὴ καλῆ γενομένη. Γενέσθω δὴ πρῶτον θεοειδῆς πᾶς καὶ καλὸς πᾶς, εἰ μέλλει θεάσασθαι θεὸν τε καὶ καλόν». (Не видать глазу солнца, если он не станет солнцевидящим, ни душе красоты, если она не станет прекрасной. Пусть каждый, кто хочет созерцать Бога и Красоту, сам вперед станет божественным и прекрасным).

³ ничего слишком

здо более тяжелой ценой, нежели это принято думать. Фаларийский бык не риторическая фигура. И те, которые о нем говорили, пришли к нему не через диалектику. Аристотель был счастливым исключением среди великих представителей греческой мысли. Или, если хотите, в Аристотеле греческая мысль, греческое чувство жизни получили впервые то выражение, которое обеспечило ей всемирно-историческое значение. Он преломил сквозь свое сознание все мысли своих предшественников, и только тогда они стали годными для общего употребления. Равно правы и те, которые видят в Аристотеле ученика, и те, которые видят в нем врага Платона. Он был учеником, ибо взял у Платона все, что у Платона было срединного, или поскольк у Платон хотел жить и жил с нормальными, средними людьми. Он отбросил все, что у Платона было таинственного, проблематического и тревожного, или во всяком случае этот элемент ослабил до такой степени, что он перестал грозить устойчивости мироощущения. И тот *μετάβασις*¹, о котором я выше говорил и который был придуман самим Сократом, т.е. незаконный переход от добра плотников, поваров, врачей и т.д. к добру вообще, сослужил здесь свою службу. Кому нужно было — тот под «добром» понимал все, что было общественно полезным, кому нужно было, тот мог говорить об автономном добре, т.е. о таком добре, которое ни с какими видимыми и осязаемыми пользами, ни с личными, ни с общественными, ничего общего не имеет. Каждый мог тогда, смотря по надобности, разуместь под добром то, что ему хотелось. И потому получался поразительный результат: люди говорили одними и теми же словами о вещах меж собой не имеющих ничего общего. Когда Аристотель утверждал, что душа, чтоб постичь Бога и Красоту, должна сама стать божественной и прекрасной, — это значило одно, когда это говорил Плотин — это значило другое. Аристотель это чувствовал, недаром он отворачивался от фаларийского быка! Ему бы не только душа Плотина, но даже душа Эпиктета и Марка Аврелия показалась бы отвратительной. И точно, разве может быть прекрасна душа человека, который, как рассказывает его биограф, стыдился своего тела! А ведь Плотин — хоть об этом Порфирий и умалчивает — стыдился и ужасался не только своего тела. Он весь был воплощенным ужасом! И у Платона временами было такое чувство ужаса пред самим собой и пред всей жизнью — (это и раздражало так чуткого Аристотеля) — иначе отчего бы бежать из нашего мира! О Сократе я уже не говорю — о нем и о его тайне уже давно поведал миру Зопир. Фаларийского быка вы-

¹ переход

думали не те люди, у которых была спокойная, ясная, удовлетворенная душа, — как себе представлял Аристотель и как вслед за Аристотелем рисовал и Плотин прекрасную душу — а те люди, которые никогда не знали, что такое спокойствие и удовлетворение, и даже не верили, что вообще спокойствие и удовлетворение может быть уделом смертных. Платон говорил, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти и умирание. И тот же Платон не стеснялся сказать, что это всегда было — и прибавлю — всегда останется для людей тайной. Не потому, конечно, что философы это скрывают. Такого рода тайны так хорошо скрыты, что прятать их не нужно. Сколько их ни показывай — все равно их не увидят. Душа умирающего и приготовляющегося к смерти не может и не должна быть прекрасной. Даже душа Сократа, так спокойно ждавшего в тюрьме казни и еще утешавшего своих учеников, не была прекрасной — об этом вы можете прочесть в «Федоне», если искусство божественного Платона не совсем ослепило вас. У Плотина — все его Эннеады еще больше, чем платоновские диалоги, свидетельствуют нам о том крайнем перенапряжении духа, на которое «прекрасные души» никогда не бывали способны или, лучше сказать, которое уродует и самую прекрасную душу. И именно потому, что Плотин чувствует, как безобразна его душа, он всячески старается прикрасить ее и говорить только так, как если бы он ничем от Аристотеля не отличался. «Мудрец всегда ясен, его удовлетворенность не боится никаких якобы бед, т.к. он мудр. Если же кто ищет другого рода удовольствия в мудрой жизни, этот ищет не мудрой жизни»¹. И еще: «человек еще не счастлив и не мудр... если он не стал как бы иным существом, если он не убежден (не убедил самого себя), что с ним не может приключиться ничего дурного; тогда только он не будет ничего бояться: если он еще чего боится, он еще не совершенно добродетелен, он только наполовину добродетелен»². Сочинения Плотина переполнены такого рода утверждениями (особенно III.2 и III.3 — о провидении — которые написаны им в последние годы жизни, когда и душа Плотина и его тело стали совершенно невыносимы в своем безобразии). И я думаю, этому они в значительной степени обязаны своей славой. Люди слышат, что мудрец

¹ I. 4, 12, 8-12 «Ὅπως δὲ ὁ σπουδαῖος αἰεὶ κατὰστασις ἡσυχος καὶ ἀγαπητὴ ἢ διάθεσις ἦν οὐδὲν τῶν λεγομένων κακῶν παρακινεῖ, εἴπερ σπουδαῖος. Εἰ δὲ τις ἄλλος εἶδος ἡδονῆς περὶ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ, οὐ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ».

² I. 4, 15, 11-16 «...οὐπω οὔτε σοφὸς οὔτε εὐδαίμων εἴη μὴ ... οἷον ἄλλος παντάπασι γινόμενος πιστεύσας ἑαυτῷ, ὅτι μηδὲν ποτε κακὸν ἔξει· οὗτω γὰρ καὶ ἀδεῆς ἔσται περὶ πάντα, ἢ δειλαίων περὶ τινα οὐ τέλειος πρὸς ἀρετὴν, ἀλλὰ ἡμισύς τις ἔσται».

ясен, спокоен, удовлетворен, и — ничего, ровно ничего не боится. Можно ли желать себе большего? Может ли быть на земле более высокая ценность, чем добродетель, от которой все описываемые блага произошли? Читатель слышит торжественные слова — и забывает о том, что Плотин в фаларийском быке поджаривается. Не потому забывает, что Плотин об этом умалчивает. Наоборот — почти на каждом шагу говорит об ужасах жизни: «умрут у мудреца близкие и родные — он знает, что такое смерть, знают это тоже и те, которым умереть должно»¹. И еще говорит о том, что может быть ты и ближе, чем кажешься обреченным на голод, холод, унижения, рабство — все ничего. Ничего, если обесчестят дочерей твоих, ничего — если разрушат страну отцов твоих. Все ничего: мудрец сильнее и крепче всех возможных бед. Он и в фаларийском быке будет так же ясен, спокоен, как и на веселом пиршестве. Ему ведь достался в удел волшебный жезл Меркурия.

XI

Кто же прав? Аристотель, который называет пустой болтовней все эти мечты о волшебном жезле, или стоики с Платином, которые в жезле видят цель философии? Иначе говоря: знал ли Плотин тайну жизни, которая была скрыта от Аристотеля, или трезвый, убивающий тайны ум Стагирита разглядел в «тайне» призрак и иллюзию. Или еще: правее всех были такие умные читатели и почитатели Плотина, которые предоставляли ему фаларийского быка, а сами отдыхали на его возвышенных рассуждениях?

Как бы мы ни ответили на этот вопрос — бесспорно одно: умные читатели знают, что они делают, и их переубеждать нет ни необходимости, ни возможности, а Плотин с Аристотелем не сговорятся никогда. Плотин будет утверждать, что мудрец счастлив и в фаларийском быке, а Аристотель, что и Плотин, и все, кто до Плотина и после Плотина такое утверждали, οὐδὲν λέγουσι², или, попросту говоря, лгут так же, как и Гераклит, отрицающий закон противоречия, тоже мог говорить такое, но такое думать не мог.

Плотин знал превосходно Аристотеля, Плотин и в Аристотеле, как известно, воспитался — и даже, как принято думать, «примирил» в своей системе Аристотеля с Платоном; могло ли

¹ I. 4, 4, 32-34 «ἀποθησκόντων τε οἰκείων καὶ φίλων οἶδε τὸν θάνατον ὃ τι ἐστίν» ἴσασι δὲ καὶ οἱ πάσχοντες σπουδαῖοι ὄντες».

² ничего не говорят

от него остаться скрытым, что всей своей философией, всем существом своим учитель бросал вызов его философии и его существу? Едва ли мы вправе так думать. В чем угодно можно подозревать Плотина, но только не в том, что он не знал или не понимал духа аристотелевской философии. Знал, стало быть, что Аристотель не принимал и никогда не примет фаларийского быка и что, следовательно, если душа Аристотеля была в своей целостности прекрасной и боговидящей, то его, Плотина душа была безобразной и от Бога отвращенной, ибо всегда и непрерывно раздиралась противоречиями, которые он унаследовал от Гераклита и страшным видением фаларийского быка, доставшегося ему от Сократа и стоиков. Знал он это все, не мог не знать, но без Аристотеля — это он тоже знал — нельзя жить на земле. Без Аристотеля греческая философия никогда бы не победила мир. Сила же Аристотеля была в том, что он умел забывать о фаларийском быке и всегда помнил о законе противоречия. Только благодаря этому он и мог создать свою знаменитую теорию середины, которая определила собой в равной степени и его метафизику, его этику и теорию познания. Страшный фаларийский бык рыщет по окраинам жизни, на окраинах же подстерегают и разрывают доверчивую и беспечную человеческую душу противоречия. Задача Аристотеля состояла в том, чтоб защитить себя и человечество от грозящей ему опасности, чтоб удержать его в должных границах. Так и Плотин понимал свою задачу, и он, как мы помним, взывал к λόγος'у или νοῦς'у, силу и власть которого он признавал от всего сердца. «Βέλτιον τὸ κρίνειν ἢ κατὰ πάθος ... οὐδαμοῦ δὲ κρείττον ἄλογον λόγου»¹. И за тысячу лет своего существования философия успела выковать и отточить оружие, которым разуму полагалось отстаивать человечество от его неумолимых и непримиримых врагов, и этим оружием Плотин владел превосходно. И тоже он ничего, как мы знаем, не жалел, когда дело шло об укреплении суверенных прав разума. Он приносил ему в жертву людей, все живые существа, родных, близких, друзей, родину, даже весь мир — что хотите — готов был уничтожить Плотин, только бы заслужить похвалу и одобрение разума — в этом ведь смысл βέλτιον и οὐδαμοῦ². И в этом смысл его κάθαρσις'а, который повелевал человеку отрешиться от всего, что κατὰ πάθος³ и

¹ правильная цитата из Плотина: «τὸ μὲν κρίνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος...» и далее по приведенному тексту.

1. 4, 2, 25-26 судить лучше, чем пассивно воспринимать ... ни в коем случае неразумное не сильнее разумного

² «лучше» и «ни в коем случае»

³ пассивно (воспринимать)

любить только творения разума, т.е. «суждения» и «приговоры» его, ибо разум кроме «суждений», т.е. чисто идеальных сущностей, ничего сотворить и не хочет, и не может. И когда он глядел на сотворенное разумом и сотворенное не разумом — ему казалось, что не может быть и речи о том, что лучше. «Как прекрасно лицо справедливости и умеренности — прекраснее, чем вечерняя и утренняя звезда»¹. И все же чуткий Аристотель, который сам так чтит и любит и справедливость, и в особенности умеренность, если бы ему довелось услышать эти слова Плотина, почувствовал бы сразу их зловещий смысл и реагировал бы на них с неменьшей силой, чем он реагировал на утверждения слишком верующих последователей Сократа о фаларийском быке. И ведь в самом деле, σωφροσύνη² да и δικαιοσύνη³ в понимании Аристотеля значили совсем другое, чем в понимании Плотина, так же, как и платоновские идеи он понимал по-своему — и потому возмущался, когда его божественный учитель хотел видеть в идеях реальности κατ'ἑξοχήν⁴. Он не хотел мириться с Платоном, ибо его естественная чуткость уравновешенного человека подсказывала ему, что гипостазированные идеи есть все те же прикрытые «противоречия» и «фаларийский бык». Я думаю, что он не позволил бы Плотину даже утверждать βέλτιον τὸ κρίνειν⁵ и отгадал бы в этом источник таких ненавистных ему «крайностей». И теодицея Плотина для него была бы совершенно неприемлема — под каждой строчкой ее ему бы мерещился фаларийский бык. Правда, он мог бы вместе с Платином сказать: «нужно глядеть не на отдельное, а на все»⁶ или «провидение больше заботится о целом, чем о частях», но он ни за что не согласился бы истолковывать эти общие положения так, как их истолковывали стоики или Плотин, т.е. нарочито и с такой вызывающей обстоятельностью расписывают бедственную судьбу и жалкий жребий отдельных индивидуумов. Конечно, ἀνάγκη⁷ — непреодолима и человеку от судьбы своей не уйти. Тоже, конечно, человеку следует с достоинством выносить трудности жизни и не стремиться к невозможному. *Fata volentem ducunt, nolentem trahunt*⁸ — эту счастливую формулировку стои-

¹ I. 6, 4, 10-12 «...ὡς καλὸν τὸ τῆς δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης πρόσωπον, καὶ οὐτε ἔσπερος οὐτε ἔφος οὕτω καλά».

² умеренность

³ справедливость

⁴ по преимуществу

⁵ лучше судить

⁶ II. 9, 9, 74-75 «οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἐκάστῳ καταθύμιον, ἀλλὰ πρὸς τὸ πᾶν δεῖ βλέπειν» и III. 2, 3, 11-12 «τὸ τε ὅλον σκοπούμενον μὴ πρὸς μέρη ἄττα σμικρὰ βλέπειν».

⁷ необходимость

⁸ Сенека, Письма, 107 «Согласного судьба ведет, несогласного тащит».

ческого идеала Аристотель принял бы, как приняла ее вся древняя и новая философия. Но он возмутился бы до глубины души, если бы Сенека сказал: мудрецу не подобает, чтоб его тащили за шиворот, и он должен, даже когда все его существо тому противится, делать вид, что он свободно и охотно движется вперед. А между тем теодицея Плотина, изложенная так обстоятельно во второй и третьей книгах третьей энеады — написанных, к слову сказать, в последние годы его жизни, как бы умышленно вобрала в себя и обострила до последней степени возможности все самые вызывающие «парадоксы», которые за свое долгое существование накопила стоическая школа и последователи Платона. Перечитывая их, не знаешь, какую задачу, собственно говоря, поставил себе Плотин: оправдать, как это полагается, богов или дерзновенно бросить им вызов, предъявить им самое грозное обвинение. Если это до сих пор не отмечалось или не замечалось, то единственно разве потому, что у философов нас всегда привлекала схема построений, а не материал, из которого схема складывалась. Мы ведь до сих пор склонны думать, что задача философии «объяснить» мироздание, и потому обычно философское объяснение легко сходит и за оправдание. Едва ли правильно так воспринимать кого бы то ни было из значительных философов, особенно древних. У Плотина же несомненно нужно искать смысл и сущность его философии вне всяких объяснений и оправданий. «Ἄγὼν μέγιστος καὶ ἔσχατος ψυχῆς πρόκειται»¹ — сказал он нам: разве это слова, разве это голос Сенеки или Цицерона, которые и в самом деле стараются приладиться к судьбе из страха, что если они не пойдут, то их потащут? У Плотина были, вне всякого сомнения, свои «страхи». И он боялся, безумно боялся — но вовсе не того, что пугало стоицизирующих философов. Я думаю, что настоящие стоики, особенно позднейшие, платонизирующие, как их называли — Эпиктет и Марк Аврелий — боялись по-иному и другого, чем Цицерон и Сенека. Если брать примеры и аналогии из нового времени — я вспомнил бы фразу Паскаля: «молчание бесконечных пространств пугает меня»². Этот древний ужас, о котором большинство людей ничего не знает, о котором некоторые знают только понаслышке и только очень немногие испытали, тревожил душу Плотина и дал ему, как и библейскому Иову, силы и дерзновение для «великой и последней борьбы». Мы думаем, что не только боги, но даже судьба прежде всего ждет и требует от смертных повиновения. А мы все видим предел человеческой мудрости

¹ I. 6, 7, 31 «самая великая и самая последняя борьба предстоит душам».

² B.Pascal, «Pensées» (p.142): «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie».

в искусстве и готовности терпеливо выносить все, что нам посылает жизнь. Так учил, думая, что он следует в этом заветам блаженных и мудрых людей, Сенека. Так до Сенеки учил Аристотель. И Плотин, когда нужно было учить людей, говорил так: «Справедливость и умеренность прекраснее, чем утренняя и вечерняя звезда»¹. Почему прекраснее? Кто решил это? Λόγος или νόμος, присвоившие себе право издавать законы и по изданным им законам судить мир и людей? Они, конечно — другому некому. Они так постановили, и они так рассудили. И до тех пор, пока сохранится за ними право издавать законы и судить, так оно и будет, что справедливость и умеренность, т.е. то, что сделано руками человеческими, лучше, чем утренняя и вечерняя звезда — то, что создано не человеком. Разум и не может рассудить иначе: ибо все, что не в «нашей власти» — и не в его власти и, значит, не имеет никакой ценности, даже не существует. Иначе как спастись от страшного фаларийского быка, как укротить разрывающие душу противоречия? «Начало философии — сознание бессилия»² — и конец философии — сознание бессилия, с которым человек примирился.

XII

Прежде, чем попытаться продвинуться дальше, быть может не лишне будет оглянуться на то, что осталось позади нас. Начало философии — сознание бессилия пред зрелищем неизбежной гибели (φθώρα) для всего, что имеет начало и рождение. Конец философии — торжество человека и духа, научившегося отвергать все, что начинается и кончается, и возлюбившего только то, что не имеет ни начала, ни конца. Плотин был последним великим греческим философом и провозвестником эллинской мудрости — наиболее духовно одаренного народа. Он с любовью и горячей верой вобрал в себя все, что создала эллинская мысль за свое тысячелетнее существование. И был совершенно искренне убежден, что продолжает дело своих замечательных учителей и предшественников, и еще больше в том, что все, кто мыслил и искал до него, искали того же, что он. Ему и в самом деле казалось, что Платона можно «примирить» с Аристотелем и что «мудрость» стои-

¹ I. 6, 4, 10-12 «...ὡς καλὸν τὸ τῆς δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης πρόσωπον, καὶ οὔτε ἔσπερος οὔτε ἔφως οὕτω καλὰ».

² Эпиктет, «Беседы», II. 11, 1 «ἀρχὴ φιλοσοφικῆ συναίσθησις τῆς αὐτοῦ ἀσθενείας».

ков вытекала все из того же единого «разума», из которого и другие школы черпали, как из живого родника. «Ἀρχὴ οὖν λόγος καὶ πάντα λόγος»¹. Лόγος увидел брэнность всего мира, логос же научил людей преодолевать ужасы жизни — на этом сходились все философские направления: никому из греков не могло прийти на ум, что лóγος не был в начале и что он не будет властвовать до конца над всеми и всем. Логос казался и путем, и истиной, и жизнью. Логос был богом — и все, что не от лóγος'а, было не от бога. Не было такой жертвы, которую Плотин не согласился бы принести на алтарь своего бога, и принести с великой и глубокой радостью. Не только у Аристотеля, но даже у Платона и стоиков мы не наблюдаем такой искренней и неограниченной готовности к жертвам, какую мы встречаем у Платина. У Платона, как и у Сократа, у которого он учился, идея самоотречения была глубоко скрыта под поэтическими покровами. И стоики умели так излагать свое учение, что оно становилось понятным, соблазняло даже практических римлян, как это видно из творений Цицерона и Сенеки. Аристотель же как будто бы совсем вырвал из эллинской мудрости ее ядовитое жало. Мы знаем уже, как искусно его теория середины защитила и оградила человеческую душу от страшных чудовищ, которые бродят на окраинах бытия. Мы помним тоже, что только благодаря Аристотелю греческая философия могла овладеть культурным миром. Все, что когда бы то ни было говорили и видели греки, процедившись через философию Аристотеля, становилось таким человеческим, нужным, естественным. И Аристотель делал свое дело с таким неподражаемым искусством, равного которому мы не встречаем ни до него, ни после него. В его руках самые жуткие проблемы бытия теряли свою остроту и погашались как бы сами собой. Мы помним, как просто, почти без усилия устранил он из своей этики фаларийского быка. И этика осталась этикой. С той же простотой и естественностью он вытеснил из метафизики «регресс в бесконечность», объяснил смысл трагедии, упрочил *in saecula saeculorum* «закон противоречия» и т.д. Нужно полагать, что только благодаря несравненному искусству Аристотеля до сих пор осталось незамеченным, что историческая миссия эллинской философии состояла в том, чтоб подменить онтологию — этикой. Открыто об этом говорили только стоики — хотя, как я уже заметил, то, что говорили стоики, делали все греки; им никто не верил. И все же у греков, в особенности после Сократа, разумное не только отождествлялось, но ставилось впереди действительного. А разумное — это то, что от

¹ III. 2, 15, 13-14 «Начало — разум, и все — разум».

нас зависит, над чем мы господа. У Аристотеля вы никогда такого утверждения не встретите, и Платон так не говорил. Но у всех греков основоположной философской проблемой являлась проблема этическая. Не в том смысле, в каком этику понимали Сенека и Цицерон, и, вслед за Сенекой и Цицероном, многие новейшие философы — т.е. как дисциплину практическую, вырабатывавшую нормы для лучшего жизненного устройства. Слова нет — греческие школы немало об этом говорили. Но в лице наиболее замечательных представителей греческой мысли этическая проблема имела совсем иной смысл, и была теснейшим образом связана с проблемой онтологической. Когда Платон говорил об этике, он спрашивал себя, где искать *ὄντως ὄν*, т.е. действительно существующее. И находил его, конечно, только в этическом бытии. Оттого-то он и «гипостазировал» свои идеи, ибо все его «идеи» имели своим источником одну высшую идею, чисто этическую, идею добра. Так учил Сократ, так учили все, кто из Сократа вышел. И Аристотель, если вам угодно, думал так и только так. И он не выносил действительности, которая не имела бы санкций разума. Но он своим ему исключительно свойственным чувством догадывался, что не только нельзя об этом говорить в тех резких и открытых словах, которые позволили себе стоики и циники, или даже в тех менее прозрачных, но все же рискованных образах и мифах, которыми очаровывал людей Платон. Середину можно и должно освещать, но окраины всегда были и всегда будут окутаны мраком — таков великий закон природы. Разуму доступ к окраинам закрыт. Греческая философия истолковала этот закон в том смысле, что там, куда закрыт доступ разуму, нет и быть ничего не может. Последний греческий философ, собрав все силы свои, возвещает: «οὐδαμοῦ ἄλογον βέλτιον τοῦ λόγου ... κρίνειν κρείττον ἢ κατὰ πάθος»¹ и делает нечеловеческую попытку — всю жизнь свою свести к κρίνειν², и силой κρίνειν не только преодолеть великие трудности, встречающиеся ему по пути, но создать новые источники жизни. Быть мудрым и добродетельным — это все, что нужно человеку. Зачем ему утренняя и вечерняя звезда? Зачем ему мир и солнце? Друзья, родные, родина, весь мир? Все это ему дано — твердит λόγος — и может быть у него отнято. А он найдет такое, чего ему никто не давал и отнять у него никто не может. Этим он будет жить, в этом он увидит свой настоящий, единствен-

¹ I. 4, 2, 25-26 точная цитата: «οὐδαμοῦ δὲ κρείττον ἄλογον λόγου» и «τὸ μὲν κρίνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος» — «ни в коем случае неразумное не сильнее разумного» и «судить лучше, чем пассивно воспринимать».

² судить

но существующий мир. Тот же νοῦς или λόγος, который этот мир создает, укажет человеку и единственно верный путь, которым он может в этот мир прийти — путем размышления, «κανὸνα ἔχουσα τοῦ ἀγαθοῦ παρ'αὐτῆ»¹. Путь этот и есть диалектика, принудительно обязывающая всякого человека идти туда, куда она его ведет, под угрозой, что всякая попытка свернуть в сторону снова отдаст человека во власть γένεσις² и φθора², и всех тех ужасов, которыми полно наше существование. Во всем этом, повторяю, Плотин верен духу и заветам эллинской философии. Νοῦς дает ему цель, нус указывает и средства, которые приведут к цели. У него нет мнения, как у обычных смертных, — у него твердое знание, ἐπιότης, ибо о действительно существующем может быть прочное знание. Или, иначе говоря, прочное знание может быть только о действительно существующем...

Уже Сократ открыл, что добродетели можно выучиться, что добродетель есть знание. И действительно — для греков знание было добродетелью и добродетель была знанием. Их философская методология была своего рода *exercitia spiritualia* — мы помним, что только прекрасная душа может созерцать красоту и только боговидящая — узреть бога. С этого Плотин начал — этим он и кончил. Последние (хронологически) Эннеады, написанные им, когда он, как передает Порфирий, в буквальном смысле заживо разлагался и, чтоб избавить друзей своих от этого отвратительного зрелища, жил в полном уединении — даже последние Эннеады держатся на этом императиве: γένεσθω³ и т.д. — то есть слушай во всем разум и будет тебе благо. Казалось, и многим до сих пор продолжает казаться, что чем ближе Плотин подходил к концу, тем прочнее он верил во всемогущество разума и что смысл и задача его философии состояла в том, чтоб довести до конца, довершить дело, над которым тысячу лет трудился греческий дух — т.е. утвердить на веки вечные царство разума — и не только на земле, но и во всей вселенной. Так, говорю, казалось, так продолжает казаться, но было на самом деле другое. Прав был Целлер. Плотин потерял безусловное доверие к человеческому и собственному мышлению, и не только не является завершителем того дела, которое обычно приписывают древней философии — он, последний великий представитель эллинского духа, поставил под сомнение все, что греки создали. Не в том смысле, в каком сомневались скептики. Скептики — даже самые крайние —

¹ V. 3, 3, 8-9 «имея в себе канон доброго»

² рождение и гибель

³ да будет

те, о которых так саркастически говорил Аристотель и которые после него продолжали свое дело с той же уверенностью, как и до него, — по самой своей природе были и оставались истинными эллинами, ибо от разума и диалектики никогда не отрекались и отречься не хотели. Они даже и не делали попытки выходить за ограду человеческого разумения. Разве можно про кого-нибудь из них сказать, что он потерял доверие к мышлению? Ведь через мышление и только через мышление они мышление оспаривали. Самый крайний скептик, если не говорил, то думал про себя, что никогда разум не уступит место чему-нибудь, по своей природе ему противоположному. Скептицизм был необходимым и необычайно плодотворным важным фактором развития греческой мысли. С Платином же произошло нечто совершенно необычное: он и в самом деле почувствовал, что этот разум, которому он как философ всем обязан, от которого он получил лучшее, чего может себе желать человек, предал его, что κρίνειν не лучше чем κατὰ λόγον, что ἄλογον вовсе не κρείττον τοῦ λόγου¹, что добродетели не прекраснее светил небесных, что фаларийского быка Аристотель не отогнал и противоречий не усмирил своей теорией середины и что ни λόγος, ни νόμος не спасают от того бессилия, которое философы усмотрели в жизни, что вся тысячелетняя работа эллинов ни к чему не привела. И тогда вдруг осенила его новая, так непохожая на все прежние мысль, — точно ли разум, о котором все думали, что он никогда не уступит своего места чему-нибудь, на него совсем непохожему, так прочно сидит на занятом им престоле? И откуда его сила и самоуверенность? Слово «вдруг», которое всегда было так ненавистно разуму и которое он с таким успехом до сих пор гнал отовсюду, оказалось обладающим совершенно непостижимой силой заклинаний. Всемогущий разум безвольно склонился пред ним. Плотин отряхнул прах с ног своих и вдруг пошел — сам не зная куда идет. (Евр.11,8)².

ХIII

Произошло действительно нечто неслыханное и невиданное в истории человеческих исканий. Плотин потерял доверие к разуму и вверился самому неразумному, самому ἄλογον из всего, что

¹ судить... пассивно воспринимать... неразумное... лучше чем разумное [вероятно: ... разумное вовсе не лучше, чем неразумное. — Ред.]

² заметка на полях: «Как учил — не Платон, не Аристотель, не Эпиктет или Марк Аврелий, — а старый, невежественный иудей, апостол Павел: «εἰσεῖδεν ἔξαίφνης οὐκ ἰδὼν ὅπως...» («... Вдруг видишь, не зная как...» Плотин, VI. 7, 36, 18-19. Здесь Плотин ссылается на Платона: «Пир», 210e).

бывает на свете, самому капризному и своевольному — тому, что называется невзрачным маленьким и столь незначительным словом «вдруг», словом, которое для философов как бы не существовало. На «вдруг» держалось все «случайное» — т.е. как раз то, что всегда и систематически в философии отменялось. Хитрый разум, знавший откуда грозит опасность, убедил людей, что от «вдруг» и «случая» никогда нельзя ждать ничего доброго, что они самые непокорные, воплотившие в себе то, что он же заклеил силой присвоенной им себе власти, — источник всех зол на земле. Плотин, который всегда шел и людей звал идти туда, где все было ясно, видно и вперед, потому, определимо, пошел, влекомый таинственной силой, не загадывая вперед, куда он пойдет. Это было, говорю, самое непостижимое из возможных дерзновений — увидеть путеводную звезду не в разумной необходимости, а в ничем не оправдываемой внезапности. Не только для Плотина, но и для апостола Павла, и для пророка Исаии было труднее всего на свете отказаться от водительства разума. Помните слова послания к Римлянам: «Ἦσαϊας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει...»¹ И разве не меньшая τόλμα² у Плотина, когда он говорит: «Τότε δὲ χρῆ ἐωρακέναι πιστεύειν, ὅταν ἡ ψυχὴ ἐξαίφνης φῶς λάβῃ» — «credendum vero est, tunc demum nos vidisse illud, quando animus repente lux acceperit»³. Можно было ли думать, что трон, на котором в течение более тысячи лет восседал благодетельный разум, займет ничтожное и презренное «вдруг», с порожденным им столь же ничтожным и столь же презренным «случаем»? Евреи чтили «случай» и «вдруг» — евреи были самым некультурным народом древнего мира. Их прельщало, могло прельщать то, что «ἐξαίφνης φαίνεται»⁴, но для образованного эллина все внезапности и случайности относились к области ἄλογον⁵, т.е. того, что совсем не существует, или, если и существует, то не законно и потому как бы призрачно. Не то чтоб греческие философы никогда не замечали «внезапного» — оно не могло не попадаться на глаза и часто попадалось, но они всегда видели в нем досадное и опасное препятствие, опасного, даже рокового врага, и все силы свои напрягали, чтоб сбросить его с дороги. Особенно настойчиво и, как всем казалось, успешно боролся со внезапностями Аристотель, который

¹ Рим. 10, 20: «А Исаия смело говорит: "Меня нашли не искавшие Меня, Я открылся не вопрошавшим о Мне"».

² дерзновение

³ V. 3, 17, 28-29 «Мы тогда должны верить, что мы Его увидели, — когда душа внезапно просветлилась».

⁴ вдруг является

⁵ неразумного

был и предтечей и мессией божественного разума, без устали равнял пути для его торжественного и победного шествия. Для него «случайное» — было все тем же фаларийским быком или назойливым пришельцем из иного мира, грозящим равновесию, с таким трудом добытому прекрасной душой, что бы ни сулило ему «случайное», он, который вверил свою судьбу разуму, — он не только не примет, но даже не взглянет, ибо в этом его сила — уметь не глядеть. И когда приходилось ему иной раз невольно попасть в те края, в ту сторону, где водилось «случайное» и «внезапное» — он мгновенно отворачивался. Вот образец его методов (мет. 1025 a15): человек раскапывал землю, чтоб посадить дерево и нашел клад. Очевидно, говорит он, что клад нашел он *οὐτ' ἔξ ἀνάγκης* — не по необходимости, такое и не бывает постоянно, и, стало быть, это не может быть предметом науки и возбуждать нашу пытливость, и ведь он прав: не может быть предметом науки — недаром говорится, что «клад в руки не дается». Клад в руки не дается: те приемы, которыми добывается «разумная» истина, благодаря которым люди так многого добились на земле, совершенно никуда не годятся, когда человек клад ищет². Мы знаем, как можно посадить дерево, мы можем, пользуясь нашими знаниями, разводить, и мы разводим великолепные сады, но «знания» о кладах не бывает. Клад, если достается, то случайно — тому, кто ищет не клада, кто вообще не «ищет», кто не загадывает вперед, кто не спрашивает. Аристотелю, создавшему научную методологию, не до клада. Клад для него — суеверие. Да и Плотин, конечно, сам об этом догадаться не мог. Он, мы помним, повторял Аристотеля и он произносил похвальные слова знанию. Даже о своем «вдруг» и своих внезапных просветлениях он часто рассказывает так, что многие до сих пор хотят видеть в этом «знание» — т.е. что-то такое, что можно и должно уложить в категорию разума и даже подчинить ему. И если сам он называет свой новый опыт, свои новые видения «неизреченными», то это относят исключительно на счет несовершенства и бедности человеческого языка. Но источник неизреченного кроется несравненно глу-

¹ Аристотель, «Метафизика», 1025 a15: «οἶον τις ὀρύττων φυτῶ βόθρον εὗρε θησαυρόν τοῦτο τοῖνον συμβεβηκός τῶ ὀρύττοντι τὸν βόθρον, τὸ εὗρεῖν θησαυρόν οὐτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης, τοῦτο ἐκ τοῦτου ἢ μετὰ τοῦτο, οὐθ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἂν τις φυτεῖ θησαυρὸν εὕρισκει».

² Здесь следует пассаж, зачеркнутый Шестовым: «...Наша логика, наша методология, которыми разум вооружил людей, совершенно бессильны и беспомощны в этой великой и последней борьбе, о которой Аристотель ничего не хотел знать, но которая вдохновляла его великих учителей, Сократа и Платона и которую возвестил миру через 600 лет после Аристотеля Плотин».

бже. Или, пожалуй, иначе: неизреченность происходит не от того, что о новом опыте рассказать нельзя, а от того, что слушая Плотина, ждут от него не нового, а старого. Он говорит о «кладе», а люди хотели бы полезного, такого, что само в руки дается или, лучше, что может всякий всегда и везде готовым получить из рук других людей. И в течение веков люди понемного своего добились. Читают Плотина, читают других мистиков и находят в них ту поэзию и красоту напряжения, которые бесспорно уже могут быть отнесены к области нужного и полезного. Находят у него прекрасную душу, верят в его мужество, в высокие нравственные начала, породившие в нем оптимизм, верят в его диалектику и ум, в его спокойствие и бесстрашие и т.д. А о «кладе», которого он искал, и о непрекращающейся тоске, которая жила в его душе, — думать не хотят: клад ведь (в этом и после Плотина никто не сомневается) в руки не дается, и научиться отыскивать клад — нельзя. Волшебный жезл Эпиктета, это самое большое, чего можно ждать, по убеждению всех, от философии — сама жизнь только это уготовила людям, и у Плотина мы только ищем жезла. Последние достижения человеческого ума — это искусство так воспринять мироздание, чтоб онтология всецело растворилась в этике: иными словами то действительно, что хорошо, а хорошо то, что в пределах досягаемости. Разум, открывший в жизни *γένεσις* и *φθώρα*¹, чтоб спастись от гибели, предписывает глядеть на целое, на все, а не на отдельные вещи, и оттого провозглашает смертным грехом дерзновенное стремление отдельных вещей (конечно, живых людей по преимуществу) к самоутверждению, оттого справедливость и умеренность он расценивает выше, чем утреннюю и вечернюю звезду, оттого человеку предписывается равнодушно и спокойно относиться ко всем самым тяжким потерям, и вообще, роль человека на земле приравнивается к роли актера в драме. Делай, что предписал тебе автор и ни о чем не сокрушайся — таков завет мудрости. Нужно бедствовать, быть рабом, быть царем, спасти отечество, потерять отечество, лишиться детей, родителей — все прими как должное, и не мешай автору пьесы выполнить свой замысел. И Плотин, и все, кто до него развивали греческую теодицею, так думали и говорили с последовательностью, которая не допускала почти никаких исключений. Я говорю «почти» — ибо одно исключение все-таки пришлось допустить. Когда возникал вопрос, должен ли человек, на которого автор пьесы возложил роль преступника, совершать даже просто несправедливые поступки, — разум забывал о теодицее и о том, что мы

¹ рождение и гибель

в жизни лишь актеры, и начинал требовать от нас, чтоб мы были живыми людьми и не сваливали свои поступки на ответственность таинственного автора, по своей воле раздавшего нам придуманные им роли. Преступления и проступки разум оправдать не берется — предпочитает лучше пойти на непоследовательность. Оно и понятно. Ведь только таким образом он и мог выполнить свою задачу — превратить все бытие в функцию сотворенного им добра, т.е. *подменить этикой онтологию*. Не только стоики, философские дарования которых всегда расценивались не слишком высоко, но сам Плотин, так великолепно умевший подмечать даже чуть видные отклонения мысли от правильного пути, этого изъяна в своей теодицее не видит: не нужно видеть. Когда речь идет о свободе воли в смысле возможности выбирать между добром и злом (так всегда истолковывалась философами свобода воли), он не колеблется ни на секунду. И стоики, конечно, были детерминистами — но только на словах, ибо самое существо стоицизма предполагает неограниченную свободу избрания между добром и злом, как и суверенное право разума решать, что есть добро и что есть зло. Но у Плотина в его мировоззрении свобода воли не только фактически занимает центральное место: у него идея свободы воли доминирует над всеми рассуждениями. «Если бы не было свободы воли — мы не были бы мы, наши поступки не были бы нашими поступками» и т.д., говорит он. Надо прибавить, не было бы ни возможности, ни нужды ни в какой теодицее. И еще меньше было бы возможности проделать тот грандиозный эксперимент, на который решалась эллинская мысль — *подменить этикой онтологию*. Только для морально свободного существа или, по крайней мере, для существа, которое удалось убедить, что оно морально свободно, т.е. может по своему желанию выбирать либо то, что разум называет добром, либо то, что разум называет злом, этика может заменить онтологию. Не тот несвободен, кого бросили в тюрьму, заковали в цепи, кого связали, у кого на глазах убивают сыновей и обесчещивают дочерей, кого ослепили и кто не может видеть утренней и вечерней звезды, — а тот несвободен, кто хотел бы вырваться из цепей, уйти из тюрьмы, кто приходит в отчаяние, когда подвергают пыткам и бесчестию детей его, и кто, потеряв зрение, тоскует о красоте переставшего для него существовать мира. В том, что разум всеми силами пытается внушить людям такое — нет ничего загадочного. Он делает, что может. Если хотите, он делает, что должен: в данном случае «может» и «должен» вполне совпадают. Более загадочно и таинственно, что люди поверили нашептываниям и внушениям разума и согласились, как об этом свидетельствует вся

древняя философия, принять дары разума и оценить их как лучшее из того, что может принести жизнь. Начало философии, говорил нам Эпиктет — есть сознание бессилия, но и конец философии, как мы видим, — тоже сознание бессилия. Разум много обещал, обещания разума тысячу лет вдохновляли величайших людей лучшими надеждами. И Плотин вдохновлялся его обещаниями. И Плотин поверил ему и свою собственную душу по свободному, как ему казалось, решению своему «преобразил» соответственно самым строгим требованиям разума. Никто из греческих философов в этом смысле не может с Плотиним сравниться. Казалось бы, чего еще? Но в ту минуту, когда казалось — дело было доведено до конца, когда преступная и нечестивая тóлма¹ была с корнем вырвана из его души, Плотин внезапно испытал такую внутреннюю пустоту и такую неутешную тоску, в ответ на которые у гордого разума не было заготовлено никаких слов. И тогда свершилось: доверие к разуму, доверие ко всему тому, чего добилась греческая мысль за тысячу лет существования своего, покинуло Плотина. И когда ушло доверие к разуму, разум сразу лишился той силы, которую он сам и послушные ему люди ему приписывали. Открыто в этом Плотин никогда не признавался. До конца своей жизни он продолжал, как и полагалось философу, прославлять разум и учить людей мудрости. Его последние писания в этом смысле несколько не отличаются от первых, даже в некотором смысле в них общегреческая мудрость выражена сильнее и полнее, чем в первых. Ведь и вообще Плотин начал писать, когда он уже был почти стариком — на шестом десятке, и «недоверие» к разуму мы находим в такой же степени выраженным в первых, как и в последних (хронологически) книгах его Эннеад. Все, что он писал, проникнуто этой странной двойственностью, и иной раз на соседних страницах мы встречаем и страстные восхваления, и столь же страстные, хотя и глубоко скрытые проклятия по адресу разума. Иначе и быть, по-видимому, не могло. Смертному не дано в этой жизни вырваться из власти разума. Кажется, не дано даже навсегда от него отвернуться. Можно ему не верить, можно мгновениями вырваться на свободу. Но приходится, не веря ему, подчиняться — и ждать иного.

XIV

С тех пор, как существует мир, — любовь и смерть были всегда музами и вдохновительницами человеческого творчества. Не было ни одного великого поэта, ни одного великого мудреца, ко-

¹ дерзновение

торый бы не воспевал любовь и не пытался взглянуть в лицо смерти. Даже в св.Писании — Песнь Песней поет о любви, великий царь отчаивается о последнем часе. Но в обыкновенной жизни и великая любовь, и страх пред смертью всегда нежеланные гости. Разум, знающий, что есть добро и что есть зло, и знающий, что добро есть то, что в нашей власти, а зло — то, что не в нашей власти, главную задачу свою видел всегда в том, чтоб удерживать людей от безумия любви и отвращать их взоры от ужаса смерти. И любовь, и смерть приходят вдруг, неожиданные и непрощенные: как может их вынести разум, который всегда, по самой природе своей, стремится знать, чтоб предвидеть, для которого знание и предвидение почти совпадают. Все неожиданное, не спрошенное, не спрашивающее, — все «вдруг», все «внезапности» до такой степени противны разуму, что каждый раз, когда они появляются на сцену, он ставит человека пред дилеммой: либо они — либо он. Влюбленный человек — никого не спрашивает, он даже забывает, что нужно спрашивать. Пред лицом смерти — стираются все противоположности между возможным и невозможным. Закон непрерывности, мечту о котором лелеет уравновешенная, прекрасная душа и которым так искусно всегда разум пользовался, теряет всякий смысл и значение для того, кому эрос и властная смерть открыли глаза. И идеал мудреца — спокойное, довольное, ровное существование человека, которому ничего не нужно, потому что у него все есть, кажется уже не идеалом, даже не «скучной песней земли», а набором ничего не значащих пустых слов.

Не только в «Книге книг», но и во всей греческой философии размышления о любви и о смерти являются теми $\rho\acute{\iota}\zeta\omega\mu\alpha\tau\alpha\ \pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu$, теми $\pi\eta\upsilon\alpha\acute{\iota}\ \kappa\alpha\iota\ \acute{\alpha}\rho\chi\alpha\acute{\iota}$ ¹, от которых она добывала свою силу и энергию. И Платон, и его учитель Сократ, о чем бы они ни говорили, всегда помнили и думали о любви и смерти. Не только Федон, Федр и Пир, специально посвященные этим темам, — все произведения Платона лишь об этом и толкуют, и в этом он является верным продолжателем тех блаженных и древних мужей, которые, как он рассказывает, были лучше нас и жили ближе к богам². Но греческая философия стала мировой культурной силой только тогда, когда ей удалось, благодаря, с одной стороны, Аристотелю, с другой стороны — многочисленным комментаторам, оторвать добытые ею результаты от корней, которыми они питались. Если хотите, этому способствовал в значительной мере и сам божественный Платон. Хотя он так много и так вдохновенно

¹ корнями всего ... источниками и началами

² Bouillet I, 323, 498; Philèbe 16.

говорил о бегстве из нашего мира, он все-таки стремился быть учителем человечества, в нашем мире живущего. Он написал «Государство», он написал и «Законы», в которых ищут и находят практические указания люди, о «бегстве» из мира никогда даже наедине с собой не помышляющие. Он подготовил и аристотелевскую логику с ее критериями истины, и может в этом смысле считаться основателем современной положительной науки. Мы вправе говорить о дуализме платоновской и всей древней философии; она хотела быть и была философией не только для «некоторых», но и для всех и всегда. И, повторяю, только поэтому она и могла приобрести свое историческое значение. Люди ухитрились даже те страницы Платона, которые говорят о самом интимном, глубоком и неповторяющемся, истолковать так, как если бы речь шла о том, что бывает всегда по необходимости или хоть довольно часто, совершенно не замечая, что такого рода истолкование убивает мысль Платона, или, может быть, умышленно стремясь убить ее. Так или иначе — на поверхности того, что люди приняли от древнего мира, как его философию, не было и следов ее истинного происхождения. Самый образ философа был искажен до неузнаваемости. Кто хотел учить философии, тот был обязан говорить так, чтоб сказанное им для всех годилось, и иметь вид мудреца, т.е. человека, который занят только тем, что может всех и всегда интересовать. Иначе говоря, истина должна быть для всех обязательной, принудительной, — философ — существом, радостно эту принудительность принимающим, т.е. мудрецом. Это и значило βέλτιον κρίνειν ἢ κατὰ πάθος¹. Начало философии — готовность быть бесстрастным и проистекающее отсюда не только внешнее, но и внутреннее примирение с непреодолимой необходимостью, с бессилием человека — пред лицом установленных от века и на веки веков чуждых и враждебных ему законов бытия.

Этого именно и не вынес Плотин — не вынес мысли о том, что разум, обещавший преодолеть бессилие, не только не сдержал данного обещания, но как бы наоборот, решил окончательно и бесповоротно, что спасения нет и не будет, что необходимость ни одной пяди из захваченной ею области бытия не уступит живому человеку. И тогда он начал свою великую, последнюю борьбу — на этот раз уже не против единичной человеческой души и ее дерзновений, а против того разума, который обрек души на покорность и которого, за его бесчисленные неоспоримые благо-

¹ I, 4, 2, 25 «... τὸ μὲν κρίνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος» — судить лучше, чем пассивно воспринимать.

деяния, он сам называл и царем, и самодержцем, и вообще лучшим из того, что бывает в жизни. «Часто, просыпаясь к самому себе из тела, рассказывает он, освобождаясь от всего, что извне, я вижу великую красоту и убеждаюсь, что я предназначен для лучшей участи»¹. «Пробуждение» является одной из любимых мыслей Плотина. Пробуждение — есть освобождение, освобождение от той необходимости, которую царственный разум принужден был установить в нашем мире. Плотин говорит, что он пробуждается «часто». Я не знаю, насколько мы можем положиться на это «часто». Скорее нужно думать, что не часто, а редко. Пробуждение, о котором повествует Плотин, слишком мало походит на то, что обыкновенно бывает даже с ним самим, для того, чтоб можно было рассчитывать отнести его к явлениям повторяющимся, к тем, которые Аристотель противопоставляет случайностям. Он говорит: «ἡ δ' ἀληθινὴ ἐγρήγορσις ἀληθινὴ ἀπὸ σώματος, οὐ μετὰ σώματος, ἀνάστασις... ἡ δ' ἀληθῆς ὁλως ἀπὸ τῶν σωμάτων...»², что истинное пробуждение есть освобождение от тела. Правда ли это или ложь? Откуда Плотин знает, что истинное пробуждение не с телом, а от тела? Те же слова, которые Плотин употребляет, когда речь идет об экстазе или смерти — «τὴν ψυχὴν χωρὶς τοῦ σώματος εἶναι»³, т.е. состояниях души, которые никоим образом не могут быть введены в круг того, что мы обычно называем опытом, и которые поэтому могут быть предметом познания. Само пробуждение — тоже ничем не объяснимо, ни из чего не может быть выведено и по своей «природе» должно быть отнесено к тем «вдруг», которые как элемент фантастический *par excellence*, нашим разумом выбрасывались за пределы реального. Плотин это знает, знает, что все «вдруг», как и клад, в руки не даются и разуму неподведомственны. Но он знает и другое, знает, что то, что бывает всегда и по необходимости или, по крайней мере, часто, и над чем действительно властен наш разум, — ему не нужно. Когда-то было нужно, очень нужно, нужнее всего на свете и ему самому, и тем людям, с которыми он жил. Но теперь все по-иному: людям, огромному большинству людей, это по-прежнему нужно, дары разума их по-прежнему радуют, и за эти дары они поклоняются ему как Богу. Они не отдавали еще, как Плотин, к алтарю своего бога детей, отцов, отечество, они не пытались

¹ IV, 8, 1, 1-4 «Πολλάκις ἐγείρομενος εἰς ἑμαυτὸν ἐκ τοῦ σώματος καὶ γινόμενος τῶν μὲν ἄλλων ἔξω, ἑμαυτοῦ δὲ εἰσῶ, θαυμαστὸν ἡλίκοις ὄρων κάλλος, καὶ τῆς κρείττονος μοίρας πιστεύσας τότε μάλιστα εἶναι...»

² III, 6, 6, 71-74 «Истинное пробуждение — встать из тела, а не с телом... истинное пробуждение — совсем избавиться от тела...»

³ I, 6, 6, 9 «разделение души и тела»

еще жить в фаларийском быке, они не глядели в лицо смерти. Они вслед за Аристотелем утверждают, что на пытке и при великих потерях человек не может хорошо жить. Друзья Иова, которые тоже только понаслышке знали о том, что такое фаларийский бык, также пришли убеждать доводами разума того, над кем стряслись великие беды. И они красноречиво говорили о великой покорной необходимости душе. И они разделяли уверенность эллинов в том, что Провидение печется не об отдельных людях, до которых ему дела нет, а о целом, — как то с очевидностью явствует из строя мироздания. Иов не внял их убеждениям, и Творец, если верить св.Писанию, оправдал его. И Плотин перестал верить очевидностям, которые ему не нужны, отказался от «доказательств», которые ему уже тоже не нужны — и тогда он «проснулся» — увидел, что и сама Истина тоже не нуждается в доказательствах и не хочет быть очевидной. Когда человек добивался истины, общей для всех, истины принудительной, тогда волей-неволей приходилось принимать условия, поставляемые разумом. Разум тем и силен, тем и прельщает, что он дает истины для всех. И нужно действительное, настоящее пробуждение, нужен какой-то сверхъестественный внутренний толчок, от которого преображается все существо человека, чтобы почувствовать ту Истину, которая живет вне самоочевидностей, самоочевидности поборают и преодолевает и совершенно о каких бы то ни было доказательствах забывает. Разве знал Иов, что Творец примет его сторону, когда так запальчиво возражал своим благоразумным друзьям? Разве мог Плотин хоть что-нибудь ответить греческой мудрости, которая ему намекала, что Провидение заботится о целом, а не об отдельных частях? Как прежде, так и теперь все доказательства и все очевидности были на стороне умеренного Аристотеля. Человек, все равно будет ли он рабом или царем, неучем или философом, бездарностью или гением, не бывает предметом заботы и попечения судьбы. То, что открывалось Плотину в минуту пробуждений — его «κρείττονος μοίρας»¹, было так же неосновательно, как и жалобы той жалкой черепахи, которую раздавил хор, т.к. она не свернула с дороги². Вся человеческая мудрость этому учила, сам Плотин так говорил, и на этих очевидных и доказанных данных строил основные части своей философии — и этику, и теорию познания, и онтологию, и теодицею. Он ведь все-

¹ лучшая участь

² II. 9, 7, 36-38 «οἷον εἰ χοροῦ μεγάλου ἐν τάξει φερομένου ἐν μέσῃ τῇ πορείᾳ αὐτοῦ χελώνη ληφθεῖσα πατοῖτο οὐ δυνηθεῖσα φυγεῖν τὴν τάξιν τοῦ χοροῦ» (Как если бы черепаха, находящаяся на пути большого хора, продвигающегося строем, была раздавлена им из-за того, что не смогла избежать торжественного шествия).

гда хотел иметь знание и давать людям знание. А теперь, вместо знания, такие ни на чем не основанные утверждения, как его *praestantioris sortis*¹. Правда, часто, очень часто, по старой, неискоренимой привычке он преподносит свои утверждения в форме обязательных суждений, хотя ни *ἀνάγκη*², ни *φύσις*³ нет тут никакой, и все происходит вопреки и природе, и необходимости. Скажет *φύσεως ἀνάγκη*⁴ или что-либо в этом роде, и может показаться, что это тот же Плотин, который мирил Аристотеля с Платоном, и что он по-прежнему готов принять человеческую этику вместо божественного бытия, что ему все по-прежнему мерещится, что наша справедливость и наша умеренность прекраснее, чем утренняя и вечерняя звезда, что и для него, как для стойков, все, что от нас — хорошо, и что не от нас — дурно или безразлично, что он забыл и фаларийского быка, и неумолимую *φθώρα*⁵, и по примеру Аристотеля осторожно обходит те пределы, где бродят ужасы. Но все это кажется только потому, что мы хотим слушать и следовать за Аристотелем, ибо истина Аристотеля видна (очевидна) и потому доказуема. Истина же Плотина — он сам об этом не раз говорит — не видна, стало быть, недоказуема и совершенно не связана с обыкновенными истинами. Если он все же пытается ее вывести, как выводят все наши человеческие истины, то лишь потому, что его к этому обязывает его положение. Плотин был ведь учителем, главой школы. И потому, возвещая самые необыкновенные вещи, он старается иметь вид человека, который строго держится установленных традиций. *Φύσεως ἀνάγκη* вы встречаете у него и тогда, когда он говорит о самых обыкновенных вещах, и тогда, когда он говорит о своем «неизреченном», т. е. о том, о чем именно потому нельзя ничего сказать, что оно происходит вопреки естеству и всем необходимым, открытым греческой мудростью в мире.

«Πάντα γὰρ ὀρέγεται ἐκείνου καὶ ἐφίεται αὐτοῦ φύσεως ἀνάγκη, ὥσπερ ἀπομακρυμμένα, ὡς ἄνευ αὐτοῦ οὐ δύναται εἶναι»⁶. Разве это верно? Разве действительно все стремятся к Нему? И все вспоминают, что без Него они существовать не могут? И что это необходимо, что это естественно, в порядке вещей? Скорее обратное, никто о Нем не помнит, никто к Нему не стремится, ибо по

¹ лучшая участь

² необходимости

³ природы

⁴ естественная необходимость

⁵ гибель

⁶ V. 5, 12, 7-9 «Все стремятся к этому и его желают по естественной необходимости, как будто предчувствуя, что без него существовать не могут».

своей природе и в силу необходимости люди забывают о Нем, и стремятся только к тому, что в их власти. Не думайте, что это я толкую по-своему Плотина. В предыдущей главе той же книги 5 он сам это говорит: «Но не ищи постичь его смертными глазами, как это тебе предлагает разум... То, что обыкновенно кажется наиболее существующим, существует наименее... Нужно противиться общепринятому: иначе мы будем отвергнуты богом»¹. Но ведь «смертные глаза» и «общепринятое» — это и есть то, что существует всегда и по необходимости, и в чем люди видят самую природу бытия, какой ее им показывает их разум. И поскольку люди об этом помнят, им не дано вырваться на свободу, «они подобны тем людям, которые всю жизнь свою спали крепким сном и которым только их сны кажутся заслуживающими доверия и несомненными, если кто их и разбудит, то им покажется невероятным то, что увидят они открытыми глазами, и снова затем они уснут»². Но где найти критерий между сном и действительностью? Кто спит, кто бодрствует? Аристотель уверенно ответит вам на этот вопрос: у бодрствующих один общий мир, и каждый сновидец живет в своем собственном мире. Плотин не может принять критерий Аристотеля. Он только что заявил нам, что общему, общепринятому нужно противиться, иначе мы будем отвергнуты богом. А если этого критерия нет, то кто же разрешит наши сомнения? И может ли быть разрешение — когда сам λόγος, к которому до сих пор за разрешениями обращались и который разрешения давал, признается незаконным судьей, обладающим смертными, лживыми глазами.

XV

Плотин всегда слышит, и хорошо слышит, что ему говорит разум, очень часто повторяет и даже записывает то, что от разума слышит, но далеко не всегда считается с его требованиями. Лучше сказать, когда хочет — считается, когда не хочет, не считается. Или даже более того: все, что ему подсказывает разум, Плотин бережно охраняет, зная, что может пригодиться для житейских надобностей не только на базарах и площадях, но и в ака-

¹ V. 5, 11, 5-12 «Μὴ τοίνυν ζῆτει θνητοῖς ὀμμασι τοῦτο, οἷόν φησιν ὁ λόγος... Ἄ γὰρ ἠγεῖται τις εἶναι μάλιστα, ταῦτα μάλιστα οὐκ ἐστι... ὥστε ἀντιστρεπτόν τὴν δόξαν· εἰ δὲ μή, καταλείψει ἔρημος θεοῦ»

² V. 5, 11, 19-22 «οἷον εἰ τινες διὰ βίου κοιμώμενοι ταῦτα μὲν πιστὰ καὶ ἐναργῆ νομίζουσιν τὰ ἐν τοῖς ὄνειρασιν, εἰ δὲ τις αὐτοὺς ἐξεγείρειεν, ἀπιστήσαντες τοῖς διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀνεωρότων ὄφθεισι πάλιν καταδρθάνοιεν».

демиях, даже в храмах. Но когда человек остается наедине с Богом, разум ему ничего дать не может, хуже — становится помехой. «Мышление не есть первое ни по своему бытию, ни по качеству, но второе, и порожденное уже после того, как существовало добро и как порожденное движется к нему (добру). Подвинутое — оно познало. Ибо мыслить значит двигаться к добру, стремиться к нему»¹. Кто дал право Плотину выставлять такого рода утверждение, ставить добро над мышлением? Не разум, конечно. Мы знаем, что разум никогда никому не уступит прав своих. Плотин даже, когда нужно было, еще резче выражался: «Превзойти разум значит пасть ниже его»². Или о диалектике: «Нельзя полагать, что она состоит из бессодержательных правил или положений, она относится к действительно существующему»³ и т.д. И мы знаем, какие услуги диалектика оказывала философии. Она ведь принуждала человека верить, что нужно глядеть не на отдельные части, а на все, она требовала от него бесстрастия пред бедами, запрещала ему всякого рода дерзновения и т.д. Плотин, как и Эпиктет, все ссылаясь на разум, утверждал: «μία δὲ ὁδὸς πρὸς τοῦτο, καταφρόνησις τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν»⁴. Все это было по-видимому истинной, пока душа Плотина (или когда душа Плотина) спала крепким сном. Но наступает пробуждение, и вместе с пробуждением недоверие ко всем прежним приемам и методам искания и к тем самоочевидным началам, которыми разум наделяет ищущего человека. Пробуждение есть ведь именно то, что совершенно исключается прежними приемами искания, ибо, по самому существу своему, как некий толчок изнутри, находится в непримиримом противоречии с диалектикой, с непрерывным естественным саморазвитием человеческого духа. Все, что до сих пор казалось истиной, представляется каким-то «*assoupissement et enchantement surnaturel*»⁵, выражаясь языком Паскаля, и пробудиться от навязанного сверхъестественными чарами сна собственными силами человеку не дано, как не дано ему было из ничто, в котором он пребывал до своего рождения, превратиться в живое, чувствующее существо. И тут разум (νοῦς) с его самоочевидными принципами, которые всегда руководили человеком и подвигали его вперед, ста-

¹ V. 6, 5, 5-9 «Τὸ γὰρ νοεῖν οὐ πρῶτον οὔτε τῷ εἶναι οὔτε τῷ τίμιον εἶναι, ἀλλὰ δευτέρον καὶ γενόμενον, ἐπειδὴ ὑπέστη τὸ ἀγαθὸν καὶ γενόμενον ἐκίνησε πρὸς αὐτό, τὸ δ' ἐκινήθη τε καὶ εἶδε. Καὶ τοῦτό ἐστι νοεῖν, κίνησις πρὸς ἀγαθὸν ἐπιεμένου ἐκείνου»

² II. 9, 9, 51-52 «τὸ δ' ὑπὲρ νοῦν ἤδη ἐστὶν ἔξω νοῦ πεσεῖν».

³ I. 3, 5, 10-12 «οὐ γὰρ ψιλὰ θεωρήματά ἐστι καὶ κανόνες, ἀλλὰ περὶ πράγματά ἐστι».

⁴ «Только один путь к этому — презирать то, что не от нас зависит».

⁵ «дремота и сверхъестественная заколдованность».

новится на дороге. Нужно, если хочешь продвинуться вперед, отказать разуму в повинении, нужно, чтоб разум, прежде повелевавший, сам стал повиняться. «Ἦ δὲ τὸν νοῦν οἶον εἰς τοῦπισω ἀναχωρεῖν καὶ οἶον ἑαυτὸν ἀφέντα... εἰ ἐθέλοι ἐκείνο δρᾶν, μὴ πάντα νοῦν εἶναι»¹. Опять приходится спросить: возможно ли такое? Как мог забыть Плотин данный им торжественный обет вечного послушания? И что случилось с гордым заявлением разума, что он никогда не уступит своего места чему-либо иному или в ином роде, чем он сам? На место разума поставляется что-то другое, и в этом другом Плотин видит свою последнюю цель. Его он освобождает от власти разума. «Τίτι γὰρ τὸ τίμιον ἔξει, τῇ νοήσει, ἢ αὐτῷ»², спрашивает он. И без колебания отвечает: если от разума, значит он сам по себе ничего не стоит, если от самого себя, стало быть, до всякого мышления совершенен и не мышление его делает совершенным»³. В свой черед и мы вправе предложить Плотину вопрос — что дает право ему так говорить? Освободить кого бы то ни было от власти и суда мышления? Но сколько бы мы ни спрашивали — ответа мы не получим. Плотин, в том состоянии пробуждения, в котором он сейчас находится, наших вопросов не слышит, он praestantioris sortis⁴, так же как и тот Бог, о котором он нам рассказывает. И одна из существеннейших прерогатив — это право не давать ответа, не отвечать, не оправдываться, — иначе выражаясь, неподсудность обычным инстанциям. Мы спрашиваем, требуем и уверены, что на наши обоснованные вопросы мы получим ответы и что наши справедливые требования будут удовлетворены. Тому нас научил сам Плотин и все те, у которых Плотин учился. И так оно всегда было до рокового «пробуждения». Но после «пробуждения» с Плотиним нет никакой возможности сладить. Он не поддается увещаниям, не слышит возражений. И в самом деле, какие доказательства, какие увещания возможны, когда νοῦς и λόγος, до сих пор бывшие законодателями и судьями, лишены всех своих прав? С тех пор, как Плотин убедился, что он κρείττονος μοίρας⁵, и с тех пор, как увидел он свое θαυμαστὸν ἠλίκον κάλλος⁶, он стал совершенно равнодушен к тому, как будет судить о нем разум и те, кто от разума получил

¹ III. 8, 9, 29-32 «Разум должен как будто вернуться назад и отдать себя... если хочет туда смотреть, он уже не должен быть совсем "разум"».

² VI. 7, 37, 7 «От чего зависит его цена — от разума или от самого себя?»

³ VI. 7, 37, 8-10 «Εἰ μὲν τῇ νοήσει, αὐτῷ οὐ τίμιον ἢ ἦττον, εἰ δὲ αὐτῷ, πρὸ τῆς νοήσεως ἐστὶ τέλειος καὶ οὐ τῇ νοήσει τελειούμενος.»

⁴ наделен лучшей частью

⁵ наделен лучшей частью

⁶ столь великую красоту

κανόνες¹ и судит по этим правилам. Прежде он верил, что βέλτιον κρίνειν ἢ κατὰ πάθος², и пока он верил, он слушался и подчинялся, как слушаются и подчиняются этим правилам все люди. И пока были правила, была и единая, общая для всех истина. Но пришло пробуждение, и угрозы законодателя и судьи лишились своей силы. Разум грозил: «ὁδὸς γὰρ εἰς φθορὰν ἢ παραδοχὴ τοῦ πάθους· καὶ τοῦτῳ τὸ φθείρεσθαι, ᾧ καὶ τὸ πάσχειν»³, — казалось бы, всеми силами нужно избегать и πάθος⁴, и πάσχειν⁵. Но увидел Плотин свою высшую и последнюю красоту и забыл обо всех предостережениях, словно их никогда бы и не было. «Таковы чувства, которые возбуждает прекрасное — удивление, радостный восторг, желание и страстное возбуждение»⁶. Даже ἡδονή⁷, которое он, вслед за Платоном, так бесповоротно осудил на призрачное бытие или даже на совершенное небытие, даже ἡδονή начинает подавать признаки жизни. Диалектика обманула или была обманута сама: вовсе не все, что относится к роду, относится к виду. Об этом прежде Плотин не догадывался. Он говорил: «Порожденное должно быть однородно с порождающим, но более слабым, потому что родовые черты при нисхождении стираются»⁸. Оказывается, что иной раз, а может быть и часто, может быть всегда, от того, что родовые черты стираются — выходит не слабее и хуже, а сильнее и лучше. Ἠδονή вообще — включает в себя многое такое, что отвращает от него человека. Но некоторые виды ἡδονή, как и некоторые виды «чувств», влекут к себе человека с непреодолимой силой. А бедный разум не умеет угадать, когда и за какими радостями стоит идти человеку и за какими идти не стоит. Диалектике не дано господствовать над неожиданным, ей дано только «выводить». Разум растерял свою κανόνες⁹, и беспомощный и бессильный не знает, что ему предпринять. А Плотин ликует, точно он только этого и ждал. Его тайные предчувствия не обманули его. Разум, обольстивший его и обольщавший всех до него живших мудрецов Эллады, не всемогущий царь и не

¹ правила

² лучше судить, чем пассивно воспринимать

³ III. 6, 8, 9-11 «Принимать страсть — это уже путь к гибели. И тому гибель — у кого страсть».

⁴ страсть

⁵ страдать

⁶ I. 6, 4, 15-17 «Ταῦτα γὰρ δεῖ τὰ πάθη γενέσθαι περὶ τὸ δ τι ἂν ἢ καλόν, θάμβος καὶ ἐκπληξιν ἡδέϊαν καὶ πόθον καὶ ἔρωτα καὶ πτόησιν μεθ' ἡδονῆς»

⁷ удовольствие

⁸ III. 8, 5, 24-25 «ὁμογενὲς γὰρ αἰεὶ δεῖ τὸ γεννώμενον εἶναι, ἀσθενέστερον μὴν τῷ ἐξίτηλον καταβαῖνον γίγνεσθαι»

⁹ правила

благодетель человечества. Он может много сделать и очень много делал полезного и прекрасного. Но за известной чертой — там, где начинаются внезапности — он становится совершенно бессилён, и ему совсем нечего делать. Приходилось либо, вслед за Аристотелем, признать эту черту предельной, либо, вместе со стоиками, подменить мир бытия реального миром бытия морального. Так и поступал, повторяю, Плотин, пока душа его, связанная оковами тела, была погружена в глубокий сон. Он тщательно закрывался от всего проблематического законом противоречия, он отсиживался от фаларийского быка за твердынями стоических добродетелей. Но чем настойчивее проводил он в жизнь принятую им от учителей мудрость, тем дальше он уходил от той цели, которую он себе поставил. В начале было бессилие, потом в середине как будто получилась видимость силы в связи с обретенным им жезлом Меркурия — но это была только видимость, призрак, пернатое сновидение, которое сменилось тяжелым, невыносимым кошмаром, который был завершением старого и началом нового. И единственным спасением от кошмара было пробуждение, т.е. ни на чем не основанное сознание, что «действительное» — не есть «разумное» и «разумное» не есть «действительное». Можно ли объяснить, можно ли оправдать такое пробуждение? Как объяснять, как оправдываться, и пред кем? Пред разумом — но разве можно рассчитывать, что разум оправдает того, кто свалил его с занятого им престола? Если бы Плотин еще нуждался в оправдании — дело его было бы безнадежно проиграно. Недаром он сам говорил нам, что никогда разум не уступит своего места чему бы то ни было и кому бы то ни было, иному по своей природе, чем он сам. И действительно не уступит. Спор, тяжба, убеждения тут невозможны. Тут возможен только страшный и последний бой *ἄϋδν μέγιστος καὶ ἔσχατος*¹ живого человека с правилами, принципами, законами, из них же и создалось то *assoupissement et enchantement surnaturel*², которые греческая философия завещала миру как предельную, высшую мудрость. Все, что называлось истиной, все, что обладало огромной, непреодолимой силой принуждения, вдруг само становится призрачным, слабым, несуществующим. Путь к «последнему», к «единому» — не диалектика, которая дает истину, вожатый — не разум, который доказывает и принуждает. Нужно взлететь над знаниями, преодолеть прину-

¹ I. 6, 7, 31 «самая великая и самая последняя борьба»

² «дремота и сверхъестественная заколдованность» (точная цитата: Pascal, *Pensées*, frag.327, p.248, §1: «Enchantement incompréhensible et assoupissement surnaturel»).

дительную истину, нужно научиться не слушать зазываний сирены разума. И можно преодолеть принудительную истину, можно взлететь над «знанием», есть у души крылья для того: когда она пробуждается от навеянного на нее разумом сна, она перестает в этом сомневаться. Она, действительно, κρείττονος μοίρας¹, ей вовсе не нужно, как ее убеждал разум, диалектическим путем, шаг за шагом, ползти по проложенной предыдущими поколениями колее, покоряясь «закону» непрерывности и пред ним и другими такими же, как и он, законами вечно оправдываясь во всех своих помыслах, желаниях и движениях. Не нужно ей справляться, что в ее власти, что не в ее власти, что соответствует строю «целого», что «не соответствует», что изменчиво, что неизменно. Даже γένεσις² вовсе для пробудившейся души не знаменует собой неизбежное φθώρα³. Все это было прежде, тогда, когда разум был наделен всей полнотой власти κρείττονος μοίρας, когда его называли царем, властелином и когда верили, что он один есть источник всех благ и на земле, и над землей. Проснувшаяся душа разбила волшебные чары. Не разум с его правилами и угрозами владеет миром. Не он есть царь и властелин. Он сам отступник, он хитростью и обманом завладел непринадлежавшим ему престолом. И чтоб сохранить за собой власть, он убедил доверчивых людей, что они в мир явились вопреки высшей воле, что их рождение было нечестием и дерзновением, за которое они справедливо казнятся смертью, что Бог забыл обо всем, им порожденном, и что спасение лишь в том, чтоб отвернуться от всего, созданного Богом, от всего, имеющего реальное бытие, и всецело замкнуться в бытии идеальном или моральном.

XVI

Но неужели божественный Платон заблуждался? Стать μοβλοуος⁴, освободиться от власти и чар разума вовсе не такое большое несчастье, как ему казалось. Или и ему это не казалось? Он так говорил только ученикам своим, которые требовали от него принудительной, обязательной для всех истины? Невозможного в таком предположении нет ничего. Ученики ждали от учителя готовую, законченную, для всех одинаковую и при этом бесспорную

¹ наделена лучшей участью

² рождение

³ гибель

⁴ разумоненавистник

и самоочевидную истину — а источником таких истин всегда являлся и сейчас является разум. Допустимо, что и сам Платон в иные тяжелые минуты — после казни, например, Сократа, «лучшего из людей» — шел к разуму за утешением и успокоением и находил временное облегчение от нестерпимой боли в его хоть ограниченных, но все же как будто спасительных истинах. Последнее предположение кажется наиболее вероятным. Он при всех своих дерзновенных взлетах никогда не мог окончательно преодолеть внушенную ему разумом идею «необходимости», и через него эта идея стала доминировать во всей древней философии. Даже мысль о смерти, которая была исходным пунктом всех его размышлений, не могла справиться у него с «естественным порядком вещей». Ибо и ее он ставил под контроль и надзор λόγος'а. Только у Плотина, который впервые за тысячу лет существования греческой философии почувствовал со всей силой, что смерть и разум навеки непримиримы, как непримиримы, тоже навеки, разум и любовь, мы встречаемся с попыткой совершенно отречься от даров и услуг разума. Все усилия его творческого гения направлены к тому, чтоб найти истоки жизни за пределами разумных достижений. И если Платон только лишь изредка, время от времени говорит о смерти, Плотин только одной смертью и вдохновляется. И вообще, разве можно знать что-либо о смерти, разве смерть — для того, кому дано было, как Плотину, увидеть ее — не есть вызов всякому знанию? Что разум может о смерти рассказать? Что знает он о ней? Для разума смерть есть естественный, неизбежный конец, а неизбежности, хочешь не хочешь, нужно покориться, ибо если не пойдешь добровольно, потащут силой. Плотин делает попытку на первый взгляд самую нелепую, почти безумную. Он пробует заставить разум и смерть обменяться ролями. У него не разум судит смерть, а смерть начинает судить разум. Приговоры нового суда так же необычны, как и сам суд. Мы уже отчасти были свидетелями того, как смерть судит истины разума. Все, что казалось непоколебимым, прочным, неизменным, — начинает колебаться, шататься, расплываться. Даже идея вечного, премирного порядка, без которого, как все были убеждены, невозможно не только мышление, но и бытие, — даже эта идея становится призрачной, как и идея единого целого, ради которого отдельные части только и созданы были, оказывается ложной и выдуманной. И, наоборот, затравленное разумом, сведенное до положения совершенного ничтожества «отдельное» — оно признается отмеченным судьбой для высших целей.

В переводе на язык Св.Писания это значит: Бог создал человека и благословил его. Или еще: разум учил, что сотворенные

им сущности, умеренность и справедливость, лучше, чем утренняя и вечерняя звезда. Он шел еще дальше: он в силу присвоенной ему власти судить о том, что хорошо и что дурно, решал, что умеренность и справедливость хороши, а утренняя и вечерняя звезда только фантомы и ложные отображения, ибо сегодня они есть, завтра их нет, для одного они видны, для другого — не видны. И все то, что не от него, не $\omega\phi\eta\mu\acute{\iota}\nu$ ¹, все есть зло, ибо оно дано и оно может быть отнято. Против этих доводов разума — нет и не может быть никаких возражений у человека. Разумными доводами с ними справиться нельзя, оттого-то Плотин ищет и находит неожиданного союзника в том, чего люди боятся больше всего на свете. Точно он прочел в книге книг: если вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Знал ли он эту вынесенную от варваров книгу? Может быть, Библия ему никогда и на глаза не попадалась — но он учился у Аммония вместе с Оригеном, он читал произведения гностиков и с гностиками полемизировал. Загадочным образом ни у одного из современных ему христианских богословов вы не встречаете даже попытки увидеть в смерти освободителя от истин разума. Все видят в ней «наказание» за грех Адама. Даже бл.Августин, который так много и так красноречиво говорил о «благодати», даже и он никогда не умел вскрыть истинный смысл библейского учения о грехопадении. Он часто чувствовал горечь плодов древа познания добра и зла. В том знаменитом отрывке, в котором он торжественно отрекается от языческих добродетелей — *proinde virtutes, quas habere sibi videtur per quas imperat corpori et vitiis... rettulerit nisi ad Deum, etiam ipsae vitia sunt potius quam virtutes*². Или раньше: *si Deo animus et ratio ipsa non servit sicut sibi esse serviendum ipse Deus praecepit, nullo modo corpori vitiisque recte imperat*³ — он все же не в силах освободиться от традиционного эллинского понимания добра и зла. Покорные закону, правда Божьему, но все же закону, это добрые. А непокорные — злые. И «грех» для него не в том, что человек вкусил от древа познания, а в том, что он ослушался приказания. Августин, как и весь древний мир, не выносил мысли о свободе; ему казалось, что пред лицом Бога — стремление к свободе есть величайшее нечестие. Он был убежден, что Бог, как и земные дес-

¹ не в нашей власти (на полях Шестов добавляет: «Он отождествлял себя с "нами": это один из его излюбленных приемов убеждения»).

² Бл.Августин. «De civitate Dei», XIX, 25 «оттого, что добродетели, которые она думает иметь и посредством которых она владеет телом и пороками, если она не вверит их Богу, эти самые добродетели скорее пороки, чем добродетели».

³ Там же: «Если душа и сам разум не служат Богу, как Бог им заповедал, они никоим образом не управляют ни телом, ни пороками, как надо».

поты, требуют себе повиновения. И он, который так восстал против Пелагия, никогда не мог преодолеть в своей душе пелагианства, как не могли ни западные, ни восточные отцы церкви преодолеть гностицизма. Получается что-то загадочное, в своем роде совершенно непостижимое. Христианство, имевшее своей миссией передать европейским народам Истину Откровения, отступает пред эллинскими критериями истины и добра и всячески старается оправдать и примирить Истину Откровения с требованиями эллинского разума и эллинской совести — и это в то время, когда последний великий философ эллинизма Плотин всем существом своим ощутил, что эти критерии, которые вырастил и лелеял столько столетий его народ, обманули возлагавшиеся на них надежды. И еще загадочнее, если вспомнить, что эллинизированное христианство, отдавшее Св.Писание на суд разума, овладело миром — а Плотин остался одиноким философом, и теперь остается одиноким, хотя все его прославляют. Историки спорят о том, кто вдохновлял средневековую мысль — Аристотель или Плотин. Спор бесплодный, потому что средневековые питалось и тем и другим, но несомненно, что организовал духовную жизнь католичества Аристотель и что Плотина принимали лишь постольку, поскольку его свободолюбивые устремления удавалось истолковывать так: *sicut Deus* (иными словами, *ratio*) *sibi esse serviendum praesepit*¹. Августин вдохновлялся Плотиним, и восточные отцы церкви вдохновлялись им. Но история неуклонно делала свое дело, и даже экстазы и выхождения Плотина, его бегство единого к Единому — умела использовать, как того требовал разум, для нужд «целого», т.е. для нужд общественных и социальных. Плотин, обработанный и истолкованный историей, сейчас приемлем и для современного ума, который трепещет при одной мысли, что он как-нибудь не угодит завещанным ему эллинской мудростью истинам. Даже «верующие» люди не дерзают прочесть то, что рассказано в Библии. Они говорят такие слова, как «откровение», «грехопадение», «благодать», они произносят даже целые фразы: «Бог создал человека по своему образу и подобию», «Бог благословил человека», — но кто посмеет повторить за Плотиним его: «κρείττονος μοίρας» или его «ἐυρήγορας»². Разве Плотин имеет «судьбу» — разве лошадь, собака или обезьяна не равноправны пред природой с человеком? Или разве камень не так же вправе рассчитывать на пробуждение, как и живший полторы тысячи лет

¹ Бл.Августин. «De civitate Dei», XIX, 25: «...как Бог [...разум] заповедал ему служить...»

² «лучшая участь» или его «пробуждение»

тому назад философ? В Библии так сказано?! Но ведь Библия должна оправдаться перед разумом? Ведь разум судит Библию, а не Библия разум? И откровенная истина, если она хочет утвердиться в своих правах, должна представить доказательства, что она и на самом деле является одним из видов той родовой истины, которая добыта на путях диалектического искания.

XVII

В противоположность тому, что делали эллинизирующие католические богословы, всеми силами стремившиеся оправдать Откровение перед разумом, задача Плотина целиком сводится к тому, чтоб приобщиться к высшей Истине, минуя все те заставы и рогатки или критерии, которые понаставили люди (или не люди). Эллинизирующие богословы оправдывали Откровение перед разумом, Плотин, более опытный в этих делах, оспаривал компетенцию разума. Или, как он выражается, бежит от него «так как в этом мире зло господствует по необходимости, то, если душа желает избежать зла, ей нужно бежать отсюда. В чем же состоит бегство? Стать подобным богу?»¹. Это говорит тот же Плотин, который в других случаях учил: «Зло необходимо в мире, ибо оно есть следствие высших причин? Да, и если бы зла не было, мир не был бы совершенен»². Даже порок полезен: «он не даст нам заснуть в сознании нашей безопасности»³. Но ведь одно дело — бежать от зла, другое дело — принимать зло по тому соображению, что без зла мир был бы несовершенен. Опять «противоречие», которое разуму не удастся никак устранить. То Плотин предлагает покориться необходимости, то он советует бежать от нее. Как живут люди, покорные необходимости — мы все более или менее знаем, и в предыдущих главах об этом было достаточно сказано.

¹ I. 2, 1-4 «Ἐπειδὴ τὰ κακὰ ἐνταῦθα καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης, βούλεται δὲ ἡ ψυχὴ φεῦγεῖν τὰ κακὰ φευκτέον ἐντεῦθεν. Τίς οὖν ἡ φυγὴ; θεῶ, φησὶν, ὁμοιωθῆναι».

² II. 3, 18, 1-3: «Ἄρ' οὖν τὰ κακὰ τὰ ἐν τῷ παντὶ ἀναγκαῖα, ὅτι ἐπεται τοῖς προϋοιμένοις; Ἦ ὅτι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα ἦν, ἀτελεὲς ἂν ἦν τὸ πᾶν.» (На полях Шестов приводит также следующий отрывок: III. 2, 11, 1-6 «Πότερα δὲ φυσικαῖς ἀνάγκαις οὕτως ἕκαστα καὶ ἀκολουθίαις καὶ ὅπη δυνατὸν καλῶς; Ἦ οὐ, ἀλλ' ὁ λόγος ταῦτα πάντα ποιεῖ ἀρχῶν ... οὐ βουλόμενος πάντα ἀγαθὰ εἶναι, ὥσπερ ἂν εἰ τεχνίτης οὐ πάντα τὰ ἐν τῷ ζῳφῷ ὀφθαλμοῦς ποιεῖ» — «Правда ли, что вещи случаются в силу естественной необходимости и что они есть как можно лучше? Нет: своей властью λόγος все делает... не желая, чтобы все было хорошо, как художник, который не все в живом существе изображает, как глаза»).

³ II. 3, 18, 8 «μὴ ἐώσαν ἐπ' ἀδείας εἶδεν.»

Но как бежать?¹ Плотин говорит, что нужно уподобиться Богу, что необходимости не покориться нельзя, и доказательства его неопровержимы. Разве вправе он ссылаться на то, что зло не дает нам спокойно спать. Это «соображение» очень рискованное. До сих пор разум выступал в другой роли. Он обещал и спокойствие, и праведный сон — естественную награду за мудрость. Аристотель такого рода оправдание зла не принял бы. Достаточно того, что говорил Платон: зло существует по необходимости, ибо, если есть добро, то должно быть и противоположное добру². Но и Платон не довольствовался этими диалектическими заключениями. Когда какἰα и τὰ κακὰ³ убили Сократа, и он «возопил» — бежим из этого мира. Плотин, очевидно, еще мучительнее испытывал невыносимость зла, и потому он позже часто и настойчиво повторял, что мудрец должен быть спокойным, уравновешенным — что бы в мире ни произошло. И именно потому, что спокойствие было у него только наружным — он сам признался, что ему не дает спать ἡ κακἰα⁴ — он и отважился на отчаянную борьбу с властелином вселенной — разумом, и с грозной необходимостью, именем которой разум овладел миром: «Великая боль есть последний освободитель духа» — она рождает в нас последнее, самое страшное и самое загадочное подозрение. И эта боль, которую так искусно разводят руками, по примеру будто бы стойков и самого Плотина, все те, кто у них учился — она и внушила Плотину его страшное для всех и непонятное подозрение к самому разуму. Аристотель отвернулся от фаларийского быка, как отворачивались от головы Медузы⁵. Все размышления Плотина были непрерывной борьбой с этим страшным внушением древнего мира. «Примириться» со злом Плотин не мог и не хотел — примирение удел учеников, тех, которые берут истину у других. Но как побороть его? Как «избегнуть» зла? У разума спрашивать советов бесполезно. Он сам не знает, что предпринять против зла и, не желая открыто признаться в своем бессилии, — предлагает терпеть и терпение называет высшей добродетелью, мудростью, рассчитывая, что за его похвалу люди готовы будут отдать весь мир. Он доказывает, когда нужно, что и зла настоящего нет, что

¹ Начиная со слов «То Плотин предлагает...» Шестов зачеркнул весь пассаж и написал на полях: «...Разум приводит свои обычные доказательства».

² I. 8, 6, 16-17 «τὰ γὰρ κακὰ εἶναι ἀνάγκη, ἐλεῖπερ τοῦναντίον τι δεῖ εἶναι τῷ ἀγαθῷ». Ср. Платон, «Теттет», 176 а 3-6.

³ порок и зло

⁴ порок

⁵ на полях Шестов добавляет: «Спасение от кошмара — в пробуждении, но к пробуждению приводит кошмар. То, что "не от нас зависит" — не ἀδιόφορον, а самое важное — το τιμίωτατον».

есть только видимость зла, и что весь мир наш не стоит того, чтоб о нем радоваться или огорчаться. И если бы Плотин последовал советам разума — его философия была бы достойным логическим завершением тысячелетнего развития эллинской мысли, если бы он действительно оставался таким спокойным и невозмутимым пред ужасами «зла». Его онтология была бы этикой, а этика его осталась бы «моралью рабов», т.е. существ, назначение которых — повиноваться. Но с тех пор, как он проснулся, когда ему внезапно открылось, что он κρείττονος μοίρας¹, что Бог его создал и благословил на бытие — им овладевает такое нетерпеливое отвращение к разуму, что он уже даже не считает больше нужным привязывать себя, как Одиссей, к мачтам, чтоб не соблазниться его сладкими напевами. Что б ему разум ни говорил, на все у него один ответ: нет, нет и нет. Все лучше, чем уготованное разумом идеальное бытие. Сама смерть, которой нас разум научил бояться, больше обещает, чем необходимость. Еще Сократ постиг, что никто не знает, что такое смерть, — а что такое необходимость и покорность необходимости, всякий знает или, по крайней мере, знает тот, кто, как Плотин, пытался верить ей свою судьбу и судьбу вселенной. Чтоб преодолеть необходимость, Плотин готов вступить в союз с кем хотите — даже со смертью, даже с безумием. И вступает. И от смерти он узнает первую великую тайну: путь к освобождению идет через ужасы. Через нее же он узнает вторую тайну: доказанные, очевидные истины навсегда отрывают человека от Бога. И сам Бог, Его бытие доказательству не подлежит — все подлежащее доказательству и доказательствам находится в ведении разума, а можно ли допустить, чтоб судьба Бога зависела от разума? Добро, если разум своей волей решает, быть ли Богу или не быть, может быть, что он скажет «быть» — но может он скажет и «не быть»? Разум имеет за собой огромные, бесчисленные заслуги — Плотин этого не оспаривает. Да кто это может оспаривать? Но разум же сам признает ограниченность сил своих. Ведь это он научил человека думать, что есть «зависящее от нас» и «независящее от нас», ведь это он научил нас, что Бог, как кукушка, забывает им порожденных, что зло существует по необходимости и т.д., и т.д. Как же и по какому праву он, столь ограниченный в своих возможностях, посмел претендовать на всевластие? И как можно верить судьбу мира тому, кто так бессовестно узурпирует не принадлежащие ему права? Вверившись разуму, греческая философия незаметно для себя и для других совершила величайшее пре-

¹ наделен лучшей участью

ступление — поставила на место действительного бытия бытие идеальное и превратила свою онтологию в этику. Плотин это почувствовал с особой силой, когда ему пришлось столкнуться с учением гностиков. Гностики были наиболее смелыми и последовательными из христианских сект второго столетия. Для них тот, кто сотворил мир — был дурным Богом, и тот мир, который был дурным Богом сотворен, был дурным миром. И если признать суд разума единственным и окончательным, нет никакого способа отвергнуть гностическое учение. Мир, в котором зло существует по необходимости, есть мир дурной, и Бог, который сотворил такой мир, есть дурной Бог. Хитроумные теодицеи не спасут нас от такого вывода. Закон противоречия есть $\beta\epsilon\beta\alpha\omega\tau\acute{\alpha}\tau\eta\tau\omicron\nu\ \acute{\alpha}\rho\chi\acute{\omega}\nu$ ¹ — разум добровольно от него не отступится, как он не отступится добровольно от самого себя. И пред Плотинем возникает новая труднейшая задача. Если он хочет проснуться от призрачного идеального бытия и вернуться к бытию действительному, ему приходится поднять вопрос о том, точно ли разум дает нам истину, т.е. так же реформировать теорию познания, как он реформировал этику и онтологию. До сих пор думали, что знание дает нам истину, что истина и знание разные только названия одного и того же. Сам Плотин, как мы помним, так думал и так говорил — но тоже сам Плотин говорит и совершенно противоположное. Его упрекнул в противоречии? На этот раз упрек вряд ли заденет его. И вообще, возражения, к которым он так чуток в своем нормальном состоянии, перестают на него действовать, когда он «просыпается к самому себе»². Даже закон противоречия, на который он всегда так уверенно опирался, без которого он не смел шагу ступить, когда искал и находил «знание», потерял над ним свою власть. Он сам $\kappa\rho\epsilon\iota\tau\tau\omicron\nu\omicron\varsigma\ \mu\omicron\iota\rho\alpha\varsigma$ ³, он сам повелевает — а закон противоречия есть только орудие в его руках. Повелит Плотин — и закон противоречия может и должен осуществлять свои права, Плотин передумал, и закон противоречия обессилен и перестает быть законом. То же и с другими законами — достаточного основания, например. Или с бесспорными истинами — из ничего не может сделаться ничего, однажды бывшее не может стать небывшим. Даже такой незыблемый принцип, который проходит через всю систему Плотина — породившее лучше рожденного — начинает шататься и в конце концов сваливается. Суждения разума, которые прежде принимались как бесспорные

¹ самый прочный из принципов

² IV. 8, 1, 1 « $\epsilon\upsilon\epsilon\pi\omicron\rho\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma\ \epsilon\iota\varsigma\ \epsilon\mu\alpha\upsilon\tau\omicron\nu\varsigma$ »

³ наделен лучшей участью

и окончательные, становятся сперва спорными, а потом и совсем необязательными, как и оценки разума. Пока разум был последним судьей — он знал, что такое лучшее и что такое совершенное, теперь когда отвергнута теория познания, когда рассеялись самоочевидности разума, диалектика уже не властна над добром и злом, над совершенным и несовершенным, даже над возможным и невозможным. Вся власть перешла к кому? — страшно выговорить: к самому Плотину. Плотин знает, что он предпринимает, с человеческой точки зрения нечто поистине чудовищное, что обыкновенному, сонному сознанию его новая истина покажется всеуничтожающей, но ему все кажется чудесным¹. «Каждый раз, рассказывает он, как душа приближается к бесформенному, она, не будучи в состоянии постичь его, потому что оно не имеет определенности и не получило выражения в точно определяющем типе — она начинает колебаться, ей страшно, что она стоит пред ничто»². Но Плотин преодолевает страх — так, он решительно отказывается от разумного водительства и вверяет свою судьбу чему-то иному, чему он и слов в конце концов не находит. Главная причина нашей неуверенности оттого, что постижение (σύνεσις) Единого дается нам не научным знанием (ἐπιστήμη), не мыслью (νοήσις), как знание других идеальных предметов (τὰ ἄλλα νοητά), но причастием, чем-то высшим, чем знание. Чтоб постичь Единого, нужно возвыситься над знанием (ὕπερ ἐπιστήμην δεῖ δραμεῖν) и никогда не удаляться от того, что есть единое по существу: нужно отказаться (ἀποστήναι) от знания и от предметов знания, — ибо все от Него и через Него, как свет от солнца³. И вот тут-то начинается та великая и последняя борьба, которую предсказывает Плотин каждой человеческой душе — и вместе с тем последний и окончательный разрыв с эллинской философией. Философия Плотина τὸ τιμιώτατον⁴ как находящееся «ἐλέκεϊνα

¹ Заметки на полях: «...Вся власть перешла от принципов (ἀρχαί) к человеку, и не к человеку вообще (ὁ ἄνθρωπος), а к отдельному живому человеку (τις ἄνθρωπος), который "признания" ни от кого не ждет, и к признанию никого...» и далее: «...Сама идея "вечного существа", так прельщавшая "Истина", не нуждается в проверке. Истина "по ту сторону" (ἐλέκεϊνα) всяческих проверок и обоснований: она не нуждается в "признании", не стремится...». Далее: «...Истина существует не милостью разума и не с согласия и изволения его. И по этой, только по этой примете истина отличается от лжи: то, что имеет в себе достаточно сил существовать своей волей, не спрашивая ни у кого и ни у чего согласия и разрешения, то, что равнодушно и к признанию, и к непризнанию, только то есть истина».

² VI. 9, 3, 4-6 «Ὅσῳ δ' ἂν εἰς ἀνείδεον ἢ ψυχῇ ἦ, ἐξὰδυνατοῦσα περιλαβεῖν τῷ μὴ ὀρίζεται καὶ οἷον τυλοῦσθαι ὑπὸ ποικίλου τοῦ τυλοῦντος ἐξολισθάνει καὶ φοβεῖται, μὴ οὐδὲν ἔχη».

³ VI. 9, 4

⁴ самое ценное

ὄν καὶ νοήσεως»¹, к нему же можно придти, только взлетевши над знанием, только отрекшись от него. Не нужно однако думать, что победа Плотина есть окончательная победа, что соблазны разума им навсегда преодолены — и еще меньше нужно думать, что всякому желающему дано воспользоваться достижениями Плотина, т.е. что вы у него можете получить ходячую, разменную монету истины, как это бывает, когда добываются новые научные истины. Пифагор, открывши свою теорему, пришел в восторг и принес в благодарность богам жертву — сто быков. Но все, кто после Пифагора узнавали об отношениях гипотенузы к катетам, восторгов не испытывали и быков не сжигали, но чувствовали себя обогащенными. Наоборот, философия Плотина обесценивает ходячую монету. То, что для него наиболее ценно, на рынке ценности не имеет. Попробуйте подойти ближе, определить, зафиксировать то, что он называет своей истиной, своим Богом — кроме ряда «отрицаний», вы у него ничего не найдете. А за отрицаниями — вечная, никому недоступная тайна. Он не позволяет нам называть своего Бога ни прекрасным, ни добрым, ни всезнающим, ни даже существующим. Он соглашается назвать его «единым», но под непременным условием, чтоб Единое не значило то, что всегда значит «единое». В конце концов он говорит только о неизреченном: по-видимому, только тогда успокаивается он, когда ему удастся неизреченным как густым облаком закутать то свое единение с Богом, которое является последним, как он нас уверяет, этапом всяких возможных странствований духа. Отрицание и неизреченное — что кроется под этим? Или может быть так спросить: что тут скрывается? Или еще иначе: от кого прячется Плотин, облачаясь в непроницаемую броню отрицаний и неизреченности? Что может быть в той области, которая должна быть навеки непроницаемой для разума и познания — ἐλέκεῖνα ὄν καὶ νοήσεως. Показать нельзя: общих глаз, которыми можно усмотреть то, что там, — нет не только у обывателя, но и у величайших философов, самого Аристотеля или Гегеля. И душа, которая вслед за Плотиним дойдет до черты, где начинается его истина, невольно испытает ужас, что там нет и быть не может ничего — «φοβεῖται, μὴ οὐδὲν ἔχη»². А Плотин радуется, торжествует, поет несравненные гимны! Чему же он рад? Отчего то, что людей пугает, в чем они видят конец и ничто, приводит его в восторг и открывает?

¹ I. 7, 1, 20 «по ту сторону разума и мысли»

² VI. 9, 3, 6

«Вразумительно» на этот вопрос ответить нельзя. Если хотите, если вам дано быть с Плотинем, приходится ни о чем его не спрашивать и не ждать от него никаких ответов. Попытка превратить Истину Плотина в обыкновенную истину, которая отвечает выработанным греческой философией критериям, была бы отступничеством и от Плотина, и от того Единого, которому он посвятил в своих Эннеадах столько вдохновенных страниц. Сплошь и рядом так и делают. Сплошь и рядом изображают нам Плотина, а за Плотинем и других, следовавших по его путям мистиков, христианских, еврейских, магометанских, индусских, древних, средневековых и современных нам. Истина Плотина до той только поры остается истиной, пока ее никто, кроме его самого, не видит. Ее можно воспеть, но ее нельзя показать другим, как нельзя показать одну человеческую душу другой. «Μόνος πρός μόνον»¹ — душа открывается только Богу, который не судит, для которого все, им созданное, добро зело, и Бог открывается только отдельной живой душе, когда она, вырвавшись из рода, постигнет, что все κρίνειν² — ненужны. Оттого Плотин так настойчиво и неутомимо ограждает себя, словно стеной, своими отрицаниями. Только тогда испытывает он последнюю свободу, когда чувствует себя не только вне контроля, но и вне наблюдения разума. Он готов платить и платит разуму обычную дань, и дань очень большую, так что, кроме одного Целлера, все остальные историки эллинизма глубоко убеждены, что Плотин, как был, так и остался его преданным вассалом. Но это делается лишь затем, чтоб уйти, убежать как можно дальше от тех заколдованных мест, где разуму дана власть. Марк Аврелий, Эпиктет, Аристотель даже свободу усматривали в добровольном подчинении требованиям разума. Ты не сделаешь так, как требует разум — значит ты раб: это ведь основной и любимейший аргумент Эпиктета — и в сущности всей древней и новой философии, поскольку она вольно или невольно открывала людям свои последние чаяния. А разум, мы помним, требователен — очень требователен. И умеет повелевать. Он не ограничился «практическими» вопросами — он подчинил себе всю бесконечную область бытия: он только начал с этики — чтоб потом создать сообразную с этикой онтологию, а затем — всегда послушную теорию познания и венчающую все «теодицею», оправдание Бога. Самого Бога разум потребовал к своему

¹ I, 9, 11. 51 «единый к единому»

² суждения

суду — и благодарные за его дары люди не посмели отвергнуть его требований после того, как разум так много сделал. Это казалось как нельзя более естественным и законным. Разум присвоил себе право решать, быть ли Богу или не быть, и, если быть, то каким ему быть полагается. В этом было последнее слово эллинской философии, переданное или завещанное Плотину его великими предшественниками. В этом ведь и последнее слово современной нам философии. И мы глубоко убеждены, что разуму дано решить, есть ли Бог или Бога нет, и, если разум решит, что Бога нет, то мы безропотно должны и этому его решению покориться, как мы покорялись — он воспитал нас в покорности — и всем другим его решениям. Вперед же знать, как рассудит разум, нам не дано: может быть, он и пожалует Богу предикат бытия, а может быть, откажет. К такой дилемме подвела Плотина эллинская философия — вот пред ней же стоим и мы, через полторы тысячи лет после Плотина. Можно ли верить и нашу судьбу, и судьбу мира разуму? И точно ли мы обязаны идти на его суд? В то время, когда эллинская мысль медленно, но упорно подходила к этой страшной черте, с определенным мучительным предчувствием, что разум, который ни за что не уступит своего места кому-либо другому, иному по своему роду, чем он сам, откажет Богу в предикате бытия — так замороженная непостижимой для нее силой птица летит с ужасом и отчаянием в пасть очковой змеи, — в то время стали доходить до греков слухи о том, что маленький народ, стоявший почти вне влияния европейской культуры, искал и находил свою Истину не там, куда его посылал разум. Греки учили: «ἀρχὴ λόγος καὶ πάντα λόγος»¹, а та книга, в которой воплотились провидения этого народа, начиналась словами: «ἐν ἀρχῇ ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν»². И все рассказанное в той книге так странно не походило на эллинскую мудрость. Когда просвещенные греки стали знакомиться с Библией — она приводила их в негодование. И ее они звали на суд разума — и разум, конечно, бесповоротно осудил ее. Даже те, кто по своему происхождению привыкли считать ее священной книгой, когда им приходилось являться с ней пред людьми греко-эллинской культуры, начинали стыдиться ее. Филон Иудейский изобрел аллегорический метод истолкования Библии — ибо Библия, как ее читали и понимали его предки, была вызовом той Истине, к которой пришли греки. Греки питались тысячу лет сряду плодами от дерева познания добра и зла и считали эти плоды лучшей, самой божест-

¹ III. 2, 15, 13-14 «начало — разум, и все — разум»

² Вначале Бог создал небо и землю.

венной пищей для духа. В Библии было написано, что от того дерева пришла к людям смерть. И еще многое такое было рассказано в Библии, что культурным грекам казалось, как мы это видим из многих писаний первых веков нашей эры, пределом бессмыслицы и безнравственности. И сейчас, конечно, мы, невольные наследники или пленники греческого просвещения, принимаем Библию только как это предлагал Филон, в аллегорическом истолковании. Бог Авраама, Исаака и Якова, и в еще большей степени Бог, распятый на кресте, представляется нам вздорным и грубым измышлением, достойным невежественных и ограниченных людей, среди которых такой Бог мог только и приобрести себе верующих поклонников. Но, загадочным образом, в то время, как эллинизирующий судья прилаживал Бога Авраама, Исаака и Якова к требованиям разума, последнему великому греческому философу открылось, что Бог не подлежит суду разума, и чтоб постичь Бога, приобщиться Его, нужно взлететь над познанием и бежать без оглядки, бежать от всего того, к чему разум приучил нас. Научился ли Плотин «подозревать» разум из Библии? Т.е. было тут «восточное влияние», о котором нам говорят историки? Или мы стоим тут пред новым случаем «откровения»? Не берусь решать, может быть, тут отвечать и не полагается. Но одно несомненно. Для Плотина, с тех пор, как он увидел (до него ни один греческий мыслитель с такой ясностью этого не видел — Платон, с которым так тесно связан Плотин, только предчувствовал это) — что если привести Бога на суд разума, то разум, в силу природы своей, не может его не отвергнуть, с тех пор для него «доверие» к разуму стало делом совершенно невозможным. И на месте ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ πάντα λόγος¹ — у него засияло ἐλέκεϊνα νοῦ καὶ νοήσεως². По ту сторону разума — прочь от его критериев, его необходимости, его добра, его зла, его угроз и его обещаний — и его «доказательств». Истина Плотина есть истина, которая не то что не может быть доказанной — а не хочет быть доказанной, не терпит, не выносит доказательств. В этом наибольший отрыв Плотина от эллинской философской традиции — и в этом он тоже наиболее чужд и непонятен современному сознанию. Можно даже спросить — есть ли тут еще философия или тут уже философия кончилась и начинается что-то другое? Обычно так и решают. Философа Плотина признают только до тех пор, пока он аргументирует, доказывает, пока, опираясь на очевидные для всех положения, он с необходимостью приходит сам и приво-

¹ Вначале был разум, и все — разум

² по ту сторону разума и мысли

дит читателя к своим истинам. Там, где кончаются доказательства, там начинается область произвола, там уже и убедительности, той принудительной убедительности, которой истина до сих пор соблазняет людей, нет и быть не может. Но ведь мы уже слышали от Плотина, что он не ищет науки, что он от науки бежит и не может успокоиться до тех пор, пока не уйдет от нашего знания в те далекие области, где даже и не слышали о власти и правах разума. Вопрос, который через полторы тысячи лет после Плотина предстал пред Кантом и новой философией — для Плотина вовсе не существовал. Он не спрашивал себя, может ли быть метафизика наукой — ибо уже знал, что сущность и величайшая прерогатива метафизики именно в том, что ей не нужно быть наукой. Страх Канта и всех, кто до него и после него обосновывал свои метафизические утверждения, перед произволом, — для Плотина не существовал. Для Плотина произвол был божественной стихией, тем τὸ τιμιώτατον¹, в котором он видел смысл и значение философии. Он этого нигде не сказал. И нет надобности это говорить, по крайней мере тогда не нужно и нельзя было говорить. «Таков смысл правила мистерий, запрещающих выносить наружу к непосвященным людям учение, так как божественное (по своей природе) сообщено другим, то было запрещено его показывать тем, кто не сподобился сам его видеть»², и Платон так думал: «Великое дело открыть отца и творца вселенной, но открывши Его, нельзя сделать Его для всех видимым»³. Древние были, и сейчас убеждены те немногие, которые имеют еще охоту и способность о таких вещах размышлять, что нельзя показывать непосвященным Тайну. На самом деле — не то что нельзя, а нет надобности. Непосвященный Тайны не увидит, если вы и покажете ее. Непосвященный захочет «осветить» Тайну (но тайна не выносит света) и понесет ее на одобрение разума, а разве разум согласится когда-нибудь признать Истину в том, что не может быть всегда и всем принудительно навязано? Он потому и ненавидит произвол, что произвол не признает над собой принуждения и никогда никого ни к чему не принуждает. Разум над тайной не властен, ибо он ее не может показать, сделать для всех обязательной — как он показывает и делает обязательными свои истины. А обыкновенный человек, и часто даже человек необыкновенный, убежден,

¹ самым ценным

² VI. 11, 1-4 «Τούτο δὴ ἐθέλον δηλοῦν τὸ τῶν μυστηρίων τῶνδε ἐπίταγμα, τὸ μὴ ἐκφέρειν εἰς μὴ μεμυημένους, ὡς οὐκ ἐκφορον ἐκείνο ὄν, ἀπέιπε δηλοῦν πρὸς ἄλλον τὸ θεῖον, δὲ μὴ καὶ αὐτῷ ἰδεῖν εὐτύχηται».

³ Платон, «Тим.», 28 с «τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὐρεῖν τε ἔργον καὶ εὐρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν».

что с Истиной, которую нельзя показать, и делать нечего, что она ни на что не нужна. Только в те редкие минуты, когда нам удастся, сбросивши с себя выкованные сотнями поколений до нас живших людей оковы, подняться на ту высоту, где мы предстаем один на один Единому или, говоря словами Плотина, когда мы просыпаемся к самим себе, мы вдруг начинаем постигать всю суетность и призрачность доказанных существующих милостью разума для всех общих истин. Тогда только метафизика обретает желанную свободу, тогда только приближает она нас к истокам и родникам жизни, где царствуют не самодовлеющие, хотя постоянные, законы, а может быть и изменяющееся, но во всех своих переменах бесконечно творческое *fiat*. Есть у разума силы и власть привлечь к своему суду те истины, которые открываются в таком видении? И нуждаются ли такие истины в благословении разума? Говоря словами Канта, согласится ли метафизика стать наукой, хотя бы такой королевской, как математика?

ХІХ

Мы видим теперь, в чем состояла та великая и последняя борьба, которая предстоит, по словам Плотина, каждой душе, и из-за чего боролся Плотин. Плотин боролся против принудительной истины — отстаивал он ту свободу, которая не нуждается ни в каких оправданиях, ни в каких санкциях. Анамнезис, воспоминания об ином лучшем времени смутно подсказывали ему¹, что борьба его не безнадежна, и что свобода обетована человеку. И в такие мгновения восторга и исступления, когда он чувствовал, что «стираются родовые черты», принуждавшие его покорствовать разуму и считать истиной только то, что годится для рода, для человека вообще — в такие минуты он начинал не говорить, а петь о том единении с Богом, о тех последних достижениях своих на земле, для которых обыкновенный человеческий язык никогда не находил и никогда не искал слов. «Опьяненный божественным напитком»², он поет о радостях и блаженной жизни свободного от земных страхов и земных ограниченностей существа. Уже не добродетели, даже не безгрешность пленяют его. Прежде

¹ На полях Шестов ссылается на Плотина V. 5, 12, 7-9: «*Πάντα γὰρ ὁρέγεται ἐκείνου καὶ ἐφίεται αὐτοῦ φύσεως ἀνάγκη, ὡσπερ ἀπομεμαντευμένα, ὡς ἀνευ αὐτοῦ οὐ δύναται εἶναι*» («Все стремится к этому и его желают по природной необходимости, как будто предчувствуя, что без него существовать не могут»).

² VI. 7, 30, 27 и 35, 26 — Плотин здесь отсылает к Платону («Пир», 203 б): «*μεθυσθεὶς ἐπὶ τοῦ νέκταρος*».

нужны были и δικαιοσύνη и σωφροσύνη¹, и по приказанию разума он их находил прекраснее, чем даже утреннюю и вечернюю звезду. Ибо добродетели — ὑφ' ἡμῶν², и пока он верил разуму, он искал в мире только возможного, т.е. такого, что было в наших руках. Как стойки, как все мудрецы мира, видел высшее благо в искусстве и готовности примириться с тем, что нельзя было преодолеть. Но разуму покорно только то, что после него, то же, что до него, ему непокорно, да там и самая «покорность» ни к чему. Там нет и «зла», которое здесь существует по «необходимости», ибо и сама необходимость есть только порождение разума. Обо всем этом, говорю, поет Плотин — и в этом его философия, его метафизика, которая становится радостным и вдохновенным повествованием, благовествованием, таким странным, таким непостижимым для нас, привыкших думать, что метафизика должна быть наукой, и что она прежде, чем возвещать свои истины, обязана как наука спросить разрешения у всевластного разума. Если бы Кант был прав, если точно источником метафизическим был разум — то платиновская философия этим была бы осуждена навсегда. Те ἐναρτυεῖς ἀρχαί³, те синтетические суждения à priori, которые разум предоставляет в наше распоряжение, на которые всегда принужден оглядываться ученый исследователь, не приемлют ни живого человека, ни живого Бога. Нужно дерзновение последнего отчаяния смертному, чтоб порвав со своим прошлым и с прошлым человечества, за свой страх и за свою ответственность, никого не спрашивая и ни на кого не оглядываясь, решиться на то, что Плотин называет φύγη μόνου πρὸς μόνον⁴. Одиночество, «самость» страшнее всего человеку — с тех пор, как он вкусил от плодов древа познания добра и зла, одиночество кажется ему духовной смертью. Плотин знает это. Но он знает, что иного пути нет и, по-видимому, чувствует, что только через смерть может вернуть человек ту свободу, которую он утратил, когда вкусил плодов познания добра и зла. «Ἡ δὲ ἀνδρία ἀφοβία θανάτου. Ὁ δὲ ἐστὶν ὁ θάνατος χωρὶς εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος. Οὐ φοβεῖται δὲ τοῦτο, ὃς ἀγαλῆ μόνος γενέσθαι»⁵. Этот безумный порыв от общей всем жизни к жизни с Единым и в Едином, порыв, которому нет и не может быть никакого объяснения, он и является источником мистического опыта, так же мало похожего на то, что мы

¹ и справедливость и умеренность

² от нас зависят

³ самоочевидные принципы

⁴ бегство единого к единому

⁵ I. 6, 6, 9-11 «Смелость, это — не бояться смерти. А смерть — разделение души и тела. Не боится этого тот, который любит быть один».

вообще привыкли опытом называть, как мало мистическое знание похоже на то знание, к которому нас приучили. Сам Плотин ведь учил нас, что страшнее всего испытать, что в тебе «стираются родовые черты», — но ведь в этом и есть смерть, которую он призывает к себе столь неистовыми заклинаниями. В этом и состоит $\phi\upsilon\upsilon\eta\ \mu\acute{o}\nu\omicron\upsilon\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \mu\acute{o}\nu\omicron\upsilon$ »¹ — что человек, который «принадлежал роду» и «родом» определялся к бытию — уже не принадлежит никому, становится сам и царем, и властелином, с благословения той высшей и последней воли, которая сотворила его для самостного существования. Как можно такую «тайну» открыть непосвященному? Истина, которая не есть истина для всех, истина, которая не имеет принудительной силы, людям кажется и всегда казалась ложью, и добро, которое не есть добро для всех, тоже казалось всегда людям злом. Но начиная с Плотина и до наших дней отдельные люди делают непрерывные геройские усилия, чтоб рассеять чары жившего за 1500 лет до нас и говорившего на чужом языке /.../ Плотина. Может быть будет полезно вспомнить о том, что произошло на нашей памяти, почти на наших глазах: тяготеющее с незапамятных времен над ним наваждение. Начатая Плотиним $\acute{\alpha}\upsilon\omega\nu\ \mu\acute{\epsilon}\upsilon\iota\omicron\tau\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \xi\sigma\chi\alpha\tau\omicron\varsigma$ ² и сейчас продолжается. /.../ Казалось, что словно никто не слышал о грехопадении нашего праотца³.

XX

«По ту сторону добра и зла» — кто не помнит негодования, охватившего людей, когда эти слова были произнесены? Сам Ницше забыл об этом — он был обречен испытать сверхчеловеческую муку отрыва от «рода» — в каких трепетных неуловимых словах рассказывал он об этом! Пока он принадлежал к роду, пока он жил как все, пока он повиновался закону — он мог говорить понятным языком, он мог доказывать, мог принуждать к своим истинам, мог вести за собой. Но когда его вынесло за пределы рода, когда он «взлетел» и над человеческими истинами и над человеческими правдами, когда ему открылось что он $\kappa\rho\acute{\epsilon}\iota\tau\tau\omicron\upsilon\omicron\varsigma\ \mu\acute{o}\iota\rho\alpha\varsigma$ ⁴, когда наступило время, выражаясь его языком, сменить мораль рабов моралью господ, то есть не повиноваться и прини-

¹ бегство единого к единому

² самая великая и самая последняя борьба

³ Трудно читаемый пассаж; /.../ — неразборчивый текст.

⁴ наделен лучшей участью

мать готовое, а повелевать и творить, он сперва пришел в такое отчаяние, что молил богов послать ему безумие¹.

О том же и в словах еще более обнаженных рассказывает нам Достоевский. И его выбросило из «всемства», — так он, далекий от школьного философского языка, называл «род». Это было началом того «преображения» на земле, которое происходит на глазах у всех, которого глаза всех не хотят и не умеют видеть. Ницше говорил еще возвышенными словами: «мораль господ» могла соблазнить многих своей звучностью и внешним ладом. Достоевский же говорил самыми отвратительными словами о том, что с ним было. Тот мир, в который он попал, он назвал «подпольем». Себя изобразил как самого ничтожного, забитого, униженного человека, того, которого судьба тащит, потому что он добровольно отказывается идти. И вместе с тем требовал — может ли быть большая дерзость? — чтоб его «каприз был гарантирован». Если бы он, как Ницше, соблюдал хотя внешнюю пристойность! Но он умышленно бежал высоких и торжественных слов. Все «высокое и прекрасное» достаточно надавило мне затылок, рассказывает он, и на обычными казавшиеся «доводы разума» он отвечает всякого рода аргументацией, которую почти стыдно воспроизводить. Разум рассуждает, Достоевский в ответ ему язык выставляет, показывает кукиш. И так прямо говорит, что лучше сойти с ума, чем повиноваться разуму. Конечно, если бы Сенека ему в ответ на его «хочу по своей глупой воле жить»² или «требую, чтоб мой каприз был гарантирован» — произнес свое *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*³, которые и ему, и всем, кто философствовал до и после него, казались такими неотразимыми и победными, вы думаете Достоевский смирился бы? Отказался бы от «своей глупой воли» и от каприза? Пусть *fata* тащит, Достоевский не уступит ни судьбе, ни Сенеке, который по-видимому вооружен всей силой и всеми возможными доказательствами и, как Давид на Голиафа, пойдет против них со своей пращой. И кто знает, может быть неприличный кукиш и даже высовывание языка обладают скрытой силой? Ведь разум был властен, пока человек принадлежал к роду или всемству. Вы думаете, что сенековское *fata volentem ducunt! nolentem trahunt* испугало бы Достоевского? Или тяжеловооруженные воины стоицизма показа-

¹ Здесь следует заметка на полях: «(в этом ведь смысл его противопоставлений морали господ морали рабов) не только другие, он сам перестал "понимать" себя. Он молил богов — бывают такие молитвы — ниспослать ему безумие, ибо разум не в силах был вынести своего нового "откровения"».

² Ф.М. Достоевский. «Записки из подполья».

³ Сенека. «Письма», 107: «Согласного судьба ведет, несогласного тащит».

лись бы ему непобедимыми? Подпольный человек мало похож на красавца Давида, но он и без пращи готов ополчиться против каких угодно Голиафов философской мысли. Ведь он пошел против «синтетических суждений à priori» с голыми руками. Целлер сказал бы и по поводу Достоевского и Ницше, что они потеряли абсолютное доверие к разуму! Противопоставлять доказательствам и разумным соображениям кукиш или выставлять язык! Такого рода возражения — подлежат ли они обсуждению? Но что значит у Плотина его ἐλέκενα νοῦ καὶ νοῦσεως?¹ Или его δραμεῖν ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμην?² Если перевести ученый язык Плотина на обыкновенный человеческий язык, вы найдете у него все, что отпугивало нас у Достоевского и у Ницше: и борьбу против всемства, и каприз, который хочет стать впереди разума, и даже кукиш и высушенный язык как последнюю аргументацию. Иначе говоря, его последняя и великая борьба есть борьба с принудительной истиной, которую завещала последующим векам эллинская философия. Чтоб пройти из области идеального бытия, в которую нас загнал разум, в область бытия действительного, нужно было свалить предварительно разум, охранявший вход в обетованную землю своими законами и запретами. Иными словами, ему пришлось, приняв заветы древней философии, опрокинуть их. Или, может быть, обнажить глубочайшее и загадочнейшее предчувствие, таившееся под великими системами, созданными эллинской мыслью — ибо есть все основания думать, что не только Платон, но и Сократ (демон Сократа знал непроницаемое для разума «нет» — как и демон Платона) таил в себе то «недоверие к разуму», которое открыл у Плотина Целлер. Кант был прав, усмотрев в метафизике начало произвола. Принудительная истина, которую древние с таким торжеством преподнесли миру, для «посвященных» была источником величайших мучений. Даже Эпикур не мог отказаться от жившей в душах великих эллинов неизбежной любви к «капризу» — у него бездушные атомы, правда, один только раз, — но все-таки позволили себе отклониться от намеченного им «природой вещей» направления. И, казалось, весь греческий мир трепетно ждал минуты, когда «вдруг» и «случай» придут сменить так прославленную разумом необходимость. В этом единственное объяснение той радости, с которой европейские народы приняли пришедший с востока свет, и увидели откровения в книге, которая так оскорбляла навыки культурных людей, не меньше, чем дикие выходки подпольного человека оскорбляют идеалы современного

¹ по ту сторону разума и мысли

² взлететь над знанием

человека. Правда, Библию стали исправлять под руководством верных последователей Аристотеля и исправляли до тех пор, пока новая философия, в лице Декарта, Спинозы и Канта, совсем не погасила откровения: метафизика должна быть наукой, если хочет, чтобы с ней считались, и так как наукой она быть не может, то, стало быть, она должна прекратить свое существование. Но Библия живет, и люди чувствуют в ней откровения. Ницше и Достоевский — я потому и вспомнил о них — свидетельствуют о том, что и среди нас, как и среди древних, как и в средние века, являются время от времени люди, которые «просыпаются» от наваждения в сознании, что они κρείττονος μοίρα¹, что Бог, создавши человека, благословил его свободную жизнь. Ницше оттого с таким ужасом отвернулся от «христианства», от того, что в наши дни принимают как христианство, что в «христианстве» он распознал так ненавистные ему черты сократовской этики — закрывающей людям доступ к истинному бытию. И Достоевский так ополчился против «разума» только потому, что разум стал впереди Бога, что разум звал на свой суд Бога и требовал от человека, чтоб он поклонялся тому богу, который он, разум, создает. Правда, ни Ницше, ни Достоевского не услышали — и не услышат, как не услышали Плотина. Их «откровения» не могут рассчитывать на общее признание, их истины не могут превратиться в истины принудительные и их метафизика никогда не станет «наукой». Они это так же хорошо знают, как и те, которые им возражают. Но их это уже не тревожит. Бога, — они приняли не от разума, и разуму они отчетом не обязаны. Не нуждаются они и в поддержке всех. Они — по ту сторону добра и зла, они ἐλέκεϊνα νοῦ καὶ νοῦσθεωσ² — в той области, которая ограждена навек от посягательств всякого рода критериев суждений и осуждений. Туда они пронесли и там берегут свое οὐτως ὄν — действительно существующее, которое и им самим, когда они на него глядят смертными глазами, кажется столь бранным и преходящим. И точно, истина, никем не признаваемая, истина, которую никому нельзя показать, доказать, — разве дано человеку нести на себе такое бремя? Где те Атланты, которые достаточно сильны, чтоб держать на своих одиноких плечах небеса? И может ли Бог требовать такого подвига от смертных? Люди уверены, что нужно всем вместе поддерживать небо. Плотин постиг, что только тогда, когда «все» покидают человека, он обретает нужные ему силы, то напряженное сосредоточие души, без которого толк бытия не открывается смертным.

¹ наделены лучшей участью

² по ту сторону разума и мысли

Это значит, что он утратил доверие к разуму и ко всем самоочевидностям, на которых покоятся разумные истины. «Великая и последняя борьба» его есть борьба с унаследованным от греков способом мышления. После Плотина — философия уже не вправе идти теми путями, которыми она шла до него. Хотим ли мы или не хотим того, но как не соблазняет нас древо познания добра и зла, так пышно разросшееся за эти 16 веков, которые прошли после Плотина, но ни нашу этику, ни нашу онтологию, ни нашу теорию познания мы уже не можем «обосновать» так, как ее обосновали греки. Разум не может быть ни судьей, ни законодателем, ни царем, ни властелином. Истинное бытие начинается по ту сторону добра и зла. Истина метафизическая — ἐλέκεινα νοῦ καὶ νοῦσεως¹. Метафизика в своих устремлениях взлетает ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμην² и возражения Канта против метафизики падают сами собой для того, кто убедился, что он κρείττονος μοίρας³, для кого οὐ γὰρ ἦν ἀνάγκη⁴, и кто постиг, что до естественной необходимости был божественный произвол: «начало всех вещей должно быть лучшим, чем то, что после него и отграничено от них. Говорю, отграничено, ибо оно единственное в своем роде и вне необходимости. Ибо не было еще необходимости. Необходимость в вещах, которые последовали за ним, потому что оно не имеет над ними силы»⁵. Скажут, что это неправда, что мы и сейчас, как во времена Аристотеля, признаем только доказанную истину, не верим в высокое предназначение человека и хотим, чтоб метафизика была наукой. И что исключительный «опыт» Плотина и родственных ему душ растворяется в общем опыте человечества, на который опирался Кант и на который опирается новейшая философия. И если я опять напомню, что после Плотина целый ряд замечательных людей вплоть до наших современников Достоевского и Ницше свидетельствовали о том же, мне скажут, что свет их открытий уже достаточно погашается их бесплодностью. Да, так оно было всегда, так оно и быть должно. Мистический опыт гаснет и потухает при дневном свете, как гаснут днем ночные светила. Но разве звезды оттого перестают существовать? Или становятся менее прекрасными? Ни Плотин, ни кто другой из мистиков не

¹ по ту сторону разума и мысли

² над знанием

³ наделен лучшей частью

⁴ не было необходимости

⁵ VI. 8, 9, 9-13 «Ἄλλὰ δεῖ κρείττονα εἶναι τὴν ἀρχὴν πάντων τῶν μετ' αὐτῆν ὥστε ὄρισμένον τι. Λέγω δὲ ὄρισμένον, ὅτι μοναχῶς καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης· οὐ γὰρ ἦν ἀνάγκη ἐν γὰρ τοῖς ἐπομένοις τῇ ἀρχῇ ἢ ἀνάγκη καὶ οὐδὲ αὐτὴ ἔχουσα ἐν αὐτοῖς τὴν βίαν»

отречется от своих видений только потому, что они не видны или не нужны другим. И если даже его τὸ τιμιώτατον¹ никому не нужно и никому ничего не говорит, он не перестанет славить и любить его, и никогда он его не отдаст на чей бы то ни было суд, и не променяет на то, что всеми и всегда ценится. Вот в каких словах он говорит об этом: «φυγή μόνου πρὸς μόνον»², и не отдаст, ни за что не отдаст свои недоказуемые, своевольные, мгновенные, то вспыхивающие, то гаснущие и невидные истины за всеобщие и обязательные истины, владеющие с незапамятных времен человечеством. Из-за этого он начал свою ἀγὼν μέγιστος καὶ ἔσχατος — великую и последнюю борьбу — конец которой φυγή μόνου πρὸς μόνον, — бегство единого к единому — приводит к вечной тайне, навсегда скрытой от любознательности людей, уверовавших во всемогущество разума³.

БИБЛИОГРАФИЯ

Aristoteles, *METAPHYSICA*, recognovit brevique adnotatione critica instruit W. Jaeger (Bibliotheca Oxoniensis), Oxford Univezrsity Press, Oxford, 1978 (first published 1957).

ETHICA NICOMACHEA, recognovit brevique adnotatione critica instruit I. Bywater (Bibliotheca Oxoniensis), Oxford University Press, Oxford, 1979 (first published 1894).

Augustin (saint), *DE CIVITATE DEI*, en 3 volumes, traduit par L. Moreau, 4^o éd. avec le texte latin, Frères Garnier, Paris, 1899*⁴.

Баранова-Шестова Н. *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА (по переписке и воспоминаниям современников)*. Editions «La Presse Libre», Paris, 1983.

Бахтин М. *ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО*. Изд. 3-е, М., ИХЛ, 1972.

Достоевский Ф.М. *ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ*. Ardis, Ann Arbor, 1982.

¹ самое ценное

² бегство единого к единому (Епп. VI. 9, 11, 50).

³ на полях: «Ведь истину узнают по той примете, что человек от нее не откажется, что он любит ее больше всего на свете, хотя она другим не нужна, и что "мистическая истина" (тем она и отличается от обыкновенных истин), выросшая из любви и вызвавшая самое смерть на последний и великий бой, — что сила ее в ней самой, и что она не нуждается ни в санкции разума, ни в признании остальных людей. Из-за нее и начал Плотин свою великую и последнюю борьбу — в этом смысл его φυγή μόνου πρὸς μόνον (бегство единого к единому). Епп. IV. 9, 50».

⁴ Звездочкой (*) отмечены издания, использованные самим Шестовым.

- Epictète, *ENTRETIENS* en 4 volumes, texte établi et traduit par J.Souilhe (collection Budé), Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1948-1965.
- ENCHIRIDION*, édit. Henricus Schenkl, Teubner, Lipsiae, 1916.*
- Fondane B., *RENCONTRES AVEC LEON CHESTOV*, textes établis et annotés par Nathalie Baranoff et Michel Carassou, Plasma, Paris, 1982.
- Girard R., *MENSONGE ROMANTIQUE ET VERITE ROMANESQUE*, Grasset, Paris, 1961.
- Guyot H., *L'INFINITE DIVINE DEPUIS PHILON LE JUIF JUSQU'À PLOTIN*, Félix Alcan, Paris, 1906.*
- Hegel G.W.F., *GRUNDLINIEN DER PHILOSOPHIE DES RECHTS ODER NATURRECHT UND STAATSWISSENSCHAFT IM GRUNDRISSE* (Theorie Werkausgabe Band 7), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970.
- Leibniz G.W., *NOUVEAUX ESSAIS SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN*, Oeuvres Philosophiques de Leibniz en deux volumes, Librairie Philosophique de Lagrange, Paris, 1866.*
- Pascal B., *PENSEES SUR LA RELIGION ET SUR QUELQUES AUTRES SUJETS*, en 3 volumes, éd. par L.Lafuma, Ed. du Luxembourg, Paris, 1952.
- Platon, *OEUVRES COMPLETES*, texte grec et traduction française (collection Budé), Ed. Les Belles Lettres, Paris.
- Plotin, *LES ENNEADES*, en 6 volumes, texte établi et traduit par E.Brehier (collection Budé), Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1924-1938.*
- LES ENNEADES DE PLOTIN, CHEF DE L'ECOLE NEOPLATONICIENNE*, en 2 volumes, traduites pour la première fois en français par M.N. Bouillet, Librairie Hachette, Paris, 1857.*
- Seneque, *LETTRES À LUCILIUS*, en 5 volumes, texte établi et traduit par F.Prechac et H.Noblot (collection Budé), Ed. Les Belles Lettres, Paris.
- Zeller E., *DIE PHILOSOPHIE DER GRIECHEN*, 3-e Auflage, 3 Teile in 5 Bänden, Fuch's Verlag, Leipzig, 1881.*

***У ЦЕРКОВНЫХ
СТЕН***

ИЗ АРХИВА А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ
ПИСЬМА Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО И С.Н. БУЛГАКОВА.
ПЕРЕПИСКА С В.В. РОЗАНОВЫМ.

Публикация Э.Гарэтто

Деятельность Анны Григорьевны Сниткиной (1846-1918) общеизвестна: в последние годы жизни Ф.М. Достоевского она была женой и помощницей писателя, а после его смерти — хранительницей его памяти и литературного наследия, инициатором обширнейшей издательской деятельности, связанной с творчеством покойного мужа. Ее архив и по сей день остается богатым источником сведений и документов не только о творчестве и жизненном пути самого Достоевского, но и о виднейших деятелях русской культуры, так или иначе соприкасавшихся с идеями Достоевского и спорами вокруг его мировоззрения. Особый интерес представляет в этом смысле переписка, в которой с необычайной живостью и богатством подробностей отражена культурная атмосфера эпохи на рубеже двух столетий.

В настоящую публикацию включен ряд материалов, которые, несмотря на их различия, объединены общностью темы — в них отражаются отношения А.Г. Достоевской с крупными представителями русского «религиозно-философского возрождения» — Д.С. Мережковским, С.Н. Булгаковым, В.В. Розановым.

Первая часть публикации, в которую вошли письма Мережковского и Булгакова к А.Г. Достоевской, касается в основном эпизода, хотя и второстепенного, но характерного для новых умонастроений начала столетия — периода, когда фигура и творчество Достоевского приобретали новый масштаб и актуальность.

По случаю выхода в свет 6-го Полного Собрания Сочинений (1904-1906), приуроченного к 25-летию со дня смерти писателя, Анна Григорьевна решила поручить подготовку предисловия к изданию Д.С. Мережковскому (см. его письмо, в котором он благодарит за предложение). Впоследствии она объясняла свой выбор тем благоприятным впечатлением,

какое вызвало у нее сочинение «Толстой и Достоевский». Уже около двух лет Анна Григорьевна поддерживала отношения с писателем, которому, в частности, передала для публикации в «Новом пути» отрывки из записных книжек мужа. Однако резкий поворот в мировоззрении Мережковского, произошедший под влиянием событий революции 1905 года, привел его к открытому осуждению самодержавия, позиции русской церкви и к поддержке революционных настроений, что, разумеется, нашло отражение в статье, посвященной Достоевскому. Так, автор в значительной степени обострял и прежде высказывавшуюся критику в адрес Достоевского по поводу его славянофильских идей и без обиняков заявлял, что писатель в своем стремлении к объединению церкви, народа и самодержавия и в отстаивании истинно реакционных порядков, становится порой глашатаем Антихриста. С другой стороны, несмотря на столь серьезные обвинения, он признавал за Достоевским роль «пророка русской революции» (в том же году статья вышла под этим названием), поскольку усматривал в его последних произведениях неосознанное или намеренно замаскированное признание апокалиптической ситуации в русской жизни.

Эта статья, прочитанная Мережковским на юбилейной лекции, посвященной памяти Достоевского, вызвала у части публики столь бурную реакцию, что Анна Григорьевна, уже сомневавшаяся в целесообразности публикации этого предисловия, решила, что такая пристрастная работа (вместо заказанного ею биографического очерка) неуместна в юбилейном издании. В конце мая 1906 года она обращается к писательнице С.И. Смирновой-Сазоновой (1852-1921), которая была знакома с Достоевским в 1870-е годы и оставалась с ним в хороших отношениях вплоть до его смерти, и просит подготовить статью для юбилейного издания¹. Но Сазонова, по-видимому, сознавая трудность задачи, отказывается от предложения². Сразу же после ее отказа Анна Григорьевна обращается к С.Н. Булгакову (письмо, в котором он выражает свое согласие выполнить это поручение, датируется 16 июня). Нам неизвестны соображения, побудившие Анну Григорьевну обратиться именно к Булгакову (известны

¹ В письме от 26 мая 1906 А.Г. Достоевская, упомянув о бывшем знакомстве, пишет Смирновой-Сазоновой: «/.../ Ознакомившись по сочинению "Л. Толстой и Достоевский" со взглядами Мережковского на талант и деятельность моего покойного мужа, я обратилась к нему с просьбою написать биографический очерк для этого юбилейного издания. /.../ Когда я прочла принесенную рукопись, то поняла, что очерк невозможно поместить в Полном Собрании Сочинений, так как убеждения, приписанные Д.С. Мережковским моему мужу, совершенно не соответствовали истинным его убеждениям. Мое мнение было подкреплено тем тяжелым впечатлением, которое эта статья произвела на почитателей таланта Федора Михайловича, бывших на чтении Д.С. Мережковского в зале Тенишевского училища. После лекции ко мне приходили и писали знакомые и незнакомые и упрашивали не печатать этой статьи при П.С. Сочинений, как "противоположной всем тем идеям, которые высказывал покойный писатель"». (ИРЛИ, ф.285, №126. Почти полностью приводится в кн. С.В. Белова *ЖЕНА ПИСАТЕЛЯ*, М., 1986, с.168-170).

² См.: Н.Н. Мостовая. *ДОСТОЕВСКИЙ В ДНЕВНИКАХ С.И. СМИРНОВОЙ (САЗОНОВОЙ)*. — в кн.: *ДОСТОЕВСКИЙ. Материалы и исследования*. Сб.4, Л., 1980, с.273-274).

лишь ее положительные отзывы о его статьях, посвященных Достоевскому). Из писем Булгакова видно, что Достоевская несомненно говорила ему о причинах, побудивших ее отказаться от очерка Мережковского. Но и на этот раз попытка добиться биографической статьи с самого начала оказалась обреченной на неудачу. Булгаков отказывается от такого подхода, ссылаясь на недостаток сведений. На самом деле, споры о творчестве Достоевского, разгоревшиеся в свете последних событий, столь накалились в это время, что «нейтральный» очерк становился утопией. И Булгаков объясняет это в своем вступлении: «В настоящем очерке я не предполагаю говорить о Достоевском вообще как о художнике и мыслителе. Тема этого очерка, предназначенного служить введением к юбилейному изданию его сочинений, которое появляется в самый развал революций, определяется сама собой»¹. Интересно, что во вступлении Булгакова, вошедшем в 6-е Собрание Сочинений, настойчиво повторяются, хотя и с иных позиций, центральные темы статьи Мережковского, анализируется понимание Достоевским роли самодержавия, церкви, народа — при этом делаются совершенно очевидные ссылки на текст Мережковского, однако взгляд на Достоевского как на глашатая Антихриста Булгаков решительно отвергает². Ошибки и противоречия политических воззрений Достоевского частично объясняются резким изменением исторической действительности. Но с прежней силой выражаются осуждение самодержавия и поддержка революции и отстаивается пророческая в этом смысле роль Достоевского. На вопрос, которым начинался очерк Мережковского «На чью же сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции?», Булгаков отвечает: «Для нас это не гипотеза, а нечто совершенно достоверное, что Достоевский оказался бы в числе духовных вождей русского народа, в борьбе его за освобождение от бюрократического вампира, от нового татарского ига».³

Очевидно, Анна Григорьевна выразила беспокойство, в частности, из опасений реакции со стороны правительственных кругов, с которыми она была связана (отголосок этих настроений просматривается в ответе Булгакова). Но издательские сроки, вероятно, не позволяли новой оттяжки, и в конце концов очерк был помещен в 1-м томе, который именно по причине описываемых событий вышел позже других.

Переписка Мережковского и Булгакова проясняет также историю «открытого письма», которым начинается юбилейное издание.

В заключение можно было бы сказать, что этот эпизод выявил обострение дискуссии, развернувшейся в те годы, когда мысли Досто-

¹ Полное Собрание Сочинений Ф.М. Достоевского. СПб., 1906, т. I, V.

² «Для нас важно установить, что здесь мы имеем чисто политическое заблуждение, касающееся области средств, но не целей. Достоевскому иногда приписывается, кроме того, религиозное утверждение самодержавия, идея теократического царя, чего-то вроде светского папы, он обвиняется тем самым, что сам подпал при этом чарам Великого Инквизитора и того, чей он псевдоним. Обвинение это больно врезается в сердце всякого, кто любит Достоевского, и наша обязанность здесь со всей энергией протестовать против этого незаслуженного обвинения» (там же, т. I, XXVIII).

³ Там же, т. I, XXXIII.

евского вновь, как и после его речи о Пушкине, стали предметом ожесточенных споров, а с другой стороны — отношение к происходящему самой Анны Григорьевны, ее стремление сохранить неискаженным творческое наследие мужа, хранительницей которого она себя считала.

Несколько иной представляется вторая часть публикации, включающая переписку А.Г. Достоевской и В.В. Розанова, начиная с 1893 г., когда Розанов переехал в Петербург. Эта переписка, длившаяся до 1913 г., — обширнее и содержательнее, нежели предыдущая, в первую очередь благодаря тому, что до нас дошли письма обоих корреспондентов. Особо отметим дружеский тон писем, обоюдную заботу корреспондентов друг о друге, готовность помочь в жизненных сложностях, и — при всей разности точек зрения — единение в любви к личности Достоевского. Первая часть переписки особенно ярко выявляет интерес Розанова к творчеству писателя и, в частности, к неизданной главе «Бесов» с исповедью Ставрогина, несомненное значение которой Розанов предвидел еще до прочтения текста. Отношения Розанова с Достоевской становятся особенно тесными в 1898, когда последняя старается помочь Розанову в разрешении мучительного для него вопроса об официальном признании детей от В.Д. Рудневой, чему препятствовали юридические трудности (отсутствие развода Розанова с А.Сусловой)¹. Из писем видны не только конкретные шаги Достоевской (ее обращение к Победоносцеву), но и мельчайшие оттенки драмы, переживаемой Розановым, его тревога за судьбу детей, мучения, связанные с двусмысленным положением Варвары Дмитриевны Рудневой. В них звучит также бунт против закостенелой церковной и синодальной власти, не принимавшей, по Розанову, самой священной сути брака. Как известно, эта мысль проходит через все творчество писателя тех лет, и публикуемые письма особенно ярко выявляют экзистенциальную, жизненную подоснову его публицистики. Сам Розанов пишет об этом: «Когда я думаю об этой несправедливости, у меня голова идет кругом, и я чувствую величайшее в себе раздражение; просто чувствую, что от этого весь мой характер и вся литературная деятельность исказились».

В описании личности Сусловой отсутствуют черты «раскольницы поморского согласия» и «хлыстовской богородицы», известные по другим письмам Розанова¹ и относящиеся к первому знакомству его с Сусловой. Вместо «инфернальной красоты», вдохновившей Достоевского на создание некоторых из его героинь, встречаются более приземленные черты, например, супружеская неверность или жесткий, деспотический характер,

¹ Эти письма послужили источником для работы А.С. Долинина над дневником Сусловой (Аполлинария Суслова. *ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ. Дневник. Повесть. Письма*. Под ред. А.С. Долинина. М., 1928). Они также цитируются в различных критических работах, однако сами тексты никогда не публиковались полностью.

² См., напр., письмо к Глинке-Волжскому, которое приводится в кн. Л.П. Гроссмана *ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО* — в Собр. соч. Гроссмана (в 5-ти тт.), т.2, М., 1928, с.136-137. См. также письмо к Н.Н. Глубоковскому от 23 мая 1907 (частично опубликовано в журн. «Русская литература», 1989, вып.3, с.230).

о котором пишет также З.Н. Гиппиус в своих воспоминаниях о Розанове¹. Как известно, все попытки найти законное разрешение семейной драмы Розанова, остались тщетными.

Из переписки видно также, что А.Г. Достоевская посещала розановские «воскресенья» и обсуждала с ним свои издательские планы. Особенно любопытны в этом отношении два письма настоящей публикации: они касаются предложения, сделанного Розановым Анне Григорьевне, — издать на ее средства монографию А.С. Глинки-Волжского о Достоевском. Этот труд Розанов считал фундаментальной работой для понимания художественного творчества Достоевского, и для поддержки собственного предложения он прибегает и к хвалебным оценкам рукописи, и к аргументам «провокативного» характера, столь свойственным для его публицистики.

**

Все публикуемые письма хранятся в Отделе рукописей ГБЛ, в фонде А.Г. Достоевской. Письма Мережковского (ф.93/II, к.6, ед.хр.74, 27 лл.) и Булгакова (там же, к.1, ед.хр.120, 17 лл.) приводятся целиком (пропущена только краткая записка Мережковского 1902 года). Из переписки Розанова и Достоевской (письма Розанова: там же, к.8, ед.хр.39а, 39б; письма Достоевской: ф.249, М.4201) пропущены некоторые письма, главным образом за 1898-1901 гг., не представляющие особого историко-литературного интереса. В ряде писем датировку, часто сделанную позднее, следует считать ошибочной; в таких случаях передатировка мотивируется в комментариях к каждому письму.

Публикатор выражает признательность В.Е. Аллюю и В.А. Никитину за помощь и советы при подготовке настоящего материала.

¹ ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК. — В сб. ЖИВЫЕ ЛИЦА (Reprint of the edition Prague, 1925). München, 1971, вып. II, глава «Тяжелая старуха» (с.31-36).

² По этому поводу см. ВОСПОМИНАНИЯ Т.В. РОЗАНОВОЙ (публикация Л.А. Ильюниной и М.М. Павловой) в журн. «Русская литература», 1989, вып.3, с.217.

20 Декабря 1902
Литейная 24, кв.33

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, вместе с этим письмом заново Вам два тома моего исследования «Л. Толстой и Достоевский», а также первый номер нового журнала «Новый путь», в котором я принимаю самое близкое и живое участие¹.

По моим книгам и по журналу Вы увидите, какую благоговейную любовь я и все мы питаем к Федору Михайловичу. Мы его духовные дети, и смею думать, что и он сам признал бы нас за таковых. Вся наша деятельность, вся наша жизнь посвящена развитию и распространению тех идей, которые были ему всего дороже.

Вот почему я решаюсь обратиться к Вам от лица всех участников «Нового пути» со следующей усерднейшей и убедительнейшей просьбой: не найдется ли у Вас каких-либо литературных материалов — писем, записок, воспоминаний, черновых набросков, отрывков (всего желательнее было бы для нас что-нибудь *беллетристическое*), которые Вы согласились бы передать в наш журнал. За все будем Вам бесконечно благодарны. Не откажите! Просим Вас об этом во имя того *общего дела*, которому, твердо верим, сочувствовал бы великий наш учитель Федор Михайлович!

Мысленно в это мгновение взываю к нему самому, да придет он к нам на помощь через Вас.

Не позволите ли зайти к Вам, чтобы переговорить лично. Я приду, какой бы час и день Вам ни угодно было назначить — но всего удобнее мне было бы время между 4-6 чч. дня.

С великим нетерпением и надеждою буду ждать Вашего ответа, от которого в значительной мере зависит судьба нашего журнала.

С глубоким уважением
искренне преданный Вам
Д.Мережковский

¹ Кн. *ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ* впервые опубликована в журн. «Мир искусства», 1901, №4-12, вышла отдельным изд. в том же году. Первый номер «Нового пути» вышел в ноябре 1902 (см.: З. Гиппиус-Мережковская. *ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ*. Париж, 1951, с.111).

3 января 1903

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, сердечно был тронут и обрадован Вашим добрым и умным письмом. Разумеется, то, что Вы хотите сделать для нас — напечатание в Новом Пути планов ненаписанных романов Федора Михайловича — великая для нас помощь¹. Я ведь, и не только я, но все мы видим именно в том, что он не сказал, не успел сказать и написать (по слову Господа: «теперь вы еще не можете вместить»), видим «главное».

Но вот горе — такая долгая отсрочка — до осени! Ведь как раз теперь, в настоящую минуту решается наша судьба, наше бытие или не бытие! Теперь — подписка, а Вы знаете, что это значит для нового журнала. Итак, вот наша просьба: довершите Вашу помощь — если нельзя *поскорее* доставить готового материала для напечатания в *ближайших* книжках (хотя бы самого небольшого отрывка!), то, по крайней мере, позвольте объявить, что Вы нам обещали; а лучше всего, если бы Вы позволили напечатать *Ваше письмо ко мне* или хотя бы отрывки из него, имеющие общее, литературное значение.

Письмо Ваше написано так изящно и литературно, что оно, само по себе, составит украшение нашего журнала. Но во всяком случае, мы Вам пришлем корректуру, и Вы сами исправите его, как желаете.

Ждем с нетерпением ответа, так как вторая февральская книжка, где может быть помещено это и письмо и объявление об обещанных Вами рукописях Ф.М.², — уже печатается. Если бы Вы пожелали видеть меня или П.П. Перцова³ для личных переговоров, то мы явимся в назначенный день и час.

Еще раз — от всей души спасибо!

Искренне преданный Вам
Д.Мережковский

Литейная 24, кв.33.

¹ Нет сведений об этом замысле.

² Ни письмо, ни объявление не были напечатаны. В январской и февральской книжках за 1904 г. появилась публикация из записных книжек Достоевского («Новый путь», 1904, №1, с.1-10; №2, с.1-15). Публикация вышла с цензурными пропусками.

³ Перцов, Петр Петрович (1868-1947) — критик и публицист, редактор-издатель «Нового пути» с 1-го номера по №6 за 1904 г.

20 ноября 1903 г.
СПб., Литейная 24, кв.33
Дмитрий Сергеевич Мережковский

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна,
Вы были так добры в прошлом году, что обещали «Новому Пути» планы романов Федора Михайловича. До сих пор мы не знали, будет ли «Н.П.» продолжаться в 1904 г., вследствие очень тяжелых цензурных условий и других обстоятельств¹. Теперь только мы решили окончательно продолжать журнал. Ввиду этого обращаюсь к Вам с просьбой: дайте нам для январской книги то, что хотели дать. Вы этим окажете нам огромную незабвенную услугу и такое содействие, от которого в значительной мере зависит успех всего нашего дела. Для меня лично это было бы тем дороже, что в январе начнется печатание моего большого романа «*Петр I и царевич Алексей*»², идея и направление которого были бы, смею уповать, симпатичны Федору Михайловичу.

Умоляю Вас, Анна Григорьевна, *ради Бога*, не откладывайте, помогите нам!

Глубоко преданный Вам
Д.Мережковский

P.S. Когда бы можно было Вас повидать?

¹ В «Новом пути» печатались отчеты о Религиозно-философских собраниях, и журнал издавался с предварительной цензурой — светской и духовной (Духовный цензурный комитет). Ситуация особенно осложнилась после запрещения Собраний (апрель 1903). Были запрещены и отчеты о последних собраниях. З.Н. Гиппиус вспоминает: «Наш журнал тоже грозил кончиться: с запрещением Собраний Перцов от редакторства отказывался, да и последние средства иссякли. Чтобы продолжать, нужен был новый редактор (подписывающий журнал и в наших идеях, конечно). Кроме того, нужна была какая-нибудь серьезная вещь для напечатания, более или менее заменяющая отчеты о Собраниях» (З.Гиппиус-Мережковская, ук. соч., с.122). Здесь же упоминается о решении Анны Григорьевны дать для журнала ненапечатанные заметки из записных книжек (там же, с.123). О проблемах, связанных с цензурой и о дальнейшем существовании журнала см. там же, с.111-113 и 142-147; см. также статью Д.Е. Максимова «Новый путь» в кн.: В.Евгеньев-Максимов, Д.Максимов. *ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ*. Л., 1930, с.129-254.

² «Новый путь», 1904, №1-5, 9-12. Печатание продолжилось в 1905 г., когда «Новый путь» уже был переименован в «Вопросы жизни» (№1-3).

[январь-февраль] 1905 г.¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна,
для меня — великая честь и радость написать биографический очерк Федора Михайловича Достоевского. И *в принципе* я согласен.

Но вот затруднение: всю последнюю зиму я страдал нервным переутомлением и слабостью, мучительными бессонницами и пр., так что пришлось даже обратиться к д[окто]ру Шершевскому, который посоветовал мне работать как можно меньше. А между тем роман мой «Петр и Алексей», от которого зависит вся будущность «Нового Пути», до сих пор не кончен.

И я бросить не могу этой работы, которая стоила мне неимоверных усилий. Тем не менее я принужден был оставить ее на время, пока хоть немного поправлюсь. Итак, писать биографический очерк придется мне одновременно с романом. Но буду ли я в силах, в физических силах — вот вопрос. *Надеюсь*, что буду, и если Вам достаточно такого *условного* обещания, то, значит, дело решено. Вы можете объявить о моей статье.

Во всяком случае, надо бы обо всем переговорить с Вами лично. Зашел бы сейчас, но в настоящее время у меня еще инфлуэнца с ларингитом, так что я не выхожу из дому. Но только что буду выходить, посету Вас, и тогда мы обо всем условимся.

Еще раз от всего сердца благодарю Вас за всю Вашу доброту ко мне.

Искренне преданный Вам
Д.Мережковский

¹ Датируется по содержанию.

[февраль-апрель] 1905 г.¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна,
пусть будет заглавие самое простое: «*Ф.М. Достоевский*». Очерк *Д.Мережковского*.

Я все еще не выхожу — ларингит (воспаление горла), болезнь, которая, в слабом виде, может длиться довольно долго. *Надеюсь*, однако, что через неделю или дней 10 выйду и тогда зайду к Вам в назначенное время, т.е. около 5-6 чч. дня. Поговорим обо всем.

Сердечно благодарю Вас за Ваши добрые пожелания. Я, действительно, скоро предполагаю уехать из Петербурга на юг, в Крым и на Кавказ, чтобы там отдохнуть².

Итак, надеюсь, до скорого свидания.

Искренно преданный Вам
Д.Мережковский

¹ Датируется по содержанию.

² З.Н. Гиппиус в воспоминаниях (ук. соч., с.134) рассказывает о поездке в Крым в мае 1905 г.

6

21 октября 1905 г.

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, спасибо за Ваше милое письмо. За границей я отдохнул¹, слава Богу; но здесь опять навалилась на меня такая груда забот и всякой суеты, что снова я как-то мгновенно устал. Хотелось бы уехать надолго, надолго из Петербурга, да пожалуй совсем из России...

Благодарю Вас за тома Сочинений, а также за Ваш добрый отзыв о «Петре и Алексее». Этот отзыв меня тронул. В настоящее время я кончаю роман². Хотелось бы поскорее кончить, чтобы приступить к работе о Федоре Михайловиче, которую я Вам обещал. Надеюсь, что, если буду здоров и все будет благополучно, мне удастся это сделать, т.е. приступить к статье в начале января.

Когда немного вздохну свободнее от теперешних хлопот (главным образом — с цензурой по делам журнала) — непременно найду к Вам, если позволите, вечером, между прочим, чтобы почитать с Вами те письма Федора Михайловича, которые Вы мне показывали.

Искренне преданный Вам
Д.Мережковский

¹ Мережковские были в Константинополе.

² Возможно, окончательный вариант кн.: *ТРИЛОГИЯ*, СПб., 1905.

7

31/1.[19]06

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, я Вам писал, спрашивал, можно ли мне придти к Вам сегодня между 9-10 чч. со статьей, которую я кончил и о которой мне нужно

бы с Вами переговорить. Вы мне не ответили. Или не получили письма? Или Вас нет в городе? Пожалуйста, ответьте на это второе письмо. Вас хотят посетить сегодня и жена моя Зинаида Николаевна, и Дм. Вл. Философов¹, и если Вы разрешите, я приду вместе с ними.

Сердечно Ваш
Д.Мережковский

¹ Д.В. Философов (1872-1940) редактировал «Новый путь» с лета 1904 до конца года (после ухода П.П. Перцова).

8

16/II.[19]06

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, лекция моя пока не запрещена¹. Посылаю Вам мою статью. Предоставляю Вам выключить из нее все, что Вы найдете неудобным для печати, но прошу себе права напечатать ее отдельно и целиком, в том виде, как она вышла из-под моего пера². Чтобы сохранить за собою это право, я готов отказаться от вознаграждения, но если Вы все-таки пожелаете мне заплатить, то мои условия обычные — 100 р. за печ[атный] лист. В статье не меньше 3 л[истов] — и так за все 300 р. Разумеется, мне было бы очень важно получить эти деньги до моего отъезда за границу: я уезжаю на будущей неделе. Пожалуйста, верните мне те отрывки из «Л.Т[олстого] и Д[остоевского]», которые я у Вас оставил при нашем последнем свидании: *они мне очень нужны*.

Прилагаю при этом статью.

В субботу на лекции, надеюсь, увидимся, но во всяком случае, зайду к Вам во вторник вечером в 9 ч.

От З[инаиды] Н[иколаевны] искренний привет.

Сердечно Ваш
Д.Мережковский

[на полях:]

Черкните два слова в ответ и, если возможно, пришлите поскорее *отрывки*, вырванные из книги «Л.Т[олстой] и Достоевский».

¹ Имеется в виду публичная лекция, организованная Литературным Фондом по случаю 20-летия со дня смерти Достоевского и состоявшаяся 18 февраля в зале Тенишевского училища (Моховая 33). Мережковский читал статью, написанную для Собрания Сочинений, вызвав острую реакцию со стороны части слушателей (см. предисловие).

² Очерк *ПРОРОК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. К юбилею Достоевского* — вышел сначала в журн. «Весы» (1906, №2-3), а затем в том же году — отдельной книжкой (СПб., изд. М.В. Пирожкова).

16/29.IX.[19]06¹

Дорогая и глубокоуважаемая Анна Григорьевна, я очень обрадовался Вашему письму, потому что боялся, что Вы на меня сердитесь, а теперь вижу, что Вы простили меня за мою вину, правда, невольную, и по-прежнему добры ко мне.

Радуюсь теперь, что будет у Вас статья Булгакова: никто лучше его не напишет очерка о Федоре Михайловиче².

Что касается до объяснения с читателями по поводу отсутствия моей статьи, то я бы считал нужным напечатать прилагаемое мое письмо к Вам, так как иначе остается непонятным, почему же я все-таки не дал Вам уже написанного очерка, а напечатал его раньше. — В этом можно усмотреть такую небрежность к памяти Федора Михайловича, в которой я вовсе не повинен.

Если Вам это письмо мое не понравится, то сделайте нужные изменения и пришлите мне их в *корректуре* — я сейчас же возвращу³.

Если же Вы совсем не захотите печатать этого письма в Вашем издании, то я готов напечатать его и в какой-нибудь газете, но во всяком случае нам обоим следовало бы объяснить, почему статья моя не появилась в Вашем издании.

Вы спрашиваете, как мы здесь живем⁴: — очень тихо и уединенно. Много работаем. Были на берегу Средиземного моря, в Бретани у океана и в чудесных вековых лесах. Готовил книгу о русской революции, которая выйдет сначала по-французски и по-немецки, а потом уже и по-русски, но не в России, потому что книга едва ли будет разрешена цензурою⁵. Я еще задумал написать трагедию «*Смерть Павла I*»⁶.

Зинаида Николаевна сердечно Вас благодарит за Вашу милую память о ней. Скоро ли вернемся, не знаю. Во всяком случае, едва ли раньше, чем через год: ведь в России надо быть теперь и *немедленно* или героем-мучеником, или равнодушным (более или менее) зрителем, или палачом.

А мы быть первыми не готовы, быть вторыми не умеем, быть третьими не хотим. Но только что увидим, что можно что-либо сделать в России, разумеется, вернемся сейчас же.

А вообще нам кажется, что происходящее теперь в России — *предел всякого ужаса*: это не зверство, а «*бесовство*» («Бесы»),

но не совсем в том смысле, как разумел Ф.М.), *бесовство с обеих сторон* и, разумеется, больше со стороны правительства...

Кстати, в Германии выходит новое великолепное издание Достоевского — и я участвую в этом издании⁷.

Жду известий от Вас

Сердечно Ваш

Д.Мережковский

Пишите в Париж.

¹ На бланке с адресом: 15 bis, rue Théophile Gautier, Paris (16°).

² Имеется в виду вступительная статья к юбилейному изданию (см. переписку С.Н. Булгакова).

³ Открытое письмо было опубликовано в начале I тома без малейшей поправки:

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна, приношу Вам мое усердное извинение в том, что новое Ваше издание произведений Ф.М. Достоевского должно появиться без обещанного мною критического очерка. Мне понятны мысли и чувства, заставившие Вас признать неудобною для напечатания статью мою *«Пророк русской революции»*, которая была написана для этого издания и в назначенный срок представлена Вам (в настоящее время она уже появилась отдельною книгою). Высказанные в этой статье взгляды на некоторые самые заветные верования Ф.М. Достоевского — самодержавие, православие, народность — так не совпадают с установившимся в русском общественном мнении пониманием произведений этого писателя, что я тогда же согласился с Вами, что, может быть, подобной статье не место в классическом юбилейном издании. Но ни изменить этот взгляд, ни даже высказать его в более умеренной форме я не в силах, хотя вполне понимаю, что взгляд мой может показаться недостаточно объективным.

Вы поверите, я надеюсь, что мне прискорбно не только нарушить данное обещание, но и не воспользоваться случаем принести посильную дань моей безграничной благодарности и благоговения к великому писателю. Еще раз извиняюсь перед Вами и прошу передать мои извинения читателям.

Искренне преданный Вам

Д.Мережковский.

15/28 сент. 1906. Париж

⁴ Мережковские уехали во Францию в марте 1906 г. и вернулись в Россию лишь в 1908.

⁵ По всей видимости, имеется в виду кн. *LE TZAR ET LA REVOLUTION* par D.Merejkovski, Z.Hippius, D.Philosophov. Paris, Société du Mercure de France, 1907, 283 p.

6 Драма *ПАВЕЛ I* (СПб., изд. Пирожкова, 1908).

7 Имеется в виду первое полное собр. соч. Достоевского на немецком языке, вышедшее в изд. R.Piper в Мюнхене под руководством критика A.Moeller van den Bruck (1876-1925) и при участии Мережковского и Философова: *F.M. DOSTOJEWSKI SÄMTLICHE WERKE*. Unter Mitarbeiter-schaft von Dmitri Mereschkowski und Dmitri Philosophov u.a. deutsch herausgegeben von Moeller van den Bruck. I und II Abt. Bd.1-22. München, R.Piper, 1906-1919. Мережковский написал вступительную статью «Rodion Raskolnikoff» (ук. соч., Bd.I München und Leipzig, 1908, S.20-59). Об этом издании пишет подробно Д.В. Философов из Парижа, где он находился вместе с Мережковскими, к Анне Григорьевне (письмо от 19.X./1.XI.1907):

/.../ пользуюсь случаем, чтобы сообщить Вам кое-что о немецком издании сочинений Федора Михайловича.

Из прилагаемого «проспекта» издания Вы увидите, что оно выходит в свет при участии моем и Дмитрия Сергеевича.

Но вот об этом-то участии я и хотел бы Вам сказать несколько слов.

Дело было так. Прошлой осенью явился к нам в Париже немецкий критик Moeller van den Bruck с предложением принять участие в издании, которое начало уже выходить («Бесы» уже были напечатаны) и программа которого *была уже установлена*. Мы заявили, что хорошо было бы привлечь к этому делу большое количество лиц, распределить между ними отдельные томы и поручить каждому снабдить эти томы не только введением, но и примечаниями, необходимыми для иностранной публики. Мы имели в виду привлечь Булгакова, Волжского, Розанова, Бердяева и др. Из этого прожекта ничего не вышло. Издатель оказался не в силах взять на себя необходимые для сего расходы. Мы тогда решили было совсем отказаться от затеи, но г.Moeller van den Bruck убедил нас дать наши имена, чтобы помочь делу, которое конечно нам дорого, так как первый раз сочинения Ф[едора] Михайловича появляются за границей в таком полном виде. Таким образом мы оказались с внешней стороны удовлетворенными перед иностранными читателями, с внутренней же стороны — мы ответственности взять никакой не можем, так как участие наше ограничивается всего кратенькими вводными предисловиями» (ГБЛ, ф.93/II, к.9, ед.хр.93).

Из контекста не совсем понятно, почему Философов пишет, что «Бесы» были уже напечатаны. Может быть, Анна Григорьевна хотела предложить для перевода главу «У Тихона», очередной раз частично забракованную и для 6-го издания Достоевского. Возможно, судя по оправдательному тону Философова, Анна Григорьевна выразила некоторое недовольство немецким изданием.

**

16 июня 1906

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Позвольте поблагодарить Вас за Ваше письмо. Я был искренне счастлив прочесть столь благоприятный отзыв о своих статьях, посвященных Ф.М. Достоевскому¹, из уст столь ему близкого и компетентного лица, как Вы.

Думаю, что Вы поймете и поверите этому, зная мое общее отношение к деятельности Федора Михайловича, которого и лично я причисляю к числу своих духовных отцов. Впрочем, я ничего не могу здесь прибавить к тому, что говорил уже печатно.

Воспользуюсь ближайшим случаем для того, чтобы лично познакомиться с Вами, на что надеюсь ближайшей зимой.

Ввиду сказанного я могу принять Ваше приглашение только как величайшую честь для себя, и пойти навстречу ему счел бы обязанностью пред памятью Вашего мужа. Надеюсь, что Ваши разногласия с Д.С.Мережковским, коренящиеся в чисто принципиальных соображениях, не послужат источником каких-либо недоумений между всеми нами, и полагаю также, что для Вас ясны общие основания моего мировоззрения, устанавливающие мою общую точку зрения на творчество и руководящие идеи Ф.М. Достоевского, так что каких-либо неожиданностей здесь не предвидится. Однако остаются еще личные затруднения, которые мне надлежит преодолеть для исполнения Вашего желания. Первое в том, что, так недавно написав собственную статью о Ф.М.², я боюсь, не оказались бы вялость и отсутствие надлежащей силы настроения неизбежными теперь и не привело бы это к тому, что статья выйдет неудачной, между тем как Вы, очевидно, исключаете возможность воспроизведения раз уже напечатанной статьи. Я постараюсь сделать все зависящее и попробую составить совершенно новую статью, построенную по иному плану, но все-таки это литературно-психологическое затруднение в известной степени неустранимо, и о нем я считаю необходимым предупредить Вас. Второе затруднение касается назначенного Вами срока, который для меня сокращается еще тем, что за это время не менее двух недель у меня должно уйти на неотложную поездку на север, а, кроме того, до конца лета мною должна быть написана еще одна, давно обещанная статья, так что времени у меня совсем мало. Я предполагаю, однако, в первую очередь, после поездки, приняться за статью для Вас, однако боюсь точно устанавливать срок

хотя бы в указанных Вами границах, напротив, просил бы Вас установить окончательный и крайний срок, дальше которого Вы фактически ждать не можете. Я — человек точный, а, конечно, чем этот срок будет дольше, тем лучше для дела. Наконец, что касается содержания статьи, то я совершенно должен отказаться от составления *биографического* в узком смысле очерка, так как это требует специального изучения, которым я не располагаю, да и вообще биография Федора Михайловича пока еще не написана. Поэтому я могу обещать лишь очерк о некоторых идеях или мотивах творчества Ф.М. Достоевского, вроде очерков, мною уже написанных. Мне хотелось бы ввиду всего этого иметь от Вас еще окончательное подтверждение в виде письма или телеграммы, которое прошу направить по крымскому адресу, ввиду моих переездов¹. Благодарю Вас за полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. В материалах я не нуждаюсь, хотя мне и полезно было бы познакомиться со статьями Аверкиева и Случевского², которые мне остались неизвестны. В том случае, если они есть у Вас в оттиках, благоволиите переслать мне, в противном случае не стоит беспокоиться. Наконец, что касается гонорара, то я могу предложить обычную норму оплаты моего литературного труда (напр., хотя бы за ту же статью в «Свободе и культуре»³), именно 100 р. за лист обычного формата (примерно в 36 т. букв).

Еще раз позвольте выразить Вам мое удовольствие по поводу хотя и заочного знакомства с Вами и пожелать Вам всего лучшего.

Готовый к услугам Вашим

С.Булгаков

¹ Среди работ о Достоевском, написанных С.Н. Булгаковым до 1906: статья «Иван Карамазов как философский тип». — «Вопросы философии и психологии», 1902, кн.1, №61, январь-февраль, с.826-863 (вошла в сб. *ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ*, СПб., 1903, с.83-112); «Васнецов, Достоевский, Вл.Соловьев и Толстой» — сб. *ЛИТЕРАТУРНОЕ ДЕЛО*, СПб., 1902; «Венец терновый». — «Свобода и культура», 1906, №1 (вышла отдельной брошюрой в 1907 в серии Библиотеки «Век», как бесплатное приложение к журналу).

² Имеется в виду «Венец терновый».

³ Письмо отправлено из Крыма, станция Кореиз (на конверте).

⁴ См.: Ф.М. Достоевский. *Полное собр. соч.*, т.1. Повести и рассказы. Краткий очерк жизни и писательства Ф.М. Достоевского, сост. Д.В. Аверкиевым. СПб., 1885; Ф.М. Достоевский. *Полное собр. соч.*, т.1. Повести и рассказы. Очерк жизни и деятельности Достоевского, сост. К.К. Случевским. СПб., 1888.

⁵ «Венец терновый».

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Простите меня, что я своим молчанием, которое принимал за знак согласия, доставил Вам беспокойство. Письмо Ваше попало ко мне в дороге, и я думал, что Вы не будете беспокоиться моим молчанием, и подготавливал статью, которую пишу в настоящее время и, если ничто не помешает, надеюсь ее к половине сентября окончить, так что Вы будете иметь ее не позже 20-го. Я телеграфировал Вам об этом вместе с просьбой о присылке биографического тома, к[ото]рого здесь не оказалось и к[ото]рый мне нужен¹. По миновании надобности здесь возвращу. Я употребляю все усилия, чтобы остаться в указанных Вами границах, и вообще не склонен к многословию, однако сильно боюсь, что все, что я здесь считаю необходимым высказать по внутреннему существу дела, превысит указанный Вами максимум. Впрочем, м[ожет] б[ыть], этого и не будет, но считаю полезным Вас предупредить об этом. Превышение не может быть однако значительным. По поводу возбуждаемого Вами вопроса относительно Д.С. Мережковского мне затруднительно высказать окончательное суждение потому, что я не знаю, в какой форме состоялось Ваше решение относительно Д.С. Принять во внимание возможные желания последнего и, быть может, даже снестись с ним об этом есть, конечно, всецело дело Вашего усмотрения. Я лично считаю достаточным короткое фактическое извещение от издательницы, помещенное или в приложении к моей статье или же на особом листке. И проект подобного примечания предлагаю на Ваше усмотрение, причем я совершенно согласен на всякие изменения его, ибо вообще считаю это Вашим, а не моим делом. Не знаю также, удовлетворит ли такое заявление Д.С. Мережковского. Я взял у Волковой все имеющиеся у нее томы *шестого* издания, следов[ательно], имею и отрывки из «Бесов». (Неужели нет продолжения этой главы?) В нем отсутствуют пока томы I, IX и XII (должен ли я получить их по выходе через магазин Волковой или же иначе?)²

В заключение одна моя просьба к Вам. Меня просил отрекомендовать перед Вами близкий и дорогой мне человек, Ал[ексан]др Сергеевич Глинка (Волжский), молодой писатель, о котором Вам говорил уже Д.С. Мережковский. Он благоговейно чтит память Ф.М. и не раз уже писал о нем, теперь же занят составлением большой, полнее всех существующих, его биографии³. Он просит позволения посетить Вас в Петербурге как живой биографический источник, в надежде также, что Вы позволите ему посмотреть

имеющиеся у Вас и неиспользованные материалы, гл[авным] обр[азом] письма к Ф[едору] М[ихайловичу]. На случай сообщаю Вам адрес Волжского-Глинки: Симбирск, Театральная улица, д.Коба. Он собирался в поездку уже в половине сентября, следовательно, известить меня или его о Вашем согласии полезно было бы теперь же.

Крепко жму руку Вашу.

Искренне Вам преданный

С.Булгаков.

¹ По-видимому, имеется в виду I т. Полного Собр. соч. Ф.М. Достоевского (1882-1883) с заглавием *ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. БИОГРАФИЯ, ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ*. СПб., 1883. В содержании «Материалы для жизнеописания Достоевского» О.Ф. Миллера.

² Роман *БЕСЫ* вышел в 8-м томе (1906). В нем намечалось печатание неопубликованной главы «Исповедь Ставрогина» («У Тихона»). Но по цензурным причинам в том вошла лишь первая часть главы, без рассказа о Матреше, под заглавием «Материалы к роману "Бесы"» (из «Записных книжек Ф.М. Достоевского»), с.597-616, с заметкой от издателя: «Помещаемые здесь "Материалы к роману Бесы" были выбраны из "Записных книжек" Ф.М. Достоевского Н.Н. Страховым, редактировавшим издание Полного Собрания Сочинений 1883 г., для напечатания в первом томе. По некоторым обстоятельствам "Материалы" были отложены для помещения в одном из последующих изданий. Издатель». Тома 1-й (куда вошел и очерк Булгакова), 9 и 12-й вышли в 1906.

³ Александр Сергеевич Глинка (псевд. Волжский, 1878-1940), критик, историк литературы. Среди работ, посвященных Достоевскому: *ДВА ОЧЕРКА ОБ УСПЕНСКОМ И ДОСТОЕВСКОМ*, СПб., 1902; статья «Религиозно-нравственная проблема у Достоевского». — «Мир божий», 1905 (июнь, июль, август); статьи «Достоевский и самодержавие» и «Памяти Достоевского» — «Московский еженедельник», 1906, №12; монография *Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДЬ*. М., 1906. Многочисленные упоминания о Достоевском в статьях, собранных в сб. *ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСКАНИЙ*. СПб., 1906 и т.д. (см. о нем ниже).

3

Открытка

С.Петербург, Спасская, 1
А.Г.Достоевской

Кореиз, 16.IX.1906

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Посылаю рукопись, простите помарки, от недосуга. Писать подробно не могу, п[отому] ч[то] экстренно выезжаю по семейным

обстоятельствам. Убедительно Вас прошу выслать мне корректуру на несколько всего часов по след. адресу:

Москва (я буду жить там)

Б.Афанасьевский пер., д.Борщова, кв.4.

Ваш С.Булгаков

4

Москва, 11.X.[19]06

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Простите мое продолжительное молчание, оно имело чисто внешние причины. Благодарю Вас за подарок — биографический том соч[инений] Ф.М. и за благосклонный отзыв о статье моей. Сам я не могу сказать, чтобы был ею доволен, но работал добросовестно и искренно, — а только этого и можно требовать от автора, остальное не от него зависит. Вашего справочного труда о литературе о Ф.М.¹ и проч., о котором Вы мне писали, жду с большим интересом и постараюсь, насколько сумею, высказать о нем свое мнение, хотя я вообще плохой библиограф. Рад, что Вам понравился Александр Сергеевич²; его рассказы о беседах с Вами я слушал с большим интересом. Надеюсь, что при личном свидании и я услышу от Вас многие рассказы из слышанного им. Мне очень было грустно узнать, что некоторые места моей статьи вызывают у Вас такие тягостные опасения личных осложнений, и, поверьте, я вполне понимаю Ваши мотивы и вхожу в Ваше положение, так что с своей стороны пошел бы навстречу Вашим желаниям. К сожалению, это возможно лишь в небольшой степени. Некоторые словесные смягчения, особенно касательно «Ц.П.И.»³ (этот термин даже повсюду исключен) я сделал. Имена исключил с величайшей готовностью и даже, вероятно, сделал бы это и сам при редактировании без особой Вашей просьбы. Но весь план статьи менять было и поздно, да и едва ли возможно, ибо все, что у меня сказано, слишком в моих глазах важно, чтобы остаться невысказанным. Во всяком случае я далек был от мысли винить отдельное лицо в том, что было делом целой эпохи, я уверен, что и само это лицо поймет и различит принципиальное отношение и личное раздражение. Что же касается принципиального отношения, то, если допустимо несогласие по вопросу о самодержавии даже с Ф.М., то тем более с лицами, приходившими с ним в близкое личное общение. Еще раз повторяю, что я имел полную готовность насколько можно исполнить Ваше желание, и произвел *все возможные принципиально* смягчения, дальше идти мне не позволяют убеждения, но я боюсь, удовлетворитесь ли Вы этим смягчением?

Письмо Д.С. Мережковского я принимаю как факт и с своей стороны ничего не имею против его печатания. Вы, вероятно, заметили, что я касаюсь в статье некоторых тех же пунктов, что и он, хотя при этом и обнаруживается существующее различие в нашем отношении к мировоззрению Ф.М. Не говорить об отношении Ф.М. к революции (которое сделал темой своего очерка и Д.С. Мережковский) в настоящее время нельзя, хотя бы ради того, чтобы устранить здесь все неосновательные и обидные для памяти Ф.М. недоразумения, а говорить об этом нельзя, не высказываясь по вопросам, которые по личным причинам Вы находите щекотливыми.

Очерк можно озаглавить так, как предполагаете Вы, но без слова «биографический», ибо ни одного слова биографического в моей статье нет: выйдет так: *Очерк о Ф.М. Достоевском: чрез четверть века (1881-1906)*, сост. проф. С.Н.Б. Впрочем, если Вы хотите удержать свою обычную номенклатуру, то я согласен и на то, чтобы в объявлении очерк назывался даже биографическим, с тем, однако, чтобы в заголовке статьи осталось мое заглавие⁴.

Я вообще этому вопросу практического значения не придаю. Очевидно, письмо Д.С. Мережковского войдет как часть в Ваше предисловие как издательницы? Или же оно появится совершенно особо? Мое мнение, что лучше было бы Вам составить несколько слов от издательницы, в к[отор]ых рассказать фактическую сторону и в качестве материала привести письмо Д.С. Впрочем, и на этом я не настаиваю и лично к этому довольно равнодушен. Большая моя просьба к Вам: не могу ли я получить хотя 20-25 оттисков своей статьи или же, если нельзя, хотя корректорский экземпляр.

Мне нужен текст для прочтения в одном кружке. В этих же видах мне хотелось бы точно знать, когда выйдет тот том собр. соч., к[отор]ый будет содержать мою статью. Сообщением этого срока, а равно и вообще предполагаемого времени окончания всего издания Вы меня очень обяжете.

Желаю Вам всего самого лучшего.

Искренно Вам преданный
С.Булгаков

[P.S.] Сейчас послал заказной бандеролью корректуру Вам.

P.P.S. С огорчением сейчас заметил свою ошибку: я написал адрес на бандероли вместо *Спаская, 1* — *Сергиевская, 1*. Не понимаю, как я мог так ошибиться и, мало того, я бросил квитанцию об отправке, хотя на бандероли и есть мой адрес, по которому она может возвратиться в случае ненахождения — Ваш адрес, верно,

известен почтамту? Мне очень стыдно такой рассеянности и я беспокоюсь, получите ли Вы бандероль.

Известите.

[Здесь же, на отдельном листе:]

От издательницы

К этому изданию сочинений Ф.М. Достоевского первоначально обещан был вступительный очерк Д.С. Мережковского, теперь уже опубликованный под заглавием «Пророк русской революции» и сделавшийся таким образом доступным для читателя. Помещаемый здесь вступит[ельный] очерк С.Н. Булгакова, еще не появлявшийся в печати, составлен им специально для настоящего издания⁵.

¹ Достоевская А.Г. *БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф.М. Достоевского, собранных в «Музее памяти Ф.М. Достоевского» в Московском Историческом Музее имени имп. Александра III. 1846-1906.* СПб., 1906.

² Глинка-Волжский.

³ Не ясно, о чем идет речь. Возможно, «церковная православная иерархия»?

⁴ Шмуцтитул I тома гласит: «Биографический очерк о Ф.М. Достоевском, составленный профессором С.Н. Булгаковым», а как заглавие сохранился предложенный Булгаковым вариант.

⁵ Это сообщение не вошло в Собрание сочинений.

5

Москва. 29 окт[ября] 1906 г.

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Сегодня получил от Вас весточку и очень рад был ей, п[отому] ч[то] немного беспокоился, насколько мы сладимся, к счастью, сладились благополучно. А для меня всякие недоразумения бывают тяжелы.

Мне переслана была из Крыма Ваша книга «Музей памяти Ф.М. Достоевского»¹, сердечно благодарю Вас за нее. Это — памятник вашей преданности памяти Ф.М., супружеской любви и большого труда, — отраднo видеть и чувствовать эту любовь и эту работу. Конечно, Ваша работа является незаменимым указа-

телем для всякого, кто будет работать о Ф.М., и Вашим неруко-
творным памятником ему. Какую массу черного труда и хлопот
нужно было Вам понести, чтобы составить этот указатель! Веро-
ятно, как и всякая работа человеческих рук, и в нем можно от-
крыть какие-то пробелы, но это возможно только при специаль-
ном исследовании, а для читателей Достоевского Ваша работа яв-
ляется в своем роде незаменимой. Я с большим интересом позна-
комился с разными ее отделами, в частности убедился в ошибоч-
ности своего, сделанного даже печатно, утверждения, что «Бр[а-
тья] К[арамазовы]» и «Бесы» не были переведены еще на новые
языки! Вот Вам непосредственное доказательство полезности Ва-
шей книги!

Добрейшая Анна Григорьевна!

Я хочу произвести над Вами насилие, — удержать присланную
Вами корректуру. Мне как раз в будущее воскресенье понадобится
она для прочтения статьи в одном кружке (да это и последний
срок до выхода тома), и я боюсь, что не успею получить от Вас
в обмен. Чтобы не задерживать печатание, я приведу Вам здесь
важнейшие (кроме буквенных) из замеченных мною погрешно-
стей, которые прошу Вас исправить:

	написано	надо
стр. V, строка 4 сверху	показания	поколения
XXX .../...	страд	смрад
XXXII — 17 сверху	во фразе «истинно русскими»	надо вставить еще: людьми
XXXII — 12 снизу	надевших	надевшими
XXXIII — 7 снизу	рассматривает	рассматривать
XXXVII — 17 снизу	стремится	он стремится

Если Вы хотите иметь подлинную корректуру, то пошлите
мне, по получении этого письма взамен другую, и я вышлю не-
медленно эту. Благодарю Вас очень за 50 экз. оттисков, — мне
этого довольно. А[лексан]др Сергеевич уехал к себе в Симбирск.
Я просил бы Вас, однако, если Вы будете печатать обещанную
копию с письма Вл.С. Соловьева к Ф.М., пошлите ее мне, и я пере-
шлю ему, мне очень хочется познакомиться с этим письмом².

Желаю Вам всего, всего лучшего, особо же здоровья.

Сердечно Ваш

С.Булгаков

P.S. Озаглавить так, как Вы желаете, я, конечно, вполне со-
гласен.

¹ МУЗЕЙ ПАМЯТИ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКО-
ГО в имп. Российском Историческом музее имени императора Алек-
сандра III в Москве. 1846-1903 гг. С портретами и видами. СПб., 1906.

² Неизвестно, о каком точно письме идет речь. Интерес Булгакова к обоим деятелям и связи их идей виден из его многочисленных работ этого периода о Соловьеве и Достоевском. Письма В.С. Соловьева к Ф.М. Достоевскому хранятся в отделе рукописей ГБЛ, ф.93/II, 8, 1206 (см. «Литературное наследство», т.86, с.479-480).

6

26.XI.[19]06. Москва

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Чрезвычайно обрадован был вчера полученным письмом Вашим, — я уже начинал строить разные предположения о причинах задержки издания. Благодарю Вас за полученные уже мною деньги, о чем заявление, согласно желанию Вашему, прилагаю при этом письме. Чрезвычайно рад, что статья моя явилась поводом к знакомству с Вами, которое, надеюсь, осуществить и лично в первый же мой приезд в Петербург. Я считаю для себя за большую честь, что моя статья открывает юбилейное издание сочинений Ф.М. Достоевского. Конечно, Вы можете заказывать для себя оттиски моей статьи в таком количестве, сколько это нужно для Ваших личных потребностей, и я чрезвычайно благодарен Вам за присланные для меня 50 экз. Александр Сергеевич находится в Симбирске и работает над своим трудом. Сердечно желаю Вам всего лучшего, остаюсь искренно Вас уважающий и готовый к услугам Вашим

С.Булгаков

P.S. Мой очерк был здесь прочитан публично в заседании религиозно-философского общества в присутствии большого количества слушателей и вызвал оживленные прения как о самом предмете его — о мирозерцании Ф.М. Достоевского, так и по поводу его. Когда появится в печати протокол этого заседания, я Вам его пришлю. Итого, в общем счете, мне уже три раза пришлось публично читать о Ф.М. Достоевском: дважды в Киеве («Венец терновый» и «Иван Карамазов как филос[офский] тип») и однажды в Москве.

**

1. Достоевская — Розанову

6 июня [18]93

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Позвольте мне просить Вас принять присылаемые при сем сочинения покойного Федора Михайловича¹ в знак сердечного моего уважения.

Искренне преданная

А.Достоевская

¹ Имеется в виду Полное собр. соч. (см. след. письмо).

2. Розанов — Достоевской

[7 июля 1893]

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

благодарю Вас от всей моей души за присылку 4-го издания¹ Сочинений Вашего покойного мужа; желал бы очень выразить эту благодарность лично, но опасаясь, что слишком скорый Ваш отъезд из СПб, т.е. до Воскресенья, помешает мне сделать это, и тогда придется отложить мою благодарность до Вашего возвращения сюда осенью², когда, Бог даст, мы начнем обдумывать «Избранные мысли» покойного Федора Михайловича³.

Искренно преданный Вам

В.Розанов

¹ ПСС, СПб., 1892 (с очерком жизни Случевского).

² Летом 1893 А.Г. Достоевская была в Карлсбаде.

³ О реализации этого замысла нет сведений.

3. Розанов — Достоевской

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Прежде всего считаю долгом поблагодарить Вас, хотя и слишком поздно, за подарок — 4-е издание сочинений покойного Вашего мужа. Вскоре по Вашем отъезде ко мне явился А.Ф. Маркс и попросил меня ускорить статью для его издания¹, — ввиду того, что скоро нужно начинать печатание первого тома, и, быть мо-

жет, что-нибудь переделать и сократить в написанном. Я обещал ее окончить к первым числам августа. Оканчивая, я увидел, что статья выходит не плохо, и потому письмом предупредил его, что сокращать ее до требуемых 12 стр[аниц] значило бы не только ему портить свое издание, но и мне ронять свое имя в литературе, от чего я решительно отказываюсь.

1-го августа я ему отнес рукопись, копию которой Вам при сем прилагаю, 4-го августа, согласно условию, я был у него вторично, и он сказал мне, что она будет напечатана вполне, и только некоторые слова будут смягчены: это там, где я, имея в виду множество таких читателей, к[оторы]е, по малому образованию, не будут знать, с чего начать чтение, и случайно начнут его не с самых сильных, а с самых слабых произведений Фед. Михайловича, — тщательно отмечаю эти сочинения, и так сказать предупреждаю читателя².

По мне, этих смягчений не следовало делать, и вообще Ф.М-ч такой писатель, о котором можно и должно писать только строгую правду — но «Нива» имеет свои требования. Это все несущественно; я чрезвычайно рад тому, что статья пойдет необезображенная урезками и что в ней нет никаких повторений того, что сказано было мною о Достоевском прежде (в «Легенде о Вел[иком] Инквизиторе», в Русск[ом] Вестн[ике])³. Он меня заставил подписать какой-то контракт и уплатил 200 р. (я ему сказал, что уже получил от Вас 100). Я прошу Вас извинить меня, что в поручении Вашем я сделал некоторое изменение, т.е. не снес рукопись Пантелееву⁴, — для снятия с нее копии: но раз явился сам Маркс, как непосредственный заказчик, я не нашел возможным поступить иначе, копию же почел долгом доставить Вам сам, хотя передал Ваше желание и Марксу. Дай Бог, чтобы статья моя нашла в Вас одобрение.

Искренно преданный Вам
В.Розанов

СПб. 7 августа 1893 г.

¹ Адольф Федорович Маркс, издатель иллюстрированного журнала «Нива», в 1893 купил у Анны Григорьевны права на полное собрание сочинений Достоевского, которое вышло как литературное приложение к «Ниве» на 1894 г. (СПб., 1894-1895). В первом томе был помещен «критико-биографический очерк» Розанова (с.V-XXIV). Очерк вошел с существенными изменениями (вся вторая часть была переделана) в сб. *ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ*. СПб., 1899, с.143-154, под заглавием «О Достоевском»).

² В очерке Розанов давал обзор творчества Достоевского с многочисленными биографическими данными, обращая особое внимание на «Братьев Карамазовых» и «Дневник писателя».

³ Впервые: «Русский вестник», 1891, №1-4.

⁴ Братья Пантелеевы (Григорий Фомич и Петр Фомич) — издатели, владельцы типографии в Петербурге, где печатались произведения Достоевского в 1870-1880 гг. О Г.Ф. Пантелееве см. также п.10.

4. Розанов — Достоевской

31 января 1894

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Приготовляя к отдельному изданию критический очерк свой о Вашем покойном муже (напечатанный в 1891 г. в «Русском Вестнике»), я хотел бы, для большей убедительности своих на него взглядов, дать в конце его *Приложения*, содержащие выдержки из произведений покойного, относящиеся к той или иной странице моего критического очерка¹. Не надеясь сделать это удовлетворительно менее, чем на протяжении 2-х печатных листов, я позволяю себе обратиться к Вам с почтительною просьбою разрешить мне взять это количество текста, извлеченного из разных мест его «Полного собрания сочинений».

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении.

В.Розанов

С.-Петербург, Петербургская сторона, Павловская ул., д.2 кв.1.

¹ Очерк вышел под названием «Легенда о Великом Инквизиторе Федора Михайловича Достоевского. — Опыт критического комментария В.Розанова». СПб., 1894, тип. С.М. Николаева, с.1-175. Приложение: с.203-234.

5. Розанов — Достоевской

22 марта 1895

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Одновременно с этим письмом посылая Вам перепечатку статей своих о Вашем покойном муже¹, в отдельном издании, я с тем вместе долгом считаю извиниться, что делаю это слишком поздно. В объяснение могу только сказать, что в момент ее выхода я был уверен, что Вы или за границую, или в Новгороде, у себя на

даче²; а позднее, послав к Вам книгу по старому адресу, узнал, что Вы выехали с прежней квартиры, и только на днях от Н.Н. Стрехова случайно узнал, что Вы и здесь и Ваша квартира — недалеко от прежней³.

Во всяком случае прошу Вас не посетовать слишком на меня и сохранить прежнее доброе расположение. Да хранит Бог Вас и детей Ваших.

Вам искренно преданный
В.Розанов

¹ Речь идет о «Легенде о Великом Инквизиторе» (см. след. письмо).

² В Старой Руссе.

³ С.-Петербург, Троицкая ул., д.36.

6. Достоевская — Розанову

22 марта 1895

Не знаю, как благодарить Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, за дорогой подарок — «Легенду о Великом Инквизиторе». Я читала Вашу талантливую статью, а теперь с искренним удовольствием перечту ее вновь. Об одном пожалела, что Вы книгу не написали мне.

Редко мы видаемся, глубокоуважаемый Василий Васильевич, и я об этом горюю. Что будешь делать: живем мы далеко друг от друга и мне собраться очень трудно, всю зиму одолевают разные болезни.

Если будете в наших краях как-нибудь в воскресенье, пожалуйста, загляните к нам, будем Вам очень рады. Передайте мой сердечный привет Вашей милой супруге. Дочь моя Вам низко кланяется.

Желаю Вам всего dobroго.

Искренно Вас уважающая и преданная

А.Достоевская

7. Розанов — Достоевской

[январь-февраль 1896]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Обращаюсь к Вам с самой глубокой, тревожной и вместе надеющейся просьбой, без мысли, что Вы в ней мне откажете. Вы

были женой Федора Михайловича, — и верной, преданной, устроившей последние годы его жизни женой; мне выпало быть кажется наиболее упорным толкователем его мыслей. Дело в том, что я задумал и начал выполнять очень обширное сочинение, куда огромною составною частью войдут 4 наших мистика-писателя: Гоголь, Лермонтов, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой² — из них Ф.М., как наиболее из них темный, не разгадываемый и сложный — войдет наиболее значительно. Как маленький намек — скажу только, что «Сон смешного человека» весь — т.е. в своем полете на новое небо и другую землю — вошел уже в мое исследование. Теперь мне непременно нужно иметь и по крайней мере прочесть рассказ Ставрогина, о коем Вы мне передавали, что он *содержит его* собственную передачу о растлении 14-летней девушки³. Просите, что я Вам пишу подробно — но это очень важно для дела, и Ф.М. знал лучше своих критиков «советчиков», что ему нужно было писать. Дело в том, что эпизод этот вовсе не случаен: в «Сне смешного человека» тоже бегают «обиженная 11-летняя девочка»; Свидригайлову 2 сна снятся этого содержания; но нигде — рассказа, *субъективной* передачи. В «Преступлении и наказ[ании]» Свидригайлов делает попытку изнасиловать Дуню Раскольникову, но — он подходит к ней, и ничем дело не кончается. Для особых целей моего исследования мне пришлось взять всю эту сцену — страниц 8 — огромного напряжения страсти у Свидригайлова; но Дуня — взрослая и, судя по всем работам Ф.М. — именно в пропущенной сцене Ставрогина с девочкою, и при субъективной его передаче, этот мне нужный мотив был выражен Ф.М.-чем наиболее глубоко, пронизательно и психологически понятно. Уже в сцене с Шатовым Ставрогину говорит первый: «а правда ли, что Вы нашли совпадение полюсов, что Вы говорили, будто не знаете разницы между каким угодно подвигом и жертвою на пользу человечества и самую сладострастную зверскою выходкой» — и разумеется это растление подростка. Теперь — в пропущенной главе, очевидно психологическая разгадка этих тайн⁴. И любящая жена великого человека — непременно, всенепременно поедет в Москву⁵, возьмет этот отрывок и привезет его любящему критику великого писателя. Да Вы можете и приказать выслать Вам на время рукописи, или потребовать их копии, а лучше конечно — самой поехать, выбрать любопытное и привезти мне. Я же как чиновник⁶, да и просто как человек — абсолютно ничего этого не могу. Главу же я вероятно ввел бы в свое исследование. О том, что я его пишу — ради Бога, полный секрет, абсолютная тайна.

Вам глубоко преданный

В.Розанов

Адрес: Петербургская сторона, Павловская ул., д.2, кв.1.

Простите, что написал Вам несколько спутанно — оттого, что «полон рот дела».

¹ Без даты. Датируется на основании ответного письма А.Г. Достоевской от 25 февраля 1896 (см. ниже).

² Такой замысел и в такой форме — не был осуществлен. Вышли отдельные очерки: о Лермонтове — «Вечно-печальная дуэль. (М.Ю. Лермونتов)» в сб. *ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ*, с.155-169; «Демон Лермонтова и русские сородичи». — «Русский вестник», 1902, сентябрь; о Гоголе Розанов опубликовал «два этюда» в приложении к изданию «Легенды о Великом Инквизиторе» в 1906; о Толстом — см. «Поездка в Ясную Поляну». — Международный Толстовский Альманах *О ТОЛСТОМ*, изд. «Книга», М., 1909, и *Л.Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ*. СПб., 1912. Хотя замысел остался неосуществленным, во всем творчестве Розанова «мистики-писатели», особенно Гоголь, Толстой и Достоевский — занимали центральное место во всем творчестве Розанова.

³ Глава «У Тихона».

⁴ Вокруг неопубликованной главы *БЕСОВ* никогда не утихали споры. Об этом свидетельствуют также другие материалы из архива Анны Григорьевны, в частности, ее переписка с А.Ф. Кони (ГБЛ, ф.93/II, к.5, ед.хр.105) и с А.Л. Волынским (там же, к.2, ед.хр.48). В своем письме Кони выражает о пропущенной главе противоположное Розанову мнение; из этого же письма можно сделать вывод, что А.Г. Достоевская, в попытке обойти цензурные препятствия, не исключала возможности опубликовать главу «У Тихона» за границей. Письма Волынского более поздние и другого характера; они относятся ко времени подготовительной работы над его книгой *ДОСТОЕВСКИЙ* (СПб., 1906).

⁵ Рукописи хранились в Музее Достоевского при Московском Историческом музее.

⁶ Розанов служил с 1893 в Государственном Контроле в должности чиновника особых поручений VII класса. (См.: Э.Голлербах. *В.В. РОЗАНОВ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО*. П., 1922, с.20). На протяжении всех годов своей службы Розанов всегда жаловался на ее тяжелые условия.

8. Достоевская — Розанову

25 февр[аля] 18[96]

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Простите великодушно, что я так замедлила ответом на Ваше письмо. Дело в том, что все это время разыскивала остатки «Записной книжки»¹, но, к сожалению, их не нашла. Очевидно, я их отправила в Москву, в Музей, так как из боязни, что здесь у меня

затеряется, я туда отсылаю все относящееся до памяти и сочинений покойного Федора Михайловича.

Корректуры «Бесов» тоже хранятся в Музее, в несгораемом сундуке. Этою осенью я буду в Москве и привезу оттуда остатки «Записной книжки» и некоторые другие материалы.

Вы представить себе не можете, глубокоуважаемый Василий Васильевич, до чего мне досадно, что я так твердо Вам обещала найти остатки и их не нашла. Но это еще не уйдет, и осенью я их Вам доставлю.

Прошу Вас передать мой сердечный привет Вашей супруге².

Искренно вам преданная и уважающая

А.Достоевская

¹ Имеются в виду записные книжки Ф.М. Достоевского (1869-1872), содержащие материалы к роману *БЕСЫ*. Вариант исповеди Ставрогина существовал также в отвергнутой корректуре декабрьского выпуска журн. «Русский вестник» за 1871 (об истории неопубликованной главы *БЕСОВ* см.: Ф.М. Достоевский. Полное собр. соч. в XXX томах. Л., 1972-1988, т.12, с.237-253).

² Варвара Дмитриевна Руднева (1860?-1921) гражданская жена Розанова и мать его детей. Происходила из духовной семьи, вдова М.П. Бутягина.

9. Розанов — Достоевской

[после 25 февраля 1896]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Простите, что я ввел Вас в напрасные хлопоты по отысканию остатков записной книжки и сцены из «Бесов» Федора Мих[айловича]; но будьте добры, не откажитесь осенью привезти из Москвы; я не решился бы об этом просить Вас, если бы Вы уже не выразили желание это сделать — в письме Вашем².

Свидетельствуя глубокое почтение Вам и детям Вашим остаюсь преданный Вам

В.Розанов

Быть может, осенью Вы будете иметь другой адрес, и, сверх сего, я не буду знать о Вашем приезде в СПб., — поэтому не откажитесь известить меня по приезде сюда по адресу: Здесь, Петербургская сторона, Павловская ул., д.2, кв.1.

В.В. Розанов

¹ Б/д. Датируется на основании письма А.Г. Достоевской от 25 февраля и по содержанию. В фонде Достоевской (ГБЛ, ф.93/II, письмо датировано маем 1893, что кажется ошибочным; письмо — явно отвечает на то, которое Анна Григорьевна послала Розанову после его просьбы о присылке записных книжек — здесь №6).

² Письмо от 25 февраля.

10. Розанов — Достоевской

[СПб., 14 ноября 1896]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Будьте добры, сообщите мне, когда я мог бы, не отнимая у Вас нужного времени, посетить Вас и посмотреть остатки *Дневника* и неизданную главу *Бесов* покойного мужа Вашего.

У меня *не* заняты служебно только утреннее время до 11 часов и вечер, и мне хотелось бы быть у Вас вечером, часов от 8; или в крайности от 6 1/2 вечера. Простите, что я Вас беспокою эту просьбою.

Вам искренно преданный

В.Розанов

Адрес: СПб., Петербургская сторона, Павловская ул., д.2, кв.1
Василию Васильевичу Розанову.

¹ Почтовый штампель.

11. Достоевская — Розанову

6 марта [18]97

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Пожалуйста, извините меня, что я собираюсь отнять десять минут времени на чтение моего письма. Дело вот в чем: если Вы читаете «Новое Время», то вероятно заметили, что за последние две недели там были помещены два письма г.Булгакова¹, в которых он обвиняет редактора «Вестника Иностранной Литературы» Г.Ф. Пантелеева² в недобросовестности. Нападки Булгакова преувеличены и несправедливы. Я печатаю мои издания в типографии Пантелеева более 20 лет и знаю Григория Фомича Пантелеева за высшей степени честного и добросовестного человека. Уже несколько месяцев Пантелеев говорил мне, что Булгаков относится небрежно к своему делу и делает разные неприятности. Наконец

неприятности перешли через край и они разошлись, причем Булгаков обещал наделать хлопот г-ну Пантелееву и свои угрозы исполнил.

Для того чтобы продолжать издание, г-ну Пантелееву необходим новый редактор, и вот он приехал ко мне сегодня просить совета, кого ему пригласить из числа тех 10-15 литераторов, которые предложили ему свои услуги.

Мне подумалось, глубокоуважаемый Василий Васильевич, не пожелаете ли Вы взять на себя редактирование этого журнала, а также тех изданий, которые выпускает г.Пантелеев (переводы Бальзака, Диккенса и др.). Я знаю, что Вы всегда заняты и не обладаете свободным временем. Может быть, Вас затруднит то обстоятельство, что Вам незнакомы все иностранные языки. Скажу Вам на это, что у журнала имеется целая армия опытных переводчиц и переводчиков, которые сами отыскивают и указывают новости литературы по тому языку, с которого они переводят. Кроме того, к Вашим услугам будут три помощника, которые возьмут добрую долю Вашей работы. Значит, Вам придется лишь просмотреть и проредактировать те шероховатости, которые могут встречаться в переводах. Работы будет сравнительно немного, а вознаграждение будет отличное; я же могу удостоверить, что в издательстве Вы встретите вполне добросовестного человека. Для г.Пантелеева важнее всего, чтобы редактор «Вестника» был человек, имя которого пользуется уважением в литературе, например, как Ваше имя. Мне же было бы чрезвычайно дорого, если бы Вы захотели принять на себя это дело.

Дело это большое, интересное, им кормится более 150 человек, а между тем г.Пантелеев, измученный своим редактором (судя по площадному тону писем, Вы сами можете видеть, что за человек г.Булгаков), думал было свое издание прекратить. На случай, если «Вестник» Вам не попадался, посылаю дубликат январского № за 1895 г.

Если Вы встретите какие-либо препятствия (на случай редактирования) в Вашем служебном положении, то я взялась бы поговорить по этому поводу с Т.И. Филипповым³.

Если Вы не прочь принять на себя это дело, то напишите мне две строчки, когда, т.е. в какой день и час, может приехать к Вам г.Пантелеев; назначьте по возможности ближе, т.к. дело не терпит отлагательства. Или Вы найдете более для себя удобным посетить его: он живет Верейская, близ Технологич[еского] института, д.16 и дома от 10 до 1/2 12 ч.

Буду благодарна, если захотите уведомить двумя строками, по душе ли Вам эта мысль. Конечно, решить сейчас Вы не можете,

не разузнав всех условий дела, но хотелось бы теперь знать, как Вы на это смотрите?⁴

Мой сердечный привет Вашей супруге.

Искренно Вас уважающая и преданная

А.Достоевская

¹ Булгаков, Федор Ильич (1852-1908), журналист, историк литературы, художественный критик; редактор журн. «Вестник иностранной литературы» в 1895-1897. С 1900 — ответственный ред. газ. «Новое время».

² Григорий Фомич Пантелеев (1843-1901), владелец (совместно с братом) типографии в С.-Петербурге. Редактировал издаваемый братом «Вестник иностранной литературы».

³ Третий Иванович Филиппов (1825-1899), государственный и общественный деятель, писатель, публицист славянофильской ориентации, управлял Гос. Контролем, где служил Розанов.

⁴ В архиве нет ответного письма. Розанов редактором «Вестника иностранной литературы» не стал. О его сотрудничестве в эти годы в разных печатных органах см.: Э.Голлербах, ук. соч., с.24, 48; см. также: В.В. Розанов. *МИМОЛЕТНОЕ*. Публ. В.Г. Сукача. — «Контекст». 1989, с.224; «Воспоминания Т.В. Розановой». — «Русская литература», с.227.

12. Розанов — Достоевской

Декабрь 1897

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Совпало так мое исполнение Вашего желания, что приходится начать с поздравления с Праздником.

Итак, желаю Вам встретить его и провести весело и в добром здравии, а равно и детям Вашим.

Статью мою о сборнике из соч[инений] Фед. Михайловича, изданном под редакцией Круглова, слепили с несколькими другими в одну: «Детская литература», и откинули подпись¹.

Уверен, что «Сборник» от этого ничего не потеряет, и, может быть, даже выиграет как рождественский подарок. А что же Москва, и как Ваша знакомая справилась с Вашим поручением насчет отрывка из «Бесов»? Да и здоровы ли, прежде всего, Вы сами?

Ваш душевно преданный

В.Розанов

¹ *ДОСТОЕВСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА* под ред. и с предисл. А.В. Круглова. С биографическим очерком, портретом Достоевского и фотоиллюстрациями. СПб., изд. Пантелеевы, 1897, 368 с.

[конец января, до 4 февраля 1898]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Не знаю, как Вас и поблагодарить за участливость, с которою Вы выслушали вчера Варю правда об очень тяжелом нашем положении. Иногда я представляю себе несчастным по *всем* жизненным линиям: нужда — но разве она одна; Варя Вам рассказала, оказывается, о Сусловой: каково же ее положение, т.е. Вари, и положение детей. Сколько хотел я раз написать Победоносцеву, но именно то, что характер моих сочинений несколько религиозный, мне было мучительно стыдно пред ним сознаться в том, что все так жестоко и несправедливо называют «блудом». Варя есть само самопожертвование, и она так же целомудренна, как Сулова, по справедливой Вашей догадке, цинична (я женился на ней на 3-м курсе университета²; она уехала от меня, влюбившись в молодого еврея, через 6 лет нашей жизни, и жива еще — живет в Нижнем в своем доме)³. Раз Вы знаете о Сусловой, не можете ли Вы, дорогая и добрая, заикнуться Победоносцеву и о положении моих детей. За что малолетние страдают — непостижимо, и конечно они страдают не по Христу, а по суетумудрию человеческого; почему жена, бросающая мужа, имеет все гражданские права; почему женщина, которая как самарянка склоняется над израненным и кинутым человеком — не имеет никаких прав? Все это не по Христу. Когда я думаю об этой несправедливости, у меня голова идет кругом, и я чувствую величайшее в себе раздражение; просто чувствую, что от этого весь мой характер и вся литературная деятельность исказились. И при этом нужда, доходящая до самых унижительных форм, и при непрерывной почти слабости жены (малокровие, нервы, женские болезни). Что же я оставлю своим трем дочерям малолеткам⁴: пенсии — нельзя, они не «мои», а какие-то «Николаевы» и «Александровы» по чудовищному закону⁵, отнимающему детей от родителей; какая же их судьба ждет? Проституция? — вот заря будущего для меня, и награда за поистине тяжкий, безысходный труд, в каком я живу, не ложась спать раньше 4-х часов ночи, и совершенно изнеможенный нервами. И когда я оглянусь на эту темь несправедливости, я очень, очень начинаю понимать самые радикальные тенденции и порывы. Помилуйте, все злое наверху и вас душит; а все доброе под низом.

Ну, простите меня, что я так Вам взволнованно написал; жена эти дни стряпала, т.е. попыталась стряпать, и вот, вернувшись от Вас, уже чувствовала себя нехорошо, а сейчас у ней 39^{1/2} градусов и бред. А в шкатулке у нас 6 р., — и следовательно, вопрос,

можно ли звать доктора. Да что же, сильные мира сего — ничего не знают? Им напрасно писали «Бедных людей»? Все это только для удовольствия чтения, без всякого практического применения? Но будет...

Вот что, добрая и благородная Анна Григорьевна: попросить можно Победоносцева или Кони: последний очень добр и ласков — вот что обнадеживает меня. Я думаю непременно на днях пойти к Победоносцеву и попросить у него вроде рекомендательного письма к Министру народного просвещения, Аничкову, который для него все сделает — ибо, кажется, нуждается в поддержке или рекомендации от Витте, или, наконец, к Бычкову (в Публичную библиотеку)⁶.

Условия моего спасения: 3000 р. в год и хоть месяц вакации, для отдыха. Без этого я с ума сойду, т.е. если, как сейчас, при 2000 жалованья у меня будет ежемесячно не хватать 80 руб. или 90 в месяц. Неужели нельзя поддержать человека таким сильным и влиятельным людям? Теперь — какое место? Самое удобное — переход чиновником особых поручений 6-го класса к Аничкову (теперь я чиновник особых поручений при государственном контроле VII-го класса). Это не такая большая жертва от России, сделав которую она бы надсадилась и обанкрутилась; простите, добрая, что я написал Вам расстроено, и не взыщите «за слог». Но болезнь жены меня окончательно смутила. Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас горячо, горячо.

Глубоко Вам преданный

В.Розанов

[на отдельном листе:]⁷

В.В. Розанов

Татьяна — род. 1895 года 22 февр[ал]я.

Крестн[ый] отец Ник. Ник. Страхов.

Вера — родилась 1896 года, 26 июня.

Крестный отец Александр Штоль.

Варвара — родилась 1898 года, 1-го января.

Крестный отец Алек[санд]р Штоль⁸.

Нельзя ли детей этих вписать в формуляре действительного их отца В.В. Розанова?

Аполлинария — урожденная Сулова, в замужестве Розанова, уехала от В.В. Розанова в 1886 году, имея поводом к сему то, что ее муж, вопреки обещанию ей, виделся с неким молодым евреем

Гольдовским, заведывавшим раздачею его книг по магазинам; она же, по всем данным влюблясь в этого Гольдовского и не найдя в нем сочувствия себе, неслыханно его преследовала и путем невыразимых ссор заставила и мужа разорвать с ним всякое знакомство. Гольдовский этот, из прекрасной еврейской семьи и прекрасный молодой человек, был самою Сусловой приглашен к Розановым гостить на лето. Вообще, это была одна из чудовищных по нелепости выходок Сусловой.

В 1890 г. урожденная Суслова подала прошение на Высочайшее имя о выдаче ей отдельного вида на жительство; спрошенный об этом, В.В. Розанов отказался выдать таковой вид, надеясь, что она еще одумается и возвратится к нему, и предложил через своих бывших товарищей по службе в Брянской прогимназии⁹ собрать сведения о их жизни и причине ее отъезда. В выдаче отдельного вида ей было после этого и после расследования Высочайше отказано.

В то же время В.В. Розанов обратился к местному жандармскому начальству с вопросом, может ли он понудить отъехавшую от него жену вернуться к нему. Получил ответ, что фактически на это средств нет. Следует оговориться, что ранее того, перейдя служить из Брянска в Елец, Розанов звал к себе жену жить, надеясь, что на новом месте, среди новых людей и обстановки, жизнь пойдет ровнее: но в грубых и жестоких словах она отказала ему в этом — «тысячи людей находятся в вашем положении (т.е. оставлены женами) и не воют — люди не собаки», ответила она¹⁰. Ее отец¹¹, к которому также Розанов обратился с просьбою повлиять на дочь и побудить ее вернуться к мужу — ответил: «враг рода человеческого поселился у меня теперь в доме и мне самому в нем жить нельзя!» Старика-отца, за 70 лет, она постоянно подозревала, что он женится, и в этом смысле оговаривала его перед знакомыми своими и его.

Затем Розанов, не имея никаких средств восстановить правильную брачную жизнь и не понимая и отвергая как языческую жизнь безбрачную, тайно и без записи в церковных книгах обвенчался с прекрасною и благородною женщиною, также около этого времени полу-обманутою (неверность в любви, но совершенно чистой) женщиною. С тех пор они живут вполне счастливо, но рождающиеся дочери, теперь уже три, носят фамилии своих крестных отцов и не имеют никакой обеспеченности в будущем. А по жестокому нашему времени отец не без оснований видит, что ни в чем не виновные малютки уже теперь своею печальною судьбою уготовливаются стать жертвами животной человеческой необузданности.

Их узаконение, т.е. внесение в формуляр отца, отвратило бы от них эту судьбу.

В 1897 году урожденная Сулова обратилась к Нижегородскому губернатору с просьбою выдать ей постоянный вид на отдельное жительство. Имея детей от другой женщины и считая свою прежнюю брачную жизнь окончательно разрушенною — Розанов выдал согласие на дачу ей такого вида.

В.Розанов

¹ Датируется на основании ответного письма А.Г. Достоевской от 4 февраля. Фрагменты письма опубл. в кн. Л.П. Гроссмана *ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО*. — Собрание сочинений, т.2, М., 1928, с.134-135.

² Розанов окончил историко-филологический ф-т Московского ун-та.

³ Аполлиария Прокофьевна Сулова (1839-1918). О ней и ее отношениях с Розановым, за которого она вышла замуж в 1880, см.: Л.П. Гроссман. *ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО*; а также: Аполлиария Сулова. *ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ*.

⁴ В это время у Розановых было три дочери: Татьяна (1895-1975), Вера (1896-1919), Варвара (1898-1943). До них родилась еще дочь Надежда, умершая от менингита в 1893.

⁵ Считаясь незаконнорожденными, девочки носили фамилии своих крестных отцов.

⁶ Николай Мильевич Аничков (1844-1916); Сергей Юльевич Витте (1849-1915), в те годы министр финансов; Афанасий Федорович Бычков (1818-1899), архиограф и библиограф, с 1882 по 1899 — директор Публичной библиотеки в С.-Петербурге.

⁷ Эта часть письма составлена специально для Победоносцева.

⁸ Розанов служил в Московском учебном округе 13 лет как преподаватель истории и географии (в Брянске, Ельце и Белом).

⁹ Это выражение приводится в кн.: А.Сулова. *ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ*, с.42.

¹⁰ П.Сулов, бывший крепостной гр.Шереметева, откупился, стал управляющим Шереметева, затем — владельцем собственной фабрики (см. *ГОДЫ БЛИЗОСТИ...*, с.10).

14. Достоевская — Розанову

4 февр[аля] 18[98]

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Прочла Ваше письмо и вижу, что Вы находитесь в тяжелом настроении. Мне от всего сердца хотелось бы помочь Вам, но то-

лько укажите, как это сделать. Но прежде чем будем говорить о делах, позвольте мне сказать Вам несколько слов:

Простите меня, но мне представляется, что Вы слишком трагически смотрите на Ваше положение и на будущность Ваших малюток. Я вполне понимаю, что Вы страдаете от того несчастного положения, в которое поставлены, страдаете не только за себя, но еще больше за детей и за милую Варвару Дмитриевну. Я вполне понимаю всю несправедливость Вашей судьбы и согласна, что Вы страдаете «не по Христу, а по суетумудрию человеческого». Но что тут поделаешь, раз установившиеся законы таковы и трудно ждать их изменения. С этим обстоятельством надо примириться, и Варвара Дмитриевна показывает в этом случае добрый пример. Она говорила мне, что вполне счастлива; что ее ложное положение не было бы для нее тяжело, если б оно не отражалось так на Вашем здоровье и настроении, если б Вы не придавали этому обстоятельству такого трагического значения. Ведь Ваше ложное положение есть несчастное стечение обстоятельств и каждый человек с душою может только жалеть и сочувствовать Вам. — Вас мучает будущность Ваших девочек. — Но ведь это еще можно поправить, их можно узаконить или приписать (не знаю, как называется это в законах). За последние годы вышло несколько законоположений, благодаря которым родители могут узаконить своих незаконнорожденных детей, и для этого не требуется ни больших влияний, ни больших средств. Если для узаконения их потребуются влияние Победоносцева, я с удовольствием берусь хлопотать у него об этом. Я знаю две семьи, где были узаконены дети и получили фамилию отца. Я непременно разузнаю все подробности, как совершаются узаконения детей, и Вам сообщу в непродолжительном времени. Очень возможно, что Вы устроите узаконение Ваших малюток и тогда они будут Вашими наследниками и в пенсии, если бы Вы (чего Боже избави) скончались, не успев их воспитать и поставить их на ноги. Но допустим, что узаконение малюток Вам не удалось (а оно наверно удастся), то и тогда не следует вперед так мучиться судьбою их. Будьте убеждены, что в случае несчастья Бог поможет деткам, чужие люди придут им на помощь и устроят их дальнейшую судьбу. Говорю это по собственному опыту. Вы знаете, у меня было много тяжелого в жизни. Я сама прожила 14 лет с покойным мужем, не имея никакого обеспечения, обремененная чужими долгами, рассчитывая лишь на труд мужа и собственный, что всегда было так шатко. Я жила изо дня в день, закладывая вещи, работая не покладая рук, с ужающей мыслью — чем все это кончится, и что я буду делать с тремя детьми, если умрет муж или не будет в состоянии работать.

Бедный Федор Михайлович в день своей смерти говорил: «Тяжело умирать, оставляя детей нищими и без образования». И вот с Божией помощью все это устроилось, и хоть с большими трудами, но я добилась для детей независимости в материальном отношении. Простите, что я все это говорю, но мне кажется, что мысль о ложном положении Ваших девочек и о их будущности действует на Вас угнетающим образом, мешает Вам думать, работать; эти тяжелые мысли должны действовать дурно и на Ваше здоровье, а оно так необходимо Вам. Как бы мне хотелось убедить Вас не смотреть так печально на будущее: все еще может измениться и устроиться и жизнь принесет Вам еще много радости и счастья!

Теперь перейду к делам: Вы пишете, что хотите идти к Победоносцеву просить у него рекомендательного письма к Аничкову или Витте. Простите меня, но мне кажется, Вам следует просить у Победоносцева места в его ведомстве, т.е. в ведомстве Св. Синода, а если он Вам откажет, то тогда просить, чтоб он доставил Вам место в Ученом Комитете Министерства Нар[одного] Просвещения или чиновником особ[ых] поруч[ений] при Министре. Если Победоносцев даст рекомендат[ельное] письмо к Аничкову, то это будет немного. Следует просить Победоносцева, чтоб он сам похлопотал и сам попросил у Министра и тогда это будет действительнее.

Я бы предложила Вам мои услуги, т.е. пойти к Победоносцеву, но думаю, что Вам ему труднее отказать, чем мне. Не смотрите на то, что он (может быть) примет Вас сухо: это только внешний вид, а в сущности он добрый человек. Вы хотели обратиться к Кони. Знакомы ли Вы с ним лично? Может быть, Вы пожелали бы, чтоб я его приготовила к Вашему посещению (на случай, если Вы с ним не встречались), не рассказывая конечно ничего о Вашей будущей просьбе и о Ваших обстоятельствах.

Располагайте мною.

Вы пишете, что у Вас бывают минуты нужды. Отчего Вы не обратитесь к Вашим друзьям, ко мне например? Я, конечно, многим ссудить не могу (потому что, отделивши детей и затратив почти свою долю на старорусскую школу, только свожу концы с концами), но 50-60 р. у меня всегда к Вашим услугам. Мы потом когда-нибудь сочлись бы в какой-либо литературной работе. Это пустая услуга, которую всегда можно оказать; мне в мою жизнь приходилось прибегать к услугам моих друзей и я никогда не считала заем унижением или потерю собственного достоинства.

Ах, глубокоуважаемый Василий Васильевич, как много горя на свете и как тяжело живется! Только что переживешь одно горе, глядишь — другое на тебя надвигается, и не знаешь, где взять

силы его перенести! Вот пишу Вам это письмо, а у меня самой тяжелое, непоправимое, может быть, несчастье! Вы знаете, мой сын¹ женат уже пять лет на девушке, которую любил с 14-ти лет (а ему 26). Приехал с нею сюда на Рождество погостить ко мне: жили дружно и весело, но когда пришлось уезжать назад в Симферополь (где у сына конный завод), то жена его ехать с ним отказалась и объявила, что жить с ним совсем не хочет, а останется жить у своей матери, просит от него вида и содержания. Дескать, скучно жить в провинции, а здесь веселей. Семья у ней шведская, глупая, и рассчитывают жить на те деньги, которые будет давать мой сын. А невестка моя тоже не умна и вполне под влиянием семьи. Бедный мой сын убеждал, уговаривал, просил, молил, грозил, употребил все меры кротости и строгости и ничего не добился — так и уехал в Симферополь (ведь дела нельзя оставить, его вызывали домой), а она осталась у матери и хочет вытребовать вид и содержание. Сын мой любит свою жену чрезвычайно и виноват перед нею лишь в том, что слишком ее любил и баловал. У меня сердце разрывалось, когда я видела, как он мучится. Теперь он уехал, уже 2 недели ничего не пишет, и я не знаю, что с ним? Страшно боюсь, чтоб не сделал чего над собою, не запил бы с горя. В Симферополе у меня знакомых нет, чтоб узнать, что с ним происходит. Дочь моя² поедет на второй неделе к нему до весны, чтоб хоть несколько смягчить ему первое время печали. Может и я поеду, хоть я ему не помощница: я умею с ним плакать и только растрavляю его горе.

Простите за длинное, невозможно длинное письмо. Передайте милой Варваре Дмитриевне мой сердечный привет. Прекрасная она женщина и Вам добрый ангел. Я еще более ее полюбила.

Искренно преданная

А.Достоевская

Об истории с моим сыном не говорите никому.

¹ Федор Федорович Достоевский (1871-1921).

² Любовь Федоровна Достоевская (1869-1926).

15. Розанов — Достоевской

9 февраля 1898

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Воистину — Вы ответили мне как сестра, горячо, быстро и открыто; и что ценнее, ценнее всего — не утаив и своего материн-

ского горя. Да, это ужасно; и этот грех бросанья женами мужей не истребится, пока не преобразуются понятия о браке. Ведь женщина — хоть бы Ваша невестка (хоть у меня есть мысль, что она обр-азумится) или Сулова, будь она помоложе и переживи меня — не только загубит жизнь человека, но по его смерти придет получить его пенсию. И все законы на ее стороне: да потому и на ее стороне, что «таинство брака» сведено не к жизни брачной в ее существе, а к «церковно-книжной записи», занумеровыванию. От этого и семейная жизнь всюду расстраивается; какая бесстыдным нужна нести тягости брака, когда через церковную запись они уже вперед все права и до могилы получили. Ваша невестка расторгла брак в его существе; пригрозите ее лишить и того, что она фиктивно удерживает — имя и средства мужа — и она вернется к нему. Вот где корень дела. Прежде всегда понимали, что брак в самом прохождении его есть таинство, а не только в моменте венчания, и от этого семьи не раскалывались; под «древом» семейным был «корень».

Спасибо Вам, уважаемая и дорогая, за предложение денег; сейчас уже я занял, в будущем правда я обращусь к Вам в нужде; и правда мы кое-что сделаем с Вами над бумагами Фед. Мих., на-пр[имер], письмами к нему в пору издания «Дн[евника] писателя». Да и вообще Фед. Мих. — это не исчерпанная руда, в коей и потомки наши станут черпать. Спасибо Вам горячее и за доброе чувство к Варе: она не избалована им; и слишком, слишком нуждается в ласке. Разве все такие как Вы? разве она не чувствует, что право оскорбить ее — остается у всякого? и хоть грубые люди — но разве не пользовались, даже иногда не нарочно, и она бедная вся дрожит, когда мельком, в разговоре, кто-нибудь упомянет слово «наложница». Это слово (она ужасно неопытна) стало ее кошмаром, гонящимся за нею звуком: и сколько, сколько раз я ее убеждал не думать, что чуть она имелась в виду, или что они «что-то знают» о ней. Верно она Вам говорила (я говорил Ник[олаю] Ник[олаевичу] Стр[ахову]), что мы все-таки повенчаны, без чего ее старушка мать не хотела ее отдавать: «мне легче живой лечь в могилу, чем видеть свою дочь потерявшею себя»; и обвенчал ее деверь, брат покойного ее мужа, а теперь старушка ее мать только и дышит нами, обоих нас без памяти любя. И вот, подите же, судьба какая: именно эта встреча и сделала меня религиозным писателем, т.е. пробудила отвращение ко всему светскому и суетному, и обратила мысль к вечным основам жизни, и к вечным человеческим чувствам. Дочери Вашей, я думаю, нужно будет поехать к брату: есть опасность, что он запьет; я помню, что когда Сулова от меня уехала — я плакал, и месяца два не знал, что де-

лать, куда деваться, куда *каждый час* времени девать. С женою жизнь так ежесекундно слита, и так глубоко слита, что образуется при разлуке ужасное *зияние пустоты* и искание забвения *вот на этот час* — неминуемо. Отсюда великие нравственные крушения оставляемой стороны: вино, карты, и чаще именно вино, которое не мешало бы думать об оставившем человеке (невестка); но потом являются карты и женщины, и вот идет прахом и имущество. Это ужасно, но за нравственным разорением, за разрушением «уютного крова» идет и хозяйственное разрушение. Непременно около такого человека должна быть помощь, и счастье, когда тут может быть мать, сестра. Прощайте, дорогая (простите, ради Бога, что так Вас называю) — крепко Вас обнимаю и всего, всего лучшего Вам желаю.

Ваш преданный

В.Розанов

16. Розанов — Достоевской

13 марта 1898 г.

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Боюсь, не захворали ли Вы? боюсь, нет ли горьких известий с юга?

Пишу это письмо Вам, чтобы напомнить о предложении Вашем по истечении 3-ей недели Великого поста съездить к Победоносцеву и поговорить о моих детях. Зная Вашу точность и деловитость, и что слово Ваше «мимо» не идет, я и не хотел Вам писать, но Варя тревожится, а я ей объясняю, что у Вас *самой* что-нибудь не ладно. Да хранит Вас Бог. Варя Вам кланяется. Преданный Вам

В.Розанов.

17. Достоевская — Розанову

16 марта [18]98

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Я не писала Вам потому, что, к большому моему горю, не могу сообщить Вам что-либо утешительного по поводу беспокоящего Вас обстоятельства.

Но расскажу все по порядку. Мне необходимо было повидаться с К[онстантином] П[етровичем] П[обедоносцевым] по делу моего сына и чтобы застать его *наверно*, я пошла к нему в приемный

день. Разговор наш затянулся, и я не успела перейти к Вашему поручению, как дежурный чиновник доложил о приезде какого-то высокопоставленного лица, которого надо было принять немедленно. Тогда я сказала К[онстантину] П[етровичу], что подожду его, потому что имею другое дело, относящееся до незнакомого ему лица. «Какое дело?» — «По поводу усыновления детей». — «В таком случае, пока я занят, поговорите с моим помощником-юристом, с которым я всегда советуюсь, и передайте мне, что он Вам скажет». (Надо Вам сказать, что в приемные дни у К.П. всегда присутствуют специалисты по различным вопросам, с которыми он советуется или к которым он направляет своих посетителей для объяснения бóльших подробностей). Я обратилась к указанному мне юристу и рассказала ему Ваше дело (конечно, не называя Вашего имени) и получила ответ, что приписать детей в формуляр отца при существующих условиях — дело невозможное, беспремерное, и что не только К[онстантин] П[етрович], но и сам Государь не в праве этого сделать, так как это противозаконно. Юрист предложил мне такой исход: обратиться к чувствам великодушия и доброты Вашей жены (Аполлинии Прокофьевны), описать ей печальное положение дел и просить, чтобы она, одновременно с Вами, обратилась в Суд — и выразила желание удочерить Ваших девочек, сделать их своими приемными дочерьми. Окружной Суд, получив просьбу Апол[линии] Прок[офьевны] и Вашу, постановит благоприятное решение, девочки Ваши получат Вашу фамилию и следовательно могут быть записаны в Ваш формуляр. Очень возможно, что Апол[линия] Пр[окофьевна] и не отказалась бы подать такого рода просьбу, так как, почем знать, может быть, в ее душе и существуют великодушные чувства; может быть, она и сознает свою вину пред Вами и желала бы что-либо сделать доброе для Ваших детей.

Но тут возникает другой вопрос. Представьте себе, что Суд признает Апол[линию] Пр[окофьевну] приемною матерью Ваших девочек, и вот Ап. Пр., как женщина взбалмошная, захочет воспользоваться своими правами приемной матери, захочет взять одну из девочек к себе на воспитание. Вам придется отстаивать своих девочек от ее попечений. По-моему, этот исход не годится; если он и доставит законность Вашим детям, зато он подвергнет их и Вас и милую Варвару Дмитриевну таким неожиданным и неприятностям, что лучше отказаться от этого намерения.

Второй исход, предлагаемый юристом — это развод, на котор[ый], может быть, Аполл. Пр-а и согласилась бы, разумеется, с тем, что Вы возьмете вину на себя. Почем знать, может быть, Ап. Пр. желала бы быть свободной, чтобы вновь выйти замуж

(она так фантастична), и согласилась бы на развод. Тогда, сделавшись вновь свободным, Вы могли бы просить Окружной Суд о признании Ваших девочек Вашими приемными дочерьми, и они получили бы законность и Ваше имя. Но развод стоит больших хлопот, а потому трудно осуществить.

Когда я спросила юриста, нет ли третьего исхода, он ответил: «Вы говорите, что жена значительно (на 20 лет)¹ старше своего мужа, значит есть вероятность, что она умрет ранее его и таким образом дело уладится само собою». Затем я спросила юриста, как поступить в случае смерти Ап. Пр.? (что так возможно, ей теперь лет 58-59, а в эти годы почти всегда умирают женщины, проводившие бурную жизнь)². Он ответил, что следует обвенчаться вновь вторично, а тогда узаконить детей не представит особого затруднения. Когда же я ему сказала, что ведь брак был уже совершен, то он посоветовал (в случае смерти первой жены) заявить Окр[ужному] Суду о том, что в таком-то году, в таком-то городе был совершен брак таким-то священником, но по недосмотру его не записан в церковную книгу. Тогда произведут дознание, и если найдутся свидетели брака (диакон, дьячок, шафера, сторож или кто-либо), то брак будет признан законным, а следов[ательно] и дети законными.

Я знаю, что желать смерти ближнему — не христианское дело, но когда я подумаю, сколько зла принесла разным людям Ап[оллинария] Пр[окофьевна], то, право, не могла бы огорчиться, узнав о ее смерти. Но не нам судить. Будем надеяться, что Господь устроит так или иначе Ваше семейное счастье.

К тому же, стоит ли огорчаться, что Ваши девочки не носят Вашу фамилию: вырастут, выйдут замуж, и это обстоятельство не повлияет на их счастье и будущность. Вся задача лишь в том, чтоб поднять деток, вырастить и воспитать их, а для этого Вам надо беречь себя, беречь свое здоровье и не беспокоить себя печальными мыслями. Вы христианин — положитесь на Господа. Он устроит Вашу судьбу и судьбу Вашей семьи!

Вы меня спросите, после разговора с юристом пошла ли я говорить с К.П. Победоносцевым? Нет, не пошла, так как он во всяком случае обратился бы за советом к юристу и мне бы в моей просьбе отказал. Юристу я Вашей фамилии не сказала, равно как не назвала Вас и Константину Петровичу, так как говорила о Вашем деле при дежурном чиновнике и раздумала, поговорив с юристом, говорить с Победоносцевым.

У меня есть один адвокат, с которым я говорила о Вашем деле (опять-таки не называя Вас). Он обещал мне подумать и поискать другого исхода, т.е. разузнать, не можете ли Вы один (без

Ап[оллинаруи] Пр[окофьевны]) подать просьбу об удочерении Ваших девочек, или не можете ли Вы подать просьбу от себя и от Ап. Пр., не сказывая ей об этом. Очень возможно, что суд, получив Вашу просьбу, и не станет наводить справки о том, есть ли у Ап. Пр. желание взять приемных дочерей или нет. Обо всем этом мой знакомый обещал мне сообщить, а я сообщу Вам.

Мне искренно жаль, что я не могу сообщить Вам ничего утешительного, но это пока, а там что-нибудь выищется.

Дочь моя благополучно добралась до Симфер[ополя] и нашла моего сына в довольно бодром состоянии. Теперь я за него больше покойна. На Пасху к ним не поеду, потому что на одну неделю ехать не стоит (дорога возьмет 8 дней туда и обратно), а больше пробыть не могу, т.к. приходится сдавать свою квартиру, что без себя невозможно. Прошу Вас передать милой Варваре Дмитриевне мой сердечный привет. Чем больше я ее знаю, тем больше начинаю ее любить и уважать. Она не только отличная жена, но и настоящий друг Вам. Дай Бог ей сил и мужества перенести теперешние невзгоды, а там Господь пошлет и спокойную жизнь, без опасения за Вас и за деток.

Позвольте пожелать Вам встретить великий праздник в здоровьи и радости.

Искренно Вас уважающая и преданная

А.Достоевская

¹ А.П. Сулова была старше Розанова на семнадцать лет.

² Сулова умерла в 1918 г.

18. Розанов — Достоевской

[вторая половина марта — апрель 1898]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Вот надвигается и св.Пасха — и мысленно желаю Вам встретить ее с радостью. Я потому не сейчас Вас поблагодарил за умный и всесторонний опрос юрисконсульта при Победоносцеве (этот опрос очень и очень мне пригодится, как руководная нить при последующих возможных хлопотах), что написал было длинное письмо, обращаемое к Вам, но с просьбою, в заключение, переслать его Победоносцеву²: но, долго размышляя, решил, что практического результата оно не получит, а значит и произносить пустые, не действенные звуки, нечего. Так, заменив то длинное письмо этим кратким — я теперь пишу Вам, что стремление «Си-

нодальное» разлучить отцов с детьми, родившимися не в «иудейскую субботу», кроме опасности для самого Синода ничего не содержит. Помните ли в «Бесах» (в конце), как к Шатову после 3-х летней разлуки приезжает жена и начинает родить — а он радуется, говоря: «нет выше и священнее тайны». Вот взгляд, вот религия, вот церковь: а раз какая бы то ни было религия «отмечает рождение» какое бы то ни было — она потрясается в основе, не потрясая его. Это все я обширно было развил в письме, но подумал: «глас вопиющего в пустыне!» Крепко, крепко жму Вашу руку. Если бы Фед. Мих. был в живых — было бы о чем мне поговорить с ним.

Преданный Вам
В.Розанов

Варюша Вам кланяется и также желает весело встретить Пасху.

¹ Б/д., датируется на основании письма А.Г. Достоевской от 16 марта, на которое и является ответом.

² По всей видимости, письмо было отправлено вместо приводимого ниже (последнее находится не в архиве Достоевской, а в бумагах самого Розанова; приводимый текст публикуется по копии из частного архива):

[б/д]

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Сердечно Вас благодарю за умный, осмотрительный и внимательный опрос юрисконсульта Победоносцева; да, мудреная это вещь, но расторжение связи отца с ребенком есть столь явно демоническая тенденция, что она крайне опасна для существа религии и церкви, если только содержится в ее принципах. Победоносцев с сердцем и далеким, проницательным умом; он полон жажды мира; и знает, что до времени скрывающиеся под водою камни обнаруживаются в полую воду. Религия и церковь вся держится на твердых родительских чувствах; и противопоставлять их, — повторяю, не столько для них, сколько для существа церкви, существенно опасно. Конечно, моих детей я никогда не брошу, не пойду «в путь века сего»; но что косвенно, через переименование их в «Николаевых» и «Александровых», когда они по плоти «Розановы», мне как бы подсказывается: «брось их», «брось любящую тебя жену», самоотверженную, трудящуюся, — потому что «записанная за тобою» гуляет на стороне: повторяю, это не потрясая любви моей и сознания долга, косвенно и отдаленно тревожит фундамент церкви. Приписать детей в мой формуляр — это формальность, которая кровного ущерба никому не приносит; от Суловой у меня не было детей; она сама ко мне никогда не вернется; пользоваться проституцией, мне предлагаемой «обычаями», дозволенной «законами» и терпимой церковью — я не хочу; а следовательно и церковь имеет долг «помочь в субботу вылезти из ямы впадшему в нее»; т.е. она имеет долг сказать: живи брачно, не грязнись в проститу-

ции, и не отрицайся детей своих. Это круг понятий, довольно ясный и существенно небесный, Божеский. Мне было бы все-таки отрадно, если бы Вы хотя переслали мои два письма, — которые я Вам дал [по всей видимости, речь идет о письме №13 наст. публикации. — Э.Г.], и это — К[онстантину] Петровичу. Он с сердцем человек, в нашу пору уже единственный (или из немногих) по проницанию. Вы же написали о детях один исход, указанный юрисконсультom: «можете Вы лично обратиться в суд с просьбою об усыновлении детей — и возможен случай, что суд просто забудет опросить и жену Вашу, согласна ли она на запись в формуляр Ваших детей». Вот эту забывчивость Конст. Петрович мог бы внушить суду; и судьба детей моих могла быть устроена. Несколько строк частного письма — и «впавший в яму в субботний день» был бы вытащен.

Глубоко преданный Вам

В.Розанов

19. Достоевская — Розанову

29 октября 1900

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Пишу Вам из «прекрасного далека», из Ялты, куда уехала я в конце сентября. Мне хотелось провести осень в теплом климате; главная же мечта была: пожить вместе с сыном в Ялте и Симферополе. Мечта моя исполнилась, и я провела девять счастливых дней. Сколько мы с сыном переговорили, сколько смеялись и спорили и почти заново познакомились друг с другом. В самом деле, Василий Васильевич, живя в разных концах России и выдавая 3-4 раза в год на короткое время, мало-помалу отвыкаешь от сына, не знаешь его радостей и горестей и почти перестаешь понимать его. А это порождает недоразумения и приносит немало огорчений. Зато какое же счастье, когда свидишься надолго и когда все станет ясно!

Но я все о себе, а мне так бы хотелось узнать о житье-бытье Вашем и Вашей дорогой семье. Что Вы полны душевной бодрости и Вам хорошо пишется — это я вижу из Ваших нововременских статей¹ и душевно этому радуюсь. Как здоровье Вашей милой жены? Как поживают детки, особенно Танечка и маленький Вася?² Надеюсь, что он теперь уже ходит и говорит на своем неизвестном языке. Варваре Дмитриевне прошу Вас передать мой сердечный привет.

Из Симферополя я перебираюсь в Москву, где предполагаю пробыть до половины декабря. Мне хочется закончить проверку каталога моего Московского Музея с тем, чтобы, вернувшись в Петерб[ург], приняться за печатание³. Если захотите подать о се-

бе весточку, напишите мне по адресу: Москва, Исторический Музей, Алексею Ивановичу Станкевичу, с передачею мне.

Кстати, здесь, на досуге, я перечитывала «Легенду о великом Инквизиторе» и нашла, что во многом Вы смотрите совершенно так, как смотрел на своего героя покойный Федор Михайлович. В «Легенде» Вы упоминаете о статье Ю. Николаева⁴. «Нечто о Гоголе и Достоевском» (Моск[овские] Вед[омости], 1891, №26). Я искала этот № в Москве, но безуспешно. Если он у Вас случайно сохранился, пожертвуйте его в мой музей.

Любовь Федоровна осталась в Петербурге. Что бы Вам пожертвовать часом времени и побывать у ней в одно из воскресений днем. Право, сделали бы доброе дело. Конечно, не говорите ей о моей просьбе и ей приятно будет думать, что Вы сами хотели ее навестить. Искренно Вам преданная и ... [оторван угол письма. — Э.Г.]

А. Достоевская

¹ Розанов стал постоянным сотрудником газ. «Новое время» в 1899 (см. след. письмо, прим.3).

² Сын Розанова Василий Васильевич (1899-1918).

³ См. письма Булгакова (п.№5, прим.1.).

⁴ Наст. имя Юрий Николаевич Говоруха-Отрок (1850-1896).

20. Розанов — Достоевской

1 декабря 1900

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Недели две назад, в воскресенье, я посетил было Любовь Федоровну. К сожалению, она уже выехала куда-то. Я послал ей письмо, и как она очень любит детей, просил у нее позволения посетить ее в воскресенье с мальчиком. Но она телеграммою мне ответила, что больна инфлюэнцей и уведомит, когда выздоровеет. — Так что все это вышло довольно неудачно.

Статьи Гов[орухи]-Отрока (Ю. Николаев) о Фед. Мих. не имею и не помню о ней ничего, кроме того, что *была*. Он часто писал о Д[остоев]ском и Вам следовало бы *тогда* подписаться на Моск[овские] Вед[омости]. Теперь это безвозвратно уплыло. Ну, вот и все, добрая и любезная вдовушка. Простите, что я позволяю себе простой в отношении к Вам тон: уж Вы приучили и избаловали простотой, не грубою, но *близкою*. Детишки мои и Варя — здоровы. У нас — прибавление, дочь Надя родилась, пятая. Фед.

Мих. порадовался бы, он любил детей. Не так все их любят, и мне на страницах «Нов[ого] Вр[емени]» удалось поднять вопрос о незаконнорожденности¹. Слава Богу, давно было пора вывести его на свет Божий, а то мы совсем подавились от детоубийства и девостыда. А по мне чем больше рождается, тем лучше.

Попы петербургские однако всполошились, и полезли с жалобами к Победоносцеву и Антонию². Те вняли и заказали написать на меня брошюру; но что они ни пиши, всем кажется ясно теперь, что детоубийство и нелегальные семьи образуются от их пошлого скопческого идеала. Как только общество разберет это внимательно, я думаю — урегулирование семьи государство полностью возьмет в свои руки. Ну, дорогая и добрая — прощайте. И Вам не весело — странствовать между принудительно вдовым сыном и взрослой девицею. Да, скука семейная и пошлость семейного бесправия царствует. Раз ошибся в браке — нельзя поправляться. Мудрено ли, что от брака бегут как от чумы и проказы. А духовенству никакого до этого дела нет и расплачивается одно государство, на руки которого всею тяжестью ложится проституция.

Горько и стыдно за такое положение дел.

Преданный Вам

В.Розанов³

¹ См. статьи: «Евины внучки», №8817, 13 сентября; «Спор об убитом ребенке», №8838, 4 октября; «Мистицизм природы», №8858, 24 октября; «Имущество, титулы, дети», №8873, 8 ноября.

² О К.П. Победоносцеве (1827-1907) Розанов напишет маленькую заметку «интимного характера» в *САХАРНЕ*, где отражается обида автора на обер-прокурора Св.Синода (см. «Литературная учеба», ук. №, с.104). Антоний (Вадковский Александр Васильевич, 1846-1912) — с 24.12.1898 митрополит С.-Петербургский и Ладожский и священно-архимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

³ В письме А.Г. от 1.01.1901: «С каждым годом у Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, является все больше и больше поклонников. /.../ Ну и всколыхнули Вы наше спящее царство или вернее болото своими статьями о детках. Только и слышишь об этом разговоры и радуешься, что над этим вопросом начинают задумываться» (М 4201, ед.хр.2, лл.1-2).

21. Розанов — Достоевской

[1904, январь-февраль]¹

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Я и Варвара Дмитриевна шлем Вам искренний и горячий привет и поздравления с Новым годом, и желаем Вам провести его

по-прежнему в плодотворном труде, заботах и успехе. Спасибо, что Вы всех моих помните: в таких случаях я всегда вспоминаю Федора Михайловича, и как он любил отзывчивую русскую женщину — придавал ей большое историческое значение. Уверен, что в его «счет» по этой части большою долею вошли и Вы. У Вас ведь нет (а уж не молодые годы) ни усталости, ни жалоб, ни брюзжания на свет Божий. Крепко всею семьею ждем Вам руку, и издали можно и поцеловать Анну Григорьевну.

Как хорошо в янв[арском] «Н[овом] Пути» о Гончарове²: какой гений смеха и смешного.

Вас искренно любящий
В.Розанов

А соберетесь когда-нибудь к нам? вечером? в воскресенье? У Вас хоть нет кучи ребятишек, а у меня Варв[ара] Дм[итриевна] и /неразб./

Еще раз Ваш В.Р.

¹ В архиве датируется 20.1.1901, вероятно, датировка ошибочная, если судить по указанию на «Новый путь» (см. след. прим.).

² Вероятно, отзыв Ф.М. Достоевского о Гончарове, в публикации из записных книжек Достоевского («Новый путь», 1904, №1, с.4).

22. Достоевская — Розанову

23 ноября 1906

Искренно благодарю Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, за добрый отзыв о моей работе¹. Скажу, что Вы отнеслись к ней слишком снисходительно, т.к. сама знаю, что в ней больше недостатков, чем достоинств. Но не скрою от Вас, что Вы меня и огорчили. Вы категорическим образом сказали, что в Ваших римских статьях² ни слова не говорили о Ф.М.; оказывается, что память Вам изменила. Чтобы доказать Вам Вашу ошибку, я отправилась в Публичную Б[иблиоте]ку, достала «Новое Время» за 1901 г. и прилагаю при сем две выписки³, из которых Вы убедитесь, что как в статье «По старому Риму» («Новое Время», мая 8-го), так и в статье «Римские впечатления» («Новое Время», июнь 2-ого) о Достоевском упоминается. Меня огорчило то, что слыша Ваше столь авторитетное утверждение, читатели могут отнестись недоверчиво к моему «Указателю», полагая, что работа сделана небрежно. Я же могу Вас заверить, что я не перелистывала, а самым тщательным образом просматривала каждую статью преж-

де, чем занести ее на карточку, а затем, когда чрез 2 года приступила к печатанию, то вновь каждую карточку проверила.

Я знаю, что многого в «Музее» нет, и буду стараться его дополнить; много набралось там и лишнего и мелкого, но я думаю, что иное мелкое замечание обрисовывает характер лица или выясняет обстоятельства, а потому и может пригодиться будущим биографам.

Я узнавала про «Апофеоз беспочвенности» — мне сказали, что это было напечатано в 1903 г., а я закончила 1902-м⁴. Непременно достану эту статью для пополнения «Музея» и за это указание очень Вам благодарна.

Прошу Вас передать мой сердечный привет многоуважаемой Варваре Дмитриевне. Жалею, что в прошлый раз не видела деток.

Искренно Вам преданная и уважающая

А.Достоевская

¹ Имеется в виду библиографический указатель, составленный А.Г. Достоевской (ук. соч.).

² Речь идет о статьях, написанных о путешествии по Италии, собранных затем в кн. *ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ*, СПб., 1909.

³ Имеются в виду цитаты из газет, которые А.Г. приводит на отдельном листке: «По "Указателю" №2362, "Новое Время", 2 июня 1901 г. №9066 — из статьи В.В. Розанова "Римские впечатления": "...Это ужасно взволновало людей; пробудило эпилепсию у одних, но и героизм, именно душевный у других. В сущности, напр. вся литература Достоевского прямо невыносима без таинства покаяния, т.е. невозможна в обществе, где не было бы этого таинства..." и т.д. и т.д. По указателю №2360 от 8 мая 1901 г. Из статьи В.В. Розанова: "...Я вспомнил 'Преступление и наказание' и странную тоску героя, которая мне показалась родственною с религиозной тоской этих жертвоприносителей: не трогай крови, ибо кровь-то и есть бессмертная душа, а за нею — Бог..." и т.д.».

⁴ Речь идет о содержании «Указателя». Книга Л.Шестова была впервые опубликована в 1905, СПб., изд. «Общественная польза». В 1903 вышла другая книга Шестова о Достоевском: *ДОСТОЕВСКИЙ И НИЦШЕ*. СПб., изд. Стасюлевича.

23. Розанов — Достоевской

13 января 1907

Дорогая Анна Григорьевна!

До того мы жалеем, что не застали Вас: так редко приходится видеться, с таким удовольствием видались всегда, и так хоте-

лось бы получить в новом издании «Бесов» с восстановленную главою, печатаемой впервые¹.

Вы пишете о желании Бор[иса] Як[овлевича] Полонского и бар[она] Остен-Дризен² бывать у нас на воскресеньях³: но знаете ли Вы, что эти «воскресенья» почти прекратились и ничего интересного теперь на них нет. Они были действительно оживлены, шумны и интересны в пору Религ[иозно-] философских собраний, когда у меня сходились разные люди и разные мнения, писатели и духовенство, и обменивались жаркими то спорами, то сочувствиями. Теперь этот фейерверк угас, «литературного» ничего по воскресеньям не происходит, литераторов не бывает, а бывают 2-3, 5-6 своих домашних друзей, мне очень милых и приятных, но абсолютно неинтересных ни для кого. И они делятся житейскими (не литературными) впечатлениями, а я молчу и слушаю, безмерно устав за неделю от литературной работы и от литераторов. Вы, дорогая Анна Григорьевна, верно не знаете, что кроме *подписанных* статей я пишу для «Нов[ого] Вр[емени]» не подписанные передовые статьи, — и от этого устаю так, как бывало Фед. Мих. «в горячее время подписки на *Время*». Известно, «сапожник без сапогов, а литератор без языка». Выговорился пером за день — и к вечеру такое удовольствие помолчать. Я думаю, что лечение тишиною и молчанием — самое действительное для всех людей нервных профессий. Вот отчего и Полонский и Дризен не найдут во мне и у меня ничего из того, что их интересует или привлекает: увидят скуку, молчание и уйдут с разочарованием. А Вы понимаете, как неприятно раздражать и вообще «разочаровывать». Писатели ведь делают иллюзию своими сочинениями: а лично они куда не интересны. Сознав это, я полюбил свое уединение и молчание, из которого выйти для меня — настоящее страдание. Достаточно сказать, что с 3-го этажа редакции я ни разу в месяц не спущусь во 2-й этаж к Алексею Сергеевичу (Суворину)⁴ поболтать о делах, чтобы понять, какой я нелюдим. А я очень люблю Алексея Сергеевича, он живой впечатлительный старик (живее молодых) и, кажется, образно чувствует интерес или во всяком случае не утомляется болтовнею со мною.

Я думаю, что, взвесив все эти обстоятельства, Полонский и Дризен сами не пойдут ко мне, хотя конечно я буду рад, дорогая Анна Григорьевна, увидеть у себя Вас и их.

Преданный Вам
В.Розанов

Варвара Дмитриевна шлет Вам сердечный привет и благодарность за всегдашнюю память.

¹ Речь идет о начале главы «У Тихона», помещенной в 8-м томе юбилейного издания под заглавием «Материалы к роману *БЕСЫ*» (см. письма Булгакова и примечания к ним).

² Сын поэта Я.П. Полонского. Остен-Дризен, лицо не установленное.

³ О розановских воскресеньях см. воспоминания Б.А. Садовского (ЦГАЛИ, ф.464, оп.1, ед.хр.1). Заметки его о Розанове опубликованы в статье «Ровесник "Серебряного века"» (*ЗАПИСКИ* Б.А. Садовского). Публ. С.В. Шумихина. — *ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ*, вып.6, 1988, с.128-129.

⁴ Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912), журналист и книгоиздатель; издатель газ. «Новое время». Об отношении его с Розановым см. *ПИСЬМА А.С. СУВОРИНА К В.В. РОЗАНОВУ*. СПб., 1913.

24. Достоевская — Розанову

Христос Воскрес!

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Каждый день собиралась придти к Вам, но все чувствую себя бессильной и решаюсь письмом поздравить Вас и милую Варвару Дмитриевну и пожелать Вам и всей Вашей [семье] здоровья, счастья и всякого благополучия.

Ваше последнее письмо, в котором Вы отказали мне в разрешении привести к Вам моих друзей, очень меня огорчило и оставило во мне тяжелое впечатление. Но я Вас так уважаю и так высоко ставлю Ваш талант, что не могу на Вас сетовать и хочу верить, что у Вас не было желания меня огорчить¹.

Я знаю, что у Вас имеется Полное Собрание Сочинений дорогого моего мужа, но у Вас нет «Материалов к роману "Бесы"»; позволяю себе прислать Восьмой том, в котором «Материалы» помещены. Добавляю и «очерк о Ф.М. Достоевском» С.Н. Булгакова. Хотелось бы знать Ваше мнение по поводу этого очерка.

Прошу Вас передать мой сердечный привет глубокоуважаемой Варваре Дмитриевне. Позвольте пожелать Вам всем здоровья и счастливого лета.

Искренно Вас уважающая и преданная

А.Достоевская

29 апреля 1907

P.S. Прошу Вас, прочтите прилагаемый листок и скажите мне при случае, ходит ли подобная легенда про Федора Михайловича в литературных кружках, или это фантазия романиста. Этот отрывок я выписала из одного романа, название которого сейчас

не помню. Вы были в таких дружеских отношениях с Н.Н. Страховым и, знаю, много говорили с ним о моем муже, что наверно, слышали бы эту легенду, если б она была распространена в обществе. Любопытно было бы знать, откуда такая легенда появилась.

[на отдельном листе:]

«Вот-с был такой писатель, Федор Михайлович Достоевский, так он, когда у него припадок эпилепсии пройдет, и он еще как в тумане ходит, он придет, бывало, к знакомым, особенно к поклонникам своим, да и начнет на себя всякую мерзость наговаривать... И никто ему воспретить не мог»².

¹ См. предыдущее письмо.

² По всей вероятности, речь идет о «слухах» о «ставрогинском» преступлении Достоевского (именно с этим связан скандал в прессе 1908 г.). Об этом см.: В.И. Захаров. «Факты против легенды». — В кн.: *ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО*. Петрозаводск, 1978, с.75-109. В момент написания этого письма А.Г. Достоевская еще не знала о знаменитом письме Страхова к Толстому от 28 ноября 1883.

25. Розанов — Достоевской

[около 30 апреля 1907]¹

Воистину Воскресе!

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Горячо благодарю Вас за ценный подарок. «Материалы» к «Бесам» страшно ценны, — хотя очень много корректурных ошибок в них (в знаках препинания), мешающих иногда понимать текст. Но все очень интересно. Статья С.Н. Булгакова положительно прекрасна: лучшее, что я у него читал. Насчет слухов в обществе о Ф.М. — не беспокойтесь. *Этих* именно слухов я не слышал, но предоставьте равнодушно ветру нестись и носиться: таково существо ветра и ветрености. С соблюдением большого секрета пишу Вам, что тогдашнее мое нежелание видеть у себя новых гостей относилось главным образом к молодому Полонскому, который чрезвычайно навязчив, и если бы он один раз был у нас — то уже зачастил бы с посещениями, проектами чтений и вызовом на их вечера, и вообще внес бы чрезвычайно много *обременительной* суеты, которой я всеми мерами избегаю. Сей и без того зачем-то приходил к нам раза 3 с сочинениями своими и приглашениями, и мы были крайне раздражены этою утомляю-

щей навязчивостью и не знали, как отделаться. Он вообще какой-то *праздный* человек и не щадит чужого *времени* и *усталости*. А Вас и другого Вашего друга мы конечно рады были бы видеть, и милости просим в воскресенье всегда Вас и кого бы ни было из Ваших друзей, — *без всякого предупреждения*. Полонский — исключительный по нежелательности человек, он вечно несет с собой суету, шум, ненужные и глубоко неинтересные разговоры, — обременительные просьбы читать его рукописи, давать ему мнения и проч. и проч. Когда ему будет 50 лет, он сам это поймет, — а теперь никогда не поймет. Варя Вам кланяется. За память о детях — всегда благодарна.

Ваш искренно

В.Розанов

¹ Датируется по содержанию, на основании предыдущего письма. В подлиннике, хранящемся в ОР ГБЛ, датируется 1906 годом, на основании приписки года, уже не рукой Розанова. По всей вероятности, эта датировка ошибочна.

26. Розанов — Достоевской

[октябрь 1907]¹

Многоуважаемая и дорогая Анна Григорьевна!

Вы как умная и даже очень умная женщина не можете не знать, что «ум хорошо, а два лучше», — и что от «совета» дело не портится.

Ал[ександр] Серг[еевич] Глинка обратился к А.С. Суворину касательно издания биографии Ф[едора] Михайловича¹ и, конечно, получил отказ, т.к. издание это, не обещающее дохода (хотя — как знать?), не имеет никакой возможности побудить его впасть в возможный риск. Да и ничего решительно из имеющего специальное к Фед. Мих. отношение, не издаст: ибо до того много книг, которых ждет читатель, которые окупятся и проч.

Не знаю, осведомлены ли Вы, что Пирожков уже отказался издать. Да и всякий решительно книгоиздатель то же самое сделает. Ну, кто станет вынимать деньги из кармана с риском их потерять — именно и специально для памяти Фед. Михайловича. Очевидно, издание это, не обещающее принести корысти, может быть сделано только ради любви. Теперь мысленно перенесемся в склеп Федора Михайловича: и коль он учил нас непременно верить в загробную жизнь, в вечное существование «там», то и спросим его, как же он велит поступить с 80-листным трудом благо-

родного идеалиста Волжского, который, будучи больным, несколько лет употребил на соби́рание мельчайших деталей его жизни к выяснению всей его литературной и человеческой личности. Никакого нет сомнения, что он с глубокой верой в Вас сказал бы: «да отнесите его скорее к моей Анюте. Она так бережет мою память и собирает все о ней, что с энтузиазмом ухватится за этот капитальный труд, поцелует благородного юношу материнским поцелуем. Ибо не каменные памятники, а книжные памятники — суть вечные и настоящие».

К этому присоединяется и мой личный страх уже за добрую Анну Григорьевну: в литературе и искусстве пойдут *неудержимо* слухи, что Вы отказались его издать, и Ваша память, которая до сих пор так выгодно отличалась от Софьи Андреевны Толстой (послушайте, что о ней говорят в отношении имущества, забот о детях, хозяйничанья с лесом и изданиями: только это теперь не проникает в печать), эта память самым роковым образом сольется с памятью о Софье Андреевне. В частных /неразб./ хлопотах мы просто не видим многого, что должно получить историческое значение. А история с изданием биографии Вашего мужа непременно получит историческое, широко-публичное значение! Этого не может не случиться. И Вы разом, годом испортите то, что столько лет созидали: впечатление культурной заботы о памяти великого человека. Конечно, Вы рискнете тысячами двумя, предположив, что из 3-х затраченных вернете только одну (хотя лет в 10 издание разойдется, и тогда Вы дополучите и эти 2000 р.): вся Россия знает, что это Вас не разорит и не потрясет Вашего благосостояния; уже один конский завод Вашего сына говорит о богатстве, ибо такие вещи без крупных денег не заводятся. Все сопоставят это: лошади, скачущие на скачках, и память много-страдального Федора Мих[айлови]ча. Все /неразб./, все удивятся. Все скажут: «на лошадей хватало, и тут риск не был страшен: ибо была "охотка". А на память Фед. Мих. не хватило, ибо никакой *охоты* в ней не было». Вот где горе, что обо всем этом заговорят сотни тысяч уст: а через 20-25 лет заскрипят о том же перья. И этой истории не выскребешь из памяти людской никаким золотом.

Вот отчего я думаю, дорогая и милая Анна Григорьевна, что Вы порывистым отказом сейчас, этот год, — сами для себя испортите последние годы Вашей жизни, так сказать, придадите ей горький привкус. Непременно Вы это с будущего же года почувствуете. Но дело это тем скверно, что его нельзя исправить, хотя бы Вы потом и издали 100 биографий. Дело не во многих, а в *первой*, и во впечатлении, что Вы ее не захотели издать. Дело не в

Фед[оре] Михайл[овиче], а в *Вас*. Будут судить не о нем, а о Вас, — и в отношении его. Друг столько лет, Вы вдруг станете если не враг (возможно даже и это впечатление! не дивитесь!) — то чужой, равнодушный чел[ове]к. Знаете римскую поговорку: «жена Цезаря не может быть даже подозреваема», — не говоря о факте. Фед. Мих. и все, что около него и идет от него, именно по особенностям-то судьбы его и писаний, не должно быть даже и подозреваемо касательно пристрастия к имуществу, к *наживе*, даже к житейскому комфорту. Именно с его-то памятью все это так враждует.

Ну, устал. Ради Бога — не вредите себе. Мне все это так горько /неразб./ за него (Ф.М.). Волжскому я ничего не говорил, и он меня просил познакомиться с Ал.С. Сувориним, но касательно Вас ни о чем не просил. Именно оттого-то, что он так скромн и не навязчив, стоустая молва и заговорит так громко. Боюсь. Боюсь.
Ваш В.Розанов.

¹ Датируется по ответному письму А.Г. Достоевской.

27. Достоевская — Розанову

27 окт.1907¹

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Не знаю, как благодарить Вас за доброе письмо. Его диктовало глубокое уважение к памяти Федора Михайловича и Ваше всегдашнее доброе отношение ко мне. Тем больнее для меня отклонить Ваш совет и сказать Вам, что я не имею *ни малейшей* возможности издать биографию, написанную Александром Сергеевичем, литературный талант которого я высоко ставлю. Тут дело не в нежелании моем, а в полнейшей невозможности. Вы сами знаете, что за последние четыре года я издала Указатель Музея и два издания Полного Собрания Сочинений (юбилейное и простое). Благодаря забастовкам, повышению заработной платы и другим обстоятельствам, издания эти обошлись значительно дороже, чем я предполагала. Книжная же торговля теперь в упадке и юбилейное издание, как дорогое, идет сравнительно тихо. Помимо затраченных на издания наличных, мне пришлось воспользоваться кредитом по типографии и бумаге и, может быть, пройдет 2-3 года, прежде чем я смогу погасить все счета. При таком положении дел немисливо приниматься за новое предприятие, тем более, что оно потребовало бы не 2000-3000 р., как Вы пишете, а 10-12 тысяч (как издательница, я знаю, во что может обойтись выпуск

книги в 80 листов + уплата автору). Пришлось бы взять на свои плечи новые заботы, а это отравило бы мне те немногие годы, которые мне осталось жить. Такой жертвы не потребовал бы от меня мой дорогой муж.

Меня удивило, что Вы называете биографию Волжского *первою*. Но ведь *первая* биография (Вы имеете ее как I том изд[ания] 1883 г., но она была издана и в отдельном виде) была написана Ор[естом] Миллером и Н.Н. Страховым, людьми высокообразованными и лично знавшими Федора Михайловича². В течение 26-ти лет не открылось почти никаких *новых важных* материалов относительно его жизни и деятельности. По моему мнению, эта первая биография всегда будет служить основанием для всех работ по этому предмету.

Меня всегда смешит, когда мне говорят о моем «богатстве». Да никакого богатства у меня нет. Все достатки мои я тратила и трачу на старорусскую школу, Музей и издания, а сама живу в высшей степени скромно. Но если я и сделала что-либо в память моего милого мужа, то делала из благодарности за счастливую проведенную с ним жизнь и за те часы высокохудожественного наслаждения, которое я всегда испытываю при чтении его произведений. Но даю Вам слово, что мне никогда в голову не приходило размышлять о том, как отнесутся к моим поступкам посторонние люди: для меня моя совесть была лучшим судьей и, положив руку на сердце, я могу сказать, что я посвятила [зачеркнуто: положила. — Э.Г.] всю свою жизнь на служение Федору Михайловичу и его памяти. Да и в чем можно упрекнуть меня в настоящем случае. Вот если б я предложила Волжскому написать биографию, а теперь не захотела бы его труд напечатать, то это был бы постыдный для меня поступок. Но ведь я тут не при чем: биографию писать я ему не заказывала и совершенно ничего не знаю о его работе. Не могу же я считать себя нравственно обязанной издавать каждый труд, который появится о моем муже, как бы ни был талантлив этот труд. Делаешь только то, что в состоянии сделать.

Вообще же скажу, что мнение обо мне как современников, так и потомства (да и кто обо мне говорит или пишет — слишком я для этого небольшой человек) не представляет особого значения. За мою долгую жизнь я убедилась, что люди чрезвычайно многое прощают себе и слишком критически относятся к поступкам других, а потому справедливости ждать от них трудно. Примером может служить жизнь граф[ини] Софьи Андреевны. Вы пишете, что ее многие бранят, а я, знающая ее около 20 лет, преклоняюсь перед нею, как перед добрым гением Льва Николаевича,

охранительницею и помощницею его³. Но ближайшим и печальным примером служит для меня суждение о деятельности моего сына. Юношей он мог бы поступить на службу и, благодаря влиянию друзей Федора Михайловича (Победоносцева, Филиппова, Вышнеградского и др.) мог бы сделать блестящую карьеру. А он, желая независимости, выбрал скромную деятельность сельского хозяина, коннозаводчика, и вот уже 14 лет работает как вол круглый год, чтобы хорошо вести свое дело. Для него это не забава, не праздное времяпровождение, а дело жизни и кусок хлеба. И из него выработался отличный работник; доказательство тому, что он служит по выбору старшим членом Московского Скакового Общества, а плохого человека на это дело не выбрали бы. И вот потому только, что он разводит лошадей, а не коров и овец, как всякий сельский хозяин, его обвиняют в пустых затеях и глупо проводимой жизни. Таков бывает суд людей и стоит ли его очень ценить!

Мне было очень, очень жаль, что мне не пришлось видеть вчера милую Варвару Дмитриевну. Но я наверно бываю дома только по воскресеньям от 2 до 6-и; в будни меня трудно застать.

Очень бы хотелось Вас повидать и с Вами побеседовать, глубокоуважаемый Василий Васильевич, но Ваша лестница тяжела для моего плохого сердца, а лифта я боюсь. Постараюсь выбрать, когда моему сердцу лучше, приду в воскресенье. Пока же жму Вашу руку и еще раз благодарю за письмо. Прошу передать душевный привет милой жене.

Искренно Вас почитающая

А.Достоевская

[на первой странице приписка:]

Простите, что пишу заказным: это моя привычка, т.к. часто пропадали письма.

¹ В неполном виде настоящее письмо приводится в публикации С.В. Белова «Переписка А.Г. Достоевской с современниками». — «Байкал», №5, 1975, с.141-142. Монография Волжского *ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО* осталась неизданной (рукопись — в ЦГАЛИ, ф.142).

² Достоевская имеет в виду кн. *БИОГРАФИЯ, ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО*. СПб., 1883, подготовленную О.Ф. Миллером и Н.Н. Страховым. В ней помещены и воспоминания Страхова.

³ Об отношениях А.Г. и С.А. Толстой см. : А.Г. Достоевская. *ВОСПОМИНАНИЯ*. М., 1987, с.376-378; С.В. Белов. «Жена писателя», ук. соч., с.177-180.

ПИСЬМА НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

Публикация В.Аллоя

Предлагаемые в настоящей подборке письма Николая Александровича Бердяева (1874-1948) относятся к 1906-1908 гг. — времени болезненного и глубокого кризиса русской культуры, вызванного опытом недавней революции и попытками ее осмысления. Наибольшей остроты кризис этот достиг чуть позже, в 1909, — с выходом сборника «Вехи» и полемикой, разразившейся вокруг мыслей, высказанных его авторами. При этом самая бурная реакция на сборник исходила не из социал-демократического лагеря, а от недавних союзников веховцев по символизму и религиозно-философским поискам. Однако наметился раскол значительно раньше, когда стала очевидной неудача «религиозной политики», которую пытались обосновать «Новый путь» и «Вопросы жизни». На страницах обоих журналов сошлись недавние марксисты, декаденты, соловьевцы, участники петербургских религиозно-философских собраний, наконец, люди типа В.В. Розанова, стоявшие в литературной и общественной жизни особняком, вне всяких групп. Объединяло их стремление к выработке «нового религиозного сознания» — идея достаточно общая и неопределенная, допускавшая самые разные интерпретации. Это различие толкований, равно как и разный жизненный опыт участников уже в годы существования журналов создавали драматические ситуации, грозившие разрывом¹. Однако набиравшая силу революционная волна в значительной мере служила той внешней скрепой, что предохраняла от раскола. После поражения революции 1905 г., закрытия «Вопросов жизни», отъезда в эмиграцию значительной группы участников, скрепа исчезла, а идея «нового религиозного сознания», по крайней мере в том виде, в каком она прокламировалась в 1904-1905 гг., явно изжила себя; она требовала развития с учетом опыта революционных событий — и здесь пути недавних союзников разошлись окончательно.

¹ Об отношениях Бердяева, Булгакова и других «идеалистов» с группой Мережковских, Filosofova, Чулкова см. нашу публикацию «Из писем Зинаиды Гиппиус». — «Минувшее», т.4, 1987, с.327-337.

Мережковские покидают Петербург 14 марта 1906 г., надолго переселяясь во Францию. Вместе с Д.В. Философовым (1872-1940) они живут главным образом в Париже, в Auteuil, на rue Théophile Gautier. Живут крайне активно: их политико-литературно-мистический салон собирает русскую эмигрантскую колонию, вместе с Минским они пытаются наладить издание периодического органа, часто публикуются в России, готовят сборник статей о русской революции, заводят связи с французскими политическими деятелями близкими к социализму. Знаменитая фраза Гиппиус: «мы не в изгнании, мы в послании», ставшая впоследствии девизом политической эмиграции, — рождается именно в те годы. Особенно сближаются Мережковские и Философов с социалистами-революционерами. Знакомство и дружба с И.И. Фондаминским, сделавшимся постоянным гостем их салона, а затем с Б.В. Савинковым, одним из руководителей Боевой Организации ПСР, — еще больше втягивают их в околполитическую активность. Александр Николаевич Бенуа, проводивший те годы в Париже, вспоминал, что «в салоне на улице Теофиль Готье образовалось нечто вроде штаб-квартиры революции, куда заходили всевозможные персонажи революционного вероисповедания»². В области духовной Мережковские по-прежнему усиленно разрабатывают идею «тройственного устройства мира», Царства Третьего Завета, которое должно прийти на смену историческому христианству, а на уровне более практическом — стараются укрепить и расширить небольшую общину, духовным центром которой являлась триада Мережковский-Гиппиус-Философов. И, разумеется, салон их оставался литературным, — там кипели страсти по поводу судеб символизма, чулковской «ереси», блоковского «отступничества», горьковского социал-демократизма и т.д., там продумывалась и обсуждалась тактика и стратегия журнально-газетных баталий. Все это вместе, причудливо сочетаясь, создавало несколько экзальтированную, по словам того же Бердяева, «магическую атмосферу», в которой «словесные сочетания часто заменяли отношения реальные»³.

Для Бердяева эти годы становятся активными не столько в общественном, сколько в творческом и мировоззренческом плане. Он постоянно публикуется в периодических изданиях (главным образом в «Московском еженедельнике» и «Вопросах философии и психологии», но также в «Поллярной звезде», «Свободе и культуре», «Веке», «Русской мысли» и т.д.), пишет книгу «Новое религиозное сознание и общественность», готовит к печати сборник своих статей «Sub Specie Aeternitatis», сближается с кругом московских философов. Но главное — в противоположность Мережковским, — все больше уходит от мистики к «религиозному реализму». И хотя до конца жизни Бердяев считал себя «мистическим анархистом» и бунтарем, его бунтарство с этого времени все больше развивалось не вне, а внутри Церкви, в пределах исторического христианства, а не в попытках создания новой религии.

² Александр Бенуа. *МОИ ВОСПОМИНАНИЯ*. М., «Наука», 1980, т.2 (кн. V,2), с.444.

³ Николай Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*. Париж, ИМКА-Пресс, 1949, с.165.

Естественно, что подобное направление мыслей вызывало неприятие у парижских друзей, и это все более отчетливо проявлялось и в переписке, и в печатных выступлениях. Сюда же добавлялось и скрытое чувство обиды, ибо, в отличие от Булгакова и других «идеалистов», Бердяев считался у Мережковских «своим», был в близких дружеских отношениях с З.Н. Гиппиус и Д.В. Filosoфовым и рассматривался как возможный участник интимной общины. Его упорное нежелание войти в новую церковь лишь усиливало раздражение. Росла взаимная неудовлетворенность и отчуждение — сначала идейные, а затем и личные. Окончательный разрыв наступает зимой 1907-1908 гг., которую Бердяев проводит в Париже, постоянно бывая в салоне на rue Théophile Gautier. Сам Бердяев вспоминал впоследствии атмосферу этих общений: «На Мережковских я произвел впечатление человека слишком приближающегося к православию. И в общении с Мережковскими я делался более православным, чем, может быть, был на самом деле. Во мне вызывало протест литературное сектанство. Меня всегда отталкивали опыты создания сектантской церкви. Новое христианское сознание я не мыслил в форме создания новых таинств. Новизна была для меня не в сакраментальной, а в пророческой сфере. /.../ Наше общение прошло в борьбе и взаимопротивлении. Мне были неприятны и чужды их настроения»⁴. В этом смысле инцидент на rue Théophile Gautier, когда Мережковский и Filosoфов публично выступили против Бердяева, обвинив его в лицемерии (см. п.5), — явился лишь последней каплей. Разрыв был предreshен и в полной мере выразился в полемике вокруг «Вех». Можно отметить также, что различие в интерпретации «нового религиозного сознания», хотя и не в столь радикальной форме, проявилось и в дальнейшем — в работах Московского и Петербургского Религиозно-философских обществ, деятельными участниками которых стали все упоминаемые лица.

Предлагаемые письма носят подчеркнуто исповедальный характер и настолько полно выражают мировосприятие Бердяева и существо его расхождений с адресатами, что не нуждаются в подробном комментарии. Поэтому мы ограничились главным образом био-библиографическими сносками.

Письма публикуются по оригиналам из частного парижского архива. Печатаются по правилам новой орфографии, синтаксис автора сохранен, подчеркнутые в тексте слова и фразы выделены курсивом.

⁴ Николай Бердяев, ук. соч., с.169, 170.

Петербург, 27 марта [1906]

Дорогая, милая моя Зинаида Николаевна! Не писал Вам до сих пор не потому, что не помнил о Вас все время и не имел, чего сказать, а потому только, что слишком многое хотелось разом сказать и трудно это. Все хотел осмыслить и осознать окончательно свое отношение и к Вам лично, и к Д.С. и Д.В. Вы, Зинаида Николаевна, родная мне душа, и казалось мне иногда, что близость с Вами могла бы дойти до абсолютного слияния. Но было бы ли это праведно, не знаю, часто сомневаюсь в этом. У меня есть к Вам отношение глубоко индивидуальное, интимное, не соборное, не церковное, и отношение мое не изменилось бы, если бы я узнал, что Вы от дьявола. С ужасом отвернулись бы от Вас Ваши единоверцы, а я не отвернулся бы. Вот это-то и странно, Зинаида Николаевна! Это Вам лично я говорю, мистическую связь с Вами ощущаю, а теперь о вашем соединении, о вас всех. Почему я не соединяюсь с Вами окончательно, не вхожу в Вашу общину, не живу с Вами общей религиозной жизнью, в которой все показывается уже, а не доказывается? Думаю, что причина тут не только в раздвоении моей стихии и слабостях и недостатках моих, моем индивидуализме, антицерковности, боязни потерять свободу или разочароваться в соединенной жизни, не только в сомнениях моих, какому Богу поклоняться. Препятствие есть также и в *сознании* моем и эта сторона недостаточно у нас выяснена. Я кажется расхожусь с Вами в понимании церкви и не думаю, чтобы Вы уже знали, что такое церковь. Это я ведь высказал в своей статье «о новом религиозном сознании»¹, поставил Дм[итрию] Серг[еевичу] вопрос о церкви, на который он мне не ответил. Боюсь, что у Вас есть тенденция образовать секту, маленькую интимную религию, очень интересную, глубокую, завлекательную, но не *вселенскую*. Где очертания вселенской церкви? Вот самый проклятый, не решенный еще вопрос. Я написал статью «О путях политики»², в которой высказываю сомнение, что до сих пор существовала видимая, определенным кругом обведенная церковь, так как не могу примириться с преступлениями христианской церкви против земли, против культуры и свободы. Самая крупная заслуга Дм. Серг. была в том, что он заговорил о религии, вмещающей всемирную историю и всю полноту культуры, освящающей землю. И я с ужасом смотрю, чтобы Ваше религиозное развитие не пришло к церкви, из которой опять выходит и вся история, и вся культура, и плоть мира. Боюсь монастыря, боюсь аскетического отречения.

Верю глубоко, что невидимая мистическая церковь должна сделаться видимою, воплощенной, мечтаю об этом, но процесс выявления представляется мне очень сложным, многообразным, вмещающим мировые богатства. Не могу с легким сердцем обречь человеческую личность на гибель, на небытие, и потому должен признать многообразие путей спасения личности. Неужели Вяч. Иванов, милый, добрый, необыкновенно культурный, но путанная голова, погиб, потому что не входит в церковь, как вы ее понимаете? Тут что-то не так. В церкви должна быть и истина гуманизма, она должна как можно больше спасать и как можно меньше осуждать. Образование церкви в истории должно идти от личности, утверждающей себя со всеми своими ценностями, и должно быть процессом органическим, а не механическим, внутренним ростом из разных мест земли и земной культуры. И трудно сказать, где и как образуется сейчас церковь, кто находится в мистическом круге. Вы склонны думать, что только ваш союз — церковный, что только от вас образуется церковь, новая и вечная, а вне вашего круга все осуждается. В этом я вижу соблазн. Я не сомневаюсь в глубине ваших религиозных верований, в огромной важности ваших религиозных идей, но все же вы мне представляетесь *предтечами* религиозной революции и религиозного возрождения, а не церковью уже. Я люблю Вас, как предтечу, *нуждаюсь* в Вас, бесконечно обязан Вам, но не могу поверить, что в Вас и только в Вас осуществилась истинная теократия. Вы мои родные, бесконечно близкие и дорогие мученики великого религиозного процесса, все еще искатели, мятежные души. Вы потеряли только человеческие надежды, изверились в только человеческие пути и только человеческие утешения и спасаетесь от ужаса небытия, но вы еще не можете быть спасителями, не сошел еще Дух Утешитель, не исходит еще от Вас сияния, притягивающего к Вам души. Каждый из Вас может иметь человеческие недостатки и пороки, но вы, как целое, должны быть притягательны, обаятельны, должны радость вокруг себя распространять, а Вы отталкиваете. Ощущаю глубокую мистическую связь с Вами (не только З.Н., которую люблю, кто бы она ни была) и общность путей, но не ощущаю еще *нашей церкви* и боюсь тут ложного, сектантского, аскетического, не вселенского пути. А вот с Карташевым, с Серафимой Павловной, с Вашими сестрами³ такой связи не ощущаю, хотя хорошо к ним отношусь. Все в личности и через личность! Предчувствую новую религиозную общественность, как любовь личностей, но этим не решается, а только обостряется, делается еще более трудным вопрос о церкви. В отношении моей личности к другим людям есть интимное, которого Вы не знаете и которое

нельзя объяснить. Это должно быть признано и не должно стоять между нами. Я реально тоскую по Вас, скучаю, мне ведь действительно некуда пойти. Нежно целую Д.С. и Д.В., мои поклонны им. Целую Ваши руки.

Ваш любящий Николай.

Продолжение.

Еще хотел сказать. Меня всегда тянули в Церковь, в церковь социал-демократическую, в церковь либерально-идеалистическую, в партию, в «практическую» деятельность. Когда я был социал-демократом, то хотел быть свободным философом социализма и пролетариата и имел отвращение к тому, что называлось «практикой», не мог поместиться ни в какой «организации». Потом стал свободным искателем. Я верю, что есть призвание философа, как есть призвание художника, и самое важное свое призвание исполнить. Мне иногда кажется, что Вы отрицаете индивидуальное призвание и всем навязываете одну задачу. Я же никогда не соглашусь на уничтожение философии, литературы, искусства, всего богатства культуры, хотя знаю, что всякое творчество должно быть подчинено религиозному центру. Но подчинение религиозному центру не упраздняет культуры, а обогащает ее. Так должно быть, если религия опять не будет аскетической. Быть может, я наконец войду в Церковь, в истинность которой поверю, но индивидуальная задача моей жизни останется та же — построить систему религиозно-философского гнозиса. Мне близки не практические строители христианской Церкви, а гностики, близки не апостолы, а Ориген и ему подобные.

[На первой странице сверху приписка:]

Когда возвращаетесь в Париж?

¹ «Вопросы жизни», 1905, №9, с.147-188.

² «Свобода и культура», 1906, №2, с.106-121.

³ Карташев Антон Владимирович (1875-1960), историк церкви, активный член РФО, близкий к Мережковским. Ремизова (урожд. Довгелло) Серафима Павловна (1876-1943), жена А.М. Ремизова, палеограф, участвовала в работе РФО, была близка с Мережковскими в продолжение всей жизни. Сестры Гиппиус, Татьяна Николаевна и Наталия Николаевна. Ср. описание «интимной общины» у Андрея Белого: «я по счету принятия седьмой член (Карташев, две сестры Гиппиус суть четвертый, пятый и шестой члены)» (*ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ...* Ardis, Ann Arbor, 1982, с.50).

Люботин, 2 июня [1906]¹

Дорогая Зинаида Николаевна! Пишу Вам уже из деревни, куда наконец удалось выбраться из опустылевшего Петербурга. Здесь сразу себя почувствовал лучше, начал писать. Я не часто пишу Вам, так как очень серьезно отношусь ко всему, что пишу Вам, и мне трудно писать Вам письма нейтральные. Часто мне легко разговаривать с Вами, а писать не всегда могу. Я хорошо знаю, как несовершенно общение через письмо, и, если не вполне еще преодолел романтизм, то возжелал уже реализма и тяготую к нему. Я во многом изменился, Зинаида Николаевна, и многое внутренне завоевал себе. Нет уже во мне этой ужасной раздвоенности, когда не знаешь, во что веришь, какому Богу хочешь поклониться и какой путь избрать. Теперь, кажется, трагическое переносится для меня в иную плоскость, и моя боль может сделаться еще тяжелее, хотя внутренно я тверже, последняя моя воля не так разбита. И мое отношение к Вам несколько изменилось, я окончательно освобождаюсь от остатков противного и глупого демонизма, который сидел во мне, когда я не знал, к чему может привести сближение между нами, когда говорил о возможности слияния против Бога, в которого верим и которого любим. Я не знал, от Бога Вы или от дьявола, и это неведение доставляло мне особенное наслаждение, так как и про себя я не знал окончательно, что возлюбил и пожелал. Все эти «демонические» настроения в конце концов что-то детское в себе заключают и без всего этого я чувствую себя свободнее. Но мне думается, что Вы, лично Вы, не вполне еще освободились от соблазна демонизма, от властолюбия, от самолюбивой жажды по своей воле всех и все формировать. Не скрывается ли иногда под Вашим стремлением к действию и реализации эта властолюбивая жажда? Во мне нет желания властвовать, переделать по-своему, но моим соблазном было желание развращать человека, ставить от себя в какую-то неуловимую зависимость. Все это жалко и ничтожно и кажется прошло, давно уже начало проходить. Никогда еще я не был так близок Вам, вам всем, по своим верованиям и упованиям, никогда не преодолевал так внутреннего раздвоения и потому моя позиция будет теперь гораздо более активная и воинствующая. Но теперь так мучительно сделалось сознание своего внешнего бессилия, своего неумения пересоздавать процесс жизни. И я утверждаю, что никто из нас не знает, как нужно в данную минуту действовать. Вы резко на меня нападаете за то, что я не стремлюсь к реализации, обвиняете меня в том, что я ничего не делаю,

не пытаюсь даже преобразовать жизнь. Но ради Христа скажите мне прямо и открыто, что делаете Вы, что реализуете, как преображаете жизнь? Я не признаю права ни за Вами, ни за каким бы то ни было человеком на свете ответить так: соединитесь окончательно с *нами*, тогда узнаете, что и как мы делаем, что и как вам реализовать. Это был бы демонический эзотеризм, допустимый лишь в подозрительных сектах. Горе вам, если будете сбиваться на этот путь. Вы укоряете меня в бездействии и в отсутствии реализма потому только, что я не соединяюсь с вами — это единственное реальное действие, которое Вы мне рекомендуете. Но что такое соединение? Что такое *вы*? Вы человеки, с которыми я чувствую себя соединенным общностью желаний, общностью идей, взаимным любовным влечением, и я вместе с вами и другими еще подобными нам человеками должен что-то реализовать, как-то действовать во имя одного и того же. Я соединяюсь с вами, когда я вместе с вами что-то открываю, вместе с вами делаю *наше общее* дело, но я ни к кому не присоединяюсь, да и никто не должен ни к кому присоединяться. Вы не масонская ложа, в которую таинственно вводят после непитимии, и вы, конкретные человеки, З[инаида] Н[иколаевна], Д[митрий] С[ергеевич] и Д[митрий] В[ладимирович], не Церковь. Это я говорю не для критики Ваших идей и верований, а для критики вас, людей, это *наша* самокритика. Боюсь, что вы впадаете в соблазн видеть центральную точку Церкви в своих человеческих личностях, придаете слишком большое значение себе, как будто только с вами может быть связана вне вас лежащая мистическая реальность. Реальное для меня дело — найти пути соединения с этой мистической реальностью и воплотить это соединение на земле. Это мы с вами должны общими усилиями делать, должны помогать друг другу, а Вы часто говорите так, как будто бы *вы* — сами мистическая реальность. Вы молитесь вместе, я молюсь уединенно, но из этого не следует еще, что я ничего не делаю, а вы делаете много. Не ругайте меня за бездействие, я жажду действия, скажите лучше, если знаете, что *нам* делать. И не говорите, что нам нужно соединиться, это бессодержательно, мне нужно знать, в чем реализуется наше соединение, знать теперь же. По глубокому моему убеждению историческая христианская церковь была человеческой выдумкой, само христианство в истории в значительной степени человеческая выдумка и потому не имеет для меня никакого авторитета. И я не хотел бы новых человеческих изобретений, претендующих на авторитет. Я с горестью иногда вижу, что вы сбиваетесь на механическое понимание церкви, как колпака, который делает святым и прекрасным то место, которое им прикрывают. Точно церковь есть меха-

ническое изобретение на все случаи жизни, прикроешь колпаком вино и оно претворится в кровь, прикроешь целующихся людей и их соединение будет свято. Я очень скромнен в вопросе о природе церкви, я ишу, но твердо убежден, что воплощение мистической церкви на земле есть органический, а не механический процесс. В вине должно быть что-то, из чего кровь получается, в поцелуях должно быть что-то, что их делает святыми. Изнутри, из глубины все органически должно расти и раскрываться. И нам нужно не отсекаать как можно больше при помощи искусственного критерия, а искать в мире как можно больше задатков великого организма, бережно обращаться со всеми ростками жизни. Критерий во мне должен быть незыблемым, но я хочу и должен искать в мировой жизни органические почвы, в которых тот же критерий заложен. Пишу сознательно резко и подчеркиваю возможное различие между нами, т.к. никогда еще у меня не было такого серьезного желания соединиться и действовать. Раньше я слишком любил играть и шутить. Очень мне понравилась Ваша статья в «Свободе и Культуре»². Я подумал, какой интересный и боевой журнал мы могли бы все вместе издавать. Но даже «Св[обода] и Кул[ьтура]» слишком плохо расходуется, Пирожков порвал с этим журналом, слишком не злободневен. Что вы думаете, каковы ваши планы? Мне грустно, что в последнее время я так мало о вас знаю. Пишу для сборника большую статью «Мистика и религия»³. Жду с нетерпением от Вас ответа, для меня он очень важен. Целую Ваши руки. Сердечный привет Д.С. и Д.В. Получили ли они мои письма?

Ваш любящий Н.Бердяев.

Мой адрес все лето: Харьковско-Николаевская ж.д., ст. Люботин, имение Трушевой. А не изменится ли Ваш адрес на лето?

¹ В Люботине находилось имение «Бобаки», принадлежавшее Ирине Васильевне Трушевой — теще Бердяева.

² Ежедневный общественно-политический и культурно-философский журнал «Свобода и культура» выходил в СПб с 1.04. по 31.05.1906, рассылался подписчикам вместо «Полярной звезды», прекратившей существование в марте 1906. Редактировал журн. С.Л. Франк, издателем (после отказа М.В. Пирожкова) стала М.Н. Могилянская.

³ По-видимому, речь идет о сб.: D.Merejkovsky, Z.Hippius etc. *LE TZAR ET LA REVOLUTION* (Paris, Société du Mercure de France, 1907; немецкое издание: *DER ZAR UND DIE REVOLUTION*. München und Leipzig, 1908), который готовили Мережковские и Философов и где ожидалось участие Б. «Мистика и религия» — введение в кн. *НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ*. СПб., М.В. Пирожков, 1907.

Киев, 26 июля [1906]

Мой дорогой Дмитрий Владимирович!

Отчего Вы меня совсем забыли? Так давно не было от Вас никаких вестей. Я часто в последнее время вспоминаю Вас, не только вас всех вместе, но и Вас лично. Очень грущу, что нет между нами живой связи, даже письмами обмениваемся редко. Пишу из Киева, куда меня вызвала из деревни тяжелая болезнь отца. Отец мой был при смерти, но теперь ему значительно лучше, и я надеюсь скоро вернуться обратно в деревню. Но семья моя переживает крах, все рушится и расползается. Денежные дела настолько плохи, а возможность литературного заработка настолько проблематична, что я не знаю, как буду жить и где буду жить зимой. В деревне останусь до конца сентября. Там хорошо, но во мне вызывает романтическую грусть вторжение в наш сад новой демократии, играющей на проклятой гармонике. Необходимо и справедливо изменение русской жизни, старый быт рушится окончательно, но мне чужд и ненавистен новый быт и новые массовые люди, такие неблагородные и грубые. Очень тяжело сознавать, что не принимаешь непосредственного творческого участия в том, что совершается в русской жизни, а совершается что-то огромное и страшное. И я начинаю думать, что наше положение сейчас безнадежно, безнадежно в смысле ближайших практических результатов. Весь опыт религиозной политики до сих пор оказывается мертворожденным. Очевидно с другого конца надо начинать. Пути нашего воздействия на жизнь не могут быть еще заметны глазу не вооруженному. Нужно гораздо большее воздействие на сознание, чем то, что до сих пор делалось нашим направлением во всех его оттенках. Одно дело спасти себя и образовать в себе и вокруг себя приобретенную атмосферу, а другое дело религиозно-культурное и религиозно-общественное творчество в мире. Первое дело почти преодолевает время, второе же дело слишком зависит от времени и сроков. В себе я ощущаю огромную внутреннюю перемену, огромную устойчивость религиозных переживаний. Много и самое важное я окончательно кажется знаю и испытываю. Пишу очень много и настолько систематично, что скоро приближусь к идеалу, т.е. к Дмитрию Сергеевичу. Написал уже три главы своей книги¹: первая глава — «мистика и религия» (общее введение), вторая глава — «великий инквизитор» и третья глава — «государство». Теперь пишу четвертую главу — «социал-демократия». Считаете ли Вы подходящей для сборника³ главу «мис-

тика и религия»? Или лучше что-нибудь другое? Вообще не знаю, в каком положении идея сборника. Напишите мне об этом. Я потянул надежду на свой журнал. У Пирожкова нет денег, и он поступил некрасиво с «Полярной звездой»³. Да и времена такие, что никто не берет читать нашего журнала. Нет для нас места. Я послал свою последнюю статью «О народной воле» в «Московский еженедельник» Трубецкого⁴. Скоро выйдет мой сборник с несколькими новыми статьями⁵. Теперь такие времена, что нужно писать книги и издавать сборники. Могу сказать, что за последнее время я очень много сделал и многого достиг для лично своего настроения и для выражения своего мирозерцания в писаниях, но для общественности не делаю ничего. Тут один человек бессилён и это меня удручает. Нужно соединяться, но пути соединения слишком еще неясны. Что Вы думаете о происходящем в России? Что все вы предполагаете делать? Очень, очень недостает мне вас, милые. Попасть осенью за границу у меня нет никакой надежды и не знаю, когда увижу вас. Не представляю себе, что будет зимой. Получили ли Вы что-нибудь от пребывания в Париже, обогатились ли, не раскаиваетесь ли, что уехали? Все, что вас касается, меня глубоко интересует, имеет значение и для меня. Что пишете Вы, З.Н. и Д.С.? Я ведь ничего о вас не знаю, не знаю даже, в Париже ли Вы сейчас. В деревне я живу в атмосфере для меня отрадней и менее чувствую свое одиночество, но в Петербурге опять его почувствую. Напишите о своих планах. Напоминаю свой адрес: Харьковско-Николаевская ж.д., ст. Люботин, имение Трушевой. Нежно целую Вас, а также З.Н. и Д.С. Думаю о вас и люблю вас.

Ваш Ник. Бердяев

¹ Речь идет о кн. *НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ*. Третья глава (в письме «четвертая») получила окончательное название «Социализм как религия», впервые опублик. в журн. «Вопросы философии и психологии», 1906, №85, с.508-545.

² См. прим. 3 к предыдущему письму.

³ «Полярная звезда», еженедельное общественно-политическое и культурно-философское издание, выходила в СПб с 15.12.1905 по 19.03.1906 под ред. П.Б. Струве. Прекратилась на №14 из-за того, что издатель М.В. Пирожков отказался от ее дальнейшего финансирования.

⁴ 1906, №20, с.31-33.

⁵ Имеется в виду кн. *SUB SPECIE AETERNITATIS. Опыты философские, социальные и литературные. 1900-1906*. СПб., М.В. Пирожков, 1907.

Петербург.

Воскресенье. 22 апреля 1907 г.¹

Дорогой Дмитрий Владимирович! Письмо Ваше меня так взволновало, так больно мне было читать некоторые его строки, что сейчас же Вам отвечаю. Прежде всего простите мне, что я так скверно написал Вам предшествующее письмо: писал его действительно под «настроением», многое говорил из духа противоречия, был раздражен, впал по обыкновению в крайности. Я убежден, что в письмах ничего нельзя сказать, интимное не передается, и если бы не дошел до самой крайней нищеты, то кажется сейчас бы сел в поезд и поехал к вам в Париж хоть на несколько дней. Одно место Вашего письма меня так болезненно поразило, такой обидный вопрос Вы поставили, что я почти не хотел верить своим глазам. Вы до сих пор еще не знаете, верю ли я в Христа, отвечу ли я «во истину воскрес»? Пространство все убивает, ужасно жить далеко друг от друга. Ваше сомнение звучит для меня так, как если бы Вы сказали, что я подлец, мошенник, обманщик, шарлатан. В одном отношении я никогда в себе не сомневался — всегда верил в свою искренность, всегда считал себя искренним писателем, даже слишком искренним, субъективным лиричным философом. Вы говорите, что любите меня, но не имеете в меня даже такой элементарной веры, чтобы не допускать с моей стороны возможности лжи в литературе, неискренности и обмана. В течение этого лета и осени я написал книгу, из которой Вы прочли вырванные куски², и вся она только и говорит о том, что я верю в Христа и Его Воскресение. Хороша ли эта книга или плоха, не мне судить, но одно знаю — в ней вылились мои *переживания*, в ней написано о моем внутреннем опыте, она для меня не литература, а сама жизнь, как и все, что я пишу. Литературщина, академизм всегда мне были чужды, я всегда жил в своих философских исканиях и литературных опытах. Конечно, пишу я и мыслю отвлеченно, диалектично, верю в Разум и смотрю на мир философски, но быть может это и дает мне возможность оставаться целомудренным. В Вашем смысле я даже слишком целомудренный человек, скрытный, не экспансивный, ни в жизни, ни в литературе не говорю на каждом слове о своей вере в Христа и о своем ожидании Антихриста. Сомневаясь в моей вере, Вы меня видите таким, каким я был два года тому назад, когда раздвоение мое доходило до чего-то страшного. С тех пор многое изменилось, многое во мне произошло, многое я испытал, пережил. В прошлую весну и лето во мне

совершилось нечто поистине религиозное, радикальный перелом, и лучше всего я могу это выразить так: я поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренне освободился от демонизма, полюбил Бога, ко мне вернулся тот внутренний религиозный пафос, который был у меня некогда, а потом затерялся. Переворот произошел не в моих «идеях», а в «жизни», в опыте, в клетках моего существа, связан с фактами, выстрадан мною. С того времени я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен, и прежде всего писать. Я твердо решил стать *философским слугой* религиозного движения, использовать свои философские способности и знания для защиты дела Божьего, бороться силой своего разума с антирелигиозной ложью и в светской культуре расчищать почву для торжества религиозной истины. Моя философия имеет твердую религиозную базу, но я не решаюсь выступать в качестве религиозного проповедника, я не чувствую в себе особенного религиозного дара, не претендую быть пророком и апостолом, остаюсь философом и публицистом религиозного брожения, но религиозным в существе своем. Более всего я способен быть философом-богоискателем, апологетом нового религиозного сознания и глубоко уверен, что в истории мира предстоит еще сложный *гностический* процесс, что должно образоваться новое и окончательное *учение*, полное вероучение. Служа хотя бы косвенно этому великому гностическому процессу образования вероучения, без которого не может быть дальнейшего религиозного движения человечества, я остаюсь целомудренным, пишу лишь о том, во что подлинно верю, что пережил, исповедую свою веру не в форме притязательной проповеди и пророчества, а в форме философской защиты истины. Деление людей на активных, волевых и созерцательных мыслителей остается верным, какова бы ни была наша религия. Мое религиозное познание очень еще слабое, моя религиозная жизнь бедна и элементарна, я жажду обогатиться, но к «отцам» новой церкви не буду причислен, останусь вероятно заурядным безвольным прихожанином. О моей интимной религиозной жизни знает только Лидия Юдифовна³, человек религиозно гораздо более глубокий, чем я, сыгравший огромную роль не только в моей жизни вообще, но и в моем религиозном переломе. Свои отношения с ней я считаю подлинно религиозными, *ощущаю* в них Бога. Мое общение с Вами мне очень много дало, обогатило мою религиозную мысль, поставило в моем сознании ряд проблем, но до сих [пор] почти не давало мне религиозных *ощущений*, не говорило моему сердцу о близости Бога. Я любил

говорить с Зинаидой Николаевной, много выносил из наших бесед, но ощущал скорее «демоническое», чем божеское, что очень соответствовало моей тогдашней раздвоенности. Дмитрия Сергеевича я высоко ценю, что достаточно доказал своей статьей о нем⁴, но разговоры его и письма всегда мне казались слишком «литературными». Что касается Вас, милый Дмитрий Владимирович, то в Вас я всегда видел сильное моральное чувство и рыцарское благородство, соединенное с хорошим умом, но своего богоощущения, своей религиозной мистики Вы мне никогда не дали почувствовать. Меня тоже не удовлетворяет «идейное» общение, оно привело к тому ужасному результату, что Вы даже не знаете, верю ли я в Христа. Но я не знаю, что значит принять Вас целиком, с мясом и костями. Кто *вы*? Что вы предлагаете мне принять целиком? Я хочу соединиться с вами, но не знаю, какое *реальное содержание* вы вкладываете в это соединение. Если вы совершаете таинства в церкви моего Бога и моего Христа, то я хочу принять участие в этих таинствах, хочу сделаться достойным их, я имею право на религиозную пищу, так как голоден. Вот и Лидия Юдифовна этого также жаждет, как я ждет, надеется. В старой Церкви мы не можем получить хлеба жизни, и когда я Вам писал, что иногда готов пойти хоть в православную Церковь за пищей, то хотел этим только выразить свой голод и свое недоверие к искусственным, механическим, вымученным опытам. Что *вы* уже дошли до таинств, до тех таинств, которые сама жизнь, и до религиозной соборности, об этом я ничего не знаю и не ощущаю. Вы меня не поняли, когда заподозрили, что я Вам задаю вопросы нерелигиозных людей, которые думают, что о таинствах можно рассказать, что можно раскрыть последнюю религиозную тайну так, как раскрывается политическая программа. В таком диком непонимании меня нельзя заподозрить. Я требую от Вас не ознакомления с программой действий, которую я потом приму или отвергну, *я требую, чтобы вы мне мистически и религиозно дали почувствовать, что у вас совершаются религиозные действия.* Я не только не испытываю ваших религиозных действий, но и не знаю о существовании подобных действий, как напр., знаю об элевзинских мистериях и о богодействе в старой Церкви Христовой. Вы остаетесь для меня такими же искателями, такими же жаждущими, как и я сам, такими же беспомощными. Я не ощущаю вашего тройственного союза, как религиозного действия, не чувствую еще в нем таинства. Сделайте так, чтоб я это ощутил и почувствовал, я буду счастлив и соединюсь с вами. В этом и только в этом весь вопрос наших отношений. Все вы постоянно мне пишете, что я религиозно ничего не делаю, что у меня только идеи,

что мои писания только литература. Я сам знаю свою религиозную бедность, но не вижу вашего религиозного богатства, не понимаю, почему напр. «Толстой и Достоевский» и «Грядущий Хам» Мережковского менее «литература», чем то, что я пишу, почему стихи З.Н. в «Весях» или Ваши в «Товарище»⁵ обнаруживают больше религиозного опыта и в большей степени ведут к действию. Я просто думаю, что в «идеях» у нас не такое уже абсолютное сходство (Вы это увидите, когда прочтете мою книгу целиком и внимательно), а в «жизни» не такое уже абсолютное различие (у меня тоже есть интимный религиозный опыт, есть своя жизнь, очень тесно связанная с моими религиозными идеями). «Биографическое» между нами различие играет не малую роль в наших разногласиях. Вы очень хорошо пишете о том, как Вы пережили литературу, искусство и «декадентство», как это было для Вас жизнью, как все свои силы Вы этому отдали. Я это знаю и думаю, что биографическая ваша связь с «декадентской литературой» имела роковое значение для вас, как деятелей религиозного движения. С одной стороны, вы (я говорю не только о Вас) не можете освободиться окончательно от остатков «декадентства», с другой, вы преувеличиваете значение всякого вздора в «литературе», отчаянно загнипнотизированы «литературщиной». Я просто не в состоянии дослушать или дочитать до конца «33 уroda» или «Крылья»⁶ и не мог бы ни одного слова сказать по этому поводу, просто небытие и конец, а вот Андрей Белый оторваться не может от пустяков, упивается «литературщиной». Социал-демократизм Белого вызывает во мне брезгливость, которую почувствует всякий переживший социализм. А.Белый (кстати сказать, он безнадежный и уродливый хулиган в литературе) всегда останется «декадентом» и ни одному слову его нельзя придавать значения, хотя вы, кажется, считаете его религиозно более действенным, чем меня, потому что по бесхарактерности и легкомыслию он на все согласен. Я же не «декадент» по своему прошлому, особенно целомудрен в сфере действий, особенно религиозных, не выношу всех подмен, выдуманности, игры, страдаю избытком добросовестности. «Литературы» я не пережил подобно вам и у меня даже есть органическая антипатия к «литературщине» и литературным нравам, к мелочным литературным интересам, к борьбе самолюбий, к злобам дня и пр. В литературном milieu я себя чувствую чужим и одиноким, не сливаюсь с этой суетой, испытываю физическую брезгливость к хамству литераторов. Корыстолюбие, самолюбивость и мелочность литературного мира действует на меня болезненно, я хотел бы бежать, но нет такой среды, которая была бы мне мила. По нраву, по инстинктам, по складу натуры

я в гораздо большей степени русский помещик «средне-вещного» толстовского круга, чем «литератор». Я русский барин, с детских лет задумавшийся над вопросом о смысле жизни и искавший Бога. Вот почему отрицание социального зла для меня было связано в юности не с революционизмом разночинцев, а с Толстым, толстовство в широком смысле мне родина, я и сейчас не могу развернуть «Войны и мира» без физиологического волнения и сладкого воспоминания о родине. Я не «литератор» и не «интеллигент», но глубоко пережил и перестрадал политику, социализм, революционную идею, чего Вы не пережили. Я прошел через социалистическую веру, отказался во имя ее от того, что любил более всего, — от философии и научной деятельности, заставил себя жить вместе с инстинктивно противной мне радикальной интеллигенцией, сидел в тюрьме, отправлялся в ссылку на север. Разрыв с социал-демократией мне дорого стоил, это была жизненная драма, о которой много мог бы рассказать. И я думаю, что имею гораздо больше права, чем все вы, говорить о политике, о социализме, о революции, я больше знаю, больше пережил, больше перестрадал. И если не мне говорить о Вашем равнодушии к литературе, то не Вам говорить мне о моем равнодушии к революции. К революции у меня было даже более жизненное, практическое отношение, чем у Булгакова, но с Булгаковым сегодня мы почти одинаково воспринимаем «революцию», с одинаковыми чувствами относимся к крайним левым. Я вам уступаю Кузмина и Зиновьеву-Аннибал, но в вопросе о революции, о социал-демократии и пр. и я, и Булгаков, да и Струве компетентнее, больше опыта имеем и больше права судить. Ваше отношение к русской революции мне представляется доктринерским, оно основано не на живом восприятии ее духа, а на гностической схеме по поводу отношения самодержавия и православия. Дмитрий Сергеевич борется не с самодержавием, а с самим собой, с своими прежними увлечениями и ошибками, что опять-таки имеет лишь биографический интерес. Не станете Вы также отрицать, что радикальный переворот в политических взглядах Д.С. совершился отчасти под нашим же влиянием⁷. Об антихристианском духе самодержавия я думал и писал тогда, когда Д.С. целиком еще определял самодержавие религиозно, давно также я высказал ту мысль, что теократия анархична по отношению к государству, что власть Христа не может иметь заместителя. А теперь вы меня упрекаете в реакционерстве и выдвигаете против меня и Булгакова свой революционизм. Но вы в плохом обществе: все «декаденты» сделались теперь крайними революционерами, хотя раньше даже не задумывались над вопросами общественности. Это я называю дилетантизмом и

взглядом из прекрасного далека. Булгаков верно сказал на религиозно-философском собрании: «леветь в настоящее время есть дурной тон». Меня ужасает нигилизм русской революции, разбивающий светлые мечты всей моей жизни об общественной правде, я болею этим, опытно воспринимаю этот ужас, а Вы подозреваете меня в желании примириться с самодержавием. От политики я только временно ушел и менее всего отношусь к ней с легкостью. Я не могу поклоняться факту революции, как и вообще не поклоняюсь факту, всегда оцениваю, всегда вижу не только правду, но и гниль. Всякое же расшаркивание перед революцией по «тактическим» соображениям считаю безнравственным и безбожным. Вы меня можете только упрекнуть в некотором морализме в политике, в этом грешен, я даже марксизм этизировал в былое время. В этом я схожусь с моими старыми друзьями Булгаковым и Струве. Я ведь не уступил своего «идеализма», а только возвел его на высшую религиозную ступень, включил его в нечто большее, переживание *абсолютной ценности* и теперь является для меня основным. Вам недостает этого «идеализма», вы не прошли через его правду, а ведь в основе этой идеалистической правды для меня лежит самый первичный опыт. И мы разно подходим к теократии, разно ее обосновываем. Я все более дорожу той своей идеей, которую развивал в статье «О народной воле»⁸ и которую положил в основание своей новой книги. Моя критика народной воли и народной власти и мое оправдание теократии — самое ценное и новое в религиозной мысли из всего, что я писал. В противоположность реакционным теократам начала XIX века я показываю, что декларация прав человека и гражданина только и может быть проявлением воли Бога, что человеческие права лишь боговластием гарантируются. Вам это кажется чуждым. Я задумал большой гносеологически-метафизически-богословский труд, которому посвящу несколько лет жизни, к которому все время готовлюсь. Тема моего труда — отношение между «знанием» и «верою», что-то вроде религиозной гносеологии, философское оправдание веры, в центре будет учение о Логосе. Это будет продолжением дела Вл. Соловьева, который мне близок тем, что был мистическим рационалистом, признавал высшую разумность веры. Верю, что работая над этой проблемой, я послужу своему Богу, исполню свой жизненный долг. Я никогда не противопоставлял «философию» и Бога, как у Вас это было с «искусством», подобный антагонизм мне не был дан в опыте. «Бог» сталкивался в моем опыте с «общественностью», на этой почве у меня серьезная драма, но философия всегда переживалась, именно переживалась мною как нечто от Бога и во имя Бога, как самое божественное и

благородное дело. Я безгранично страстно, кровно люблю *философию*, не как науку, а как *искусство*, как мудрость жизни, как созерцание Бога. В этом отношении во мне живет частица античного греческого духа. В нашу эпоху никто уже не верит в метафизику, никто ее не любит, я один только верю и люблю, знаю на опыте экстаз метафизического созерцания. В этом я окружен врагами, все против меня: позитивисты и материалисты, идеалисты и критицисты, мистики и богословы, люди старого и нового религиозного сознания, ученые и академические философы. «Общественность» и моральная с ней связь помешали мне стать настоящим метафизиком, но я все же был и есть и буду метафизиком, не в профессиональном, а в жизненном значении этого слова, по устройству клеток своего существа. И всегда будет меня соблазнять идеал высшей мудрости, божественного созерцания, теософия, гнозис. Принимайте меня с таким моим мясом и костями или отвергайте окончательно! Почему же это я вас должен принять, а не вы меня, почему это для меня плохо, если я против вас, а не для вас? Я не понимаю, почему *вы* смотрите на себя, как на путь спасения для меня и для других людей новой религиозной жажды? Вы можете иметь для меня огромное значение, много мне давать, но мое окончательное спасение не зависит даже от факта вашего существования или несуществования в мире. Я начинаю думать, что мы очень различно относимся к «соборности», что у нас «идейное» в этой области разногласие. Прочел я статью З.Н. о сборнике «Вопросы религии», напечатанную к сожалению в декадентских и никем не читаемых «Весах»⁹. Статья умная, едкая, почти со всеми мыслями я согласен, но прежде всего статья эта произвела на меня впечатление «мышления», «литературы», умственной схемы. З.Н. противопоставляет антиобщественной религии Булгакова свою общественную религию, но ведь я знаю, что Булгаков общественник до мозга костей, а З.Н. никогда никакого отношения к общественности не имела, что Булгаков любит мир и живет в мире, а З.Н. испытывает монашеское отвращение к миру. Для З.Н. общественность исчерпывается ее отношениями с Д.С. и Вами, но отношения эти не есть общественность, такой путь создания общественности я считаю роковым заблуждением, это путь к новому монастырю, я идейно отвергаю такое понимание соборности, мышлением своим не принимаю. Мои религиозные идеи таковы, что они не только дают мне право, но и обязывают меня дышать свежим воздухом мировой жизни, мое религиозное «сознание» соответствует в «жизни» моему *ощущению божественного* в мире, в природе, в культуре, т.е. в философии, искусстве и пр., в людях, даже в деревенской бабе. Я на опыте, в перво-

основах моего существа ощутил любовь к *органическому*, отвращение к механическому и разрушительному, в этом я близок к реакционерам начала XIX века, хотя и не реакционер, хотя и остаюсь революционером в истинном смысле этого слова. В вас я не чувствую мистики органического и это всего более меня огорчает, вы не целуете мокрых листьев на родной земле, не ощущаете мистического величия столетнего дуба. Более всего меня поражает, что Вы готовы защищать народовластие от моих нападений, что Вы поддаетесь до такой степени построениям «товарищей», что готовы выступать в качестве «трудовика». Статью Вашу обо мне в «Товарище»¹⁰ я прочел с горьким чувством. Я надеялся, что хоть Вы скажете что-нибудь о моей книге по существу, но Вы написали статью так, как мог бы ее написать Водовозов¹¹ или любой трудовик, слишком для «Товарища» и «по-товарищески». В статье Вашей я увидел такое же неуважение к исканиям, к мысли, к идеям, к работе сознания, как и у всей нашей радикальной интеллигенции, такая же *утилитарная* оценка, такое же требование, чтобы книга превратилась немедленно в насущный хлеб, как у любого социал-демократа. То, что есть в Вашей статье истинного, в «Товарище» пропадает и читателям непонятно. Видно только, что Вы мне предлагаете заняться делом, приносить людям существенную пользу, вместо того, чтобы взбираться на метафизические высоты, писать философские книги, решать мировые вопросы. Но все это я уже тысячу раз слышал от всякого рода «товарищей», читал на страницах «Образования»¹² и тому подобных органов. Вы тут являетесь типичным русским «интеллигентом», с большой совестью, с морализмом, с бесом утилитаризма. Мне давно уже говорили товарищи социал-демократы, что лучше бы я писал прокламации, чем философские книги, лучше бы «работал» в кружках, чем бился над решением «проклятых вопросов». Вы мне тоже предлагаете писать «прокламации» и «работать» в кружках, но во имя другой, не социал-демократической религии. Я Вас спрашиваю, признаете ли Вы, что можно делать научные открытия в области электричества и пара, а можно строить пароходы, железные дороги и телеграфы, что это разные функции и каждая из них имеет свое назначение? Обязан ли я, сделав открытие, непременно сам же устроить телеграф? Вы договорились до того, что признали «сознание» великим врагом «действия». У Вас обращается на религиозную почву та психология, которая была у русских интеллигентов 70-х годов на революционной почве. Вы можете по этой дорожке дойти до того, что [будете] отрицать книги, знание и пр., как это и делали «интеллигенты» 70-х — Ткачев и др. Религиозное мракобесие родственно мракобесию революционно-

му и так же ужасно. Сектанты, которые ждали скорого наступления тысячелетнего царства, так же легко впадали в мракобесие, как и социальные революционеры, ожидающие быстрого наступления своего «царства». Я верю, что всемирная история закончится тысячелетним царством Христа на земле, но мы еще не вступили в хилиастическую эпоху, к ней должен вести еще сложный и мучительный процесс истории, со всем многообразием культуры, с разделением труда в области светского мирового дела. Процесс чудесный, сверхисторический начнется по апокалиптическим пророчествам с первого воскресения, после которого наступит эпоха хилиастическая, тогда жизнь внутри теократии будет сплошным чудом, отменой злого порядка природы. До этого мы обречены жить в природном порядке, с естественным разделением всего на части, хотя религиозное возрождение мира и приведет к органическому подчинению всех частей религиозному центру. Вымогательство же чуда у Бога до исполнения времен и сроков, сегодня, для меня, представляется мне нечестивым и демоническим. У нас как будто бы обнаруживается то идейное разногласие, что для вас «история» кончилась, для меня же она на полном ходу, для вас светская культура уже не нужна, все уже сделала, для меня она очень нужна и многого еще можно от нее ждать, для вас чудеса должны начаться с сегодняшнего дня, для меня мир не подготовлен еще к этому периоду чудес. Я не верю, что рыба, которую мы будем есть, изменит свой материальный состав, как в это верит З.Н., я считаю соблазном саму потребность в такой вере. Новое откровение не от нас пойдет, не от чуда, в нашем доме совершившегося, это недопустимое самомнение, откровение невидимое органически зачинается в космосе, материалы его накапливаются в мировой душе, в человечестве, которое спасется только соборным процессом истории. В статье Вы упрекаете меня за то, что я говорю о «предчувствии», этим де не удовлетворишь. Опять утилитаризм, опять отсутствие психологической оценки. Что же делать, если все мысли у меня только предчувствие, во многом я только предтеча? Что же Вы даете современному человеку, что вы советуете делать обращающемуся к Вам ученику, чем *ваши* писания более действенны? * Жду на это ответа. Вы говорите, что у вас не эзотеризм, а целомудрие. Но я как раз думаю, что вы очень много говорите о том, что близки

* Вы напрасно упрекаете меня за то, что рекомендую старые эмпирические средства. Я вполне сознательно защищаю ту мысль, что в нейтральной социальной среде должны применяться эмпирические средства, что вопрос о положении рабочих должен решаться экономически, а не только мистически. Я считаю себя сторонником самого обыкновенного эволюционно-реформаторского социума.

к тайне и таинству, намекаете постоянно на что-то, известное только вам, но никаких реальных путей сообщения с людьми даже наиболее близкими, не устанавливаете. Вы же должны сделать так, чтобы я принял не вас, а вашу тайну, вы не единственный путь к тайне. Говоря об эзотеризме, я хотел только сказать, что никогда не следует делать намеков, так как это и есть афиширование. В этом отношении *вы* были в Петербурге очень нецеломудренны (менее всего это относится к Вам лично), да и в литературе вот я не вижу особенного целомудрия. Вы неверно поняли, что я хотел сказать, когда говорил, что пишу как «птица поет». Этим я хотел только сказать, что непосредственно живу в своих писаниях, что у меня нет надуманности и «литературности», что потребность писать во мне стихийна*, что я органически верю в истину того, о чем пишу. Мне кажется, что я стихийно сообщаю о своем нахождении истины и что это всегда хорошо с точки зрения божественных целей мира. Я вероятно очень плохой «литератор», так как всего менее забочусь о литературности своих писаний, и что Вы признали «литературой» мою книгу, почти автобиографию, почти дневник, написанный соком моих нервов, это мне больно. Я писал только о том, что было фактом моей жизни. В письме моем я произнес дурные слова о страдании, сказал их из духа противоречия, но есть в них и доля истины. Меня возмущает современная рисовка страданием, самолюбование на этой почве, требование всякого ничтожества, чтоб его уважали за то только, что он страдает. Мне противна эта мания трагизма, это раздувание самого мелкого переживания до размеров трагедии, это превращение трагического страдания в наряд, в обязанность. Дорогой Дмитрий Владимирович, я много страдал в жизни, не потому, что имею склонность страдать, что создан для возвышенного страдания, а потому, что жизнь моя складывалась объективно трагично, что мне были посланы большие испытания в жизни. В моей жизни было так много трагического, что многие согнулись бы окончательно под этой тяжестью. У меня был друг, единственный почти друг, который умер в Сибири, он говорил часто, что не понимает, как можно вынести тот ужас, который я вынес, его изумляли мои душевные силы. Я почти никогда и ни с кем не говорил об этом, так как считаю доблестью выносить страдание с усмешкой, считаю стыдным для себя не только преувеличивать свое страдание, но и обнаружить его действительную тяжесть. Я всегда полагал честь свою в том, чтобы над всяким

* «Стихийность» я не противопологаю началу «личности», т.к. ощущение личности во мне основное, напряженное до крайности.

страданием возвыситься, объективно самую страшную для меня трагедию преодолеть, никогда не допускать себя до безысходности, которую всегда считал слабостью и недостатком веры в живущего во мне Бога. У меня теперь образовалось интимное отношение к Христу, Он уже стал *моим*, но никогда я не признаю, что божественное величие Христа в том, что Он страдал, что сущность Христа — в Голгофе. Если бы я видел в Христе лишь героизм его страдания, то я бы поставил выше Его какого-нибудь античного мудреца, циника, стойка или эпикурейца. Но Христос *победил* страдание, уничтожил корень его в мировой жизни, и потому Он — Бог. Этого не в силах был сделать ни один мудрец мира. Мы страдаем не потому, что страдание возвышенно, что Бог заповедал нам страдать, что это наш долг, а потому, что мир объективно трагичен, испорчен, что страдание есть факт бытия (не норма). Задача же всегда в том, чтобы преодолеть трагизм, освободиться от страдания, мужественно его перенести. Религиозного садизма я терпеть не могу, не верю в жестокого Бога и вижу религиозную жизнь только в благодати. Я не о Нувелевской радости жизни говорю, это Вы должны понимать. Мещанское довольство и прекраснотушие мне глубоко чуждо и ненавистно и в моей жизни нет мещанских радостей, но если во мне есть ростки религиозной жизни, то они благодатны, дают мне мужественную силу преодолевать страдание, объективно мне данное, а не выдуманное мною, побеждать трагизм жизни. Я верю, верю, верю в радостный смысл жизни, в окончательную победу над всяким злом. Булгаков знает, что я верю в Христа, на почве этой веры у нас даже есть некоторый минимум религиозного общения. А главное: не считайте себя спасителями, не спасайте так рьяно, это ведь дух Инквизитора. Простите за утомительно огромное письмо, им я хотел все высказать. Жду с нетерпением от Вас ответа.

Любящий Вас

Ник. Бердяев

P.S. Я прочел Ваше письмо Лидии Юдифовне, она увидела в письме ту правду, которую она постоянно мне говорит и я ей говорю, но лишь отчасти.

[вписано на первой странице сверху — под датой:]

[P.]P.S. Многое из того, что я написал, относится не к Вам лично, а к *вам*, как целому.

¹ Со значительными ошибками, искажениями и нерасшифрованными местами опубликовано в *РУССКОМ АЛЬМАНАХЕ*. П., 1981, с.255-267.

² *НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ*. 1-я и 3-я главы публиковались в «Вопросах философии и психологии», соответственно — 1906, №85, с.508-545 и 1907, №86, с.1-36; гл. 5-я — в «Русской мысли», январь 1907, №1, с.26-45. Введение к кн. («Мистика и религия») Б. посылал Мережковским и Философову в Париж.

³ Лидия Юдифовна Рапп (1889-1945) — с 1904 жена Б.

⁴ «О новом религиозном сознании. (Д.Мережковский)». — «Вопросы жизни», 1905, №9, с.147-188.

⁵ «Товарищ», ежедневная общедоступная газета; с №26 — политическая, литературная и экономическая газета. СПб., 1906-1907. Орган трудовиков, редактировавшийся В.Н. Гординым, а затем В.В. Португаловым. Философов активно сотрудничал в ней (см. его статьи: «Дела и дни. По поводу книги Эльцбахера», «Класс и партия», «Сердце женщины», «Голос мирян», «Амьен» — в пяти выпусках газеты, «Бунтующие институтки», «Правда истории», «Русские в Париже», «На распутьи» и др.).

⁶ Зиновьева-Аннибал Л.Д. *ТРИДЦАТЬ ТРИ УРОДА*. Повесть. Пб., «Оры», 1907.

Кузмин М.А. *КРЫЛЬЯ*. Повесть в 3-х частях. М., «Скорпион», 1907.

⁷ Имеется в виду период сотрудничества Бердяева и Булгакова с Мережковскими и Философовым в журн. «Новый путь» и «Вопросы жизни» в 1904-1905 гг., когда взгляды Мережковского резко эволюировали влево.

⁸ «Московский еженедельник», 1906, №20, с.31-39.

⁹ З.Гиппиус. «Без мира. (Сборники *Свободная совесть* и *Вопросы религии*)». — «Весы», М., 1906-1907, №1, с.57-65.

¹⁰ Речь идет о статье Философова «На распутьи» («Товарищ», №244 от 17.04.1907, с.3), посвященной книге Б. *SUB SPECIE AETERNITATIS*, где он, в частности, писал: «Выключенная из жизни, не связанная с нею, идея бердяевской "соборности" становится каким-то химическим препаратом, предметом глубоких размышлений, интересных споров и разговоров, но не рычагом для действия. Бердяеву следует задуматься над той опасностью, которая ему грозит: стать анархизирующим кабинетным мыслителем /.../».

¹¹ Водовозов Василий Васильевич (1864-1933), публицист, участник Союза Освобождения, а впоследствии — Трудовой группы (чл. ЦК трудовиков). Сотрудничал в изданиях демократического направления.

¹² «Образование» — журнал, выходивший в 1901-1902 как «педагогический и научно-популярный», с 1902 — еще и как «литературный», а с 1906 — как «литературный и общественно-политический». Гиппиус и Философов в нем сотрудничали.

Париж, 15-18 марта 1908 г.

Пишу Вам, Дмитрий Владимирович, с болью в сердце, но твердо решил быть как можно откровеннее и искреннее. Вчерашний вечер оставил в моей душе неизгладимо тяжелое впечатление и почти решил вопрос о наших отношениях, не с Вами только лично, а с вашим коллективом. Последствия таких фактов, как вчерашние, не устраняются легко при помощи *carte pneumatique*, так как в подобных фактах затрагивается самое святое святых. Я в первый раз за всю свою жизнь встречаюсь с таким надругательством над тем, что для меня священно, никогда и ни в ком я не встречал такой грубости, такого неуважения к личности и такого безнадежного непонимания, какое встретил в Вас и Дм[итрии] Серг[еевиче], своих единоверцах и единомышленниках. Я сделал огромное усилие воли, чтобы сдержать свой вспылчивый темперамент и вынести все оскорбления без окончательного скандала. «Соборность» вчера вечером была, но не у нас с вами, была «соборная» травля против меня, против интимнейших сторон моей личности, которые я не оголял и никому не давал права оголять. Предоставляю судить Вашей совести, кто из нас был более целомудрен. Мне всегда казалось, что минимум уважения к личности и ее интимным переживаниям обязателен и в среде «единоверцев». Грешу этим родом морального консерватизма. Ваше поведение было грубым хулиганством, поведение же Д.С. было не менее грубым юродством. Вы сказали мне самые ужасные слова, какие только можно сказать человеку, Вы крикнули, что я предаю Христа, крикнули злобно и нехорошо. Личные оскорбления я не только могу, но и должен прощать, и я верю, что во мне не останется дурного личного чувства по отношению к Вам. Но я не знаю, простится ли тот соблазн для малых сих, который был создан Вами и Д.С. в спорах против меня. Думаю, что у всех осталось впечатление отвратительное, у многих зародилось подозрение в подлинности нашей веры, и ни для кого ничто не прояснилось. Вы начали публично сводить со мною счеты, счеты ни для кого непонятные и неинтересные, вынесли на улицу то, что очень интимно, должно совершаться внутри и стыдливо охраняться. Не думаю, чтобы этим Вы и Дм. Серг. проявили большую любовь к тем окружавшим нас людям, в недостатке любви к которым Вы упрекнули меня. Вы стали на дороге между мною и всеми этими людьми и помешали нашему общению, не дали мне возможности подойти к ним. Если бы вас не было или вы иначе себя держали, я бы мог хоть что-

нибудь да дать, хоть что-нибудь да разъяснить. Я пробовал подходить к человеческим душам, пробовал заронить семя, пролить свет и не встречал непроходимой пропасти. Вы все делаете, чтобы эту пропасть создать, делаете и в жизни, и в литературе. Это плохое начало соборности. Вы не помогаете мне соединиться с людьми, а активно мешаете этому соединению. Вы незаметно прославляете меня и реакционером, и неверующим, всячески отнимаете у меня право и писать и говорить. Я отказываюсь тут видеть любовь ко мне и любовь к нашему общему делу. Если вы хотите педагогически воздействовать на меня, поправить заблудшую овцу, то выбираете плохой метод и достигаете прямо противоположного. Но я хочу вам всем задать один основной вопрос, с которым и связаны все наши отношения и все между нами недопонимания. Кто *вам* дал право говорить так, как вы говорите, обличать, поучать, отлучать и т.п.? *Что* вам дает право признавать за собою те религиозные преимущества, в силу которых вы все можете, а я ничего не могу, вы действенны, а я бездействен? Почему Дм. Серг. имеет право упоминать имя Христа через каждые два слова, а я совсем не могу упоминать? Поймите, и поймите это окончательно, что каждый из вас для меня такой же отдельный человек, как Грузинская¹, Карташев, Булгаков, Эрн², Свенцицкий³, Трубецкой⁴ и др., и всех вас я расцениваю по личному влечению, по сходству идей, по близости наших человеческих стремлений к божескому. Я знаю З.Н., Д.С., Д.В., знаю наши общие религиозные стремления и чаяния, но не знаю *вашего коллектива*, не вижу вашей соборной личности. Вы много мне дали и даете, но коллектив ваш для меня не является авторитетом. Я не верю, чтобы приобрел право исповедовать Христа, право на гнозис, право писать и говорить, лишь войдя в ваш коллектив. Я не принадлежу к «ереси Мережковских» и не знаю даже настоящим образом, в чем эта «ересь» заключается, хотя очень ценю Мережковского, признаю за ним большие заслуги в постановке религиозных тем и многим ему обязан в религиозном развитии. *Моему религиозному чувству и моему религиозному сознанию чужда и непонятна ваша идея церковности и ваш путь к ней представляется мне ошибочным, сектантским, слишком человеческим.* Человеческий произвол в вопросе о Церкви для меня хуже одиночества, всякий намек на возможность человеческого властолюбия и человеческого самоутверждения в религии вызывает во мне живой протест. Я не могу подчиниться *вашему* коллективу и *нашему* коллективу, потому что это коллектив слишком человеческий и не утоляющий моей жажды видимой церкви. В глубине своего существа я чувствую себя принадлежащим к подлинной Церкви Христовой, я мо-

люсь со всеми святыми христианскими и со всеми подлинно верующими во Христа, в первооснове своей я отрекаюсь от своего я во имя Христа и в одной какой-то точке я не только христианин, но и православный. Иногда мне кажется, что вы стремитесь к новой религии, я же стремлюсь к осуществлению старой христианской религии, к полноте Православия, вместившего все пророческие чаяния. Вот уже целый год меня мучит вопрос о том, не лежит ли верный путь к Вселенской Церкви через святость православия. В решении этого основного вопроса моей жизни я ждал вашей помощи, мне необходимо было проверить себя через вас, присмотреться к вашему решению. Парижское общение с вами было для меня хотя и очень важным и поучительным, но почти сплошь мучительным и тяжелым. Я сразу почувствовал, что мы идем разными путями и что в наши отношения вкрадываются недоразумения, взаимное непонимание и почти фальшь. Что может появиться и злоба — это я с ужасом заметил только вчера вечером. Я мало чувствую в вас Христа, вы мало чувствуете Христа во мне, — в этом корень всех наших препирательств, подозрений, отчуждения и т.п. Быть может мы разно чувствуем Христа, быть может ощущение Христа всегда индивидуально и в своей индивидуальности не противоречит церковности. Ваша идея церковности представляется мне более деспотической, чем католическая, личность в ней может задохнуться, все должно по этой идее подчиняться единообразной волюнтаристской норме. А мне неприятен, почти противен утилитарный волюнтаризм в религии. Вам нужны практические деятели новой церковности, волевые натуры, действенные революционеры. Я не подходящий человек с вашей утилитарно-религиозной точки зрения. Что делать, у меня натура созерцательная, я мыслитель по призванию и складу, могу принадлежать к божественной Церкви, но не могу создавать церкви своими человеческими усилиями. Быть может есть во мне несколько капель крови восточного монаха. Вы мне этого не простите, но быть может простит меня Бог, создавший мою индивидуальность. А необходимо религиозное уважение к индивидуальности, которого я не вижу в вашей идее церковности. Дм. Серг. мыслит всегда большими антитезами, для него нет индивидуальности, а есть лишь язычество или христианство, старая или новая церковь, Христос или Антихрист и т.д. Эта склонность к антитезам оказала вредное влияние на ваш путь церковности и в ней же коренится неуважение к живой личности. Это неуважение я всегда в вас видел, всегда им возмущался, но только теперь ощутил его на себе. Вы относитесь к личности так же, как относятся марксисты и старые революционеры, всегда в категории нужности и по-

лезности для «дела». Характерна была Ваша фраза, что вам нечего делать с Грузинской. Она ведь ваша сестра во Христе и ценность ее лица не меньшая, чем интересующегося религией социалиста-революционера. Ваш утилитаризм и волюнтаризм противен всему моему существу, самому дорогому для меня, против этого протестуют заветные мои мечты, заветные мысли. Десять лет я веду борьбу со всеми формами утилитаризма и встречаю его в месте близком от той святыни, к которой наконец пришел. Но и старая Церковь была уже загублена человеческим утилитаризмом. Революционная общественность вся отравлена ядом утилитаризма и гибнет. Вы же только и делаете, что занимаетесь *утилизацией* и потому ни к одной человеческой душе не можете относиться, как к безусловной ценности. Ваша воля так направлена на утилизацию человеческих сил, что вы перестали видеть звездное небо, теряете чувство вечности и космическое чувство природы. Мне очень чужд этот путь. Я не пантеист, но в лесу я больше чувствую Бога, чем в том безобразном человеческом лесу, в котором мы заблудились вчера. Общение с вами не усиляет моего общения с Богом, скорее ослабляет, в этом весь ужас. Ваша соборность не соединяет меня ни с Богом, ни с человечеством, и потому я не в силах ее почувствовать. Наше парижское общение привело к совсем неожиданному результату. Я глубже и сильнее, чем когда бы то ни было, почувствовал свою связь с Православной Церковью и внутреннюю неизбежность идти к новой, полной, Вселенской Церкви через приобщение к святости Православия. Все это нелегко дается, но в глубине моего существа зреет важное решение. Я не верю, не верю в возможность выдавить из себя новую церковность человеческими волевыми усилиями, и общение с вами окончательно утверждает меня в моей неверии. Богочеловечество явится иными путями. Вы скажете, что я колеблюсь между «вами» и Православной Церковью, но такое определение моего состояния будет с вашей стороны непозволительным самомнением и самоутверждением. Вы — люди и потому не можете быть сопоставляемы с Церковью. Для меня не существует выбора, т.к. с одной стороны *Церковь*, а с другой просто милые, а временами немилые *люди*. Церкви я могу подчиниться и хочу, людям — не могу и не хочу. Ваш путь церковности конкретно заключается в том, что каждый должен отдавать свое произведение на вашу человеческую цензуру и тогда выпускать его со спокойной совестью. В этом есть что-то кошмарное, вроде новой святой инквизиции. Церковь грезится мне как радость, а не как давящий кошмар. Когда я писал свою работу «о происхождении зла и смысле исто-

рии», я чувствовал себя внутренне принадлежащим к Церкви Христовой и от Нее получившим откровение. Я писал философскую аналогию христианства — истины религиозно мне данной, религиозно мной пережитой. Я сам очень ярко пережил боготорчество и всем существом своим постиг его тщету и пустоту. Я имею внутреннее право говорить о зле с религиозной точки зрения, и Дм. Серг. не имеет никакого права говорить о том, что я не выстрадал этой проблемы. Он плохо знает мою жизнь, не видел моих мук, которые я не люблю выставлять напоказ, и потому так грубо и неделикатно говорит, что я зла не пережил. Во мне нет ни городского, ни хулиганского обнажения души, поэтому не так легко увидеть, что я был на краю гибели от сил зла. Но писать «о происхождении зла» дает мне право не только выстраданная мною вера, право это дает мне соборный разум и соборная совесть человечества. Вы отнеслись с поразительным непониманием и поразительным незнанием ко всему тому, что я говорил о сверхличном разуме. В мире есть естественное откровение сверхличного разума и сверхличной совести. Вы это отрицаете, потому что вы бывшие декаденты и декадентство до сих пор еще не вполне преодолели. Декадентство и было отвержением сверхличных норм разума и совести. Я бывший идеалист и впитал в свою плоть и кровь эти сверхличные нормы. Сверхличный разум раскрывается не только в Церкви, но и в мире, в мире было откровение божественного Разума, в истории человеческого самосознания, в истории философии. Для меня история «хорошей» философии и есть планомерное раскрытие сверхличного Разума, естественное откровение Божества, внутренне тождественное с сверхъестественным откровением, данным в религии. От Платона и Филона, от Оригена и Скотта Эригена⁵ до Гегеля, Шеллинга и русских философов тянется одна нить, раскрывается истина не малого эвклидоваго разума, а большого сверхличного Разума. Раскрывающийся в мире, в истории философии сверхличный разум окажется церковным в последнем пределе мировой истории. Я лучше вас знаю «критику познания», пережил «критицизм» и вижу все его слабые места, все его провалы. Вы интересуетесь Бергсонами, Джемсами и т.п., но упорно не хотите поговорить со мною о философии, присмотреться к моему философскому оправданию веры, к моей критике «критики познания». Это невнимание представляется мне почти обидным. Я многое мог бы сказать, если бы меня слушали с желанием понять. В скандальный вечер для меня выяснилось, что вы ничего не понимаете в философии, понимаете не больше, чем товарищ Дмитрий. Метафизически — богословские споры с вами для меня почти неинтересны, т.к. по со-

вести я не могу считать вас компетентными в этом деле судьями. Вам нужно долго *разъяснить*, что я хочу сказать, но для этого должно быть желание вопрошать без злобы и слушать со вниманием. В том, что я говорю, нет никакого самомнения, это прежде всего констатирование различия наших специальностей, нашей подготовки, нашего умственного склада. Дм. Серг. может быть в тысячу раз талантливее меня, сильнее меня в религиозной эстетике, но он в тысячу раз меньше меня знает и понимает в философии и даже в богословии. Нужно признавать различие индивидуальностей и учиться друг у друга. Поймите, что религиозно-философское посвящение для меня один из путей к Вселенской Церкви, оно рассеивает мрак и готовит сознание к принятию веры. Тут мы очевидно идейно расходимся. Вы сходитесь с А.Белым, т.к. вас связывает общее декадентское прошлое, общая специальность (искусство, художества), общая мистико-анархическая складка души. Я человек иного прошлого, иной специальности, иной породы. Со мной вам невыгодно соединяться. Я всегда буду вас тянуть «вправо», как в религиозном, так и в общественном отношении, да и в моральном, т.к. я противник всякого хулиганства и юродствующего самообнажения. В мире, вне видимой церкви, я знаю сверхличные нормы разума и совести и осуждаю хаотическое безделье и бессовестность. Я не могу согласиться с Чулковским критерием, что нужно принять самое крайнее, самое предельное в общественности. Ваша склонность к революционному максимализму представляется мне пережитком декадентства. В общественности нужно принять и оправдать не самое крайнее и предельное, а самое разумное (не в религиозном смысле) и доброе. Я не согласен с тем, что чем хуже, тем лучше, что пусть наступит хаос, чтобы в нем родилось что-то новое. Это оргиазм, в который я не верю и которого не люблю. Необходимо излечить русскую интеллигенцию от кровавого бреда, а не подогревать его религиозно. Вы же пользуетесь апокалиптическими пророчествами для подогревания кровавого бреда. Вам все мерещатся ужасы, катастрофы, фейерверки, жертвы, потоки крови и т.п. От этой чертовщины нужно религиозно отрезвиться и отрезвить других. Скажу Вам прямо: я презираю духовную буржуазность кадетов, но уважаю в некоторых из них моральное чувство ответственности за родину, и тактика кадетизма представляется мне меньшим злом, чем тактика максимализма. Нейтральный гуманизм оправдывается мирской сверхличной совестью и сверхличным разумом, а внерелигиозный максимализм есть безумие и безнравственность. Нормы для оценок существуют и вне той Вселенской Церкви, которая еще не выявилась ни для кого из нас, и я не

знаю, почему вы отказываетесь применять эти нормы к жизни. Заявление Дм. Серг. и Ваше, что мы ничего не знаем и знать не смеем, звучит для меня или фальшью или мистико-анархическим построением. Мы многого еще не знаем, лишь предчувствуем и ждем, но многое знаем, стоим на твердой, а не зыбкой почве, и только потому и двигаемся вперед. Если Дм. Серг. ничего не знает о зле, то я не понимаю, чем он отличается от любого мистического анархиста или товарища Дмитрия. Я многое знаю и получил свое знание от своих религиозных и философских предков, которых чту и наследие которых охраняю. Я продолжаю дело старой, великой религии и старой, великой философии, и сказать, что я ничего не знаю об основных вопросах бытия, было бы для меня равносильно предательству и неуважению к завещанной мне истине и святыне. Абсолютные основы для меня даны в начале, а не в конце, эти основы делают возможным процесс развития. Сказать, что гнозис возможен лишь в той Вселенской Церкви, которая станет видимой в конце мира, значит отрицать историю, отрицать возможность всякого движения. Это граничит с мистическим мракобесием. Я не могу и не хочу бросаться в бездну хаоса и тьмы с надеждой, что в ней блеснет свет, я хочу идти туда уже со светом. Принять Христа значит утверждать очень многое, это уже гнозис, уже решение проблемы зла. Я органический догматик, догматик по складу ума и складу природы, самые страшные сомнения в моей жизни всегда принимали у меня догматическую окраску, форму утверждения, а не простых отрицаний. Мне совершенно чужда скептическая складка, трудно найти человека, который бы так мало сомневался, как я, фанатическая, абсолютная вера соединяется во мне с созерцательной, мало активной природой. Я сомневаюсь в себе, в своей воле и чувствах, но никогда не сомневаюсь в абсолютной истине. Я пережил мучительное раздвоение воли и чувств, но никогда уже не сомневаюсь в том, что моему сознанию дана истина. Без догмата я не могу жить, не могу двигаться, не могу дышать, и я все переживаю догматически, с фанатическим утверждением истины. В этом я быть может очень не современный человек, не модернист, человек старого устройства, но ничего уж тут не поделаешь. Вы люди очень современные, или принимайте меня таким, каков я есть, или отвергайте. Боюсь, что вы не принимаете не грехов моих, не слабостей моих, которых и не нужно принимать, а самой моей метафизической природы. С другой стороны, мне многое трудно принять в вашей природе, в ваших индивидуальностях, ко многому я отношусь с нетерпимостью, не личной, а догматической. Когда по приезде в Париж я увидел ваше соединение с революцией и многое

другое, я потерял ясное чувство того, к какой религии вы идете, и моя догматическая кровь бросилась мне в голову. Вы стоите на ложном пути и я чувствую себя бессильным помочь вам. Вы же мне помогаете, но совсем в обратном смысле. Я чувствую, что соц[иалисты]-револ[юционеры] не верят в Христа, но интернационализм вам сейчас ближе, чем я, это факт, который не следует скрывать. Вам он и ему подобное нужнее. Не знаю, как вам, но мне очень тяжело становится, и чувствую потребность разрешения. Отвратительный вечер, послуживший поводом к этому письму, многое разрешил, что-то надломилось в наших отношениях и боюсь, что бесповоротно. И не потому, что я так уж сильно обиделся на вас, я не склонен к личным историям и мещанским ссорам. Страшно то, что я почувствовал пропасть между нами, ощутил вас чужими и далекими. То, что произошло в этот вечер, не имеет никакого отношения к З.Н. К ней лично я отношусь так же любовно, как относился всегда, но порвалась какая-то связка с вашим коллективом. Считаю своим долгом сказать это вам как можно искреннее и откровеннее. Простите, что утруждаю вас целым сочинением, но нужно было сказать как можно более, высказать все, что накопилось, и в письме это удобнее сделать, чем в личной беседе. Письмо адресую Вам, Дм. В.⁶, но покажите его Д.С. и З.Н. Устраивать новое собеседование мне не хочется, уверен, что наши с вами недоразумения станут между мной и другими и помешают мне говорить. Да и уверен, что в Вас опять же вселится бес. Всенародное же покаяние после всенародного скандала всегда производит впечатление чего-то неестественного и безвкусного. Все равно никто не поверит, что единоверцев соединяет братская любовь. В воскресенье вечером очень хотел бы у вас быть, но вероятно не буду, так как мне неприятно будет сейчас видеть вас на чужих людях. Простите, если в конце наших споров я тоже был резок и раздражался, если в письме этом сказал что-нибудь несправедливое и дурное.

Ник. Бердяев.

¹ Лицо не установленное, по-видимому, одна из посетительниц салона Мережковских в Париже.

² Эрн Владимир Францевич (1882-1917), философ, профессор Московского ун-та, один из участников «Христианского братства борьбы», активный деятель Московского РФО.

³ Свенцицкий (Свентицкий) Валентин Павлович (1879-1931), философ, публицист, основатель «Христианского Братства Борьбы», участник Мо-

сковского РФО, откуда исключен в 1908. После революции рукоположен в священники.

⁴ Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920) — философ, профессор философии права в Московском ун-те, редактировал журн. «Московский еженедельник», активный участник РФО, издательства «Путь».

⁵ Эригена Иоанн Скот — религиозный философ IX в. ирландского происхождения. Жил в Галлии, в конце жизни переселился в Англию. Пытался пересмотреть восточную христианскую мысль на основе богословских принципов августиновской традиции. Находился под влиянием идей Оригена. Учил, что Божественное предопределение состояло в создании человека со свободной волей, и единственный источник зла в мире — злоупотребление человеком этой свободой. Учение Э. было осуждено на соборах в Валансе (855 г.) и Лангере (859 г.).

⁶ В оригинале явная описка: «Дм.М.».

Андрей Белый
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РУССКИХ ФИЛОСОФАХ

Публикация Дж.Мальмстада

В предисловии к публикации «Материала к биографии (интимного)» Андрея Белого («Андрей Белый и Антропософия», начало в 6-м выпуске «Минувшего», продолжение в 8-м, окончание — в настоящем томе) коротко излагалась сложная история написания и опубликования мемуарных работ Белого 1920-1930-х годов. На одном из этапов этой работы я останвлюсь здесь подробнее.

Идея превратить свои воспоминания о Блоке, публиковавшиеся в четырех выпусках «Эпопей», в трехтомные воспоминания об эпохе символизма вообще возникла у Белого, когда он жил в Берлине в 1922. Так появилась «берлинская редакция», получившая, по предложению Нины Берберовой, название «Начало века». По свидетельству Клавдии Николаевны Бугаевой, вдовы писателя, Белый начал переработку «эпопейной» редакции «Воспоминаний о А.А. Блоке» в первый том «Начала века» в Берлине, в декабре 1922 г. (см. ее «Летопись жизни и творчества А.Белого», ГПБ, ф.60, №107). Он завершил первый том в январе 1923, а в феврале приступил к работе над вторым, оконченным в марте. В апреле Белый, по его же словам, «нацарапал» начало третьего тома и в мае, в Зарау (Saarow), уже читал отрывки написанного Горькому, Ходасевичу, Берберовой и Шкловскому. В конце месяца он едет в Гарцбург, небольшой курорт на юго-западе от Берлина, где в течение июня разом кончает почти весь третий том «Начала века». Так были написаны первые три тома воспоминаний.

9 июля в Берлине он подписал договор с издательством «Эпоха» на публикацию «Начала века» в четырех томах, объемом в сто печатных листов. Издание так и не осуществилось. Хотя рукопись, по свидетельству Ходасевича, была набрана, целиком в печати она не появилась, так как издательство прекратило существование. Фрагменты из этой рукописи были прочитаны автором в Берлине (одно из чтений состоялось в сентябре 1923 г., в берлинском клубе писателей, где Белый читал главку «Арбат»)

и появились как в советской России («Арбат» был напечатан в «России», 1924, №1 [10]), так и в эмигрантской прессе («Отклики прежней Москвы» — «Современные записки», 1924, кн. XVI, «Арбат» — там же, кн. XVII)¹. Белый также опубликовал три «главки» из последней (десятой) главы третьего тома во втором выпуске журнала «Беседа». Что эти «главки» (1. Бельгия, 2. Переходное время, 3. У Штейнера) принадлежат корпусу «Начала века», подтверждается тем, что они совпадают с текстом единственных сохранившихся фрагментов берлинского «Начала века», находящихся в советских архивах (ЦГАЛИ, ГПБ) и озаглавленных в ГПБ «Начало века», том III, главы 1, 9, 10².

Здесь впервые публикуются другие отрывки из этого тома, выбранные мною по близости их к материалам настоящего выпуска «Минувшего».

Из первой главы третьего тома, содержащего 258 машинописных страниц (ГПБ, ф.60, №12) и датированного Белым (помета в конце машинописи) «Гарцбург. 23 года. 16 июня», — взяты два отрывка: «Центральная станция» (о Н.А. Бердяеве, частично опубликован в тексте «Отклики прежней Москвы», см. выше), и отрывок о С.Н. Булгакове. Они сопровождаются неопубликованными отрывками о двух религиозных философах из последней, «московской» редакции мемуаров, т.е. из книг «На рубеже двух столетий» (130), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934). Белый вынужден был прекратить работу над ними за месяц до смерти, 8 января 1934 г. (в конце его рукописи стоит помета рукой К.Н. Бугаевой: «2-го декабря 1933 — последний день, когда Б.Н. работал»). То, что он успел кончить, было опубликовано его вдовой в 1937 г. в «Литературном наследстве» №27-28, под названием «Воспоминания, том III, часть II (1910-1912)». Текст был подвергнут жесткой цензуре. Пропущенные части, касающиеся Бердяева и Булгакова, публикуются здесь впервые по рукописи, хранящейся в ГПБ, ф.60, №15. (В «Эпопее» и в «Начале века» они

¹ Главкам, опубликованным под названием «Отклики прежней Москвы» (датировано: Гарцбург. Май. 1923), соответствуют следующие фрагменты рукописи первой главы третьего тома *НАЧАЛА ВЕКА*, хранящейся в ГПБ, ф.60 (Белый), №12 (рукопись датирована: Гарцбург. 23 года. 16 июня): «Москва» — лл.168-171; «Литературно-художественный кружок» — лл.58-62; «П.Д. Боборыкин» — лл.63-65; «Н.А. Бердяев» — лл.187-191, 196-197; «М.О. Гершенсон» — лл.198-204, 206-208; «Переулки Пречистенки» — вероятно, лл.209-216, отсутствующие в моей копии рукописи. Опубликованные фрагменты, хотя и не во всем совпадают с текстом рукописи (Белый их ретушировал, сделал купюры при публикации в «Современные записки»), все же довольно близки к нему.

Главке «Арбат» соответствуют следующие места рукописи той же первой главы третьего тома: лл.3-27, 31-44 (текст опять же не вполне идентичен). Журнальная публикация сопровождалась заметкой: «Настоящий очерк представляет собою главу из книги воспоминаний Андрея Белого, подготовляемой к печати издательством "Эпоха"».

² Им соответствуют следующие фрагменты из рукописи десятой главы (ГПБ, ф.60, №14): «Бельгия» — лл.108-125; «Переходное время» — лл.126-132; «У Штейнера» — лл.158-168.

появляются в контексте описания зимы 1907-08 гг., а в «московской» редакции они даются в контексте описания ранней весны 1911 г.). Таким образом, мы имеем возможность заглянуть в «творческую лабораторию» Белого и проследить его работу на протяжении целого десятилетия, касающуюся описания одних и тех же лиц. Подробный анализ всех вариантов мемуарного текста Белого — дело будущего, но сопоставление этих трех отрывков показывает, что характер изменений нельзя целиком отнести к причинам «личным».

Из девятой главы третьего тома (ГПБ, ф.60, №13, датировано рукой Белого «Берлин 22 года, Гардбург 23 года. Июнь») можно было бы взять почти сто машинописных листов (лл.36-127), т.е. последние ее четыре «главки» — Минцлова, Опять Минцлова, Оскалилось!..., Башня — так как в них описано сближение Белого с теософами, его «встреча» (не просто «знакомство», ибо для Белого слово «встреча» всегда имело особое значение) с одной из самых странных фигур в истории серебряного века, Анной Рудольфовной Минцловой (она-то и стоит в центре повествования), возникновение так называемого «мистического треугольника» (Минцлова, Вяч. Иванов, Белый)¹, рыцарского (розенкрейцеровского) братства, издательства «Мусагет», и все возрастающий интерес Белого и близких ему людей (А.С. Петровский, Сизов, Ася Тургенева и т.д.) к учению и личности Рудольфа Штейнера. Все это очень суммарно изложено в «эпопейном» варианте его мемуаров (см. «Эпопея», №4, 1923, с.138-170) и очень сумбурно (по очевидным цензурным причинам) в книге «Между двух революций» (см., например, главку «Минцлова», с.355-362). Но по объему своему они превосходят журнальную публикацию, эти материалы лучше печатать отдельной книжкой. Точно так же из десятой главы третьего тома берлинской редакции (ГПБ, ф.60, №14), в центре которого стоит сближение Белого с Асей Тургеневой и с Рудольфом Штейнером (первая «подглавка» первой «главки», «У второго порога», — антропологический термин — называется «Поворот к встрече»: см. «Эпопея», №4, с.171-175), можно было бы взять отрывки, входящие в состав последней ее части (лл.98-183, датированные Белым «1922-1923 г. Декабрь-Январь»): «Русские символисты» и «Базель - Фицнау - Штутгарт - Берлин». Листы 1-97 машинописи в значительной степени совпадают, хотя и не идентичны, со с.171-305 в №4 «Эпопеи» (машинопись этой части датирована Белым «Берлин 1922 г.», а журнальная публикация «Берлин 1922 г. Декабрь»). В «Эпопее» Белый обрывает повествование на свидании с Блоком в петербургском «ресторанчике» в начале 1912 г., за чем следуют две длинные главки с разбором блоковских стихов. В последней части, т.е. лл.98-183, берлинской редакции Белый продолжает свой рассказ: возвращение в Москву, «предотъездные» дни, отъезд вместе с Асей Тургеневой в Брюссель и окончательное «откровение», связанное со Штейнером. Именно из этой части Белый взял фрагменты для «Из воспоминаний» в

¹ См. обстоятельную статью Марии Карлсон, отчасти основанную на этих материалах, в кн. *CULTURA E MEMORIA. Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vjaceslav Ivanov, I: Testi in italiano, francese, inglese*, a cura di Fausto Malcovati (Firenze, 1989), с.63-79.

журнал «Беседа» (см. выше), хотя в журнальном тексте им сделаны купюры. В рукописи глава «Русские символисты» стоит между главами «Переходное время» и «У Штейнера», т.е. при журнальной публикации Белый пропустил эту очень центральную для понимания его литературной и философской позиции главу в пользу истории сближения со Штейнером. Он оканчивает свою историю «Базель - Фицнау - Штутгарт - Берлин» (главке предшествует «У Штейнера»).

Сведения о большинстве упоминаемых здесь лиц — см. в «Регистре» на с. 440-448 шестого тома «Минувшего». В настоящей публикации даются сведения только о лицах, в этом «регистре» не названных.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ¹

Приблизительно в это же время в мир мысли моей входит Н.А. Бердяев, переселившийся из Петербурга в Москву, передо мною встающий в этом именно круге, в котором привык я вращаться²; меня останавливает многострунная личность Бердяева, взявшего трепет эпохи в себя и все чаянья света, трагически потрясенная кризисом жизни, культуры, сознания, веры, расклеивающая с аподиктическим фанатизмом прегромкие ордонансы, энциклики интеллигенции русской; меня поразило в Бердяеве то, что он нас, символистов, вполне понимал (по писаньям его я не думал, что он так нам близок); блестящий мыслитель, прошедший отчетливо школу марксизма и лавивший в дебри критической мысли, владеющий Кантом, Когеном, Аллоисом Рилем, Г.Риккертом, Наторпом, в них не увязший, столкнувшийся с православием отцов Церкви и старцев, с воззрением католиков, Мережковского, переживавший Метерлинка, Ницше, поклонник Гюйсманса³, обозревал он огромное поле идей, направлений, сплетенье тенденций

¹ Из: *НАЧАЛО ВЕКА*, берлинская редакция, т. III, гл. 1, лл. 187-197; ГПБ, ф. 60, № 12).

² В этой части своих воспоминаний Белый описывает зиму 1907-1908 гг., когда он особенно сблизился с московским религиозно-философским Обществом. Бердяев переселился в Москву в начале 1908 г. См.: Н. Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*, 1983 (второе изд.), с. 181-185.

³ В 1910 г. Бердяев читал лекцию о религиозной «драме» Гюйсманса (Joris-Karl Huysmans, 1848-1907) в религиозно-философском Обществе Москвы и Петербурга. См. «Утонченная Фиваида (религиозная драма Дюрталь-Гюйсманса)» — «Русская Мысль», 1910, № 9; перепечатано как приложение в: Н. Бердяев. *ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ*, 1911. В *СМЫСЛЕ ТВОРЧЕСТВА* Бердяев пишет: «Я не знаю явления более благородного, внутренне более трагического и по-своему героического, чем писатели-католики Франции XIX века, католики совсем особые /.../ Я говорю о Барбе д'Оревиля, Э. Гелло, Вилье де Лиль-Адане, (см. след. стр.)

от Маркса до Штирнера, от иезуитов до Безант; ничто ему не было чуждым; он в поле идей себе выбрал утес догматизма, засел на утесе орлом; в нем сказались стежение многих тенденций, переработанных им; он казался не столько творцом мирозрения, сколько исправнейшим регулятором ряда воззрений, им стягиваемых в один узел с сознательной целью: отсюда прокладывать рельсы к грядущему; был он скорее начальник узловой, важной станции мирового сознания; воззренье Бердяева — станция, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей; разбирая идеи Бердяева, трудно порой отыскать в них Бердяева: это вот — Ницше, то — Баадер, то — Шеллинг, то — Штейнер; а это вот, ну разумеется, Соловьев, перекрещенный с Ницше; мировоззренье Бердяева, — только центральная станция; мимо платформы летят поезда с разных веток: Бердяев — заведующий движением станции, оригинален в порядках, которые он устанавливает в пропускании поездов иль в градации расположения элементов воззрений; акцент его мысли — несение государственных функций среди пестрого населения собственной мысли; отсюда ж его догматизм — волевой, беспощадный, слепой и насилующий совершенно сознательно спорящих в нем обитателей, чтоб не случилось свалки меж ними; он вынужден взять меч, иль жезл, чтоб нещадно бороться с наплывом народа (иль с элементами мировоззрений, ему где-то родственными, друг другу пречуждыми) — на центральную станцию сборища, именуемую «мировоззренье Бердяева»; тут, выходя из убежища, где заседает над планом скрещенных дорог, на платформу, где Макс Штирнер, Гюисманс, Мережковский, Владимир Сергеевич Соловьев, Маймонид, Ницше, Штейнер, Иоанн Богослов, Августин, Раймонд Луллий оспаривают свое право проезда в ближайшую очередь; вынужден стать государственным человеком он; и — ордонировать: «Подать поезд Владимиру Соловьеву»; и даже: хранить станционный порядок при помощи рослых жандармов, расставленных всюду; жандармы же те — произвол, установленный им в сочетании элементов воззрений; за произволом таится прозрение, интуитивное виденье «Я»; очень часто мне кажется, Н.А. Бердяев имеет виденья и откровенья в том, как ему поступать с пестрой смесью культурных своих устремлений; иначе в мгновенье ока растекся весь

Верлене, Гюисмансе, Леоне Блуа. /.../ Они были людьми нового духа, трепетавшего под реставрационными одеждами. /.../ В подлинном, благородном, аристократическом эстетизме была религиозная тоска. Тоска Гюисманса не утопилась "утонченной Фиваидой" эстетизма, — он proceeds от эстетизма к католической мистике, кончает монастырем и жизнью своей вскрывает религиозные глубины эстетизма» (второе изд., 1985, с.277, 281).

«б е р д я и з м»; опустела б центральная станция; всюду открылись бы лишь автономные области, явно вывалившиеся из бердяевских книг: здесь бы вече собрал политический эконо́м, там открыл бы Дивееву пустынь Святой Серафим, там бы Штейнер, явившийся из «Ф и л о с о ф и и С в о б о д ы» Бердяева объявил бы, пожалуй, что это совсем не «б е р д я е в с т в о», а Дорнах; виденья вшептывают Бердяеву непререкаемые откровения субординации и порядка; и он, исполняя веления, призывает жандармов; жандармы Бердяева — догматы, появившиеся не от логики вовсе, от воли Бердяева: строить вот эдак вот; воля же эта диктуется, вероятно, каким-нибудь даймоническим голосом.

Часто он кажется в книгах, на лекциях, в ярких своих фельетонах слепым, фанатичным, безжалостным; в личном общении он очень мягок, широк, понимающ; имевшие случай встречаться с Победоносцевым нам рисуют Победоносцева понимающим, тонким и даже терпимым; но государственный пост его сделал глухим и слепым; государственный пост философии Н.А. Бердяева (не иметь своей собственной мировоззрительной виллы, заведывать станцией, через которую проезжают столь многие путешественники, провозящие идейную собственность) вынуждает его регулировать сложность путей сообщения совершенно практическими императивами «Б ы т ь п о с е м у...» Его догматы, — это всегда лишь маневры и тактика: «Б ы т ь п о с е м у, д о... о т м е н ы б л и ж а й ш и м п р и к а з о м...» (приказами 900 годов отменен был марксизм, отменен был кантизм, отменен был Д.С. Мережковский; приказами же десятых годов: отменилась церковность сперва, и Бердяев боролся с Булгаковым, отменялся царизм, как потом революция отменилась и отменилось лучшее его сочиненье «С м ы с л т в о р ч е с т в а»¹. Нарушенье приказа всегда угрожает ужасною катастрофою в государственном департаменте высших сообщений (культуры).

Да, да: философия эта есть пропуск едва ли не всех элементов культуры, уже обреченной на гибель, сквозь линию рельс, начинающихся от «Его» Бердяева к Голосу Божию, этому «Его» звучавшему; до Бердяева вот период один был; а с появления Бердяева рушится все, проходя сквозь него в опускающийся над ним — град небесный; от этого личность Бердяева переживает крупнейший кризис (еще бы: весь мир пропустить сквозь себя и не лопнуть!); а Николай Александрович относительно очень легко пере-

¹ СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА. Опыт оправдания человека (М., Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1916. Второе изд., с разночтениями и дополнениями, выпущено как второй том его Собрания сочинений, Париж, 1985).

варивает старый мир в себе, разбухая; приобретает печать Чела Века, Адама Кадмона¹, напоминающего — Николая же Александровича, шествующего по Арбату в своем светлосером пальто, в мягкой шляпе кофейного цвета и в серых перчатках.

Подозреваю, что в миг, когда станет Н.А. проповедывать нам власть над миром Святейшего Папы, то будет лишь значить, что интуиция, продиктовавшая новый догмат Бердяева, соединилась с ним навсегда и что Папа Святейший есть он — Николай Александрович, собирающий у себя на дому философские вечеринки, которые вовсе не вечеринки, а более того: совещанья епископов; здесь — Карсавин, Франк, Лосский, Кузьмин-Караваев, Ильин, Вышеславцев, последней энцикликою Бердяева-Папы назначенные на кардинальские должности, обязуются на заседаниях бердяевской академии объявить всему миру «восьмой и последний вселенский собор».

Тот шарж мне встает неизменно, когда я прослеживаю общение с Н.А. Бердяевым в ряде годин, из которых растет его жизненный облик.

Высокий, високолобый и прямоносый, чернявый, с красивыми раскиданными кудрями почти что до плеч, с очень черной бородкою, обрамляющей щеки; румянец на них спорил с матовой бледностью; кто он? Стариннейший ассириец иль витязь российский из южных уделов, Ассаргадон, сокрушавший престолы царей, иль какой-нибудь там Святослав, князь Черниговский или Волынский, сразившийся храбро с батыевым игом, и смерть восприявший за веру в Орде? Разумеется, что атрибуты его — колесница иль латы — не эта же сшитая хорошо темносиняя пара, идущая очень к нему, с малым пестрым платочком, выторчивающим из кармана, из верхнего, вовсе не белый жилет, снова очень идущий к нему²; и красивый, и статный, с тенденцией к легкому

¹ Адам Кадмон (евр.) — «Адам первоначальный», «человек первоначальный», в мистической традиции иудаизма абсолютное духовное явление человеческой сущности до начала времен как первообраз для духовного и материального мира, а также для человека (как эмпирической реальности). См., напр., статью С.Аверинцева в первом томе *МИФОВ НАРОДОВ МИРА* (1980), с.43-44.

² Ср. описание в *НАЧАЛЕ ВЕКА* (М.-Л., 1933), с.430: «Высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривую, високолобый, щеками румяными так контрастировал с черной бородкой и синим, доверчивым глазом; не то сокрушающий дерзостным словом престолы царей Навуходоносор, не то — древний черниговский князь, гарцовавший не на табурете — в седле, чтобы биться с татарами.

Синяя пара, идущая очень к лицу; малый пестрый платочек, торчащий букетцем в пиджачном кармане; он — в белом жилете ходил; он входил легким шагом, с отважным закидом спины».

пополнению (лишь за последние годы весьма похудел он), веселый, отважный и легкий, он как-то цветился во мне (реминисценция, вероятно, его ассирийского прошлого); пестрый платочек, сияющий галстук, пунцовые, тонкие губы, уютнейше улыбнувшиеся среди черных волос бороды и усов, и такие лазурные, чистые, честные, детские очи, — все делало его непохожим на философа в первой беседе; в нем явственно простирало романское что-то; и что-то — от бонвивана, аристократа, немного ушедшего в круг легкомысленной пестрой богемы.

Я мысленно поворачиваюсь к Н.А.; он — встает передо мной: летом, ранней весной и позднею осенью, быстро и прямо идущим в своем светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета (с полями), в таких же перчатках и с палкою, пересекающим непременно Арбат по направлению к Сивцеву Вражку, и где-то его ожидает (может быть в том доме, где жил прежде Герцен и где суждено ему было впоследствии переживать революцию), — где-то его ожидает компания модных писателей, публицистов, поэтов, и барынь, затронутых очень исканием новых путей; там проявится мягкая, легкая статья, располагающая к философу, произведения которого часто пропитаны ядом отчетливо... нетерпеливых сентенций, почти дидактических.

В жизни он был — терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался адогматической грустью шумящей и блекнущей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца; когда темно-темно вишневое облачко на холодном и бледно-зеленом закате уже начинает темнеть; и попискивают синицы; и дышит [возвышенною стыдливостью страдания воздух; такую] в о з в ы ш е н н о ю с т ы д л и в о с т ь ю выстрадавшего своего догматизма мне веял Бердяев всегда из-за слов своих. Часто бывал он уютен и тих.

Нежно любящий псов и немного боящийся Гюисманса, разыскивающий фабулы странные и подобные Честертоновым в литературе новейшей, он не был тяжел в буйном воздухе литературной богемы; не был легковесен в кругу отвлеченных философов он; всюду он появлялся с достоинством, совершенно врожденным, с тем тихим, не лезущим мужеством и готовностью пострадать за идеи, которые выдает без остатка, и рыцарство, и чувства чести.

Когда ж задевали его точку зрения, касаясь предметов познания, близких ему, начинал неестественно он волноваться и перекладывать ногу на ногу, перебирать быстро пальцами, отбарабанивать ими по краю стола, или схватываться задрожавшей рукою

за ручки под ним заскрипевшего жалобно кресла; не удержавшись, с головой он бросался тогда в разговорные пропасти, очень нервно двигаясь корпусом; вдруг разрывался его красный рот (он страдал нервным тиком), блистали отчаянно зубы в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, «о з о р н о и о б л о» старавшейся вылезнуть что-то; шахлатая голова начинала писать запястье; глаза же вращались, так нервно подмаргивая; и, наконец оторвавшись руками от ручек скрипевшего кресла, сжимал истерически пальцы он пальцами под разорвавшимся ртом, чтобы спрятать язык, припадая кудлатой своей головой к горошиками заплывавшим пальцам, точно ловя запорхнувшую желтую моль пред собою (та моль — чужеродное мнение, долженствующее быть раздавленным: тут же!); и после этого нервного действия вылетал водопад очень быстрых, коротких, отточенных фраз без придаточных предложений; в то время как левой рукою своей продолжал ловить «м о л ь» из воздуха; правой, в которой оказывался непредвиденный, небольшой карандашик, он тыкал отточенным карандашиком перед собой, ставя точку зрения — в воздухе; этою точкою зренья своей, как мечом иль копьем, протыкал он безжалостно все, что входило в порядок его строя мыслей, как хаос, с которым боролся: свои убежденья тогда он высказывал с видом таким, будто все, что ни есть в этом мире, в том мире доселе — несло заблужденье; и сам Господь Бог, в ипостаси отеческой, мог ошибаться тут именно — до возведения человека в сан Господа (перед Второй Ипостасью Н.А. пасовал, потому что Второй Ипостасью он — как бы сказать, трудно выразить: в некотором что ли смысле вводился в хозяйство Вселенной). И тут проявлялось в нем что-то пламенно-южное; чувствовался крестоносец-фанатик, готовый проткнуть карандашною шпагою сарацина-противника, даже (весьма впрочем редко) совсем раскричаться.

Казался в минуты такие он мне полководцем, гарцующим в кресле, которое начинало протяжнейше ржать, точно конь; вспоминалось, что

Он имел одно виденье,
Непостижное уму;
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему¹.

А потом становился опять он уютным и мягким, тишайшим и грустным.

¹ Вторая строфа из стих. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829; см. также песню Франца в незаконченной пьесе 1935 г. *СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН*).

Воистину: в догматическом пафосе Н.А. Бердяева было порою несносное что-то; не то, чтоб не видел вокруг он себя ничего (Мережковский — не видел); он — видел, все видел, но тактики ради себе представлялся невидящим: это-то вот раздражало.

Он был в душе воин; его карандашик был меч; он с охотой кидался рубить, колоть, протыкать; прямо с кресла — на площадь (как-то оказалось впоследствии: из кабинетика тихого переулка попал в Предпарламент, как прежде, весьма незадолго до этого из кабинетика выскочил он — в революцию: даже в Манеже зывал он к гражданскому мужеству войск, приглашая на сторону революции их)¹; напоминал тут он князя, приявшего крест для борьбы с басурманами и превратившего крест в рукоятку меча.

Дома ж часто бывал так спокойно-рассеян, грустно-приветливый и очень хлебосольный, являлся воссидживать милым каким-то сатрапом на красное кресло из тихого кабинета, где только что быстро скрипевшим пером он прокалывал Д.Мережковского в бойком своем фельетоне, — для «У т р а Р о с с и и»²; после боя

¹ В САМОПОЗНАНИИ Бердяев пишет: «В октябре 17 года я еще был настроен страстно-эмоционально, недостаточно духовно. Я почему-то попал на короткое время в члены Совета Республики от общественных деятелей, в так называемый "предпарламент", что очень мне не соответствовало и было глупо. /.../ Впоследствии я стал выше всего этого» (2-е изд., с.264). Там же, в примечании к тексту, Евгения Юдифовна Рапп, свояченица Бердяева, пишет: «В дни Февральской революции активность Н.А. выразилась лишь в одном необычайном, героическом поступке. Я очень хорошо помню этот день.

Из Петербурга доносились вести о начавшейся революции. По улицам Москвы шли толпы, из уст в уста передавались самые невероятные слухи. Атмосфера города была раскаленной, казалось — вот-вот произойдет взрыв. Мы, Н.А., сестра и я, решили присоединиться к революционной толпе, которая двигалась к манежу. Когда мы приблизились, манеж уже был окружен огромной толпой. На площади около манежа стояли войска, готовые стрелять. Грозная толпа все ближе и ближе подходила, сжимая тесным кольцом площадь. Наступил страшный момент. Мы ожидали, что вот-вот грянет залп. В этот момент я обернулась, чтобы что-то сказать Н.А. Его не было, он исчез. Позже мы узнали, что он пробрался сквозь толпу к войскам и произнес речь, призывая солдат не стрелять в толпу, не проливать крови... Войска не стреляли.

До сих пор мне кажется чудом, что здесь же на месте он не был расстрелян командующим офицером» (с.262).

² В библиографии работ Бердяева (*BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE NICOLAS BÉRDIAËV*, Paris, 1979) составительница (Tamara Klépinine) приводит всего три его статьи, напечатанные в газете «Утро России» (№№182-184 за 1914 г.), но газетная часть библиографии выглядит неполной. (При составлении комментария сама газета осталась нам недоступна). Возможно, что Белый перепутал «Утро России» с «Биржевыми Ведомостями», где Бердяев очень активно сотрудничал в течение 1915-1917 гг. (печатался почти раз в неделю до начала 1917 г.) и где в действительности выступал против Мережковского (см., напр., «О "двух тайнах" Мережковского», 17 сентября 1915 г., №15094). О Мережковском (1865-1941), с которым он сотрудничал в журн. «Вопросы жизни», Бердяев часто пишет (см. след. стр.)

чернильного с нами он ужинал, тихий, усталый, предоставляя всегда интересным, словоохотливым и талантливым Л.Ю. Бердяевой и сестре ее всю монополию мира идей; и внимал нам с сигарой во рту¹.

В его доме было много народу: особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином; скажешь словечко ему; ждешь ответа — его; но уж мчится стремительно громкая стая словесности дамской, раскрамсывая все слова, не давая возможности Н.А. Бердяеву планомерно ответить; да, да: было много идейных вакханок вокруг «б е р д я и з м а»; ты скажешь, бывало, — то, это: «б е р д я и н к и» же поднимают ужаснейший гвалт:

— Что сказали Вы?

— Да!

— Нет!

— То — это!..

— Неправда же: это есть то.

И — прикусишь язык; и Бердяев прикусит язык; и останется: встать и уйти.

Так слова разрубались словами «б е р д я и н о к»; тело живой сочной мысли, кроваво разъятое оргией мысли, рубилось на мелкие части; и далее: готовились «к о т л е т ы» бердяевских мнений; и дамы кормились «котлетами» этими, потчужа всех посетителей ими; от этих «котлет» уходил; и бывали периоды даже, когда я подолгу не шел на квартиру Бердяева, зная беспроходимость общения с ним.

Н.А. Бердяев порой говорил нестерпимые, узкие, крайние вещи; но сам был не узок, а крайне широк, восприимчив и чуток, мгновенно вбирая идеи до ощущения «в н у т р е н н е г о в о л е н ь я»: «Довольно: ты — понял уже».

в *САМОПОЗНАНИИ*, напр.: «С самим Мережковским у меня не было личного общения, да и вряд ли оно возможно. Он никого не слушал и не замечал людей...» или: «...от Мережковского меня отталкивала двойственность, переходящая в двусмысленность, отсутствие волевого выбора, злоупотребления литературными схемами» (2-е изд., с.162 и 184).

¹ Лидия Юдифовна (урожд. Рапп, 1889-1945) — о ней см. *САМОПОЗНАНИЕ* (2е изд., с.156-157). О ее сестре, Евгении, умершей во Франции в 1960 г., см. там же, с.156-157. В *САМОПОЗНАНИИ* он пишет (уже об эмигрантском периоде своей жизни): «У нас в доме по обыкновению собирались и беседовали на темы духовного порядка /.../ Обыкновенно находили, что у нас хорошо и уютно. Но уют создавал не я, а мои близкие» (с.321). О «многолюдной атмосфере» бердяевского дома см. также *ВОСПОМИНАНИЯ* Евгении Герцык (Париж, 1973), с.117-123, 128-130.

И тогда над мыслителем, или течением мысли, искусства, политики ставился крест: к р е с т о н о с е ц Бердяев, построивши стены из догмата, сам становился на страже стены, отделившей его самого от хода им понятой мысли; себя он обуживал; пылкое воображение Бердяева воздвигало химеру фантазии; эту химеру оковывал догматом он; оковав, никогда не вникал, что таилось под твердою оболочкою догмата; оборотную стороной догматизма его мне казался всегда химеризм; начинал он бояться конкретного знания предмета, проводя химеру в конкретном; и с этим конкретным боролся химерою, отполированную им под догмат: совсем химерический образ больного Гюйсманса оказывался догматически бронированным (бронированным Церковью); Штейнер, конкретный весьма, — принимал вид химеры¹; тогда объявлял он крестовый поход против страшной химеры фантазии, дергался, вспыхивал, что выстреливал градом злощастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собою послушных «б е р д я и н о к» приступами штурмовать иногда лишь «ч е т в е р т о е» измерение зренья, и вылетал он в трубу (в мир астральный) чудовищных снов: он — кричал по ночам; мне казался всегда он утонченным субъективистом от догматического православия, или обратно: вполне правоверным догматиком мира иллюзии.

Но импонировал в нем очень-очень большой и живой человек, преисполненный рыцарства, честный, порой независимый — просто до чертиков.

Даже не помню, когда начались забегания мои к Н.А., кажется, с осени 1907 года, когда проживал близ Мясницкой он; помню: потягивало все сильнее к нему; обстановка квартиры его располагала к кипению мысли; и милые, интересные разговоры с Л.Ю., ставшей мне очень близкой тогда.

Сам Бердяев за чайным столом становился все ближе и ближе; мне нравилась в нем прямота, откровенность позиции мысли (не соглашался я в частности с ним); нравилась очень улыбка «и з - п о д д о г м а т и з м а» сентенций, и грустные взоры сверкающих глаз, ассирийская голова; так симпатия к Н.А. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы.

Мережковские, Риккерт, Бердяев, д'Альгеймы, неокантианцы, Шпетт, Метнер, — влияния сложно скрещивались, затрудняя

¹ Бердяев «против Штейнера» — см. ст. *ТИПЫ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ. I. Теософия и антропософия.* — «Русская Мысль», 1916, №11, с.1-19 (вторая пагинация). См. также *САМОПОЗНАНИЕ* (2-е изд., с.217-220, и *СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА* (2-е изд., с.84-85, 348-349).

работу самосознания; Бердяев был близок по линии прежнего подхождения к Мережковским; идейное отдаление от них приближало к Бердяеву; а с другой стороны: мне общение с Метнером, Шпетом вселяло порою жестокую критику по отношению к «credo» Бердяева; Шпетт¹, почитатель Шестова, в те годы всегда направлял лезвие своей шпаги на смесь метафизики с мистикой у Н.А.; и говаривал мне:

— Мистика не должна рационализироваться в мысли; стихотворение — мистика; гносеологический трактат — философия. Смешивать их — допускать стиль нечеткости.

В доме Бердяева встречен был ласково я; если мне было многое чуждо в бердяевском «credo», то «credo» мое было вовсе не чуждо Бердяеву; в сложном скрещении путей, выволакивающих вагоны культуры из гибнущих местностей быта и жизни, имелся и поезд, быть может товарный, но все-таки поезд; он значился, вероятно, в бердяевском расписании поездов: «П о е з д н о в ы х п р о г н о з о в и с к у с с т в а»; и направлялся через центральную станцию, «Его» Бердяева, в град им увиденной жизни; на станции «М и р о в о з з р е н ь е Б е р д я е в а» строгий начальник движений, Н.А. Бердяев, встречал и меня; в ту минуту, хотел или нет — все равно, я был в сфере владычества государственных отпавлений его философии; и под дозором его догматической жандармерии все неприятные выходки против меня глупых критиков, или несносная брюзготня престарелых профессорш, преглупо мне портивших кровь, запрещались строжайше; вагон моей мысли подкатывал к гладкой платформе; на ней поджидал благосклонный начальник движения, Н.А. Бердяев, и всем своим весом философа (веским пером, громким словом) произносил мне:

— Добро пожаловать!²

¹ Шпетт (или Шпет), Густав Густавович (1879-1940?) — философ, проф. Московского ун-та, переводчик. Вице-президент Российской академии художественных наук (РАХН, затем — ГАХН) в 1923-1929. Арестован в 1934 г. В октябре 1937 вторично арестован, получил «10 лет без права переписки». Его семья уверена, что настоящая дата его смерти не 1940, а 1937. О нем см. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*. Л., 1934, с.305-311.

² «...Андрей Белый, человек больших дарований. Временами в нем чувствовалась проблески гениальности. /.../ С А.Белым у нас были странные отношения. У меня была к нему симпатия. Я очень ценил его романы "Серебряный голубь" и "Петербург", написал о них две статьи, в которых даже преувеличил их качество. А.Белый постоянно бывал у нас в доме, ел, пил и даже иногда спал у нас. Он производил впечатление друга дома. Со мной он постоянно соглашался, так как вообще не мог возражать в лицо. Потом внезапно на некоторое время совершенно исчез. В это время он обыкновенно печатал какую-нибудь статью с резкими нападениями на меня, с карикатурными характеристиками меня» (*САМОПОЗНАНИЕ*, с.223-224). Имеются в виду статьи-рецензии Бердяева: *РУССКИЙ* (см. след. стр.)

Жест доброй встречи, и грустной улыбки, пожатые руки, — непосредственно как-то притягивал поезд мыслительных странствий моих в его сферу; и кроме того: ко мне лично Н.А. относился прекрасно; от этого стали все чаще чаще мои забеганья к нему в эту вьюжную зиму.

Возвраты домой от Бердяева воспоминанием связаны с вихрем метелей; бежанье мое по кривейшему переулку Мясницкой связалось с бежаньем в московских неделях; недели звенели; недели летели; недели оделись в метели; и чуялись в звуках легчайшие свистени философической истины; а атмосфера, казалось, была лишь хлопчатою массой валившего снега, где в белом волнении, пролуненном мутно, неясно вычерчивалась тень заборчика, выпертого между двух переулков скрещеньем неяснейших абрисов белых и желтых домов.

И тумбы сидели окаменелыми нищенками по краям тротуара, где не могли б разойтись трое встречных; сидели и кланялись мне.

БУЛГАКОВ¹

Совершенно другой род отношений устанавливался между мною и С.Н. Булгаковым; несмотря на всю разность наших позиций, — С.Н. ласково, так сказать, меня обволакивал, вслушиваясь в каждое мной произносимое слово, которое переводилось им тотчас же на собственную позицию; Бердяев же не слушал меня, а как бы демонстрировал.

К Булгакову в то время меня тащили с одной стороны Гершензон, а с другой Г.Рачинский.

— «Понимаете, понимаетесь...» паф-паф, «Борис Николаевич» — паф-паф — обкурал меня папиросами Рачинский, — «Сергей Николаевич» — паф: «человек удивительный! Его надо...» — паф-паф!

СОБЛАЗН. По поводу «Серебряного голубя» А. Белого. — «Русская Мысль», 1910, №11, с.104-115, и *АСТРАЛЬНЫЙ РОМАН («Петербург» А. Белого).* — «Биржевые Ведомости», 1 июля 1916, №15652 (перепечатано в кн. *КРИЗИС ИСКУССТВА*, 1918). Бердяев имеет в виду статью Белого против него: *КАМЕННАЯ ИСПОВЕДЬ. По поводу статьи Бердяева «К психологии революции»* [«Русская Мысль», июль]. — Журн. «Образование», 1908, №8, с.28-38. В «Раккурсе дневника» (ЦГАЛИ) Белый писал: «...тем не менее меня [Мережковские] втравливают в грызню, и я пишу [в августе 1908 г.] яростную статью против Бердяева...»

¹ Из «Воспоминаний», т. III, часть II (1910-1912) — ГПБ, ф.60, №15 — этот отрывок был пропущен при публикации в «Литературном наследстве», т.27-28, 1937.

Часто видел я на заседаниях религиозно-философского Общества, как Булгаков склонялся внимательным ухом к Рачинскому, морща лоб и вперяясь перед собой строгими, похожими на вишни глазами; Г.А. Рачинский, бывало, лопочет, обфыркивая его дымом; он же качается покатыми плечами своими, в застегнутом на одну пуговицу сюртуке, и загорается своим очень крепким румянцем на крепких щеках; в Булгакове поражала меня эта строгая серьезность и вспыхивающая из-под нее молодая такая, здоровая стать; впечатление от него, будто ты вошел в свежий, стойкий, смолистый лес, где несет ягодою и хвоей; бывало, слушает; глаза бегают; вдруг сделают стойку над чем-то невидимым; разглядит, и уж после, твердо отрезывая рукою по воздуху, начинает с волнением сдержанным реагировать голосом, деловито и спешно; он по типу мне представлялся орловцем; приглядываясь к жизни религиозно-философского Общества, понял я, что Общество это и есть Булгаков, руководящий фразерством Рачинского; что он нарубит рукою в воздухе Г.А. Рачинскому, то тот и выпляшет на заседании; идеологически Булгаков был мне далек и враждебен; но «стать» его мне импонировала; была пленительна его улыбка, его внимательность к моим словам о поэзии, упорное желание понять в Блоке, о котором он много со мною говорил, его поэтический опыт; отношение Бердяева к поэзии было «светским»; Бердяев, так сказать, гумировал новые стихи; и чем более они эпатировали, тем более они ему нравились; для Булгакова понять опыт стихов было делом серьезным.

Я потому касаюсь этих, выросших тогда передо мною «религиозных философов», что во время моего пребывания в Москве их ко мне парадоксально подтаскивала ситуация интересов «Пути», с деятелями которого стал я водиться; мусажетовцев же стал избегать.

...Пойдешь¹ после этих собраний чрез строй переулков, сопровождая Рачинского; он гулко стучает твердыми очень калошами по тротуару, в енотовой шубе, в барашковой шапке, скрывающей лоб; и — потеет очками; и палкою щупает почву, меня взявши под руку: переутомленность, сонливость, немного угрюмость теперь выступает на этом пухлявом и все-таки добром лице; вот он шарит в карманах, в распахнутой шубе стоит под тусклеющим фонарем, освещающим выпукло-желтую стену старинного, косолапого дома, откуда низвесились три львиных морды, держащие в пастьях своих по кольцу, где-то — рядом закапало: капает, ка-

¹ С этого места идет текст из *НАЧАЛА ВЕКА*, берлинская редакция, том III, гл.1, лл.220-233; ГПБ, ф.60, №12.

пает горло дерущими гриппами, плачем, чиханием, насморком: воспаленного носа.

Рачинский сморкается. Нет оживления — никакого: пресыщенность, озабоченность бессуетливо сгущаются складкой у лба:

— Вот тоже — ах! С Валентином-то Павловичем — ведь опять: ах, неладно... Вы понимаете... И Сергей Николаевич понимает, и Эрн... Жалко Эрна...¹

Н е л а д н о — подготовлялось в ту пору тяжелое разочарование в среде членов Совета, относившихся с громким восторгом к Свенцицкому; и потом от него отшатнувшихся. «И Сергей Николаевич понимает», — тогда означало: Булгаков, натолкнувшийся на проявления шарлатанства в Свенцицком, переменил о нем мнение: «Жалко Эрна» — разочаровавшись в Свенцицком², Эрн чуть не болел: он ходил потрясенный...

И тут, распахнув шубу, Рачинский бросается мне рассказывать о Булгакове:

— Понимаешь?

— Паф-паф!..

— Понимаете, Борис Николаевич!..

— Сергей Николаевич — паф: человек удивительный; его надо — паф: паф-паф-паф-паф!

— Паф-паф.

— Понимать!..

Мы проходим во тьму переулков (о глупую тумбу бывал спотыкач); и во тьме переулков Г.А. обращает внимание мое на Булгакова, мне советуя ближе его рассмотреть и понять; а кругом — снегосеяние; мутно сквозь хлопья наметились (Булгаковские убеждения — и сложнее, и тоньше) — колонны того двухэтажного дома, отчетливо розового (убеждения Булгакова прорастают нам всем очень близкими молодыми исканиями) — барельефами;

¹ Эрн Владимир Францевич (1882-1917) — религиозный философ, последователь славянофилов и Вл. Соловьева. Белый был связан с ним тесным знакомством с юности (ему посвящено стих. «Пустыня», 1907, в ПЕПЛЕ) и сочувствовал его исканиям (см. НАЧАЛО ВЕКА, с.270-275, 305, 452-454). См. также ПАМЯТИ ДРУГА (В.Ф. Эрн) С.Н. Булгакова, — газ. «Русские Ведомости», 30 апреля (13 мая) 1917 г., №96.

² Свенцицкий (или Свентицкий), Валентин Павлович (1879-1931) — религиозный философ и публицист, впоследствии священник. Ему посвящено стих. «Родина» (1908) в ПЕПЛЕ. Совместно с В.Ф. Эрном возглавлял «Христианское братство борьбы». О нем см. НАЧАЛО ВЕКА, с.270-275, 452-454. В САМОПОЗНАНИИ Бердяев пишет: «Мне оставалась также чуждой тяга вновь обращенной интеллигенции к священству. Священниками стали П.Флоренский, С.Булгаков, С.Соловьев /.../ В.Свентицкий, с которым связана нашумевшая в свое время история извержения его из среды религиозно-философского общества» (с.186). Об этой истории Белый пишет в НАЧАЛЕ ВЕКА, с.453-454.

розовый треугольник фронтона едва выясняется в переметне и в мельтешне снежинок.

— Паф-паф!

— Понимаешь... Булгаков...

— Паф-паф!

Проступают отчетливо лепкою белые виноградины горельефа, спускаемые двумя мордами баранорогих усмешников; и уходят в густеющий переметень; повалила хлопчатая масса; уже вытираемся к центрам, где явно светлеет.

Иду я домой, проводивши Рачинского, вдумываясь во все то, в чем меня убеждал, говорил о Булгакове он; чаще я вижу с последним; и он, под влиянием панегириков Г.А. Рачинского, медленно оживает во мне.

Мне в Булгакове видится что-то черничное: может быть, — это черничный кисель?

В разговоре с Булгаковым несло ягодами, свежим лесом и запахом смол, среди которых построена хижина христороливого, сильного духом орловца, плетущего лапти в лесу, по ночам же склоненного в смолами пахнущей ясной и тихой молитве; несло свежим лесом, — не догматом вовсе; из слов выросстал не догматик-церковник, каким он являлся в докладах, в писаньях своих, — выросстал между юною порослью ельника крепкий стоический мужеством чернобородый и черноглазый орловец; и сравнивал я Булгакова с более мне в то время понятным Бердяевым; да: они появились, как пара: Булгаков, Бердяев, — Бердяев, Булгаков, сливаясь в представлении мало их знавших в «Б у л д я е в а» или в «Б е р г а к о в а»; вот ты начнешь от Булгакова: «Бул...» Кончишь ты непременно не: — «г а к о в ы м» — «д я е в ы м»; и совершенно обратно: «Бер... — то-то и то-то; стало быть — г а к о в!»¹. Е.Н. Трубецкой — отклонялся от них в одну сторону: в сторону большего протестантизма, рационализма и всяких привычек хоро-

¹ Ср. *НАЧАЛО ВЕКА*, с.450-451: «Был идейно враждебен; а жестом и мягкостью был он приятен весьма; несло лесом, еловыми шишками, запахом смол, среди которых построена хижина схимника-воина, видом орловца, курянина; головы он заколачивал догмами, в жестах, которыми сопровождал свое слово, — иное; несло свежим лесом; стоический, чернобородый философ мне виделся в ельнике плотничающим; сквозь враждебное слово он мне импонировал жизненностью и здоровьем.

Шел в паре с Бердяевым в эти года; и они появлялись вместе; и вместе отставали свои лозунги; уже потом раскололись; обоих мы звали: "Булдяевы" или "Бергаковы". Начнешь "Бул..." — кончишь же "-дяев!" Начнешь "Бер..." — кончишь же: "-гаков!" В платформе журнала ["Вопросы жизни"] так именно было: "Бер-...": "Дайте стихи!" Дашь стихи, зная: "-гаков" не станет печатать; черныые, а — не похожи: манерой держаться и лицами).

шего университетского тона; М.О. Гершензон — отклонялся от них то же самое: в сторону литературы, фактичности и несения службы в хорошего тона почтенных журналах; Булгаков с Бердяевым не принимали того и не шли на другое; мечтали о собственном органе; с Университетом формально не связаны были ни-сколько; смелели своею позициею — «р е л и г и о з н о ю», заостряемую Бердяевым в публицистическое острие, и укрепляемую Булгаковым тяжелою артиллерией экономических фактов; они были «п а р о й», «Б у л д я е в ы м». И далее — начиналось расхождение меж ними¹.

Бердяев порою не видел; и вовсе порою не слушал; Булгаков и видел, и слушал, собою являя приятнейшего собеседника, с вкрадчивой ласковостью порой подбиравшегося к истокам души, чтобы вызнавши топографические особенности душевного склада своим личным экскурсом (экскурсов этих Бердяев не делал, а если делал, то пальцем на карте, которая была наспех весьма им набросана некогда), — чтобы вызнавши топографию всех душевных пластов и принявши в расчет их, потом очень твердо отстаивать в узнанной местности все, что ему было убийственно ясно, нападая на все непонятное; был он знаток человека, и нет, не «п р о ф е с с о р» Булгаков, хотя был «п р о ф е с с о р о м» он; в нем та-ились тогда уж потенции к «б а т ю ш к е», к «о п ы т у», к к е л ь е, ко старчеству и к Зосимовой Пустыни (вблизи Сергиевского Посада, куда ездил он); меж тем: я Бердяева вовсе не мог бы представить себе посещающим «ч т о - л и б о» или «к о г о - л и б о»;² все к нему подъезжали (к центральной станции, а ему было некуда ехать: Зосимова Пустынь, Сергей Николаич Булгаков ведь следовали в расписании поездов — в поездах, им помеченных под таким-то номером: мимо станции «М и р о в о з з р е н и е Н и - к о л а я Б е р д я е в а»).

Было в Булгакове тихое, обнимающее молчанием сосредоточенного восприятия, почти женственного по силе отдачи себя воз-

¹ Ср. САМОПОЗНАНИЕ Бердяева: «/.../ С.Н. Булгаков, один из самых замечательных людей начала века, который первый пришел к традиционному православию» (с.181); «Я всегда чувствовал огромное различие между мной и С.Булгаковым в отношении к унаследованной православной традиции. С.Булгаков происходил из среды православного духовенства, его предки были священники. Я же происхожу из среды русского дворянства, проникнутого просветительски-вольтерьянскими, свободомыслящими идеями. Это создает разные душевные типы религиозности, даже при сходстве религиозных идей» (с.196).

² См. САМОПОЗНАНИЕ, где Бердяев пишет: «Я сделал опыт поездки в Зосимову Пустынь и встречи с старчеством. М.Новоселов всех старался туда вести. Я поехал туда с ним и С.Булгаковым. Опыт этот был для меня мучительный» (с.214).

никающей вести; и оттого разговор с ним бывал со-вещаньем, со-вестием, со-вестью; «с о в е с т ь» будил он. В Бердяеве не было часто желания по-со-вещаться, со-вествовать; вместо «с о» было «п о»: повествовал о себе; или он из-вещал; там, у Булгакова «с о» - весть вставала; вставал же Бердяев с огромною повестью; кроме того, был Булгаков с о в е с т н ы м; Бердяев — и з в е с т н ы м. На мягкую восприимчивость надевал С.Н. частью панцырь воителя: сковывался годами меч воина — догматическое богословие, столь смущавшее многих (и нас между прочим); но «л а т ы» он дома снимал; Николай Александрович в «л а т а х» сидел у себя за столом; в них пил чай. Превосходно владел он рапирой и шпагой; и ими прокалывал точки он зрения; С.Н. владел превосходно мечом, прибегая к нему очень редко.

А сверху, на панцырь, Сергей Николаич набрасывал в иных случаях очень ученую мантию экономиста, конкретнее всех прикоснувшегося к истокам формальной науки: к статистике, к цифрам; такую профессорскою миною он повернулся ко мне в наших первых беседах у Мережковских в «В о п р о с а х Ж и з н и»¹; он мне показался тогда осторожным, неверящим; жест расширения его (от профессорских рамок в безгранность исканий) казался формальным для виду; но жест — на минуту, жест внешней любезности, из-за цифр допускающий только а п р и о р и ширь горизонта; на самом же деле Булгаков решил что черно, что светло²; словом, он показался тогда (и ошибочно) только «п р о б л е м а м и и д е а л и з м а»; подумалось:

— Нет, Бердяев — тот многое понимает: Булгаков — не понимает в том случае даже, когда понимает словесно.

В ту пору мы, явные для него «д е к а д е н т ы», и только (различия между Блоком, мной, Ремизовым, Сологубом, Ивановым, Брюсовым, Гиппиус, вероятно, казались ему оттенками все того же) — всегда натыкались в редакционной политике толстых «В о п р о с о в» на твердый отпор нашей линии (мы допускались в отдел стихотворений — не более): Н.А. Бердяев, Д.С. Мережков-

¹ В 1896 г. Булгаков опубликовал труд *О РЫНКАХ ПРИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ*, а в 1901 г. — *КАПИТАЛИЗМ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ* (два тома). Профессор Киевского политехникума (1901-1905), проф. Московского Коммерческого ин-та (1906-1910). В 1917 — профессор Московского ун-та.

² Ср. *НАЧАЛО ВЕКА* (с.450) о журн. «Вопросы жизни» в 1905 г.: «Пугал Булгаков, пугавшийся — Блока, меня, З.Н. Гиппиус, Брюсова; с В.И. Ивановым и Мережковским он еле мирился; был силой в редакции; к нам поворачиваясь, имел мину профессора-экономиста; он, по носу шелкнув статистикой, сильно дружил либеральною теологистикой; вид он имел осторожный; формально любезный, зажал у себя в журнале он декадентов в кулак; и — не пикни; показывал видом, что знает, где раки зимуют».

ский — те звали в журнал; но привык слышать вздохи и жалобы Гиппиус:

— Можно б то-то и то написать, да ведь вот беда: «идеалисты», Булгаков... Уж мы бы, да — нет. Нет, нельзя: ведь — Булгаков же...

Так я составил сперва совершенно неверное представление о С.Н. Рачинский в Москве представление это расстреливал клубами дыма:

— Булгаков не то, что о нем говорите... Булгаков — вот кто понимает... Булгаков...¹

И — да: о Булгакове я изменил свое мнение, встретясь в Москве с ним; меня поражал удивительными бросками не значащих фраз, открывавших картину глубоких, конкретнейших переживаний, в которых мы жили; но верить ли им? Он же явный — «п р о ф е с с о р»: и явный догматик; а — вот ведь: меж почтенными мнениями выюркнет яркое замечание о Достоевском: меж двух голлобых камней расцветет голубой преконкретный цветок; и цветком расцветал его взор меж двумя прерассеянными вперениями черно-карих глаз в точку абстракции. Поразило, как быстро освоился он с уголками Москвы, где-нибудь в переулках Арбата, не видных другим из отряда «с о л и д н ы х» законодателей московского мнения, как он активно и молодо реагировал словом на все молодое.

— Не наш ли Булгаков?

Казался он «н а ш и м», не «ч т о» своих догматов, — в «к а к» подстелающем их; в переключке тональностей восприятия фактов сознания; постепенно открылись: его восприимчивость к атмосфере духовных исканий Москвы, удивительные реакции на поветрия скрытых болезней и дующих ветерков благодати, Москву овевающих.

Виделся, все-таки, — воин — боец, сжавший меч догматизма, чтобы им, где последняя крайность пришла, — размахнуться;

¹ Ср. *НАЧАЛО ВЕКА* (с.450): «Стонали:

— "С Бердяевым можно еще столковаться: Сергей Николаевич — не понимает ни слова".

З.Гиппиус с ним воевала; и даже едва не разрушила "блок", когда ее статью о поэзии Блока Булгаков решительно не пропустил.

— Боря, вы бы могли нам писать то и то-то, кабы не Булгаков; с ним — каши не сварить.

Через два уже года Булгаков явился в Москву, став профессором и заведясь у Морозовой; тогда Рачинский жундел:

— Паф: Булгаков! Он — все понимает; он — тонкая — паф-паф-паф — штука... Борис Николаич, — паф-паф!.. — Мережковским не верьте: Булгакову верьте... Он... — паф-паф-паф-паф!».

и вот, тоже разница в действии ратном: Бердяев всегда шел — за нас; против нас; Булгаков не шел против нас иль за нас; он всегда в «н а с» боролся за то иль иное в «н а с»; против того иль иного — в «н а с»; явно стремился в противо-действии и со-действии оказаться в ландшафте сознания, а не на карте ландшафта; старался ландшафт культивировать он, где возможно; Бердяев старался тончайшей рапирою диалектики по всем правилам фехтования — проткнуть всю карту ландшафта.

В года уже более поздние Булгакова я горячо полюбил; и вот именно — очень горячее чувство внушал он (не сразу); всегда вопреки очень многим различиям в идеологии; после я понял: идеология — пустышки для Булгакова; и убедился — опять-таки после: идеология для Бердяева — все: ею весь начинается он; ею он и кончается; а для Булгакова действителен опыт, хозяйство сознания, «С о ф и я»¹; идеи логические для него только щит, защищающий то, что проверено опытом; ради «и д е и», порою абстрактной, Бердяев, несущий тяжелое бремя своей государственной философии, — бьет человека, его от себя отшибая; Булгакову — все человек; между тем: человека как такового идейно готов засадить он в застенки из догматов там, где идейно Бердяев все делает, чтобы разбить в человеке футляр догматизма; но «ф и л о с о ф и я с в о б о д ы» Бердяева — в голове у Бердяева²; в сердце же — догмат, застенки; обратно: с в о б о д о й пылает живое, любовью обильное сердце Булгакова, а в голове догматизм; я Бердяева ощущаю какую-то грустную, сострадательную любовь (все кажется мне, что ему очень трудно). Булгакову — сострадать? Нет: он счастлив избытком любви и конкретнейших радостей; в жизни всегда он, хотя убегает в «п у с т ы н ю», чтоб там развести вокруг себя цветники; Бердяев — вне жизни; на кончике он языка проповедует волю к цветению, к творчеству, а на скучнейшее заседание он убежит из любого конкретного общества.

Зима 1907-1908 годов мной отмечена участием в заседаниях московского философско-религиозного общества, завоевавшего много симпатий в Москве: к нему близко примкнули: Бердяев, проф. Е.Н. Трубецкой; действовали: В.Ф. Эрн, Г.А. Рачинский и В.П. Свенцицкий, не исключенный еще; здесь бывали священники: Добронравов, Арсеньев, Востоков и Фудель; являлись: Новоселов,

¹ См. особенно его кн. *СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ* (М., 1917) и отчасти *ФИЛОСОФИЮ ХОЗЯЙСТВА* (М., 1912). Полная библиография его трудов дана в *ПАМЯТИ о. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА* (Париж, 1945, составитель Л. Зандер).

² Н.А. Бердяев. *ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ*. М., изд. «Путь», 1911.

Кожевников, Громогласов, Флоренский, Покровский, П.Астров; естественно: складывалось ядро общества, организовавшее ряд интереснейших заседаний — на протяжении десяти лет.

Рачинского выбрали председателем; и заседания были действенным священнодействием для него; покраснев, яро вспыхивая папиросой, блистая очками из вывертня рук и подергивая седую бородку, торжественными аллелуями он снаряжал корабль странствования заседания; и — торжественно аллелуя в конце: в каждом «слове» Рачинского был непременно какой-нибудь громкий возглас: «Дориносима чинми», «Святися, святися Новый Иерусалиме», «Вначале бе Слово» и т.д. Заседания вел он прекрасно; но многие добродушно подсмеивались над торжественным тоном Рачинского, и над контрастом, который являли его суетливые, быстрые, нервные жесты; он был суетен; в перерывах носился летком по набитому публикой залу с предлинною записью оппонентов, которою шелешил, и бача направо, налево и прямо, выхватывал из толпы подхихатывающего Турбина иль выуживал благоглавого Н.А. Бердяева — за руку:

— Вы понимаете, Николай Александрович?

И Бердяев, тряхнув ассирийской копной черных, длинных кудрявых волос, поднимал на него подсинь глаз, улыбаясь и дергаясь; Г.А. Рачинский, взмигнувши и пфыкнувши дымом, седую бородкою, поджав руки по швам, пролетал как-то боком меж трэнов, меж ряс, пиджаков, косовороток — ко мне:

— Понимаешь — вы понимаете? — он бойчил перекурком мне в нос, — выпускаю Евгения Николаевича Трубецкого; после — Бердяева, ну а потом...

— Выпускаю я потом тебя, Ницшеанского пса...

— После скажет — Булгаков...

— Для равновесия выпущу после я... — отбойчит от меня; и — ззыграется около С.Н. Булгакова он:

— Я выпускаю вас после Белого; для равновесия.

И наткнется на Эллиса:

— Ничего смешного, Лев Львович, — и не было: ну чего вы смеялись?

И — подсиявши очками, дымнув, он припустится с Эллисом взпуски — в разбегаи словесные; и — коловерт быстрых жестов возникнет меж ними.

Но вот начинаются прения.

Встанет матерый такой князь Е.Н. Трубецкой — благородным медведем, лицо завернув красноватое, чернобородое, с ясно синеющими очами, развив полномерно свое доброумие, трудно нудясь тяжеловатыми фразами, трудными смыслом, но полными

смыслом; стоит над столом, раскаблучившись, взаверть покачиваясь — не выкрутыжистым, благороднейшим стражем России, расставив облаписто руки локтями, отбрасывая локтями назад их без такта; глаза же — сиятельны; строгим достоинством. Н.А. Бердяеву не сидится, он ассирийственно голову вскинет, осматривая нас с видом таким, будто он говорит:

— Референта Евгений Николаевич — не понял...

Кудрявый, чернявый, шахлатый, довольный собою, пощипывает бородку, ждет слова; синее глазами; да, у Бердяева — лбина (не лоб); им упав себе на руки, вздрагивающие десятью заплясавшими пальцами, точно под мышкой, стараясь не разорвать красный рот и отбрасывая порой свою левую руку, чтобы ею отмахиваться от чего-то, или излавливать пальцами вовсе невидимых, — говорит не другим, а себе самому, пред собою самим, созерцая не публику, а свою точку зрения, которую начертил пред собою он в воздухе; и потом он бросается сызнава на свои десять пляшущих пальцев; схватив карандашик, он ткнет пред собою пространство его острием; и проткнувши пространство, откинется к спинке трещащего кресла; и — всеблаженно он стынет: он — кончил; противники — все сражены.

Булгаков, пока говорит, пресутуло качается, заколыхавшись, мешкотно поглаживая бородку, черно обрамляющую пышущие румянцем здоровые щеки; и тоном, и взором брюзжит недовольно; и вдруг так ласкательно, так сиянски, добро улыбнется; переконфуженно замолкает; и гладит, качаясь, бородку. Сизов поднимается расставлять вертипижины глубочайших, вполне затуманенных слов.

И вот прения кончены; все — расходятся; над зеленым столом вижу я, как Булгаков, сосредоточенно протянувши какую-то круглую голову, покрываемую черными вихрами волос, теребящий бородку, густую и черную, сосредоточенно устремляющий взор в одну точку, останавливается каре-черными глазами своими, такой рассерьзанный и вместе с тем мягкий и грустный, внимательным ухом склоненный к Рачинскому, вшептывающему ему в ухо свои торопливые домыслы, от которых прорезывается морщина на лбу его и меняется выражение глаз (выражение внимания на выражение гнева), — вижу, как С.Н. Булгаков, с плечами покатыми, несколько выше среднего роста, с тенденцией гнуться, в застегнутом на одну только пуговицу сюртуке, сочетанием неестественно вспыхивающего румянца на крепких щеках, молодеющий из год в год, очень дельно отрезывает Рачинскому свое мнение; я смотрю на него: губы, тонко-пунцовые, черная, молодая такая растительность, вишни-глаза (они делались вишнями), производят в душе

очень странное впечатление — вишневого сока; в нем было вишневое что-то иль даже — черничное что-то (как будто любил кисели из раздавленной, темно-красной черники); в Булгакове — что-то бодрящее, свежее, стойкое; от разговора с Булгаковым часто несет спелой ягодой, свежим лесом и запахом смол¹.

Я смотрю на него: он внимательно вглядывается чутким ухом в торопливое слово Рачинского (знаю — глазами сейчас он не видит); своей головою, поставленной набок, помахивает; морщина — прорезывается (дела Общества, видно: опять удружил значит В.П. Свенцицкий); глаза — то забегают, то — стремительно, точно вкопанные, остановятся, делая стойку над чем-то невидимым вовсе; и после, рукою отрезая по воздуху (в такт своих слов), начинает с волнением сдержанным он реагировать голосом — деловито и спешно; и видно: Булгаков и есть душа Общества, одновременно Мария и Марфа; все прочие — только Марии; Булгаков — Мария и Марфа, и видно: Рачинский своим председательствованием, даже ропотом на церковность С.Н., ведет линию стратегических планов Булгакова; тут Булгаков вдруг видится Брюсовым религиозно-философского Общества, Брюсовым добрым и мягким, но — твердым и стойким; и оба — как черные ягоды: С.Н. Булгаков — черничная ягода; Брюсов же — волчья.

Смотрю я, бывало, на ухо Булгакова; думаю: то, что ему торопливо докладывает Рачинский, — им принято, понято, запечатлено: сохранится до нужного времени; знаешь — вошел он в оттенки передаваемого, индивидуального мнения; и эти оттенки теперь гравированы навеки сознание его: не забудет; и, может быть, через годика три, он с доверчивой детски-блаженной открытостью, откровенно покачиваясь над зеленым столом заседания, или над чайным столом у меня, у Рачинского, у Гершензона, — пощипывая бородку пренервно, с таким приглашением руки, улыбнется словами:

— Григорий Алексеевич, помните, года три назад вы сказали по окончании реферата Бердяева о Петровском, как он после жизни с Флоренским забунтовал и в нем складывалось решение...²

¹ Ср. *НАЧАЛО ВЕКА* (с.451): «Булгаков — с плечами покатыми, среднего роста, с тенденцией гнуться, бородку чернявую выставит и тербит ее нервно; застегнув сюртук на одну только пуговицу; яркий, свежий, ядреный румянец на белом лице; и он вспыхивает до пунцового, когда прорежет морщина его белый лоб; нос — прямой, губы — тонко-пунцовые; глаза — как вишни; борода густая, чуть выходящая. Что-то в нем от черники и вишни».

² Об Алексее Сергеевиче Петровском (1881-1958), близком друге Белого, см. «Минувшее», т.6, с.30. В сентябре 1904 г. после окончания Московского ун-та (где он учился вместе с Белым) он поступил в Духовную Академию и переселился из Москвы в Троицу. Там он жил в одной комнате с П.А. Флоренским, (см. след. стр.)

И — так далее: он удивит тут, давая характеристику сознания Петровского, о котором Петровский забыл и Рачинский забыл, а Булгаков — запомнил: представил картину сознания Петровского на основании слов торопливых и спешных Рачинского, сделал все выводы и подписал резолюцию под бумагою своего отношения к Петровскому; эту бумагу, сложив, положил в боковой свой карман, что у сердца, три года у сердца носил; и теперь, когда случай пришел, — ее вынул; и — обнарудовал:

— Ничего подобного, Сергей Николаевич...

— Нет, как же, — ведь Вы говорили тогда...

И, пощипывая бородку, пойдет он выкладывать то, что Рачинский успел позабыть.

— Понимаешь ли — паф-паф-паф, — после этого примется мне удивляться Рачинский, — Сергей Николаевич — удивительный, паф, и большой — паф-паф-паф — человек; он во имя Отца — паф-паф-паф, — Сына — паф и — паф — Святого — паф — Духа...

Сергей Николаевич Булгаков с рассеянным видом ходил — в заседание, в совещание, в комнату и в обстоятельства жизни; с рассеянным видом он слушал, недоуменно вперяся в точку пространства, взволнованно реагируя словом на точку пространства и точке пространства в то время, когда собеседник взволнованно надрывался словами ему; означало все это отнюдь не рассеянность, а — некоторое недоверие, может быть, к недовольному собеседнику, некоторую осторожность к словам (их отчетливо слышал), прикрытую видом рассеянным; и нежелание сразу войти в то, что слышал; во что он входил, тому был уже верен; поверивши, прямо смотрел он в глаза, улыбался сиянски, добрел процветающим ликом; поглядывал — то исподлобья (украдкой), то прямо, с любовью и верностью; прочно входил он в сознание, требуя места себе на идейном пиру: вблизи вас.

Было что-то от воина в нем, — не в бердяевском смысле (в романско-ассаргадоновском, дон-кихотско-насильническом), а какое-то «х р и с т о л ю б и в о е в о и н с т в о»; отступающее перед вражеским натиском до известных пределов; но став на «п р е д е л е» твердейшей ногою, твердейше зажав свою руку с невидимым для глаза мечом, теребя и оглаживая бородку поштатски другою рукою, — кремнел у «п р е д е л а»; и даже отсюда, с «п р е д е л а», христолюбивым воителем истины он наступал,

с которым он был очень дружен. В 1907 г., по сообщению Белого в «Материале к биографии (интимном)», Петровский бросил Академию и отошел от Православия. Позднее он стал антропософом.

говоря — «я иду на вас», хмурясь прорезывающейся морщиною, вспыхивал лихорадочно-свежим румянцем; стоял перед вами с мечом — непреклонный, не слушая жалоб. Таким обнаружился мне в инциденте с Свенцицким, которому пылко он верил сперва, но которого быстро он понял; поняв же — нахмурился, ставши в полуоборот, переставши глядеть на Свенцицкого; и на все объяснения последнего только качал головой перед точкой пространства, ему только видимою; морщина же на челе становилась все глубже; Свенцицкому — отвечало молчанье; стоял на пределе терпения; и отсюда пошел он доказывать с пылкостью юноши князю Е.Н. Трубецкому, Рачинскому, Эрну, Бердяеву, мне, что Свенцицкого надо скорей удалить из Совета: ему он простил; но общественно — нет.

Он был весь преисполнен огня, увлечений, порывов, стихий; отдавался искусству порою он так, как никто: я видал его: совершенно отхлопывал руки он, вызывая А.А. Подгаецко-Чаброва¹, исполнявшего роль Арлекина в мимическом представлении «Покрывала Перетты». И тою же пылкостью скрытою он реагировал на доклады Рачинского.

Религиозно-философское Общество он бросал в бои.

¹ Чабров (наст. фамилия — Подгаецкий), Алексей Александрович (1888?-1935?) — актер, режиссер, музыкант (в молодости — был близок к Скрябину). Перешел в католичество, жил в монастыре в Бельгии. Ему посвящена поэма Цветаевой *ПЕ-РЕУЛОЧКИ*.

С.А. Аскольдов
ПИСЬМА К А.А. ЗОЛОТАРЕВУ

Вступительная заметка и примечания А.А. Сергеева.
Подготовка текста А.И. Добкина

Аскольдов — литературный псевдоним Сергея Алексеевича Алексева, сына русского философа-идеалиста Алексея Александровича Козлова (1831-1901). Козлов имел две семьи, но получить развод от первой жены ему не удалось, и сын его Сергей оказался, таким образом, незаконно-рожденным, потому и носил фамилию Алексеев.

В своем научном творчестве, начавшемся довольно поздно (в середине 1870-х гг.), Козлов защищал метафизику, как систему знаний, от нападок эмпиризма и позитивизма. К собственной философской системе — универсальному панпсихизму — пришел он через Шопенгауэра, Э.Гартмана, с которым состоял в переписке, Канта и неокантианцев, Лейбница, Лотце и Тейхмюллера¹. По мнению Аскольдова, философское предназначение отца: передать некоторые идейные ценности прошлого — будущему². При этом сын считал Козлова одним из основателей христианской философии в России, отводя ему роль строителя фундамента, а В.С. Соловьеву — художника и архитектора в возведении храма³. Указывал он и на влияние Козлова на Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского и В.Ф. Эрна. Здесь, конечно, можно говорить о преемственности идей, хотя, на наш взгляд, Аскольдов несколько преувеличивал влияние отца на указанных мыслителей. И вряд ли можно согласиться с тем, что Козлов был основателем христианской философии в России.

В сносках к настоящему предисловию ссылки на работы даются через номер записи в материалах к библиографии С.А. Аскольдова, приводимых в конце публикации.

¹ Именно в таком порядке, как отмечает Аскольдов (39, с.24), А.А. Козлов изучил философские построения названных философов и пришел к собственной системе.

² 39, с.5.

³ 39, с.217-218.

Наибольшее влияние философия Козлова оказала все же на сына, что особенно чувствуется в первой книге Аскольдова, где он принял эстафету отца как «главного представителя монадологии в России»⁴. Кроме отца, на формирование Аскольдова-философа повлияли идеи Лейбница и Фехнера; все его творчество пронизано критикой Канта и неокантианцев за превращение познаваемой действительности в продукт чистой мысли. «Констатируя ясные признаки кризиса трансцендентального идеализма, и нам хочется воскликнуть подобно Либману: "назад"... Но только назад не к Канту и Гегелю, а еще дальше и глубже: к Лейбницу, Плотину и Аристотелю, вернее назад к докантовской свободе мысли, имевшей перед собой все способы и пути для союза философии с религией. В этом воспризнании прежних возможностей заключается необходимое условие движения философской мысли вперед»⁵.

Как и на всех русских религиозных мыслителей начала века, на Аскольдова оказал большое влияние В.С. Соловьев, с которым он познакомился в доме отца. В целом, философское наследие Аскольдова свидетельствует о том, что задачу философии он видел не в открытии «новых горизонтов», а в исследовании уже высказанных взглядов, в отличении ошибочных от истинных и в исследовании последних.

Из современных ему западных философов он высоко ценил А.Бергсона. Аскольдов придавал первостепенное значение интуиции как в философии, так и в религии, выступал за введение в гносеологию принципа интуиции, в то же время критикуя своего, в целом, единомышленника Н.О. Лосского, считавшего, что все познание «насквозь интуитивно»⁶.

Работы Аскольдова посвящены четырем основным областям. Во-первых, гносеологии. Здесь он примиряет «лейбнианство» с естественно-научной точкой зрения, т.е. ослабляет лейбниевский рационализм и добавляет эмпирические построения. Другая сфера — религиозно-философская, где Аскольдов высказывался за реформу церкви, школы, форм религиозного общения верующих друг с другом и с Богом. Все это, по его словам, требует: «пересмотра и согласования с новыми запросами религиозного сознания, с новым, обогащенным всем историческим опытом, пониманием Евангельских истин»⁷. Ближайшую религиозную задачу С.А. видел в восстановлении истинного христианства, при этом резкие повороты в духовной жизни он считал невозможными, возрождение идей христианства должно было носить, по его мнению, эволюционный характер. Ряд статей Аскольдова посвящен литературоведению, которое привлекало его как предмет для философского анализа. Неудивительно, что в этой области значительная часть работ обращается к творчеству Ф.М. Достоевского, романы которого он называл «философией жизни». Наконец, несколько особняком в наследии Аскольдова стоит его работа в области логики: «Аналогия как основной метод познания». Она направ-

⁴ Так называл Козлова Г.Флоровский, подразумевая, что он продолжил и развил идеи Лейбница. См.: «Богословский вестник», 1912, №11, с.657.

⁵ 42, с.795-796.

⁶ 27, с.433.

⁷ 26, с.230.

влена против упрощенного понимания аналогии как метода, пригодного лишь для возникновения гипотетической догадки.

С.А. Аскольдов родился 25 февраля 1871 г. в имени отца Машарово Медынского уезда Калужской губернии. Окончив физико-математический факультет и философское отделение историко-филологического факультета С.-Петербургского университета, он стал служить в лабораториях таможенной службы Министерства финансов. Его научная деятельность началась с большой книги «Основные проблемы теории познания и онтологии», вышедшей в свет в 1900 г. В том же году он вступил в брак с Елизаветой Михайловной Голдобиной (1880-1955).

Представления о необходимости реформы духовной жизни привели его в С.-Петербургское религиозно-философское общество, на первом заседании которого в 1907 г. Аскольдов председательствовал. Книга «Мысль и действительность» легла в основу его магистерской диссертации, защищенной в Московском университете 16 ноября 1914 г. На эту работу откликнулся Л.М. Лопатин, высоко оценив критический дар автора, но с меньшим энтузиазмом отзывавшись о положительной части построений Аскольдова⁸.

Перед революцией С.А. стал профессором Петроградского университета: преподавал историю западной философии (до 1922 года). Затем был доцентом Политехнического института, где вел общую технологию. Кроме того, преподавал математику, психологию и логику в средней школе.

В духовной жизни Петрограда-Ленинграда 1920-х годов важную роль играли религиозно-философские объединения интеллигенции. Во многих из них Аскольдов принимал активное участие: в Православном братстве Серафима Саровского, кружке А.А. Мейера «Воскресенье», кружке И.М. Андреевского. В последнем он, в частности, прочитал запомнившийся слушателям доклад «О символическом значении русской азбуки».

В начале сентября 1928 г. для Аскольдова началась полоса арестов и ссылок. Первый раз он был сослан в Рыбинск (1928-1930), затем, после нового ареста, — в Коми-Зырянскую область. С осени 1933 г. он получил возможность жить в Новгороде. Здесь средствами к существованию С.А. были уроки математики: сначала частные, а затем — в средней школе. Во время войны Аскольдов оказался на оккупированной территории, а затем попал в предместье Берлина. В мае 1945 г. он был арестован там советскими оккупационными властями, однако вскоре выпущен. Когда власти, опомнившись, пришли забирать его во второй раз, — он был уже мертв.

Публикуемые письма Аскольдова к Алексею Алексеевичу Золотареву (1879-1950) существенно дополняют наше представление об их авторе. Нельзя не согласиться с его словами: «Прошло время, когда я строил

⁸ «По поводу нового труда С.А. Алексева-Аскольдова "Мысль и действительность"». — «Вопросы философии и психологии», 1914, №125, с.519-531.

гносеологические небоскребы. Постарел я, состарился и мир»⁹. Однако в целом, как свидетельствуют письма, взгляды Аскольдова отличались постоянством. Мы имеем в виду и его отношение к Лейбницу, и эсхатологические настроения, отразившиеся в высказываниях об А.Н. Шмидт и В.С. Соловьеве. По-прежнему остался близок ему и А.Бергсон.

Узнаем мы из писем и о встречах автора с А.Ахматовой, А.Блоком, А.Белым, Вяч. Ивановым, Г.Чулковым и др. Наконец, следует обратить внимание, что письма написаны в 1937-1941 гг., а потому можно только восхищаться духовной стойкостью их автора, находящегося в ссылке и способного посреди бушующего в стране террора размышлять о «Фаусте», Платоне, Г.Сковороде.

Несколько слов об адресате писем¹⁰. Родился Золотарев в Рыбинске, в семье соборного протоиерея. После окончания классической гимназии учился в Киевской духовной академии, которую оставил, перейдя на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Завершить образование ему не удалось: за революционную пропаганду Золотарева сослали в Сибирь. Оттуда он попал за границу (1906). В связи с угрозой политических преследований при возвращении на родину, Золотареву пришлось провести на чужбине в общей сложности более пяти лет. Значительную часть из них он прожил на Капри, где познакомился с Горьким. За границей началась и литературная работа Золотарева. Вернувшись в Россию, он постепенно отошел от политической деятельности, а к литературному труду добавилось увлечение краеведением. На смену атеистическим настроениям его молодости пришли религиозные. При активном участии Золотарева в Рыбинске в 1920-е годы был образован философский кружок и естественно-научное общество. В конце 1920-х Золотарева сослали в Архангельск. После ссылки он жил в Рыбинске и в Москве.

Из хранящихся в ЦГАЛИ СССР (ф.218, оп.3, ед.хр.41. Всего 52 л.) корпуса писем С.А. Аскольдова к А.А. Золотареву (18 апреля 1935 г. — 16 августа 1941 г.) мы отобрали наиболее значимые, на наш взгляд, для характеристики автора и эпохи. Произведенные нами сокращения всегда отмечены и касаются только повторений и бытовых подробностей. Тексты писем публикуются по правилам современной орфографии. Номера архивных листов следуют за номерами писем в круглых скобках.

⁹ Филиппов Б. С.А. Алексеев-Аскольдов. — *РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ XX ВЕКА*. Сборник статей под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1975, с.186-189.

¹⁰ Сведения о Золотареве заимствованы из библиографической статьи о нем В.Н. Чувакова и В.Е. Хализева для готовящегося к печати 2-го тома *СЛОВАРЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ: 1800-1917*.

Из Новгорода в Москву.

12 февраля 1937 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Давно о Вас ничего не знаю и порывы написать как-то увядали, — в сущности трудно сейчас писать. Все это не значит, что я о Вас забывал. Вы принадлежите к числу тех немногих моих друзей, которых я часто вспоминаю и даже мысленно разговариваю с ними. Эти разговоры туманны и иногда беспредметны как сновидение, но в них звучат какие-то определенные ноты душевного обмена, — ноты, которых ни от кого другого не услышишь, кроме как от данного лица, и слышать которые от времени до времени — существенная потребность. Так вот, в душе Вашей имеются такие ноты. Они не всегда созвучны моим струнам. Вы, например, страшно сильно чувствуете старину и именно археологическую *предметную*. Я сам этому не созвучен и к самой старине *предметной* глух. Но я совсем не глух к тому, как она трогает и волнует других, и люблю видеть волнение другого перед тем, к чему сам бесчувственен. Как я понимаю теперь моего покойного приятеля П.В. Мокиевского (из «Русского богатства»), который, будучи всю жизнь позитивистом-спенсерянцем и оставшийся невером до конца дней, так в [19]21-22 годах говорил мне: «Как мне приятно видеть, что люди идут в Церковь, как я им симпатизирую и завидую, что они могут идти, а я не могу»¹. А мой другой приятель, поэт, сказал: «Не веря сам, не верю я неверью»...

Недавно вспоминал уже Вас с благодарностью по практическому делу, получив по почте посылочку с самыми ценными для меня книжками, которые все же Вы именно мне спасли.

Живу я без особых перемен, почти не меняюсь физически. Осенью имел порядочно уроков. Сейчас их совсем мало что-то: кто болеет из учеников, кто ленится, а кто, вероятно, экономит. А жаль. Это для меня — соединение приятного с полезным: люблю возиться с квадратными уравнениями, гипотенузами, синусами и косинусами и решать забористые задачки; и если учащийся интересуется предметом, время урока бежит для меня незаметно. Но имею возможность это время почитать. Последний месяц перечитывал Пушкина и Лермонтова. И у того, и у другого открыл много ранее незамеченного и неоцененного, как например Лермонтова «На 1-ое января». С особым наслаждением перечитывал ранее плохо воспринятые стихи на лицейскую годовщину: до чего вдохновенно, лирично, нежно и хорошо (например, «Роняет лес багря-

ный свой убор»). Завывал у себя в комнате божественные фразы из романсов Римского-Корсакова на стихи Пушкина (например, «Ненастный день потух»), если не знаете, заставьте кого-нибудь спеть, там в конце есть фраза: «Вот время: по горе теперь идет она к брегам, потопленным шумящими волнами» и т.д. Два гения сомкнули две стихии: поэзию и музыку (впрочем, и поэзия есть музыка в широком смысле; ведь называл же Сократ и философию музыкой).

Я завываю, а мой добрейший Илья Ильич (хозяин) думает: «Что это старик взбесился, уж не влюбился ли на старости?» Да он и прав в известном смысле. Я никогда с такою нежностью не относился к тем женским образам, которые прошли в жизни мимо меня, затронув обычно слегка и не глубоко, а то и совсем не затронув. Как будто неуместно отцу семейства предаваться фаустовским настроениям! Не скажите: все мы, старики, имеем основание в конце жизни почувствовать себя Фаустами, ибо только в конце жизни понимаешь, сколь много драгоценных мгновений упущено. И как часто жизнь разыгрывалась совсем не по тем нотам, порой беззвучно и фальшиво.

Да, в Фаусте есть нечто общечеловеческое и роковой психологический итог жизни для тех, у кого при старом теле не состарилась душа; а душа ведь не имеет возрастов; вернее, по вдохновенной угадке А.Н. Шмидт², имеет единый возраст, навсегда неизменяемый. Сейчас я, подобно Бояну, готов растечься «мыслью по древу» во все стороны, но меня обуздывает одно сомнение: а что как Вы не в Москве, а либо в Ленинграде, либо в Рыбинске. Вообще хоть коротко черкните, где Вы и как себя чувствуете. Надо бы нам летом повидаться. Вообще, известите, когда будете в Ленинграде, я думаю побывать [там] в мае, так в середине.

А пока будьте здоровы и благополучны. Ваш С.А.

P.S. Здесь есть одна особа, которая часто виделась с Вашим покойным братом последние месяцы его жизни. Вот приманка для Вашего приезда сюда.

¹ Мокиевский Павел Васильевич (1858-1927) — доктор медицины, философ, публицист. Был близок с отцом Аскольдова. О его отношении к религии можно судить по таким высказываниям: «Никто не имеет права стеснять человека в выборе веры, которую он считает истинной и которой намерен следовать». (*ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ГРАЖДАНИНА*. Пг., 1917, с.11); «Религия, хотя иногда и пытается спорить с наукою по чисто научным вопросам, но уже ясно чувствует, что близок час, когда она потеряет всякий авторитет в этой области; и поэтому, наиболее чуткие представители религии открыто отказываются от борь-

бы с наукою по вопросу об устройстве чувственного мира и сосредотачивают свое внимание на нравственной стороне идеи сверхчувственного мира» (*ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ*. Пг., 1918, с.76).

² Шмидт Анна Николаевна (1851-1905) — литератор, стала известна благодаря своей переписке с В.С. Соловьевым. О том, что «душа имеет единый возраст», Шмидт неоднократно пишет в своем эсхатологическом произведении *ТРЕТИЙ ЗАВЕТ*: «Земной человек, пребывающий в смертном теле, без ведома его самого, живет общою жизнью с самим собою, пребывающим духом и душою в воскресшем теле своей новой материи» (*ИЗ РУКОПИСЕЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ ШМИДТ*. М., 1916, с.82. См. также с.70-71, 83, 84). Подробнее о ней см.: Булгаков С. *ТИХИЕ ДУМЫ*. М., 1918, с.71-114.

2. (л.10)

Открытка из Новгорода в Рыбинск

23 февраля 1937 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Ваше письмо от 11 февраля я получил лишь сегодня, т.е. через 10 дней; причина в Вашем неистребимом историзме: Ваше надписание «Великий Новгород» послужило поводом, что, судя по штемпелю, письмо заслали в какой-то «Новоград — Вол К.И.Т.В.»¹ (не понимаю, где это), потом какая-то рука гневно вычеркнула слово «Великий», и оно пришло ко мне. Мы с Вами вспоминали друг друга почти одновременно: с неделю тому назад я послал Вам письмо в Москву. Очень огорчен и обеспокоен Вашей болезнью, хотя не совсем ее понимаю. О поэте Батюшкове я почти ничего не знаю и, к стыду, почти его не отличаю от Баратынского; надо перечитать. Ваши воспоминания о Вашем бывшем приятеле не очень приветствую: даже смерть не примирила меня с ним².

О себе ничего нового не могу написать: заспиртовался. А вообще я написал бы Вам поболее, но из Вашего письма склонен думать, что Вы передвинулись уже в Москву. Найдете ли Вы там мое письмо. Сообщите и, если застрянете в Рыбинске, тогда напишу подробнее.

Ваш С.А.

¹ Новоград-Волынский — город в Житомирской области (с 1937 г.)

² Вероятно, речь идет о Горьком, с которым Золотарев сблизился на Капри.

Из Новгорода в Москву

22 января 1939 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!¹

Нам с вами судьба — разминуться письмами: Вы писали мне, видимо, почти одновременно со мной (около 5-6 января). Ваше увлечение Платоном я в основном разделяю и «Федон» был всегда для меня любимым диалогом, после него идут «Пир» и «Федр». Но я Платона люблю и ценю больше за настроения, за философский и вообще духовный пафос, за живые и художественные образы лиц и положений, полные величайшего духовного благородства. Но его философская аргументация для меня всегда была и остается малоубедительной и часто софистичной. Идеализм платоновского, а особенно фикштеанского и гегелевского типа ведь был мне чужд, хотя платоновский мне все же ближе, т.к. у Платона идеи — по существу, живые Существа; вообще его идеализм подернут таким флером неопределенности и иносказательности, что можно ему давать разные толкования, из них кантианские (Наторп) самые худшие². Найдите в «Вопросах философии» статью моего покойного приятеля В.Ф. Эрн «Солнечное постижение Платона» (или что-то в этом роде; это было в годах от 10 до 15 приближенно): она необычайно оригинальна и смела; когда я ее читал, я как-то недоумевал, как же это понимать³. Сейчас, вспоминая ее (плохо) — я стою к ней гораздо ближе, и очень хотел бы перечесть, но уже не достать. Вы же в Москве сможете достать.

Насчет сродства платоновской «диалектики» с современной это уж — ах, оставьте. Из философов-классиков мне остается наиболее близким Лейбниц, только я принимаю монады с «окнами и дверями», а потому нет и нужды в «предустановленной гармонии»⁴.

Ваше сообщение о смерти Г.И. Чулкова было мне горестно⁵. Я его знал с 1905 г., всегда мы были с ним в добрых отношениях, хотя редко виделись, и я всегда сохранял к нему симпатию и уважение. Как писателя-беллетриста и по статьям я его мало ценю, но поэтическое дарование у него было бесспорное, и он его напрасно «забросил»; у него были прелестные вещи. Я как-то надеялся, что еще с ним увижусь. Еще из москвичей, кроме Вас, я очень хотел бы повидать Волжского и Г.А. Рачинского (но он едва ли жив; ему было бы около 80 лет)⁶. Да еще кое-кого из прежних, для меня «молодых», философов Москвы хотел бы я повидать. Москва была богаче дарованиями, чем Ленинград. Приехать мне в Моск-

ву было бы очень и очень мудро по разным основаниям, но все же мое появление в Москве остается одним из моих «бессмысленных мечтаний».

Пребываю я здесь в прежнем положении у того же кротчайшего хозяина, хотя его чрезмерная кротость создала за последнее время некоторые опасения, как бы его не выжили из его собственного дома люди не столь кроткие (ну тогда, конечно, и мне пришлось бы убраться). Уроки есть, но все же они лишь наполовину меня содержат и я еще должен находить опору в своих. Теперь, когда уже весна на носу, я начинаю храбриться и питать в своей душе разные «бессмысленные мечтания». А Вы все-таки напишите, получили ли Вы мое январское письмо с Великим Новгородом¹. Будьте здоровы и благополучны. Очень, очень хотел бы с Вами повидаться.

Ваш С.А.

¹ Пропущено шесть писем, в основном, бытового содержания. 10 марта 1937 г. Аскольдов радуется, что Золотареву удалось вернуться из Рыбинска в Москву, сообщает, что собирается исполнить свой долг по отношению к А.Н. Шмидт и «выразительно и убедительно изложить, что в ней и замечательно и высоко ценно». 3 марта и 11 июля 1938 г. сообщает о том, что дает уроки математики. 11 августа и 19 сентября 1938 прилагает свои стихотворения. 8 января 1939 г. сообщает, что в прошлом октябре ему удалось побывать у сестры в Киеве, которую он не видел уже 24 года, здесь же стихотворение, посвященное А.А. Золотареву.

² Наторп Пауль (1854-1924) — немецкий философ, неокантианец, наряду с Г.Когеном — ведущий представитель марбургской школы. Толкованию Платона посвящена его книга *УЧЕНИЕ ОБ ИДЕЯХ ПЛАТОНА. Введение в идеализм (PLATON IDEENLEHRE. Eine Einführung in den Idealismus von Paul Natorp. Leipzig, 1903)*. В свете отношения Аскольдова к кантианству понятно, почему толкования Наторпа он считает «худшими». В *МЫСЛИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ* гносеологии марбургской школы посвящены III и VII главы. Здесь Аскольдов писал: «И числа пифагоризма, и единое Парменида, и идеи Платона — все это были именно единства не человеческой только мысли, но единства жизни и бытия, стоящие над человеческой мыслью и ее лишь пробуждающие» (с.123). Об отношении Аскольдова к Платону см. также его работу *О ЛЮБВИ К БОГУ И ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ* (1907).

³ Эрн Владимир Францевич (1881-1917) — христианский философ. Аскольдов — автор некролога ему, в котором писал: «Но даже в среде своих идейных единомышленников Эрн временами играл роль своего рода "неистового Роланда", воинственные порывы которого приходилось укрощать /.../ Для Эрна Логос Христианского откровения уже присутствовал в иной форме обнаружения и в эллинской культуре и философии, главным образом, Платона» (с.131-133). Статья Эрна, о которой идет

речь в письме: «Верхование постижение Платона» («Вопросы философии и психологии», 1917, №137/138, с.102-173). 3 сентября 1939 г. Аскольдов в письме к Золотареву вновь возвращается к ней: «Она безусловно интересна, написана очень патетически, но на мой взгляд как-то слишком взвинченно, слишком утонченно в смысле истолкования и слишком преувеличенно и сложно. Быть может, я ошибаюсь и недооцениваю Платона».

⁴ Монады, согласно Г.В. Лейбницу, не могут как идеальные сущности влиять друг на друга, т.е. «не имеют окон и дверей в окружающий мир», в то же время каждая монада — «малый мир», «сжатая вселенная», отражающая отношения мирового целого. Между монадами существует, таким образом, согласованность и единство. Противоречие это решается, по Лейбницу, в результате «предустановленной гармонии», положенной Богом, подобно тому, как часовщик заводит часы.

⁵ Чулков Георгий Иванович (1879-1939) — писатель, поэт, в последние годы жизни — литературовед. В 1904 г. Чулков был приглашен редакционным секретарем в «Новый путь», где, вероятно, и произошло его знакомство с Аскольдовым, который также сотрудничал в журнале.

⁶ Волжский (наст. фамилия Глинка) Александр Сергеевич (1878-1940) — критик, литературовед. В начале века пришел к религиозно-философской проблематике. Печатался в журн. «Богословский вестник», «Новый путь», «Вопросы религии».

Рачинский Григорий Алексеевич (1859-1939) — литератор, переводчик, философ и общественный деятель. Редактировал три последних тома собр. соч. В.С. Соловьева; полное собрание сочинений Ф.Ницше на русском языке; редактор издательства «Путь», где выходили книги Аскольдова; сотрудничал в журналах «Северное сияние», «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль»; председательствовал в московском религиозно-философском обществе, в обществе свободной эстетики и др. Последние годы жизни занимался в основном переводами.

В письмах, опущенных нами при публикации, Аскольдов просил Золотарева сообщить ему адрес Волжского, а затем, войдя с ним в переписку, сообщал, что Волжский по-прежнему очень хороший и интересный человек.

⁷ Речь идет о письме 2 настоящей публикации.

4 (лл.25-26 об.)

Из Новгорода

2 марта 1939 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Уже давненько получил я Ваше письмо от 16 февраля. Ваши соображения, что ум иногда бывает не безделицей, а «злоделицей» в каком-то смысле верны. Но ведь и верно в каком-то смы-

сле утверждение Сократа, что истина и разум есть то же, что благо и добро. Итак три мнения: 1) ум — безделица, 2) ум — злоделица, 3) ум — добро. Из этого антиномического («диалектического») столкновения я выхожу различием в уме формы и содержания. Ум как формальная способность может быть приложен ко всякому материалу, а главное — ко всякому узкому горизонту. И тогда он может быть и безделицей и злоделицей. Но если под умом разуметь не формальную только способность, но напитанность опытом мировой действительности и непременно образом мира, как *целого*, то он *не может* не быть путем к благу и добру. (Это отчасти тема соловьевской «Критики отвлеченных начал»; «отвлеченных», т.е. оторванных, разрозненных в противовес «конкретности» как «целостности»)¹.

Вы упомянули Гете. Любите ли Вы его соразмерно его прославленности? Представьте, я к нему очень холоден. Люблю я у него лишь «Вертера», некоторые стихи, «Эгмонта», только кое-что в «Вильгельме Мейстере». Но то, что считается самым главным — «Фауста», как целое, как идейное произведение определено не люблю. По-моему, Гете в этой вещи просто запутался идеологически и целую жизнь искал, как бы с честью разделаться с этим сюжетом. Я говорю про целое. Но отдельные сцены, даже фразы превосходны. По-моему, Гуно взял все нужное и ценное и сделал бессмертную гениальную оперу; нет, неверно: сцена в кухне у ведьмы очень хороша и в погребке. А все же Шиллера я больше люблю.

Мне было чрезвычайно приятно прочитать Вашу цитату из Анны Ахматовой. Вы, кажется, прежде и мало ее знали, и не ценили. Я ее очень высоко ставлю и люблю. Я с ней был слегка знаком в период [19]25-28 годов. Вот уже два года я все добивался ее адреса, чтобы еще раз именно теперь, когда она сошла со сцены, засвидетельствовать ей мое уважение и прочее и прочее. В самом конце января мне наконец удалось ее повидать, но она была нездорова и приняла меня в постели. Я посидел у нее четверть часа; поговорить очень мало удалось (да и она вообще очень, очень молчалива), но я получил впечатление, что в ней еще большой запас жизни и вероятно творчества².

Идея Вашего приятеля о «заслуженном собеседнике» очень хороша. Их бывает и много, а не один. Но, к сожалению, встречи с ними не в нашей власти, и бывают периоды, когда мы их лишены и надолго. Почти весь [19]31 год мне просто не с кем было поговорить и часть 32 г.³ Эта идея побуждает меня к одной к Вам просьбе. Отчасти в 32, а отчасти в 33 году у меня появилась «заслуженная собеседница», но я потерял всякий ее след. Это дочь быв-

шего профессора психологии в Москве Александра Петровича Нечаева⁴ — Тамара Александровна. Я ее (да и ее очень милого мужа) очень часто вспоминаю и дорого бы дал, чтобы найти к ним путь хотя бы письмом. Не можете ли Вы что-нибудь узнать о местопребывании этой семьи? (жены, дочери). Ну, кончаю. Будьте добры и здоровы. Надо бы еще перед смертью повидаться.

Ваш С.А.

Если не читали, то прочитайте Виноградова «Три цвета времени». Книга — исторический роман — довольно исключительная по таланту, серьезности и психологической тонкости, и там Ваша Италия⁵.

¹ *КРИТИКА ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ* — докторская диссертация В.С. Соловьева, защищенная им в Петербургском ун-те в 1880 г. Этические вопросы рассмотрены им в главах III-IX. В конце книги Соловьев писал: «В этической части настоящего исследования мы пришли к утверждению известного порядка мировой жизни — всеединства, как безусловно желательного, мы нашли, что только такой порядок /.../ может заключать в себе верховную норму для нашей воли и деятельности» (Собр. соч. в 10 тт., т.2 [1911-1913], с.335).

² В 1920-е гг. Аскольдов высоко отзывался о творчестве Ахматовой: «Вообще поэзия Анны Ахматовой исключительна по простоте поэтических путей и средств»; ее «поэтический язык может делать чудеса лаконичности» (*ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ИСКУССТВЕ СЛОВА*, с.325; см. также с.326, 332, 333, где автор сравнивает Ахматову с Гейне).

³ В 1930-1933 Аскольдов находился в ссылке в Коми-Зырянской обл.

⁴ Нечаев Александр Петрович (1870-1948) — психолог, педагог и литератор. Преподавал и вел научную работу в Петербурге и Москве, основатель первой в России лаборатории экспериментальной психологии (1901).

⁵ Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888-1946). *ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ* (1931) — историко-биографический роман о Стендале.

В работах Золотарева времени его пребывания в Италии отразилась история движения Рисорджименто, поучительность которого для России он, вослед Герцену, подчеркивал.

5. (лл.30-32 об.)

Из Новгорода

13 июля 1939 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!¹

На днях получил я Ваше письмо от 1 июля — впервые настоящее афинское². Позавидовал я Вашим прогулкам с Алешей, т.е. и

ему и Вам. Правда, у меня тут имеется один из моих ближайших друзей, но он до того затерт службой и семьей, что он всегда передо мною в одну десятую своего существа, да и то изредка³. Вы пишете о моих «поручениях» в отношении «Вопросов философии». Я что-то не помню, чтобы их было много. Я Вам очень советовал и советую прочесть статью Эрна о Платоне (кажется, заглавие «Солнечное постижение Платона»), собственно, о диалоге Федр». Она необычайно оригинальна и многозначительна. Но когда я ее читал (лет 25 назад), я не мог понять в том аспекте, который возник у меня лишь недавно в связи с прочтением книги Шюре «Evolution Divine»⁴. Я и сам ее охотно перечел бы, но в последнюю поездку мне не удалось достать тот номер (это приблизительно было в годы 1911-15). Да и вообще весь комплект номеров «Вопросов» — очень ценная вещь — там имеется очень много ценных статей, не потерявших своего значения, особенно Лопатина⁵; с 1904 г. и я там не раз печатался, но по вопросам побочного характера (кроме статьи 1904 г.). Что Вы часто передумываете астрономическую проблему, это очень хорошо. Она имеет для христианства значение самого острого взрывающего конфликта (недаром Бруно подвергся сожжению). Но надо научиться так с нею справиться, чтобы она не взрывала, а лишь создавала идеологическую реформу, если угодно эволюцию. О создании человека из «персти» наиболее глубокомысленная догадка у Анны Николаевны Шмидт⁶.

Как это Вы умудряетесь за всем следить (и Резерфорд, и Вавилов). Что первый есть большая величина в теории атома — это несомненно, но второй, имя которого часто появляется в газетах, мне неведом. Что касается Джеймса Джинса, то я дорого дал бы, чтобы мне опять попалась в руки его замечательная книга «Вселенная вокруг нас»⁷ или вообще что-либо. Ваши соображения о «сопряженности» мира для меня сейчас имеют наиболее актуальное значение и как-то особенно психологически подчеркнулись Вашими строками. Удивительна «психология» мысли. В нас много мыслей давно известных (вроде «сопряженности»), но они часто «живут» в нас словно «в тени» и даже почти «во мраке», еле брезжащие в сознании, но иногда их что-то (часто формулировка в устах другого) словно подчеркнет и поставит во всей ясности на первый план, и они получают жизненную актуальность. Вы умеете как-то отовсюду выкапывать афоризмы и т.п. Что «долг путь усталому и длинна ночь в бессонницу» это верно, но что «непонятен мир глупому» — это не совсем так, ибо упрощенное понимание мира есть именно скорее удел глупого, которому все кажется просто. Впрочем «непонятен» может пониматься в двух смыслах

— субъективным и объективным (в последнем смысле изречение более верно).

Вы мне все желаете долголетия. Уж право не знаю, чего мне самому желать; иногда жить интересно и как будто смысл жизни не пропал, а главное, «не свел еще концы с концами», не подведен «баланс» или «итог»; а иногда кажется уже бесполезным и даже горестным существование, ибо часто оно именно «влечется» без пользы для себя и для других (разумею «пользу» в широком смысле). И последнее бывает тогда, когда сильнее одолевает и чувствуется старость. А это лето я наиболее остро ее почувствовал. Даже зрение, которым я всегда мог похвалиться, что-то изменяет мне, стал видеть как-то мутно. Вообще какой-то душевный упадок и усталость, все тянет на постель; и чем меньше работы, тем более я «устаю». Лето — наиболее для меня легкое время, когда я сбрасываю с плеч с десятков лет, мчится неимоверно быстро, зацвели липы (середина лета), дни укорачиваются. И покупаться почти не удалось. И нет никакого творческого вдохновения; как бы ни были малоценны его плоды, оно мне всегда давало большое удовлетворение и душевный подъем. И ничего не читаю вот уже два месяца. Апрель и май я был очень загружен уроками, потом с месяц бездельничал, а сейчас бывают урочки почти каждый день (готовлю в вуз). Согласно установленному уже закону природы, у меня и это лето живет мой любимый внук, но как-то я не могу добраться до его души, которая всецело поглощена крокетом, волейболом, футболом и вообще игре с мальчишками, которых около нашего дома легион. Он очень послушен, необычайно весел и добродушен, никогда не капризничает, но ребячлив как восьмилетка, а ему уже 14 и он перешел в 8-ой класс. Вы мне никогда не подтверждаете получение моего последнего письма. А пропажа писем это мой пунктик, и я не знаю, получили ли Вы мое письмо от середины июня со «Сковородой»⁸. Будьте здоровы, благополучны.

Ваш С.А.

¹ Опущены письма от 3 мая и 13 июня 1939 г. В первом Аскольдов сообщает, что загружен уроками и с нетерпением ждет лета. Во втором — жалуется на плохое состояние здоровья, сетует на невозможность поехать в Москву, приводит свои стихотворения.

² 3 мая 1939 г. Аскольдов шутил: «писать по-спартански я не привык, а на афинскую многоречивость /.../ пороха не хватило».

³ Вероятно, имеется в виду также находившийся в то время в Новгороде и служивший в Колмовской больнице психиатр, историк и философ Иван Михайлович Андреевский (1894-1976). Арест Аскольдова в 1928 г.

был, возможно, связан с деятельностью кружка ленинградской интеллигенции, собиравшегося у Андреевского. Их судьбы были сплетены и позднее: они вместе оказались в предместье Берлина в 1945 г.

⁴ Шюре Эдуард (1841-1929) — французский философ. Речь идет о его книге *L'EVOLUTION DIVINE DU SPHINX AU CHRIST*. Paris, 1913.

⁵ Лопатин Лев Михайлович (1855-1920) — русский философ, профессор Московского ун-та, с 1905 — редактор журн. «Вопросы философии и психологии». «Как философ Л.М., — писал Аскольдов в некрологе Лопатину, — не принадлежал к категории открывателей новых горизонтов. И в гносеологии, и в метафизике он примыкал к широкому руслу лейбницианства».

⁶ «С тех пор каждый потомок Адама, плотью и душой происходя от первобытно оживленной Богом крупницы праха, духом происходил от Бога» (ук. соч., с.58).

⁷ Джинс, Джеймс Хопвуд (1877-1946) — английский физик и астрофизик. Русский перевод книги *ВСЕЛЕННАЯ ВОКРУГ НАС* вышел в 1932 г.

⁸ К письму от 13 июня 1939 г. Аскольдов приложил стихотворение, в котором проводит параллели между собой и украинским философом, просветителем и поэтом Григорием Саввичем Сковородой (1722-1794), проведшим значительную часть жизни в странствиях по Украине в качестве бродячего философа-наставника. Аскольдов высоко отзывался о книге В.Ф. Эрн *Г.С. СКОВОРОДА* (М., 1912).

6. (лл.34-34 об.)

Из Новгорода

[Осень 1939]

/.../¹ Затем должен сказать, что ближайшее начальство мое: m-те директор и m-те завуч, очень симпатичные и культурные дамы с очень сильным характером, и вообще состав учительской почти исключительно женский мне симпатичен, но отношения внешние, чисто служебные. И один из классов (9-ый) по составу, очень счастливому, мне очень симпатичен, а с 8-ыми я провожу уроки в непрестанных битвах и трудно сказать, кто кому больше наносит ран, пожалуй, они мне.

На внутреннюю жизнь, на чтение времени и сил не остается. Я очень рад, что Вы хоть и поздно оценили Соловьева. Ведь это он, перед которым я всегда преклонялся и кого считал в важнейших пунктах моего мирозерцания после моего отца своим учителем, которого я имел счастье видеть в годы студенчества и слышать его речи с кафедры и особенно его последнее выступление в марте 1900 года, которое меня потрясло и совершенно перевер-

нуло²; до этого я его не понимал и не ценил, да просто и не знал как писателя (только речи слушал) и 2 раза виделся, когда он был у моего отца (в последний раз он меня покори́л своим обаятельно ласковым со мной обращением). Но все же скажу Вам, что лучшее и важнейшее у него вовсе не то, что попало в «Вопросы философии и психологии», а все же его статьи по философии истории и с публицистическим уклоном, а также его «Россия и вселенская церковь»; да и «Оправдание Добра», ну, конечно, и «Три разговора» замечательны³. Он мне иногда снится и это меня всегда приводит в величайшее во сне волнение, но надо сказать, что всегда бывает во сне так, что я к нему стремлюсь, а он на меня не обращает внимания. А стихи, стихи его, некоторые недосыгаемы, например «Три свидания» и «Колокольчики» №2⁴.

Итак заключаю — летом приезжайте в Новгород и пока дайте о себе знать. Поосвобожусь и я напишу побольше, а пока да хранит Вас Бог...

¹ Опушена открытка из Новгорода в Рыбинск от 3 сентября 1939 г. Начало письма №6 не сохранилось.

² Воспоминания Аскольдова о последнем выступлении Соловьева опубликованы в его работе *В ЗАЩИТУ ЧУДЕСНОГО*: «В наше время о чудесах говорят обыкновенно с улыбкой. /.../ Пишущему эти строки пришлось наблюдать такую улыбку недоумения и даже сожаления на лицах многочисленных слушателей, собравшихся весной 1900 г. на публичную лекцию В.С. Соловьева "О конце всемирной истории"». Как известно, в этой лекции, вошедшей впоследствии под названием "Повести об антихристе" в последнее произведение Соловьева "Три разговора", излагались чудесные события в духе христианской эсхатологии. Публике, ожидавшей по-видимому исторической и публицистической разработки темы, пришлось выслушать преисполненную религиозного энтузиазма художественную иллюстрацию к евангельским пророчествам. В результате лебединая песня покойного философа была выслушана с ледяным равнодушием и быть может только уважение к имени и обаятельной личности оратора охранило ее от обидного осмеяния» (с.431). Позднее Аскольдов сравнивал «Краткую повесть об антихристе» с «Легендой о великом инквизиторе» Достоевского. (*РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО*, с.30, 31).

³ Аскольдову были близки эсхатологические настроения позднего Соловьева: «Вл.Соловьев любил историю именно как божественный план. Неизбежным следствием этой любви было желание воспроизвести хотя бы в слабой человеческой мысли завершение этого плана. Пророческие чаяния В.Соловьева, его интерес к эсхатологии, — все это проявление этой любви к идеям божественного» (*О ЛЮБВИ К БОГУ И ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ*, с.119, 120).

⁴ Речь идет о стих. «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 г.).

22 января 1940 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Я уже недели две, как получил Вашу открыточку, да все это время находился под гнетом то болезни, то попросту какого-то небывалого по своей свирепости мороза (у нас один день было утром 45°С). Болезнь у меня была довольно неприятная — гемоколит, но она мне дала два приятных дня: жена и дочь, вообразив, что мне угрожает смерть, приехали ко мне на два дня, когда я был уже почти здоров; и мы хорошо провели два дня. Но если кто угрожал моей жизни, то это мороз. Два раза, идя в школу, я не был уверен, что доберусь живой: сердце работало какими-то толчками и боль заставляла меня останавливаться каждые десять шагов, приходилось заходить в гостиницу, принимать сильно действующее лекарство и идти уже с облегчением. Ведь *лишь* учащимся предоставлено было не ходить в школу. Ну да и я два дня пропустил. Вчера морозы сбавились, и я начинаю воскресать. Правильно представил Данте 2-ой круг ада в ледяной стуже, — нет ничего мучительнее холода; правда, черти еще меня не поджаривали на сковороде, но я думаю, что все же это легче. Вчера я послал сыну как всегда на день его рождения шуточное стихотворение; так как шуточное в нем смешано с серьезным и задушевным, то переписываю его Вам /.../¹

Я вопреки обычным взглядам литературной критики вовсе не считаю «Фауста» лучшим произведением Гете, если брать драму в целом со второй частью.

То, что Гете возился с этой вещью чуть не всю жизнь показывает, что он хотел развернуть в ней какую-то идею-замысел, но ничего ясного и отчетливого не выходило, но он и не мог бросить то множество прекрасных сцен и отдельных частей, из которых состоит вся первая часть, и в итоге вышла какая-то вымученная вторая часть — аллегория без четкого истолкования. Гете слишком усложнил и захотел углубить сюжет «Фауста», но углубления-то и не вышло. И хорошо в «Фаусте» именно то, что без всяких глубин, что картинно и жизненно и последняя строчка об «*ewig Weibliche*». Но вот тут и центр замысла «Фауста». Гете угадал (а потом биографически пережил), что самая острота восприятия «*ewig Weibliche*» принадлежит старости, а вовсе не молодости. В этом трагизм не имеющей возраста, а иногда всегда юной души, заключенной в старом теле. Только после всего опыта жизни, а главное *только после самых острых испытаний* начинаешь *понимать* и умом,

и чувством, и интуицией (*необычайно обостренной*), что красота есть последнее звено мировых предначертаний и что ее воплощение есть «*ewig Weibliche*», которое смотрит на нас со страниц истории и литературы и из окружающей действительности тысячью женских глаз, голосов, жестов и всего музыкального ритма женской души. И вот это лишь намечено, но не развернуто Гете. Это же частично разворачивается в различных трактовках Дон-Жуана². Это же в известном аспекте выражено и развернуто в Дон-Кихоте. А из писателей наилучше поняли и выразили это Достоевский и Кнут Гамсун («Мистерии»)³.

Ну будьте здоровы и хранит Вас Бог. /.../

¹ Стихотворение опущено нами.

² Другой вариант осмысления этой темы мировой литературы, хронологически совпадающий с приведенным, дан в стихотворении Г.С. Габаява (конец 30-х гг.): «Иов, Фауст, Дон-Жуан... / Трижды в испытанье дан / Темной силе человек, / Разно в их различный век» (ОР ГПБ, ф.1001, ед.хр.34, л.4).

³ Гамсун Кнут (1859-1952) — норвежский писатель. Роман *МИСТЕРИИ* (1892, русский перевод М.П. Благовещенской — М., 1910).

8. (лл.40-40 об.)

Из Новгорода

12 марта 1940 г.

/.../¹ В одном из последних писем Вы писали о Писареве. Вы знаете, из группы его современников и соратников я его ставлю на первое место. Добролюбов был по-видимому прекраснодушнее, но по-моему мало талантлив и просто неинтересен. Чернышевский был у них самый ученый и образованный, но тоже по-моему скучноватый. А Писарев выразил всю эту идеологическую линию с максимальным блеском, талантом и резкостью. Вы знаете, в 1909 или 1910 году я провел лето с семьей в одной деревеньке (Лялино) Тверской губ., где в былое время живал народник Слепцов² и там же живал Писарев, и мой хозяин, крестьянин, уже близкий к старости, в возрасте подростка знал их и помнил их обоих. Два крупных таланта погибли нелепо в молодости, не успев раскрыться: Писарев и Лассаль.

Вы вспоминаете и Чайковского. Я его очень, очень люблю. Онегина готов слушать всегда, особенно письмо Татьяны. «Средь шумного бала» — это «король» среди романсов. Чайковский —

никогда не умирающий, как и Глинка, и Даргомыжский, но они все превзойдены и «покрыты» новым наслоением музыкальных «откровений», принадлежащих у нас Римскому-Корсакову и в Норвегии Григу. Скрябина я не понимаю. У меня еще более обострилась жажда музыки, вероятно, потому, что она еще менее утолена, чем года три назад, когда по радио передавалось еще очень много прекрасной музыки; теперь это очень редко бывает.

Итак, весна у порога: я живу среди весны и лета. И что бы ни сулило нам летом колесо истории, я жду возможности гулять без пальто и даже среди ночи и чувствовать себя помолодевшим на десять лет. А что Вам мешает побывать в Новгороде летом — финансы или здоровье?

Ну, будьте здоровы и благополучны.
Душевно Ваш С.А.

¹ В пропущенной нами открытке от 23 февраля 1940 г. и начале настоящего письма рассказывается о работе учителем, о желании съездить в Ленинград, состоянии здоровья; содержится рекомендация Золотареву «присмотреться к Тютчеву».

² Слепцов Александр Александрович (1835-1906) — революционный деятель, один из основателей «Земли и воли».

9. (л.43)

Из Новгорода

17 июля 1940 г.¹

«И вспять рекой, вскипающей со дна,
К своим верховьям хлынут времена...»²

Дорогой Алексей Алексеевич!

Получил Вашу открытку. Очень рад, что Вы теперь, видимо, как следует прочувствовали это замечательное по силе произведение мне некогда близкого автора (это не значит, что мы с ним разошлись, нас разъединило пространство и время; кроме того, его внутренняя сущность мне не совсем понятна, и да и ему самому не понятна, как он мне признавался при последнем свидании). Жив ли он? Он лет на пять старше меня. Ведь то, что напечатано, это только последняя треть, а первые две трети так и не появились в печати, а они не слабее. А по теме и вдохновенной торжественности это нечто напоминающее державинские оды (они прекрасны и теперь несмотря на устаревший язык). Гениальное никогда не стареет.

В данную минуту передают по радио отрывки из «Дон-Жуана» Моцарта (одно из лучших мест — арию Дон-Жуана перед балконом Эльвиры) и мне хочется плакать: так это хорошо и так не-возвратно хорошо, ибо вся эта старинная эротика, вообще психика — невозвратима; люди не понимают, что психика и даже такие основные эмоции, как любовь, получают разные обертоны в зависимости от всего окружения, нельзя одинаково любить при пулеметах, пушках, танках, аэропланах, как любили при шпагах, мечах и конном и пешем передвижении, нельзя так любить в толстовке с наганом на боку, как любили в плаще и при шпаге. Со всякой эпохой безвозвратно отмирают драгоценнейшие обертоны жизни (а в обертонах вся музыка). И ничто так не передает эти обертоны, как музыка. Мой сын, отчасти как сюрприз мне, приобрел радиолу и, когда я месяц назад приехал к своим, неожиданно для меня поставил пластинку из «Лоэнгина» — песню Граала (лучшее место оперы), я был так потрясен этим прямо с неба данным музыкальным откровением, что слезы начали течь неудержимо.

О своей жизни что написать. Готовлюсь уже к наступающему учебному году. Ни один предмет не поглощает столько времени для подготовки, как математика; а ведь, в сущности, я очень юный преподаватель. Мой хозяин продал дом, и мне пришлось перебраться в нижний этаж того же дома. На улице легион мальчишек и вообще жить стало беспокойнее и никогда не был таким мизантропом, как теперь.

Ваш С.А.

¹ Опущена открытка от 7 июня 1940 г., где излагаются переживания по поводу политических событий в Европе.

² Из венка сонетов Вячеслава Иванова «Два града».

10. (л.15)

Открытка из Новгорода в Москву.

12 марта 1941 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Вашу открытку с поздравлением на днях получил за десять дней до моего «юбилея». Как это Вы все помните или Ваша волшебная книжечка помогает¹. И как Вы узнали о смерти Бергсона? Я его очень высоко ставил особенно последнее время, когда прочитал его уже более поздние статьи (около 20-х годов)². Я никак

не думал, что Вы так долго задержитесь в Ленинграде (я в конце января Вам в Москву писал). Как себя чувствуете и имеете ли работу? Какие перспективы на лето? Я еще не теряю надежду с Вами повидаться. Как-то мало удалось поговорить в последний раз. Много, о чем хотелось поговорить, уже потом всплывает в голове, когда собеседника уже нет. Я живу без особых перемен; впрочем мой близкий «юбилей» дает себя чувствовать: моя старость, долго стоявшая на месте, эту зиму пошла более быстрым ходом. Боли очень затрудняют ходьбу, особенно вторую половину дня, а так в основном пока еще благополучно. Теперь получил возможность читать. Перечитал мало мною любимую «Анну Каренину» и только теперь очень высоко оценил эту вещь.

Будьте здоровы.

¹ В 1936-1949 гг. Золотарев работал над мемуарно-очерковой книгой (*SANCTO SANCTO MOEY ПAMЯТИ: ОБРАЗЫ УСОПШИХ В МОЕМ СОЗНАНИИ*. — Неиздано; рукопись — в ЦГАЛИ, ф.218).

² Бергсон Анри (1859-1941) — французский философ. Аскольдову близка была его философия времени. Он писал: «Существует громадная разница в философском и физическом смысле понятия времени. К сожалению, этой разницы обыкновенно не замечают, несмотря на то, что сущность и последствия подмены времени онтологического физическим исчерпывающе разъяснены Бергсоном». (*ВРЕМЯ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ*, с.82). При этом Аскольдов считал, что интуитивизм и вообще гносеология Бергсона не закончены, особенно в области взглядов на природу, возникновение общих понятий, проблемы чистой мысли и отношение понятий к опыту. (*МЫСЛЬ И ДЕЙТЕВИТЕЛЬНОСТЬ*, с.165).

11. (лл.46-48)

Из Новгорода

14 апреля 1941 г.¹

Дорогой Алексей Алексеевич!

Да, поаукаться с Вами очень нужно, но хотелось бы *viva voce*². Не знаю, почему Вы с такой безнадежностью смотрите на возможность поездки это лето хотя бы в Новгород (ну, Киев, это конечно сложнее и рискованнее). Хотя мировая война все более стягивается около нас, но совсем все же не похоже, чтобы этим летом у нас могла возникнуть война. Все же главное дело в вопросе о передвижениях — это финансовые обстоятельства и здоровье. У меня и то, и другое, а особенно последнее, является большим тормозом. Моя старость лет шесть словно стояла на одном мес-

те, а этой зимой приобрела ускоренный шаг. Все труднее и труднее (вернее, больше) становится ходить. Только натошак и могу сравнительно безболезненно ходить. Отсюда директива профилактическая: всегда быть натошак. Ну, да это еще полбеды, я все боюсь совсем в калеку превратиться, т.е. не быть в состоянии ходить и себя самообслуживать. Но надеюсь, Бог этого не попустит и пошлет своевременную смерть.

Вы задумываетесь о целесообразности и провиденциальности в истории. Что мудреного, что эти идеи в наше время исчезли из мысли. Ведь они же вяжутся лишь с определенным мирозерцанием. Но вот даже я при своем мирозерцании все больше убеждаюсь, что история в основном движется, как Вы выражаетесь, «самотеком». И это вполне понятно: ведь именно при таком естественном ходе ее, исторический опыт дает *научение*.

Правда, самая сущность естественного хода и его законов таковы, что позволяют предвидеть его основные повороты и итоги (да и то не нам). Лишь очень немногое попадает под направляющую руку Провидения, которое, конечно, «смотрит» на историю, но предоставляет ей развиваться естественным ходом (притча о плевелах и пшенице)³. Правда, есть соблазны некоторые моменты рассматривать как вторжение (помощь) сверху, но в общем недоумеваешь. Но уже гораздо явственнее это вторжение чувствуется в личной жизни отдельных людей и особенно в отношении самого себя; тут иногда получается чувство уверенности. А как сейчас хотелось бы помощи грекам и сербам — по-моему, это симпатичнейшие из балканских народностей. И греки показали, что дух ахиллесов и одисеев в них еще не умер. А люди вообще в основной своей массе плавают в жизни, как щенки в море. Только избранное попадает под опеку, заботу и внимание. По-моему должна быть такая молитва, вся суть которой сводится к мольбе «Господи, посмотри на меня». (Впрочем, чем это отличается от и «Господи, воззвах к тебе?»).

То, что Вы называли «послекоперниковским геоцентризмом», это ведь в существе дела «антропоцентризм», вообще практический позитивизм; струя его была и у Ницше (все ценности — в пределах эмпирической действительности, и за пределы ее не выходит), и «сверхчеловек» — это лишь последняя ступень зоологической лестницы.

Я подобно Вам заглядываю туда-сюда в книжки и читанные и нечитанные. Но Вы имеете большие возможности. Я вот, например, Паскаля очень мало знаю и хотел как-то восполнить этот пробел, но книг нет. Сейчас уткнулся в Диккенса, которого к старости стал больше ценить. На днях кое-что новое прочитал у неис-

черпаемого Чехова. Еще на днях ко мне пожаловал случайно Блок (однотомник посмертный)⁴. Я еще раз проверил свое отношение к нему. Я и лично с ним встречался, но мы чуждались друг друга. Как поэта, я его очень высоко ставлю, но его прозаические вещания меня всегда раздражали. Едва ли был человек, столь беспомощный и бестолковый в области мысли и в то же время столь уверенно и горделиво творивший суд и расправу в области общественных и идеологических течений. В жизни он держался очень скромно и говорил тихим скромным голосом, что дало повод А.Белому в его памфлетических характеристиках написать: «Пришел Блок и скромным голосом рассказывал, как он горел на ледяном костре и не сгорал» («Кубок метелей»)⁵. Впрочем, этим же отличался и А.Белый, только он говорил не скромным голосом, а иногда истушенно визжал и метал молнии.

Иногда нахожу отраду в музыке (рядом радио и патефон с недурными пластинками). Но, впрочем, редко выпадает музыка по моему вкусу (надо сказать, что и в джазовом репертуаре, и из кинофильмов имеются очень талантливые и задушевные песни; и у того же Дунаевского имеются прелестные вещи вроде песни Груши из кинофильма «Вратарь»).

Будьте здоровы и благополучны.

Пишите чаще.

Ваш С.А.

¹ Фрагмент из письма напечатан в «Литературном наследстве», т.92, кн.3, М., 1982, с.478.

² В беседе, при разговоре (лат.)

³ Евангелие от Матфея 13: 24-30; 13: 37-43.

⁴ Блок А. *ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ*. Посмертное издание, подготовленное автором. Л.-М., 1924.

⁵ Точный текст из *КУБКА МЕТЕЛЕЙ* А.Белого (М., 1908): «Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулк снежный костер. Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: "Я сгорал на снежном костре". На другой день всех объездил Волошин, воспевал "чудо св. Блока"» (с.24). Об этом произведении Белого Аскольдов писал: «Можно сказать, что вся эта симфония есть, между прочим, и поэма о времени в разных его аспектах. Характерен и меток здесь символ времени в виде струи, бьющей в подставленную чашу. Когда наполнится чаша, перестанут изливаться в нее временные струи и прошлое вернется» (*ВРЕМЯ И ЕГО РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ*, с.171). Позднее Аскольдов был первым, кто исследовал «симфонию» Белого как жанр (*ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ БЕЛОГО*).

12. (л.49)

Открытка из Новгорода в Москву

7 мая 1941 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

/.../¹

Я очень грущу о греках. Какое безобразие: даже Олимп осквернили своими бомбами. Как все это безобразие пережили Зевс и все небожители, которые, конечно, не умерли, а лишь скрылись с человеческого горизонта. А Фермопилы! Леонид с 300 воинами не пропустили через Фермопилы целое войско, а англичане не смогли удержать немцев. Вы меня натолкнули на Паскаля, читаю его отрывистые «Мысли» и кое-чем восхищаюсь.

Ваш С.А.

¹ Опущен фрагмент, касающийся состояния здоровья.

13. (л.50)

Открытка из Новгорода в Москву

[22 мая 1941 г.]¹

Дорогой Алексей Алексеевич!

Я тоже на днях прочитал о смерти Ивана Михайловича Гревса² и доволен, что успел еще зимой отдать ему дань симпатии и уважения. Пока жил в Ленинграде, мы с ним не бывали друг у друга и встречались лишь случайно. Ведь для сближения, особенно в суеде столичной жизни, мало общности основных мыслей, нужны еще какие-то иные консонансы, каковых у нас с ним видимо не было в те времена. Но иные времена создают консонансы там, где их не было. Не знаете ли более точно, от чего он умер. У него тоже были начальные признаки грудной жабы. Вообще наша секта «жабистов» получает все большее распространение. Я эти дни читал три книжки современного английского романиста Голсуорси. Он очень значительный писатель: 1) хорошо «подаёт» современную Англию; 2) очень тонкий психолог; 3) в его сюжетах много духовного изящества и благородства (заслуга англичан).

Где Вы теперь? Сообщите о себе; вообще пишите чаще. Ваши письма и открытки мне очень дороги: голос друга, особенно последнего, как лекарство для болеющей души.

¹ Датируется по почтовому штемпелю.

² Гревс Иван Михайлович (1860-1941) — историк поздней античности и средневековья, педагог, общественный деятель, краевед, создатель экскурсионного метода, профессор С.-Петербургского (затем Ленинградского) ун-та.

14. (л.51)

Открытка из Новгорода в Рыбинск

28 июня 1941 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», сказал Тютчев в своем бессмертном «Цицероне». Близкое к этому сказал Пушкин в речи Председателя («Пир во время чумы»)¹. Вот и к нам всем подошли эти «минуты роковые»; они все мерещились в какой-то неопределенной дали и вдруг нагрянули. И раздваивается душа: с одной стороны, в ней звучат мысли и настроения, созвучные стихам Тютчева, а обывательская сторона души впадает в разные тревоги и опасения. Мне удалось лишь на три дня съездить повидаться со своими, да и то дочь старшую не удалось повидать (она была на даче). Мечтал, что она проведет со мной месяц, и теперь все эти мечты рухнули. Что о себе сказать, кроме этого (по существу всегдашнего) раздвоения души на верхний и нижний этаж. О себе лично я не тревожусь, и не беспокоюсь, но о всех своих очень; они-то ведь не успели себе достроить прочный 2-ой этаж (это дело всей жизни). Все они с испорченным здоровьем (кроме младшей). Хорошо в такие минуты быть одиноким. Напишите о себе, Алеше Карамазове. Обнимаю. Ваш С.А.

¹ Вероятно, Аскольдов имеет в виду след. строки Пушкина из *ПИРА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ*: «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Незъяснимы наслажденья — / Бессмертья, может быть, залог, / И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог».

15. (л.52)

Открытка из Новгорода в Рыбинск

6 августа 1941 г.

Дорогой Алексей Алексеевич!

Имел после начала войны от Вас одну открытку. Как себя чувствуете? О себе что сказать. Душевно спокоен и готов ко всему,

но конечно нервы не вполне повинуются душе и в острые моменты тревожно дергаются, но потом быстро налаживаются. И моя грудная жаба иногда реагирует, но не очень сильно. Мои семейные все разбросаны. Сын с семьей и младшая дочь в Ленинграде на своих квартирах, а старшая дочь с женой недалеко от Рыбинска в Никоузском районе с детским садом. Им там хорошо. Одна беда: дочь мою нагрузили сотнею детей, а весь штат из шести человек (в том числе моя жена), и они очень устают. И каково ей: быть заменой почти сотни матерей и за всех нести ответственность и это при ее больном сердце и радикулите. Но не теряю веры в свидание с ними, а тогда и с Вами, наверно.

Будьте бодры и здоровы, дорогой друг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А.Сергеев. МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ С.А. АСКОЛЬДОВА

1. Основные проблемы теории познания и онтологии. СПб., 1900.
2. Тейхмюллер. — Энциклопедический словарь. СПб., 1901, т. XXXII а (64), с. 768-769.
3. Философия и жизнь. Проблемы идеализма. М., 1902, с. 196-216.
4. Фантазия. — Энциклопедический словарь. СПб., 1902, т. XXXV (69), с. 294-295.
5. Феноменализм. — Там же, т. XXXVa (70), с. 487-490.
6. Фехнер. — Там же, с. 631-635.
7. Фихте младший. — Там же, т. XXXVI (71), с. 59-62.
8. Фрошаммер. — Там же, т. XXXVIa (72), с. 821-823.
9. [Рец.] О сочинении профессора Мюнхенского университета Т. Липса «Основы логики». Перевод Н.О. Лосского. СПб., 1902. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1902, ч. 344, с. 218-225.
10. Мышление, как объективно обусловленный процесс. — «Вопросы философии и психологии», 1903, кн. 66, с. 80-95.
11. Чудо. — Энциклопедический словарь. СПб., 1903, т. XXXIX (77), с. 12-19.
12. Шеллинг. — Там же, с. 443-454.
13. Шлейермахер. — Там же, т. XXXIXa (78), с. 686-690.
14. В защиту чудесного. — «Вопросы философии и психологии», 1903, кн. 70, с. 431-474; там же, 1904, кн. 71, с. 1-61.
15. Теория новейшего критицизма. — «Вопросы философии и психологии», 1904, кн. 74, с. 520-549; там же, кн. 75, с. 601-621.
16. Этика. — Энциклопедический словарь. СПб., 1904, т. XLI (81), с. 146-164.

17. Я (в философии). — Энциклопедический словарь. СПб., 1904, т. XLI (81), с. 465-467.
18. Разложение марксизма. — «Новый путь», 1901, №12, с. 86-115. [Атрибуция предположительна. Статья подписана: Алексеев].
19. О романтизме. — «Вопросы жизни», 1905, №2, с. 20-51.
20. Имманентная философия. — Энциклопедический словарь. Дополнительный том. СПб., 1905, т. Ia (2/д), с. 821-825.
21. [Рец.] Т. Липпс. Основные вопросы этики. Пер. с нем. М. А. Лихарева под ред. Н. О. Лосского. СПб., 1905. — «Вопросы жизни», 1905, №6, с. 275-279.
22. [Пер.] Маркс К., Энгельс Ф. Буржуазия, пролетариат и коммунизм. Перевел С. А. Алексеев. Издание 2-е. Одесса, 1905.
23. [Пер.] Маркс К. Нищета философии. Перевод С. А. Алексеева. Издание 1-е и 2-е. Одесса, 1905.
24. [Ред.] Энгельс Ф. От классического идеализма к диалектическому материализму. Перевод А. Горвиц и С. Клейнер, просмотренный С. А. Алексеевым. Одесса, 1905.
25. [Пер.] Маркс К. Нищета философии. Перевод С. А. Алексеева. Издание 3-е. СПб., 1906.
26. Христианство и политика. — «Труды Киевской духовной академии», 1906, №6, с. 230-268; там же, №7, с. 428-453. То же (отдельный оттиск). Киев, 1906.
27. Новая гносеологическая теория Н. О. Лосского. — «Журнал министерства народного просвещения», 1906, ч. V, октябрь, с. 413-441.
28. Иуда и «другие» в понимании Л. Андреева. — «Век», 1907, №23, с. 359-362.
29. О любви к Богу и любви к ближним. — «Вопросы философии и психологии», 1907, кн. 86, с. 110-147.
30. [Рец.] Лапшин И. Законы мышления и формы познания. СПб., 1906. — «Журнал министерства народного просвещения», 1907, ч. X, с. 172-188.
31. [Полемика с А. И. Введенским.] Религиозно-философское общество в Петербурге. — «Живая жизнь», 1907, №1, с. 57-61.
32. О старом и новом в религиозном сознании. — «Записки С.-Пб. религиозно-философского общества» [СПб.], 1908, вып. 1.
33. Старое и новое в религиозном сознании. — «Вопросы религии», вып. II, М., 1908, с. 193-222.
34. Святые как выразители христианства. — «Живая жизнь», 1908, №2, с. 12-30.
35. К вопросу о гносеологическом интуитивизме. — «Вопросы философии и психологии», 1908, кн. 94, с. 561-570.
36. [Совм. с Л. Андреевым, Н. Лосским, Д. Мережковским, В. Успенским, Д. Философовым.] Письмо редактору «Слова». — «Слово», 1909, 3 февраля, с. 5.
37. Русское «богоискательство» и Владимир Соловьев. — «Русская мысль», 1912, №3, с. 34-41.
38. [Рец.] Антонов Н. Р. Русские светские богословы и их религиозно-

- общественное миросозерцание. Т. I, СПб., 1912. — «Русская мысль», 1912, №7, с.255-257.
39. Алексей Александрович Козлов. М., 1912.
40. [Рец.] Радлов Э.Л. Владимир Соловьев: Жизнь и учение. СПб., 1913. — «Русская мысль», 1913, №9, с.335-336.
41. Время и его религиозный смысл. — «Вопросы философии и психологии», 1913, кн.117, с.137-173.
42. Внутренний кризис трансцендентального идеализма. — «Вопросы философии и психологии», 1914, кн.125, с.781-796.
43. Мысль и действительность. М., 1914.
44. [Выступление в прениях об отношении общества к деятельности В.В. Розанова.] — «Записки Петроградского религиозно-философского общества», вып.IV [Пг.] 1914-1916.
45. О связи добра и зла. — «Христианская мысль», 1916, кн.4, с.32-44; там же, кн.5, с.57-69. То же [отдельный оттиск] Киев, 1916.
46. Памяти В.Ф. Эрна: Некролог. «Русская мысль», 1917, кн.5/6, с.131-134.
47. Сознание как целое: Психологическое понятие личности. — «Психологическое обозрение», 1917, т.1, №2, с.209-232; там же, 1918, т.1, №3/4, с.421-450. То же [отдельный оттиск] М., 1918.
48. Философия и религия Фехнера. — «Вопросы философии и психологии», 1918, кн.142, с.130-180.
49. Религиозный смысл русской революции. — «Из глубины». Сборник статей о русской революции. М.-Пг., 1918, с.7-45.
50. Гносеология. Пб., 1919.
51. Достоевский как учитель жизни. — «Артельное дело», 1921, №17/20, с.7-15.
52. Аналогия как основной метод познания. — «Мысль», 1922, №1, с.34-54.
53. Памяти Л.М. Лопатина: Некролог. — «Мысль», 1922, №1, с.150-151.
54. Время и его преодоление. — «Мысль», 1922, №3, с.80-97. (Публикация не завершена в связи с прекращением выхода журнала).
55. Религиозно-этическое значение Достоевского. — Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А.С. Долинина. Сб.1, Пг., 1922, с.1-32.
56. Творчество Андрея Белого. — «Литературная мысль». Альманах. Пг., 1922, №1, с.73-90.
57. Психология характеров у Достоевского. — Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А.С. Долинина. Сб.2. М.-Л., 1924, с.5-27.
58. Форма и содержание в искусстве слова. — «Литературная мысль». Альманах. Л., 1925, №3, с.305-341.
59. Концепт и слово. — «Русская речь». Сборник. Новая серия II. Под ред. проф. Л.В. Щербы. Л., 1928, с.28-44.
60. Дух и материя. — «Новые вехи», Прага, 1945, №2.

А.И. Андреев
ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО
БУДДИЙСКОГО ХРАМА

Буддийский (тибетский) храм, построенный в Петербурге в начале XX века, был задуман не только как молельня для проживавших в российской столице буддистов. Он мыслился как важный центр буддизма в Европейской части России и даже Европы в целом. До сих пор храм остается крупнейшим буддийским молитвенным зданием на европейском континенте. Это изначально придавало постройке политическую окраску, которая становилась тем более отчетливой, чем более углублялись отношения между Россией и Тибетом. Полностью осуществить эти замысли помешала Первая мировая война и последующие события.

Буддийская община в Петербурге стала складываться в конце XIX века. Согласно переписи населения 1869 г. в городе был зарегистрирован лишь один буддист, записавшийся разночинцем. В 1897 г. насчитывалось уже 75 буддистов, а в 1910 г. — 184 (163 мужчины и 21 женщина)¹. Для сравнения: в начале XX века в Петербурге проживало более 34 тысяч иудаистов и около 7 тысяч мусульман при полуторамиллионном христианском населении.

Автор выражает искреннюю признательность проф. С.Д. Дылыкову, А.И. Бреславцу, А.А. Терентьеву за предоставленные материалы и А.В. Кобаку за помощь в работе над статьей.

¹ С.-Петербург по переписи 10 дек. 1869 г. СПб., 1872, вып.1, с.126-127; Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г.: Город С.-Петербург. СПб., 1903, т.37, тет.11, с.50-51; Петроград по переписи 15 дек. 1910 г. Пг., б.г., ч.1, вып.1, с.269.

Появление в столице небольшой горстки буддистов не осталось незамеченным. В 1900-х гг. они привлекли к себе внимание благодаря проникшим в печать сообщениям о предстоящей постройке в столице буддийского храма². Сообщения эти вызывали резкие протесты со стороны правых групп (напр., Союза Русского Народа), усмотревших в факте строительства иноверческого храма чуть ли не «возвращение язычества на Святую Русь». Выразили тревогу и некоторые лидеры православного духовенства, обеспокоенные не столько строительством «идольского капища» в столице «христианского царства», сколько случаями перехода в буддизм православных³. Эти случаи участились после манифеста 17 октября 1905 г. о свободе совести и вероисповедания и особенно постановления Государственной Думы от 26 мая 1909 г. «о праве свободно переходить из христианской религии, не исключая и православия, в религии еврейскую, магометанскую и языческие».

Что же представляла собой петербургская «буддийская колония» того времени? В этническом отношении это были в основном буряты, бурят-монголы и калмыки — выходцы из мест традиционного исповедания буддизма (Забайкалье, Астраханская и Ставропольская губернии). Приезжая в Петербург по своим делам, они нередко подолгу проживали в городе. Имелись буддисты среди обучавшихся в столичных учебных заведениях (только в одном университете более 20 человек), а также среди низших чинов в казачьих частях, расквартированных в Петербурге.

Некоторое число адептов буддизма составляли русские, главным образом, представители петербургского высшего света и интеллигенции. Это были своего рода богоискатели, которые в мистических культах Индии и Тибета видели некую универсальную религию будущего. Особо следует упомянуть европейских буддистов, прежде всего англичан, немало способствовавших распространению буддизма среди петербургского бомонда. Их энтузиазм достиг такой степени, что сэр Эдвард Чемпли, по сообще-

² Вот некоторые из них: Буддисты в Петербурге. — «Биржевые ведомости», 1900, 5 мая; Постройка буддийского храма в Петербурге. — «Новое время», 1910, 31 января; О пожертвованиях на Буддийский храм. — «Биржевые ведомости», 1910, 17 декабря; Крест и бурхан. — «Колокол», 1912, 1 ноября; В буддийском храме. — «Новое время», 1913, №13273 и т.д.

³ См., напр.: «Колокол», 1910, 7 февраля, №1170 (Письмо шталмейстера А. Трубникова в редакцию газеты); Катанский Л. В защиту столицы от язычества. СПб., 1910; Архимандрит Варлаам. Слово по поводу построения в Петербурге буддийского капища. СПб., 1912; ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.93 — письмо митрополита Антония от 30 октября 1910 г. на имя оберпрокурора Св.Синода; там же, л.100-101 — ходатайство Главного Совета Союза Русского Народа от 12 ноября 1910 г. на имя митрополита Антония.

ниям газет, даже отправился в Англию собирать деньги на буддийский храм в Петербурге⁴, к строительству которого первоначально предполагалось привлечь английского архитектора.

Наконец, буддистами были проживавшие в Петербурге иностранцы — японцы, китайцы, сиамцы и др. «Все они, — писала одна из газет, — группируются вокруг своих посольств, при которых устроены особые молельни-капища, где людям, исповедующим буддийскую веру, предоставлена возможность свободно отпраздновать свои религиозные обряды»⁵.

Единой общины в строгом смысле слова эти люди не составляли. Обряды они совершали небольшими группами в разных местах — на квартирах, в гостиничных номерах, частных домах или в молельнях при посольствах. Не было у них и конфессионального единства. Так, буряты и калмыки исповедовали ламаизм «школы добродетели» или так называемой «желтошапочной» секты гелуг, наиболее влиятельной в Тибете; к ламаизму тяготели и немногочисленные буддисты из русских. Буддизм же проживавших при дипломатических миссиях японцев, китайцев и других жителей Восточной и Юго-Восточной Азии имел свою специфически национальную окраску.

Необходимость в храме ощущалась не только буддистами. Заинтересованы в нем были и ученые-буддологи, представители блестящей петербургской востоковедческой школы, для которых с постройкой храма связывалась возможность непосредственного изучения живой буддийской традиции. Идея получила поддержку Академии наук, главным образом, в лице академиков В.В. Радлова и С.Ф. Ольденбурга.

Инициатором строительства и его фактическим руководителем стал человек, к тому времени хорошо известный как в буддийских, так и в буддологических кругах столицы. Его имя до сих пор пользуется немалым авторитетом у ламаистов — Агван Лобсан Доржиев (1853/54-1938)⁶.

⁴ Интервью с Э.Чемпли см. «Биржевые ведомости», 1909, 5 мая (Буддисты в Петербурге). В этой связи интерес представляют возможные контакты между петербургскими и лондонскими буддистами.

⁵ «Виленский вестник», 1909, 5 июня, №1817.

⁶ Биографические сведения о А.Доржиеве см.: Берлин Л.Е. Хамбо-Агван-Доржиев. — «Новый Восток», 1923, №3, с.139-156; ЦГИА СССР, ф.821, оп.150, д.476 — справка Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий о личности А.Доржиева и деятельности его среди ламаистов, населяющих Россию; автобиография Доржиева (на монгольском языке, рукопись) — ЛО ИВАН, Фонд монгольских рукописей и ксилографов, с.531, инв. №967. См. также ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, лл.28-31 (письмо Ф.И. Щербатского П.А. Столыпину от 7 июня 1909 г.)

Бурят по национальности, российский подданный, Доржиев получил богословское образование и титул Лхарамбо (высшая ученая степень в буддизме) в Брайбунском монастыре в окрестностях Лхасы, а затем стал духовным наставником (цан-шав-ханбо) и доверенным лицом тибетского Далай-ламы XIII Тубдан-Джамцо (1876-1933).

При дворе Далай-ламы он создал прорусскую политическую группировку, оказавшую большое влияние на внешнюю политику Тибета. С конца XIX века Доржиев выполнял негласную дипломатическую миссию посредника между Тибетом и Россией. Он стремился убедить русское правительство выступить в поддержку Тибета, который находился на грани утраты своей независимости, бессильный противостоять колониальной экспансии Британской империи и притязаниям своего старого сюзерена Китая. Незадолго до захвата Лхасы англичанами в 1904 г. Доржиев способствовал бегству Далай-ламы в главный город Внешней Монголии — Ургу (ныне Улан-Батор). Неоднократно приезжал он с письмами и подарками от Далай-ламы в Петербург (впервые в 1898 г.), где благодаря протекции князя Э.Э. Ухтомского, наиболее влиятельного из «великосветских буддистов», удостоился аудиенции у Николая II и завел связи в высшем обществе. «Осторожный, умный и молчаливый, — писала о нем одна из газет, — он исполняет поручение Далай-ламы, стараясь остаться незамеченным»⁷.

Немало услуг оказал Доржиев русским путешественникам, исследователям Центральной Азии — П.К. Козлову, М.В. Певцову, Д.А. Клеменцу, Э.Э. Ухтомскому, Ф.И. Щербатскому. В 1899 его приняли в Императорское Географическое общество на правах члена-соревнователя. Обладая живым и пытливым умом, находившийся в постоянных странствиях Доржиев заявил о себе и как исследователь — знаток религиозных культов и обычаев Тибета⁸.

Высокая ученость Доржиева, его близость к Далай-ламе, а также аудиенции, которых удостоил его Николай II, сделали его чрезвычайно популярным среди российских ламаистов. По их делам он неоднократно и не без успеха выступал ходатаем в правительственных учреждениях.

Нельзя не отметить и широкой миссионерской деятельности Доржиева по распространению буддизма среди забайкальских бу-

⁷ «Русское слово», 1910, 31 декабря, №301.

⁸ Пока обнаружена одна научная публикация: Доржиев А. Ло-гун-гье-бо: Один из религиозных обычаев в Лхасе. — Сборник в честь 70-летия Г.Н. Потанина. СПб., 1909, с.289-292.

рят и астраханских калмыков. Для последних на свои средства он построил две вероисповедные школы по типу бурятских дацанов, так называемые «чойра», в Малодербетовском и Икицохуровском улусах (Астраханская и Ставропольская губ., соответственно).

В 1908 г. Агван Доржиев передал в российский МИД ряд ходатайств тибетского Далай-ламы, в том числе просьбу о разрешении петербургским буддистам построить свой храм. Эта идея, хотя и выраженная от лица Далай-ламы, была, очевидно, инспирирована самим Доржиевым. Его стремление распространить буддизм на запад России, используя для этого свое влияние на бывшего «воспитанника», — далеко выходило за рамки простого миссионерства. Доржиев давно вынашивал идею объединения на культурно-экономической основе народов Монголии, Тибета и России, создания некоей «великой буддийской конфедерации»⁹. Для обоснования этой идеи ему пришлось обратиться к мифу о Шамбале¹⁰. Главенствующая роль отводилась России, которая, по мысли Доржиева, должна стать защитницей монголов и тибетцев от угнетения со стороны Китая, Японии и Англии.

В России видел спасение Тибета и Далай-лама, добровольный изгнанник в Урге. В начале 1905 г., после обострения отношений с Пекином, он неожиданно заявляет о своем желании переехать в «русские пределы», что поставило русскую дипломатию в довольно щекотливое положение. Опасаясь политических осложнений с Лондоном, русское дипломатическое ведомство не сочло возможным удовлетворить желание Далай-ламы. Дальнейшее развитие событий, в особенности после заключения англо-русской конвенции 18 августа 1907 г., передавшей Тибет в Британскую

⁹ См.: Записка о более тесном сближении России с Монголией и Тибетом, сост. А. Доржиевым 20 ноября 1907 г. (на имя председателя Русского Географического общества П. П. Семенова-Тянь-Шаньского). — Архив Географического общ., разряд 97, оп. 1, д. 1. В 1890-е гг. с идеей присоединения к России монголо-тибетско-китайских земель выступил также П. А. Бадмаев. Эти проекты различались чисто экономически: Бадмаев предлагал построить две железнодорожных магистрали вглубь Китая, тогда как Доржиев ратовал за создание частного торгово-промышленного дома, деятельность которого охватила бы всю Монголию и Тибет.

¹⁰ Шамбала — согласно тибетским преданиям, таинственное «царство», затерянное среди горных хребтов Центральной Азии, к северу от Тибета, населенное существами, достигшими духовного совершенства. По мнению американского ученого Эдвина Бернбаума, А. Доржиев успешно использовал пророчество о Шамбале в политических целях, убедив Далай-ламу, что Шамбала находится в России и поэтому следует искать союза с русским монархом, «царем Шамбалы». (Bernbaum Edwin. *THE WAY TO SHAMBHALA*. New York, 1980, с. 29). Об этом Доржиев написал отдельное сочинение на тибетском языке, что немало способствовало росту прорусских настроений в Тибете (см. Kawaguji Ekai. *THREE YEARS IN TIBET*. Vn-pares-London, 1909, с. 449-450).

сферу влияния, сделало еще менее вероятным сколько-нибудь активное вмешательство России в решение тибетского вопроса. Это не могло не вызвать у Далай-ламы глубокого разочарования. В январе 1908 г. Доржиев отправляется в Китай в монастырь У-Тай-Шань для новой встречи с ним. Оттуда он привозит в Петербург очередное послание русскому правительству, в котором, помимо прочего, содержится уже упомянутая просьба о постройке буддийской молельни. Сама мысль об устройстве молитвенного дома для буддистов в Петербурге, как кажется, родилась у Далай-ламы (а скорее всего, у Доржиева) не в 1908 г. и даже не в 1905, в связи с предполагаемым приездом Далай-ламы в Петербург. Еще в июле 1898 г. в журнале «Строитель» появилась крохотная заметка следующего содержания: «Ввиду большого количества лиц, исповедывающих буддийскую религию и проживающих постоянно в Петербурге, как нам передают, возбуждено ходатайство об открытии небольшой буддийской молельни, рассчитанной на 100-120 человек. Молельня будет помещаться в одной из центральных частей столицы»¹¹. По времени эта заметка совпадает с приездом Доржиева в Петербург, и следовательно, можно предположить, что ходатайство исходило от него. Речь тогда, правда, шла еще не о постройке, а только об открытии молельни, т.е. об устройстве ее в помещении, специально для этого не предназначенном.

Десять лет спустя Доржиев ходатайствует уже о постройке в столице молитвенного здания для буддистов. С чисто политической точки зрения Далай-лама и Доржиев, возможно, рассчитывали с ее помощью узаконить присутствие тибетской миссии в Петербурге, придать ей официальный статус с тем, чтобы в дальнейшем усилить нажим на слишком нерешительную русскую дипломатию.

Ходатайство Далай-ламы встретило понимание у министра иностранных дел А.П. Извольского. В своем отношении от 12 июня 1908 г. с грифом «весьма секретно» на имя министра внутренних дел П.А. Столыпина он пишет: «Принимая в соображение, что Далай-лама дружески расположен к России и что сохранение добрых с ним отношений имеет для нас существенное значение как с точки зрения политических интересов наших в Китае, так и в смысле возможности использовать в благоприятную сторону его влияние на наших подданных ламайского исповедания, я с особым вниманием отнесся к ходатайству его Святейшества... Что каса-

¹¹ «Строитель», 1898, №13-14, стб.540. Вероятно, к этому времени относятся первые контакты Доржиева с Г.В. Барановским, редактором-издателем журнала.

ется просьбы о разрешении сооружения храма, то я считаю долгом поддержать ее пред Вашим Превосходительством, в уверенности, что благосклонное отношение наше к этому желанию Далай-ламы произведет глубокое впечатление в нашу пользу как на него самого, так и на многочисленных ламаистов в пределах России»¹². Столыпин отнесся к просьбе Далай-ламы «вполне сочувственно» и разрешил постройку молельни. Соглашаясь на строительство буддийского храма, Петербург давал понять как Лондону, так и Пекину, что имеет с Лхасой прочную связь через своих подданных-ламаистов. В политическом контексте того времени такой «жест» вполне мог быть истолкован как желание России укрепить свое влияние в буддийской Монголии и Тибете.

16 марта 1909 г. Доржиев приобрел у жены потомственного почетного гражданина Е.И. Исаевой участок земли площадью в 648,51 кв. саженей, уплатив за него 18 тысяч рублей¹³, а также закупил часть необходимых для строительства материалов. Участок находился в Старой деревне, близ Елагина моста, на углу Благовещенской улицы и Липовой аллеи.

Место, выбранное для постройки храма, по всей видимости, не было случайным. Старая деревня была тихой дачной окраиной Петербурга, купленный участок выходил к реке — этим было соблюдено одно из основных требований буддийского строительного канона, который предписывал возводить храм в стороне от города, вблизи водного источника. Сам выбор места для храма был в буддизме сложным и многоэтапным ритуалом. Он начинался с молебствий и гаданий, в расчет принимались особенности ландшафта и астрологические приметы. Строго ритуализован был и весь строительный процесс.

Земля, приобретенная у Исаевых, некогда принадлежала отставному ротмистру В.М. Шишмареву¹⁴. С его дальним родственником Я.П. Шишмаревым, генеральным консулом России в Монголии, Доржиеву неоднократно доводилось встречаться в Урге. Возможно, именно он посоветовал выбрать для храма Старую деревню. Но и здесь, на окраине столицы, у буддистов возникали непредвиденные трудности. Неподалеку находилась православная Благовещенская церковь с прилегающим к ней приходским кладбищем. Противники постройки буддийской молельни не раз использовали это обстоятельство в качестве довода об оскорб-

¹² ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448 (1908), л.1.

¹³ ЦГИА, ф.1102, оп.2, д.110, л.1-10.

¹⁴ ЦГИАЛ, ф.51, оп.1, д.800 (предположительно 1823 г.) — План Санкт-Петербургской мызы Каменный нос (село Благовещенское тож).

лении религиозных чувств христиан. Вплоть до 1913 г. буддистам (в том числе и Доржиеву) официально запрещалось селиться в Старой и Новой деревнях.

Следующим шагом Доржиева было создание в начале 1909 г. строительного комитета, в который вошли 9 человек — академики В.В. Радлов (председатель) и С.Ф. Ольденбург, камер-юнкер Высочайшего двора князь Э.Э. Ухтомский, гражданский инженер Г.В. Барановский, художники Н.К. Рерих и В.П. Шнейдер, приват-доценты Санкт-Петербургского Университета В.Л. Котвич, А.Д. Руднев и Ф.И. Щербатской (уполномоченный по строительству). Заседания комитета проходили обычно на квартире художниц, сестер А.П. и В.П. Шнейдер (племянниц крупнейшего русского индолога И.П. Минаева) — Мастерская ул., 3. Два года спустя этот же комитет рассматривал возможность перевозки по морю древнего индуистского храма из Бомбея. В этом случае в Петербурге были бы представлены все основные религии мира. С этой идеей выступил Ф.И. Щербатской после возвращения в 1911 г. из командировки в Индию.

По предварительной смете общая стоимость храма не должна была превысить 90 тысяч рублей. Из них 50 тысяч обещал пожертвовать Далай-лама, 30 тысяч давал Доржиев, еще 10 предполагалось собрать среди бурят и калмыков. С этой целью одновременно со строительным комитетом Доржиев создал комитет для сбора пожертвований на постройку храма среди бурят и калмыков. Сбор средств был поручен ширетуям Гормаеву из Ацагатского дацана и Соктоеву из Цулгинского. Среди жертвователей называют и имя известного в Петербурге врача, лейб-медика П.А. Бадмаева¹⁵.

Строительство храма по плану, утвержденному Строительным отделом Петербургского губернского правления 15 апреля 1909 г., началось в конце апреля — начале мая. Темпы поначалу были стремительными. К 13 мая уже был возведен фундамент и часть цоколя. Однако 16 мая неожиданно последовало распоряжение градоначальника Д.В. Драчевского остановить работы. Причиной послужило письмо, полученное им от вице-директора Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий А.Н. Харузина. В нем (под грифом «секретно и срочно») довольно туманно говорилось, что «на возведение этой постройки в указанной

¹⁵ Деньги П.А. Бадмаевым были пожертвованы анонимно, во искупление греха, тяготившего его всю жизнь, — отказа от веры своих предков и принятия православия. Такое объяснение приводит внук Бадмаева Н.Е. Вишневецкий в своей «Записке» (находится в семейном архиве).

местности не было испрашено требуемого законом разрешения подлежащей власти»¹⁶.

В спешном порядке 7 июня Ф.И. Щербатской (Доржиев в это время находился в отъезде) обращается к П.А. Столыпину с прошением: 1) утвердить комитет по постройке; 2) разрешить постройку молельни на купленном месте и 3) установить примерный штат буддийского духовенства при молельне. Из прошения Щербатского мы узнаем о плане Доржиева устроить при храме монашеское общежитие со школой. «По замыслу Доржиева, — пишет Щербатской, — молельня должна быть "подворьем" буддийских монастырей (дацанов), ныне существующих у русскоподданных буддистов — бурят и калмыков»¹⁷. В случае разрешения на открытие такого подворья предполагалось запросить для него следующий штат: 1 ширетуй (настоятель храма), 10 лам-гелонгов, 10 гецулов и хуварак — всего 21 человек¹⁸.

Сложность, однако, состояла в том, что по существовавшему в Российской империи законодательству («Положение о ламском духовенстве в Восточной Сибири», введенное в 1853 г.) число буддийских молитвенных домов и количество состоящих при них духовных лиц было строго определенным и не предусматривало буддийской молельни в Петербурге. 17 июня 1909 г. П.А. Столыпину пришлось войти с докладом по ходатайству Щербатского к Николаю II. Делая уступку Департаменту Духовных Дел, опасавшемуся распространения буддизма в столице, он признал выбранное для молельни место непригодным «ввиду отдаленности его от центра города и затруднительности установки надзора со стороны гражданской власти за этим общежитием здешних буддистов»¹⁹. Посему он предлагает «разрешить в принципе постройку буддийской молельни в Петербурге, отклонив вместе с тем приведенное ходатайство о возведении ее на упомянутом участке земли в Старой деревне»²⁰. На докладе Столыпина император начертал лаконичное «согласен».

Такое решение поставило строительный комитет в весьма затруднительное положение. Практически оно означало запрещение постройки, поскольку при их ограниченных средствах буддисты

¹⁶ ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.13.

¹⁷ Там же, л.15 об.

¹⁸ Тибетские монахи по принятым на себя обетам делятся на три ступени: рабжуны, гецулы и гелуны (гелонги). Гелонги — высшая монашеская степень, которая присваивается принявшим на себя весь свод обетов буддийского монашеского кодекса Винаи. Хуварак — буддийские послушники или ученики.

¹⁹ ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.19 об.

²⁰ Там же.

были не в состоянии приобрести новый участок, да еще в центре города. В поисках компромисса комитету пришлось отойти от первоначального плана Доржиева. 28 июня В.В. Радлов вновь обращается к П.А. Столыпину с просьбой разрешить постройку храма на прежде избранном месте ввиду того, что комитет на заседании 22 июня постановил ограничиться сооружением одной лишь молельни (без общежития) и уже произведены затраты на покупку земли и строительных материалов. К прошению был приложен эскизный проект, выполненный гражданским инженером Г.В. Барановским. 30 сентября 1909 г. находившийся в Ливадии Николай II счел возможным удовлетворить просьбу. Окончательное утверждение проекта техническо-строительным комитетом МВД последовало 1 ноября 1909 г.²¹ Строительство храма было продолжено и через год завершено вчерне.

Принято считать, что проект буддийского храма принадлежит зодчему Г.В. Барановскому²². Его подпись стоит на всех трех вариантах проектных чертежей — предварительном, утвержденном и так называемом «заменительном». Тем не менее, исследователь бурятской архитектуры Л.К. Минерт считает, что автором архитектурной композиции здания был не Барановский, а Доржиев²³. Гипотеза кажется вполне вероятной. Доржиев несомненно мог быть если не автором, то соавтором проекта, разработка которого требовала обширных специальных знаний в области буддийского зодчества. К тому времени он обладал уже некоторым опытом — можно напомнить хотя бы о возведенных при его содействии двух «чойра» в Калмыцкой степи. Одновременно с Петербургским храмом, как пишет Минерт, Доржиев строил деревянный храм в Верхоленском уезде Иркутской губернии также с помощью русского архитектора Р.А. Берзена. «Главной особенностью архитектуры этих сооружений, — отмечает Минерт, — является ее ориентация на классический тибетский тип храма — ”дукан“»²⁴.

²¹ ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.50.

²² ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ЛЕНИНГРАДА. Изд.4-е. Л., 1976, с.466; Б.М. Кириков, С.Г. Федоров. Зодчий-энциклопедист: О творческом пути архитектора Г.В. Барановского. — «Ленинградская панорама», 1985, №2, с.32.

²³ Минерт Л.К. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ БУРЯТИИ. Новосибирск, 1983, с.174.

²⁴ Там же, с.174. Об устройстве тибетского дукана см.: Барадийн Б.В. Путешествие в Лавран: Буддийские монастыри на северо-восточной окраине Тибета. — «Известия РГО», 1908, т.44, вып.4, с.211-213; Его же. Буддийские монастыри: Краткий очерк. — В кн.: Богданов М.Н. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА. Верхнеудинск, 1926, с.130.

Дукан (дуган) — это четырехугольное с плоской крышей здание, своего рода храм-школа, где ламы собираются для молебствия и занятий. Принадлежит он монастырю, у которого таких храмов-дуканов может быть несколько. В этом случае главный из них называется «цогчэн-дуган», что означает «дом большого собрания».

Здание тибетского дукана состоит из двух половин — южной, где находится основное помещение для собрания духовных лиц («зал молебствия»), и северной, расположенной в задней части дукана и называемой «гонканом» (бур. «гонхон»). Южная половина или собственно дукан — это просторный зал, разделенный двумя рядами колонн на три части. Между колонн вдоль храма помещаются сидения лам, чжабданы. Молитвенный зал не имеет окон — свет в него проникает через особое «световое приспособление» на крыше. Во втором этаже дукана вдоль стен расположены кельи монахов в виде небольших комнатушек с наружными окнами. Стены внутри храма было принято расписывать картинами религиозного содержания. Вдоль северной стены молитвенного зала устанавливали статуи божеств, в середине отводилось место для изображения (бурхана) Цзонхавы — основателя гелугской школы. Напротив него — трон первенствующего ламы. Из дукана через двери в северной стене можно было войти в «гонкан». Это наиболее недоступная, сокровенная часть храмовой постройки, предназначенная для совершения молений местному божеству. Крышу гонкана, возвышающегося в виде башни над дуканом и обращенного на север, к Шамбале, венчают «ганчжиры» (букв. «полные сокровищ») — особой формы декоративные фигуры, заполнявшиеся печатными молитвами на освящение храма. В западной половине гонкана, в особом помещении устанавливаются одна или несколько статуй гениев — хранителей храма, восточная половина отводится под субурганы со святыми мощами.

Аналогичное архитектурно-планировочное решение мы находим и в Петербургском храме, построенном как отдельное молитвенное здание и не связанном, подобно тибетскому дукану, с монастырским комплексом. Форма основного объема храма с его характерными, суживающимися кверху наружными стенами, опоясывающий здание фриз, украшенный магическими зеркальными дисками, и многие другие элементы декора имеют тибетское происхождение. Однако, Петербургский храм испытал и некоторое влияние бурятской традиции — ее следы заметны в архитектурном решении главного фасада. Вместе с тем, восточные прототипы были в значительной степени переосмыслены в духе европейской архитектуры и строительной техники. «В Петербургском храме,

— пишет Минерт, — все, начиная от структуры плана, объемно пространственного решения до трактовки декоративных деталей, подвергалось явной европеизации. В этом сказалось участие русского архитектора и архитектурно-строительные возможности столицы империи»²⁵. Так, для облицовки стен использован гангутский гранит, что придало облику здания не характерный для тибетских построек «северный» колорит.

Между тем, в 1910 г. по соседству с недостроенным еще храмом с необычайной поспешностью началось строительство четырехэтажного каменного дома, возводимого по проекту Г.В. Барановского. Поспешность была, по-видимому, вызвана ожидавшимся в начале 1911 г. приездом в Петербург Далай-ламы. 30 ноября 1911 г. для наблюдения за строительством храма в этом доме поселился Доржиев. Вместе с ним в качестве управляющего домом жил его сподвижник, калмык-буддист Овше Норзунов, прославившийся как первый фотограф «запретной» для европейцев Лхасы, столицы Тибета²⁶. Позднее здесь проживал выписанный для производства внутренних работ в храме столярный мастер бурят Ринчин Занхатов, казак-бурят Цокто Бадмажапов²⁷, служивший у Доржиева тибетец Чонпил и другие лица буддийского вероисповедания²⁸. В 1913 г. в доме останавливалось монгольское посольство в Петербург, а через два года в нем развернули городской лазарет для мобилизованных на тыловые работы бурят. Таким образом, несмотря на запрет властей, Доржиев настойчиво пытался вернуться к своему изначальному плану — построить при храме дом-общежитие для буддистов.

В 1911-1912 гг. строительный комитет начинает испытывать серьезные финансовые затруднения, вследствие чего строительство было приостановлено. Дело в том, что пожертвованные Далай-ламой деньги поступили в распоряжение комитета с большим опозданием. Лишь в начале 1913 г. Доржиев привез их в Петербург вместе с тибетскими украшениями для храма. Дополнительные средства для завершения храма были выделены в 1913 г. мон-

²⁵ Минерт, ук. соч., с.175.

²⁶ В тибетском представительстве Доржиева образованный и принадлежащий к дворянскому сословию О.Норзунов выполнял функцию письмоводителя. Не раз Доржиев использовал его в качестве посыльного для связи с Лхасой. Снимки Лхасы Норзунов сделал во время путешествия в Тибет в 1901 г. по заданию РГО. Эти уникальные фотографии экспонировались вместе с фотографиями Г.Ц. Цыбикова на 1-ой Буддийской выставке в Эрмитаже. См.: Цыбиков Г.Ц. *ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ*. Т.1. Новосибирск, 1981, с.234, прим.8.

²⁷ О Ц.Бадмажапове, участнике экспедиции П.К. Козлова по Тибету в 1899-1901 гг. см.: Козлов П.К. *МОНГОЛИЯ И КАМ*. М., 1947, с.318-320.

²⁸ ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.183.

гольским Богдо-ханом²⁹ из собственной казны. Общая сумма затрат в результате сильно превзошла запланированные 90 тысяч.

Немало хлопот доставила строительному комитету отделка здания, растянувшаяся на несколько лет. Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий был категорически против каких-либо украшений фасада молельни, опасаясь, что они придадут ей демонстративный характер и могут оскорбить верующих христиан столицы. Поэтому Барановскому пришлось «пересоставить» первоначальный проект. Новый проект был утвержден 2 декабря 1910 г. Изменения в нем коснулись исключительно фасада: двери из золоченой бронзы Барановский заменил на деревянные, а золоченые капители колонн — на темно-бронзовые. Однако лишить молельню вообще каких-либо украшений министерство не решилось. Радлову удалось отстоять необходимость буддийских символов на фасаде здания. «Без них, — пишет он, — молельня потеряет свой стиль»³⁰. Речь идет о колоколообразных надставках на крыше (чжалцанах), о фризе с зеркальными дисками «толи», призванными отпугивать злые силы, и об установке над порталом буддийского символа веры — восьмирадиусного колеса вероучения («хурдэ») со стоящими по обе стороны от него ланями — аллюзия на первую бенаресскую проповедь Будды. Колесо и лани были установлены лишь в 1915 г.; тогда же был водружен на крышу гонкана медный позолоченный ганчжир³¹.

Зал молебствий традиционно разделяли два ряда колонн. Центральную часть перекрывал стеклянный свод, пропускающий свет внутрь храма, в верхнем этаже находились монашеские кельи. Здесь же отвели помещение для библиотеки и кладовые для хранения храмовой утвари, картин и музыкальных инструментов. Принадлежности для ламаистских ритуалов Доржиев заказал в специальных мастерских в Пекине и Долон-Норе, куда отправил для этого свое фамильное золото. Эти предметы были доставлены в Петербург двумя большими партиями задолго до окончания отделки — в июле и ноябре 1910 г. Значительная часть храмовой утвари была пожертвована.

В северной стене зала молебствий находился алтарь с трехметровой статуей Будды из гипса (впоследствии ее предполагалось заменить бронзовой). Перед Буддой на возвышении поме-

²⁹ Хутухта Джебдзун Дамба (1870-1924), последний глава ламаистской церкви в Монголии. В годы автономии Монголии (1911-1919) — богдо-хан (неограниченный монарх) монгольского феодально-теократического государства.

³⁰ ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.158 об.

³¹ Ганчжир был сброшен с кровли храма в 1941 г. Его нижняя часть сохранилась в сильно поврежденном виде.

щался «трон» для священнослужителя самого высокого ранга. В центральной части вдоль колонн стояли два длинных стола с атрибутами культа — колокольчиками, ваджрами, раковинами, священными книгами в виде длинных бумажных листов и т.п. Между колоннами были развешаны буддийские иконы — танки с изображениями тантрийских божеств.

По обе стороны от алтарной ниши располагались двери, ведущие в гонкан. Строго говоря, алтарь находился в самом гонкане, на его первом этаже. Над ним, на втором этаже, был еще один, малый алтарь, более сокровенный и поэтому доступный лишь для немногих лам-монахов. В нем помещались две позолоченные статуи — сидящий Будда Шакьямуни из сандалового дерева и стоящий бронзовый Будда Майтрея. Первую статую подарил храму в 1914 г. сиамский король Рама VI Вачировуд, вторую — русский консул в Бангкоке Г.А. Плансон. Впоследствии статуя Будды Майтреи была утрачена, а Будду Шакьямуни перенесли в нижний алтарь и установили перед большим Буддой.

Трудности вызвало и утверждение штата духовных лиц при храме. Определенный штат был положен лишь для бурятских дацанов и калмыцких хурулов, входивших в состав монастырей и имевших монашеское общежитие. Поэтому штат в 21 человек, первоначально запрошенный Щербатским, утвержден не был. МВД требовало, чтобы храм в Петербурге был одиночным молитвенным зданием без какого-либо общежития при нем. 15 марта 1912 г. В.В. Радлов в записке на имя нового директора Департамента Духовных Дел А.А. Макарова пытался разъяснить особый характер буддийских культовых сооружений. «В буддийском мире, — пишет он, — вообще нет отдельных молитвенных зданий, которые не были бы связаны с монашескою общиной, так как вне такой общины подобное здание не имеет *raison d'être* /.../ Буддийские службы производятся не отдельными духовными лицами, а обязательно целыми их группами»³². Но тщетно. Окончательно штат духовенства был утвержден Николаем II лишь 2 мая 1914 г. и включал 9 человек, в том числе 5 лам-гелунгов, из них 1 ширетуй — настоятель храма. Этим лицам было разрешено проживать при храме «без учреждения, однако, при нем монашеского общежития по правилам ламаистского культа»³³. Для службы в храме по рекомендации Доржиева в столицу были командированы 3 ламы из Забайкалья, 2 из Ставропольской и 4 из Астраханской губерний. С их приездом в 1914 г. окончательно оформи-

³² ЦГИА, ф.821, оп.133, д.448, л.162 об.

³³ Там же, л.245 об.

лась петербургская буддийская община, объединившая монахов-лам и мирян-ламаистов, главным образом, из числа проживавших в Петербурге бурят и калмыков.

Богослужение в храме, отделка которого еще не была окончена, впервые состоялось 21 февраля 1913 г. и было приурочено к 300-летию Дома Романовых. Отметим, что ламаисты обожествляли «белых царей» — русских монархов еще со времен Екатерины II, объявленной воплощением Белой Тары³⁴. На юбилейные торжества в Петербург съехались почетные гости, в их числе главный лама Забайкальской области (носивший титул Бандидо-Хамба-лама) Даши Доржи Итигелов, а также чрезвычайный и полномочный посланник монгольского правительства князь Ханда Доржен и др. Храм был украшен русскими национальными флагами и ритуальными флагами Тибета с вышитыми на них буддийскими эмблемами. «Все духовные лица были в живописных одеждах желтого и красного цветов и парчевых головных уборах, напоминавших по форме фригийские колпаки. Богослужение состояло из молитв под звуки колокольчиков», — писала газета «Новое время». После молебствия с речами выступили Итигелов и Доржиев, которые подчеркнули, что «торжественное собрание буддистов в Петербурге является результатом милостей к их единоверцам со стороны русского царя». На первом богослужении присутствовали путешественник П.К. Козлов и русские буддисты — «княгиня Дундукова, несколько офицеров во главе с полковником ген. штаба И. и два воспитанника училища правоведения»³⁵.

После начала Первой мировой войны в буддийском храме, так же как в православных и других церквях Петрограда, устраи-

³⁴ В 1913 г. в Петербурге появилась книга ламы Дамбо Ульянова «Предсказание Будды о доме Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибете в 1904-1905 гг.», в которой автор делает попытку возвести династию Романовых к потомкам легендарного царя Сучандры, первого правителя Шамбалы. Последний русский монарх («Белый Царь») почитался ламаистами как воплощение милосердной Цаган Дара-Эхэ (Долмы или Зеленой Тары). Это одно из главных божеств в пантеоне северного буддизма, разновидность богини-матери. Тара появляется в пяти разноцветных обликах, среди которых особой популярностью пользуется зеленый. Земным воплощением Зеленой Тары, кроме Николая II, была объявлена и жена последнего Богда-хана Монголии.

³⁵ Здесь и выше — «Новое время», 1913, 22 февраля, №13273. Автор заметки искажил фамилию: имеется в виду не Дундукова, а кн. Тундутова Олизета Бегалиевна, известная в Петербурге буддистка, имевшая свой салон. Князья Тундутовы принадлежали к калмыцкому ханскому роду, происходящему из Дербетовского уезда. По-видимому, их титул не был утвержден Российским Департаментом Герольдии. Одна из буддийских школ, построенных Доржиевым для калмыков, находилась рядом с имением Тундутовых Червленое (Ставропольской губ.). Еще одним «великосветским» буддистом был барон Л.Л. фон Фелькерзам (см. «Русское знамя», 1910, 12 октября).

вались молебствия о «победе русского воинства» (так называемые «джуд-хуралы»). В 1914 г. по инициативе Доржиева и Итигелова был создан комитет по сбору пожертвований среди бурят и калмыков на нужды фронта. В 1930-е гг. этот факт был использован для обвинения ламаистов в поддержке империалистической войны.

Освящение буддийского храма последовало 10 августа 1915 г. Совершил его согласно ламаистским обрядам Агван Доржиев. Есть основания считать, что храм был освящен в честь божества Калачакры (тибетское — Дуйнхор), представляющего собой персонификацию тайного учения того же названия, по преданию происходящего из Шамбалы³⁶. Об этом говорят некоторые детали отделки и элементы внешней орнаментики: щиты с узором — монограммой Калачакры, установленные во фризе, знак Калачакры на капителях колонн портика, изображение свастики, выложенное плитками на полу зала молебствий. В первые годы открытия храма богослужения в нем проводились нерегулярно. Буддийская община словно бы не хотела афишировать своей ритуальной практики. Сохранялась опасность погрома со стороны крайне правых — сам Доржиев и другие буддисты не раз получали по почте анонимные письма с угрозами убить их и взорвать храм. Тяготы военного времени, в особенности резкое подорожание жизни в Петрограде, оказались слишком обременительными для буддийских лам — весной 1917 г. они начинают покидать столицу.

Что касается Доржиева, то после Февральской революции он всецело отдает себя политической и религиозно-реформаторской деятельности. При его непосредственном участии в Петрограде был создан Бурятско-Калмыцкий комитет, объявивший себя «Центральным органом по делам государственного строительства в Бурятии и Калмыкии»³⁷. Кроме Доржиева, от бурят в комитет вошли ширетуй Петроградского храма С.Ж. Жигжитов, известный ученый-монголист, лектор Университета Б.Барадийн (1878-1938) и другие буддисты, проживавшие в столице. В планах будущих преобразований, которые намечал Доржиев, Петроград-

³⁶ Калачакра (санскр., буквально — «Колесо времени») — 1) эзотерическое учение, одна из систем буддийской ваджраяны. По преданию, сам Будда незадолго до своего ухода из жизни (махапаринирваны) преподавал его у ступы Дханьякатака на юге Индии царю Сучандре. Сучандра повелел затем вырезать проповедь Будды на золотых досках и сделал ее главным учением Шамбалы; 2) хронологическая, а также календарная система, распространенная в Центральной и Восточной Азии.

³⁷ См.: Герасимова К.М. *ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ БУРЯТСКОГО ЛАМАИСТСКОГО ДУХОВЕНСТВА*. Улан-Удэ, 1964, с.20.

скому храму неизменно отводилось важное место как очагу буддийской культуры на западе России. В июне 1917 г. на Втором общебурятском съезде в Гусиноозерском дацане (см. ниже, прим. 4 к документу), видимо по его личной инициативе, было принято решение объявить храм достоянием бурят-монгольского народа, а дома при нем превратить в общежитие для учащейся в Петрограде бурят-монгольской молодежи. Октябрьская революция и затем гражданская война отодвинули осуществление планов Доржиева на неопределенный срок. С 1919 г. большую часть времени он проводит в Забайкалье среди бурят. Между тем в Петрограде присматривать за опустевшим храмом, его имуществом и библиотекой было поручено академику Ф.И. Щербатскому, который поселился в жилом доме при храме. Однако осенью 1919 г. ученый был вынужден покинуть свою квартиру по требованию красноармейского командира, разместившего в этом доме свою часть. Храм в присутствии Щербатского был закрыт и опечатан. Вернувшийся в Петроград в июле 1920 г. эстонский монах-буддист Карл-Август Михайлович Теннисон, единственный из европейцев, кому было позволено проживать в самом храме, обнаружил его незапертым и со следами страшного погрома. Незамедлительно в известность был поставлен Доржиев, однако добраться до Петрограда он смог лишь к началу октября. Потрясенный увиденным, он направляет протест в Наркоминдел РСФСР. Заявление Доржиева, в котором он рассказывает о погроме храма и называет имена виновных — красноармейскую часть и ее командира, 4 октября 1920 г. было передано председателю Петроградского Совета Г.Е. Зиновьеву. В сопроводительной записке за подписью зам. наркома Л.М. Карахана³⁸ и зав. отдела Востока Я.Д. Янсона³⁹ внимание Зиновьева обращалось на «возмутительное расхищение и разрушение буддийского храма; факт его разрушения преступен не только по отношению к исторической ценности, но и подорвет всякое доверие буддистов к Советской России, если до их слуха дойдет известие о гибели храма»⁴⁰. Старший инспектор бюро жалоб и заявлений при Рабоче-крестьянской инспекции в Петрограде Г.Л. Пинкус

³⁸ Карахан (Караханян) Лев Михайлович (1889-1937) — дипломат. В 1918-1930 (с перерывами) — член коллегии НКВД, заместитель наркома по иностранным делам Г.В. Чичерина.

³⁹ Янсон Яков Давыдович (1886-1939) — советский государственный и партийный деятель. В период Октябрьской революции — член Иркутского Ревкома, комиссар финансов и пред. Иркутского Совета. В 1920-1922 министр иностранных дел Дальневосточной республики. В описываемое время (октябрь 1920) исполнял должность зав. отделом Востока НКВД, еще не переехавшего в Москву.

⁴⁰ ЦГАОРЛ, ф.8, оп.1, д.2567а, л.3.

подтвердил факт разграбления храма, отметив при этом в составленном акте, что следствие ЧК, возбужденное по этому делу (его вел следователь С.Матвеев), никаких результатов не дало.

После вмешательства НКВД воинская часть в конце концов освободила принадлежащие храму дома. В 1922 г. силами музейных организаций Петрограда удалось частично реставрировать интерьер храма. Средства на это были собраны Доржиевым среди бурят и калмыков в тяжелейших условиях голода и разрухи. Однако храм продолжал пребывать в запустении. Это побудило Доржиева вступить в 1924 г. в переговоры с монгольским правительством о передаче буддийского храма в совместное пользование Монголии и Тибета. В результате 1 июня 1926 г., после предварительного согласования в НКВД, было подписано соглашение между полпредом Монгольской Народной Республики в СССР Боян-Чулганом и уполномоченным Далай-ламы в СССР Хамбо Агван Доржиевым⁴¹. В нем говорилось, что «буддийский храм с жилыми домами, надворными постройками и усадебным местом... признается общим достоянием Тибета и Монголии» (пункт 1 соглашения) и что «полпредство Монголии... берет на себя заботу... по заведыванию, охране, ремонту и содержанию такового». Половина жилых помещений на территории храма была отдана полпредству Монголии, другая половина поступила в распоряжение учреждений Монголии и Тибета, а также лиц из Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии, проживающих в Ленинграде с «культурно-просветительскими целями». Заведующим храмом «с пристройками» был назначен А.Доржиев, которому МИД МНР выдало соответствующее удостоверение. Таким образом, Ленинградский Буддийский Храм (ЛБХ) стал неофициальной «тибето-монгольской миссией» в городе — именно так именуется теперь свое «представительство» при храме А.Доржиев⁴². 10 августа того же

⁴¹ Хамбо или хамбо-лама — ученый человек, учитель-наставник, настоятель буддийского монастыря.

⁴² Копию текста соглашения (находится в ЦГА Бурятской АССР) любезно предоставил автору А.И. Бреславец. О том, что советское руководство было вынуждено считаться с особым статусом хамбо-ламы Доржиева, видно из статьи о нем в БСЭ, т.23, 1931, с.290, где он характеризуется как «тибетский деятель и дипломат, представитель националистическо-буржуазного течения правящего монашеского "сословия" в Тибете». Основанная Доржиевым при ЛБХ «миссия», несмотря на свой неофициальный статус, поначалу пользовалась некоторым покровительством НКВД. Как сообщил автору С.Д. Дылыков, Доржиеву выдавались специальные удостоверения за подписью Л.М. Карахана (см. прим.38), Б.С. Стомякова (также зам.наркома по иностранным делам) и др. лиц. Он имел личное оружие и был прикреплен к Инснабу. Доржиев в деловых бумагах авторитетно именовал себя «чрезвычайный и полномочный посланник Тибета в СССР». Все это, надо думать, до поры до времени служило известной гарантией иммунитета миссии.

года по решению министерства народного просвещения МНР были выделены средства на ремонт храма, что позволило завершить его восстановление.

Храм снова становится действующим. Ежегодно в конце лета для совершения богослужений приезжали ламы из Монголии и Тибета⁴³. В июне 1930 г. при участии лам Агинского дацана здесь состоялся ваджраянский Цам (ритуальный танец-пантомима), своего рода мистерия, посвященная Калачакре. В 1920-30-е гг. в домах при храме размещалось общежитие рабфака Восточного института, в котором проживали учащиеся из Бурятии, Калмыкии и Монголии, а также ряд бурятских и монгольских ученых (Б. Барадийн, Ц. Жамцарано и др.). Постоянную связь с храмом поддерживали и ленинградские востоковеды-буддологи (С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской, В.Л. Котвич, Б.Я. Владимирцов, Е.Е. Обермиллер). Те же дома служили пристанищем и для небольшой группы бурятских и калмыцких лам, переезд которых в Ленинград был организован А. Доржиевым. Большой известностью у местных жителей пользовались два ламы-эмчи (врачевателя) — габжи Балжир Зодбоев и Шойжи Даба Томиргонов, успешно лечившие многие болезни методами традиционной тибетской медицины. Оба они имели контакты с тибетским врачом Н.Н. Бадмаевым, племянником знаменитого П.А. Бадмаева и сотрудником Института экспериментальной медицины.

В одном из жилых домов при храме находились два магазинчика, где можно было купить рис, пряности, благовонные курительные палочки, образцы ламаистской иконографии, культовые предметы.

В 1920-е гг. вокруг храма объединялись активисты обновленческого движения, охватившего широкие круги ламаистского духовенства — А. Доржиев, Б. Барадийн, Ц. Жамцарано, Б. Очиров, Д. Манкужапов, Ш. Тепкин и др. Обновленчество исходило из признания Советской власти и необходимости реформирования

⁴³ В статье Ю. Арди «Азия в Новой деревне» («Безбожник», 1929, №3, с.7) читаем: «Сейчас богослужений в буддийском храме не бывает — нет необходимых "специалистов" — монгольских лам. Только в августе оживает темное жилище бронзового бога. Приезжают ламы из Монголии и Тибета. И тогда почти круглые сутки под мрачными сводами храма звенят удары в медный там-там, клубится синий дым удушливых благовоний, гнусавят дикие напевы ламы в цветистых одеяниях». Вероятно, речь здесь идет о приезде лам на ежегодный «ярнай» (хайлен, санскр. пратимокша) — чтение покаянных молитв, которое продолжалось 45 дней, с 15 числа последнего летнего месяца. Из статьи мы также узнаем, что в 1928 г. в Ленинградском храме «принял буддизм» один из крупнейших советских монголо-ведов, академик Б.Я. Владимирцов (1884-1931), «за что получил от Далай-ламы почетную грамоту из Лхасы».

(«коммунизации») ламаистского быта применительно к новым условиям. Упор делался на возвращение к раннему, «истинному» буддизму, в котором обновленцы усматривали зачатки социализма.

В 1927 г. по решению Первого Всесоюзного собора буддистов в СССР (проходил в Москве с 20 по 29 января) ЛБХ был объявлен резиденцией представительства буддийского духовенства в стране. Однако на рубеже 1930-х гг. обновленческое движение стало неприемлемым с точки зрения господствующей атеистической идеологии. Начинаются гонения на ламаистское духовенство, объявленное Союзом Воинствующих Безбожников «агентурой кулачества и ноенов с одной стороны и внешней контрреволюции с другой»⁴⁴. В опале оказалась и тибетская медицина, «служанка ламаизма». Нормальное функционирование храма сделалось невозможным. Богослужения практически прекратились; одним из последних было молебствие о почившем Далай-ламе XIII, состоявшееся 21 декабря 1933 г. В августе 1935 г. в Ленинграде при не вполне выясненных обстоятельствах погиб Ганжирва-реген Данзен Норбоев (1888-1935), заместитель Доржиева, один из высших иерархов ламаистской церкви (похоронен за оградой Благовещенской церкви в Новой деревне). В 1937 перестала существовать и сама буддийская община: по рассказу очевидца, в одну из осенних ночей была арестована основная группа лиц, проживавших при храме (около 30 человек). Но «ликвидировать» сам храм на законном основании властям было далеко не просто, пока оставался в живых хамбо-лама Агван Доржиев, «чрезвычайный и полномочный посланник Тибета в СССР», глава «тибето-монгольской миссии» при ЛБХ, которая в принципе не подлежала юрисдикции Советского государства.

В январе 1938 г. 85-летний старец А. Доржиев в сопровождении ламы Дугара Жимбиева уехал из Ленинграда в Бурятию. Он поселился в своей резиденции — Ацагатском аршане (медицинской школе дацана). Здесь он был арестован и отправлен в Улан-Удэ, где вскоре скончался в тюрьме⁴⁵. 22 апреля 1938 г., вероятно,

⁴⁴ «Антирелигиозник», 1930, №6, с.69.

⁴⁵ Эту версию последних месяцев жизни А. Доржиева сообщил его родственник проф. С.Д. Дылыков. По другой версии, тяжело больной, почти невменяемый Доржиев был отпущен из тюрьмы и отправлен обратно в Ацагатский аршан, но по дороге умер. Те же две версии смерти Доржиева дает и Р.Е. Пубаев (см. *НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ БУРЯТСКОГО НАРОДА. Тезисы и материалы докладов и сообщений*. Улан-Удэ, 1989, с.97). О некоторых обвинениях против Доржиева, совершенно стандартных для тех лет, мы узнаем из статьи Б.Вампилова «Об антирелигиозной работе в Бурят-Монголии» («Антирелигиозник», 1938, №8/9, с.29). В ней говорится, что А. Доржиев был (см. след. стр.)

уже после смерти Доржиева, состоялась передача храма со всем его имуществом в госфонд⁴⁶. Храмовое имущество частично поступило в Музей истории религии (в Казанском соборе), причем во время транспортировки была разбита статуя Большого Будды, обломки которой скинули в Малую Невку.

15 июня 1938 г. опустевшее здание храма было отдано в аренду Ленинградскому областному комитету профсоюза рабочих жилищного хозяйства «для использования под физкультурную базу»⁴⁷. С 1942 г. в храме размещалась военная радиостанция (вплоть до 1960 г. она использовалась как «глушилка»). Сразу после войны встал вопрос о более целесообразном использовании здания. Академики-востоковеды С.А. Козин, И.И. Мещанинов, В.В. Струве в 1946-1947 гг. обращаются в Совет по делам религиозных культов при Совмине и в Президиум Академии наук с ходатайством о передаче храма с усадьбой Институту востоковедения АН СССР. В планы института входило создание в храме музея истории религии и быта монголов. Кроме предназначенных для экспозиции коллекций здесь предполагалось разместить богатейшее собрание тибетских рукописей и ксилографов, вывезенных в 1938 г. из дацанов Бурят-Монголии и Читинской области, в соседних домах предполагалось поселить научно-технический персонал музея. Вопрос, казалось, был решен, когда последовала резолюция Президиума АН за подписью академика В.П. Волгина: «Считать целесообразным организацию нового музея по истории религии»⁴⁸.

В конце 1950-х гг., после возвращения на родину Ю.Н. Рериха, возобновились ходатайства о превращении бывшего буддий-

агентом японской разведки, «который давал задания неустанно проводить "джуд-хурал"», то есть молебствия о войне, утверждает несомненная связь ламаизма с фашизмом, о чем свидетельствует ламаистское учение о «шамбалан-церык» — мировой священной войне. Той же цели пропаганды «Шамбалы» (читай: войны) служило, якобы, и освящение Доржиевым нового субургана Калачакры в Агинском дацане в 1929 г.

⁴⁶ Вызывает интерес юридическая сторона передачи храма советскому государству в связи с довольно неопределенным статусом Доржиева как главы Тибето-монгольской миссии в Ленинграде. По сообщению проф. С.Д. Дылыкова, в 1936 г. А. Доржиев вручил ему как своему наследнику составленное им завещание, подписанное и скрепленное печатью XIII Далай-ламы. Документ этот тогда же был передан Дылыковым уполномоченному (дип. агенту) НКВД в Ленинграде Г.И. Вайнштейну. На основании этого завещания два года спустя и была оформлена передача буддийского храма в собственность СССР. Акт о передаче был подписан председателем специальной комиссии Ленсовета и С.Д. Дылыковым. К сожалению, оба документа отсутствуют в деле о закрытии храма, которое хранится в ЦГАОРЛ (ф.7384, оп.33, д.39. Начато 28 августа 1933 — окончено 15 июня 1938).

⁴⁷ ЦГАОРЛ, ф.7384, оп.33, д.39 — Решение пленума Ленсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 15 июня 1938 г.

⁴⁸ Архив ЛО ИВАН, ф.152, оп.1а, д.923, л.12.

ского храма в музей востоковедческого профиля. Многолетние усилия увенчались успехом — решением Ленсовета от 9 июня 1960 здание храма было передано Академии наук СССР на правах долгосрочной аренды⁴⁹. 20 октября 1960 г. Ленинградское административно-хозяйственное управление АН (ЛАХУ) принимает решение передать его в пользование Институту Народов Азии (так назывался тогда Институт Востоковедения)⁵⁰. К сожалению, вскоре выяснилось, что помещения храма непригодны для размещения в них памятников тибетской письменности (за эту идею особенно ратовал Ю.Н. Рерих). В результате в 1962 г. ИВАН был вынужден отказаться от аренды храма и уступить его Зоологическому институту, который разместил здесь 3 своих лаборатории.

16 ноября 1970 г. храм был взят под государственную охрану «как памятник архитектуры местного значения»⁵¹. В первичном паспорте на здание говорится: «Техническое состояние памятника — удовлетворительное, имеются разрушения сандриков над оконными проемами, отпали и частично утрачены накладные детали декоративного убранства дверей»⁵², но об истинных размерах ущерба, несомненно, гораздо большего, можно будет судить лишь после того, как храм покинут занимающие его лаборатории.

В 1981 г. решением Ленгорисполкома бывший храм был передан Музеем истории и атеизма. Но решение это не успело осуществиться. 28 июня 1989 г. в Совете по делам религий при Совмине СССР была зарегистрирована новая буддийская община в Ленинграде. Именно она, по праву и исторической справедливости, должна теперь вступить во владение бывшим буддийским храмом.

В этой связи особую ценность приобретают документальные свидетельства, освещающие как обстоятельства нелегкой постройки храма, так и историю его тяжелых утрат, многие из которых уже не восполнимы. Одним из таких документов является сохранившаяся в ленинградском архиве копия заявления А.Доржиева на имя заведующего отделом Востока НКВД Я.Д. Янсона в связи с разграблением храма, датированная 1 октября 1920 г.⁵³ Документ публикуется нами с незначительными сокращениями:

⁴⁹ Архив ЛО ИВАН, ф.152, оп.1а, д.1374, л.45.

⁵⁰ Там же, л.61.

⁵¹ Буддийский храм: Первичный паспорт на памятник архитектуры. Сост. В.К. Потемкиным. 1969, с.1. [Объединенный ведомственный архив Государственной инспекции по охране памятников в Ленинграде].

⁵² Там же.

⁵³ ЦГАОРЛ, ф.8, оп.1, д.2567а, 13 л.

представителя Тибета
Агван Доржиева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Петроградский буддийский храм был построен на средства главы Тибета Далай-ламы и средства, пожертвованные Внутренней и Внешней Монголией, бурят-монголами и калмыками.

До мировой войны при храме жили тибетские, монгольские, бурят-монгольские и калмыцкие ламы, которые во время войны, ввиду чрезвычайной дороговизны жизни, временно разъехались по своим странам. За отъездом монахов, заведующим храмом, библиотекой и храмовыми имуществами был назначен проф. санскритолог Щербацкой. Но в 1919 г. в доме при храме была расквартирована красноармейская часть, командир которой, уверив г-на Щербацкого, что храму не грозит никакой опасности, запечатал его двери, а самого Щербацкого выселил из его квартиры. Таким образом, ответственность за целостность храма и храмового имущества взяла на себя данная воинская часть или ее командир, выселивший и отстранивший г-на Щербацкого от заведывания и охраны храма. Вскоре за выселением г-на Щербацкого храм подвергся, как выяснено расследованием чрезвычайной комиссии, задержавшей семерых красноармейцев и отстранившей от должности их командира, неслыханному осквернению, погрому и разграблению. У центральной статуи Будды из гипса, в сажень вышиной, оторвана голова и пробито большое отверстие в груди¹, из которого были вытащены свитки священных изречений и молитв, написанные на тонкой бумаге, которые потом продавались на рынках на папиросную бумагу. Похищены из храма следующие священные вещи:

1. 20 крупных и мелких из бронзы и позолоченных индийских и тибетских статуэток, изображающих те или иные божества.

2. 60 таких же из меди и позолоченных статуэток китайской и монгольской работ.

3. Серебряных жертвенных ваз и чашек, весом 910 лан (лан — 10 зол.)².

4. Храмовых украшений и драпировок из китайской парчи — 882 арш.)³

5. 18 малых священных зеркал из золоченой меди, в диаметре в 1 арш., украшавших внешний фасад храма.
6. 7 таких больших зеркал в 1 и 1/2 арш. в диаметре.
7. 1 металлическая подставка для священных часов.
8. 2 вызолоченных металлических завитка от священного цилиндра на крыше храма.
9. 26 священных изображений на полотне.
10. Расхищены все дверные и оконные металлические ручки, украшения и замки, причем двери и ставни были изрублены и иссечены.
11. Расхищены все клетки стеклянной крыши храма, благодаря чему дожди и ветры производят разрушение храма изнутри.
12. Библиотека, состоящая из ценных и редких книг, на европейских, тибетских и монгольских языках, истреблена вся; книги на европейских языках расхищены, а на тибетском и монгольском языках разорваны в клочья и потреблены на домашние и ватер-клозетные нужды; той же участи подвергся чрезвычайно ценный архив секретных и не секретных документов и писем, обрисовывающих взаимоотношения России, Англии, Тибета и Китая за последние 30 лет.
13. Из обстановки храма и квартир монахов при нем похищены: вся фарфоровая и медная посуда, шкафы, 3 дорогих кровати и 8 простых железных кроватей, 2 дюжины мягких дубовых стульев, 2 оттоманки и т.д.
14. Из храмовой казны: мехов рысьих — 25 шт., лисьих — 18 шт., барсовых и тибетских сукон — 36 шт., пожертвованных Тибетом на завершение внешних украшений храма; на ту же цель от бурят-монгол — 3 шт. медвежьих и от монгол — 11 кусков синего и коричневого шелка, полушелка и чесучи.
15. 80 сажень дров и 500 пудов антрацита, заготовленных на топку храма и квартир при нем, и лес для завершения постройки храма.
16. Кроме того, похищены принадлежащие лично мне европейские, тибетские и монгольские меховые и не меховые костюмы и все белье, в силу чего я остался совершенно раздетым, не имея никаких средств на новые.

Такое надругательство и разграбление храма и дома при нем я считаю совершенно и абсолютно недопустимым со всяких точек зрения. Во-первых, храм представляет единственный в России и Европе редкостный образчик и памятник индо-тибетского творчества и архитектуры; во-вторых, в настоящий момент, когда у Советской России завязываются более или менее тесные связи

/.../ с огромным и многомиллионным буддийским Востоком чрез бурят-монгол, калмыков, коренных монгол и даже тибетцев, разгром и надругательство над Петроградским буддийским храмом, несомненно являющимся обще-буддийской святыней, находящейся под особым покровительством Далай-ламы, на почве примитивности и политической отсталости народов буддийского Востока и исключительного господства среди них пока что религиозных начал /.../ будут иметь несомненно и определенно отрицательное значение для укрепления налаживающихся связей между Советроссией и буддийским Востоком. /.../ И, в-третьих, [храм] со всем его содержимым и находившимися в нем постройками является достоянием бурят-монгольского народа на основании постановления июльского 1917 года Общепанародного Съезда на Гусином озере⁴, коим храм был взят в ведение бурят-монгольского народа на предмет обращения жилых его помещений и дома при нем в общежитие для учащихся бурят-монгол, общепанародных стипендиатов в Петроградских учебных заведениях. При храме петроградском имеются два дома, принадлежащие бурят-монгольскому народу⁵. В этих домах в настоящее время расквартирована воинская часть, которая почему-то беспощадно истребляет деревянную ограду вокруг храма и домов и деревянные части зданий, вплоть до дверей, на топку, что угрожает совершенным приведением в негодность этих домов. Между тем, в связи с открытием в Петрограде Восточного Института⁶ и решением направить для обучения в институте учащихся бурят-монголов, тибетцев, монгол и калмыков, указанные выше дома понадобятся под общежитие для сих учащихся. Кроме того, на соседнем участке, принадлежащем частновладельцу Исаеву, ныне неизвестно куда скрывшемуся, находится дом, который перешел в ведение государства и временно занят под приют, а на задней стороне усадьбы храма находится пустой неиспользованный участок, который можно обработать в огород, на котором имеется в виду построить крематорий.

На основании вышеизложенного, я прошу и настаиваю во имя общих интересов Советроссии и народов Буддийского Востока:

1. на отпуск средств и реставрации Петроградского храма и назначении охраны его, до момента взятия его в свое ведение заинтересованными буддийскими народами: бурят-монголами, монголами, калмыками и т.п. и превращения его в революционный центр для этих народов;

2. освобождения указанных домов от воинской части, с тем чтобы эти дома можно было немедленно отремонтировать и привести в жилой вид, и

3. передачи пустого участка земли на задней стороне храмовой усадьбы под огород для общежития и постройки крематория, и бывш[его] дома Исаева с усадьбой на нужды буддийского общежития.

Представитель Тибета
хамбо
Доржиев

ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТУ

¹ Имеются недокументированные сообщения, что этот Будда в начале 1920-х гг. был заменен другой золоченой статуей (на 1,5 метра выше прежней), привезенной из Польши (см.: «Религия в СССР», 1989, №4, с.25-27). В.А. Каверин в романе *ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ* называет, однако, другое место изготовления статуи — Гамбург (см.: Каверин В.А. *ИЗБРАННОЕ*. М., 1963, с.171).

² 1 лан — 31,2 г

³ 627 м

⁴ По-видимому, опечатка. Речь идет об Общебурятском съезде, который проходил 7-15 июня 1917 г. в Гусиноозерском дацане, центральном в Забайкалье. Материалы этого съезда хранятся в ЦГА Бурятской АССР, ф.483, д.7 (на бурятском яз.).

⁵ К храмовой усадьбе относились три кирпичных дома: 4-этажный, выходящий фасадом к Малой Невке (8 квартир, 33 комнаты), 2-этажный флигель во дворе (4 квартиры, 8 комнат), снесенный в начале 1980-х гг., и 2-этажный дом позади храма, снесенный в 1988 г.

⁶ Основан декретом СНК от 7 сентября 1920 г. под названием Петроградский институт живых восточных языков. В 1927 г. переименован в Восточный институт. Находился в Ленинграде по адресу: пер. Пирогова, д.7 (бывший Максимилиановский пер.). Закрыт в 1938 г., после разгрома ленинградской востоковедческой школы.

***ИЗ ИСТОРИИ
ДУХОВНЫХ
ТЕЧЕНИЙ
В РОССИИ***

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ*

Публикация Дж.Мальмстада

Август 1915 года.

Я подбираюсь к труднейшему моменту: август 1915 года, пожалуй, острее моей жизни, но — острее трагическое; по всем данным сознания заключаю: встреча со *Стражем порога* у меня была. Но если была, то была в периоде от Лейпцига до отъезда в Россию в 1916 году. В интимной лекции доктора встреча с *порогом* (с малым порогом) имеет 3 кульминационные точки: первая — встреча с ангельским существом и переживание смерти; несомненно: *встреча*, если была, то была от Христиании до Дорнаха; переживание смерти, если было, то осенью 1914 года, когда в припадках невроза я *умирал*; с Лейпцига подкрадывалось сознание, что могу заболеть и умереть; это *случилось* с конца сентября 1914-го и длилось весь октябрь. Второй акт порога доктор называет *встречей со львом*, как со страшной женщиной, которую нужно *покорить*, которая грозит гибелью. Если такая встреча была, то она была в апреле 1915 года; и длилась все время.

Третий момент порога доктор называет *встречей с Драконом*, когда появляется *губящий враг*; уже тема *врага* стояла надо мной весь май, июнь, июль. В августе 1915 года все, что я ощущал, как *вражеское*, — соединилось для меня в один яркий, острый момент, сплестись в *миф*, как бы развернутый передо мною; и это разыгралось в *августе*. Но вместе с тем: и все светлые миги посвящения,

* Окончание рукописи А.Белого *МАТЕРИАЛ К БИОГРАФИИ (ИНТИМНЫЙ)*. Начало и продолжение публикации см. в шестом и восьмом томах «Минувшего».

мерцавшие мне в 13 и 14-ом годах (Христианиа-Берген-Лейпциг-Берлин) с их мифами, мыслями, переживаниями, снами, соединились в новую *вариацию* темы посвящения; в погибельные для меня минуты блеснул яркий свет надо мною; он-то и спас меня от гибели.

Необычайная трудность коснуться мне августа 1915 года в том, что говоря о днях жизни, я вижу каждый день окрашенным не светом или тьмой, а как бы вижу его в противоречивейших, всегда потрясающих вспышках света и тьмы, ужаса и радости, низости и высокого благородства; «Я» стоят передо мною весь август двулико: низшее «я» обнажено до самых гнусных корней своих; высшее «Я» помимо всего свершает некий акт в некоем символическом действии. То, что стояло, как долг («Мне надо *свершить*»), в августе я *свершил*; но самое странное, пугающее меня, в том, что я не знаю, что я свершил: я свершал некий поступок, который разыгрывался в моих глубинах так: я в символическом обряде сламываю гидру войны; я убиваю самого дракона войны, или ту государственность, которая вызвала войну со всеми ее шпиками, со всеми ее темными тайными организациями во имя 2-го Пришествия и неведомых мне форм любви и братства народов; от правильного выполнения обряда зависит самая судьба мировой истории, ибо обряд — светло магический обряд. Темные силы в дни обряда обступают меня, чтобы погубить: они работают над тем, чтобы обряд свершен не был; люта их ненависть; около меня рыщет Враг, чтоб уничтожить; передо мной разверзаются все бездны, но я закрыт от тьмы кольцом светлых сил; доктор меня накрыл своим рыцарским плащом и дал мне меч; от любой оплошности с моей стороны и со стороны охраняющих меня я могу погибнуть и прахом рассыпется в линии истории то, чему в данный этап свершиться *должно*.

Так это все разыгрывается во мне в августе.

Ужас мой в том, что я не знаю, правильно ли я прочел *миссию*, мне порученную; такие миссии не дают в словах, но дают в *знаках*, которые надо не только увидеть, но и прочесть; не только прочесть, но и поступить сообразно с прочтенным в ритме и в такте; тут уже апеллируешь не к имажинации, а к инспирации; и поскольку прочтение инспирации зависит от правильного изживания кармических моментов, то *карма* появляется перед тобой так, что она в некоем инспиративном центре пластична, как воск; она послушно вылепит тебе твое будущее в полном соответствии с проведенным тобой поступком; если он в *ритме*, будущее — разыграет в тебе этот ритм; если в ритме дефект, — он с железной необходимостью выявится в будущих годинах и в личном, и в со-

циальном. Наконец: поскольку самые картины кармы *прошлой* и этой, кармы *поступка*, правильно прочтенного, сплетены узлом в решающем моменте жизни, так сказать, перевальном, — увиденный узел в лике целого есть Страж Порога.

Вся ситуация моей жизни в августе 1915 года такова, что она прочитывается мне из 1928 года, как ситуация перевального подъема от ущелий прошлых лет через плоскогорья ближайших, чрез краж годин 1912-1915, к моменту, за которым — обрыв в неизвестность, ибо неизвестность выявится известностью лишь в длинной веренице будущих лет; но это будущее в дни *поступка* — в твоих руках: тебе брошены кармою вожжи, которыми ты управляешь конями жизни.

Все это разыгрывалось в переживаниях с могучей, непобедимой силой в дни августа 1915 года; переживания заслоняли абстрактно прочитываемые письма; все прочитывалось в безобразных, инспиративных ритмах; и тотчас же ста[но]вилось *образами*, но не образами фантазии, а образами так-то перед тобой стоящей ситуации внешних событий, из которых каждое, не разрывая внешней причинности, стояло перед тобой своею громадною глубиною. Попытаюсь передать это ощущение так: ты играешь в шахматы с сильным игроком; перед тобою шахматная доска; сделали шах твоему королю; от ближайших двух-трех ходов зависит: превратится ли шах твоему королю в *мат* или, наоборот, ты, вывернувшись, увидишь промах противника и в свою очередь сделаешь ему мат; образ ситуации фигур ярко отпечатлется перед тобою. Теперь представь, что *игрок* в шахматы — король, стоящий на шахматной доске, на которого напали со всех сторон; это личность Бориса Бугаева в дорнахской ситуации с такими-то трагедиями и с такой-то миссией социальной, — например: в Малом Куполе «*Гетеанума*» в такой-то день произвести стамеской борозду на архитраве; от правильного или неправильного проведения борозды зависит победа или гибель всего «*Иоаннова Здания*», которое лишь символ будущей культуры любви в братстве человечества; ведь правильная борозда, если она светло магична, — победа; если борозда неправильна, гибель — культуре и гибель тебе. И вот тебя под руку пугают картиною ужаснейших нападений на тебя, угрожающих тебе смертью; ты — фигура короля, которому сделали *шах*; чтобы вывернуться, ты должен забыть свою личность, преодолеть страх, увидеть себя деревянной фигурою вне себя, выйти из фигуры и стать вне ее лишь шахматным игроком: твоя судьба, судьба будущего, Дорнаха, мировая война, «*Гетеанум*», даже сам доктор в нем, — фигурки, не более: фигурки, которыми ты защищаешься: белые; а ужасы, враги, — лишь

черные пешки, черная дама и черный король, нападающие на тебя; ты отразишь их лишь представлением, что они деревянные фигурки на шахматной доске.

Так бы я выразил ощущение себя в *августе* в дни моего *хода*, обдумывание которого — не мысли, а поступки, проведенные в жесте тобой услышанного ритма; а перед этим обдумыванием я застаю себя в состоянии сознания ужаса: на тебя нападает *черный король* своей *черной дамой* и прочими фигурами: *черными* офицерами и рядом *черных* пешек. Ты — обстан *черными*, а доктор не защищает: отступился; ты должен защититься сам, ибо *судьба* твоя тебе отдана в руки.

С апреля до августа я видел определенно ход *черной дамы* на меня, но не было картины, вдруг открывшейся в августе, в начале его: картина эта: *черная дама* и *черные пешки* (например, зного рода шпики) не связывались еще с такой отчетливостью в *черную партию*, которую ты лишь предполагал, но не до конца видел. Вдруг за *черной дамой* и пешками появился ряд очень крупных новых фигур: офицеры, туры, кони; и все — *черные*; и за всеми ними на горизонте появился: сам *черный король*.

Осознание, что это лишь *партия шахмат*, — выход из нестерпимого положения и сознание, что если ты так не отнесешься ко всему рою ужасов, то ты погибнешь; так инстинкт самосохранения должен тебе подсказать; где-то ты знаешь, что самый миф о *партии шахмат* лишь спасительный покров над бездной действительности; но покров этот и есть твой ковер-самолет: пролететь над собственной гибелью и гибелью светлого дела, как над... *партией в шахматы* с кем-то. В этом головокружительном взлете над личностью или вынужденном взлете над «*гибнущим*», — первое ощущение помощи; в минуты безумных действий, продиктованных ужасом, внутри них тебе вскроются и ослепительные моменты *помощи*, отражающие от тебя гибель; в схватках их и протечет твой символический, кармический акт, где двойник, Страж Порога, враги и друзья-охранители и будут действовать в жестикуляционных фигурах имажинации, так сказать, вписанных в самое обстание дорнахского быта до последних пустяков этого быта.

Осознание партии (схваток *черных* с *белыми*) — вторая половина августа, окрашенная: 1) окончанием работ под Малым куполом, 2) постановкою последней сцены «*Фауста*», в которой описано, как *ангелы*, вырвав «*Фауста*» из когтей смерти, принесли его в небо, 3) взрыв скандалов в Дорнахе и начало чистки авгиевых конюшен. Первая половина августа — дикий ужас от сознания,

что ты — погиб; ты — в когтях Чорта; тебе — нет спасения; и вот уже появились вокруг тебя убийцы, губители, клеветники, оплевывающие и заушающие тебя.

Образно говоря: в первой половине августа, я, жалкая деревянная фигурка *белого* короля, поставленная на шахматной доске рукой кого-то (не доктора ли?) ощутил шах и мат себе: игрок противной партии — убил меня; не было даже ощущения, что это *шах* королю; было ощущение: *мат, мат, мат* — вопреки всем усилиям; и почти вопль на того, кто мной играет: «Что же это он проиграл меня!»

Все то, что я говорю, есть, так сказать, лишь внутренний фон, на котором мне виделись: 1) *имагинации* моего сознания, 2) действительные *факты*, смысл которых, *здоровый смысл*, мне и по сию пору непонятен; и я вынужден их читать в символическом смысле, чтобы они не выглядели сплошною абракадаброю.

Абракадабра, но гениальная — так определил бы я клубок противоречий, который вскрылся на дне, или верней в *бездне* моей души. Но в этой бездне, над которой имагинации плели мне мой *ковер-самолет*, я различаю две группы явлений *не душевных*; я различаю то, что в течение 12 лет стояло передо мною, как картина воспоминаний, когда я душевно вылез из абракадабры, оказался уже за пределом ее, — вне Дорнаха, доктора, Бауэра, «*существова*», черных фигур, Аси, Наташи и прочих персонажей моих путанных мифов; сквозь них в 12-летию моих трезвых духовно-научных дум об августе 1915 года выпечаталось 1) было изживание прошлой кармы, 2) была встреча с Стражем Порога, 3) была поволена карма всех будущих лет, включающая жизнь в России, «*нет*» Дорнаху, разрыв с Асей и т.д.

Сквозь душевную абракадабру была продернута мысль огромная: мысль духовных мифов; душевная абракадабра была дымом моей душевности, неизжитости, в момент, когда *молнией* упало нечто в глаза мои из сферы Духа, ибо глаза мои в эти дни иной раз бывали молниями, выхватывающимися из меня и мне озарявшими *то*, к чему у меня еще не было разума: *я видел* и кое в чем *поступал* мудрее, чем это все отдавалось мне в смятенном рассудке.

И — кроме всего: душевная абракадабра ведь строилась на фактах эмпирической, внешней действительности, которую я разглядывал пристально; и чисто внешне я лучше видел в эти роковые дни; я был наблюдательнее, чем обычно; вся моя писательская наблюдательность была мобилизована.

Кроме того: были объективные факты, отрицать которые при всем желании нельзя, ибо они — либо факты истории войны, либо

факты истории «А.О.». В августе события восточного фронта пошли воистину бешеным темпом; немецкий фронт несся вглубь России; русские отступали в паническом беспорядке: падали — Варшава, Ивангород, Брест; со дня на день ждали падения Минска; судьбы России висели на волоске: выходить из войны, ретировать армии вглубь страны, *пресечь* наступление немцев? Позднее стабилизировался восточный фронт; в августе он совершенно расплавился; казалось, что Россия из войны выбыла; и русские, и немцы не могли не быть взвинченными этим ускорением военного темпа; поскольку тема *войны* вплетена в мои имажинации августа, я отмечаю эти факты; в самом деле: не я же выдумал, что был разгром императорской армии. И не я выдумал, что именно в этот период настроение солотурнских властей было к нам, антропософам, резко отрицательное*; под давлением *антанты*, требующей, чтобы работы в «*Vau*» были остановлены, в солотурнском совете дебатировался вопрос о закрытии работ и высылке антропософов; 3 голоса потом оказалось за высылку нас против 3 голосов против, наше дорнахское бытие висело на волоске, ибо выдумывались *антантой* легенды о том, что неспроста гнездо немецких шпииков под формой их участия в «А.О.» приютилось рядом с западным фронтом (в 15 километрах); английская миссия в Берне делала ряд представлений по этому поводу в Швейцарский Союзный Совет. Это — тоже факт, а не имажинация; разумеется: мы все волновались такими фактами.

И — тоже факт исторический в жизни «А.О.» Именно в августе месяце вскрылся гнойник многих бунтов, болезней, ненормальностей, до этого в месяцах и даже в годах нарывавший в молчании; сюда входит: разбор ряда оккультных заболеваний и инцидентов на этой почве, вплоть до подозрения больными «тетками» некоторых из молодежи в ряде гадостей, которых не было; было вскрыто, что Чирская, Штраус и бразилианская немка учредили нечто вроде сыскного бюро, состоящего из таких же душевнобольных, психопатологических существ, занимавшихся подглядываниями и распространениями клевет на некоторых (случай с женой mlle Лёв) из антропософов, даже среди дорнахских мещан, непричастных Обществу; эти последние со слов *антропософов* раздували клеветы и тащили их к католикам, ненавидевшим нас и писавшим, что «*мусорную кучу*» («*Vau*») надо разрушить; среди последних действовали иезуиты; иезуиты наводнили Швейцарию в эти дни; и даже самый черный папа, кардинал Ледоховский, избрал своей резиденцией Швейцарию в это время; *наскок* иезуитов

* Дорнах-Арлесгейм находится в швейцарском кантоне Solothurn.

на нас в те дни, — факт, как и приезд в Дорнах польского оккультиста Лютославского в те же дни, не принятого Доктором; Лютославский, принадлежавший к какому-то темному оккультному обществу, рыскал по Дорнаху и даже видался с Седлецким; доктор же говорил на лекциях — в те же дни, что нам надо держаться, потому что мы *на виду*; мы — мишень для обстрела нас всеми тайными, *черными* братствами, среди которых иные — очень и очень могущественны (не этим ли обстрелом объясним взрыв оккультных «эпидемий» среди антропософов). Отмечают *факт* слов доктора, потому что мои душевные восприятия этого времени полны ощущением оккультных преследований.

Не выдумка моя и резкая атака со стороны нескольких больных «теток» Марии Яковлевны, ибо это разоблачило расследование особой комиссии антропософов в *сентябре* и *октябре* (во время разбора инцидентов); факт и то обстоятельство, что съезжавшиеся в большом количестве в августе из Лозанны и Женевы антропософы-антантисты, раздраженные успехами немцев, обвиняли немецких членов, работавших в Дорнахе, в шовинизме, и обвиняли русских, друживших с немцами, в предательстве своего отечества (тут влетало особенно мне, как «любимцу» М.Я.: такая сплетня ходила); не выдумка и огромная декларация д-ра Гёша (в 200 ремингт[оновских] страниц), посланная «А.О.» и обвинявшая «А.О.» и доктора в ряде «*оккультных*» темных деяний и в том, что доктор сводит с ума, обезличивает волю и т.д.; приводился случай со Шпренгель, как якобы обманутой доктором. Этот 200-страничный фолиант изучали и в ряде собраний обсуждали: как реагировать на поступок Гёша и Шпренгель, продолжавших жить в Дорнахе и *даже* общаться с рядом членов: Гёш и Шпренгель имели ряд тайных сообщников среди нас.

Совершенно объективным фактом было и то обстоятельство, что в августе-сентябре 1915 года весь быт дорнахских антропософов был обложен кольцом *шпионов* всех стран и их *контр-разведками*, о чем открыто намекали доктор и М.Я.; многие в августе 15 года еще не знали в наивности, до какой *степени это так* (я же, с мая, апреля постоянно подчеркивал Асе, что за нами установлена слежка); впоследствии, когда меня уже не было в Дорнахе, *эти факты были точно установлены*.

Факт несомненный: доктор в августе ходил среди нас *мрачней тучи*; мрачность, страдание и подавленность каким-то страшным знанием бросались в глаза; и мы ходили, подавленные этой его мрачностью; факт: сошлюсь на свидетелей.

Наконец, — факт, что к дням окончания Малого Купола и к постановке «Фауста» был приурочен ряд деловых собраний; некое

фактическое *генеральное собрание* имело место (его нельзя было объявить публично ввиду *войны*: воюющие по закону не могли открыто, публично заседать вместе); на это собрание явился ряд делегатов, настроенный сплетнями о нас весьма враждебно, с целью произвести ревизию дорнахским делам и быту; косвенно эта ревизия относилась к ревизии президиума: Унгера, Бауэра, М.Я. Штейнер; с президиумом был солидарен доктор в те дни; косвенно: *ревизовали доктора* (было тайное недоверие... и к нему), ревизовали его якобы потворство молодежи: дорнахский совет, президиум Общества, доктор и дорнахская молодежь, — составляли в августе меньшинство: большинство — *гаранты* лож, отовсюду съехавшиеся (из Финляндии, Австрии, Норвегии, Швеции, Англии, Голландии, Германии и т.д.); они смотрели *косо на нас*, дорнахцев; и этим: произвольно косились и на доктора.

Соедините все это вместе; и представьте, градация этих неприятностей, назревавшая в месяцах (иные — в годах), так сказать, под шумок, *в августе, катастрофически разразилась громко*, как некая лопнувшая над холмом бомба, — именно в праздничные дни: сдачи нами, работниками, Малого Купола, резьба которого, по доктору, имела огромное и символическое, и оккультное значение, ибо она говорила о судьбах прошлых, настоящей и будущих культур; в связи настоящей, германской, с будущей, славянской, культурой, решилась судьба будущего. Малый Купол в архитравных сплетениях и *выражал эту связь*; сдача Купола *в августе* волилась доктором, как *ритмический жест момента: в такой-то день, в такой-то час* все работы должны были кончиться; купол — сдавался; мы — сходили с него. Перед сдачей разыгрывалась мистерия «Фауст».

В эти по доктору *большие дни* в судьбах Общества и «Гетанума», — *в большие дни*, совпадающие с *большими днями* истории войны между Россией и Германией, и *лопнула бомба* гадостей: внизу под Куполом.

Но в эти же дни мы, строители Малого Купола, — все — вдруг осознали, так сказать, провиденциальность нашей резьбы: и символизм ритмического Жеста наших стамесок; в противовес всему гадкому, что начиналось уже под колоннами Храма, в зале Храма (сплетни, клеветы, борьба партий), мы поднимались по лесам к Куполу над всем *гадким*, в праздничных костюмах, заканчивая *связь культур*: прошлых с будущими.

И — тоже факт, а — не вымысел: доктор полагал в линиях связей культур особенно важную ту связь, которая совпадала со связью культур данного исторического момента; архитрав *вяза* в Малом Куполе был архитравом германской культуры, а с ним

рядом находящийся архитрав *клена*, на котором работали мы с Асей, изображал архитрав славянской культуры; я же работал у того куска клена, где он в линии орнамента переходил в *вяз*; и я предчувствовал, что промежуточные штрихи, которые падают на линию обоих архитравов, суждено мне провести: эти штрихи — спайка культур славянской с германской, спайка — настоящего исторического *момента*, в котором именно эти культуры на физическом плане катастрофически сшиблись, — штрихи судьбы, мне посланные. Над бомбой разорвавшихся мерзостей, в обстании катастроф, на фоне важного исторического момента я должен был соединить то, что разрывали на части все: *вопреки всем* — по воле сюда меня посылавшего доктора.

Вот точка пересечения двух внятиц (духовной и физической) с невнятицею моей личности, в это время перетрясенной и переполненной саморазрывами.

Все то, что я здесь говорю, загрунтовывает лишь фон, на который я хочу поставить несколько переживаний, столь роковых для меня в этом месяце*.

Август в Дорнахе и грозен, и душен; в 15 году грозовая духота как нельзя лучше соответствовала грозовому ожиданию всяких трагедий, долженствовавших разразиться над судьбами отдельных людей, человеческих отношений, «*Гетеанумом*», антропософским Обществом, Германией, Россией. Все ходили, точно прислушиваясь к чему-то; между людьми, вчера дружившими, вставала тень недоверия друг к другу и ничем не мотивированного недоброжелательства; никогда не было столько пустых ссор, ничемных сплетен, даже просто... глупых, нетактичных поступков; американка, мисс Чильс, вдруг одурев, ездила по Базелю и покупала за счет своих знакомых ненужные вещи, которые и посылала им к их ужасу; наконец, она была ночью поймана антропософскими вахтерами с *поличным* (в помещении «*Vau*» ночью нельзя было оставаться); с вечера она пряталась в «*Vau*», а ночью тайком от вахты отдавалась *мистическим* переживаниям; стали распространяться слухи, что у антропософов существует обычай обнажаться, потому что две почтенного возраста тетки вздумали в леску отдаваться солнечным волнам, и в костюме праматери Евы были накрыты дорнахскими мужиками; подозрительно вел себя в Базеле пан Седлецкий и по этому поводу распространились сплетни: о безнравственном поведении антропософов... на стороне; какую-то глупость выкинул милый финляндец, Лилль; супруги Полляк

* Начиная с этого места, характер почерка меняется, что наводит на мысль о том, что эта часть рукописи писалась позднее.

повели недостойную интригу против баронессы Эккартштейн, обвиняя ее в произволе, неумении вести художественную мастерскую и чуть ли не в растрате; д-р Унгер обозвал почтенную Т.А. Бергенгрюн дурой; шипели доносчики на нас с Асей, что мы дружили с «*ренегатом*» доктором Гёшем, который засиживался у нас до 2-х часов ночи; жених барышни Лёв был обвинен в распущенности по доносу подглядывавшей за ним из кустов тетки; он обвинялся в совращении девиц; дело дошло до доктора; о соблазнении девиц антропософами гудели дорнахские окрестности; и при попытке расследовать, откуда слухи пошли, обнаруживалось: причина сплетен — молодой человек; когда же расплели комок сплетен, то оказалось, единственный корень порочащих слухов — факт поцелуя женихом своей невесты (свадьба была назначена осенью); отец невесты, почтенный старик Лёв, взбешенный клеветой на жениха дочери, забрав жениха и дочерей, в негодовании уехал из Дорнаха.

Не перечислить мелких, глупых, раздуваемых до «ужаса» инцидентиков, которыми вдруг процвели первые дни августа и которые вместе с *серьезными* инцидентами и невыносимо тяжелым фоном общего положения *портили воздух* Дорнаха; иногда казалось, что дышишь миазмами; к этому присоединялись эпидемия страшных снов и мании преследования, которой страдал значительный % нашей колонии: с августа до... ноября-декабря; Энглерт впоследствии признавался М.В. Волошиной, вспоминая дни августа: «*Мне казалось, что пахнет серой и козлом*». А Энглерт был розовощеким, трезвым, весьма не фантастично выглядящим... настоящим мужиком: с крепкой волею строителя и без всякой мистической нарочитости.

Я потому вспоминаю эти слова Энглерта, что именно в эти дни *вонь серой и козлом* стала мне отравлять дыхание; и я без видимой причины опять заболел приступами 1) страха, 2) бунта, 3) диких фантазий, 4) почти галлюцинаций среди бела дня, подступы которых испытывал и в июле еще.

Началось это с взрыва вызывающих жестов без слов Наташи, поведшей просто атаку на меня весьма грубым и как мне казалось ужасно циничным кокетством, бередящим чувственность; все усилия мои не поддаются на ее приглашения отнестись к ней, как... к... проститутке, в моем воображении разбивались ею; она умела атаковать меня, не стесняясь присутствием Аси, точно нарочно не видящей ее поведения; впрочем и то сказать: поведение Наташи в ее откровенных жестах было всегда задрапировано нотой сестрински-товарищеского «*sans façon*», которое она завела меж нами: чуть шуткой, чуть насмешкой и грубоватым «*со своими не*

церемонятся»; но это и было утонченной провокацией меня, ибо этим «*не церемонятся*» она знала, что безнаказанно берedit мои большие ею же полтора года неустанно растравляемые раны.

Я рванулся к Асе, как к последнему прибежищу; и попросил ее настойчиво обратить внимание на Наташу, принять меры к тому, чтобы меня освободить от постоянного ее присутствия, на что Ася расхохоталась: «Дари ей хоть цветы, что ли?» И попросила меня о Наташе не говорить с ней; кроме того: она отказалась принимать меры к изоляции нас друг от друга. Я без слов обращался к доктору; но доктор, как нарочно, делал вид, что *это его не касается*. Я бросился к Трапезникову и получил ответ: «Да глядите проще на вещи!» Я знал, что Поццо — не муж Наташи; мы с Асей давно не были мужем и женой. И в моем полубреду вспыхнула ассоциация: «Все сделано так, что Наташа и я, — суждены друг другу; это — карма; бороться тут нельзя». Кроме того: Наташа избегала разговора со мной вдвоем, мне бросая одновременно намеки, что разговор будет после того как... *это случится*; мне стало казаться, что она подстрекает меня к тому, чтобы я ее... *взял, как мужчина; взял насильно!* И даже подтрунивала: над моей трусостью... *ее взять!*

Эта навязчивая идея укреплялась наводнением ночи; я знал уже, сидя с Наташей и Асей вечером, у нас, если Наташа *такая*, какой она иногда умеет быть, жди ночью ее как бы прихода вне тела, когда она, в моей ночной бессоннице делалась нападающим на меня *суккубом*; и в этих прилетах ее *на помеле* было что-то столь ужасное, демонское, — что я, хотя и был пассивной стороной этих нападений, я тем не менее чувствовал на душе какой-то тяжкий грех.

В этом, втором лике своем, Наташа в иные минуты виделась мне тем, чем выглядела «*черная женщина*», которая продолжала, как летучая мышь, шнырять на холме; стоило мне отдаться припадку страсти к Наташе, как эта, мне неведомая *женщина*, точно в ответ на мои переживания, глядела на меня с наглежащей улыбкой, сверкая своими зелеными, как молнии, угрожающими глазами: *лев приближался ко мне, собираясь меня попутать*; страннее всего: эта мадам «*Шварц*» (так кажется) с недвусмысленной наглостью переводила глаза с меня на Наташу; и даже: на лекциях, в людских роях, оказывалась с ней рядом; подкравшись к ней, она поворачивалась на меня и своими ужасными, кровавыми, толстыми, как у вампира, губами кривила преотвратительно.

Меня же била лихорадка гадливости, ужаса и гнева; однажды я увидел, как после лекции доктора, подкравшись к Наташе, *черная* прилипла к ней, а та стояла, глядела на подиум и будто не

замечала этого более чем странного поведения; волна ярости, пересилив страх и отвращение, поднялась во мне: мне казалось, что черная «*глазит*» Наташу; я быстро подошел к ним и буквально плечами спихнул с Наташи «*черную*», не обращая внимания на то, как это выглядит; мое плечо ушло, как мне показалось, во что-то отвратительное студенисто-мягкое, бессильное; мадам «*Шварц*» шлепнулась с Наташи, мягко скачнулась с нее; и опустив плечи, не глядя на меня, заковыляла прочь (ведь она — «*хромоножка*»!).

До сих пор не могу объяснить себе того, как эта женщина осмелилась ни с того ни с сего прижаться к Наташе, как Наташа этого не услышала или, услышав, не реагировала, как я мог с недопустимой грубостью подойти и шибануть плечом незнакомую даму; как, наконец, это вопиющее нарушение всех приличий снесла «*мадам*» Шварц. Переживания могут быть субъективны; но *факты* остаются *фактами*.

Я их — не понимаю!

В эти же дни, в соответствии с взрывом невнятиц с Наташей и с обнаглением вновь в июне-июле было притихшего «*существа*», появились и *черные*: во всех видах; на прогулке в Дорнахе я стал встречать невыразимых уродов, точно выбегавших из всех кустов при виде меня, чтобы пройтись по дорожке — мне навстречу; почему я, живя полтора года в Дорнахе, не замечал, что он населен уродами, монстрами в духе Босха? Их и не было; они исчезли потом; в августе Дорнах переполнился уродами, из которых каждый — редчайшее явление; появлялась чудовищно распухшая мегера в бородавках с такими манерами, что можно было думать: она — не только содержательница публичного дома, но... так сказать «*патрон*» всех на свете публичных домов; однажды, в те дни, я ее встретил на базельском железнодорожном вокзале, куда я попал с покупками и где в ожидании поезда пил чай; она уселась перед моим столиком с неприличной девицей, намазанной под ангела; третий с ними сидел... тот самый член базельской ложи в лиловом галстуке, который с июня всюду мне попадался вне Дорнаха, точно следя за мною (что он член, явствовало его появление на лекциях доктора в столярне); все трое дружески беседовали: нарочито дружески, точно этим бросая мне вызов. Другим из запомнившихся монстров тех дней — идиотичного вида прыщавый малый, выносившийся мне навстречу и при виде меня разрывающий беззубие своего гнилого рта; было что-то отвратительное в этом идиоте; стоило мне прогуляться по Дорнаху, он — тут как тут: летит навстречу. Третий монстр, мне запомнившийся, — ужасный старик с сизо-лиловым гигантским, ненормально утолщенным носом, скрюченный, обросший сединами, с маленькими

злыми кабаньими, вниз устремленными и моргающими себе в усы глазками; самое страшное, что он несся вприпрыжку, не глядя на меня, мимо меня; и — часто вылетал из-за кустов, у поворота дорожек. Четвертый ужас — гигантский толстяк, с усищами, со-суший огромную сигару и ею делающий движения; увидев меня, сигара его начинала прыгать во рту вверх и вниз; что сие значило, — не знаю; но я понимал, что жест сигары относился ко мне.

«Много еще ужасов бывало», — вернее: все эти монстры высыпали на дорожки Дорнаха и Арлесгейма в первой половине августа, как жабы и черви... после дождя; к концу августа все они — бесследно исчезли.

Эти черные пешки, присоединенные к шпикам, к следу *шпиков* и к *черной даме* в *черных днях*, нависавших над всеми нами и особенно надо мной, были лишь бордюром к черному фону, который скоро предстал предо мною во всем величии, как развернутое покрывало, готовое пасть на меня и окутать меня; пешки доказывали, что есть *черная* партия в игре со мной, или даже с *нашей партией*, игроком которой я считал доктора; он ходил, как в воду опущенный среди нас; его вид — дручил; он видом показывал точно, что об ужасных *минах*, подведенных под «*Гетеанум*» и под все его дело, он знает, но — говорить не может.

Это было одним из мотивов, почему я не решался обратиться к нему из *чернот* моих восприятий: ему не до меня, даже не до нас; он отражает какие-нибудь невероятные ужасы, о которых говорить невозможно; и вспомнились его слова в Швеции, сказанные в замке, где я получил посвящение в М.Е.: «Если бы оккультист сказал вслух о страшных вещах, которые ведомы ему, никто бы не выдержал: есть вещи, упоминание о которых способно разорвать землю».

Я думал: *нечто* в этом роде приблизилось; мои переживания и наблюдения — наблюдение *симптомов*, только *симптомов*, под которыми — вящий ужас.

В это время Ася себе заказала белую суконную накидку к праздничным дням, накрывавшую ее с плеч до земли; накидка выглядела белым рыцарским плащом; я поглядывал на нее; и думал: «До чего этот плащ не соответствует истине нашего положения!» Я и не подозревал, что в имагинациях, которые мне скоро подстроются, *белый плащ*, который окажется у меня на руках, будет мне символом посылаемой защиты и помощи.

К ряду восприятий присоединилось еще одно: в моей бессоннице на почве невроза, тоски и мозгового переутомления (я ведь проделал гигантскую работу над текстами доктора, Гёте, Метнера и написал книгу в 400 страниц) присоединилось поганое вос-

приятие: прямо под полом моей постели — там, где в первом этаже у старушки Томан была *пустая комната*, в которую стали последнее время заходить какие-то неизвестные мещане и в которой временами кто-то неизвестный стал ночевать, — прямо под полом из пустой комнаты начинали доноситься странные звуки; кто-то приходил; под моей головой раздавались: шепот мужского голоса, потом возня, и заглушенные женские стоны; ну, словом: мне казалось — кто-то насиловал женщину; возня длилась часами, сквозь нее раздавались явные стоны женского существа; какую-то женщину часами мучили; я вскакивал с постели и не знал, что мне делать; раздайся *все это* громче, я имел бы право разбудить Асю, спуститься в нижний этаж и самому удостовериться, в чем же дело; но смесь из поганых и страшных звуков под моей головой была на той границе, которую переступить я боялся: «Что если — кажется? И я останусь в дураках».

Ночные звуки, присоединенные к дневным восприятиям, к Наташе, существу, на фоне Дорнаха, на фоне *всего прочего*, доканывали меня, вырывая сон; относительно этих звуков я не знал точно: относимы ли они к расстройству слуха или к действительности.

Как-то раз я заметил у старухи Томан девочку лет 12-ти, с черными, как смоль волосами, болезненно-острыми глазами, обведенными синевой, и смертельно бледную. Девочка появлялась часто, и я не знал, откуда она взялась: может быть, старуха Томан ее взяла в дом (наша квартира была с отдельным ходом наверх и я никогда не знал, когда гостят сыны Томан, приезжавшие откуда-то, когда их нет). Но появление странной, *черной* девочки как-то ассоциировалось в моем сознании со всею градацией *черных* знаков; явления *черного крапа* многообразны были; и отмечались мной механически: отметишь и забудешь, но все же отметились: «Девочка эта... к худу».

Однажды ночью, когда обычные стоны и вздохи, соединенные с возней под моей головой, были особенно настойчивы, — ужасная мысль резнула меня: «неужели эта девочка, и Томан, как будто ее взявшая в дом, приход неизвестного ночью...» — словом: ужасное, гадкое подозрение мелькнуло в голове, что Томан продаст девочку какой-нибудь скотине; я тотчас отвергнул мысль: Томан казалась честной старухой; думать *так* о ней гнусно: но мысль — застряла.

Однажды кажется Ася спросила: «Кто эта девочка?»

— «Я взяла ее, почти отняв у родителей, которые девочку истязали; она пока — тут». Что-то в тоне Томан, обычно прямом, было неискренно; но я не смел ничего думать.

Однажды, когда я шел на «*Bau*» и спускался с лестницы, у выхода я наткнулся на нашу весьма подозрительную прислугу, иногда куда-то исчезающую и потом опять появляющуюся у нас, на Томан и еще кого-то (не помню кого); прислуга неискренно обнимала девочку, которую точно нарочно поставили (она стояла в искусственной позе); когда я проходил мимо, прислуга бросила громко в пространство, точно нарочно:

«*Das Kind*».

Что — «*das Kind?*» И — почему? Пронеслась летучая ассоциация: и связалась с еще одним странным наблюдением дней: в хорошие светлые минуты мне попадались маленькие белокурые дети; и образ *ребенка*, как символ духа в нас, меня утешал; а в темные минуты появлялись какие-то *черные*, неприятные, точно дефективные дети, и они связывались моим сознанием с возможными духовными искажениями.

С августа в кантине, где мы пили кофе, появилось несколько неприятных, дефективных ребятишек вместе с приехавшими из французской Швейцарии членами; они как-то скверно кривились среди нас; и мне отметилось: «Да, — одна из энных черт *черного крапа*, который кем-то обильно сеется перед моими глазами». Теперь, думая над странным возгласом: «*Das Kind*», я подумал: появление неприятной, бледной черной девочки у фрау Томан — явление этого порядка.

Не помню когда, в этот ли день, на другой ли, — но я прочел в базельской газете: в окрестностях Дорнаха совершено преступление; найден труп изнасилованной девочки; полиция разыскивает негодяя.

Ночью, когда опять под моей головою началась возня — вдруг все черточки моих наблюдений над Томан, прислужгой, девочкой, подозрительными взглядами, которые провожали меня, наконец иррациональными припадками страха, и угрозами, мне посылавшимися кучкою мужиков с их «*если так, то — можно и застрелить*», — все это молниеносно сложилось в химеру: ищут неизвестного убийцу-насильника, скрывшего следы преступления, о котором я и не подозревал (я — редко читал базельские газеты); я оказался в числе подозреваемых, или, лучше сказать, «они», губящие, бросили на меня тень подозрения; и тут же ответилось: что за нелепица; ведь каждый мой шаг протекал под глазами. Но не мысль о подозрении резнула меня, а то, что я хожу в *тени*, брошенной на меня теми, кто вышли губить доктора, Гетеанум, кто бросили на меня «*существо*», кто превратили Наташу в медиума черных сил, кто усеяли мою дорогу монстрами. Все множество необъяснимых, фактических, гнетущих наблюдений двух-

трех последних месяцев мгновенно соединилось в невероятном мифе, все же дико объясняющем мне необъяснимые, но трезво наблюдаемые мелочи, — и голова моя закружилась; я был охвачен ужасом; я понял, что мне не справиться с роем разнородных нападений, ничем не связанных; *черные пешки, черный крап, черные переживания, черная дама*, — извне, изнутри — прирезывали меня; единственно, что я *мог бы* противопоставить этому рою — душевная сила и чистота; но я считал, что в наводнении с Наташей, от страсти к которой я сгорал в эти дни, и что безумное решение — «*будь что будет между нами*» лишили меня последней твердыни; камень, на котором я стоял над бездной — моя уверенность в *пути Духа*, — этот камень был вынут из-под ног моих.

Я понял: *мат, мат и мат!*

Помнится, — утром я выскочил из постели, как встрепанный; посмотрел на свое тело и увидел у себя на ноге: четкое, сине-красное, круглое пятнышко, которого не было; и уже в полном безумии, безо всякой логики, не я сказал, а злобный голос, чужой, во мне раздался:

— «Отметка дьявола: ты у него во власти».

Представилось: мною играли, меня проиграли!

И тогда-то на горизонте сознания передо мною отчетливо встал *Черный король, Ариман*, теперь своею персоною на меня наступавший: черные пешки, фигуры, сама *черная дама*, — все отступило: сквозь все я увидел один лик.

Ариман и я, брошенные друг на друга; я — безоружный, не знающий чем отразить нападение; он — вооруженный смертельным копьём, не дающим пощады; копьё направлено; я — во власти; я сам уже не могу себя защитить; если от меня *не отразят*, я — умер, а то, от чего я умру — неважно: от оккультной ли болезни, от клеветы ли, от простого ль ножа в спину, — убийство будет: не сегодня так завтра; и главное: нельзя никому ни в чем признаться; признайся я хотя б Асе, она сказала бы: «Ты сошел с ума».

Но я не чувствовал себя сумасшедшим, хотя бы в росте того самообладания, которое я выказывал внешним образом; никто, даже Ася, не видел меня в ужасе; я выглядел трезвее, спокойнее даже; такое спокойствие ведь оказывают обреченные на расстрел: перед расстрелом; томление неопределенности — кончилось; в сердце отдалось:

— «Ну вот и прекрасно: думай об одном, — мужественно встретить удар, падающий на твою ничем не защищенную грудь».

Помнится: я вскочил и вышел на лужайку; к нашему дому откуда-то прибежал громадный, тонкий, тигровый, темно-оливко-

вый дог и весьма неприятно метался передо мною, чертя круги и что-то вынюхивая; дога этого нигде не было прежде; с той поры он изредка появлялся передо мной: всегда в самую жуткую мину-ту, ассоциируясь с образом чорта, принявшего вид пуделя.

Странно: ассоциация эта вызвала во мне образ *Фауста*, кото-рый продал душу чорту; чорт приходил за душой, но ангелы от-били *Фауста*; Фауст слышал молитву: «Christ ist erstanden»*. Образ Фауста не раз мною ассоциировался с собою; мои отноше-ния с Наташей и Асей чем-то напоминали отношения Фауста к Гретхен и Елене; кто Елена, кто Гретхен — не знал; и не знал даже, в чем аналогия; но — аналогия была. Я, как и Фауст, — пав-ший мудрец; Лемуры и Мефистофель меня окружили; но ведь есть ангелы, вынесшие душу Фауста, и есть Патер Серафикус, окру-женный чистыми младенцами. Я вспомнил: Ася и Наташа в ми-стерии «*Фауст*» возглавляют два ряда ангелов, несущих Фауста в царство духа; самая постановка в теме спасения Фауста связа-лась с ситуацией того, что разыгрывалось в душе моей; как я не понял: миг Черной мистерии, разыгрывающийся во мне, и поста-новка мистерии спасения Фауста, которой должны были открыться важные дни, — одно и то же; подлинное хождение души по мытарствам здесь и отражение этого на сцене, как спасение из мытарств, есть единственная спасительная соломинка, за которую оставалось схватиться; и я — схватился.

Вскоре после этого, разбирая дно сундука своего, я наткнулся на сверточек; развернул и увидел: образок Св. Серафима, о кото-ром я забыл и который путешествовал со мной с 12-го года**; странно: мне подкинулся Св. Серафим, а в мистерии доктор при-давал особое значение Патеру Серафикусу; Фауст и Серафикус, я и Серафим: вспомнились 1901-1903 годы, когда я долго и жарко молился святому. Я повесил образок у себя над постелью.

И жарко помолился святому: стало легче.

С той поры я как-то особенно интересуюсь подготовляемой мистерией «*Фауст*»; и скоро получаю право на посещение ре-

* В первой части гетевского *ФАУСТА* герой слышит хор ангелов, поющий «Christ ist erstanden!» («Христос воскрес!»), ст.736) до того, как он продает свою душу чорту-Мефистофелю, который впервые появляется в виде черного пуделя. Дальше в тексте Белый описывает конец второй части драмы-мистерии — спасение Фауста.

** Преподобный Серафим Саровский (1760-1833) — старец-пустынножитель и затворник, прославившийся как величайший подвижник. С начала столетия, ко-гда Алексей Петровский подарил Белому и книгу о нем и образок святого, — глу-боко чтим Белым. Подробнее — в моей статье о месте Св. Серафима в жизни и творчестве Белого (в печати).

петиций под руководством доктора*; образок, репетиции «*Фауста*», мои молитвы, чтение Евангелия — все это к 10-ым числам августа входит в душу мою надеждой на помощь.

Но нападения на меня не ослабевают, а усиливаются, ведутся со всех флангов — сразу; мрачнеет военный фон, мрачнеет быт Дорнаха, учащаются ссоры, скандалы, безумия, но... точно с отчаяния сквозь это все пробиваются героические ноты самопожертвования, работы и ответственности со стороны нас, резчиков Купола, которые, поднявшись на леса, забывают все темное, чем мы окружены в пафосе работы, а снизу, из сараев, аккомпанируя работе, чаще раздаются красивые, трагические звуки написанной Стютенем музыки к «*Фаусту*», которую репетирует импровизированный оркестр. Так в веренице черных дней, которыми открылся август, появляются вспышки странных надежд на почти «*Чудо*», долженствующее ликвидировать зло; для меня же эта надежда на «*чудо*» есть надежда: молитвою Серафима, помощью *светлых* и медитативным чтением Библии, я сумею, быть может, прорвать роковое кольцо тьмы, которое обступило меня.

В этих днях мне от времени до времени стал попадаться доктор и, минуя все то темное, в чем я находился, он стал заговаривать о моей книге, которую в ремингтоне я передал М. Я. Штейнер. Встретившись со мной, он сказал: «Всю книгу трудно перевести мне, но назовите те главы, которые вы считаете наиболее написанными от себя, чтобы мне перевели их». Я назвал две главы, в которых я был менее уверен, потому что в них формулировалась философия антропософии оригинально, и в которых наиболее связывались четыре моно-дуоплюральных, мировоззрительных установки: 1) учение доктора о 12 мировоззрениях, 2) учение Гёте о 9 кругах объяснения, 3) световая теория в ее физическом, химическом, физиологическом аспекте и аспекте субъективного зрения, 4) идея градации, моя, вынутая мною из «Эмблематики смысла»**. Я указал доктору, что в первую очередь я хотел бы, чтобы ему перевели главу «*Световая теория Гёте в моно-дуоплюральных эмблемах*»; во-вторых: не вполне уверен в том, что

* «Эвритмическая» постановка последней сцены (так называемое «вознесение Фауста» — «*Fausts Himmelfahrt*») из второй части трагедии состоялась 15 августа (н.ст.) 1915 г. в Дорнахе под руководством Штейнера. 14-16, 28 августа он читал лекции из цикла «*Faust, der strebende Mensch*». См. также «*Eurythmie und Faust-Szenen*» в кн. Аси Тургеновой *ERINNERUNGEN AN RUDOLF STEINER UND DIE ARBEIT AM ERSTEN GOETHEANUM* (Stuttgart, 1972), с.66-69.

** Имеется в виду статья Белого *ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА. Предпосылки к теории символизма*. (1909) — Впервые опубликована в кн. *СИМВОЛИЗМ* (М., «Мусагет», 1910), с.49-143.

моя установка проблемы сознания во введении точно согласовалась с его учением о сознании. «Ну вот и прекрасно, — сказал он, — Фрау доктор будет мне переводить эти главы». Через дней пять, при встрече с доктором, он опять подошел ко мне с дружеской любовью; и, точно просияв лаской, пробормотал баском: «Знаете чем мы занимаемся с Фрау доктор по вечерам? Мы читаем вашу световую теорию. Фрау доктор ничего не понимает, а я — понимаю и растолковываю ей вашу мысль». И — поглядел дружески на меня. Я — просиял. Тогда он, дотронувшись до пуговицы моего пиджака, конфиденциальным подбодром сказал мне: «Ваша световая теория очень хороша!»

Не помню, по какому поводу (были ли мы в домике доктора или это было на холме, не знаю), но я рассказал доктору сон, который я видел в эти дни и который поразил меня: сон заключался в следующем: я вижу себя спорящим с Метнером о книге его против доктора; мы сидим за столом; я — разбил Метнера; он — покраснел от конфуза перед своим отцом, Карлом Петровичем, разгуливающим у стола, внимательно слушающим мои доводы и обласкивающим меня прекрасными глазами; странно, что Карл Петрович, — совсем другой: прекрасный, безбородый, в старомодном костюме; я не удивляюсь, что «отец» Метнера стал иным; и даже мелькает: я считаю его Карлом Петровичем, потому что он — *отец*. Просыпаюсь, — и тут только понимаю, что это был Гёте, сошедший с одного из портретов, с моего любимого. Этот сон я и рассказал доктору; доктор посмотрел на меня с лукавой улыбкой и сказал: «*А знаете ли, что значит "Гёте" по-немецки? Это нарицательное слово; и значит оно: приемный отец!*» Так сказав, доктор прищурился.

Эти встречи с доктором, его исключительно нежный тон ко мне, меня успокаивали; его потрясающая мрачность не относилась ко мне; он меня явно выделял, войдя в аудиторию, отыскивал глазами и еле заметно бросал через головы его окружавших людей то кивки, то лишь мне заметные улыбки; но все это внимание на людях ко мне было... точно украдкой; точно он хотел, чтобы люди не видели его разговора без слов со мною; и большинство не видели; иные *видели*; и увидав, не все понимали, что заставляло доктора в этот период подбадривать меня; он знал о невероятных личных трагедиях моей жизни (скоро это обнаружилось); он знал, что меня *терпеть не могут*... из-за него; он знал, что я разорвал из-за него с близкими (как Эллис, Метнер)*; он

* Ср. «автобиографическое письмо» Иванову-Разумнику: «в периоде 1912-1915 от прошлого — механически деформируется: деформируются отношения: со всем "Мусагетом", т.е. с Метнером, Петровским, Киселевым, (см. след. стр.)

читал мою книгу и действительно радовался, что я книгу написал; радовала его кропотливая моя работа над подстрочным его петитом к Гётевым текстам; он видел, что из этого петита я, сопоставлением текстов, извлекал новые теории. Так раз он громко заявил на лекции: «Знаете ли, что ведь у меня есть теория объяснения». И при этом метнул взгляд с кафедры на меня; а у меня сердце забилось от удовольствия: эту его *теорию* я извлек из сопоставления подстрочного петита, из 3-х, 5-ти, 10-строчий, разбросанных под Гёте на протяжении четырех толстых томов (работа убийственная регистра комментариев: по вопросам); сопоставив цитаты, я вынул меж них гнездящуюся стройную *теорию объяснения*, принадлежавшую отчасти и мне в том отношении, что сам-то доктор о ней не говорил нигде, как не говорил он о *многом*, что он нам подарил в материалах своих текстов, указывая, что нам самим надо уметь *извлекать* из антропософии то, о чем он еще не успел сказать. Кое-что, вместе с *теорией объяснения*, я извлек из контекстов моего регистра. Взгляд, брошенный на меня, относился ко мне, к моей работе извлечения *его теории объяснения*, о которой, быть может, и он не подозревал и на важность которой я ему в его прочтении моей работы указал. Такая апробация «его» теории была мне потому радостна, что она *апробировала* мне ряд других очень смелых для меня выводов, ибо я, отражая Метнера, был вынужден отражать его постоянным извлечением из материалов по *гетизму положений*, Штейнером не платформированных; усыновляя нашу с ним теорию объяснения и называя ее своей с подчеркиванием, что другие не знают, что эта *теория есть* у него, ибо он о ней не говорил нигде, он, так сказать, прививал мой подход к антропософии к своему; на многое я бы не осмеливался впоследствии, если бы не получил от доктора санкций *по-своему* говорить об антропософии; это *по-своему* мыслить, *по-своему* поступать мне нужно было особенно в те дни*.

Сизовым; потом — с Рачинским; потом — с С.М. Соловьевым; то же — с Морозовой, Булгаковым, Бердяевым и т.д.; то же — с мамой; то же — со всей Москвой; потом — и со всей Россией» («Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.70).

* Об этой книге Белый впоследствии писал: «пишу книгу в 1915 году "Рудольф Штейнер и Гете"; но — какая же это книга; она — отражение Метнера; и она семинарий и штудиум по вопросам антропософского *гетизма* и антропософской методике.

Я очень лично ценю эту книгу: она, по-моему, ярка, написана крепким языком; но — ведь это же чудовищный "кентавр": "полемико-гносеолого-афорисмо-логисмо-" не умею закончить: "-логия" что ли, "-фония" ли? И она — характерна: она — "предзамысел" к неисполненным еще работам, которых неисполненность мучит меня». («Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.73).

Так, незаметным подбодром, доктор меня приучал к владению *мечом* и в том странном *жесте поступка*, о котором — ниже.

Повторяю, — иные перехватывали стиль отношения доктора ко мне, так сказать, по дороге; и линия его жеста ко мне порой воровалась другими: обнюхивалась и обсуждалась у меня за спиной; такие люди, как Штинде, Калькрейт, Бауэр, Валлер понимали и разделяли отношение доктора ко мне; но такие были единицами; прочие же — ничего не понимали; большинство считало, что я втираюсь в доверие, как темный прохвост; они видели меня Молчалиным, таящим нечто худшее. По моему адресу раз была пущена стрела, что я «[неразб. — преступник?] Verbrecher». В чем моя *преступность*, которую *улучшил* доктор, — не знаю. Были и доброжелатели — из *стадного чувства*: раз доктор мне улыбнулся, надо... заискивать во мне. Эти последние относили симпатию доктора ко мне за якобы «*простецкость*» неприятзательно-ограниченной натуры; для этих я был нечто вроде «*юродивого*» (опять-таки без внешних поводов!).

Как бы то ни было, подбодр доктора меня, комплименты за книгу и переданные мне слова обо мне, что я де *тонко мыслю*, символически были клочком помощи, за которую я стал цепляться в ужасах дней моих, которые — продолжались и о которых не пишу, ибо в описании нельзя объять необъятного, а дни августа по насыщенности контрастами воистину неохватны в описании.

Я стал чаще думать о фаустовской натуре своей, посещая репетиции сцены спасения Фауста от Чорта: я стал перелагать и на себя текст жестикуляции ангелов, принесших душу Фауста: «Кто вечно подвижен в *усилиях*, того мы можем освободить»*. «*В усилиях*» — понималось мною: в усилиях себя спасти; «*освободить*» — понималось мной: освободить себя от сетей тьмы; а эти сети все острее ощущались мной после мигов «*надежды*» на репетициях, или в работе под Куполом; только забывая себя в созерцании эвритмии Фауста или в работе на общее дело, я не ощущал нападетельных ожесточенных ударов на себя.

Эти удары то появлялись знаками, то врывались Наташей в мой внутренний мир, то стояли погано-страшными звуками по ночам, то подчеркивались какими-то ужимками нескрываемой злобы, которой меня обливали иные из наших членов, опять-таки, — не знаю за что; если бы не было какой-то сплетни обо мне, или если бы я заблуждался в том, что меня ненавидят и внутри «А.О.», то вот несколько фактов из бесконечной вереницы: Эк-

* См., в последней сцене трагедии: «Wer immer strebend sich bemüht / Den Können wir erlösen».

картштейн, когда-то меня тащившая к себе работать, почти лебезившая, зазывавшая к себе в мастерскую рисовать мои «*удивительные*» глаза для эскиза к красному центральному стеклу, избравшему голову посвящаемого в Человека, читавшая мне стихи, — вдруг, без единого повода, не только изменилась ко мне, но перестала отвечать на поклон мне; я ей поклонился, она же, заложив руки за спину, зло и презрительно расхохоталась мне в лицо; странно изменилась опять ко мне лебезившая некогда шведка, потом не кланявшаяся, потом несколько раз кланявшаяся униженно (я — не отвечал); когда же я стал ей отвечать на поклоны, она в эти дни, как и Экартштейн, на поклон мой стала заворачивать голову; Вольфрам, с которой я не был знаком, но которая с Лейпцига прекрасно знала, кто я, при встречах со мной от злости передергивала свое лицо, лицо мегеры; так же относились Чирская, Штраус и некогда до сладости нежная Райф; едва кланялись Седлецкие; вообще: большинство *старших теток* из категории «*Крестоносцы*» и «*Столоносцы*» точно по уговору едва кланялись; и провожали саркастическим взглядом; в иные дни пятиминутный проход от нашего домика на Холм, проход по стройке до спасительных лесов на Малый Купол, был мне проходом сквозь строй ненависти, непонятно косых взглядов, подглядыв, шипа в спину; мне в иные дни чуть не делалось дурно от всего, что я наблюдал по своему адресу. Не будь моих молитв Серафиму и чтений Евангелия, я бы не вынес этого незаслуженного позора, которым покрыли меня за *что-то*; я не говорю о шпиках, которые торчали у дома; эти «*мухи*» уже почти не досаждали; но проход к холму по дорожке, на которой скапливались сотни наехавших «*чужих*» антропософфов, где вечно стояли кучки, болтая и шушукаясь, был проходом сквозь меня ненавидящий строй; особенно запомнилась мне отвратительная брюнетка с зеленым, худым, злым лицом мегеры; это была сестра ушедшего из «*А.О.*» доктора Гёша; она отказалась от брата, но приехала наспех из Берлина вместе с разнохивателями что-то пронюхать; и «*нюх*» ее в чем-то уткнул в меня; эта дрянь уже не только не отвечала на поклон (я не знал ее), но взглядами, активными жестами выражая лютую ненависть к Асе и Наташе, по отношению ко мне выражала уже даже не злость, а гадливость; эта дрянь, увидав меня, издали неслась, чтобы попасться навстречу мне, встать передо мной, чтобы на лице своем выразить... тошноту, точно я был... помойной ямой, а не человеком; раз она /.../ отчетливо, громко, с непристойным жестом сплюнула, когда я проходил мимо нее; что этот плевок относился ко мне, я не мог сомневаться; я — вздрогнул, точно плевок попал мне в лицо: так был он красноречив.

Вы представьте мое положение: если бы не экзальтированная медитация над темами *оплевания, заушения, тернового венца*, которыми я поддерживал в себе мужество торчать на людях с утра до вечера, — я бы свалился в нервной болезни; мне казалось, что стихи мои, написанные в 1903 году, провиденциально отметили мое будущее: будущее в Дорнахе, где каждый первый встречный голландец, немец, норвежец или еще кто, только потому что я и он в одном многотысячном коллективе, будет иметь право оскорблять меня, но так, что я не смогу отвечать на оскорбление: докажете-ка, что девица сплюнула по моему адресу, а не так вообще, хотя... немецкие девицы так громко не харкают при сплёве, да и вообще не харкают, а обтирают рот платком; тут же меня оплевали: плевали в душу, в лицо, и я *ничего* не мог изменить: оставалось бежать, но это означало бы: сбежать от мысли именно в эти дни быть при Малом Куполе, о чем — ниже. Оставалось утешаться стихами, мной написанными 11 лет назад:

Ведите меня
На крестные муки*.

Среди этой немой пантомимы расплёва меня за... верность положенному решению умножались и жесты оккультных угроз, о которых я говорил выше; жесты этих угроз особенно трудно зарисовать в фактах, меня обстававших; но вот один, например: среди массы съезжавшихся к деловым дням были какие-то во всех отношениях подозрительные фигуры, которых никто из дорнахцев не знал, но которые *где-то* были членами; среди этой [массы] выделялся особенно один; худой, как глиста, зеленый, с маленькой козьей бородкой, с совершенно сумасшедшими глазами и с неприятным тиком дергающегося лица, с разъятиями набок сведенного в нервной зевоте рта; он выглядел не то идиотическим уродом, не то нервным больным, не то отъявленным мерзавцем, способным и ограбить, и зарезать; я сразу же обратил на него внимание: «Откуда... этот?» Он был в pendant к черной женщине: та же злость, лютость, истерика, лживость; и при этом: в иные минуты он делался похожим на козлоногого чорта, дико прибежавшего с шабаша; уже один вид его — *вид монстра*: во мне вызывал вздрог; делалось стыдно, что *такие* — антропософы; но не это его делало ужасным для меня, а то, что он так и влип в меня: со смесью исступленного любопытства, злости, невыразимой наглости, он не то что преследовал меня, а втыкал в меня свой взгляд

* Заключительные строчки стихотворения *МАНИЯ* (1903), опубликовано в сб. *ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ* (М., 1904), с.239.

в спину; этот взгляд я узнавал спиной: по мурашкам; я обертывался и видел издали, что монстр стоит, влипнув в меня взглядом, отупело-козлиным и лютым от свершаемого в эту минуту «глаза»; он меня «глазил»; за этим делом его и приволокли в Дорнах; самое ужасное, что он даже не ненавидел меня: он был искусственно составленный чортом, или кем-то, аппарат: два дула пулеметов мне в спину — жарить в меня пулями, не им отлитыми; таков был этот взгляд, брошенный украдкой на меня; а когда я ловил его с поличным, он делал вид, что у него тик; лицо его дергалось в сторону, как у душевно-больного; два раза он напал на меня, разъяв свою пасть и застыв в этом угрожающем оскале; жест означал: «Вот я как тебя: ам-ам, — и ничего не останется!» Придаться же нельзя было: это в нервном тике сводилась челюсть.

Чувство ужаса и гадливости, которою я был охвачен при этих наскоках притащенного против меня уже просто *механического аппарата*, а не человека, были невероятны; но все преодолевало презрение мое: таким подлым приемом угрожать; раз даже я пошел на него, а он смутился, задержался; и поспешил уйти.

Впоследствии, через 2 месяца, о сем господине, оказавшемся доктором, я узнал вот что: его накрыли с поличным; он производил аборт самым отвратительным способом и был в 24 часа изгнан из Общества.

Думаю, что это еще было меньшим: я его накрыл за 2 недели до изгнания на том, что он крался за мной и Маликовым по безлюдным улицам, когда Маликов завел меня в Базеле к двум русским студентам эс-эрам, заведовавшим русскою библиотечкой: он был еще и просто филёр.

Чем был он еще, или чем *мог быть*: не знаю; в эти дни черные братства и нити разведок переплелись в моем восприятии. Да, — кажется: он был коротко знаком с мадам Шварц.

Куда бы я ни шел: в кантину, на прогулку, на стройку, мне устраивали достойные встречи зарядом злобы и фетировали оплевыванием. Лемуры подступали ко мне, оспаривая свои права над моею душою у светлых сил*.

Но стоило мне подняться на леса, — все кончалось: среди молодежи, работающей под куполом, не было ни одного подозрительного лица; там господствовала удивительно чистая атмосфера; все, как на подбор, были свои: товарищи, даже братья и сестры; и помнится: все были удручены каскадом гнили, бывшим под их ногами: внизу (мы же работали наверху, — выше всего).

* Лемуры — бесы (die Lemuren), вызванные Мефистофелем, чтобы погубить Фауста (в конце второй части трагедии).

В эти дни была странная солидарность и неповторимый ритм работы, перешедший к дням сдачи Купола в ритм особо бережно-го и чуткого отношения друг к другу.

Светлый круг строителей Купола меня поддерживал: я держался не собою самим, а — кругом, коллективом, «мы», вдруг-ставшим всех нас превышавшим «Я».

К середине августа меня тревожащие ночные звуки стали покрываться другим тихим, мягко-музыкальным звуком, точно звуком тончайшей свирели или какой-то особенно музыкальной цикады; в угловатостях моего сознания, привыкшего в те дни связывать несвязуемое и делать обобщения уже не по недостаточным, а по *вовсе недостаточным* признакам, отмечается мне связь Трапезникова и меня по ночам успокаивающего звука; связь моя с Трапезниковым, в свою очередь, была странною связью меня и со Штинде, мадам Моргенштерн и Бауэром; появление Трапезникова у нас мне выглядело появлением этого квартета людей в те дни; он — представитель группы, мне помогающих; в его вопросах и словах, адресованных к Асе и даже к Наташе в моем присутствии, я расслышивал нечто юридически-ритуальное; точно он еще и нотариус, заключающий доверенность на что-то и при заключении ее ставящий мне, Асе и Наташе ряд вопросов: «Согласны ли?» «Призываю вас в свидетели». Причем содержание их и моего согласия на что-то в рассудочном смысле мне было глубоко неясно; но в жесте ясно: «Призываю вас в свидетели» — означало: «Он берется от вас для некоего акта». «Согласны ли?» — в ритме обращалось ко всем нам. Точно составлялся некий акт, подобный купле-продаже или свидетельству, что я, ни к чему не принуждаемый, беру на себя некую «миссию»; появления Трапезникова у нас имели 2 смысла для меня: 1) составление как бы некоей бумаги о моей будущности, 2) личная помощь мне от себя и от группы людей, выше его стоящих.

Странно: именно в эти дни мне стало ясно, что наш путь с Асей отныне разорван; мы, оставаясь в духовной близости, на путях жизни разведены не только как муж и жена, но и как *пара*, проходящая по жизни; в эти дни ощущение было особенно ярко; скоро оно забылось; оно стало действительностью 1) в миг моего отъезда в Россию, 2) в миг моей встречи с К.Н. в Москве, 3) в миг моей встречи с Асей в 1921 году*. Вспоминаю теперь, что Трапез-

* 12 июля 1916 г. был обнародован высочайший указ о «призыве ратников I и II разрядов», согласно которому Белый был призван на военную службу. Согласно рукописи «Жизни без Аси» (ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.1), он уехал из Дорнаха 16 августа (н.ст.), а 3 сентября приехал в Петроград. Вскоре после этого он знакомится в Москве с «К.Н.», т.е. с Клавдией Николаевной Васильевой: (см. след. стр.)

ников в те именно дни стоял перед Асей с вопросом обо мне; и за ним — Бауэр.

Что касается до помощи мне, то кроме морального постоянного подбодра, выражавшегося в чуть шуточном тоне («Ничего, ничего, — держитесь: ничего не поделаешь, так — надо»), я заметил странное явление; после ухода Трапезникова раз тотчас же раздался стук об угловой желоб нашего дома: стук палкой; помнится, я, высунувшись из окна, увидел в лунной ночи только что бывшего у нас и опять очутившегося у дома Трапезникова; увидав меня, он несколько смутился и стал объяснять мотив своего возвращения к нашему дому; я, признаться, не помню этого объяснения; оно показалось мне неубедительным. В сознании стояло: зачем Трапезников возвращался к дому? Не он ли стучал в желоб? И отдалось: он. Для чего? Но много жестов Трапезникова в те дни я не понимал; я понял: он это-то тайно делает для меня; и это — к помощи. В эту же ночь у дома, около желоба и раздался музыкальный звук. С той поры по ночам иногда раздавались мягкие музыкальные звуки; иногда им предшествовал: стук палки о желоб. В душе иррационально отдавалось: «Это приходит Трапезников постучать. Он — нечто вроде бывшего ночного сторожа: отпугивает от меня страхи». Я лежал в постели, прислушиваясь к музыкальному звуку; мне делалось легко, точно я слушал звуки Бетховена; в окне стояла звезда; я тихо засыпал.

Я не спал до утра все лето. Теперь сон стал слетать ко мне.

Между сном и бодрствованием делались состояния со мной. Я как бы свободно летал в каких-то пространствах; и — озирали окрестности; раз я наткнулся на какое-то черное, злое существо; оно бросилось на меня, но я отпугнул его: я отпугивал его не от себя, а от нашего дела; оно — было — враг.

В другой раз, не засыпая, я сознанием ухнул в сон без прерыва сознания; было так: вдруг точно у меня раскрылись пятки и

«с 1916 года Клавдия Николаевна делается мне близкой в работе "московской группы" [А.О.]; в 1917 году — еще "ближе", а в 1918 году происходит наша встреча с ней; я первой из всех ей умею *все-все-все* рассказать о годах 12-15-ых» («Автобиографическое письмо» Белого Р.В. Иванову-Разумнику, «Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.78).

В письме к матери от 29 декабря 1921 года, из Берлина, Белый писал: «Видел д-ра Штейнера и Асю. Представь: первый человек, которого я встретил в Берлине, была Ася; она с доктором проехала из Швейцарии через Берлин в Христианию, и — обратно: давать эвритмические представления; мы провели с ней 4 дня; и на возвратном пути она осталась 4 дня в Берлине. В общем — не скажу, чтобы Ася порадовала меня; она превратилась в какую-то монашенку, не желающую ничего знать, кроме своих духовных исканий». (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359). Окончательный разрыв Белого с А.А. Тургеневой произошел в Берлине в апреле 1922 г.

я как вода из отверстия через пятки выскочил из себя и свободно понесся по швейцарским ландшафтам; был день — вот я, невидимый, несусь на [неразб.] дорогу; по дороге повозка, запряженная белой лошастью; в повозке швейцарец; я лечу прямо на лошадь, но свободно просвистываю сквозь нее и несусь дальше, к какой-то цели; наконец я пронесся в какой-то город и в нем инкорпорированный, но не в свое обличие, долго разыскиваю какую-то даму вдоль малых улочек; наконец — всхожу на крыльцо, звоню, вхожу; меня встречает дама (я мог бы ее описать до мельчайших подробностей); по-видимому, это какая-то очень крупная оккультистка, ведущая огромную интригу против доктора: я ее выследил и посетил; она доверчиво мне разъясняет свои планы; я — слушаю, выведываю, чтобы их сообщить доктору; открывается люта я ненависть к нему; она думает, что я — свой; каждую минуту она при своих очень больших оккультных способностях может меня накрыть с поличным и тут же уничтожить; но — ей невдомек; мои жесты скрывают меня; в этом умении нести мимики сказывается *тренировка* этих последних, ужасных месяцев; я понимаю, что мое поведение — эксперимент в правилах уже совершенно оккультного поведения: умение в астральном мире нащупать врага; и, приблизившись к нему, остаться им неоткрытым.

Тут я проснулся с чувством, что не все в этом сне «сон»; у меня было чувство верно исполненного поручения.

Мне думается, что *дама* одна из немногих крупнейших оккультисток-теософок при Безант, живущая в Германии; в каком городе я ее посетил, не знаю; городок был невелик.

В другом «*сне-не сне*» этого периода я что-то напутал, защищая Гетеанум, в результате чего Ариман вспыхнул в нем; Ариман был пожаром; и я видел образ его вставший из дымка над пламенем пролитого чего-то на бетонном полу; он был в персидском одеянии, высокой шапке с жезлом и длинной седой бородой; он свободно несся с дымами и пламенами по бетонным коридорам подземного этажа среди суетящихся в ужасе антропософов; и кто-то сказал мне: «Это — ваша оплошность». Пожар изолировали; выходило, что я чуть-чуть было не спалил «Гетеанум».

Такого рода сны часто посещали меня во второй половине августа; и я многому в них учился.

В эти дни появление одного лица в Дорнахе остановило особое внимание; появился тот именно странный антропософ — молчаливый, с длинной белокурой бородой и с длинными волосами, который соединился со мной в одном моем поступке, казавшемся мне поступком огромной символической важности; в Лейпциге,

в дни казавшиеся мне днями «моего посвящения», когда я увидел физическими глазами «невидимый свет» и когда в эти минуты выхода из себя физически мне казалось, что я упаду в эпилепсии, во время лекции мне на руки упал эпилептик; мы его вынесли со странным блондином; я расстегивал одежду на эпилептике, он кричал «исцеление», а белокурый бородач сидел передо мною в глубоком и безучастном молчании; и почему-то напомнил мне *время с косой*, или — рок; эпилептик, павший мне в руки, казался мне павшей мне в руки судьбой моего низшего «Я», которое я должен волочить по жизни с его болезнью; или же: я должен принять какую-то болезнь посвящения; мне казалось, что бесстрастно сидящий антропософ, «*время*», понимал свою роль, как участника некоего акта мистерии моей жизни; ему было лет 45; у него был вид «*знающего*»; тут вошел доктор и посмотрел на нас троих, на меня, поддерживавшего голову припадочному, распростертому на полу в соседней с аудиторией пустой комнате, и на «*время*», сидевшее неподвижно над нами; доктор строго, вещь обмерил глазами нас, сказал «Ничего»; и — вышел.

Потом я вспоминал свидетеля моего решения взять в себя болезнь этого человека, который — корчащееся в муках посвящение «Я»; но я его больше нигде не видел; не видел — «до» этого случая, не видел и после; я знал в лицо сотни антропософов; я знал всех сколько-нибудь выдающихся членов; мое «*время*» имело очень значительный вид; и главное: мы с ним были участники в огромном для меня акте вынесения больного на себе; он — исчез, нигде не появляясь.

И вот он появился в дни, когда я находился в глубине моей болезни, в днях решений судьбы; я был тем именно припадочным больным, в которого вцепились и тащащие его в бездну черти, и злые, кусающие страсти (моя страсть к Наташе), а «он», павший мне в руки и раздираемый, корчащийся в предсмертном припадке, все же видел «святыню» и бормотал, как тот больной: «Neil» («Исцеление»).

Появление на лекциях доктора и в кантине этого человека, которого я прозвал «*время*», напоминало мне: «Ты сам в Лейпциге поволлил взять в руки свой рок, свою болезнь; и тащить ее на себе. Ну и — тащи». — «Ну и тащи. Я, время, появилось в днях рока перед тобою; я иду с тобой: помнишь и ты, как мы волокли твой тяжелый рок; ты задышался под тяжестью упавшего себя самого в "Я"; я тебе помогал. Да будет помощью мое появление сюда перед тобой, в дни принятия тобой своей кармы»*.

* Ср. «автобиографическое письмо» Иванову-Разумнику: (см. след. стр.)

Странно: с таким вещим, помнящим *все* выражением он поглядывал на меня своими глубокими, умными глазами, сидя на лекции, или проходя мимо меня. Раз я встал и нарочно прошелся раза два перед ним: это — означало: «Я — приемлю твое появление»; в те дни у меня был дар жестов; кто-то приказывал мне сделать то или другое, необъяснимое никак; я делал и наблюдал: ответные ритмы; часто я получал тотчас ответный жест обстановка; так я движениями, поворотами, выбором дорожек для прохода, опережением или пропуском мимо себя тех или иных людей, сплетенных в жесты, ритму ставил вопросы и получал внятные ответные жестиколяционные фразы. Жест моего прохода 2 раза мимо «*времени*» был тою азбукою для немых, которой я в те дни учился; к моему изумлению: задумчивое «*время*», обычно серьезное и нарочито не глядящее на меня, *слишком* не глядящее, но явно помнящее, — откровенно усмехнулось и, как бы подмигнув, кивнуло мне чуть-чуть, — опираясь руками на палку и покрывая руки свои длинною, белокурою бородою. Конечно, никто не увидел этой нашей переклички о Лейпциге, кроме... Марии Яковлевны, стоявшей перед нами: она строго посмотрела на меня, как бы говоря: «Вы это что? Играете с судьбой? А это — серьезно».

В связи с *судьбой* и временем в эти дни встало решение: моя судьба — уехать; с Асей путь — кончен (странно, это чувство держалось лишь дней 10; потом его забыл); Наташа мне — мука; я уеду в Россию, оставив все: не это ли мне подсказывает вставшее передо мной «*время*», усмехнувшееся на мое предложение и далее волочить с ним «*его*», тяжело больного: волочить в Россию.

В этом смысле у меня был разговор с Асей и с Поццо, очень серьезный, около замка Бирзек, над «*Вау*»; но Поццо сказал: «Нет, Боря, тебе уезжать нечего». И значительно посмотрел: я принял этот взгляд: «Быть тебе с Наташей». Понял одно: не *ритм* уехать теперь, но когда события жизни сами поведут в Россию.

Так в те дни был миг решительного поворота: взгляд на Россию; и — знание: я там буду; вместе с тем я понял: «Мы с «*временем*» будем «его» волочить еще некоторое время здесь».

«До явления, вспыха — сон не сон: скорее выход из себя в какой-то *черте*, где встретил Доктора, которому мое высшее «Я» дало как бы на что-то обет (низшее «я» недорасслышало), и непосредственно после обряда прощания, на лекции доктора мне в руки свалился *эпилептик*, которого вынес я и которого приводил в сознание, причем было ясно: «*эпилептик*» — это тот «Я», который от принятого решения моим высшим «Я» всю последующую жизнь будет нести величайшие страдания». См. также примечание Белого к рисунку в письме: «Эпилептик падает мне в руки, т.е. «Я» сам падаю себе в руки: несу карму» («Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.72).

Возвращаясь домой с Поццо, мы, ну конечно, на одинокой дорожке встретили «*время*»; оно, проходя, посмотрело серьезно на меня; странно: «*оно*», после моего подхода к нему, всякий раз при встрече давало понять, что «*оно*» — откликнулось; *и — идет со мною.*

Кажется в этот же день, я, встретившись с Марией Яковлевной, прогуливался с ней перед «*Villa Hansi*» и неожиданно для себя стал ей говорить, что хотел бы в этой жизни зарисовать портрет доктора; и, может быть, в форме романа-автобиографии; тут же, на лужайке, пронеслись первые абрисы той серии книг, которые я хотел озаглавить «*Моя жизнь*» («*Котик Летаев*», «*Записки Чудака*», «*Крещеный Китаец*», «*Начало Века*», «*Воспоминания о докторе*» суть разные эскизные пробы пера очертить это неподспудное задание)*.

М.Я. сказала доверчиво:

— «Что же, — попробуйте: теперь надо смело действовать».

В этот же, или в ближайший, день, в связи с прислушиванием к ритму «*времени*», в связи с растущей нотой приближения кармы, я, не уехавший в Россию, понял, что момент «*некоего акта*» приближается; и вспомнился лейпцигский выход из себя перед сном, но не в сон, а в картины комнат, по которым меня влек доктор; я лишь на миг забылся и тотчас очнулся за столом, перед чашей между доктором и М.Я. Доктор спрашивал меня: «Согласны ли вы на это?» — на что, я не знал; и я услышал свой голос, — тихий, как бы в полузабытье: «Согласен». Много я думал потом: «на что же я дал согласие?» «*Некий акт*» стоял в днях Лейпцига; потом стужевался; теперь он — вспыхнул опять: навязчивая тема ритма, как некоей инспирации («Должен, должен»), ведь и была темой дней; теперь-то мне дадут нечто опасное, как «*бомба*», в руки; и я руками нечто совершу; об этом-то приходил спрашивать

* В письме, посланном 20 ноября 1915 г. (н.ст.) из Арлесгейма Р.В. Иванову-Разумнику, Белый писал: «Теперь же сижу над 3-ьей частью "*Трилогии*", которая разрастается ужасно и грозит быть трехтомием. Называется она "*Моя жизнь*": первый том — "*Детство, отрочество и юность*". Первая часть тома как и две другие части в сущности самостоятельны; ее кончу через 2-2 1/2 месяца; она называется "*Котик Летаев*" (годы младенчества); /.../ Работа меня крайне интересует: мне мечтается форма, где "*Жизнь Давида Копперфильда*" взята по "*Вильгельму Мейстеру*", а этот последний пересажен в события жизни душевной; приходится черпать материал разумеется из своей жизни, но не биографически: т.е. собственно ответить себе: "как ты стал таким, каков ты есть", т.е. самосознанием 35-летнего дать рельеф своим младенческим безотчетным волнениям, освободить эти волнения от всего наносного и показать, как *ядро* человека естественно развивается из себя и само из себя в стремлении к положительным устоям жизни приходит через ряд искусов к... духовной науке /.../ и детская песня души, превращенная в оркестрованную симфонию, есть наш путь» (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.6).

нотариус-Трапезников; на это намекает и «*время*», появившееся передо мной, как и в дни Лейпцига; уже некая странная индукция о содержании «*акта*» была при дверях.

В следующих днях мой «*акт*» осознался (об этом ниже).

Здесь лишь скажу. Меня могут спросить, какую логикой я связывал людей, мелочи быта, переживания, так, что связь остранныла мне рельеф быта и в этом быту, не нарушая законов его, революционизировала самое содержание в ритмических жестах и символических обрядах, производимых мной отчетливо, внятно, иногда дерзостно, но — так, что под поступки мои нельзя было подкопаться со стороны, ибо их как бы и не было (а они были *дико смелы*, за что меня враги и собирались убить — так отдавалось в имажинациях)? На этот вопрос отвечаю: я вслушивался в звук ритма, в инспирацию; и к середине августа слух утончился; я с утра раскрывал «*Библию*»; и всякий открытый текст внятно отвечал на поставленный вопрос о *теме ритма*; из него я уже знал: чего в смысле ритма мне держаться сегодня; и взяв это *что*, как тему дня, во всех встречах, событиях и разговорах я встречал лишь вариации *темы*; их узнавал и поступал сообразно правилам какого-то музыкально-эзотерического контрапункта; в обычной логике уплотнения контрапункта казались бы бредом, а в ответах ритма мне извне бред получал глубочайшее осмысление; весь вопрос был о том, чтобы духовный смысл был прочтен, духовный ответ на него в жестах дан; но жесты не должны были зацепляться за быт, мелочи обыденной жизни; зацепись, и — или ты сойдешь с ума, или случится нечто непоправимое для тебя, в результате чего ты будешь врагами пойман с поличным.

Так я нес «*бомбу*» моего знания среди роев людей, могущих меня толкнуть и вызвать взрыв; нес к некоему «*акту*», смысл которого уразумевался в отдельных «*актах*» *неимагинативной* логики, всякая ошибка в которых должна была оплотнеть: *моею личной судьбой*.

К постановке мистерии «*Фауст*» я готовился с волнением, как будто что-то от моей судьбы решалось в ней; заключительная сцена рисует спасение Фауста, а я ведь все предшествующие дни переживал гигантское раздвоение сознания; моя душа была разорвана пополам: светлая ее часть была как бы выхвачена мучкой из тела и откуда-то издали глядела, как другая ее половина, обстанная тьмой, — добивалась; так часть души стала выше себя — вне себя: она училась быть бесстрастным игроком в партии «*белых*» против «*черных*»; другая ее часть стала деревянной фигуркой короля, которой сделали шах и мат.

Отсюда мысли о двойной душе; связь в них с Фаустом; доктор Фауст — фигура ренессанса, борющаяся со средневековьем; мой ренессанс был — в вырыве из всех традиций; неспроста мне Трапезников говорил о ренессансе в те дни; «средневековье», «ведьмы», «тьма» — быт тех слоев «А.О.», которые были охвачены уже скандалом. Я ощущал свое право на какой-то бунт; но в чем заключалась моя, так сказать, *легальность* в бунте, это стало мне проясняться впоследствии; и прояснялось с 16-го до 21-го года: уже в России, в деятельности, в позиции моей Философии культуры; в 1915 году за 5 лет до деятельности в Вольной Филос[офской] Ассоциации я был уже, так сказать, «вольфилец» до «Вольфилы»*; и таковым бродил в Обществе; меня понимали отдельные души: но еще не было, так сказать, хартии вольности для этого понимания; она вырабатывалась в социальных кризисах, в которые «А.О.» было стремительно брошено; в самом Обществе уже шел бой двух начал; с одним был доктор; с другим — «общественное мнение»; надо было в этом общественном мнении пробить брешь.

Я нес в себе Фауста, борящегося со всеми «Вагнерами», блуждающими среди нас**.

Повторяю: никогда образы драмы «Фауст» не стояли так близко к моей душе, как в эти дни; точно Гёте мне впервые открылся; только что перед тем он мне открылся в своих естественно-научных домыслах; теперь открылся и как художник. И доктор появляется в эти дни передо мной; и я слышу его «да» этому моему увлечению Гёте.

До сих пор я зарисовывал факты моего сознания, сортируя их по группам: 1) личная жизнь, 2) мысль о «сверхличном», 3) помощь, 4) нападения, 5) странные совпадения и тема «Судьбы» и т.д. Эти группы явлений разыгрывались одновременно; все, что я силуюсь зарисовать, вихреносно проносилось на протяжении каких-нибудь 10 дней: и каждый день состоял из ряда вихревых моментов: вихрь света; через час: вихрь погибельной тьмы; через час: высокая приподнятость над собой и преисполненность жертвенностью; через час: горение низших чувств; потом — горечь и бунт; потом: поток любви к доктору, к Асе, к Наташе, к Бауэру. И весь этот бурно-противоречивый рой несся в пространстве 24-х часов; неудивительно, что когда кончался день, мне казалось,

* См. статью Белого *ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ*. — «Новая Русская Книга», 1922/1 (январь), с.32-33. Также и его *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ...* (Ann Arbor, 1982), с.109-110.

** Вагнер — «ученый секретарь» Фауста, олицетворение «академического самодовольства», полная противоположность вечно ищущему Фаусту.

что год отделяет меня от того, что было вчера; но наступало утро: и начиналась такая же буря. Я стал переживать текст: «Довлеет дневи злоба его»*. Но «*довлеет*» стояло перед душой не как беззаботность, а как перегруженность огромностями забот одного дня.

Хотя я держался скромно, и на физическом плане не делал никаких глупостей (все усилия были направлены к тому, чтобы казаться, *как все*), однако переживания мои все же отпечатлевались, вероятно, и на моей внешности; позднее уже Волошина нарисовала наш с Асей портрет**; с него на меня посмотрел некто, весьма странный: либо сумасшедший, либо посвящаемый; не сомневаюсь, что этот портрет был фантазией Волошиной; но не сомневаюсь и в том: что «*фантазия*» ее во мне отметила что-то от сути моих тогдашних переживаний; тот, кто ходил по Дорнаху в 1915 году, в августе, был не Б.Н. Бугаев 16 года в России; он не был даже «*чудаком*» моих «*Записок Чудака*»***; «чудак» — это Бугаев лета 1916 года, т.е. тот, в ком до некоторой степени угасли уже, заросли способности к тем восприятиям, которые имели место в августе 1915 года.

Поэтому весьма естественно: мой вид останавливал многих, меня не знавших в те дни; мне передавали, что я выгляжу *чем-то* взволнованным, смятенным, как бы потерявшим себя; в том, что меня спрашивали «да что с вами?», я вижу победу над собой: если бы хоть четверть действительно переживаемого открылась спрашивающим, они сказали бы: «Вот человек сошел с ума».

Никто этого не сказал.

* Матф. 6.34.

** Портрет («Doppelbildnis Andrej Bjelyi mit seiner Frau Assja Turgenjew. 1915/16») числится под номером 24 в каталоге работ М.В. Сабашниковой, помещенном в кн. *MARGARITA WOLOSCHIN. LEBEN UND WERK* (Stuttgart, 1982). В своей автобиографии *DIE GRÜNE SCHLANGE* (изд. 1985 г.) Сабашникова-Волошина пишет: «Im Jahre 1916 wurde Andrej Bjelyi einberufen. Vor seiner Abreise hatte ich ein Doppelbildnis von ihm und seiner Frau gemacht, so wie sie oft Hand in Hand — gleich zwei Gestalten auf den ägyptischen Gräbern — einem Vortrag lauschten. Einige Tage nach seiner Abreise erblickte Rudolf Steiner das Bild in meinem Atelier und sagte: «Wie schade, daß er abgereist ist; eben war er auf dem Wege, gewissermaßen das Gleichgewicht zu erlangen.» «Aber», widersprach ich ihm, «er ist doch mit Rußland so verbunden; muß er nicht diese kritische Zeit mit seinem Volke zusammen erleben? Er wird da anthroposophisch arbeiten können». «In Rußland wird man nur Chaos und Fegefeuer erleben können. Es werden dort vielleicht noch Ingenieure gebraucht». (с.296-297).

*** В январе-феврале 1918 г. Белый делал «черновые наброски» *ЗАПИСОК ЧУДАКА*. Он усиленно работал над ними весной (март-апрель) того же года, а в октябре переделал написанное. Он продолжал работу в ноябре, а закончил книгу лишь в конце декабря 1921 г. в Берлине. *ЗАПИСКИ ЧУДАКА* вышли в двух томах в 1922 г. (Москва-Берлин, «Геликон»).

Совершенно ясно, что я переживал *«мистерию»*, одну из очередных *«мистерий»*, который ставил передо мной мой путь в духовной науке; такую *«мистерией»* было путешествие в Скандинавию, потом — время от Лейпцига до генерального собрания в 1914 году; и наконец: вершиной *«мистерий»*, обнимавшей апрель-октябрь 15 года, был август; я подходил к кардинальной точке этой мистерии; и знал: *нечто* свершится в дни, открываемые постановкой мистерии *«Фауст»*.

Вот еще мотив, почему я пристально схватился за постановку: я в образах ее старался прочесть *знаки* переживаний своих; как в древних мистериях Египта посвящаемый обучался иероглифическому письму, так несколько *письмен* ставил передо мною доктор последнею сценой *«Фауста»*; отсюда неслучайность моих [посещений] репетиций *«Фауста»*; мне надо было пристально разучить все знаки письмен; так: неслучайно, что два ряда *«ангелов»*, сплетенных гирляндами роз и выносящих на сцену изображения Фауста в *«кукольном состоянии»*, отбитого у Чорта, возглавляли две души, мне особо близкие, между которыми я в личной жизни разорвался; во главе одного ряда, левого, шла Ася, как хорэг ряда; во главе другого, правого, — Наташа. Эти ряды ангелов *«спасали»* Фауста; характерно, что эвритмистки, исполнявшие этих ангелов, хорошо относились ко мне; хор же из *«старших ангелов»*, подчеркивающий недостатки Фауста, исполняли те из членов, среди которых господствовало сдержанное или порицательное отношение ко мне; так: сами участники изображаемой мистерии и в жизни стояли *передо мной* так, как они были поставлены *передо мной* на сцене.

Так разгляд репетиций еще до постановки меня убедил в полном соответствии образов Фауста с ритмами переживаний *мистерии моей жизни*. Только мне было ясно, что образы, проходившие на сцене, не *эпиграф*, предшествующий *тексту*, а *конечная концовка* происходящего со мной; то, что со мной только что произошло в ужасе ощущения, что я погиб безвозвратно, и потом, что прояснилось надеждою на помощь, — оно-то и помогало мне прочесть в *«Фаусте»* то, что мною в иных условиях не было бы прочитано: ни-ког-да!

Но вместе с тем: в одном пункте разрешенное на сцене, как спасение *Фауста*, в событиях моей жизни еще не было разрешено; шел лютей бой сил тьмы и света за мое свободное, самосознающее, с такой мукой в дух рождаемое *«Я»*; и этому *«Я»* мог быть нанесен удар в любую минуту; в этом смысле *факт спасения* Фауста был мне упованием, что и проблема моей жизни разрешится в какое-то *«да»*; вместе с тем: я полагал, что самая нота спасения

Фауста — помощь доктора мне: символическим знаком; но чувствовалось, что в случае неумения опереться на знак, штурм злых сил меня окончится моей гибелью.

В том-то и трепет мистерий, что опасности, переживаемые в них, будучи поданы в символическом жесте, *совершенно реальные, а не аллегоричны*; то, что сегодня увиделось символом и что вызвало символ ответный, завтра выявится воплощением в жизнь; и поскольку в эти дни вся жизнь моя, без остатка, расплавилась в символ, как восковая фигурка, — все красноречиво гласило, что завтра этот текучий символами воск отвердеет в неплавимую и косную судьбу *железных обстоятельств*, в которых я буду жить годы.

Отсюда — трепет мой перед событиями тех дней — в те дни: и трепет к мистерии «*Фауст*», этому гиероглифическому обозначению чего-то, со мной происходящему.

А со мной продолжали стряхиваться факты, не подводимые ни под какую категорию; изменилось лишь к дню постановки мистерии вот что: все то, что беспорядочно врывается во внешнюю ткань жизни вспышкой света или тьмы, ритмизировалось в две темы: все черные явления архитектурно связались между собой и проходили в вариациях темы; но и светлые явления между собою схватились; эта связь разнородных сперва нападений в организованную систему нападений сказывалась в том, что я стал видеть, так сказать, геометризм различных нападательных точек: они рисовали фигуры; как три точки связуемы в треугольнике, а четыре — в квадрате, пересеченном крестом, так и градации из трех, четырех нападений, или группа из *трех, четырех* мне темных людей развивала разные нападательные ходы, аналогичные разным свойствам фигур, построенных на разных числах точек; очень странно: я стал именно в эти дни видеть появление передо мною уже не одной фигуры, а группы их. Так, недавно еще: выйдешь на террасу, увидишь: сидит шпик; пойдешь по дорожке, тебе навстречу бежит — монстр; поедешь в Базель, а на вокзале тебя кто уже ждет из приставленных к слежке; теперь совсем так, как в нападении на короля шахматной партии участвует группа фигур фигурно обстающая короля облавой, и я стал замечать как бы облавы на себя. Так: идешь по дорожке, — за тобой следует «*соглядатай*», тебе навстречу бежит монстр, а в это время издали сбоку показывается тебя ненавидящий антропософ; что общего между шпиком, обывателем-уродом и антропософом? Они — не знают друг друга, а между тем в ритме встречи их нападений на меня, разнородных, в том же моменте времени, они — *тройка*; они — *черный треугольник*, из которого уже труднее вывернуть-

ся; нужна мгновенная, молниеносная инспирация, чтобы тотчас найти и знать, где замедлить шаг, где свернуть, кому пойти навстречу — со взглядом, брошенным на него, или, наоборот, без взгляда; таких фигурных нападений на меня было столько в те дни, что я уже не имею никакой возможности их перечислить, как факты, потому что я должен уже отмечать их группу, их «со»-факты, где отдельный факт улетучивается, и где все внимание устремлено на неуловимейшее «Со» в неуловимейшем, молниеносном жесте. Легко помнить первый гриб в лесу, но нет никакой возможности запомнить грибы в грибном месте; ползаешь и механически собираешь их; так и я: многие факты групп фигурных нападений в тех днях я забывал, ибо я так сказать врубался в них; жестикуляция моя была маханием «меча» и туда и сюда; уже давно я не обращал внимания на отдельные лица, а на ландшафт фигуры, составленной из них.

Особенно запомнилась мне одна фигура, как первый гриб, мной отмеченный, и как постоянно слагающаяся; я называл этот нападетельный ход *черным треугольником*, составленным из людей.

Представьте: вы идете на лужайке; впереди вас бежит монстр, один из тех, которые уже *неспроста* вам попадались навстречу, а за ним идет пара одетых в черное злых ненавидящих «теток», из числа ведьм, с бледными лицами, и ест вас глазами; идущая навстречу группа образует треугольник, вершина которого — старик с сизо-лилово-багровым носом и кабаньими глазками; прежде он один, как кабан, выбегал на вас, вас пырять оккультным клыком; теперь он подкреплён парой за ним идущих теток; совсем как в шахматах, где на одну фигуру нападают три сразу!

И вот этот *черный треугольник* стал слагаться передо мной всюду в самых разнородных сочетаниях и в самых разнообразных движениях; не помню ритмов движений, — но, к примеру: навстречу идет Штейнер и взгляд его добр, — но: вдруг по боковой дорожке наперерез летит черный треугольник, стремясь разрезать пополам линию взгляда от меня к Штейнеру; если он скорей меня достигнет перекрестка дорог, помощь, мне посланная доктором, действием черных сил будет отрезана; такт подсказывает, что надо мне или Штейнеру упредить разрез: поспеть к перекрестку; но бежать, сломя голову, — *нельзя*, ибо нельзя нарушить «*быт*» обыденного поведения; что предпринять, — подскажет ритм, но он будет в наличии, если ты в дне укреплен ритмом. Далее: я, скажем, достиг перекрестка, — победа в этой минуте на стороне защищающей меня партии, но... доктор, не дойдя до меня, повернулся и уходит; я обертываюсь и вижу, что за мной гонится новая черная пара, глаза в спину меня; вдруг из боковой дорожки за

мною выходит гуляющий по Дорнаху Бауэр, отрезая меня от тех, кто за мной; я иду защищенный спереди доктором, а сзади Бауэром. Опять, как и в шахматах: чтобы защитить фигуру от двух на нее нападающих фигур, двигается ей на помощь новая фигура: в виде... Бауэра.

Вот эти-то фигуры нападений и помощи в ритме их отражений, в ритме схваток друг с другом их, и обстали меня в дни постановки мистерии «*Фауст*»: можно сказать, что я воспринимал самый узор людей, меня обстающих в странной схватке эв-и како-ритмий, втягивающей и меня в эвритмическую жестикуляционную перебежку; в эти дни я понял, что такое текучая с молниеносною быстротой представляемость, переходящая в предприимчивость.

В иные дни я себя помню канатным плясуном, балансирующим над бездной; так в схватке *восторга* и *ужаса* складывалось невольное удивление перед ловкостью иных никем не видимых акробатических прыжков; их видел доктор, знаками глаз ставя отметки мне; неизжитость моя налагала на это удивление флер «самолюбования»; я называл себя «он»; и иногда этот «он» во мне стоял передо мной как бы с большой буквой, за что не раз мне влетало — и от судьбы, и от доктора.

Думаю, что этот оттенок самолюбования и питал путаницу моих отношений с Наташей — в ноте, что судьбой она мне суждена; судьба моя — совершенно исключительна; и отношения с близкими — так же исключительны, как исключительна моя роль при докторе и «*Гетеануме*». Кроме того, мне, отразившему столько ударов, возможно завоевать у судьбы право и на то, в чем отказано многим.

Это думал я уже после, к началу 16-го года; пока же я учился *отражать*; и даже: наносить удары.

Что борьба вокруг меня связана с моей «*миссией*» в деле доктора, — мне казалось в те дни установленным фактом; ведь шла атака на доктора; начиналась волна ежедневных скандалов, разбирательств, тяжб и нападений извне на всех нас; что нападения эти были ужасны, явствует из вида доктора; только на репетициях цвел он улыбкой; в прочие же часы он имел порой просто раздавленный вид.

Как-то раз он напугал меня; я вышел на наш балкончик, выходящий на виллу доктора, и вздрогнул, увидавший, что доктор в развевающемся сюртуку, низко опустив голову, сердитый, разбитый и бледный, не бежит, а ураганно несется, точно убегая от кого-то, или только что получив весть об ужасной, непоправимой беде, которую нельзя отразить; мне он показался Бенедик-

том, у которого Ариман погасил зрение*»; я остановился; он не отпер калитки виллы, а сорвал ее, пронесся по своему садику; одним прыжком впрыгнув на крыльцо (через 3 ступеньки), он хлопнул на всю окрестность входною дверью; тотчас раздался другой хлопок (во втором этаже) из виллы; я знал, что хлопнула дверь его рабочего кабинета.

Я стоял и думал: «С чем он захлопнулся? Какой новый ужас угрожает нам?»

Что что-то обострялось для всего «А.О.», стало ясно уже к концу месяца, когда сам доктор поставил вопрос о том, что при таком развале сознания у членов надо поставить знак вопроса над самой постройкой: не лучше ли разъехаться? «А.О.» в таком виде — немыслимо.

Этот-то крах нас всех и виделся мне в эти дни победой клевет, пущенных против нас *темными силами*. Растерянность доктора, бегущего с холма, меня взволновала.

И кажется: в эти дни меня взволновал один факт, относящийся уже только ко мне: как-то после кофе в кантине я встал и пошел по пыльной дороге, огибающей холм и пересекающей нашу дорогу; недалеко от кантины, там, где к дороге подходил верхний Дорнах, стояли, ожидая явно кого-то, три толстейших не то мегеры, не то Парки, не то *Матери* мистерии Фауста; три толстолицых, толстозадых, толстогрудых бабищи с ужасно мрачными от любопытства и суровости бледносизыми какими-то лицами, в огромных траурных черных шляпах и в черных платьях; мне показалось: они были в глубочайшем трауре; когда я подходил к ним, кто-то, с ними бывший, показал на меня, кивком головы с жестом, могущим означать:

— «Этот!»

— «Вот он».

А может быть в жесте был вопрос:

— «Не этот ли?»

— Не он ли?»

И три черных бабищи сурово и сосредоточенно впились в меня глазами; ни звука не произнесли, оглядывая меня с ног до головы, как будто от их узнания или неузнания меня зависела моя или их жизнь; когда же я вполне приблизился к ним, одна из них чуть кивнула головой; и этот кивок мог означать: «*Запомнили*» или,

* Бенедикт (Benedictus) — герой «ясновидец», мудрец и духовный вождь мистерий Штейнера. В четвертой пьесе («Der Seelen erwachen») тетралогии, Ариман борется с ним за судьбы его учеников и пробует «туманить» его дар. В конце пьесы Ариман побежден, когда Бенедикт «видит» его сущность.

«удостоверились», или же: «ну так, теперь можем идти: цель наша достигнута».

И тотчас все три повернулись и медленно поплыли назад, в верхний Дорнах, откуда они выплыли к дороге — стоять и ждать меня, долженствовавшего пройти; так мне отозвалось появление их; они исполнили свою миссию: увидели меня; и теперь возвращались к себе.

Не было в их взглядах злости, но ужасная мрачность и сосредоточенность, — убедиться: «Тот или не тот».

Много раз я думал в бессонных моих ночах, что значило это стояние при дороге трех черных матрон, сурово ожидавших меня; и разные гипотезы стояли вплоть до... самых ужасных, связанных с подозрением меня в преступлении, мне неведомом: так глядят на исключительных мерзавцев, или обреченных, или на чудеса природы, показываемые в кунсткамере; но потом, не проникая завесы, которой дни окутаны для меня, я старался их прочесть в их символическом жесте.

В дни Дорнаха они стояли в памяти, как подстерегающие Эринии; теперь, отделенный 12-летием от них, я скорее склонен прочесть появление их перед собой, как... самих таинственных «Матерей», пребывающих в центре земли: к ним сходит Фауст и отсюда он выносит часть *силы*, которой Мефистофель не может ничто противопоставить*.

Эринии дышали бы неугасимую злобою: эти же были ужасно суровы, сосредоточенно мрачны и дико упорны в разгляде меня; ненависти я не видел; но пока я подходил к ним, я ждал: вот-вот эта ярая ненависть вспыхнет; они узнают во мне лишь... «*преступника*»; и от этого я погибну. Или они были самой судьбой в лице трех Парок? Но «*матери*», принявшие Фауста, были и... судьбой Фауста.

В эти дни на лекциях, репетициях Ася стала ходить в своем белом плаще; на ней была стола** из тунисской шали, сложенной из чешуек серебра; она сверкала серебряной чешуей из-под белой своей мантии; чаще всего мантию нес я, как некий плащ; когда мы шли с ней, нас все оглядывали; странно, что в минуты, когда я находился под обстрелом нападающих глаз, плащ бросался мне на руки; или даже появлялся передо мной, когда Аси не было со мной; так помню: перед мистерией «Фауст», когда Ася

* *ФАУСТ*, вторая часть, первый акт, пятая сцена («Finstere galerie»), строки 6173-6306. Силой, данной ему «Матерями» (die Mütter) Фауст вызывает Елену и Париса.

** От латинского *stola* — женское платье, шаль.

была за сценой, а я сидел в первых рядах, стояла ужасная духота; надвигалась черная туча; зловеще гремел гром; лица сидящих перед сценой казались зелеными, задыхающимися; на меня косились многие со злобой; все *враги*, так сказать, были мобилизованы; шныряла *черная*... мадам Шварц.

Вдруг, — знакомые мурашки побежали по затылку; я обернулся и увидел: у входа в зал стоит тот подозрительный «доктор» (скоро прогнанный), который в моем восприятии был *аппаратом* для выкидывания *пуль* против меня; он дергался лицом и кажется разинул свой перекошенный рот; оглядел меня зеленоватыми глазами; и тут он открылся мне в своей роли дней до дна: я — умерший Фауст; толпа лемуров меня обступила; он же — сам чорт, требующий моей души: весь вид «*поганца*» говорил:

— «Ты — в моей власти: никакая сила тебя не спасет».

Все это резнуло меня в то мгновение; но, обрывая линию взглядов от поганца ко мне и меня к нему в воздухе метнулось что-то белое, закрывая меня от него; и я услышал голос, кажется мадам Эйзенпрейс (а может быть и нет), — голос кого-то из тех, кто сердечно ко мне относился и кто работал вместе на Малом Куполе:

— «Херр Бугаев, это — вам!»

И плащ Аси оказался у меня в руке, — плащ, благое действие которого я ощущал не раз; я почувствовал притекающую силу и, принимая плащ, махнул им с вызовом в зеленую маску моего «мefистофеля»; я увидел, что лицо его закорчилось, точно отдернувшись от плаща; и он тотчас исчез; в дверях его уже не было.

Двери затворились; начались звуки музыкальной интродукции Фауста, сопровождаемые молниями из окон подошедшей грозы.

Все это произошло во мгновение ока: мурашки, оборот, глаза в глаза, плащ меж нами, «*это — вам*», мой взмах плащом в «его» глаза, его исчезновение, звуки музыки, молнии, закрытие двери.

И — доктор, усаживающийся в первом ряду.

Так миг начала мистерии спасения Фауста совпал с миготанием на падение на меня того, кто был мне в этих днях символом Чорта.

Впоследствии выяснилось: Ася, облакаясь в наряд ангела и не зная, куда деть пышный плащ, просила за кулисами передать мне его в партер; напомним: Ася возглавляла один из двух рядов ангелов, отбивших Фауста от чорта и приносящих его в обитель, где стояли три гиерофанта: патер Экстатикус, патер Профундус и патер «*Серафикус*», мне уже связавшийся с Серафимом в предыдущих днях; Серафикус был весь белый; он стоял в центре треугольника, образованного тремя патерами: в глубине сцены, посередине ее.

С этого момента мне открылось: Ася для того сшила этот плащ, чтобы носить цвет моего святого, Серафима, около меня; она в ближайших днях виделась мне как бы оруженосцем моим; и она инстинктивно с великолепным тактом эту роль выдерживала.

Разумеется, я ей ни звуком не выразил, что я в ней подметил: *об этих вещах мы не говорили друг с другом. /.../**

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

Андрей Белый КАСАНИЯ К ТЕОСОФИИ

1896 год: Читал книги Блавадской и интересовался сведениями о теософич[еском] О[бщест]ве.

1897 год: Читал Аллана Кардэка, увлекался отрывками из «Упанишад» и восточной мистикой; отсюда пошло увлечение буддизмом и Шопенгауэром. Статья Соловьева (Всеv.) против теософии («Вопросы филос[офии] и психол[огии]»), а главное Шопенгауэр надолго отвлекли от теософии.

1901 год: Знакомство с Гончаровой, споры и интерес к теософии вновь пробуждается; отношение уважительное, но резко-полемиическое; интересуюсь книгой Синнета, Мидом; читаю книги Безант («*Vers le Temple*», «*La Sagesse antique*» и т.д.), Паскаля, Ледбитера («*Невидимые помощники*», «*Астральный План*», «*Свет на пути*», «*Голос Безмолвия*», «*Le son dans la Nature*» и т.д.) но центральный интерес к Ницше и близость к позиции Мережковского. Греческая мифология *более* интересует.

* Здесь кончается и рукопись, и повествование, возможно по причинам, упомянутым Белым в «автобиографическом письме» Иванову-Разумнику: «и если "посвящение" имеет свои "прообразы", которые суть "посвященные моменты", "моментом моментов" всей жизни — странный период, обнимающий недели три, в другом странном периоде, обнимающем ряд месяцев. О *моменте* я ничего не могу сказать; и о периоде, когда хочу сказать, начинаю лепетать; но и *момент*, и *период*, ложатся с 1915 года до 1927 года в меня перманентной *памятью* в перманентных попытках что-либо прочесть; и вычитывается; и будет вычитываться, потому что материал — неисчерпаем» («Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.72).

1902 год: Читаю Шюре «*Le drame musical*», «*Les Grands Unites*». Пытаюсь читать книгу Фулье о Платоне (кажется неинтересной). Осенью бываю в кружке Кохманской, где спорю упорно с Писаревой; выношу полное разочарование в теософах. Продолжаю спорить лишь с Батюшковым.

1903 год: Увлекаюсь Вл. Соловьевым: теософии, как движению, противопоставляю хр[истианскую] теософию в смысле Вл. Соловьева; интересуюсь гностиками, Серафимом Саровским, читаю Исаака Сириянина, толкование Апокалипсиса Оберлэна, *L'Apocalypse expliquée* Сведенборга, пробую читать Вронского. Созревает концепция *теургии*. *Теургию и символизм* противопоставляю решительно теософии.

1904 год: Интерес к *теософии* переходит в холодно-враждебное отношение. Имя Штейнера впервые начинает повторяться в Москве. Кажется, в этом году читаю «*Мистерии Христианства*». Читаю Макса Мюллера. И опять интересуюсь буддизмом.

1905 год: Не интересуюсь теософией, но захватывают Стансы Шанпара. Агария. И стансы книги «*Dzian*». В Москве много говорят о *Гориванше*. Близость к теософии проявляется однако в огромном интересе к *Элевсинским Мистериям*. Интересуюсь *Фукаром*, читаю *Lacroix* и знакоплюсь с литературой, касающейся мистерий. Читаю книгу Трубецкого «*Логос*». Интересуюсь мистикой до-сократовской философии и орфизмом.

1906 год: Отвергаю предложение слушать Штейнера.

1907 год: С огромным интересом читаю в Париже Дейссена «*Философия Упанишад*» (большая книга). Спорю с Бальмонтом о теософии. Выход к мистике вижу через философию и обдумываю концепцию символизма.

1908 год: С осени страшно интересуюсь вновь теософией, читаю статьи Безант, читаю *Теософ[ский] Вестник*. Большой интерес к Герметизму и Θ. Много спрашиваю о Докторе. Слышу интимный *vortrag* и проникаюсь громадным уважением к Доктору. Начинаю посещать лекции Эртеля в теософском кружке и принимаю горячее участие в прениях. В конце года болезнь, большое раздумье и охлаждение к учению Мерезжковского.

1909 год: Усиленно читаю книги по мистике; увлекаюсь вновь Герметизмом и ищу Θ (Боброка). Близость с Минцловой, Вячеславом [Ивановым], теософский кружок. Начинаю читать «*Doctrine secrète*», д'Альвейдра, Элифаса Лэви, Папюса, Гюзйта и т.д. Близость с Вячеславом и Минцловой.

1910 год: Стоит под знаком ♀. Первые медитации (скоро оставил). Прощание с Анной Руд[ольфовной Минцловой]. Коллектив.

1911 год: Африка. Мы с Асей говорим о Московском. Летние феномены; взаимный интерес к теософии и Доктору у Аси и меня.

1912 год: Феномены в Брюсселе, поездка в Кельн, циклы 45 слышанных лекций. С июля 1912 года работа Доктору. Поездка.

(ГБЛ, фонд 25, карт.31, ед.хр.2, рук. без даты).

ПРИМЕЧАНИЯ

Следующий отрывок из «Комментариев» к статьям, собранным в кн. *СИМВОЛИЗМ*, хорошо показывает степень знакомства Белого с теософией к 1909 году:

Из книг, относящихся к затронутому вопросу, назовем между прочим следующие:

- Fabre d'Olivet. *La Langue hébraïque restituée*. 1815.
“ “ *Histoire philosophique du genre humain*.
“ “ *Vers dorés de Pythagore*.
Lenorman. *Histoire de la Magie*.
Maury. *La magie et l'astrologie*.
Eliphas Lévi. *Dogmes et rites de la haute magie*.
“ “ *Histoire de la Magie*.
Saint-Iver d'Alveydre. *Mission des souverains*.
“ “ *Mission des Juifs*.
H.P. Blavatsky. *Isis Unveiled*. (I и II v.).
“ “ *La doctrine secrète*. (I-III v.).
Louis Menard. *Hermès Trismégiste*.
Kiesewetter. *Geschichte des Occultismus*.

Мы касаемся здесь лишь некоторых книг; книги Ленормана и Кизеветтера носят осведомительный характер. Книги Блаватской представляют собой пеструю смесь удивительных обобщений, в которых спутанность, фантастика и подчас неосторожное обращение с цитатами спорят с талантом и острой проницательностью. Литература, касающаяся тайных знаний, необозрима. Мы разделяем здесь первоисточники (как-то «*Зохар*», сочинения Маймонида и т.п.) от компиляции, истолкований и пр.

Отдельно стоит разросшаяся ныне теософская литература: сюда относим мы сочинения А.Безант, Шюре, Паскаля, Лэдбиттера, Мида, Р.Штейнера, Гартмана, Синнета и др.

Из журналов, посвященных вопросам теософии, укажем: «*Theosophist*», «*Revue théosophique*», «*Lotus-journal*», «*Annales Théosophiques*», «*Adyar Bulletin*», «*Theosophical Review*», «*Isis*», «*Theosophy in India*», «*Neue Lotosblüthen*», «*Bolletino della Sezion Italiana*», а у нас «*Вестник Теософии*» (с.624).

Сами эти «Комментарии», равно как и «Касания к теософии», заслуживают объемистой статьи. Мне здесь придется, главным образом, сосредоточиться только на выяснении названных книг и авторов. (К сожалению, иногда невозможно дать информацию о русских переводах: американские библиотеки по вполне понятным причинам не очень стремились к собиранию переводов таких текстов на русский язык; но и Белый их читал, главным образом, по-французски или по-немецки). В тех случаях, когда в этом есть необходимость, я добавляю сведения, подтверждающие или выясняющие тот или иной факт и заимствованные из «Материала к биографии (интимного)» и других источников, или отсылаю к воспоминаниям самого Белого. Мною не оговаривается «культурный минимум», т.е. отношение Белого к Шопенгауэру, Ницше, Мережковскому и т.д., о котором он неоднократно и подробно писал во всех своих мемуарах. О некоторых вещах («Агария», о «Гориванше») я пока ничего не могу добавить.

Условные сокращения, принятые в примечаниях: АП — «автобиографическое письмо» Иванову-Разумнику («*Cahiers du monde russe et soviétique*», 15, №1-2, 1974); ВБ — «Воспоминания о Блоке». — «Эпопея», №1-4, 1922-23; КС — «Комментарии» в кн. *СИМВОЛИЗМ* (М., 1910); «Материал» — «Материал к биографии (интимный)» (ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед.хр.3); НВ — *НАЧАЛО ВЕКА* (М., 1933); «Переписка» — *А.А. БЛОК И АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. ПЕРЕПИСКА* (М., 1940).

1896

«...намечается огромный нутряной интерес к проблемам философии; уже тайком от папы забираюсь к нему в кабинет и читаю доступные моему пониманию философские книги, «*Вопросы философии и психологии*»; начинают интересоваться проблемы гипнотизма, спиритизма и оккультизма; производят потрясающее впечатление «*Отрывки из Упанишад*» и «*Тао*» Лао-Дзы [период до лета]. /.../ Прочитываю книгу Блавадской «*Из пещер и дебрей Индостана*» и совершенно ею увлекаюсь. Начинаю усиленно интересоваться теософическим обществом. Тут заболела (воспаление легких). Выздоровление связано для меня с сильным проявлением мистической жизни. Я начинаю искать литературу по тайным наукам; прочитываю «Голубые горы» Блавадской [Осень]» («Материал»; ср. также АП, с.59-60).

Блаватская (у Белого чаще всего неправильно «Блавадская»), Елена Петровна (урожд. Ган, 1831-1891) — русская основательница, вместе с американским адвокатом Col. Henry S. Olcott, Теософского Общества в

Нью-Йорке (осенью 1875 г.). Она (Madame Helene Blavatsky) написала по-английски ряд сочинений по оккультным вопросам. Ее книги *ИЗ ПЕЩЕР И ДЕБРЕЙ ИНДОСТАНА. Письма на родину Радда-Бай* (М., 1883) и *ГОЛУБЫЕ ГОРЫ* [т.е. ЗАГАДОЧНЫЕ ПЛЕМЕНА НА «ГОЛУБЫХ ГОРАХ»], 1893) были написаны для журнала «Русский Вестник». Они были переведены на англ., франц., немецкий и др. языки. Ее имя часто встречается в КС (461, 486, 491-492, 494-495, 505, 619, 621, 623-624).

1897

Аллан Кардэк (Allan Kardec; наст. фамилия: Rivail, Hippolyte Léon Denizard, 1803-1869) — основатель французского спиритизма, автор ряда книг по спиритизму: *LE LIVRE DES ESPRITS CONTENANT LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE SPIRITE etc.* (Paris, 1857); *PHILOSOPHIE SPIRITUALISTE. LE LIVRE DES ESPRITS etc.* (Paris, 1860); *LE SPIRITISME À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION etc.* (Paris, 1862, в русском переводе: *СПИРИТИЗМ В САМОМ ПРОСТОМ ЕГО ВЫРАЖЕНИИ. Краткое объяснение учения духов и их проявления.* (Лейпциг, 1864).

«Отрывки из Упанишад», с эпиграфом из Шопенгауэра, в переводе Веры Джонстон, появились в журн. «Вопросы философии и психологии», 1896, кн.1(31) (январь), с.1-34.

Статья «Что такое доктрина Теософического Общества» Всеволода Сергеевича Соловьева (1849-1903), брата философа, была напечатана в третьей книге (май) журн. «Вопросы философии и психологии» за 1893 г. (с.41-68 [вторая пагинация]). В 1892 г. он печатал серию статей-воспоминаний о Блаватской в восьми выпусках (февраль-май, сентябрь-декабрь) журн. «Русский Вестник». В 1893 они были выпущены отдельным изданием в Петербурге: «*СОВРЕМЕННАЯ ЖРИЦА ИЗИДЫ*». *Мое знакомство с Е.П. Блаватской и теософическим обществом.* Журнальная публикация вызвала бурный протест сестры Блаватской, Веры Павловны Желиховской: *Е.П. БЛАВАТСКАЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ЖРЕЦ ИСТИНЫ*. (СПб, 1893).

«...но самое главное событие моей внутренней жизни, это — даже не философское откровение, а открытие, так сказать, пути жизни, которым мне стала философия Шопенгауэра. На том Шопенгауэра я еще наткнулся в Москве, в кабинете отца; это был первый том "Мир как воля и представление". Увидев, что эпиграф к этому тому восхваляет Веданту, столь мной любимую, решаю, что это именно то, что мне нужно; /.../ мое недавнее тяготение к востоку, к Веданте и к теософии, мое увлечение литературой о спиритизме опять-таки объяснено мне; в Шопенгауэре вижу я соединение востока и запада; зачем теософия, буддизм, Индия, когда все ценности востока влиты в запад Шопенгауэром» [июль-сентябрь] («Материал»).

«...надо сделать мировоззрительные выводы из накопившихся материалов мистического опыта; это — дело будущего. /.../ Это время [июнь] опять-таки мне отметилось очень интересною встречей с вернувшейся из Парижа, где она жила много лет, Анной Сергеевной Гончаровой; А.С. Гончарова (из семьи «Пушкинских» Гончаровых) была одна из первых эмансипированных русских женщин; давние разговоры ее с папой пробудили в ней интерес к философии; она окончила в свое время Сорбонну и стала первым «доктором философии» (из русских женщин); с той поры она годы жила исключительно интересами философии, психологии, будучи лично знакома с Ришэ, Бутру и Шарко; она потом вся ушла в интересы экспериментальной психологии, изучала книги по гипнотизму; вместе с тем она первая из русских взшла на вершину Монблана; /.../ впоследствии она долго занималась проблемами эстетики; несколько лет она безвыездно жила в Париже, а теперь вдруг вернулась в Москву — убежденнейшей *теософкою*, лично знакомой с Анни Безант, Ледбитером и Паскалем (парижским теософом); в этот период она бывала у нас почти каждый день, разговаривая с папой и главным образом со мною о теософии и снабжая папу и меня брошюрками Безант и Паскаля. /.../ А.С. Гончарова стала явно мне проповедовать теософию и восхвалять Блавадскую /.../ с одной стороны я с жадностью выпрашивал у А.С. Гончаровой детали доктрины, во многом с ней соглашаясь (в проблеме эсотеризма, учения о строении человека, в гнозисе); с другой стороны резко отталкивался от нот буддизма и востока, видя здесь опасное утопление христианского эсотеризма в общевосточном; /.../ мне нужна «христианская теософия», а не восточная» («Материал»). См. также «сентябрь» в «Материале»: «...с этого месяца в нашем доме часто появляется Пав. Ник. Батюшков (внучек поэта) и двоюродный брат А.С. Гончаровой; мы просиживаем с ним долгими вечерами и разговариваем о теософии, с которой я уже недурно знаком по книгам Безант и Ледбитера; он мне рассказывает о Миде, о злобах дня Теософ. О-ва; я раза 2 в неделю бываю у А.С. Гончаровой, с которой все более и более связывают меня ноты внутреннего развития; «Путь посвящения» становится зовом души: сильнейшие впечатления производит «Свет на пути»; и все то, что мне рассказывает Гончарова, как комментарий к Бхагават-Гите».

Ср. также НВ, 56-58, и АП, 60: «Посередине же четырнадцатилетия 1895-1908, именно в двух годах, вернее в годе, сложенном из второй половины 1901 года и первой половины 1902 года живейшая встреча с теософкой Гончаровой, умнейшей, образованнейшей, барышней, "доктором" философии, в это время появившейся в Москве и учредившей первый кружок в Москве; потом она уехала, оставив своего двоюродного брата, Батюшкова; в этот период опять читаю: Паскаля, Безант и т.д. Но теософические интересы не превалируют; они — внутри христианских».

Батюшков, Павел Николаевич (1864 - ок.1930) — один из «аргонавтов», историк и теософ. Деятельный сотрудник ж. «Вестник Теософии», автор книг: *ЭЗОТЕРИЗМ РЕЛИГИИ* (СПб, 1911), *ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ*

(СПб, 1913), *ПУТЬ ДУХОВНОГО ПОЗНАНИЯ* (СПб, 1913), впервые появившихся в «Вестнике Теософии». Его перевод (с английского) из *СВЕТА НА ПУТИ* напечатан в первом сборнике «Свободная совесть» (1906), с.140-152. Он и «бедный рыцарь» (НВ, 55 и след.) и чудак «безвреден, благороден, но узок» (НВ, 55).

Синнет (Sinnott, Alfred Percy, 1840-1921) — английский теософ, сотрудник Е.П. Блаватской и Олкотта, с которыми он познакомился в Индии, где он жил много лет. Его книги *THE OCCULT WORLD* (London, 1881; *LE MONDE OCCULTE, HYPNOTISME TRANSCENDANT EN ORIENT*, Paris, 1887; Белый, наверное, имеет в виду эту нашумевшую книгу) и *ESOTERIC BUDDHISM* (London, 1883; *LE BUDDHISME ESOTERIQUE, OU POSITIVISME HINDOU*, Paris, 1890; франц. перевод упомянут в КС, 461) много способствовали распространению теософской идеологии и в Индии, и на Западе. Он также написал одну из первых книг о Блаватской: *INCIDENTS IN THE LIFE OF MADAME BLAVATSKY* (London, 1886).

Мид (Mead, George Robert Stow, 1863-1933) — английский теософ, личный секретарь Е.П. Блаватской, специалист по истории раннего христианства и гностицизма. После своего ухода из Теософского Общества в 1908 г. основал Quest Society. Белый в письме от 1(14) 1912 г. Блоку назвал его «ученым филологом теософом» («Переписка», 293).

Безант (Besant, Annie, 1847-1933) — английская писательница и общественный деятель (Fabian Society, Secular Society), одна из лидеров Теософского Общества (Adyar) и с 1907 г. — его председатель. Среди множества ее работ нет книги, названной «Vers le Temple». Ее книга *THE ANCIENT WISDOM. AN OUTLINE OF THEOSOPHICAL TEACHINGS* (London, 1897; *LA SAGESSE ANTIQUE*, Paris, 1899) была переведена на русский язык Еленой Писаревой (*ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ. Очерк теософических учений*). (СПб, 1913 [второе издание]), и Белый цитирует этот перевод в КС, 495, 498-500.

Паскаль (Pascal, Dr. Théophile, 1860-1909) — французский оккультист и теософ, автор *ABC DE LA THEOSOPHIE* (Paris, 1897); *LA REINCARNATION etc.* (Paris, 1895) и др. книг. Написал предисловие к французскому переводу книги Безант *DEATH — AND AFTER?* (London, 1893; *LA MORT ET L'AU-DELA*, Paris, 1896).

Ледбитер (Leadbeater, Charles Webster, 1847-1934) — английский священник, снявший сан. Активный деятель Теософского Общества и ближайший сотрудник Безант. Сферой его особого интереса было ясновидение (clairvoyance). В 1906 г. разразился скандал в связи с гомосексуальными пристрастиями Ледбитера и его заставили уйти из Теософского Общества; принятие его обратно в 1908 г. по настоянию Безант вызвало массовый выход из Общества и его раскол.

В перечне «писаний» Ледбитера, приводимом Белым, царит полная путаница относительно принадлежности того или иного текста автору или приведение несуществующих заглавий. *СВЕТ НА ПУТИ* (*LIGHT ON*

THE PATH. A Treatise written for the personal use of those who are ignorant of the Eastern Wisdom, etc., 1885) принадлежит англичанке Mabel Collins (1851-1927). Книга была особенно чтима Штейнером и Белым (см. упоминания о ней в кн. Белого *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ*). *ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ* [и другие избранные отрывки из «Книги золотых правил»] (*VOICE OF THE SILENCE. Being chosen fragments from the «Book of the Golden Precepts»*, 1889; нем. пер., Leipzig, 1893) принадлежит перу Е.П. Блаватской. *СВЕТ НА ПУТИ* является первой открыто теософской книгой, изданной в России (в конце 1905 г.), в переводе теософки Е.Ф. Писаревой (см. также прим. о Батюшкове). С этой книги Писарева начала систематическую публикацию теософской литературы в России, главным образом выпущенной ее издательством «Лотус» (Калуга). После 1917 г. Писарева продолжала свою деятельность в эмиграции.

Книги Ледбитера: *НЕВИДИМЫЕ ПОМОЩНИКИ (INVISIBLE HELPERS)*, London, 1899; *LES AIDES INVISIBLES*, Paris, 1902; *НЕВИДИМЫЕ ПОМОЩНИКИ И НЕВИДИМЫЙ МИР*, Калуга, 1909); *АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН (THE ASTRAL PLANE)*, London, 1895; *LE PLAN ASTRAL*, Paris, 1899).

LE SON DANS LA NATURE не существует; есть его же *L'OCCULTISME DANS LA NATURE (entretiens d'Adyar)* (перевод: *THEOSOPHICAL TALKS AT ADYAR*, London, 1910), вышедшая в Париже только в 1911-1913.

Ср. также его *КРАТКИЙ ОЧЕРК ТЕОСОФИИ* (Калуга, 1911; перевод: *AN OUTLINE OF THEOSOPHY*, London, 1902).

1902

Шюре (Schuré, Edouard, 1841-1929) — французский оккультист, член парижского «Теософического Общества Востока и Запада». Затем приверженец антропософии и ранний сотрудник Р.Штейнера, о котором он писал и работы которого переводил. Написал серию пьес-мистерий под названием *LE THEATRE DE L'AME* (1900-1905). Среди его книг: *LE DRAME MUSICAL*, 2 тт. (Paris, 1875 и несколько перераб. изд.) и *LES GRANDS INITIÉS* [не Unites!]. *Esquisse de l'histoire secrète des religions* (Paris, 1889; много переизд.). См. КС, 462: «В попытке преодолеть выдвинутую Ницше проблему автор соприкасается иногда с Э.Шюре ("Le drame musical")», и КС, 623: «Шюре в своем сочинении "Les Grands Initiés" популяризирует взгляды Фабра д'Оливье и д'Альвейдра; он пишет...».

Фулье (Fouillée, Alfred, 1838-1912) — *LA PHILOSOPHIE DE PLATON*, 2 тт. (Paris, 1869; много переизд.). См. КС, 474: «Альфред Фулье — ему принадлежит ряд сочинений подчас интересных, подчас слабых, среди которых отметим его сочинения о Канте и Платоне /.../ Фулье присуща неясность изложения и сбивчивость в терминологии».

«...В эти же дни [сентябрь-октябрь] я начинаю посещать первый теософский кружок, собирающийся у Кохманской при ближайшем участии

Батюшкова (А.С. Гончарова — уехала в Париж); здесь знакомлюсь между прочим с Писаревой и М.В. Сабашниковой, тогда — юною девушкой; "Теософы" отталкивают меня от себя; и я прерываю посещение кружка, но с Батюшковым — продолжаю дружить, хотя несколько подсмеиваюсь над теософией» («Материал»).

1903

«...интересуюсь гностиками и т.д.». В «Материале» чтение большинства из названных здесь авторов отнесено к осени 1901 года. Например: «Я погружаюсь в толкования Апокалипсиса (между прочим Оберлена), читаю кое-что из томов Сведенборга "L'Apocalypse expliquée"» (сентябрь 1901 г.); или: «Я перешел к чтению в Музее отцов Церкви; и главное — к изучению творений Исаака Сириянина, оставивших в душе моей сильнейшее впечатление» (сентябрь 1901 г.); или: «А.С. Петровский подкладывает летопись Серафимо-дивеевского монастыря; и с этой поры эта книга становится моей настольною книгою; образ Серафима, весь чин молитв его, оживает в душе моей; с той поры я начинаю молиться Серафиму; и мне кажется, что Он — тайно ведет меня; образ Серафима, как невидимого помощника, вытесняет во мне образ покойного Вл. Соловьева; я весь живу Дивеевым /.../.». Ср. АР, 60: «Во втором полугодии 1902 года усиленно читаю все о св. Серафиме; и чрез опыт "молитв", установленных Серафимом, впервые внутри молитв имею узвание о том, что позднее откроется, как "Импульс Христа"».

Исаак Сириянин (или Сирин), умер в конце VII в. О русских переводах его сочинений см. ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ Г.Флоровского (Париж, 1937; 2-е изд. 1981), с.392.

Оберлэн (Auberlen, Carl August, 1824-1864) — немецкий богослов. Среди его книг: *DER PROPHET DANIEL UND DIE OFFENBARUNG JOHANNIS IN IHREM GEGESEITIGEN VERHÄLTNIS*, etc. (Basel, 1854); *DIE GÖTTLICHE OFFENBARUNG*, 2 тт. (Basel, 1861-64). Штейнер часто цитирует его сочинения.

Сведенборг (Swedenborg, Emanuel, 1688-1772) — *L'APOCALYPSE EXPLIQUE SELON LE SENS SPIRITUEL*, etc., traduit du latin, 7 тт. (1855-59) [*APOCALYPSIS EXPLICATA SECUNDUM SENSUM SPIRITUALEM*, etc. 1875].

Вронский (Hoene-Wróński, Józef-Maria, 1778-1853) — польский математик и оккультист (*PROGRAMME DU COURS DE PHILOSOPHIE TRANSCENDANTALE*, Paris, 1811; *PHILOSOPHIE DE L'INFINI*, etc., Paris, 1814; *PHILOSOPHIE ABSOLUE DE L'HISTOIRE, OU GENESE DE L'HUMANITE*, 2 тт., Paris, 1852); автор многих книг на мессианские темы.

В «Материале» за август 1903 г. Белый пишет: «...я намереваюсь прочесть в Москве публичную лекцию "Символизм, как мировоззрение", и обдумываю ее содержание; в этом месяце я пишу статью "О теургии" для

”Нового Пути“ [1903, №4] и отсылаю в редакцию (а может быть, пишу эту статью месяцем раньше)». См. также статью *СИМВОЛИЗМ, КАК МИРОПОНИМАНИЕ*. — «Мир Искусства», 1904, №5. Далее в «Материале» за октябрь 1903 г. читаем: «”*Аргонавты*“ себя ощущали не только символистами, но символистами практиками, теургами. /.../ возникла попытка: дать социальное выражение индивидуальным переживаниям отдельных людей; и — найдено было мной слово: и это слово — ”мистерия“. Мы — стремились к ”*мистерии*“, к творчеству жизни, к конкретному перевороту; /.../ я [оформлял стремление к действию] в сознании *sui generis* чина ”*элевзинских мистерий*“ нашего времени».

1904

Штейнер (Steiner, Rudolf, 1861-1925) — основатель антропософии. Его кн. *DAS CHRISTENTUM ALS MYSTISCHE TATSACHE UND DIE MYSTERIEN DES ALTERTUMS* вышла в Берлине в 1902 г. В КС, 462 Белый отмечает французский перевод Шюре (*LE MYSTERE CHRETIEN ET LES MYSTERES ANTIQUES*), вышедший в Париже в 1908 г.

В письме от 1(14) 1912 г. Блоку Белый писал: «Если взять список книг, выпускаемых теософическим обществом, где наряду с перлами вроде ”*Свет на пути*“, ”*Бхагавад-Гитой*“, популярными, иногда интересными, но невысокого полета книжечками Безант и Ледбитера, ученым-филологом теософом Мидом и пр., попадают и книжки Р.Штейнера (на русском языке имеются ”*Путь к посвящению*“ и ”*Феософия*“ — обе не интересны для нас с тобою); прочтя эти книжки, скажешь невольно: ”Или это рядовой теософский писатель, или это сознательный педагог, миссия которого растолкать спячку немецких ”*тетушек*“, прикрывающий свои знания общетеософскими трюизмами, или это эстетически безвкусный человек“. Но, сказав так, задумаешься: иные места книг сквозят огромной близостью (так среди пустыни бывает иногда заброшен едва заметный прелестный цветочек).

Несколько лет тому назад я прочел его книгу ”*Мистерии христианства и мистерии древности*“ И, прочтя, сказал себе: ”*Вот скучный человек*“. Сказал и забыл. Тогда Штейнер впервые появился на теософском горизонте; с ним меня познакомил некогда П.Н. Батюшков (помнишь — смешной человек с огромным носом: не то грузинский князек, не то индусский святоша)...» («Переписка», 293).

Мюллер (Müller, Friedrich Max, 1823-1900) — немецкий антрополог, историк религий, переводчик индийской религиозной литературы (*УПАНИШАДЫ*). Автор *THEOSOPHIE ODER PSYCHOLOGISCHE RELIGION* (Leipzig, 1895) и многих книг об индийской религии. См. КС, 461: «к этому вопросу [религиозного творчества] относятся многочисленные и малоговорящие сочинения М.Мюллера»; там же, 462: «Упомянув Макса Мюллера, я разумею в данном случае его бессистемную, уму ничего не говорящую, но весьма ”*почтенную*“ книгу: ”*Шесть систем индусской философии*“ (есть русский перевод); если сравнить эту книгу с книгами

Дейссена [см. ниже], то обнаружится несогласие во взглядах на Восток между обоими учеными; в то время как М. Мюллер с высоты своего профессорского величия почти третирует проблемы, которыми занимается, — Дейссен с огромным проникновением вводит нас в понимание сущности метода мышления у мудрецов Индии. См. также: КС, 542, 573, 586, 608, 621.

1905

Стансы Шанпара — по всей видимости, «Шанпара» — описка, Белый мог иметь в виду Шанкара (или Шанкарачарья, кон. VIII-XI вв.): знаменитый индийский философ, реформатор индуизма, один из главных учителей и проповедников философской школы Веданта. Теософская литература часто цитирует его сочинения (главные — комментарии на индийские религиозные тексты). Найти среди его работ упоминаемые Белым «Стансы» не удалось.

Стансы книги «Dzian» — по свидетельству Е. П. Блаватской, ее книга *THE SECRET DOCTRINE* [см. ниже] основывается на мистических древних текстах «Stanzas of Dzyan» («Stances de Dzyan»). (До сих пор эти тексты никому не удалось обнаружить). Они целиком напечатаны в 1-м т. *THE SECRET DOCTRINE* и были выпущены отдельным изданием (1892; много изд.). В КС, 491 Белый пишет: «Блаватская приводит в первом томе "Doctrinе Secrète" девять космогонических стансов из неизвестной филологам книги "Дзиан". Весь первый том состоит из комментария к этим стансам». Там же, 491-492, Белый излагает содержание этих стансов.

Фукар (Foucart, Paul-François, 1836-1926) — *LES GRANDS MYSTERES d'ELEUSIS* (Paris, 1900). Белый отмечает его в КС, 458 в списке научной литературы по элевзинским мистериям («К более поздним исследованиям следует отнести работы Фукара»). Там же он пишет: «...что же касается до Элевзинских мистерий, то все данные, на которых опираемся мы, смутны, но вывод, напрашивающийся сам собою после изучения вопроса о мистериях, — один: в мистериях не преподавалось эзотерической доктрины, но творческая доктрина переживалась /.../. Элевзинские мистерии, по мнению В. Иванова и других, живой и действенный фокус культурной жизни Греции; /.../ Греческая культура, наука и философия предопределены творческим приматом». См. также КС, 521-523.

Lacroix Paul (1806-1884) — французский романист, библиограф и популяризатор, написавший необозримое количество работ по истории литературы и по истории средневековья, XVII-XVIII вв. (им написано даже несколько книг по истории России, как например, биография Николая I, издание писем Madame de Krudener). Опубликовал многочисленные работы на оккультные темы под псевдонимом «le bibliophile Jacob», «P.L. Jacob, bibliophile»). Среди них: *CURIOSITES DES SCIENCES OCCULTES* (Paris, 1862); *CURIOSITES INFERNALES* (Paris, 1886); *HISTOIRE DES MYSTIFICATEURS ET DES MYSTIFIES*, 3 тт. (Bruxelles, 1856-1858) и т. д.

В общем каталоге Национальной Библиотеки (Paris, 1925) только его работы занимают 35 страниц.

Трубецкой, князь Сергей Николаевич (1862-1905) — религиозный философ, последователь Вл. Соловьева, редактор ж. «Вопросы философии и психологии», профессор Московского ун-та. У него Белый слушал лекции. *УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ В ЕГО ИСТОРИИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*. том первый (М., 1900); собр. соч., т. IV (1906). Книга отмечается в КС, 625.

В КС примечание к фундаментальной статье *ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА* пестрят упоминаниями о до-сократовской философии (Анаксагор, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Зенон, Парменид, Пифагор, Эмпедокл и др.) (КС, 490-91, 495-97). Об орфизме см. КС, 522-23, 596. См. также ВВ («Эпопея», №4, 68): «протягиваются связи между мной и Нилендером, канувшим в философские проблемы, нащупывающим огромные, но еще самому неясные мысли о гностиках, об орфических гимнах, о культах Гекаты и о проблемах мистерии: и под влиянием Нилендера начинаю почитать кое-какую литературу, затрагивающую эти предметы: прочитываю исследование Новосадского "Об орфических гимнах"; и Лобек, Фукар, Роде, Бругман теперь начинают во мне говорить» (конец 1907 г.).

1906

В письме от 1(14) 1912 г. Блоку Белый пишет: «Но все это внимание мое было каким-то случайным: помню в Мюнхене, в роковой для меня 1906 год, я случайно встретил там Минцлову, с которой был едва знаком; она звала меня тогда посетить лекцию Штейнера: я прозевал вечер и, конечно, на лекцию не пошел: Минцлова в то время была близкой его ученицею. По возвращению в Россию чаще и чаще приходили вести о Штейнере: то тот, то другая возвращались из Германии, полоненные им. В Москве где-то под боком с символизмом приютилось какое-то странно-нелепое гнездо штейнерианок и штейнерьянцев. По Москве проходили все чаще какие-то *самые последние сведения* о предметах высоких; в астральной атмосфере Москвы астральные газетчики продавали "*Вечерние приложения Летописей Мира*". Там были и сплетни о революции, и сплетни о символизме, и сплетни о Конце Мира. В Москве завелись "*Летописи Мира*". "*Летописи Мира*" издавались в астральной типографии московской секции штейнеровских "*тетушек*". Эти приложения всегда было интересно читать (Штейнер не виноват тут)». («Переписка», 294).

1907

Дейссен (Deussen, Paul, 1845-1919) — немецкий философ и филолог, много писавший об индийской религии, редактор критического издания Шопенгауэра, 14 тт. (Мюнхен, 1911). У Белого первоначально было

«Философия Веданты», затем «Веданты» зачеркнуто и вписано: «Упанишад». Среди его книг: *SECHZIG UPANISHADS DES VEDA*. Aus dem Sanskrit übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen (Leipzig, 1897); *DAS SYSTEM DES VEDANTA*, etc. (Leipzig, 1883); *DIE GEHEIMLEHRE DES VEDA*. Ausgewählte Texte der Upanishad's (Leipzig, 1907). Первые две книги упоминаются в КС, 462, так же как его [ALLGEMEINE] GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, etc. 2 тт. (Leipzig, 1894-1917); ФИЛОСОФИЯ УПАНИШАД составляет 2-ю часть первого тома этой истории философии. «К сочинениям, затрагивающим вопросы религиозного творчества, между прочим относимы прежде всего сочинения Дейссена: великий немецкий ориентолог блестяще освещает ведантизм в свете сложного дерева браманизма...» (КС, 461). О нем см. также прим. к М.Мюллеру (выше).

1908

В письме от 1(14) мая 1912 г. из Брюсселя Белый писал Блоку:

«Несколько лет спустя я слышал в одном кружке чтение ремингтонированной лекции какого-то теософского автора; лекция была главой эзотерического курса; кружок был кружок избранных. И представь: голова у меня закружилась от бури света, от молнии какого-то ясновиденья; и все написанное было каким-то нашим, родным. Когда я спросил, кто автор, мне сказали: "Штейнер" (впоследствии этот отрывок я встретил в скучном и разбавленном виде в его книге "Geheimwissenschaft"...)

Один и тот же человек, писавший для немецких тетушек, написал и вещи, которые не снились Вл. Соловьеву. С тех пор имя Рудольфа Штейнера прозвучало иначе. В то время я был враг теософии (московские теософы с Павлом Николевичем [sic! Белый ошибочно приписывает М.А. Эртелю имя отчество П.Н. Батюшкова] Эртелем и госпожой Писаревой во главе набили мне оскомину: осластили надолго теософию какую-то гниловатую патокой — в теософских домах прилипали от сладости кресла к моему сюртуку, а рука сжималась в кулак). В то время я не хотел никому признаваться, что Штейнер глубоко вошел в мою душу, ибо Штейнер был в моем представлении зауряднейшим теософом. Но с той самой поры я старался как-то украдкой (от себя и других) доставать интимные лекции Штейнера для немногих; это была всегда эссенция, настоенная на звездах и горном воздухе: из одной капли такой эссенции, разведенной ведром воды, и состоят книги Штейнера, предназначенные для широкого чтения. Я стал, где можно, собирать о Штейнере сведения: и вот что узнал; я узнал, что Штейнер стал во главе теософского движения, реформирующего самое теософ[ское] движение; он-де переводит индуизм и браманизм официальной теософии на новый язык, выдвигая Средние Века и розенкрейцские истины; словом, теософию акцентирует в христианстве он, которому придает особый рыцарский мужественный отпечаток; что в Теософском Обществе на него косятся, что за ним всюду следует экстренный поезд германских тетушек. И т.д. Тенденция Штейнера показалась мне симпатичной (конкретизировать теософию): теоретически я себе тогда выделил Штейнера из плеяды теософских деятелей».

В АП, 60 находим: «На исходе 2-го семилетия надоедают Кант, Риккерт, Коген; с осени 1908 года исподтишка опять читаю: Безант, Мида, Ледбитера, посещаю кружок теософов, мне дарят "Doctrine Secrète"; жадно читаю; опять болезнь, кризис; "имагинация" посвященных; сближение с Минцловой». См. также «Материал»: «К.П. Христофорова мне дарит "Doctrine Secrète" Блавадской; углубляюсь в стансы Дзиан» (сентябрь), и «Начинаю посещать теософский кружок К.П. Христофоровой» (октябрь).

Христофорова, Клеопатра Петровна — по свидетельству «Материала», двенадцатилетний Боря Бугаев познакомился с ней в начале 1893, в тот период, когда ее сыновья входили в его «детское общество». Он часто бывал у нее осенью 1904 г. и позднее. В статье *АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР* («Мосты», 1968, №13-14, с.239) Ася Тургенева пишет, что в 1909 г. Белый от нее впервые получил фотографию Штейнера. О поздних отношениях Белого с «истеричной Христофоровой» («Материал») см. отрывки из «Материала» (1913-15), включенные в настоящую публикацию. 27 писем Христофоровой и 3 открытки ее к Белому за 1903-1910, 1917 хранятся в ГБЛ, ф.25, карт.24, ед.хр.26. Умерла в России в 1934 году.

Эртель, Михаил Александрович — историк, теософ, один из «аргонавтов». Сын писателя А.И. Эртеля. Белый дает его портрет в НВ, 63-75: «...и вреден и неблагороден, но широк... до ужаса» (НВ, 55); встреча со «сладким Эртелем» — «класс изучения шарлатанизма» (НВ, 74). Он же герой очерка Белого *ВЕЛИКИЙ ЛГУН*. — «Утро России», 1910, №247, 12 сентября.

«Материал» (декабрь): «Охлаждение с Мережковскими. В конце месяца сближение с Минцловой. Мое заболевание; странные переживания /.../. См. также *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ* (1982): «Мережковский меня преимущественно волнует в 1901 и 1902 годах, в период максимального подъема своего дарования /.../ В 1908 году в письме к Мережковскому отмежевываюсь от него. Но уже, в принципе, с 1906 года с утопией о соборном индивидуализме покончено» (49-50).

1909

В «Материале» находим: «скандал [в Петербурге] в кружке на лекции В.Иванова. Отъезд в Бобровку [имение Рачинских в Тверской губ.] к А[нне] А[лексеевне] Рачинской [сестре Григория Рачинского] [январь]. Жизнь в Бобровке /.../ усиленное чтение книг по оккультизму и астрологии [февраль]. Живу в Бобровке: составляю гороскоп [март]».

LA DOCTRINE SECRETE, etc. [*THE SECRET DOCTRINE*, London, 1888] Е.П. Блаватской впервые вышла в Париже в 1899 г. (т. I: Evolution cosmique. Stances de Dzyan; т. II: Evolution du symbolisme. Science occulte et science moderne). В КС, которые Белый составил в ноябре 1909, он пишет: «Я рекомендовал бы для этой цели огромное сочинение Блаватской

”*Doctrine secrète*“, в котором наряду с большим количеством вовсе не освещенного материала мы встречаемся с драгоценными черточками, вводящими нас в понимание религиозного творчества» (461). См. также КС, 491, 621, 624.

д’Альвейдр (Saint-Yves d’Alveydre, marquis Joseph-Alexandre, 1842-1909) — французский оккультист, автор «монументального сочинения» (КС, 622) *MISSION DES JUIFS* (Paris, 1884), цитируемого в КС, 622-623.

Лэви, Элифас (Lévi, Eliphaz, наст. имя: Constant, abbé Alphonse-Louis, 1810-1875) — французский священник и оккультист. В КС, 624 Белый отмечает его *DOGME ET RIRUEL DE LA HAUTE MAGIE*, 2 тт. (Paris, 1856) и *HISTOIRE DE LA MAGIE, avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères* (Paris, 1860). Среди других его книг: *PHILOSOPHIE OCCULTE*, 1re série (Paris, 1862) и 2e série (Paris, 1865); *LE GRAND ARCANÉ, OU L’OCCULTISME DEVOILE* (Paris, 1898).

Панюс (Papus; наст. имя: Encausse, Dr. Gérard, 1865-1916) — французский оккультист, «маг», гипнотизер, ученик д’Альвейдра, ред. журналов «l’Initiation» (1888-1910), «Le Voile d’Isis» (1890-1898) и др. Самый известный популяризатор «герметических доктрин». В период 1901-06 был несколько раз в России, где был принят Николаем II. Среди его многочисленных книг и брошюр: *BIBLIOGRAPHIE METHODIQUE DE LA SCIENCE OCCULTE*, etc. (Paris, 1892); *CLEF ABSOLUE DE LA SCIENCE OCCULTE* (Paris, 1889); *LES DOCTRINES THEOSOPHIQUES* (Paris, 1889); *L’OCCULTISME CONTEMPORAIN* (Louis Lucas, Wronski, Eliphaz Lévi, Saint-Yves d’Alveydre, Mme Blavatsky) (Paris, 1887) и т.д. Его *TRAITE ELEMENTAIRE DE SCIENCE OCCULTE*, etc. (Paris, 1888) издан в русском переводе в 1904 г.

Гюэита (Guaita, Stanislas de, 1860-1897) — французский оккультист, основатель «Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix». В КС, 497 Белый отмечает его *LE SERPENT DE LA GENESE*, 1897, т.е. *ESSAIS DE SCIENCE MAUDITES* (Paris, 1886) и 1890-97: I. Au seuil du mystère; II: Le Serpent de la Genèse, première septaine: le Temple de Satan; III. Le serpent de la Genèse, deuxième septaine: la Clef de la magie noire. См. также: *ROSA MYSTICA* (Paris, 1885).

В письме к Блоку от 1(14).05.1912 Белый писал о 1909 г.: «С 1909 года, когда я узнал, как близко проходит линия Штейнера от всего того, что стало для меня ”Светом на пути“, я повернулся к нему с глубоким благоговением. Я понял, что то, что эзотерически для меня ”Чаемый Свет“, то свет и для Штейнера: я узнал, что он живет в самом свете, а все его дело — все штейнерьянство — необходимое Германии, есть педагогика, подготовительный класс, без которого нельзя подойти ни к чему; в то время, как Штейнер уподобляем пушкинской поэме, дело Штейнера — азбука (не научившись читать вообще, нельзя читать Пушкина). И вот, зная, кто он и что он, я не присоединился к штейнерьянству, к отблеску отблеска Света, ибо не отблесков отблеска ждал я себе, а... хотя бы отблеска.

Штейнерьянство — одно; немногие окружающие Штейнера среди сотен поклонников и учеников — другое; сам Штейнер — третье. Я уже знал, что из всех раздающихся голосов в Европе, которые должно ловить и нам, единственный и важнейший — его голос. Но я ждал *другого голоса*. И о Штейнере я молчал».

Переход Белого к «духовной науке» Штейнера в этот период, вероятно, объясняет его суровое суждение о теософии в КС: «Существующая теософия как течение, воскрешенное и пропагандированное Блаватской, не имеет прямого отношения к нашему представлению о теософии как дисциплине, должествующей существовать; существующая теософия пренебрегает критикой методов: и от того многие ценные положения современной теософии не имеют за собой никакой познавательной ценности; стремление к синтезу науки, философии и религии без методологической критики обрекает современную теософию на полное бесплодие; современная теософия интересна лишь постольку, поскольку она воскрешает интерес к забытым в древности ценным мирозерцаниям; нам интересен вовсе не синтез мирозерцаний, а самые мирозерцания» (505).

1909-1910

В кн. *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ* (63-64) Белый пишет об этом периоде: «И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям: чтению эзотерической литературы, мечтам об "ОРДЕНЕ", встрече с Минцловой, приходящей к нам со словами о братстве Розы и Креста и с обещанием быть посредницей между тесным кружком друзей и "учителями". По-новому поднимаются во мне думы всей жизни: о коммуне, о братском опыте».

Под знаком этой думы о «коммуне» и произошло сближение Белого с В.И. Ивановым и А.Р. Минцловой в 1909-10 гг. Бердяев дает следующий портрет Минцловой в своей автобиографии *САМОПОЗНАНИЕ* (Париж, 1983): «Это была некрасивая полная женщина, с выпученными глазами. В ней было некоторое сходство с Блаватской. Внешность была скорее отталкивающая. У нее были только красивые руки (я всегда обращал внимание на руки). Минцлова была умная женщина, по-своему одаренная, и обладала большим искусством в подходе к душам, знала, как с кем разговаривать. Я воспринимал влияние Минцловой как совершенно отрицательное и даже демоническое. С ней у меня было связано странное видение. После ее приезда в Москву вот что произошло со мной. Я лежал в своей комнате, на кровати, в состоянии полусна; я ясно видел комнату, в углу против меня была икона и горела лампадка, я очень сосредоточенно смотрел в этот угол и вдруг, под образом, увидел вырисовавшееся лицо Минцловой, выражение лица ее было ужасное, как бы одержимое темной силой; я очень сосредоточенно смотрел на нее и духовным усилием заставил это видение исчезнуть, страшное лицо растаяло. Потом Ж., которая обладает большой чувствительностью, видела ее в форме змеи,

с которой мне приходилось бороться. Минцлова чувствовала мое враждебное к ней отношение и хотела его преодолеть. Это привело к тому, что в следующее лето она на два дня заехала к нам в деревню, в Харьковскую губернию, по дороге в Крым. Разговоры с ней были интересны. Но ей не удалось склонить меня на свою сторону» (221-222).

Белый познакомился с Минцловой в 1901 г., но их «встреча» произошла только в мае 1909 г. («Материал»). Белый много пишет о ней и об их близости в своих мемуарах (ВБ, «Эпопея», №4, 142-144, 149, 153-154, 167, 175-180; *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*, 355-362) и резюмирует историю их отношений в этот период в кн. *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ* (68-69; опечатка «1904» поправлена на «1910»):

«В третьем томе "НАЧАЛА ВЕКА" я подробно описал случай с Минцловой; ее посредничество между интимным кружком и учителями, долженствовавшими среди нас появиться, превратилось в хроническое состояние ожидания, во время которого на наших глазах нарушилось равновесие Минцловой; ее первоначальные ценные указания и уроки (позднее обнаружилось, что эти уроки — материал курсов Штейнера) все более и более отуманивались какими-то не то бредовыми фантазиями, не то кусками страшной действительности, таимой ею, но врывавшейся через нее в наше сознание и заставлявшей меня и Метнера чаще и чаще ставить вопрос о подлинности того "БРАТСТВА", которого представительницей являлась она; ее болезнь и бессилие росли не по дням, а по часам; в обратной пропорциональности с все пышневшей "ФАНТАСТИКОЙ" ее сообщений выявлялись странности ее поведения, оправдываемые лишь болезнью; а — "ОНИ", стоящие за ней, в облаках ее бреда все более и более искажались; наконец: становилось ясным, что ее бессилие перед иными из умственных затей Вячеслава Иванова, которого она проводила в "СО-БРАТА" нам, выдвигали вопрос: кто же подлинный инспиратор ее: неизвестный учитель или Вячеслав Иванов? Иванов был ценным сотрудником и умным человеком; но я не мог забыть его двусмысленной роли в недавнем мистическом анархизме; для меня во многом Иванов был кающимся грешником, не более: весь же эсотеризм его был для меня лишь более или менее удачной импровизацией над материалом интимных лекций Штейнера, часто субъективированных его личными домыслами); в разрезе "БРАТСТВА" В.Иванов выявлялся все более и более как чужой. Наконец становилось странным: почему все светлое в Минцловой сплеталось со Штейнером, от которого она в болезненном бреде как-то странно ушла, а все темное и смутительное отдавало теми, к кому она пришла и с кем хотела нас сблизить.

Мои сомнения в духе братства, в В.Иванове и в Минцловой под влиянием ряда жизненных случаев достигли максимума весной 1910 года, когда я решил твердо ей это заявить.

Вскоре после этого она странно исчезла: бесследно исчезла; исчезновение это, разумеется, не способствовало доверию к ее мифу о "РОЗЕ И КРЕСТЕ"».

Стадии развития этих отношений и их сущность четко излагаются только в «Материале»:

1909

Ноябрь — Минцлова: ее фантазии. /.../
Декабрь — Медитации, данные Минцловой.

1910

Январь — Встречи с Минцловой. В конце января отъезд в Петербург к Иванову.

Февраль — Живу в квартире у Иванова /.../ главное — контрапункт разговоров на тему о братстве с Минцловой и другими подходящими к ней 1) я + Минцлова, 2) я и Иванов (о теме Розы и Креста), 3) я и Минцлова + Иванов, — наш «*мистический треугольник*», в который я всунут насильно с Минцловой, /.../ 4) Минцлова + Иванов + я + Метнер, приехавший в Петербург и договаривающийся с Ивановым; его дружба с Сабашниковой, 5) Метнер + я — о Минцловой, Иванове, Сабашниковой, 6) Мое усилие присмотреться к будущему коллективу из Θ , намеченному Ивановым /.../ Вот сложный контрапункт отношений, в котором я не могу ни *морально найтись*, ни медитативно работать (Минцлова дала новые медитации), ни разобраться в версии Минцловой об учителях, ни разобраться в отношениях Минцловой к Иванову /.../.

Март — Отъезд Минцловой в Москву после бурных и тяжелых сцен между ней и Ивановым. Наша жизнь с Вячеславом Ивановым в обсуждении «*братства*» /.../ я все более измучиваюсь и

в с е

более сомневаюсь в братстве. /.../ Еду в Москву. Конец месяца полный бред и неразбериха.

Апрель — /.../ душа — проходной двор /.../ тут /.../ сладкий Эртель и истеричная Христофорова; я — лопнул: на вечеринке у Христофоровой мой открытый бунт против Иванова и Минцловой. /.../ Месяц кончается /.../ разгромом «*братства*» /.../

Май — Ряд фактов с Минцловой, исчерпывающих мое терпение; уехала в Петербург и молчит, а в Москве от данной ей через меня медитации случается нервное заболевание. /.../ Минцлова требует, чтобы я в мае ехал в Италию, в Ассизи, куда должен приехать Иванов; там [в] Ассизи де, должна произойти наша встреча с розенкрейцерами и «*посвящение*»; но я, измученный уже год длящимся без разрешения мифом, принимающим все более зловеще-фактистический характер, после совета с Метнером, решаю отказать[ся] от «*чести*» ехать в Италию; А.С. [Петровский] везет это решение Минцловой в Петербург /.../ На душе — полное недоумение и полное опустошение /.../.

Июнь — А.С. Петровский сообщает мне, что едет в Швейцарию, в Берн, на курс Штейнера /.../.

Август — [в Луцке] решение о пути с Асей бесповоротно. Наташа [Тургенева] упрекает, что этим решением я как бы переступаю через «коллектив»; ибо я из-за Аси не поехал в Ассизи. Я доказываю, что не поехал оттого, что у меня нет веры уже в «миф» Минцловой; она — подорвана рядом нечетких поступков. /.../ С некоторым недоумением еду в Москву, где с места в карьер сваливается тяжелая проблема «исчезновения» Минцловой, с которой неделю мы возимся с М.И. Сизовым. Она — исчезает, дав мне кольцо и лозунг и обещая, что *кто-то* к нам придет в сентябре 11 года. /.../ С тяжелым недоумением в душе о Минцловой и новой обузе «*Ждать кого-то*» [еду в Демьяново] /.../.

Октябрь — /.../ Эзотерические собрания нашей «пятерки» с молчанием (Я, Метнер, Сизов, Киселев, Петровский), которые, кажется, в обузу всем, но во имя прихода «*кого-то*» для «*чего-то*» («*бред*» исчезнувшей Минцловой ею навязан нам в наследство, так сказать).

Ноябрь — /.../ просто *вырыв* из Москвы.

Об исчезновении Минцловой см. у Бердяева: «Очень странно было ее исчезновение. Из Крыма она вернулась в Москву. Через несколько дней после возвращения она вышла с приятельницей, у которой остановилась, на Кузнецкий Мост. Приятельница повернула в одну сторону, она в другую. Она больше не возвращалась и исчезла навсегда. Это еще более способствовало ее таинственной репутации. Молодые люди, во всем склонные видеть явления оккультного характера, говорили то, что она скрылась на Западе, в католическом монастыре, связанном с розенкрейцерами; то, что она покончила с собой, потому что была осуждена Штейнером за плохое исполнение его поручений. Такие лица, как Минцлова, могли иметь влияние лишь в атмосфере культурной элиты того времени, проникнутой оккультными настроениями и исканиями» (222).

Как одна из первых русских учениц Штейнера она много способствовала распространению его идей в тех кругах, в которых сосредотачивалась культурная жизнь Москвы и Петербурга. Она перевела его кн. *THEOSOPHIE* (1904) на русский (*ТЕОСОФИЯ*, СПб, 1910). Письма Штейнера к ней напечатаны в «*Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914*» (Dornach, 1984).

1911

«С самого нашего путешествия в Африку [первые четыре месяца 1911 г. были проведены в Тунисе, Египте, Палестине] с нами (мною и Асей) бывали зарницы будущей молнии; и видя зарницы, мы даже не предчувствовали Молнии [Штейнера]» («Переписка», 313).

См. «1911 год» в тексте основной публикации из «Материала».

«Штейнер — герой эпопеи нашей» («Переписка», 293). «В апреле-мае 1912 года события внутренней жизни неожиданно приводят меня к личной встрече с Р.Штейнером; но эта встреча ведет к моему присоединению к "ДЕЛУ" Штейнера, в котором для меня проясняется следующий этап моего же пути» (*ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ*, 80). См. «1912 год» в тексте основной публикации из «Материала», «Переписка» (295-300) и *ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ* («Беседа», 1923, №2).

II

ДВА ПИСЬМА К.П. ХРИСТОФОРОВОЙ

I

[осень 1908 г.]

Дорогая, глубокоуважаемая Клеопатра Петровна,

Я Вам давно и подробно ответил еще в первый раз: но оба раза Ваша прислуга ушла тотчас же, не дав возможности ей передать письмо; я оба раза очень огорчился, потому что чувствовал, что надо передать существенное.

Скажу вкратце: мои слова о «*покое*» не есть укор теософии, а желание выслушать, что скажут, что ответят на мое сомнение в *праве проповеди* в настоящее время — в дни, когда многие имеющие, что сказать, стискивают зубы в молчании...

Вот и только: оттенка укора в моих словах не было вовсе.

Не могу быть у Вас сегодня. В двух местах меня ждут 1) Вячеслав [Иванов] обидится, если не приду на его лекцию, 2) [Николай Карлович] Метнер обидится, если не приду на его концерт. Придется обидеть одного из двух.

Странно, что все обижаются: я вовсе например не обижаюсь, когда меня не посещают на лекции; а вот подите: знаю, уверен (оба требуют, чтобы был на лекции и концерте), что обидятся.

Ужасно хочу Вас видеть,

глубоколюбимая Клеопатра Петровна.

Христос с Вами!

Борис Бугаев.

II

[осень 1908 г.]

Многоуважаемая и дорогая Клеопатра Петровна,
Я очень извиняюсь перед Вами, но я должен выразить Ваше-
му Кружку мое крайнее раздражение.

1) Ал. Серг. Петровский вовсе не думал у Вас быть; он знает
подлинных мистиков (Беме, Сведенборга, Зохара), и «манная ка-
ша» Михаила Александровича [Эртеля] вовсе ему не интересна.

2) Считаю А.С. Петровского одним из ближайших своих дру-
зей, я не могу равнодушно перенести *такое* обращение к моему по-
средству от имени Вашего Кружка. Я больше бывать у Вас не мо-
гу; должен заметить, что за все время моих посещений я не вынес
от Мих. Алекс. *ничего нового*, так что вовсе не знаю, для чего дол-
жен был я приходиться; все это уже я знал до моих посещений бесед.

Остаюсь искренне любящий Вас и преданный

Борис Бугаев.

P.S. Передайте Вашим, что таким отбором (отрицательным
отношением к подлинным мистикам и необычайно легким приня-
тием «восторженных» дам) они конечно скоро уронят теософию в
России.

Оба письма, хрянящиеся в ГБЛ, ф.25, карт.30, ед.хр.21, без даты. Да-
тируются на основе «Касаний к теософии» (1908 год: «Начинаю посещать
лекции Эртеля в теософском кружке...») и «Материала к биографии (ин-
тимного)»: «Начинаю посещать кружок К.П. Христофоровой» (октябрь).
О ней и о М.А. Эртеле см. примечания к «Касаниям к теософии» (1908).

III

СЛЫШАННЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ТЕОСОФИИ В НЕМЕЦКОЙ СЕКЦИИ

1912 год

Май (3). Доктор: «О храмах, как выражении культурных эпох». 5-го мая
(кельнская ложа). Доктор: «Христос и XX век». 5-го мая (Кельн. Публич-
ная). Доктор: «О календаре» (кельнская ложа).

Июль (15). Юлэ: «О стихиях» (Мюнхен. Ложа). Юлэ: «О стихиях», про-
должение (Мюнхен. Ложа). Штинде: «Об эпохах» (по Доктору. Мюнхен.
Ложа). Эллис (11): «Евангелие от Иоанна» (по Доктору. Мюнхен). Пуль-
ман: «О четырех архангелах» (Мюнхен).

Август (16). Доктор: «Слово по поводу смерти матери Сиверс». Доктор: Мистерия «У врат посвящения». Доктор: Мистерия «Очищение». Доктор: Мистерия «Страж порога». Шюре: «Мистерия Елевзиса». Др. Унгер: «О мистерии "У врат посвящения"». Др. Унгер: «О мистерии "Очищение"». Доктор: Курс «О посвящении»: «О мистерии Шюре». «О посвящении». «О моральном очищении». «Работа в эфирн[ом] и астр[альном] плане». «О Люцифере и Аримане». «О том, что за порогом». Заключение. Публичная лекция (Мюнхен. Ложа). Шолль: «О мистериях др. Штейнера».

Сентябрь (15). Доктор: Курс «Евангелие от Марка»: «О характере перевоплощения после Голгофы». «О Библии». «Креститель». «Будда и Сократ». «Кришна». «Драматический монолог». «На воде, на горах, в дому...». «Преображение». «Ученики не поняли». Заключение. Доктор: «О Гельдерлине» (Базель). Доктор: Публичная лекция. Бауэр: «О Гегеле» (Базель). Ленхарт: «О Гельдерлине» (Базель). Доктор: Публичная лекция.

Ноябрь (6). Пульман: «О розенкрейцерском лозунге» (Штутгарт). Пульман: «Огонь, воздух, вода, земля» (Штутгарт). Доктор: «Правда духовного опыта» (Мюнхен). Доктор: «Ошибки духовного опыта» (Мюнхен). Доктор: «Между смертью и новым рождением» (Мюнхен). «Между смертью...», продолжение (Мюнхен).

Декабрь (13). Доктор: «Между смертью...», продолж. (Берлин). Доктор: «Результаты дух[овного] опыта» (Берлин). Доктор: «Между смертью...», продолж. (Берлин). Доктор: «Естествознание и дух[овный] опыт» (Берлин). Шолль: «Христов импульс» (Берлин). Доктор: «Рождественская. Христиан Розенкрейц». Доктор: к курсу «Бхагаватгита и Послания ап. Павла»: «О любви» (Берлин). «Веды, Йога, Самкья» (Кельн). «Характеристика Самкьи» (Кельн). «Бхагаватгита» (Кельн). «О змеевом состоянии» (Кельн). Доктор: «О Новалисе» (Кельн). Унгер: «Антропософическое Общество» (Кельн).

Итого за 1912 год выслушал лекций 68.

1913 год

Январь (10). Доктор: «Послания апостола Павла» (Кельн, к курсу). Доктор: «Правда дух[овного] опыта» (Кельн). Доктор: «Ошибки дух[овного] опыта» (Кельн). Доктор: «Между смертью и новым рождением» (продолжение) (Берлин). Доктор: «Яков Беме» (Берлин). Доктор: «О возрастах» (Берлин). Доктор: «Герман Гримм» (Берлин). Доктор: «Миссия Рафаэля» (Берлин). Вальтер: «О назначении мышления» (Берлин). Вальтер: «Евангелие от Марка Доктора Штейнера» (Берлин).

Февраль (19). Доктор: Доклад на генеральном собрании (Берлин). Доктор: Курс: «Сущность антропософии». «Мистерии востока и запада» (4 лекции) (Берлин). Доктор: «Сказочные стихи в свете дух[овной] науки» (Берлин). Доктор: «Леонардо да Винчи на повороте к новому времени» (Берлин). Доктор: «О формах храма» (Берлин). Доктор: «Биография» (Бер-

лин). Доктор: Заключительное слово при закрытии Антропософского съезда (Берлин). Доктор: «О фактах науки и об отношении к ним». Зелигер: «О Зохаре». Пайперс: «Парсифаль в свете естествознания». Не знаю фамилии: «О механике и антропософ[ском] импульсе». Какой-то пастор: «Об антропософии». Доктор: «Между сном и новым рождением». Аренсон: Доклад о творческом отношении к данным ок[ультной] науки. Вальтер: «О Я».

Март (2). Доктор: Лекция в ложе (Берлин). Доктор: Публичная лекция.

(ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.2, рук. без даты)

**

СВИДАНИЯ С ДОКТОРОМ

1912 год

1-ое свидание. 7-го мая — Кельн.

Разговор шел о феноменах в Брюсселе, как быть; об Θ ; о моем отношении к А[нне] Р[удольфовне Минцловой]; о возможности или невозможности учиться у Доктора.

2-ое свидание. 20 июля — Мюнхен.

Разговор об Анне Рудольфовне. Доктор дал медитацию нам. Мюнхен.

3-ье свидание. 24 июля.

Разговор (очень подробный) о моем *raison d'être*, о России, Вл. Соловьеве; очень подробное изложение всего бывшего с Анной Рудольфовной. Доктор прибавил медитацию.

4-ое свидание. 31 июля.

Отчет Доктору о своей работе; представил схему; изложили странное происшествие 29-ого июля. Доктор из моих чертежей дал мне задачу; прибавил к имеющейся медитации еще. Мюнхен.

5-ое свидание. 24 сентября.

Подробный отчет Доктору о ходе работы. Одобрение Доктора. Приєднал к 3 медитациям четвертую. И задал работу. Базель.

6-ое свидание. 29 ноября.

Передали Доктору наши тетради и получили по новой медитации. Мюнхен.

7-ое свидание. 13 декабря.

Берлин. Сущность разговора конспективно записана у меня.

1913 год

8-ое свидание. 15 февраля.

Краткое. Разговор о поездке в Россию и об Асе. Доктор присоединил нечто к медитации. [Берлин]

Май — Свидание и разговор с д[окто]ром в Гельсингфорсе.

Октябрь — Разговор с Доктором и письмо ему в Христиании.

Октябрь — Мой разговор с М.Я. Сиверс в Копенгагене.

Октябрь — Асин разговор с М.Я. в Берлине.

Октябрь — Наш разговор за чаем у Доктора в Берлине.

1914 год

Январь — Наш разговор с М.Я. в Лейпциге.

Январь — Наш разговор я М.Я. в Берлине.

Февраль — Асин разговор с М.Я. в Дорнахе.

Июнь — Асин разговор с М.Я. в Дорнахе.

Июль — Наш разговор с М.Я. и Доктором в Норд-Чепинге.

Ноябрь — Наш разговор с Доктором в Дорнахе (Д[окто]р дал медитации).

1915 год

Май — Наш разговор с Доктором о книге моей. Дорнах.

Июль — 2-ой разговор о книге у Доктора в Дорнахе.

Сентябрь — Разговор Аси с Доктором обо мне и Наташе. Дорнах.

Октябрь — Разговор с Доктором у нас. Дорнах.

Декабрь — Мой разговор с доктором о Наташе. Дорнах.

1916 год

Июль — Разговор с Марией Яковлевной в «Вау» в Дорнахе.

Август — Разговор с Доктором и чай у него en quatre (я, Ася, Наташа, Поццо).

(ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.2; рук. без даты.
Белый приводит даты по новому стилю.)

**

ОККУЛЬТНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

[1912 год]

Апрель — В начале апреля общий сон с Асей. Серед[ина] апреля — первая встреча. Конец апреля — вторая встреча.

Май — Поездка в Кельн. Феномен во время чтения дневника с Эллисом (приход Доктора). 18 мая — цветы (феномен).

Июль — Начало (феномен при разговоре о Люц[ифере] и Аримане). Начало — Сон о Докторе (помог). 20-ые числа — Феномен со мной и явления с мышью. 20 — нев[ероятное?] присутствие на Starnberger See [под Мюнхеном] (я и Эллис).

Август — Начало. Огонь *Ich*. Середина (сон об эф[ирном] теле).

Октябрь — Весь октябрь ряд мелких феноменов.

Декабрь — Полувыхождение. Сон о выходеждении (сон не сон: отрывки из прошлых инкарнаций). Выхождение (конец декабря).

[1913 год]

Январь — Выхождение (30 января н.ст.).

(ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.2; рук. без даты;
см. *ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*. — «Беседа», 1923, №2)

IV

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В РУССКОМ АНТРОПОСОФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ В 1918-1919 г.

I. Еженедельно

1. Общие собрания для членов Общества — по вторникам.
2. Кружок эвритмии — по пятницам.
3. Вступительный кружок М.В. Сабашниковой — по воскресеньям.
4. Вступительный кружок Б.П. Григорова — по субботам.
5. Кружок Б.П. Григорова по пути посвящения — по четвергам.

II. Два раза в месяц

5. [sic!] Кружок по изучению мистерий — по пятницам.
6. Христианский кружок — по пятницам.
7. Кружок по изучению «Философии Свободы» М.П. Столярова — по понедельникам.

III. Один раз в месяц

8. Лекции Б.Н. Бугаева — по понедельникам.
9. Антропософические вечера для членов Общества — по понедельникам.
10. Музыкальные вечера — по средам.

Лекции Б.Н. Бугаева предполагаются по следующим дням: первая лекция — 14 октября; вторая лекция — 11 ноября; третья лекция — 9 декабря.

Музыкальные вечера предполагаются по следующим дням: первый вечер (Бах) — в среду 16 октября; второй вечер (Шуберт — «Прекрасная мельничиха») — 13 ноября; третий вечер (Шуберт — «Зимняя дорога») — 11 декабря.

(ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.31; рук. без даты)



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГОДА [ЗАНЯТИЙ АНТРОПОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА] [1918 год]

СЕНТЯБРЬ

- 20 пятница: Открытие собраний А.О.
- 22 воскресенье: Вступительный кружок М.В. Волошиной с 5-ти.
- 23 понедельник.
- 24 вторник: Собрание А.О. Чтение курса: «Дети Христа и дети Люцифера». Первая лекция. Ровно в 7 часов.
- 25 среда.
- 26 четверг: Вступительный кружок Б.П. Григорова в 7 1/2 часов.
- 27 пятница: «Кружок Мистерий» в 7 1/2 часов.
- 28 суббота: Эвритмия в 7 часов.
- 29 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной.
- 30 понедельник: Собрание А.О. Беседа, касающаяся антропософских тем, общение членов на антропософские темы; вступление к беседе Б.Н. Бугаева: «Наши мысли, наши чувства, наша воля и наша антропософская работа в текущем полугодии». Ровно в 6 часов.

ОКТАБРЬ

- 1 вторник: Собрание Общества. Чтение курса. Вторая лекция.
- 2 среда.
- 3 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. В 7 1/2 часов.
- 4 пятница: «Христианский кружок». В 5 1/2 часов.
- 5 суббота: Эвритмия в 7 часов.
- 6 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной с 5-ти.
- 7 понедельник: Кружок М.П. Столярова по «Философии Свободы».

- 8 вторник: Собрание Общества. Чтение курса. 3ья лекция. Ровно в 7 часов.
9 среда.
10 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. В 7 1/2 часов.
11 пятница: «Кружок Мистерий». В 7 1/2 часов.
12 суббота: Эвритмия в 7 часов.
13 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной. С 5-ти.
14 понедельник: Лекция-беседа Б.Н. Бугаева: «О живоносном ручье европейской культуры». Ровно в 6 часов. Вход для всех желающих. Цена 2 рубля 50 коп.
15 вторник: Собрание Общества. 4ая лекция курса. В 7 часов.
16 среда: Музыкально-вокальный вечер, посвященный Себастиану Баху. Вход для членов Общества, членов вступ. кружка с гостями. Цена 2 р. 50 коп.
17 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. 7 1/2 часов.
18 пятница: «Христианский кружок». 5 1/2 часов.
19 суббота: Эвритмия. 7 часов.
20 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной. 5 часов.
21 понедельник: Кружок М.П. Столярова по «Философии Свободы».
22 вторник: Собрание членов А.О. 5ая лекция курса. 7 часов.
23 среда.
24 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. 7 1/2 часов.
25 пятница: «Кружок Мистерий». 7 1/2 часов.
26 суббота: Эвритмия. 7 часов.
27 воскресенье: Кружок М.В. Волошиной. 5 часов.
28 понедельник: Интимное собрание членов Общества, касающееся антропософских тем. Вступление-беседа М.В. Волошиной: «О календаре доктора Штейнера, о наших антропософских задачах в связи с ритмом времени: октябрь». Хорошо бы, чтобы были беседы на темы прочитанных лекций со схемами.
29 вторник: Собрание Общества. бая лекция курса.
30 среда.
31 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. 7 1/2 часов.

НОЯБРЬ

- 1 пятница: «Христианский кружок». 5 часов.
2 суббота: Эвритмия. 7 часов.
3 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной. 5 часов.
4 понедельник: Кружок М.П. Столярова «Философия Свободы».
5 вторник: Собрание Общества. 7ая лекция курса.
6 среда.
7 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. 7 1/2 часов.
8 пятница: «Кружок Мистерий». 7 часов.
9 суббота: Эвритмия. 7 часов.
10 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной. 5 часов.
11 понедельник: Лекция Б.Н. Бугаева: «О короне любви и мистерии смерти в антропософском раскрытии».

- 12 вторник: Собрание Общества. 8ая лекция курса.
13 среда: Музыкально-вокальный вечер, посв. Шуберту. Цикл песен «Die schöne Mullerin» в исполнении А.В. Сизовой.
14 четверг: Вступ. кружок Б.П. Григорова. 7 1/2 часов.
15 пятница: «Христианский кружок». 5 часов.
16 суббота: Эвритмия. 7 часов.
17 воскресенье: Вступ. кружок М.В. Волошиной. 5 часов.
18 понедельник: Кружок М.П. Столярова «Философия свободы».
19 вторник: Собрание Общества. 9ая лекция курса. 7 часов.
/.../
22 пятница: «Кружок Мистерий». 7 1/2 часов.
/.../
26 вторник: Собрание Общества. 10ая лекция курса. 7 часов.
/.../

ДЕКАБРЬ

- 1 воскресенье: Лекция К.Н. Васильевой: «Карма».
/.../
3 вторник: 1ая лекция курса «Мистерии Востока и Запада». 7 часов.
/.../
6 пятница: «Кружок Мистерий». 7 1/2 часов.
/.../
9 понедельник: Лекция Б.Н. Бугаева (Андрея Белого): [Странник] [Странствие и его тень как этап посвящения:] «Зимнее странствие, ночь: полуночное солнце культуры». Цена 2 1/2 рублей. Для всех.
10 вторник: Лекция курса «Мистерии Востока и Запада». 2ая лекция курса.
11 среда: Музыкально-вокальный вечер, посв. Шуберту: Цикл «Winterreise» в исполнении А.В. Сизовой. Цена 2 1/2 рублей.
/.../
17 вторник: Курс «Мистерии Востока и Запада». 7 часов. (Зья лекция).
/.../
20 пятница: «Кружок Мистерий».
/.../
24 вторник: «Мистерии Востока и Запада». 4ая лекция.
/.../
27 пятница: «Кружок Мистерий».
/.../

(ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.17; рук. без даты)

ПИСЬМО БОРИСУ ПАВЛОВИЧУ ГРИГОРОВУ

1 октября 1921

Дорогой Борис Павлович,

Скоро, вероятно, увидимся; был у меня Вл. Вл. Эйсер, едущий в Москву; произвел чрезвычайно странное впечатление; я далек от какой бы ни было характеристики его личности; может быть он прекрасный человек; но только: после его ухода на меня напал цикл раздумья; и вот что отложилось в сознании; я почувствовал необходимость предупредить Вас: *будьте с ним осторожны*, не подавая ему вида; может быть он только человек медиумический, но... все же.

Кстати: он познакомился со мной; пришел ко мне вроде как посланец от Вас. Предупреждаю Вас, что я ничего не просил его передать Вам. Если бы он не зарекомендовался, как нечто мне имеющий сообщить из Москвы, я бы не стал его выслушивать.

Оговариваюсь: я ничего не имею против него; но бывает, что и лучшие люди бывают медиумами.

Письмо уничтожьте. Он называет себя другом Чебышева; осторожно намекайте на осторожность: Трапезн[икову], Петр[овскому], Кл[авдии] Ник[олаевне], хотя нам нечего утаивать, но слишком любопытные люди, преисполненные авантюра, всегда вызывают опасение и сдержанность.

(ЦГАЛИ, ф.52, оп.3, №10)

[Письмо без подписи. Адрес на конверте: Кудринская Садовая 6, кв. 2 (с черного хода) или: Румянцевский Музей. Библиотека. Вере Оскаровне Анисимовой для передачи Б.П. Григорову. *Спешное*]

VI

ИЗ «СЕБЕ НА ПАМЯТЬ»*

1915 год

226-229. Декабрь — «Кант и Штейнер». Для кружка русских антропософов. Дорнах.

* Полное название документа (на 19 листах, б.д.): *СЕБЕ НА ПАМЯТЬ. Перечень прочитанных рефератов, публичных лекций, бесед (на заседаниях), оппонирований, председательствований и участия (активных) в заседаниях и т.д. с 1899 до 1932 года.* Автограф находится в ЦГАЛИ, ф.53 (А.Белый), оп.1, ед.хр.96. Оттуда взяты только лекции и т.д., касающиеся антропософии и тем, с ней связанных, читанные в антропософских кругах. Нумерация (часто ошибочная) в перечне принадлежит Белому. Пропуски обозначаются «/.../».

1916 год

- 230-233. Январь — «Кант и Штейнер». Для кружка русских антропософов. Дорнах.
234-237. Февраль — «Кант и Штейнер» [и т.д.]
/.../
242. Сентябрь — Беседа о Гетеануме. В Московском А.О.
/.../
251. Декабрь — Участие в беседе для интер[есующихся] антропософией в Моск. А.О.

1917 год

258. Март — «О смысле познания». Читаю у С.М. Соловьева. Сергиев Посад.
/.../
265. Апрель — Участие в диспуте после лекции М.П. Столярова «Мир Духа». Москва
266. Май — Участие в беседе с интерес. А.О. (в помещении Общества). Москва
267. Май — «О ритмической кривой». Доклад у Григоровых. Москва
/.../
270. Сентябрь — Чтение в публичной антроп. беседе. Помещение Григоровых. Москва.
/.../
272. Октябрь — Чтение «Глоссолалии» в антропос. кружке. Москва
273. Ноябрь — Участие в беседе в А.О. Помещение О-ва. Москва
/.../
276-277. Декабрь — «Мир духа». Курс прочитанный для желающих (организован А.О.). Москва

1918 год

- 278-284, 295 [sic!] Январь-февраль — Продолжение курса «Мир духа».
276. Январь или февраль — «Свет из грядущего». Лекция, организов. А.О. Москва
/.../
300. Март — Беседа от А.О. (с интересующимися). Москва
/.../

Эпоха от июля до декабря в Антроп. О-ве.

Работа в Антропософском Обществе.

- 316-319. Июль — «Кружок мистерий». Работа над первой мистерией Штейнера, *У врат Посвящения*, в связи с семинарием по антропософскому материалу, очень много давшая; отмечаю, потому что приходилось *готовиться* к собраниям кружка; участники: М.В. Сабашникова, К.Н. Васильева, М.П. Столяров, я. Москва

- 320-323. Август — «Кружок Мистерий».
324. Сентябрь — «Кружок Мистерий».
- 325-326. Октябрь — «Кружок Мистерий».
- 327-329. Ноябрь — «Кружок Мистерий».
- 330-333. Декабрь — «Кружок Мистерий».
334. Август — Ряд организац. заседаний инициативного антропос. Кружка. Москва
335. Сентябрь — Заседания инициативного Кружка А.О. Москва
336. Сентябрь — «О многообразии антропософских путей». В антроп. Кружке Сабашниковой. Москва
337. Сентябрь — «Мировые мысли, чувство и воля». Для членов А.О. Москва
338. Октябрь — Участие в беседе антропософов с интересующимися А.О. Москва
339. Октябрь — «О живоносном импульсе европейской культуры». Лекция для интересующихся, в помещении Ант. О-ва. Москва
340. Ноябрь — «О Короне любви и Мистерии смерти». Лекция для интересующихся, в помещ. Антр. О-ва. Москва
341. Декабрь — «Зимнее странствие и полуночное солнце». Лекция для интерес., в помещ. Антр. О-ва. Москва

/.../

(в конце года безумное переутомление)

1919 год

/.../

Работа в Антропос. О-ве

- 453-454. Январь — «Кружок Мистерий». Антропософский семинарий разбора мистерии «У врат посвящения» Штейнера. Антр. О-во. Москва
- 455-456. Февраль — «Кружок Мистерий».
- 457-458. Март — «Кружок Мистерий».
- 459-460. Апрель — «Кружок Мистерий».
- 461-462. Август — «Кружок Мистерий». Семинарий разбора 2-ой мистерии Штейнера. Москва.
- 463-464. Сентябрь — «Кружок Мистерий».
465. Январь — Выступление на заседании Антроп. О-ва. Новогоднее. Москва
- 466-467. Не помню
месяца — Беседа на заседании членов Совета Антропософского О-ва. Москва
468. Август — Выступление на заседании Антр. О-ва (инцидент с Сизовым). Москва
469. Май — Лекция по Антропософии для интересующихся. Карачев

- 470-471. Июнь — Лекция по Антропософии для интересующихся. Карачев
 473-474. Сентябрь — «Антропософия». Курс для интересующихся при Антропософском Обществе. Москва
 475-478. Октябрь — «Антропософия».
 479-482. Ноябрь — «Антропософия».
 483-486. Декабрь — «Антропософия».
 /.../

1920 год

- /.../
 572. Май 15 — «Антропософия, как путь самопознания». Курс лекций при В[ольной] Ф[илософской] А[ссоциации]. Петербург.
 573. Май 22 — «Антропософия...»
 574. Июнь 2 — «Антропософия...»
 575. Июнь 5 — «Антропософия...»
 576. Июнь 12 — «Антропософия...»
 577. Июнь 19 — «Антропософия...»
 578. Июнь 23 — «Антропософия...»
 579. Июнь 25 — «Антропософия...»
 580. Июнь 30 — «Антропософия...»
 /.../

Работа для Антропософского Общества

625. Июль 15 — «Культуры и расы». Лекция в Антр. Обществе. Москва
 626. Июль 21 — «Культура и история». Лекция в Антр. Обществе. Москва
 627. Август — Участие в диспуте после лекции Столярова от А.О. [на тему «Хлеб жизни», в помещении «Дворца Искусств»]. Москва
 628. Август 25 — Публичная лекция в Полит. Музее «Кризис сознания и Лев Толстой». Москва
 629. Сентябрь — Публичная лекция в Политехн. Музее «Две стихии в современном христианстве». Москва
 630. Октябрь 16 — «Свет и тьма». Лекция от А.О., в помещении «Дворца Искусств». Москва
 631. Октябрь 19 — «Человек и человечество». Лекция от А.О., там же.
 632. Ноябрь 3 — «Антропософия». Лекция от А.О., там же.
 633. Ноябрь 13 — «Рудольф Штейнер». Лекция от А.О., там же.
 634. Ноябрь 25 — «Иоанново Здание». Лекция от А.О., там же.
 635. Ноябрь 27 — «Миф нашей жизни». Публичная лекция в аудитории Политехн. Музея. Прения. Москва

635. Декабрь 9 — Председательствую на беседе М.П. Столярова от А.О., в помещ. «Дв. Иск.». Участвую в прениях. Москва
636. Октябрь-Декабрь — Принимаю участие на интимных собраниях членов Совета А.О. (не помню на скольких). Москва

/.../

1921 год

/.../

Работа в Антроп. Обществе

653. Март — «Антропософия и христианство». Лекция в А.О. Москва
654. Март — Собеседование и прения в группе антроп. по отделению от Григорова. Москва
655. Март — Дебаты в будущей Антр. Группе «Ломоносова» по отделению. Москва
656. Апрель — Пишу доклад в Москву о программе работ Ломоносовской Группы. Петербург
657. Сентябрь — Прения в инициат. ядре Лом. Группы. Москва
658. Сентябрь — Семинарий по «Как достигнуть» в иниц. ядре Лом. Группы. Москва
659. Июль — Семинарий в Петерб. группе антр. у Сабашниковой. Беседа. Петербург
660. Август — Семинарий в Петерб. группе антр. у Сабашниковой. Беседа. Петербург
661. Сентябрь — Беседа в Ломон. Группе А.О. по «Как достигнуть». Москва
662. Октябрь — Организац. беседа с Григоровым в Лом. Группе. Прения. Москва
663. Октябрь — Семинарий по «Как достигнуть» в Лом. Группе. Беседа. Москва
664. Октябрь — Беседа в Ломон. Группе по «Как достигнуть». Москва

/.../

Память моя ослабела, и может быть в перечне есть ошибки (пропуски, или неверная отметка месяцев)

/.../

688. Июль — Прения на тему «Антропософия» (интимное заседание [В.Ф.А.] у меня). Петербург

/.../

1922 год

/.../

727. Апрель — «Об антропософии» в «Доме Искусств». Берлин

728. Апрель — Выступление на тему «Эвритмия», там же.
/.../
746. Май — Мой доклад «Антропософия в проблеме культуры». В.Ф.А. Берлин
/.../
749. Февраль — Беседа у «Скифов» (о приглашении Штейнера). Берлин.
/.../

1923 год

- /.../
773. Март — Чтение моего ответа Лейзегангу и беседа по этому поводу (у Горького)*. Саров
/.../

1924 год

779. Январь — «О мировых мыслях, чувствах, воле». Друзьям. Москва
/.../
795. Фев.26 — Беседа на тему «Проблема культуры». С интересующимися. Киев
796. Фев.27 — Беседа на тему «Философия духа». С интересующимися. Киев
/.../
813. Июнь — «Композиция Евангелия». Чтение у Волошина. Коктебель
/.../
834-836. Ноябрь — Кружок по миросозерцанию. Прения. Москва
837-839. Декабрь — Кружок по миросозерцанию. Прения. Москва
/.../

1925 год

- /.../
852. Апрель — Воспоминания о Штейнере. Друзьям. Москва
853. Апрель — Воспоминания о Штейнере. У Чехова. Москва
/.../
860. Июль — Беседа на тему дух. культуры. У Столярова. Обираловка
/.../
870. Декабрь — Беседа на тему «Средневековая схоластика». С друзьями. Москва

* Имеется в виду: Андрей Белый. АНТРОПОСОФИЯ И Д-Р ГАНС ЛЕЙЗЕ-ГАНГ. — «Беседа», 1923/2 (июль-август), с.378-392; датировано: Гарцбург, 26 мая 23 года. Ответ Белого на статью Лейзеганга об антропософии опубликован в первом номере «Беседы», с.236-263.

871. Декабрь — Чтение на тему «Чтение Павла об оправдании верою». Москва
- 872-875. Октябрь — «История становления самосозн[ающей] души». Курс лекций по истории культуры. У М.А. Чехова. Москва

1926 год

- 876-877. Январь — «История становления и т.д.»
- 878-879. Февраль — «История становления...»
- 880-881. Март — «История становления...»
- 882-883. Апрель — «История становления...»
884. Февраль — Семинарий и беседа с разглядом историч. схем. Друзьям. Москва
- 885-886. Май — «О душе самосознающей». Доклад. Ленинград
887. Май — Прения на докладе Евгения Иванова «Об Евангелии Иоанна». У Каплун. Ленинград
- 888-890. Июнь — Чтение из моей книги «История становления». У С.Г. Спасской. Ленинград
- /.../
893. Июнь — Беседа с друзьями у Великановой. Ленинград
894. Ноябрь — Чтение из книги «Воспоминания о Штейнере». Москва
- 895-896. Декабрь — Чтение из книги «Воспоминания о Штейнере». Москва

1927 год

897. Январь — «Штейнер, как христианин». Друзьям. Москва
- /.../
903. Март — Беседа на тему о внутреннем внимании. У Чехова. Москва
904. Март — Чтение «интимной рукописи». У Чехова. Москва
905. Март — Беседа о Фантоме и 5-ом Евангелии. Для друзей. Москва
906. Март — Чтение «интимной рукописи». У Чехова. Москва
- /.../

1928 год

- /.../
921. Апрель — «Принцип ритма». Доклад друзьям. Москва
922. Сентябрь — Беседа с друзьями на тему «О материализме и диалектике». Москва
923. Сентябрь 29 — Беседа на тему «Память, как меч Интеллекта». Москва
- /.../

ИЗ «МАТЕРИАЛОВ К БИОГРАФИИ»:
ОТРЫВКИ КРАТКИХ ЗАПИСЕЙ И ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА*

Осень [1918 года]

Участвую в антропос. кружках: Кружок «Сознания», «Кружок по изучению мистерий», «Инициативный кружок» (для работ О-ва).

Короткое время служу в Русском Архиве, помощником архивиста, отказываюсь от профессуры; занимаюсь палеографией; служу у проф. Ардашева: разбираю бумаги Архива Воронежской Судебной Палаты.

Осенью пишу «Кризис Культуры»; одновременно дописываю и перерабатываю «Записки Чудака».

Читаю в антр. О-ве лекции: «О живоносном импульсе европейск. культуры», «Венец Любви», «Зимнее Странствие»; читаю открытую лекцию в Пролет-Культе: «Стиховедение».

Одновременно: с осени поступаю на службу в «Пролет-Культ»: мои функции а) консультант по проблемам формы; б) руководитель этих проблем в семинариях литер. студии; в) лектор: читаю курс по ритмике; г) чтение поступающих рукописей; е) прием в *Пролет-Культ* и беседа с начинающими авторами.

Поступаю на службу в Тео-Наркомпроса к О.Д. Каменевой: а) член коллегии Отдела; б) заведующий Научно-теоретической секцией (сверхсрочная служба): организация плана работ, заседаний, созыв сотрудников, распредел. занятий; и — прочее; в частности: мне принадлежит руководство при выработке плана «Театрального Университета» и составление программы преподавания теор. курсов (проект прошел сквозь Наркомпрос). Скоро покидаю Отдел (по своей воле).

Переутомление.

1919 год

1) Курс в Пролеткульте: «Теория Худ. Слова» (до мая). 2) Участие в журнале «Горн». 3) Участие в организации «Академии Философской» (будущей — «Вольно-Филос.-Ассоциации»).

Участие в «Союзе Писателей» и в подготовке к организации Литер. Отдела при Наркомпросе (выбран группой писателей и поэтов председателем будущего «Лито», который возник через 1 1/2 лишь совсем в другом виде; с другими участниками).

С весны до осени: заново переработка и расширение новым материалом двух томов «Путевые Заметки».

* Сохранены все особенности текста Белого, такие как непоследовательность в написании названий, иногда устаревшая орфография, сокращения, подчеркивания (выделены курсивом) и т.д.

Участие в заседаниях и беседах, организуемых «Дворцом Искусств». Лекция в Дворце Искусств: «Культура Истории».

Усиленное чтение литературы, посвященной ренессансу.

Осенью: конфликт с Григоровыми и Сизовым из-за метода ведения занятий в Антр. О-ве, которого я стал членом Совета (с 1917 года); оппозиция будущей группы имени «Ломоносова» Григоровым.

Короткое время заведу курсами «Дворца Искусств»; приглашен в коллегия будущего «Лито», но — отказался.

С сентября до марта 1919-1920 годов служу в «Отделе Охраны Памятн. Старины»; по поручению Отдела собираю материалы по истории революц. коллекций во Франции (эпохи Вел. Рев.); прочитываю огромное количество спец. книг по коллекциям; изучаю историю фр. культуры и «Вел. Фр. Революцию» (Тэн, Жорес, Карлейль, Олар, и др., газета «Mopiteug» за 1792-1794 года: от доски до доски) и т.д. Собираю груды материала, который лежит не использованный; это кропотливое собирание отнимает все время.

Читаю курс лекций в антр. О-ве: «Путь самопознания».

До этого времени прод. «Кружок Изучения Мистерий» с 1918 года. Сотрудничаю в «Записках Мечтателей» (статья).

1920 год

Начало года: 1) Принимаю участие в орган. «Академии Дух. Культуры»; читаю там 2 лекции. 2) Читаю 6 лекций в «Дворце Искусств»: «Культура Мысли».

Хлопочу об отъезде за границу.

Переезжаю в Ленинград; здесь все время очень кипучая деятельность по организации бесед, лекций, митингов (публичных) «Вольно-Филос.-Ассоциации», а также по организации закрытых курсов ассоциации (*sui generis* Университета); состою членом совета и председателем Ассоциации. Здесь читаю лекции: «Философия Культуры», «Лев Толстой и йога», «Ветхий и Новый Завет», [веду заседания], участвую в беседах, в «Совете» и прочитываю два курса лекций: «Культура мысли», «Антропософия, как путь самопознания».

Кроме того: читаю курс лекций в студии «Дома Искусств» (ленинградского) «Проблемы ритма».

Читаю отдельные лекции в «Доме Искусств», в ленинградском «Пролеткульте».

Принимаю участие в выработке плана занятий на осеннем семестре «Института Живого Слова», куда я приглашен в преподаватели (участие не состоялось за отъездом в Москву).

Принимаю участие в выработке плана «Института Театр. Знаний», куда меня выбрали председ. научно-теор. секции (Институт — не открылся).

Пять месяцев — сплошная лекционная и организационная работа.

Уезжаю в Москву в июле; здесь: в «Дворце Искусств» принимаю участие в организации Археол. Отдела, которого заведующим я назначен;

приним. участие в Совете «Дворца» и в библиотечных делах. Читаю лекции в литер. студии; участвую в ряде публ. бесед «Дворца».

Осенью пишу две книги: «Кризис Сознания» (рукопись ненапечатана), «Лев Толстой и культура» (ненапечатана).

С ноября до конца декабря пишу «Преступление Николая Летаева» (черновик, 4 больших главы).

Читаю курс лекций в литер. Студии «Лито»: «Ритмика» (раз в неделю); читаю в антропософском кружке; читаю лекции во «Дв. Иск.»: 1) «Антропология» 2) «Свет и Тьма» 3) «Антропософия» 4) «Рудольф Штейнер» 5) «Иоанново Здание»; и публ. лекции в Полит. Музее «Миф нашей жизни», «Евангелисты», «Лев Толстой».

Падаю — ушиб: отвозят в больницу, где нахожусь до марта 1921 года.

1921 год

В конце февраля ряд литер. выступлений (прямо из больницы); лекция-вечер в «Доме Печати».

Еду в Ленинград: опять организац. работа в «Вольно-Фил.-Асс.»: участие в лекциях, беседах, митингах; организация подотделов В.Ф.А.;веду подотдел «символизма»: еженедельные заседания, показат. выступления: читаю 2 лекции, устроенные подотделом: «Символизм», «Символизм и теория знания». На общем заседании В.Ф.А. читаю лекцию: «О максимализме».

Кроме того: поступаю в Лен. Отд. «Наркоминдела» помощником библиотекаря: мои занятия: участие в организации отделов библиотеки, разметка книг по десятичной системе и т.д.; с середины июня получаю отпуск; это — моя последняя «служба»...

Участвую в «Записках Мечтателей».

Пишу поэму «Первое Свидание».

Отделываю к печати первую главу (из 4х) «Преступления Николая Летаева», значительно увеличив ее; она и выход. под этим названием в «Зап. Мечт.» (прочий материал — не использован мной).

Осенью умирает Блок.

Читаю о Блоке в 3х заседаниях (открытых) В.Ф.А.; в 1ом «Поэзия Блока»; в 2х других — «Воспоминания» (стенограмма напеч. в «Зап. Мечт.»).

Начинаю писать «Воспоминания о Блоке».

Уезжаю в Москву хлопотать об отъезде.

Здесь, среди предъотъездных хлопот приним. уч. в организации Моск. Отдел. «Вольфины» (выбран его председ., как председатель «Вольфины»). Читаю лекцию при открытии подотдела: «Достоевский». Участвую в публ. засед.: «Скифы о Блоке» (Штейнберг, Иван.-Раз., я, Мстиславский, и др.).

В октябре уезжаю за границу.

В Ковно читаю 3 лекции: 2 — о слове в открытом засед. О-ва Литовских Художников; и одну — в ковенском театре «О Льве Толстом».

С конца ноября до конца октября 23 года — в Берлине.

В конце года организую берлинский отдел «Вольн.-Фил.-Ассоц.» (председатель).

Принимаю уч. в организации берлинского «Дома Искусств» (член совета).

1922 год

Весь год пишу «Воспоминания о Блоке» («Эпопея» NN 1-4ый).

Пишу книгу стихов «После разлуки».

Перерабатываю к новому изд. роман «Петербург»; переиздаю ряд книг. Сотрудничаю в журнале «Совр. Записки», в газете «Голос России» и в журнале проф. Яценко «[Новая Русская] Книга».

Редактирую литер. худ. журнал «Эпопея». Принимаю деят. участие в вечерах и беседах, устраиваемых «Берл. Домом Искусств». Читаю в нем публичную лекцию на тему — кажется: «О духе жизни в России».

Пишу статью для журнала «Der Kommende Tag» «Anthroposophie und Russland».

Пишу брошюру для «Эпохи»: «Мое мировоззрение» (осталась ненапечатанной); подготовлю к изданию собрание «Избранных стихотворений».

Пишу текст воззвания группы русско-немецких художников о помощи голодающим в России, а также текст адреса Гергардту Гауптману от русских писателей (по поводу юбилея). Читаю лекцию в В.Ф.А. на тему: «Ритм культур». С осени 1922 года участвую в «Клубе писателей».

1923 год

С января до июля старательнейше перерабатываю материал «Воспоминания о Блоке» в 3 тома «Начала Века» (ненапечатаны: 75 печ. листов). [Пишу в газете «Дни». *] Принимаю участие в организации журнала «Беседа» (с М. Горьким); сотрудничаю в «Беседе».

В конце октября возвращаюсь в Москву.

Конец года усиленно работаю над материалом версификации у Блока; собираю материал по ритмике «трехдольников» (материал где-то затерялся).

1924 год

Читаю публичные лекции в Москве: «Страна теней», «Поэзия Блока»; повторяю их в Ленинграде; потом лекцию о Блоке повторяю в Киеве; в Киеве же читаю публ. лекцию: «Ритм жизни и современность» (вышла брошюрой в «Ленгизе»); повторяю лекцию о Блоке в О-ве Железнодорожников; читаю небол. кружку любителей Блока 3 лекции об образных мифах у Блока; читаю доклад о ритмике Блока в кружке поэтов.

Сотрудничаю в журнале «Россия».

* Фраза густо зачеркнута в рукописи.

Перерабатываю «Петербург» в драму «Гибель сенатора»; участвую в орган. беседах режиссуры Мхата 2го, касающихся стиля постановки драмы.

Читаю осенью 24 года лекцию на тему: «Худ. идеология Блока».

Пишу статью: «Воспоминания о Брюсове».

В конце года начинаю писать роман «Москва».

1925 год

Читаю лекцию в «Академии Худож. Наук» на тему: «Пушкин и мы».

Пишу статью: «М.О. Гершензон».

Беседы с артистами «Мхата» 2го.

Лекции в Киеве («Коммунистический Дом Искусства») — на темы: «Культура Слова», «Поэзия Пушкина». Лекция в театральной студии «Петрушка»: «Пушкин». Беседа на тему: «Проблема слова».

До октября упорно работаю над романом «Москва» и заканчиваю его (25 печ. листов).

Октябрь — приним. участие в репетициях «Мхата» 2го.: «Петербург» идет в ноябре.

Перерабатываю «Пепел» для «Круга» (издание — откладывается, как все для меня в период 1923-1926 годы).

1926 год

Пишу для себя самого сочинение 1) «История становления самосознающей души в пяти последних столетиях». Сочинение вчерне закончено: складываю его в письменный стол.

2) Пишу вчерне книгу воспоминаний о Штейнере.

3) Переделал 1ый том «Москвы» в драму.

1927 год

Пишу усиленно «Дневник». Перерабатываю (для спирали) драму «Москва»; усиленно работаю летом над ритмом; осенью и зимой пишу книгу: «Ритм как проблема и "Медный Всадник"». Курс о слове в Театре Мейерхольда.

К 27 году: читаю две публичн. лекции в Тифлисе и одну в тифл. «Дворце Искусств». Читаю реферат о ритме у Никитиной и реферат о Символизме в «Доме Просвещения». Пишу книгу: «Ритмический жест и "Медный Всадник"» (октябрь-декабрь).

В 1928 году: 1) Пишу книгу «Кавказские впечатления» (январь-февраль). 2) Пишу «Почему я стал символистом» (март-апрель). Пишу статью «О принципе ритма». 3) Пишу очерк «Армения» (июнь, Сачхери). 4) Записываю в «Дневник» Университетские воспоминания и мысли о Каджорах (Каджоры, июль-август).

[Далее следует «Список написанного (неполный)»]

(ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.98)

ANNEX

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абрикосов, свящ. 12
 бл. Августин 155, 156, 211, 212, 230, 330
 Аверинцев С.С. 332
 Аверкиев Д.В. 250
 Агарков М.М. 49
 Агриппина, послушница 90
 Александр, еп. 75
 о.Александр (Гумановский) 117, 131, 132, 138-141
 Александр Невский, кн. 116
 Алексеев П.И. 49
 Алексеева (урожд. Голдобина) Е. М. 354
 Алексей, царевич 242-244
 Алексей, митр. 34
 о.Алексий, иеромонах 37
 о.Алексий, старец 107-109, 112-117, 124, 126-132, 134, 135
 Аллой В.Е. 239, 294-325
 д'Альвейдр (Saint Yves d'Alveydre J.-A.) 450, 451, 456, 463
 д'Альгеймы, семья 337
 Аммоний Сакк 172, 174, 211
 Анаксагор 167, 460
 Анаксимандр 167, 175, 460
 Анаксимен 460
 о.Анатолий, старец 113
 Андреев А.И. 380-405
 Андреев Л.Н. 378
 Андреевский И.М. 354, 364-366
- Андрей (Ухтомский), еп. 63, 68-70, 72
 Андроник, еп. 33
 Анисимова В.О. 477
 Аничков Н.М. 269, 271, 273
 Анна Григорьевна, прихожанка дивеевской церкви 138
 Антоний (Храповицкий), митр. 36, 37
 Антоний (Вадковский), еп. 283, 381
 Антонин, еп. 75
 Антонов Н.Р. 378
 Анфия, монахиня 69
 Ардашев, проф. 484
 Арди Ю., журн. 398
 Аренсон, теософ 471
 Аристотель 158, 160, 164-169, 177, 178, 181-191, 193-195, 201-204, 208, 212, 214, 218, 219, 228-230, 353
 Арсений (Стадницкий), архиеп. 34, 36-38, 66-68, 72, 80
 Арсеньев Н.С. 346
 Арцыбушев А.П. 106, 109, 118, 136, 142, 145, 146
 Арцыбушев М.П. 143
 Арцыбушев П.М. 131
 Арцыбушев П.П. 108-110, 112, 113, 121, 132, 138, 145
 Арцыбушев П.П. 109

* Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Арцыбушев С.П. 109, 119, 143, 145
- Арцыбушева Е.Ю. 109, 114, 119, 120, 137, 138, 145
- Арцыбушева Т.А. 106-147
- *Аскольдов (Алексеев) С.А. 10, 352-355, 356-377, 378, 379
- Астров П., чл. МРФО 347
- *Ахматова (Горенко) А.А. 47, 355, 362, 363
- Баадер Ф.К., фон 330
- Бадмаев Н.Н. 398
- Бадмаев П.А. 384, 387, 398
- Бадмажапов Ц. 391
- Базилевский Ю., ссыльный 63
- Байль П. 181
- Бальзак О. де 266
- Бальмонт К.Д. 450
- Барадийн Б.В. 389, 395, 398
- Баранова-Шестова Н.Л. 151, 153, 230
- Барановский Г.В. 385, 387, 389, 391, 392
- Баратынский Е.А. 358
- Барботкин Д.И. 52, 54, 61
- Батюшков К.Н. 358
- Батюшков П.Н. 450, 454-458, 461
- Бауэр, антроп. 413, 416, 429, 433, 434, 440, 445, 470
- Бах И.-С. 474, 475
- Бахтин М.М. 152, 230
- Безант (Besant) А. 330, 435, 449, 451, 454, 455, 458, 462
- Белевицкий С., ученик Франка 17
- Белинский В.Г. 9
- Белов С.В. 236, 293
- *Белый А. (Бугаев Б.Н.) 8, 12, 15, 299, 308, 322, 326-328, 329-351, 355, 374, 379, 409-488
- Бентам И. 23
- Бенуа А.Н. 295
- Берберова Н.Н. 326
- Бергенгрюн Т.А. 418
- Бергсон А. 321, 353, 355, 371, 372
- Бердяев Н.А. 8-12, 14, 248, 294-296, 297-324, 325, 327, 329-340, 342-348, 351, 352, 428, 464, 465, 467
- Берзен Р.А. 389
- Беркович Э., ученик Франка 17
- Берлин Л.Е. 382
- св. Бернард Клервосский 155, 156
- Бернбаум (Bernbaum) Э. 384
- Бетховен Л. ван 434
- Бёме Я. 469, 470
- Блаватская Е.П. (Blavatsky H.P.) 449, 451-456, 459, 462-464
- Благовещенская М.П. 369
- Блок А.А. 36, 49, 295, 326, 328, 340, 344, 355, 374, 452, 458, 460, 461, 486-488
- Блуа Л. 330
- Бобрыкин П.Д. 327
- Бобринский, ссыльный 60
- Богданов М.Н. 389
- Богдо-хан монгольский 391, 392, 394
- Богомолы, сестры 16
- Болдырев Д.В. 45
- о. Борис (Забавин) 75
- *Босх (Бос ван Акен) Х. 420
- Боян-Чулган 397
- Бреславец А.И. 380, 397
- Бругман К. 460
- Бруно Дж. 364
- Брюсов В.Я. 344, 349, 488
- Бугаева А.Д. 434
- Бугаева (урожд. Алексеева) К.Н. 326, 327, 433, 434, 476-478
- Будда 470
- Булгаков С.Н. 7-10, 14, 15, 27, 35, 40, 235-237, 239, 246-248, 249-257, 282, 287, 288, 294, 309-311, 316, 318, 327, 331, 339-352, 358, 428
- Булгаков Ф.И. 265-267
- Бутру Э. 454
- Бутягин М.П. 264
- Бухарин Н.И. 23
- Бычков А.Ф. 269, 271
- Вавилов С.И. 364
- Вагнер Р. 440
- Вайнштейн Г.И. 400

- Валлер (Waller) М. 429
 Вальтер (Walter) К. 470, 471
 Вампилов Б., журн. 399
 Варлаам, архим. 381
 Васнецов В.М. 250
 Введенский А.И. 378
 Великанова, антроп. 483
 Вениамин, митр. 33
 Вениамин (Троицкий), архим. 69-71, 89
 Вера, сестра Н.Ю. Фиолетовой 85, 97
 Верлен П. 330
 Вернадский В.И. 12
 Вернадский Г.В. 12
 Винавер А.М. 55, 61
 Виноградов А.К. 363
 Виноградов Н.Д. 55, 61
 Витте С.Ю. 269, 271, 273
 Вишневский Н.Е. 387
 Владимир, митр. 33, 37, 38
 о. Владимир, елецкий свящ. 112, 124
 о. Владимир (Богданов) 117, 118, 124
 Владимир (Путята), архиеп. 82
 Владимирцов Б.Я. 398
 Власенко Б.М. 71
 Водозов В.В. 312, 316
 Волгин В.П. 400
 Волкова, владелица книжн. магазина 251
 Волошин М.А. 374, 482
 Волошина (урожд. Сабашникова) М.В. 418, 441, 457, 466, 473-475, 478, 479, 481
 Вольтер (Аруз М.Ф.) 181
 Вольфрам, антроп. 430
 Вольнский А.Л. 263
 Востоков, свящ. 346
 Вронский (Hoene-Wronski J.-M.) 450, 457, 463
 Вышеславцев Б.П. 332
 Вышнеградский Н.А. 293
 Габаев Г.С. 369
 Гаврилов, экономист 99, 103, 104
 Галактионова Е.И. 118, 136
 Галактионова М.И. 118
 Галлиен, имп. 157
 Гамсун К. 369
 Гарнак А. 31
 Гартман Э. 352, 451
 Гарэтто Э. 235-293
 Гауптман Г. 487
 Гегель Г.В.Ф. 153, 154, 180, 218, 231, 321, 353
 Гейне Г. 363
 Гелло Э. 329
 Гельдерлин Ф. 470
 Гераклит 174, 185, 186, 460
 Герасимова К.М. 395
 Гермоген, еп. 20, 21
 Гершензон М.О. 327, 338, 343, 349, 488
 Гете И.В. 362, 368, 369, 421, 426-428, 440
 Герцен А.И. 333, 363
 Герцык Е.К. 336
 Гёш (Gösch) Г. 415, 418, 430
 Гидулянов П.В. 24
 Гиппиус З.Н. 239, 240, 242, 244-247, 294-325, 344, 345
 Гиппиус Н.Н. 298, 299
 Гиппиус Т.Н. 298, 299
 Глинка М.И. 370
 Глинка (*Волжский) А.С. 238, 239, 248, 251-253, 255-257, 289-293, 359, 361
 Глубоковский Н.Н. 238
 Гоголь Н.В. 15, 263, 282
 Голицын Н.Д., кн. 28
 Голицына (урожд. Трубецкая) В. П. 28
 Голлербах Э.Ф. 263, 267
 Голсуорси Д. 375
 Гольдовский, книжный агент 270
 Гончаров И.А. 284
 Гончарова А.С. 449, 454, 457
 Горвиц С., переводчик 378
 Гордин В.Н. 316
 Гормаев, ширетуй 387
 *Горький А. (Пешков А.М.) 295, 326, 355, 358, 482, 487

- Гревс И.М. 375, 376
 Григ Э. 370
 св. Григорий Богослов 95
 Григоров Б.П. 473-478, 481, 485
 Гримм Г. 470
 Гроссман Л.П. 238, 271
 Грузинская, знакомая Мережков-
 ских 318, 320, 324
 Губерген М. ван 151-231
 Гуно Ш. 362
 о.Гурий, саровский свящ. 135-
 139, 141
 Гуссерль Э. 151
 Гюисманс Ж.К. 329, 330, 333, 337
 Гюэйт (Guaita St. de) 450, 463
- Далай-лама XIII 383-387, 391,
 397-400, 402, 404
 Данте Алигьери 368
 Даргомыжский А.С. 370
 Дейссен (Deussen P.) 450, 459-461
 Декарт Р. 228
 Демокрит 460
 Джемс У. (James W.) 321
 Джинс Дж.Х. 364, 366
 Джоберти В. 15
 Джонстон В. 453
 Диккенс Ч. 266, 373
 Дмитрий Донской, кн. 34
 Добкин А.И. 352-379
 Добролюбов Н.А. 369
 Добронравов, свящ. 346
 Добротворская С.Ф. 13
 Долинин А.С. 238, 379
 Доржен Ханда 394
 Доржиев А.Л. 382-389, 391, 401,
 402-405
 Достоевская (урожд. Сниткина)
 А.Г. 235-257, 258-293
 Достоевская Л.Ф. 261, 274, 275,
 279, 282
 Достоевский Ф.М. 152, 226-230,
 235-293, 308, 353, 367, 369, 379,
 486
 Достоевский Ф.Ф. 274, 275, 279,
 281, 290, 293
 Драчевский Д.В. 387
- Дурылин С.Н. 15, 16
 Дунаевский И.О. 374
 Дылыков С.Д. 380, 397, 399, 400
- *Евгеньев-Максимов В. (Максимов
 В.Е.) 242
 Евсевий П. 31
 Евтихий И.И. 49
 Екатерина II, имп. 394
 Емельянов Н.В. 78, 79
- Жамцарано Ц. 398
 Желиховская В.П. 453
 Жемчужникова А.Н. 60, 61
 Жерар Ш.Ф. 152
 Жигжитов С.Ж. 395
 Жимбиев Д. 399
 Жорес Ж. 485
- Занхатов Р. 391
 Захаров В.И. 288
 Зелигер, антроп. 471
 Зенон (Zeno) 179, 460
 Зеньковский В.В. 11
 Зиновия, монахиня 69
 *Зиновьев (Радомысльский Г.Е.)
 17, 396
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. 309, 316
 Зодбоев Б. 398
 Золотарев А.А. 352, 354-379
 Зопир 183
 Зосима, монахиня 69
- Ибсен Г. 8
 Иванов В.И. 12, 15, 298, 328, 344,
 355, 371, 450, 459, 462, 464-466,
 468
 Иванов Г.П. 17
 Иванов Е.П. 483
 *Иванов-Разумник (Иванов Р.В.)
 427, 434, 436, 438, 449, 452, 486
 Игнатий (Брянчанинов), еп. 110
 Извольский А.П. 385
 о.Илия (Громогласов) 75, 347
 Ильин И.А. 332
 Ильюнина Л.А. 239

- Илья Ильич, домохозяин Асколь-
дова 357, 371
Иоанн Богослов 330
св. Иоанн от Креста 155
Иоанн, еп. 70, 71
о.Иоанн (Звездинский) 143
Иоанн, митр. Тобольский 91
св. Исаак Сирин 450, 457
Исаев, домовладелец 404, 405
Исаева Е.И. 386
Исайя, пророк 194
Итилегов Д.Д. 394, 395
- *Каверин (Зильбер) В.А. 405
Калькрейт (Kalchreuth) Р. 429
Каменева О.Д. 484
Кант И. 15, 26, 95, 153, 154, 222-
224, 228, 229, 331, 352, 353, 359,
456, 462, 477, 478
Кантор Г. 61
Каплун, антроп. 483
Карахан (Караханян) Л.М. 396,
397
- *Кардэк А. (Rivail H.L.D.) 449,
453
Карлейль Т. 485
Карлсон М. 328
Карташев А.В. 34, 298, 299, 318
Карсавин Л.П. 11, 332
Катанский Л., журн. 381
Кейдан В. 7-13
Керенский А.Ф. 33
Кечекьян С.Ф. 23, 24, 49, 50, 89
Кильчевский В.А. 82
Кириков Б.М. 389
Кирилл, архиеп. 39
Киселев Н.Н. 427, 467
- *К.К. 12
Клейнер С., переводчик 378
Клеменц Д.А. 383
Ключников Ю.В. 23
Кобак А.В. 380
Коген Г. 329, 360, 462
Кожевников, чл. МРФО 347
Кожушко А., медсестра 64
Козин С.А. 400
Козлов А.А. 352, 353, 379
- Козлов П.К. 383, 391, 394
Колчак А.В. 43, 45
Комаревская И.М. 85
Комаревский В.М. 52, 53, 61, 62,
67, 85, 88, 91, 95, 99, 102, 103
Кони А.Ф. 263, 269, 273
Корнилов, аспирант 50
Котвич В.Л. 387, 398
Кохманская, теософка 450, 456,
457
Краснокутский В.А. 55, 61, 71
о.Кронид, наместник Лавры 130
Круглов А.В. 267
Крупп Ф. 15, 26
Ксенофонт 168
Кузанский Н. 62
Кузмин М.А. 309, 316
Кузнецов Н.Д. 94
Кузьмин-Караваев В.Д. 332
Куликов М., послушник 69
Куликов Н., послушник 69
Кьеркегор С. 8, 152
- Лакан Ж. 152
Лао-Дзы 452
Лапшин И.И. 378
Ларошфуко Ф. 181
Лассаль Ф. 369
Лебедев П.В. 17, 50
Лев XIII, папа 24
- *Леви (Lévi) Е. (Constant A.-L')
450, 451, 463
Ледбитер (Leadbeater Ch.W.) 449,
451, 454-456, 458, 462
Ледоховский, кардинал 414
Лейбниц Г.В. 166, 167, 180, 181,
231, 352, 353, 355, 359, 361
Лейзеганг Г. 482
Леман Г.А. 30, 331
Ленхарт, антроп. 470
Леонардо да Винчи 470
Леонтьев К.Н. 12
Лермонтов М.Ю. 16, 263, 356
Лёв, антроп. 414, 418
Либман О. 353
Лиль (Lille) Х. 417
Лиль-Адан В. де 329

- Липс Т. 377, 378
 Лихарев М.А. 378
 Лобек, теософ 460
 Лопатин Л.М. 8, 354, 364, 366, 379
 Лосев А.Ф. 12
 Лосский Н.О. 11, 332, 352, 353, 377, 378
 Лотце Р.Г. 352
 Лука (Войно-Ясенецкий), еп. 65-67
 Луллий Р. 330
 Львов Г.Е., кн. 39
 Лыткин, регент 82
 Лыткина В., жена Лыткина 82
 Лютославский, оккультист 415
- Маймонид М. 330, 451
 о.Макарий, келейник старца Алек-
 сия 114, 127, 128, 130
 св. Максим Исповедник 94, 95
 Макаров А.А. 393
 Максимов Д.Е. 242
 Маликов Н.А. 432
 Мальмстад Дж. 326-351, 409-488
 Мальцева Л., знакомая Фиолето-
 вых 63, 64
 Манкужапов Д. 398
 св. Мария Ангельская 12
 Мария Блаженная, монахиня 132,
 146
 Марк Аврелий 179, 183, 188, 193,
 219
 Маркион 61
 Маркс А.Ф. 258, 259
 Маркс К. 49, 330, 378
 Матвеев С., следователь 397
 Мейер А.А. 11, 12, 354
 Мейерхольд В.Э. 488
 Мейстер Экхард 156
 Мережковский Д.С. 235-237, 239,
 240-248, 249, 251, 254, 255, 294-
 325, 329-331, 335-338, 344, 345,
 378, 449, 450, 452, 462
 Метерлинк М. 329
 Метнер К.П. 427
 Метнер Н.К. 468
 Метнер Э.К. 337, 338, 421, 427,
 428, 466, 467
- Мещанинов И.И. 400
 Мид (Mead G.R.S.) 449, 451, 454,
 455, 458, 462
 Миллер О.Ф. 252, 292
 Милль Дж.С. 23, 168
 Минаев И.П. 387
 Минерт Л.К. 389-391
 *Минский (Виленкин) Н.М. 295
 Минцлова А.Р. 328, 450, 451, 460,
 462, 464-467, 471
 св. Митрофаний Воронежский 135
 Михайловский Н.К. 9
 Михайловский И.П. 66
 Могилянская М.Н. 302
 Мокиевский П.В. 356, 357, 358
 *Молотов (Скрябин) В.М. 101
 Моргенштерн М. 433
 Морозов С.Т. 14
 Морозова М.К. 9, 14, 15, 345, 428
 Мостовая Н.Н. 236
 Моцарт В.А. 371
 *Мстиславский (Масловский) С.Д.
 486
 Муромцевы, семья 66, 68
 Мюллер М. (Müller F.M.) 450,
 458, 459, 461
- Наторп П. 329, 359, 360
 Несмелов В.И. 95
 Нечаев А.П. 362, 363
 Нечаева Т.А. 362, 363
 Никандр, митр. 62, 67, 68, 78, 80
 Никитин В.А. 239
 Никитина, антроп. 488
 Николаев С.М. 260
 *Николаев Ю. (Говоруха-Отрок Ю.
 Н.) 282
 Николай, еп. Елецкий 114-117,
 123-129, 142
 Николай I, имп. 459
 Николай II, имп. 30, 383, 388, 389,
 393, 394, 463
 Никон, патриарх 68
 Нилендер, филос. 460
 Ницше Ф. 27, 152, 225-229, 329,
 330, 361, 373, 449, 452
 *Новалис (Харденберг Ф., фон) 470

- Новосадский, историк 460
Новоселов М.А. 343, 346
Норбоев Г.Д. 399
Норзунов О. 391
- Оберлэн (Auberlen С.А.) 450, 457
Обермиллер Е.Е. 398
Олар А. 485
д'Оливье Ф. (d'Olivet F.) 451, 456
Олсуфьев А.Д. 38
Ольденбург С.Ф. 382, 387, 398
Онуфрий, еп. 75, 87, 88
д'Оревилли Б. 329
Ориген 172, 211, 299, 321, 325
Остен-Дризен, бар. 286, 287, 289
Островский Н.А. 61
Очиров Б. 398
Ошанин Л., преподаватель 60
- ап. Павел 18, 119, 193, 194, 470, 483
о.Павел (Троицкий) 78, 79, 89-91, 96, 104
Павел I, имп. 246, 248
Павлова М.М. 239
Пайперс (Peipers) Ф. 471
Панкратов Ю., иподьякон 62, 71
Пантелеев Г.Ф. 259, 260, 265-267
Пантелеев П.Ф. 260, 267
- *Папюс (Encausse G.) 450, 463
Парменид 360, 460
Паскаль Б. (Pascal B.) 188, 208, 231, 373
Паскаль (Pascal Th.) 449, 454, 455
Пахомий, еп. 132, 133
Певцов М.В. 383
Пелагий 212
Перцов П.П. 241, 242, 245
ап. Петр 119
Петр, митр. 72
Петр I, имп. 31, 32, 242-244
Петровский А.С. 328, 349, 350, 425, 427, 457, 466, 467, 469, 477
Пинкус Г.Л. 396
Пирожков М.В. 246, 289, 302, 304
Писарев Д.И. 369
Писарева Е.Ф. 450, 455, 456, 461
- Пифагор 218, 451, 460
Плансон Г.А. 393
Платон 158-164, 167-171, 175, 178-180, 182-185, 187-191, 193, 195, 199, 200, 203, 207, 209, 210, 214, 221-223, 227, 231, 321, 355, 359-361, 364, 450, 456
Платон, митр. 33
Плотин (Plotin) 151-231, 353
Победоносцев К.П. 268, 269, 271-273, 276-281, 283, 293, 331
*Подгаецко-Чабров (Подгаецкий) А.А. 351
Покровский, чл.МРФО 347
Полляк (Pollac-Karlin) Р. и X. 417, 418
Полонский Б.Я. 286-289
Полонский Я.П. 287
Полторацкий Н.П. 355
Португалов В.В. 316
Порфирий 157, 167, 169, 172, 173, 183, 192
Пославский Ю.И. 52, 71
Потанин Г.Н. 383
Потемкин В.К. 401
Поццо (урожд. Тургенева) Н.А. 413, 418-420, 422-425, 429, 430, 433, 436, 437, 440, 442, 445, 467, 472
Поццо А.М. 419, 437, 438, 472
Преображенский С.П. 97
Прозоровская М., знакомая Арцыбушевой Т.А. 125, 129, 134
Прокл 172
Псевдо-Ареопagit 156
Псевдо-Дионисий 155
Пубаев Р.Е. 399
Пульман, антроп. 469, 470
Пуртова Р., знакомая Фиолетовых 63, 64
Пушкин А.С. 15, 238, 334, 356, 357, 376, 463, 488
- Радлов В.В. 382, 387, 389, 392, 393
Радлов Э.Л. 11, 379
Райф (Reif) М. 430

- Рама VI, король Сиам 393
 Рапп Е.Ю. 335, 336, 464
 Рапп Л.Ю. 306, 307, 315, 316, 336, 337
 Рафаэль С. 470
 Рачинская А.А. 462
 Рачинский Г.А. 9, 339-342, 345-351, 359, 361, 428, 462
 Ремизов А.М. 299, 344
 Ремизова (урожд. Довгелло) С.П. 298, 299
 Резерфорд Э. 364
 Рерих Н.К. 387
 Рерих Ю.Н. 400, 401
 Риккерт Г. 329, 337, 462
 Риль А. 329
 Римский-Корсаков Н.А. 357, 370
 Ришэ Ш. 454
 Роде, теософ 460
 Родзянко М.В. 34, 39
 Родионов С.К. 34
 Розанов В.В. 235, 238, 239, 248, 258-293, 294, 379
 Розанов В.В. 281, 282
 Розанова В.В. 268-273, 277, 278-281
 Розанова В.В. 268-273, 277-281
 Розанова Н.В. 271, 282
 Розанова Т.В. 239, 267-273, 277-281, 283
 Розенкрейц Х. 470
 Розмини (Rosmini-Serbati) А. 15
 Руднев, проф. 55
 Руднев А.Д. 387
 Руднев В.В. 34, 35
 Руднева В.Д. 238, 264, 267, 268, 270-272, 274-277, 279-281, 283, 285-287, 293
 Рябцев А., иподьякон 62, 63
 Савинков Б.В. 295
 Садовской Б.А. 287
 Сахаров С.И. 331
 Сведенборг (Swedenborg Е.) 450, 457, 469
 Свентицкий (Свенцицкий) В.П. 8, 318, 324, 325, 341, 346, 349, 351
 Седлецкий (Siedlecki) Ф.В. 415, 417
 Семенов А.А. 60, 61, 77, 79, 80
 Семенов-Тянь-Шаньский П.П. 384
 Семенова Л.А. 60
 Семенова О.А. 60
 Сенека 169, 187-191, 226, 231
 св. Серафим Саровский 143, 331, 354, 425, 426, 430, 448-450, 457
 Серафим (Звездинский), еп. 106, 137-147
 Серафим (Климков), архим. 106, 121-129, 131-139, 141, 142, 144
 Сергеев А.А. 352-379
 о.Сергий (Битюгов) 118, 119, 122, 124
 св. Сергий Радонежский 34, 100, 119
 Сергий (Страгородский), митр. 35, 67-75, 82, 106
 Сизов М.И. 328, 467, 479, 485
 Сизова А.В. 476
 о.Симон (Кожухов) 112
 Синнет (Sinneth А.Р.) 449, 451, 455
 Скворода Г.С. 10, 335, 365, 366
 Скрябин А.Н. 351, 370
 Слепцов А.А. 369, 370
 Случевский К.К. 250
 Смирнова-Сазонова С.И. 236
 Соколов Б.М. 49
 Сократ 162-164, 167-170, 174, 178, 183, 184, 186, 187, 190-192, 195, 199, 210, 214, 227, 357, 362, 470
 Соктоев, ширетуй 387
 Соловьев В.С. 8-10, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 66, 76, 250, 256, 257, 310, 330, 341, 352, 353, 355, 358, 361, 363, 366, 367, 378, 379, 457, 460, 461, 471
 Соловьев Вс.С. 449, 450, 453
 Соловьев С.М. 428, 478
 *Сологуб (Тетерников) Ф.К. 344
 Софья Михайловна, знакомая Арцыбушевой Т.А. 125, 127, 142
 Спасская С.Г. 483
 Сперанский А.В. 132, 135, 136

- *Сталин (Джугашвили) И.В. 101
 Спиноза Б. 181, 228
 Станкевич А.И. 282
 Стасюлевич М.М. 285
- *Стендаль (Бейль А.) 363
 Степун Ф.А. 9, 12
 Столыпин П.А. 382, 385, 386, 388, 389
 Столяров М.П. 473-475, 478, 480-482
 Стомоняков Б.С. 397
 Страхов Н.Н. 252, 261, 275, 288, 292
 Струве В.В. 400
 Струве П.Б. 304, 309, 310
 Стютен, антроп. 426
 Суворин А.С. 286, 287, 289, 291
 Сукач В.Г. 267
 Суслов П., отец Сусловой А.П. 270, 271
 Сулова А.П. 238, 268-271, 275, 277-280
- Тавифа, монахиня 69
 Таулер И. 156
 Тейхмюллер Г. 352, 377
 Теннисон К.-А. М. 396
 Теофил, еп. 69
 Тепкин Ш. 398
 св. Тереза 155
 Терентьев А.А. 380
 Тихон (Белавин), патриарх 34, 36-40, 72, 118, 119, 121, 122
 св. Тихон Задонский 107
 Ткачев П.Н. 312
 Толстая С.А. 290, 292, 293
 Толстой Л.Н. 236, 240, 245, 250, 262, 263, 288, 292, 293, 308, 309, 480, 485, 486
 Томан, домовладелица 422, 423
 Томиргонов Ш.Д. 398
 Трапезников Т.Г. 419, 433, 434, 439, 440, 477
 Третьяков П.М. 46
 Трубецкой Е.Н. 8-11, 14-16, 22-26, 28, 35, 38, 39, 304, 318, 325, 342, 346-348, 351, 450, 460
- Трубецкой С.Н. 14, 22
 Трубников А., шталмейстер 381
 Трушева И.В. 302, 304
 Тундутова О.Б. 394
 Турбин, чл. МРФО 437
 Тургенев И.С. 85
 Тургенева А.А. 328, 413, 417-419, 421-423, 425, 426, 430, 433, 434, 437, 440-442, 447-449, 451, 467, 471-473
 Тэн И. 485
 Тютчев Ф.И. 15, 370, 376
- Ульянов Дамбо 394
 Унгер (Unger) К. 416, 418, 470
 Ундревич, аспирант 50
 Успенский Е.П. 52
 Успенский В.И. 82, 378
 Успенский Г.И. 252
 Успенский Л.В. 15, 16, 23, 24, 51-54, 59, 61, 71
 Устрялов Н.В. 23
 Ухтомский Э.Э. 383, 387
- Фаддей, архиеп. 75
 Фаларис 181
 Фалес 167
 св. Федор Студит 95
 Федоров Н.Ф. 66
 Федоров С.Г. 389
 Фелькерзам Л.Л., фон 394
 Феофан, еп. 110, 111, 116, 144
 Фехнер Г.Т. 353, 376, 379
 Филарет (Дроздов), митр. 76
 Филарет, митр. 27
 Филипп, архим. Дивеевского монастыря 115
 Филипп, еп. 137, 138
 о. Филипп (Чудовский) 117
 Филиппов Б.А. 355
 Филиппов Т.И. 266, 267, 293
 Филон (Philon) 166, 220, 221, 321
 Философов Д.В. 245, 247, 248, 294-325, 378
 Фиолетов А.Н. 19, 20, 22
 Фиолетов Н.К. 18-22, 57, 58, 77
 Фиолетов Н.Н. 7-105

- Фиолетова Е.К. 19
 Фиолетова Е.Н. 19
 Фиолетова Н.Ю. 7, 13-105
 Фихте И.Г. 154, 359, 377
 Флоренский П.А. 12, 14, 15, 25, 26, 347, 349
 Флоровский Г.П. 8, 353, 457
 Фондаминский (*Бунаков) И.И. 295
 Фондан (Fondane) Б. 151, 152, 231
 Франк С.Л. 11, 12, 16, 17, 47, 48, 302, 332
 св. Франциск Ассизский 12, 13, 105
 Фрейд З. 152
 Фридрих Великий, имп. 27
 Фрошаммер (Frohschammer J.) 377
 Фрунзе М.В. 43
 Фудель С.И. 346
 Фукар (Foucart P.-F.) 450, 459, 460
 Фулье (Fouillée) А. 450, 456
- Хализев В.Е. 355
 Харузин А.Н. 387
 Хатунцев Б.Н. 17, 50
 Хатунцев Н.Н. 50
 Хвостов А.А. 106-108, 112, 115, 116
 Хвостов В.А. 110, 111, 114, 117, 119
 Хвостова (урожд. Коваленская) А.А. 106-108, 112, 134, 135
 Хвостова Е., кузина Арцыбушевой Т.А. 114, 134
 Ходасевич В.Ф. 326
 Христофорова К.П. 462, 466, 468, 469
- Цветаева М.И. 351
 Целебровский, инспектор 20, 21
 Целлер (Zeller E.) 172, 192, 219, 227, 231
 Цицерон 169, 181, 188, 190, 191
 Цыбиков Г.Ц. 391
- Чайковский П.И. 369, 370
 Чемпли Э. 381
- Чернышевский Н.Г. 9, 51, 369
 Честертон Г.К. 333
 Чехов А.П. 374
 Чехов М.А. 482, 483
 Чильс, антроп. 417
 Чирская (Tschirschky) Г., фон 414, 430
 Чичерин Г.В. 396
 Чонпил 391
 Чуваков В.Н. 355
 Чулков Г.И. 294, 295, 322, 355, 359, 361
- Шавельский Г.И., протопр. 34
 Шарко Ж.-М. 454
 Шварц, антроп. 419, 420, 432, 448
 Шеллинг Ф.В. 153, 154, 321, 330, 377
 *Шестов Л. (Шварцман Л.И.) 11, 151, 152, 153-230, 285, 338
 Шершевский, врач 243
 Ширяева В.Н. 83
 Шкловский В.Б. 326
 Шиллер И.Ф. 362
 Шишмарев В.М. 386
 Шишмарев Я.П. 386
 Шлейермахер Ф. 377
 Шмидт А.Н. 355, 357, 358, 360, 364
 Шнейдер А.П. 387
 Шнейдер В.П. 387
 Шолль (Scholl) М. 470
 Шопенгауэр А. 8, 154, 181, 352, 449, 452, 453, 460
 Шпет Г.Г. 12, 337, 338
 Шпренгель, антроп. 415
 Штейнберг И.З. 486
 Штейнер М.Я. 415, 416, 426, 427, 437, 438, 472
 Штейнер Р. 61, 327-331, 337, 409, 413, 415, 416, 421, 425-428, 434-436, 438, 440, 442-446, 450, 451, 456-458, 460-473, 475, 477-480, 482, 483, 486, 488
 Штинде (Stinde) С. 429, 433, 469
 Штирнер М. 27, 330
 Штраус, антроп. 414, 430

АННОТАЦИИ

В о с п о м и н а н и я

Н.Ю. Фиолетова. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ. Пред. В.Кейдана.

Н.Н. Фиолетов (1891-1943) — активный деятель «младшего поколения» творцов русского религиозного ренессанса, участник Религиозно-философского общества, самый молодой делегат Всероссийского Поместного Собора 1917 г., специалист по каноническому праву. Так же как П.А. Флоренский, А.А. Мейер, С.И. Фудель и др., Н.Н. остался после революции на родине и прошел весь круг гонений, выпавших на долю православной интеллигенции. Мемуары его вдовы охватывают период с 1915 (первая встреча в московском особняке М.К. Морозовой) до 8.03.1943 — смерти Н.Н. в одном из Мариинских лагерей. 7 + 93 с.

ЗАПИСКИ Т.А. АРЦЫБУШЕВОЙ.

Автор — дочь А.А. Хвостова (министра юстиции России в 1915-1916 гг.) описывает пореволюционные годы церковной смуты. Т.А. принадлежала к «тихоновской» потаенной церкви, отвергнувшей путь, по которому повел РПЦ митр. Сергей (Страгородский). В 1925 Т.А. приняла тайный постриг в Даниловском монастыре под именем монахини Таисии. Воспоминания рассказывают о ее духовной жизни и поисках, о судьбе Саровской пустыни и Дивеевского монастыря, где жила семья Т.А. после революции до высылки в Муром, о церковном быте тех лет. 42 с.

И з н а с л е д и я о т е ч е с т в е н н о й ф и л о с о ф и и

Лев Шестов. РОКОВОЕ НАСЛЕДИЕ. Публ. М. ван Губерген.

Неизвестная ранее работа одного из крупнейших мыслителей русского религиозного возрождения посвящена столкновению эллинской и иудео-христианской концепций мира, трагическим противоречиям разума и веры, отразившимся в творчестве Плотина. 3 + 78 + 2 с.

У ц е р к о в н ы х с т е н

ИЗ АРХИВА А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. Публ. Э.Гарэтто.

Письма Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова к А.Г. Достоевской и ее переписка с В.В. Розановым отражают культурную атмосферу начала века,

когда напряженный духовный поиск и рост революционных настроений — придавали идеям Достоевского особую актуальность и значимость. Комментарий содержит богатый дополняющий материал. 5 + 54 с.

ПИСЬМА НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА. Публ. В.Аллоя.

Пять «исповедальных» писем к З.Н. Гиппиус и Д.В. Filosoфову чрезвычайно ярко представляют мировосприятие Бердяева в переломный момент его жизни (1906-1908), предшествовавший его окончательному повороту к христианству и православию. Вступительная заметка и комментарий восстанавливают контекст взаимоотношений Бердяева с Мережковскими и Filosoфовым. 3 + 29 с.

Андрей Белый. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РУССКИХ ФИЛОСОФАХ. Публ. Д.Мальмстада.

Неизданные фрагменты из мемуаров Белого посвящены, главным образом, Н.Бердяеву и С.Булгакову, но дают также картину деятельности Московского религиозно-философского общества, рисуют портреты Г.Раичинского, Е.Трубецкого и др. Подробный комментарий содержит био-библиографические сведения об упоминаемых лицах. 4 + 23 с.

С.А. Аскольдов. ПИСЬМА К А.А. ЗОЛОТАРЕВУ. Публ. А.А. Сергеева и А.И. Добкина.

Пятнадцать писем Аскольдова периода его новгородской ссылки (1937-1941) существенно дополняют представления о философе, рисуя его внутренний мир и его взгляды последних лет жизни. Подробный комментарий содержит справочный материал. В конце публикации приводится библиография работ Аскольдова. 4 + 22 + 3 с.

А.И. Андреев. ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО БУДДИЙСКОГО ХРАМА.

На основании архивных документов автор прослеживает историю строительства буддийского храма в российской столице, роста буддийской общины, связей ее с Тибетом, судьбу общины и храма после революции вплоть до наших дней. 26 с.

Из истории духовных течений в России

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ. Публ. Д.Мальмстада.

Окончание «интимной» автобиографии А.Белого и множество дополнительных материалов, отражающих его раннее увлечение теософией, его работу в Антропософском обществе после революции, оккультные переживания, взаимоотношения с Р.Штейнером и русскими антропософами и т.п. Подробный комментарий содержит сведения об упоминаемых событиях и лицах. 80 с.

ABSTRACTS

M e m o i r s

N.Yu. Fioletova. **THE STORY OF A LIFE.** Introduction by V.Keidan.

N.N. Fioletov (1891-1943) was an active participant in the Russian religious renaissance of the «younger generation», a member of the Religious-Philosophical Society, the youngest delegate to the 1917 Church Council (Pomestnyi Sobor), a specialist in canon law. Like P.A. Florensky, A.A. Meier, S.I. Fudel' and others, Fioletov remained in Russia after the Revolution and was fell victim to the fullrange of persecution experienced by the Orthodox intelligentsia. His widow's memoirs cover the period from 1915 (their first meeting in the Moscow mansion of M.K. Morozova) to 8 March 1943, the date of Fioletov's death in one of the Mariinsk camps. 7 + 93 p.

NOTES BY T.A. ARTSYBUSHEVA.

The author was the daughter of A.A. Khvostov (the Russian Minister of Justice in 1915-1916) and she describes the post-revolutionary years of upheaval in the Church. Artsybusheva belonged to the «Tikhonite» secret church, which rejected the path down which Metropolitan Sergii (Stragorodsky) had led the Russian Orthodox Church. In 1925 Artsybusheva took the veil secretly in Danilov Monastery and adopted the name Sister Taisiya. Her memoirs tell of her spiritual life and strivings, of the fate of the Sarov Pustyn' and Diveevo monasteries, where Artsybusheva's family lived after the Revolution until they were exiled to Murom, and of church life at that time. 42 p.

F r o m t h e h e r i t a g e o f R u s s i a n p h i l o s o p h y

Lev Shestov. **A FATAL HERITAGE.** Edited by M. van Gubergen.

This previously unknown work by one of the most important thinkers of the Russian religious renaissance discusses the collision of the Hellenic and Judaeo-Christian world views and the tragic contradictions of reason and faith reflected in the writings of Plotinus. 3 + 78 + 2 p.

I n t h e s h a d o w o f t h e C h u r c h

FROM THE ARCHIVE OF A.G. DOSTOEVSKAYA. Edited by E.Garretto.

The letters of D.S. Merezhkovsky and S.N. Bulgakov to A.G. Dostoevskaya and her correspondence with V.V. Rozanov reflect the cultural atmosphere of

the early 20th century, when intense spiritual strivings and an increase in revolutionary stirrings made Dostoevsky's ideas particularly topical and significant. The annotations contain a wealth of supplementary material. 5 + 54 p.

LETTERS BY NIKOLAI BERDYAEV. Edited by V.Alloy.

These five «confessional» letters to Z.N. Gippius and D.V. Filosofov provide an extraordinary vivid insight into Berdyaev's *Weltanschauung* at a critical point in his life (1906-1908), just before he finally turned towards Christianity and Orthodoxy. The introductory note and annotations recreate the context of relations between Berdyaev and the Merezhkovskys and Filosofov. 3 + 29 p.

Andrei Belyi. SELECTED MEMOIRS OF RUSSIAN PHILOSOPHERS. Edited by J.Malmstad.

These unpublished fragments from Belyi's memoirs are primarily devoted to N.Berdyaev and S.Bulgakov, but they also depict the activities of the Moscow Religious-Philosophical Society and present portraits of G.Rachinsky, E.Trubetskoy and others. The detailed annotations contain bio-bibliographical information about the people mentioned in the text. 4 + 23 p.

S.A. Askol'dov. LETTERS TO A.A. ZOLOTAREV. Edited by A.A. Sergeev and A.I. Dobkin.

These fifteen letters written by Askol'dov in 1937-1941, during his exile in Novgorod, significantly expand our understanding of their author by the picture they give of his inner world and his views in the last period of his life. The detailed annotations contain background information. A bibliography of Askol'dov's writings completes the publication. 4 + 22 + 3 p.

A.I. Andreev. FROM THE HISTORY OF THE PETERSBURG BUDDHIST TEMPLE.

Using archival documents, the author traces the history of the construction of the Buddhist temple in the Russian capital, the growth of the Buddhist community, its links with Tibet, and the fate of the community and temple from the October Revolution to the present. 26 p.

From the history of spiritual movements in Russia

ANDREI BELYI AND THE ANTHROPOSOPHY. Publication by J.Malmstad.

The conclusion of A.Belyi's «intimate» autobiography with a large body of supplementary material, which reflects his early enthusiasm for theosophy, his work for the Anthroposophical Society after the Revolution, his occult experiences, his relations with R.Steiner and the Russian anthroposophists etc. The detailed annotations contain informations about the events and people mentioned in the texts. 80 p.

СОДЕРЖАНИЕ

Воспоминания

Н.Ю. Фиолетова. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ. Предисл. В.Кей- дана	7
ЗАПИСКИ Т.А. АРЦЫБУШЕВОЙ (Монахини Таисии)	106

Из наследия отечественной философии

Лев Шестов. РОКОВОЕ НАСЛЕДИЕ. Публ. М. ван Губерген	151
---	-----

У церковных стен

ИЗ АРХИВА А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. Публ. Э.Гарэтто	235
ПИСЬМА НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА. Публ. В.Аллоя	294
Андрей Белый. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РУССКИХ ФИЛОСО- ФАХ. Публ. Дж.Мальмстада	326
С.А. Аскольдов. ПИСЬМА К А.А. ЗОЛОТАРЕВУ. Публ. А.А. Сер- геева и А.И. Добкина	352
А.И. Андреев. ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО БУДДИЙ- СКОГО ХРАМА	380

Из истории духовных течений в России

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ. Публ. Д.Мальмстада . .	409
Аппех	489

**ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 5 MARS 1990
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 64-90**